Жан Жорес
Социалистическая история Французской революции

IV

Жан Жорес

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРОГРЕСС»

Ж. Жорес
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

IV

Жан Жорес

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Жан Жорес

*

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС» • МОСКВА • 1981

Jean Jaurès

*

HISTOIRE SOCIALISTE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

ÉDITIONS SOCIALES
PARIS 1971

Жан Жорес

*

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Том

IV

РЕВОЛЮЦИЯ И ЕВРОПА

Перевод с французского

Под редакцией

доктора исторических наук

А. В. АДО

Перевод тома IV выполнен:
А. О. Зелениной и *Е. В. Рубининым*

Редактор *Н. В. Рудницкая*

Редакция литературы по истории

© Перевод на русский язык «Прогресс», 1981

Ж $\frac{10605-129}{006(01)-81}$ 42—81

1602020200

ТОМ
ЧЕТВЕРТЫЙ

*

РЕВОЛЮЦИЯ
И ЕВРОПА

Введение

Итак, отныне Революция пришла в соприкосновение с Европой, со всем, можно сказать, миром. Ее армии переходят границы. Но что совершит она вне Франции? Какую организацию даст она народам? Какую реальную, серьезную помощь найдет она у них? В чем тайна немецкой души, английской души? Какое влияние окажут на народы события, развертывающиеся и подготовляющиеся во Франции? Как отнесутся эти народы к суду над королем, возможно, к его казни? Обновляя вселенную, столкнется ли Революция с непокорной и непримиримой силой или, напротив, пробудит явное сочувствие, или же она вызовет противоречивые усилия, неопределенные и смутные, неясное движение, приветствующее ее и сопротивляющееся ей? Что в действительности думает мир о нашей Революции? Грозный вопрос, вопрос жизни: сможет ли Франция с помощью рычага, который она держит в руке, поднять человеческие массы? Или этот рычаг сломается и всеобщее рабство вновь обрушится всей своей тяжестью на изнемогшую страну-освободительницу? Вот о чем, несомненно, спрашивали себя революционеры в конце 1792 г. Вот та тревога, которая, несмотря на опьянение первыми победами, несомненно, омрачала мысли многих людей. Великий взлет надежды, казалось, все взбудоражил и всем завладел. Но самой войной Франция была отныне связана с окружающим миром: чего хотели народы, что с ними будет, что предпримут они? Какое значение имели первые адреса, поступившие в Конвент, и в какой степени выражали они общественные настроения? В какой мере люди были готовы поддержать или принять Революцию? Слишком часто в историях Революции Франция занимает почти все место. Другие

народы остаются где-то в стороне. Революционеры 1792 г. имели об остальном мире лишь поверхностное и смутное представление. Словно в тот момент — если смотреть на вещи глазами французов, столь упрощавших в своем представлении великую драму Революции,— существовали только две активные силы: сила революционной Франции и сила тиранов, вступивших в коалицию, а народные массы Европы были лишь неопределенной и неясной силой, оспариваемой противоположными тенденциями. Долг историка, и особенно историка-социалиста, желающего уничтожить узконациональные предрассудки,— изучить непосредственно мысль и сознание народов, в разной мере вовлеченных в великую драму Революции.

Глава первая

*

ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГЕРМАНИИ

Германия была вполне готова проявить интерес к Французской революции. Духовное воздействие Франции на Германию в XVIII в. было огромно. Вольтер, Дидро, Руссо, Энциклопедия, Академия Наук пробуждали идеи и воспламеняли умы по ту сторону Рейна. И даже тогда, когда германский дух осознал свою самобытность, когда он освободился в области искусства и мысли от исключительного влияния Франции и создал свою литературу, свой театр, свою философию, он продолжал пребывать в живом общении с французским духом. Именно Клопшток первый дал германскому гению подлинно национальное эпическое и лирическое выражение, и именно он будет весь гореть энтузиазмом, узнав о первых событиях Французской революции, о первых завоеваниях свободы[1]. У Лессинга, который освобождает немецкий театр от рабского подражания французскому театру и придает критике религии неведомую для Франции глубину, еще видны следы

1. Клопшток, Фридрих Готлиб (1724—1803) — зачинатель немецкой национальной поэзии; он положил начало классической эпохе, прославленной именами Гёте и Шиллера. Его наиболее известное произведение — поэма «Мессиада», три первые песни которой появились в 1748 г., двадцатая, и последняя,— в 1773 г. Это обширная религиозная эпопея, в которой поэт, под влиянием «Потерянного Рая» Мильтона, хотел показать искупление человека страстями Спасителя. В 1771 г. вышло в свет собрание од Клопштока; первая была написана в 1747 г.; эти оды оказали значительное влияние. Клопшток с восторгом встретил Американскую войну за независимость, как и Французскую революцию. См., например, его оду «Познайте себя», написанную в 1789 г. О Клопштоке см. далее, гл. II, с. 129.

влияния французского критического ума[2]. Когда Кант с удивительной смелостью решает вопрос отношения мышления к бытию, когда он обосновывает соответствие между мыслью и внешним миром, отдавая первенство мысли, самой создающей законы, согласно которым проявляет себя жизнь,— то что делает он, как не утверждает науку, как не прославляет разум, как не подводит фундамент под знания и опыт, т. е. по-своему продолжает великие традиции французского XVIII в.[3]? Фактически он вмешивается, чтобы оградить от возможного натиска скептической мысли великолепные дерзания экспериментальной науки. Он укрепляет путь, по которому шли энциклопедисты, и превращает его в триумфальный путь разума, законодателя всех вещей.

У всех немецких мыслителей второй половины XVIII в., как у самых скромных, так и у самых великих, заметно влияние характерных особенностей французской культуры. Это вольные поиски универсальной истины, это ненависть или презрение к предрассудкам, это непрестанный призыв к разуму, горячая симпатия ко всем народам и всем расам, особенно ко всем успехам цивилизации и мысли, в какой бы форме и у какой бы нации они ни проявлялись; это потребность все понять и все привести в стройную систему, разбить искусственное единство традиции для того, чтобы создать живое единство знания и духа; это энциклопедические и космополитические устремления, пылкая преданность науке и человечеству; словом, это великое движение, которое немцы назвали «Aufklärung», что является синонимом столь любимого французским XVIII в. выражения «les Lumières» (Просвещение), сиявшего тогда еще совсем новым и ярким блеском[4].

В то же время, причем благодаря более особым связям, благодаря исключительному и очень глубокому влиянию, протестант женевец Руссо, со своим религиозным рационализмом, со своей болезненной чувствительностью к моральным проблемам, тесно связывал мысль Франции с духом Германии. О том, сколь велико было его воздействие на немецкую мысль, излишне говорить.

Как же могло не взволновать Германию, сформировавшуюся таким образом под влиянием нашего XVIII в. и столь сильно проникнутую французским духом, великое событие, направленное на завоевание свободы, потрясшее в 1789 г. всю Францию? Как же могла она остаться равнодушной к провозглашению Прав Человека, которое, казалось, придавало историческому факту величие мысли, а частному деянию одного народа — символическое и всемирное значение[5]?

Но если Германия, по крайней мере мыслящая Германия, была, таким образом, вначале склонна горячо сочувствовать Революции, то между Германией и Францией не могло быть той общности действий, какую создает лишь длительное единение умов. Несмо-

тря на смелость своих мыслителей, Германия не находилась в революционном состоянии: она не была готова совершить у себя революцию для завоевания свободы и буржуазной демократии, которую на свой страх и риск так славно творила Франция.

---

2. Лессинг, Готхольд Эфраим (1729—1781), как своими драматическими произведениями, так и критическими и теоретическими трудами по искусству способствовал созданию в Германии буржуазной драмы. Его наиболее важные драматические произведения: «Мисс Сара Сампсон» (1755), «Минна фон Барнхельм» (1767), «Эмилия Галотти» (1772), «Натан Мудрый» (1779). В «Лаокооне» (1766) Лессинг развил свои эстетические взгляды на искусство. «Гамбургская драматургия»— сборник теоретических статей о театре, написанных между 1767 и 1769 гг., когда город Гамбург поручил ему отбор актеров и пьес для нового городского театра. Как философ — представитель немецкого Просвещения, Лессинг опубликовал в 1778—1780 гг. произведения: «Эрнст и Фальк. Диалоги о масонах», а в 1780 г.— «Воспитание рода человеческого». О Лессинге см. далее, гл. II, с. 90. [О Лессинге см. коллективный труд советских ученых «История немецкой литературы», т. 2, М., 1963, гл. VIII; а также: Г. Фридлендер. Готхольд Эфраим Лессинг. Л.—М., 1958.— *Прим. ред.*]
3. Кант, Иммануил (1724—1804) выпустил в свет в 1770 г. свой первый труд по критической философии: «О форме и началах мира чувственного и умопостигаемого». В 1781 г. появилась «Критика чистого разума», в 1783 г.— «Пролегомены», это произведение должно было облегчить понимание сущности философии Канта; в 1785 г. появилось «Основоположение к метафизике нравов», где Кант излагал свою этическую доктрину; ей же посвящена и «Критика практического разума» (1788). О Канте см. далее, гл. II, с. 97. [О взглядах И. Канта, родоначальника немецкой классической философии, см.: И. С. Нарский. Кант. М., 1976.— *Прим. ред.*]
4. «Aufklärung», «Aufklärer»— эквиваленты понятий «Lumières», «éclairés», люди, озаренные светом знаний, просвещенные. «Он был бы достоин просвещенного века,— писал Гримм в своей «Литературной переписке» в мае 1762 г.,— так как именно такое название даем мы нашему веку». В своем первом сочинении 1747 г. Кант определил эту тенденцию, не употребляя этого слова; он понимал, что в истории человеческого разума открывался новый период. В 1784 г. в труде «Что такое Просвещение?» он признал эту эпоху завершившейся.

   В Германии Просвещение, одной из крепостей которого была Пруссия, получило утилитарный характер, что привлекло просвещенных государей и администраторов. Просвещение, во всяком случае, затронуло только меньшинство интеллигентов и чиновников. Пиетистский мистицизм сохранил глубокое влияние, то же можно сказать, хотя и в меньшей мере, о руссоизме. Вслед за Кантом немецкая философия не замедлила перейти к трансцендентальному идеализму. Поскольку сохранялась абсолютная власть князей, как и феодализм, то просветители лишь робко затрагивали привилегии и еще реже крепостное право. Они обращались к просвещенным монархам, ратуя за необходимые реформы в этой области, и, оправдывая свое благоразумие, утверждали, что прогресс главным образом зависит от совершенствования личности. О немецком Просвещении см. «Дополнительные замечания» в конце главы, с. 63.
5. Об откликах на Революцию 1789 г. в немецких литературных кругах и среди интеллигенции см.: M. Boucher. La Révolution de 1789 vue

ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ

Развитию революционного движения в Германии мешали четыре главных препятствия. Прежде всего, единому движению мешала политическая раздробленность Германии[6]. Германия была разделена на несколько сот мелких государств. Во Франции, централизованной и почти полностью объединенной еще до 1789 г., для действий масс существовала, если можно так выразиться, широкая и единая почва. Французы различных районов и различных провинций, несмотря на некоторые различия в законодательстве и в обычаях, жили под одной и той же властью, подчиняясь почти одним и тем же законам. Уже тогда буржуа и пролетариям Бретани, Иль-де-Франса, Лангедока, Прованса и Дофине не приходилось тратить свои силы на ожесточенное соперничество между провинциями, и они направляли всю свою энергию против привилегий дворянства и духовенства, против королевского и чиновничьего произвола; у них были несомненные общие интересы, которые и породили вскоре общие действия.

Напротив, крайняя политическая раздробленность Германии в 1789 г. распыляла мысль эксплуатируемых классов и уводила ее на ложный путь. Немецкие буржуа и пролетарии задавались вопросом не о том, что станет с ними самими в случае крупных революционных перемен, а о том, что станет с данным, отдельным государством, с которым их еще связывали многочисленные узы привычки, интересов и тщеславия.

Относительная независимость каждого из этих государств, как вредно ни отражалась она на всей жизни Германии, на ее экономике, на ее национальной мощи и на ее свободе, поверхностным умам тем не менее представлялась имеющей непосредственные преимущества. Каждый из этих маленьких дворов имел свою клиентелу чиновников, поставщиков и торговцев. Он являлся как бы жизненным центром, средоточием богатства, и тогда как подъем производства и расширение обмена, к которым привело бы движение за демократическое объединение, казались далекими и сомнительными, потери, к каким могли бы привести для всех этих мелких столиц и мелких государств широкие социальные потрясения, могли оказаться неминуемыми и близкими.

К этим тревогам привычного эгоизма иногда примешивались и соображения более высокого порядка. Ввиду самих различий и раздробленности Германии она то тут, то там давала приют гонимым вольнодумцам; принимать у себя гениев, возвеличивавших немецкую мысль, немецких мелких князей побуждало своего рода кокетство или тщеславие. Гёте и Виланд, братья Гумбольдт, братья Шлегель, Фосс, Жан Поль [Иоганн Пауль Рихтер] и многие другие обрели в Веймаре почет и свободу[7]. Кто знает, что уготовила бы немецкой мысли Германия, объединенная в результате бурного потрясения? Итак, забота о свободе культуры побуждала

интеллектуальную элиту поддерживать партикуляристскую политику, сторонниками которой уже были буржуа маленьких городов, «немецкие филистеры».

Помимо того, интриги и соперничество Австрии и Пруссии, стремившихся господствовать в Германии, вызывали справедливое недоверие. Когда в 1785 г. образовался Союз немецких князей во главе с Пруссией, то он был скорее придуманным последней орудием борьбы против Австрии, чем средством освобождения Германии [8]. Таким образом, национальное самосознание не имело никакого политического центра, вокруг которого оно могло бы объединиться, и рейхстаг, имперский сейм, где собирались представители князей и городов, влачил жалкое существование. Там даже более не дискутировали; князья не утруждали себя личным присутствием на его заседаниях; они сообщали свою волю в мемуарах, оглашавшихся их секретарями; разумеется, из этого протокольного обмена разными неясными мыслями, которые никто не собирался ни обсуждать, ни осуществлять на практике, не могло родиться никакого движения.

Сознавая свое бессилие создать национальную жизнь, немцы старались утешиться, утверждая, что зато как люди они живут более свободно. В двух строфах, охарактеризовавших эту полную неспособность, Гёте сказал немцам: «Немцы, вы тщетно надеетесь образовать нацию. Но для вас это — еще одно основание стать свободными людьми, и это вы можете».

Ребяческие иллюзии, обманчивые слова! Ибо как отделить человека от гражданина, от производителя?

---

par les écrivains allemands ses contemporains. Paris, 1954. См. также отдельные главы труда «La Révolution de 1789 et la pensée moderne» (Paris, 1940).

6. Германия не существовала политически как единое государство, она была разделена на 8 курфюршеств, 20 духовных княжеств, 94 имперских графства, 51 имперский город, не говоря уже о бесчисленных рыцарях империи,— всего 300 территориальных единиц. Слово «Германия» было только наименованием. «Священная Римская империя германской нации» катилась к своему закату, с тех пор как Пруссия начала возвышаться как соперница Австрии.
7. Став резиденцией герцога в 1547 г., Веймар в правление Карла-Августа (1775—1803) был средоточием духовной жизни Германии. Здесь нашли приют И. Гёте (1749—1832), К. М. Виланд (1733—1813), В. Гумбольдт (1767—1835), А. Гумбольдт (1769—1859), А. Шлегель (1767—1845), Ф. Шлегель (1772—1829), И. Г. Фосс (1751—1826), И. П. Рихтер [псевдоним Жан Поль. — *Ред.*] (1763—1825). См. в конце этой главы «Дополнительные замечания», Ф. Меринг и Ж. Жорес, с. 64.
8. В 1785 г. прусский король Фридрих II (1740—1786) подписал договор с Саксонией и Ганновером, вскоре распространенный на 12 других княжеств. Это был Союз князей (Fürstenbund). Фридрих II и Союз князей воспротивились обмену Баварии на австрийские Нидерланды [т. е. бельгийские провинции Австрии], обмену, который значительно усилил бы позиции Габсбургов в Южной Германии.

Как может быть свободен человек, если угенетен гражданин, если производитель скован различными путами? Чтобы освободить «человека», Германии так же, как и Франции, нужна была революция; но для революции этой необходимо было широкое согласованное движение, а само движение это предполагало наличие мощной и единой национальной жизни.

Это единство и эта мощь национальной жизни не могли быть рождены при политической раздробленности силой экономических интересов, объединяющей деятельностью однородного и смелого класса. В конце XVIII в. почти не существовало немецкой буржуазии; или по крайней мере она не обладала той уверенностью в себе, какую дают рост богатства и бурное развитие промышленности.

Во Франции, политически почти уже единой, буржуазия, с каждым днем становившаяся все богаче и смелее, сумела внезапно развернуть свои действия. Для того чтобы немецкая буржуазия смогла преодолеть политические барьеры, о которые повсюду разбивался ее порыв и которые сковывали ее волю, ей нужен был огромный экономический импульс. Но производственная мощь Германии, которой Тридцатилетняя война нанесла почти смертельный удар, в течение ста двадцати лет либо оставалась на одном уровне, либо снижалась, либо же крайне незначительно повышалась, если не наблюдалось движения вспять. И поэтому буржуазия была тоже слабой и вялой, лишенной общественной инициативы и силы. Это решающий факт, который отмечали, чаще всего преувеличивая его, все те, кто старался проникнуть в тайны немецкой истории.

МНЕНИЯ МАРКСА, ЛИСТА И МЁЗЕРА

В послесловии ко второму немецкому изданию «Капитала» Маркс пишет:

«Густав Гюлих в своей книге «Geschichtliche Darstellung des Handels, der Gewerbe etc.»... в значительной мере уже выяснил те исторические условия, которые препятствовали у нас развитию капиталистического способа производства, а следовательно, и формированию современного буржуазного общества»[9].

В «Манифесте Коммунистической партии», в разделе, посвященном критике «немецкого, или «истинного», социализма», Маркс и Энгельс заявляют, что если немецкая социальная литература (как социалистическая литература первой трети XIX в., так и революционная литература конца XVIII в.) имеет мнимый абстрактно-идеологический характер, то только потому, что немецкой философии недоставало исторической базы, которая придала бы ей основательность и действенность; потому что в ней не получили достаточного отражения и развития ни интересы буржуазии,

ни соответственно интересы пролетариата, как солидарные, так и антагонистические.

«Социалистическая и коммунистическая литература Франции, возникшая под гнетом господствующей буржуазии и являющаяся литературным выражением борьбы против этого господства, была перенесена в Германию в такое время, когда буржуазия там только что начала свою борьбу против феодального абсолютизма.

Немецкие философы, полуфилософы и любители красивой фразы жадно ухватились за эту литературу, позабыв только, что с перенесением этих сочинений из Франции в Германию туда не были одновременно перенесены и французские условия жизни. В немецких условиях французская литература утратила все непосредственное практическое значение и приняла вид чисто литературного течения. Она должна была приобрести характер досужего мудрствования об осуществлении человеческой сущности. Так, требования первой французской революции для немецких философов XVIII века имели смысл лишь как требования «практического разума» вообще, а проявления воли революционной французской буржуазии в их глазах имели значение законов чистой воли, воли, какой она должна быть, истинно человеческой воли»[10].

Меня не занимает в настоящий момент вопрос, насколько справедлив был Маркс в своей оценке революционных усилий немецкой мысли. Отмечу только, что, по его мнению, слабая экономическая активность немецкой буржуазии в 1789 г. делала невозможным всякое реальное, серьезное приложение Французской революции к Германии[11].

Фридрих Лист в своей «Национальной системе политической экономии» (1841 г.) совсем с другой точки зрения объясняет долгий экономический упадок Германии — ее политической раздробленностью и раздорами[12]. Но он констатирует те же факты:

---

9. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, с. 13.
10. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 4, с. 451.
    Далее в тексте следует: «Вся работа немецких литераторов состояла исключительно в том, чтобы примирить новые французские идеи со своей старой философской совестью или, вернее, в том, чтобы усвоить французские идеи со своей философской точки зрения».
11. Слабость немецкой буржазии, ее неспособность к реальному действию и борьбе, несомненно, объясняют, почему усилия ее наиболее просвещенной части сосредоточились в сфере идей, на литературе и философии, где они достигли блистательного успеха. «Словно бы мысль и действие не должны иметь никакой связи между собой и словно бы у немцев истина подобна статуе Меркурия, именуемого также Гермесом, у которого нет ни рук, чтобы схватить, ни ног, чтобы идти вперед». (M m e d e S t a e l. De l'Allemagne, t. I, p. 207.)
12. Лист, Фридрих (1789—1846)— немецкий экономист. Полное собрание его трудов вышло в свет в 1850—1851 гг. См. в его «Système national d'économie politique» (Paris, 1851, p. 185) главу

«Беду немецкой нации довершили изобретение пороха и книгопечатания, торжество римского права и Реформация и, наконец, открытие Америки и нового пути в Индию. Последовавшая за этим моральная, социальная и экономическая революция породила раскол и распри внутри Империи, раздоры между князьями, раздоры между городами, даже раздоры между городской буржуазией и ее соседями из всех слоев. Энергия нации была тогда отвлечена от мануфактурного производства, от земледелия, от торговли и мореходства, от приобретения колоний, от совершенствования учреждений и вообще от всех позитивных улучшений; сражались за догмы и за наследство церкви.

Одновременно пали Ганза и Венеция, а с их падением пришла в упадок и крупная торговля Германии, а также мощь и вольность немецких городов, как северных, так и южных.

Затем Тридцатилетняя война привела к опустошению всех деревень и всех городов. Голландия и Швейцария отделились, и самые лучшие части Империи были завоеваны Францией. Обыкновенные города, такие, как Страсбург, Нюрнберг и Аугсбург, ранее превосходившие своей мощью курфюршества, были доведены до полного бессилия системой постоянных армий.

Если бы до этой революции единение между городами и императорской властью было более тесным, если бы какой-нибудь истинно немецкий государь стал во главе реформации и осуществил ее к пользе единства, могущества и свободы страны, то земледелие, мануфактурное производство и торговля Германии получили бы совсем иное развитие».

Фридрих Лист прибавляет, что если, несмотря на все, осталась некоторая надежда на экономическое возрождение, то лишь потому, что немецкие князья обратили часть секуляризованных имуществ церкви на поощрение развития немецкой духовной культуры; а всякий духовно развитый народ должен в дальнейшем стремиться, быть может неловко и неумело, к увеличению материальной мощи, которой прежде ему недоставало.

«Начало немецкому национальному возрождению было, очевидно, положено самими правительствами, когда они сознательно употребили доход от секуляризованных имуществ на просвещение и воспитание, на поощрение искусств, наук и морали и вообще на общественно полезные дела. Таким образом просвещение проникло в администрацию и судопроизводство, в преподавание и литературу, в земледелие, в ремесла и торговлю, одним словом, оно проникло в массы.

Итак, Германия шла в развитии своей цивилизации совсем иным путем, чем другие страны. Тогда как везде в прочих странах высокая духовная культура явилась результатом развития материальных производительных сил, в Германии развитие материальных производительных сил было следствием предшествовавшего ему развития духовной культуры. Таким образом, вся не-

мецкая цивилизация является, если можно так выразиться, теоретической. Отсюда и тот недостаток практического смысла, та неумелость, которую и в наши дни отмечает чужеземец у немцев. Они ныне находятся в положении человека, который, прежде лишенный возможности пользоваться членами своего тела, теоретически изучил, как надо стоять, ходить, есть, пить, смеяться и плакать, и затем стал осуществлять эти функции на практике. Отсюда увлечение немцев философскими системами и космополитическими мечтами».

То, что Фридрих Лист отмечал в своей знаменитой книге в 1841 г. как следствие всей предшествовавшей немецкой эволюции, то, что он хотел исправить посредством мощного экономического и политического национализма, было еще более верным по отношению к Германии 1789 г. Маркс и Лист оба искали ту реальную, конкретную силу, которая наконец придала бы немецкой истории, пребывавшей до сих пор в состоянии теории и мечты, реальное содержание, субстанцию. Для Маркса этой конкретной силой явится пролетариат; для Листа — экономическое единство, подготовленное таможенным союзом и ведущее к политическому единству. Но оба они согласны с тем, что немецкая история не имеет под собой прочной основы. И причина этого — в слабом развитии буржуазии в течение двух последних веков. В 1844 г. в своей работе «К критике гегелевской философии права» Маркс сказал об этом совершенно ясно: «...Германия сопровождала развитие современных народов лишь абстрактной деятельностью мышления»[13].

Именно это за несколько лет до 1789 г. с необыкновенной проницательностью отмечал Мёзер в своем «Немецком национальном духе» и в своих «Патриотических записках»[14]: «Мы,— вос-

---

«Несчастье немецкой нации...». Лист был одним из наиболее активных организаторов Германского таможенного союза. См. в конце главы «Дополнительные замечания», Ф. Мериng и Ж. Жорес, в связи с трудом экономиста Густава фон Гюлиха (1791—1847), 2, с. 64.

13. «Но если Германия сопровождала развитие современных народов лишь абстрактной деятельностью мышления, не принимая активного участия в действительных битвах этого развития, то, с другой стороны, она разделяла *страдания* этого развития, не разделяя его радостей, его частичного удовлетворения». (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, с. 424.) [Жорес цитирует работу К. Маркса «К критике гегелевской философии права. Введение», написанную в конце 1843—январе 1844 г.— *Прим. ред.*].

14. Мёзер Юстус (1720—1794) — немецкий писатель и политический деятель, родился и умер в Оснабрюке; поклонник английских свобод, враждебно относился к Французской революции; заслужил известность своей «Оснабрюкской историей» и еще более своими «Патриотическими фантазиями» (Жорес переводит их как «Imaginations patriotiques» и «Lettres patriotiques»). О Мёзере см. ниже, гл. II, с. 70. [О взглядах

клицал он,— один народ, у нас одно имя и один язык; мы объединены под властью законов, дающих нам структурное единство, единые права и обязанности, и связаны одними и теми же узами великого стремления к свободе; в течение многих веков мы имеем общее национальное представительство; по своей внутренней мощи и силе мы — первая империя в Европе[15], изливающая на немецких подданных блеск своих королевских корон; и, однако, в течение веков мы, такие, как мы есть, остаемся политической загадкой, клубком конституционных противоречий, добычей для наших соседей, предметом насмешек; разделенные и обессиленные своими раздорами, мы достаточно сильны, чтобы причинить зло самим себе, но немощны, чтобы спасти себя; нечувствительные к чести своего имени, равнодушные к авторитету законов, дорожащие своим повелителем и не доверяющие друг другу, мы народ великий и в такой же мере презираемый, народ, который мог бы быть счастлив и который из всех народов самый несчастный».

Каковы же причины этого хаоса бессилия, где хиреют и гибнут все благие задатки? Каковы причины этой своего рода полной неспособности действовать, организоваться, жить — этой главной «беды» немцев? Мёзер ясно отвечает на этот вопрос: то, чего Германии не хватает, это — буржуазии, среднего класса или,— как сам он говорит, вставляя французское выражение в свою немецкую прозу,— «Tiers État» (третьего сословия).

«Нам недостает той промежуточной и посредничающей силы, которую Монтескье считает опорой доброй монархии и как бы солью, предохраняющей ее от разложения и вырождения в деспотизм: нам недостает третьего сословия (der dritte Stand), того третьего сословия, которое существовало во Франции во времена добрых королей, не особенно жаждавших завоеваний; нам недостает нижней палаты, которая в Англии так часто поддерживает равновесие между королем и палатой лордов; нам недостает Государственного совета, стоявшего в Голландии между наследственным статхаудером (штатгальтером) и Генеральными штатами. Одним словом, нам недостает такого органа власти, который мог бы сразу выступить против императора, если бы тот проявил деспотические намерения, не стал бы признавать или же открыто посягнул на свободы государств, входящих в Империю, стал бы играть законами, то их соблюдая, то ими пренебрегая по своей прихоти, и который, наоборот, мог бы проявить великую преданность и оказать действенную поддержку законной власти, законной юрисдикции императора, если бы она была кем-либо ущемлена или парализована... мог бы беспристрастно заняться религиозными делами и выявить все таящиеся за ними политические интриги, мог бы, одним словом, осуществить древний девиз империи: «De minoribus rebus principes consultant, de majoribus omnes» («Дела маловажные решаются государями; дела значительные решаются всеми»).

И Мёзер преисполняется гордости и восторга при мысли о мировом могуществе, какое обрела бы Германия, если бы разумное, сильное и смелое третье сословие примиряло и уравновешивало враждебные начала, объединило бы весь народ, придало бы ему порыв. Если бы промышленная и торговая буржуазия, уже превратившая некоторые большие города в очаги богатства и славы, сияющей на весь мир, могла распространить свою деятельность на всю Германию, если бы ее не подавляли и не унижали князья, если бы борьба, завязавшаяся между земельным могуществом князей и промышленным и торговым могуществом буржуазии, привела к победе последней, а не к ее поражению, то «на берегах Ганга отдавал бы приказания» не лорд Клайв[16], а «какой-нибудь советник из Гамбурга». Но императоры, слепые или слабые, или посредственные немцы[17], позволили князьям приручить их; императоры стали их прислужниками, их сообщниками и погасили тот великий дух «нации, которая стала бы теперь властительницей обеих Индий и возвысила бы германского императора до главы всемирной монархии!»

Какие непомерные мечтания о господстве и горделивые притязания в этой раздробленной, бессильной и униженной Германии! И как ясно видна двойная неосторожность, двойная ошибка французских революционеров! С одной стороны, они не приняли во внимание этой экономической и социальной слабости немецкого буржуазного класса, которая делала почти невозможной помощь германской революции революции во Франции; с другой стороны, они недостаточно приняли в расчет ужасную национальную чувствительность и обидчивость народа, тем более гордого и недоверчивого, что он болезненно чувствовал противоречие между своими внутренними силами и своей судьбой! Только Робеспьер верно понимал это[18].

Мёзера см.: Е. Л. Косминский. Историография средних веков. М., Изд. МГУ, 1963, с. 263—274.— *Прим. ред.*]

15. Речь идет о «Священной Римской империи германской нации», основанной Оттоном Великим (962); она не выдержала удара, нанесенного Французской революцией, и была упразднена в связи с отречением Франца II (1806). Что касается «общего национального представительства», то сейм «Священной Римской империи» был образован из представителей различных государств, входивших в Империю.
16. Лорд Клайв, Роберт (1725—1774) — деятель английской колониальной администрации в Индии, положил начало владычеству Англии в Индии, завоевал Бенгалию после победы в битве при Плесси (1757), разбил силы французов в Индии под командованием генерала Лалли Толландаля.
17. Речь идет об австрийских Габсбургах, владевших короной «Священной Римской империи» с 1273 по 1806 г.
18. «Самая сумасбродная мысль, какая могла бы прийти в голову политику,— это думать, что достаточно одному народу прийти с оружием в руках к другому народу, чтобы заставить последний принять его законы и его

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УПАДОК

Какой глубокий экономический упадок переживала эта буржуазия крупных торговых городов, в XVI в. столь предприимчивых и столь гордых, по крайней мере некоторые из них! Приведу беглое описание этого упадка из обстоятельного труда Бидермана «Германия в XVIII в.»[19]. «От былого великолепия некогда столь богатых и могущественных городов Северной Германии, как Аугсбург, Нюрнберг, Ульм и Регенсбург, осталась одна лишь тень. Гордый Аугсбург, город Фуггеров, этих князей-купцов, о которых Карл V спесиво говорил, что они могли бы купить за наличные все сокровища парижской королевской казны, с трудом сохранял остатки своей прежде столь обширной торговли; он все еще был центром обмена, но только между Австрией, Швейцарией, Швабией и Северной Италией; однако перестал быть центром широких торговых связей, рынком, где покупались бы и продавались товары с Востока, из Фландрии, Англии и Скандинавии. Его юго-восточной торговле мешали запретительные меры Австрии, а северо-западной — запретительные меры Голландии. Художественные ремесла Аугсбурга, некогда составлявшие гордость Германии, все более и более приходили в упадок и свелись к жалкой торговле раскрашенными статуэтками и амулетами. Его мастера золотых дел и ювелиры, в XVII в. работавшие по заказам русского царя и французского короля, дошли, подобно резчикам по дереву, до работ самого дурного вкуса, и французское искусство оставило их далеко позади. Ткацкое ремесло Аугсбурга, некогда столь процветавшее, было почти уничтожено Тридцатилетней войной. Из шести тысяч ткачей осталось не более пятисот.

И для Нюрнберга миновали ослепительные времена богатства, всемирно прославленных художественных промыслов, дни вольного благоденствия и почета, те времена, когда посланец папы Энеа Сильвио писал[20]: «Короли Шотландии были бы счастливы, если бы у них были такие же жилища, как у этих средних бюргеров Нюрнберга...» Теперь повсюду застой, упадок; город едва сохранил малую часть своих прежних художественных ремесел, занимаясь изготовлением игрушек, резьбой по дереву и металлу...

Еще более глубокий упадок переживали Ульм и Регенсбург... Не лучшим было и положение столь процветавших некогда рейнских городов. Столица Рейнской области Кёльн впал в скудость и нищету... Древний имперский город Ахен тоже влачил жалкое существование. От ста тысяч жителей, обитавших когда-то в его стенах, осталась едва четвертая часть».

Значит ли это, что в Германии прекратилась всякая промышленная деятельность? Разумеется, нет; если есть города, приходящие в упадок, то другие растут или сохраняют свое положение. Крупная буржуазия Франкфурта-на-Майне вновь разбогатела

благодаря надежным банковским операциям, которые она вела с традиционной осторожностью и ловкостью[21]. По свидетельству Форстера, Майнц своей деловой активностью и чистотой резко отличался от ленивого и бедного Кёльна. Хотя ганзейские города[22] и потеряли торговое и политическое превосходство, однако объем их торговых сделок благодаря их изобретательности и смелости остался прежним. Накопленные капиталы позволяли им оказывать долгосрочный кредит, участвовать в акционерных обществах, которые начали тогда создаваться для эксплуатации колоний и для всякого рода страховых операций, а также выступать кредитором всех европейских государств. Так, Гамбург, подобно Голландии, много раз открывал подписку на займы французского королевства. Гамбургский порт пропускал в год (ввоз и вывоз) до 2 тыс. кораблей, из которых 160 принадлежали Гамбургу. Капитал, которым орудовали тамошние морские страховые общества, составлял от 60 до 120 млн. талеров. Завоевание английскими колониями в Америке независимости оказалось выгодным Гамбургу, ибо уничтожило монополию в торговых связях, которую Англия стремилась навязать своим колониям.

МАНУФАКТУРЫ

В Пруссии, Богемии, Саксонии и Силезии короли и князья покровительствовали мануфактурам и даже создавали их. В Саксонии первые хлопчатобумажные мануфактуры пользовались

конституцию. Никто не любит вооруженных миссионеров... Я сказал, что подобное вторжение могло бы скорее пробудить воспоминания о пфальцских пожарах и о последних войнах...» (M. Robespierre. Discours sur la guerre, 2 janvier 1792. См.: Ж. Жорес. Социалистическая история Французской революции. Т. 2, с. 168.)

19. Карл Бидерман (K. Biedermann) (1812—1901) — историк и политический деятель, национал-либерал. Автор книги «Deutschland im 18-Jahrundert» (1854—1880), представляющей, по мнению Ф. Меринга («Pour le roi de Prusse»,— «Die Neue Zeit», Januar 1903), компиляцию. «Труд, не лишенный известной ценности,— пишет Меринг,— но довольно пошлый и с экономической точки зрения совершенно несостоятельный». См. далее «Дополнительны замечания», Ф. Меринг и Ж. Жорес, 2, с. 64.
20. Энеа Сильвио Пикколомини (1405—1464), стал папой под именем Пия II (1458—1464).
21. Наиболее значительными банками во Франкфурте были банк Бетмана и банк Ротшильда, в Гамбурге — банк Париша.
22. Возникновение германской Ганзы обычно связывают с союзным договором 1241 г. между Гамбургом и Любеком; но это наименование появилось только в 1358 г. Ганза достигла своего апогея в XV в., объединив большинство приморских городов Северного и Балтийского морей. Тридцатилетняя война нанесла ей смертельный удар. В 1669 г. на последнем съезде Ганзы присутствовали только представители Бремена, Гамбурга и Любека,

привилегией, предоставленной на тридцать лет. В Вене Иосиф II[23], напротив, расширяет рамки корпорации оптовых торговцев, а то и совсем уничтожает ее, разрешая заниматься оптовой торговлей каждому, кто владеет состоянием в 35 тыс. флоринов. В Богемии число фабрик, составлявшее в 1780 г. 50, в 1786 г. возрастает до 172, на которых было занято 40 тыс. рабочих, а в течение трех лет, с 1785 по 1788 г., было введено в действие еще 14 697 новых ткацких станков, которые дали работу 14 962 работницам, не считая прядильщиков. Триест был одним из наиболее оживленных портов Европы[24]. Корреспондент издававшейся Шлёцером[25] газеты «Штаатсанцайгер» оценивал в 1782 г. стоимость его годового товарооборота (ввоза и вывоза) в 21 млн. флоринов. В 1788 г. Триестский порт пропустил 4288 кораблей, а в 1790 г.— 6750 кораблей.

В Пруссии быстро развиваются шелкоткацкие фабрики, созданные по желанию Фридриха Вильгельма I и особенно Фридриха II. Последний способствовал также основанию шерстоткацких мануфактур и разрешил создать хлопчатобумажные мануфактуры, которые его отец, бывший рутинером даже в прогрессивных начинаниях, запретил под тем предлогом, что используемое ими иностранное сырье конкурирует с отечественным сырьем[26].

Силезия, защищенная от конкуренции иностранного железа запретительными пошлинами, вывезла в 1788 г. в Англию 11 тыс. центнеров железа. С 1763 по 1777 г. в Силезию перебралось 30 тыс. рабочих и ремесленников, привлеченных туда веротерпимостью короля. К концу правления Фридриха II продукция прусских фабрик оценивалась в 30 млн. талеров (около 100 млн. франков), причем в эту цифру, разумеется, не входит стоимость продукции, произведенной на дому и предназначенной для домашнего потребления. В 1783 г. в Берлине имелось 2316 шелкоткацких станков, которые обслуживали 2316 рабочих, и 2566 шерстоткацких станков и при них 3022 рабочих.

В Саксонии мануфактуры развивались несмотря на бедствия Семилетней войны и вопреки таможенным барьерам, возведенным Пруссией Фридриха II. В 1785 г. продукция хлопчатобумажных фабрик увеличилась, а с 1780 г. на фабриках вводятся прядильные машины[27]. Саксония стремится соперничать с Англией в применении машин. Работали полотняные, чулочные и перчаточные мануфактуры, но производство их претерпевало колебания. В Циттау имелось до 28 тыс. льноткацких станков. В шахтах Саксонии, родины великого Лютера[28], работало 80 тыс. рабочих. На лейпцигских ярмарках совершались торговые сделки на сумму до 18 млн. талеров[29]. Посещавшие их русские купцы закупали там главным образом французские шелка. Итак, всеобщего упадка промышленности и обмена не было. И разве возможно это было в огромной стране с населением в 30 млн. человек, с плодород-

ной почвой, издавна славившейся своим богатством и деловой активностью, имевшей таких предприимчивых и энергичных государей, как Фридрих II и Иосиф II?

ЮСТУС МЁЗЕР И РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО КАПИТАЛИЗМА[30]

Очевидно, в то время в Германии начинается развитие промышленного капитализма, и меня удивляет, что Маркс не иллюстрировал свои замечательные исследования мануфактурного периода, где он главным образом приводит английские примеры, фактами, которые ему могла дать эволюция, происходившая в ту эпоху в Германии. Юстус Мёзер в статьях, которые он публиковал начиная с 1774 г. под общим названием «Патриотические фантазии», с необыкновенной точностью фиксирует все особенности этого промышленного развития в Германии, хотя и не без некоторых ретроградных опасений и непомерного сожаления о прошлом. Он отмечает повсюду лихорадочную поспешность, с какой капиталисты создавали крупные мануфактуры, их погоню за детским трудом. Конечно, детский труд применялся широко, и дети уже участвовали в надомном производстве; но сейчас их надо было дисциплинировать, приучить к регулярной работе.

Порой эта первая промышленная концентрация детского труда представала в смягченной форме религиозной идилии. Вот перед нами деревня, ленивая, бедная и грязная, которую экономи-

---

которые остались объединенными и сохранили название *ганзейских* городов.

23. Иосиф II (1741—1790) — образец просвещенного монарха. Император «Священной Римской империи». С 1765 г. соправитель своей матери Марии-Терезии в управлении наследственными владениями Австрии вплоть до ее смерти в 1780 г.
24. Для Габсбургов Триест был выходом на Адриатику и Средиземноморье.
25. Шлёцер, Август Людвиг (1735—1809) сделал Гёттингенский университет центром исторических и политических исследований; в течение десятка лет Шлёцер был наиболее авторитетным и внушавшим особые опасения журналистом. Он основал «Статистическую газету», которую в 1776 г. сменила «Корреспонденция по вопросам политики и истории», а затем, в 1783 г.,— «Staatsanzeiger». Шлёцера хорошо информировали его корреспонденты, которых он имел почти повсюду. Он был противником Французской революции, насильственные меры которой его возмущали.
26. Об экономическом развитии Пруссии см. также: M i r a b e a u. De la monarchie prussienne sous Frédéric-le-Grand... Londres, 1788, 8 vol.
27. Точнее, «Дженни», механические самопрялки для хлопка; они были введены в Хемнице в 1788 г.
28. Лютер родился в Эйслебене (Тюрингия) в 1483 г.
29. Лейпцигские ярмарки — январская, пасхальная и особенно осенняя — приобрели известность с XIV в. В конце XVIII в. они сохраняли еще большую популярность.
30. О Юстусе Мёзере см. выше, прим. 14.

ческая деятельность одного из верующих, некого подобия моравского брата, возрождает к богатству и жизни[31].

«Все эти счастливые перемены были результатом развития промышленности и торговли, которые мой отец насадил здесь, поддержал и довел до того состояния, в каком они пребывают ныне. Этот человек, полагавший, что он нашел для себя религию, и думавший учредить особую общину, обосновался здесь, чтобы мирно заниматься своей профессией фабриканта камлота и служить богу по своему разумению. Местный пастор, живший как святой и пользовавшийся полным доверием моего отца, облегчил ему это дело. Он построил себе небольшой дом, имевший, однако, в себе нечто столь привлекательное, что все жители захотели иметь такой же. Он установил в нем свой ткацкий станок, и пастор прислал к нему нескольких живших по соседству детей, которые пряли и работали на него. Отец сумел внушить им такую любовь, что все дети, подраставшие в этом маленьком городке, тянулись к нему. Пастор приходил ежедневно и обучал детей прямо во время работы; мой отец следил за тем, чтобы дети были всегда чисто и даже нарядно одеты в платья из ткани, которую он производил, а родители их, сами еще не умевшие отличить правду от лжи, радовались тому, как хорошо воспитываются их дети. Отцы мало-помалу втягивались в той или иной форме в обслуживание фабрики, а матери часто считали делом благочестия носить платья из той же материи, что и их сыновья. И вот в течение двенадцати лет внешний облик людей, да и сами люди изменились, во всех ощущался новый дух. Среди новой секты царило согласие, и людям все более и более нравилась жизнь, имевшая прелесть новизны и бывшая, как им казалось, творением их рук. Они работали, молились и радовались, и слава об этой счастливой братской общине привлекала сюда энтузиастов, трудолюбивых мечтателей, охотно соглашавшихся работать на других, но желавших верить и думать по-своему. Они были так твердо убеждены в непреложности принципа, что всякий, кто работает и молится, должен иметь хлеб, что, достигнув двадцати лет, все жители городка вступали в брак, ничуть не сомневаясь в будущем. Уверенные в том, что честность и мастерство завоевали им доверие их братьев, столь необходимое для ведения их дел, они никогда не сомневались в успехе своих начинаний. Их общая вера была для них капиталом более ценным, чем самый солидный залог».

Под покровом мистического братства создается не что иное, как мануфактура. Она еще не носит всепоглощающего характера: собравшиеся в ней для работы сохраняют возможность основать свое дело при поддержке своего рода братского кредита; но их прежнюю разобщенную, обособленную и вялую жизнь заменяет активный совместный труд на мануфактуре. Разумеется, основатели и хозяева мануфактур приучали рабочую силу к новому порядку с помощью более грубых средств, более суровой дисциплины.

В письме, которым Юстус Мёзер хочет предостеречь капиталистов против поспешных и необдуманных начинаний, он указывает на двоякую трудность. Надо приучать детей к более строгим формам труда, более упорядоченным, чем прежде, и в то же время обучить большое число работающих техническому мастерству, которым раньше обладали лишь немногие рабочие. В самом деле, мануфактура не порождает сразу новой техники; она еще не заменяет ручного труда машинным и не доводит немедленно разделение труда до такой степени, когда прежнее техническое мастерство рабочего заменяется некоторым числом автоматических операций[32]. Следовательно, речь идет о том, чтобы путем долгого и трудного обучения передать более многочисленным рабочим, собранным в мануфактурах, умение и искусство, отличавшее ремесленников того или иного города или деревни и характерное для их продукции. И Мёзер ставит в упрек современным ему капиталистам только их желание действовать слишком быстро, форсировать трудную эволюцию труда ремесленного в мануфактурный.

«Вы хотите создать фабрику, и притом на глазах у любопытной и насмешливой толпы! О, поберегите свои деньги и здоровье! Тот, кто хочет преуспеть в таком начинании, не должен ни привлекать к себе внимание, ни возбуждать злословие. Он должен долго работать в молчании и безвестности, предпринять немало бесплодных попыток, нести значительные дополнительные расходы, испытать немало тайных огорчений, прежде чем ему удастся преодолеть предрассудки и повести свое дело открыто. Если он будет действовать иначе, он станет жертвой своего честолюбия; тщеславие заставит его покинуть трудный, но верный путь и пойти на головокружительные эксперименты, и он будет похож на тех князей-фабрикантов или на их молодых советчиков, которые предпочитают скорые и шумные похвалы толпы одобрению и молчаливой благодарности потомства и, создавая фабрику по весне, хотят уже через несколько недель пожать плоды.

Я всегда с удовольствием вспоминаю женщину, которую привез с собой из Брабанта один солдат. Она плела прекрасные кружева; у нее было двое маленьких детей, которых она только это-

---

31. Моравские братья (их называют также, что более верно, богемскими или чешскими братьями)— религиозная секта, возникшая в Чехии в середине XV в. среди гуситов, принявших евангелическое учение; они отвергали религиозные догмы и заявляли, что придерживаются исключительно текста Евангелия.

32. См. классический анализ, данный К. Марксом в «Капитале». (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, с. 348—381, гл. XII: «Разделение труда и мануфактура».) Мануфактура или вводит и усиливает разделение труда в одном ремесле, или объединяет и комбинирует разнородные самостоятельные ремесла. См. далее, прим. 35.

му и могла научить. Дочери ее соседей по немецкой деревне, где она поселилась, восхищались ее работой и не хотели отставать от своих подруг по играм. Матери отдавали их в обучение к кружевнице, и через тридцать лет все женщины в деревне плели кружева и обучали этому искусству своих дочерей. В настоящее время в этой деревне изготовляются самые прекрасные брабантские кружева. Вот в чем, на мой взгляд, истинный способ распространения фабричного духа. Но где тот сильный человек, у которого достанет терпения так долго ожидать плодов своих усилий?

Не думайте, что я порицаю такого рода предприятия князей. Нет, я одобряю их, ибо кое-что от них останется и спустя годы на их развалинах смогут воздвигнуть новое; но частное лицо не может так поступать...

Удивительная вещь — это распространение фабрик! Наши старые торговцы льняным полотном говорят, что, взглянув на кусок полотна, они могут сказать, в какой деревне он был изготовлен; я знал одного торговца коноплей, который отправлял ежегодно целую сотню тысяч кусков ткани из конопли и с такой же легкостью отличал, в какой семье какой кусок был изготовлен, с какой отличают почерк одного человека от почерка другого. Хранитель картинной галереи, который может распознать произведения сотни художников,— ребенок в сравнении с этим торговцем. Каждая область имеет свои особенности производства, как и свое особое пиво... Поэтому для создания фабрики нужна долгая и трудоемкая подготовка. *Нужно, чтобы воспитанию детей, как умственному, так и физическому, было дано определенное направление и чтобы привычки, нравы, предрассудки, примеры способствовали прогрессу нового порядка. Сколько труда потратил Николини, чтобы обучить детей пантомиме! Но это ничто в сравнении с яркими примерами, постоянным руководством, непрерывными усилиями, затрачиваемыми на фабриках швейных игл для обучения детей, пока они не обретут необходимые умение и ловкость...* Сколь постоянное и сильное воздействие должно оказывать на умы шерстопрядильщиков, и в сколь раннем уже возрасте, чтобы кража малейшей ниточки *стала казаться им величайшим преступлением! Подобно тому, как слух будущего виртуоза следует развивать с раннего возраста! Сколько лет трудится он, чтобы развить свои пальцы, свои руки, весь свой аппарат чувств! Как непрерывны его усилия!* И если необходимы столь же ранние, столь же великие усилия для создания людей, искусных в каждом ремесле, если необходимо влияние стольких примеров, если необходимы постоянные навыки и нравственное воспитание, направленное на достижение этой цели, если все это необходимо для того, чтобы один народ с радостью мог выходить в море, а другой — с песнями спускаться в шахты; если путем обучения надо лишить народ, который должен посвятить всю свою жизнь определенной форме труда, всех чувств, кроме одного, которое ему

потребуется для его работы, чтобы сделать из него вечного раба своей профессии, лишить его способности, желания и силы заняться другой профессией и таким образом принудить его навечно оставаться в цепях,— то как же можно ожидать, создавая новые фабрики в тех местах, где ни в одном доме нет таким образом обученных ни взрослых, ни детей, где еще никто не вынужден в результате воспитания, привычки и необходимости выпрашивать работу на фабриках, где мышление жителей не приучено сводить все к этому решающему вопросу, как же можно ожидать здесь тех же результатов, какие возможны там, где все перечисленные мною выше условия к услугам фабрикантов и где люди только ждут создания такого предприятия, которое соберет их всех вместе?»

Это поистине ужасно, и я беру на себя смелость утверждать, что Марксу не удалось найти столь сильных выражений. В XII главе «Капитала» он так писал о капиталистическом характере мануфактурного производства:

«Некоторое духовное и телесное уродование неизбежно даже при разделении труда внутри всего общества в целом. Но так как мануфактурный период проводит значительно дальше это общественное расщепление различных отраслей труда и так как, с другой стороны, лишь специфически мануфактурное разделение труда поражает индивидуума в самой его жизненной основе, то материал и стимул для промышленной патологии дается впервые лишь мануфактурным периодом»[33].

И он приводит слова доктора Уркарта:

«Рассечение человека называется казнью, если он заслужил смертный приговор, убийством, если он его не заслужил. Рассечение труда есть убийство народа»[34].

Но ничто, как мне кажется, не сравнится с силой спокойных и жестоких выражений Мёзера, с этой систематической атрофией, лишающей рабочего всех его чувств, кроме одного, специального, необходимого ему для его особого труда, и таким образом низводящей его до положения вечного раба единственного чувства, которое ему оставлено.

Более всего ужасает то спокойствие, с каким Мёзер принимает неизбежность этого промышленного уродования, калечения человечества, этого чудовищного и намеренного извращения человеческой природы. Если он требует, чтобы немецкие капиталисты действовали более осторожно и более постепенно, то не для того, чтобы они могли воспитывать рабочих более мягким образом, а для того, чтобы не принимались за свое трудное дело прежде, чем это воспитание — если можно так выразиться — не продвинется достаточно вперед. Но как мог бы Мёзер создать себе такую

33. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, с. 376.

34. D. Urquart. Familiar Words. London, 1855, p. 119.

концепцию жизни, если бы Германия уже основательно не вступила в мануфактурный период своего развития, продвигаясь довольно быстро?

К тому же отныне признаки победы немецкой мануфактуры над маленькими мастерскими, над домашним производством приобретают явный характер. Прежде всего, в маленьких городах и деревнях постепенно исчезают ремесленники, мелкие производители, которых заменяют мелкие и розничные торговцы, ничего не производящие сами, но сбывающие товары, произведенные в больших мануфактурных центрах. И если исчезают мелкие ремесленники, то это происходит потому, что конкуренция мануфактуры действительно становится для них смертельной. Если производство уходит из небольших городов, то происходит это потому, что разделение труда, вынуждая каждого рабочего изготовлять лишь ничтожнейшую часть продукта, предполагает участие в производстве большого числа рабочих, имеющегося только в крупных городах; это происходит еще и потому, что каждый рабочий, обладающий лишь узкой специальностью, может существовать, только все время воспроизводя свою маленькую частицу продукта, а почти постоянную работу по специальности ему может обеспечить только крупный центр. Сам Мёзер дает этот точный анализ экономического и социального развития конца XVIII в.:

«Ремесленников в небольших и средних городках становится все меньше и меньше, их участь все ухудшается. Причина этого проста, надо лишь понять прежде всего, почему крупные города одерживали верх и продолжают одерживать верх над маленькими. Первый мастер, который в большом городе сумел дать работу 30—40 и больше подмастерьям, естественно, подумал о том, чтобы дать каждому из своих молодых подмастерьев какую-то определенную специализацию. Так, часовщик обучал одного рабочего делать пружины для часов, другого — только стрелки, третьего — колесца. Один делал циферблаты, другой покрывал их эмалью, третий гравировал и т. д. Таким образом, они оставались в зависимости от часовых дел мастера и были вынуждены группироваться вокруг него в большом городе, где он сбывал свой товар. То же относится и к столяру. У него было пятьдесят или более рабочих; один умел только вырезать ножки для стульев, другой — обделывать их, третий — полировать. Поскольку эти последовательные процессы были тесно связаны между собой, столяр удерживал возле себя в качестве наемных рабочих всех этих людей, обладавших большим мастерством в одной узкой области, и если они уходили от него, то лишь для работы в каком-нибудь другом большом городе»[35].

Тут все виды производства одновременно и глубоко различны, и очень тесно связаны между собой; вследствие самого разделения все виды промышленности и труда нуждаются друг

в друге, и такая обширная система производства не может существовать в маленьких городах. Итак, большие города высоким качеством и дешевизной своих изделий душат маленькие. Это неизбежный результат растущего разделения труда и концентрации мануфактурного производства.

На основании исследования Ролана де ла Платьера я показал, что во Франции в некоторых районах, например в Пикардии, промышленное производство находилось в стадии, непосредственно предшествовавшей мануфактурному периоду [36]: это та эпоха, когда мелкие производители продолжают еще работать на дому, но на какого-нибудь крупного торговца, который кредитует их и порой снабжает сырьем и который, во всяком случае, концентрирует затем в своих руках произведенный товар для крупных сделок на широком рынке. Достаточно торговцу, чтобы лучше ими руководить или лучше за ними наблюдать, собрать в одном помещении этих производителей, лишь внешне самостоятельных, и вот вам мануфактура.

Итак, Мёзер констатирует, что, хотя и имеются районы, где торговец остается пока еще только посредником, во многих районах он стал фабрикантом. Мёзер, которому свойственны ретроградные экономические тенденции и который охотно верит в то, что промышленное величие Германии связано со старыми формами производства и обмена, глубоко сожалеет об этом перевороте; но нас мало интересуют его жалобы, для нас важен лишь отмеченный им факт, столь характерный для развития мануфактуры.

«Могу ли я сказать, что наша фабричная система несравненно хуже прежней? Прежде разделение функций было таково, что все мастерские были собственностью ремесленника, и торговец по отношению к ремесленнику был лишь скупщиком товара, сбывавшим его. Теперь, напротив, торговец, став фабрикантом, превратился в хозяина, и тот, кто на него работает, является не более чем подмастерьем, и этот подмастерье, этот рабочий работает изо дня в день за заработную плату. В такой организации, если только ей не сопутствует редкая удача, гораздо боль-

---

35. См. анализ, данный Марксом в «Капитале» (гл. XII). Исходной точкой мануфактуры является «комбинация разнородных самостоятельных ремесел, которые утрачивают свою самостоятельность и делаются односторонними в такой степени, что представляют собой лишь друг друга дополняющие частичные операции в процессе производства одного и того же товара. С другой стороны, мануфактура возникает из кооперации однородных ремесленников, разлагает данное индивидуальное ремесло на различные обособленные операции, изолирует эти последние и делает самостоятельными в такой степени, что каждая из них становится исключительной функцией особого рабочего». (См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, с. 350.)

36. См. Ж. Жорес. Цит. соч., т. I, кн. 1, с. 111—116. «Сельская промышленность».

ше недостатков, чем в старой. Наемный рабочий не принимает дела так близко к сердцу, он тратит много времени попусту, крадет его, и нужен постоянный надзор и значительное число служащих для обеспечения должным образом перехода из одних рук в другие производимого изделия, для ведения счетов и баланса. Напротив, из хозяина-ремесленника, отличающегося от наемного рабочего так же, как сельский хозяин-возделыватель отличается от наемного управителя, торговец мог извлечь гораздо больше пользы, и государство имело граждан, а не бродяг-рабочих. Это было правилом для городов в те времена, которые мы называем варварскими; это был истинный источник их величия, и благодаря этому еще процветают города в Лаузице и Фогтланде».

Читая эти строки, невозможно вновь не обратиться к данному Марксом мастерскому анализу:

«В течение всего мануфактурного периода не прекращаются жалобы на недисциплинированность рабочих. И если бы даже у нас не было показаний со стороны авторов того времени, то одни уже факты, что начиная с XVI столетия и вплоть до эпохи крупной промышленности капиталу не удавалось подчинить себе все то рабочее время, каким располагает мануфактурный рабочий, что мануфактуры недолговечны и вместе с эмиграцией или иммиграцией рабочих покидают одну страну, чтобы возникнуть в другой, — уже одни эти факты говорят нам не меньше, чем целые библиотеки» [37].

Любопытно отметить, что по поводу этой «недисциплинированности» рабочих Маркс в примечании говорит: «Сказанное в тексте гораздо более применимо к Англии, чем к Франции, и к Франции более, чем к Голландии», а о Германии Маркс даже не упоминает. Разоблачение ничтожества немецкой буржуазии, составлявшее столь существенный элемент исторического рассуждения Маркса, очевидно, побудило его излишне пренебречь изучением развития немецкой промышленности в этот еще зародышевый ее период.

Отмечу, наконец, последнюю черту, довершающую совпадение картины, нарисованной Мёзером, с анализом, данным Марксом. Маркс в главе «Генезис промышленного капиталиста», первым воплощением которого является мануфактурист, исследует силы сопротивления, затруднявшие или задерживавшие превращение торгового капитала в промышленный [38]:

«Превращению денежного капитала, образовавшегося путем ростовщичества и торговли, в промышленный капитал препятствовал феодальный строй в деревне, цеховой строй в городе. Ограничения эти пали, когда были распущены феодальные дружины, когда сельское население было экспроприировано и отчасти изгнано... [Еще в 1794 г. мелкие мастера-суконщики из Лидса посылали в парламент депутацию с петицией об издании закона, воспрещающего купцам становиться фабрикантами [39].] *Новая ма-*

*нуфактура возникла в морских экспортных гаванях** или в таких пунктах внутри страны, которые находились вне контроля старых городов с их цеховым строем. Отсюда ожесточенная борьба английских corporate towns [городов с цеховым корпоративным строем] против этих новых питомников промышленности».

Несколькими строками ниже Маркс прибавляет: «Различные моменты первоначального накопления распределяются, исторически более или менее последовательно, между различными странами, а именно: между Испанией, Португалией, Голландией, Францией и Англией».

И опять полное молчание о Германии. Итак, Мёзер констатирует в отношении портов, центров экспорта, два обстоятельства. Прежде всего, там, как и повсюду, торговец отказывается быть просто посредником и распространителем товаров. В то время как раньше, во времена Ганзы, производители отправляли свои товары сами, на свой страх и риск, при посредничестве Ганзы, теперь крупные портовые отправители товаров стали их откупщиками. Ответственность производителей они заменяют своей. И в то же время они сами становятся производителями; они основывают в больших приморских городах собственные мануфактуры [40].

«Нам следовало бы стыдиться [за настоящее], вспоминая о том, как наши предки вели свои дела в Немецкой компании [Ганзе]. В городах, расположенных внутри страны, мы только и делаем, что поставляем продукцию своих мануфактур какому-нибудь бременскому или гамбургскому капиталисту и позволяем ему нас надувать. Среди фабрикантов немало таких, которые достаточно робки и ограничены в средствах и поэтому продают продукцию в самом Бремене или в Гамбурге, соглашаясь на цены, какие навязывают им биржевые дельцы, пользуясь их стесненным положением или их непредусмотрительностью. Жители внутренней части

---

37. К. Маркс и Ф. Энгельс., Соч., т. 23, с. 380.
38. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, с. 760 и сл.
39. Маркс ссылается на работу: Dr J. Aikin. Description from the country from thirty to fourty miles round Manchester. London, 1795. [Текст, заключенный в квадратные скобки, дан Марксом в примечании.— *Прим. ред.*]

* Курсив Ж. Жореса.— *Прим. ред.*

40. Здесь можно только сослаться на книгу III «Капитала», главу XX. «Переход от феодального способа производства совершается двоякпм образом. Производитель становится купцом и капиталистом в противоположность земледельческому натуральному хозяйству и связанному цехами ремеслу средневековой городской промышленности. Это действительно революционизирующий путь. Или же купец непосредственно подчиняет себе производство. Как ни велико историческое значение последнего пути в качестве переходной ступени... все же этот путь сам по себе не ведет к перевороту в старом способе производства, так как он скорее консервирует и удерживает его как свою предпосылку». (См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 25, ч. I, с. 367.)

страны едва ли даже знают, когда их товары более всего в цене. Они продают свой хлеб сразу же после жатвы, а свой лен — на троицын день... А как широки, верны, удачливы были расчеты наших предков! Они пользовались судами портовых экспедиторов, но не продавали своих товаров на бременском рынке, не полагались душой и телом на какого-нибудь непредусмотрительного гамбуржца. Они продавали свой товар сами. В местах назначения, в Бергене, Лондоне, Нью-Йорке, у них были свои служащие, свои склады и конторы.

...Прежняя Ганза рассматривала портовых капиталистов только как посредников. Что подумали бы люди того времени, если бы узнали, что теперь в портах имеются всевозможные фабрики и что оттуда могут отправлять внутрь страны шляпы и чулки?»

И почти все товары подвергаются в портах окончательной обработке, отделке или окраске. Мёзер, хорошо разбиравшийся в фактах, но плохо в их причинах, не говорит, подобно Марксу, что этот расцвет мануфактур в портах объясняется тем, что там сопротивление цеховой системы было меньшим. Но в действительности накануне Французской революции в экономической эволюции Германии мы обнаруживаем все характерные черты мануфактурного развития. Полного застоя и рутины не было: промышленная Германия, не переживая такого подъема, какой происходил во Франции, переживала кризис преобразования, свидетельствовавший о мощи ее молодых сил. Так же, как наиболее смелая, наиболее прогрессивная часть французской буржуазии избавилась, особенно во второй половине XVIII в., от оков цеховой системы, так и наиболее смелые, наиболее энергичные немецкие производители, озабоченные будущим, пытаются в это же время преодолеть узость цеховой системы или бежать от нее [41].

КАРТИНА, НАРИСОВАННАЯ ФОРСТЕРОМ

Георг Форстер, со свойственным ему проницательным умом, отметил этот натиск капитализма, этот скрытый или явный процесс преобразования [42]. Именно от этой устаревшей цеховой системы гибнет Ахен, и наоборот, в местах, свободных от оков корпоративной системы, кипит и бьет ключом экономическая жизнь. Четырнадцать промышленных и торговых корпораций Ахена истощают свои силы в ожесточенном соперничестве или застывают, скованные узкой регламентацией!

«Честные предприимчивые люди, более не желающие подчиняться нелепостям цехового строя и рисковать своим кредитом, изготовляя плохие сукна, постепенно покинули Ахен и осели в окрестностях города на голландской или имперской земле. Там они могли свободно устраивать фабрики, как они хотели, не зная других ограничений, кроме предела своих сил и размера своего

состояния. В Буршейде, Ваальсе, Эйпене, Монжуа, Вервье и вообще во всем Лимбурге возникло неисчислимое множество суконных фабрик, причем оборот некоторых из них ежегодно достигает полумиллиона; фабрики эти открыли конторы в Кадисе, Константинополе и Смирне, вывозя оттуда шерсть и сбывая туда дорогие сукна.

Последствия такого, во всех областях неправильного, управления видны даже самому неопытному глазу. Улицы Ахена кишат нищими, и порча нравов даже в народе так велика, что можно услышать жалобы на нее в любое время и в любом обществе. Как мог остаться у простого человека хотя бы след честности и нравственных правил, когда у него на глазах безнаказанно происходит позорное расхищение общественных средств? Его дети становятся похитителями шерсти, праздношатающимися и игроками в лото...»[43].

А вот картина деятельности мануфактур, освободившихся от старых пут:

«Буршейд находится к востоку от города... Пруды в этой долине заботливо охраняются, так как они необходимы для имеющихся в Буршейде фабрик иголок. Мы осмотрели только самые достопримечательные, а именно полировальную машину, приводящуюся в движение с помощью механизма, присоединенного к водяному колесу...»

И Форстер описывает сложные и мощные машины, позволяющие самому обыкновенному рабочему очень быстро изготовлять продукцию:

«В Буршейде работает больше суконщиков, чем в Ахене. Самая значительная фабрика, принадлежащая господину фон Ловених, размещена в очень больших, хорошо устроенных зданиях, и изготовляемые здесь сукна высоко ценятся. В Буршейде так же, как

---

41. Не преувеличивает ли Жорес размеров промышленного развития Германии накануне Французской революции? За исключением некоторых районов (Рур, Саксония, Силезия), где промышленный подъем был очевиден, капитализм оставался по своему существу торговым; в некоторых районах торговля подчинила себе ремесленное производство (см. прим. 40). Германия в целом была далека от приобщения к новой экономике. Если и находились поборники новых методов, то число сторонников последних было невелико.

42. Форстер Георг (1754—1794) — немецкий писатель, директор библиотеки и профессор университета в Майнце, представитель патриотов Майнца в Париже в 1793 г.; написал «Ansichten vom Niederrhein, von Brabant, Flandern, Holland, England und Frankreich». (См.: Г. Форстер. Избранные произведения. Изд. АН СССР. М., 1960.) Это произведение, написанное в форме писем, появилось на немецком языке в Берлине в 1791 г. [О Г. Форстере см. Ю. Я. Мошковская. Г. Форстер — немецкий просветитель и революционер XVIII в. М., 1961.— *Прим. ред.*]

43. Письмо девятое, из Ахена. См.: Г. Форстер. Цит. соч., с. 111—112.

в Ваальсе и в самом Ахене, изготовляются только одноцветные сукна, окрашиваемые уже в куске, в то время как в Вервье и в тамошней местности выпускают только многоцветные сукна из заранее окрашенной пряжи».

Зрелище этой деятельности заставляет Форстера предвидеть и желать нового расцвета производства, замены всего того, что осталось от прежнего распыленного и примитивного труда, капиталистическим способом производства:

«...Самую тонкую шерсть поставляет Бильбао благодаря близости превосходных пастбищ Астурии и Леона, более грубая шерсть поступает из Кадиса. По прибытии шерсти в Остенде ее по каналам отправляют в Герцогенбуш, а затем сухим путем, гужом, в Ахен. Здесь ее сначала прополаскивают в выложенных камнем бассейнах, из которых загрязненная вода, по мере надобности, отводится. Во избежание обмана со стороны рабочих бассейны эти устраивают в открытых местах, посещаемых людьми. При несоблюдении этой предосторожности (как, например, в городе, где иногда разрешается промывать шерсть ночью) при самом строгом надзоре нельзя избежать хищения значительной части взвешенной шерсти. При большой влажности сдаваемой шерсти рабочему удается незаметно похищать у фабриканта часть шерсти.

Чистую шерсть раздают крестьянам для прядения. Ахен и расположенные вокруг него фабричные поселения обслуживаются главным образом крестьянами Лимбурга и фламандцами. В герцогстве Юлих, где крестьяне интенсивно занимаются земледелием, у крестьян чересчур грубые руки, чтобы они могли прясть тонкую нить. В Лимбурге благодаря скотоводству, развившемуся на тучных пастбищах, крестьяне заняты, главным образом, изготовлением масла и сыров; пальцы у них более гибки, и женщины и дети повсюду ткут тончайшую пряжу. Подобная зависимость между местожительством и связанными с ним условиями жизни и способом заработка вызывает особый интерес потому, что мы приходим к пониманию этой зависимости, только изучая потребности крупных фабрик и серьезно обдумывая средства их совершенствования. Эти обстоятельства привели некий созерцательный ум в Берлине к заключению, что солдат гораздо способнее к прядению, чем крестьянин из Померании. Если мы захотим продолжить это рассуждение, то нам придется исходить из того положения, что каждое искусство тем совершеннее, чем более на нем сосредоточены силы человека. Прядение, бесспорно, развивалось бы гораздо лучше, если бы работа прядильщика производилась в *специальных зданиях фабричного типа, в светлых и теплых помещениях, с таким расчетом, чтобы особый трудолюбивый класс людей мог посвятить себя только такому ремеслу, которое давало бы ему средства к существованию. Люди, которые с семилетнего возраста посвящали бы себя только этому занятию, должны были бы вскоре приобрести больший навык в обращении с шерстью, чем все остальные, для*

которых прядение — только побочное занятие, и поскольку они одновременно изготовляли бы более тонкую пряжу, и притом в большем количестве, то их работа обходилась бы дешевле, не принося ущерба им самим»[44].

Глубоко вникая в суть вопроса, Форстер отмечает, что преобразование промышленности, чтобы совершиться безболезненно, должно сопровождаться широкой реформой в интересах крестьян. В самом деле, как можно лишить их дополнительного заработка, помогающего им поддерживать свое жалкое существование, не освободив их от гнетущего их бремени? Поэтому промышленность не может полностью перейти к крупному производству и избавиться от цеховой рутины, если крестьяне не будут избавлены от феодального гнета[45]. Итак, в Германии наблюдается широкое движение, начинающее будить мысли и мечты.

«Но как согласовать создание подобных фабрик с ныне существующими возможностями приработка крестьянина так, чтобы крестьянин, которого никак нельзя назвать самым счастливым человеком, в результате утраты своего побочного заработка не был полностью разорен,— этот вопрос требует внимательного рассмотрения. При этом нам все время придется возвращаться к давнишнему опыту, показавшему, что первым и непреодолимым препятствием к развитию всех отраслей промышленности остается тот ужасающий гнет, от которого страдает земледелец. Мы удивляемся тому, что это зло не искореняется, но принимаем лишь паллиативные меры для устранения его. Поэтому и вся новая государственная экономика, и хваленая хитрость финансовых чиновников — не что иное, как достойное всяческого презрения шарлатанство или — что еще хуже — отвратительная система уловок, в результате которой подданный, подобно полурабу на сахарных плантациях, только под другим названием, низводится до уровня вьючного животного, содержание которого ежегодно приносит определенный доход. Если какое-нибудь нововведение, способствующее производительности промышленности, вызывает малейшее нарушение в этом хрупком, до крайности напряженном механизме, то расчеты уже перестают совпадать, и стяжатель, умеющий только подсчитывать доходы, ищет в этом предложенном ему нововведении ошибку, в которой повинны только его пустая голова и пустое сердце. Всюду, где фабрики создаются не трудолюбием граждан, а являются орудием финансовых спекуляций правительств, на качество изделий рассчитывают гораздо меньше, чем на сбыт, поощряемый системой запретов. Поэтому в самой основе, на которой построено подобное учреждение, кроется невозможность

---

44. Там же, с. 114—115. Письмо десятое, из Ахена.
45. Дальновидное суждение: развитие промышленного капитализма требовало уничтожения феодальных пережитков. См. выше, прим. 40.

развития, к которому оно могло бы быть способно при других обстоятельствах»[46].

Этим цепям рутины, цеховой регламентации, стремлению фиска обогатить только себя Форстер с особым энтузиазмом и с удивительным здравым смыслом противопоставляет замечательный расцвет свободной промышленности. Следовало бы процитировать его десятое письмо об Ахене. Единство человечества будет малопомалу достигнуто благодаря свободе и все более расширяющемуся обмену; и Форстер, несмотря на свой трезвый ум и умеренность, на какой-то миг поддается увлечению и излагает идеал самых смелых, наиболее оптимистически настроенных экономистов. Но он быстро возвращается к печальной действительности, к нынешним бедам и бессилию, на которые обречена Германия.

Но все-таки когда я обнаруживаю в анализе Мёзера — как ни ретроградны его тенденции — описание процесса промышленного преобразования Германии, когда вместе с Форстером я констатирую значительные успехи, достигнутые, несмотря на все препятствия, людьми инициативными и свободолюбивыми, я спрашиваю себя: в чем же причина революционного бессилия Германии? Можно ли целиком его объяснить недостаточным экономическим развитием буржуазии? Конечно, очень удобно было бы сослаться в данном случае на простые и ясные положения «экономического материализма». Конечно, для уничтожения феодального порядка и ограничения произвола князей нужна была богатая, уверенная в себе и активная буржуазия. А экономический рост немецкой буржуазии был гораздо менее значительным, чем экономический рост французской буржуазии. Но как определить, на какой стадии экономического роста начинает проявляться способность класса к революции? Каким бы вялым ни было еще развитие промышленности в Германии по сравнению с развитием ее во Франции, оно шло в одном и том же направлении: производительные силы Германии, как и производительные силы Франции во второй половине XVIII в., стремились к мануфактурному способу производства, к крупной промышленности, к разделению и свободе труда; наталкивались они на одни и те же препятствия и искали выхода, несомненно, в одном и том же. Поэтому невозможно предположить, что простая разница в степени экономического развития, имеющего одно и то же происхождение и идущего в одном и том же направлении, может удовлетворительно объяснить революционный подъем во Франции и революционное бессилие Германии. Здесь несомненно и в очень значительной мере должны были действовать силы политического и психологического характера. Взятое отдельно, экономическое развитие — понятие отвлеченное, и я, изучая столь различные проявления жизни Франции и Германии в одно и то же время, революционную готовность первой и рево-

люционную неспособность второй, никогда не чувствовал так остро, сколь опасно было бы рассматривать экономический материализм как исчерпывающее объяснение истории. Как совершенно справедливо заметил Бенедетто Кроче [47], он по-новому освещает и вскрывает глубину исторических явлений, но не дает исчерпывающего объяснения этих явлений во всей их конкретности. Если на минуту предположить, ничего не меняя в экономическом развитии Германии в 1789 г., что она была тогда политически объединенной и что исследования мыслителей в течение столетия были направлены на изучение организации общества, то тогда вполне вероятно, что в Германии возникло бы такое же буржуазное революционное движение, как и во Франции, и притом столь же сильное. Я полагаю, что тем мыслителям, которые хотели обеспечить экономическому материализму легкую победу, было очень удобно рассматривать немецкую промышленность той эпохи как ничтожно малую величину, не заслуживающую внимания, как почти инертную силу. Между тем промышленность была достаточно развита и достаточно активна, чтобы мы могли обнаружить в ней, в соответствии с мнением проницательных и добросовестных наблюдателей, все черты и все тенденции того крупного капиталистического движения, какое наблюдалось в ту эпоху во Франции и Англии, правда, в Германии оно происходило в более скромных масштабах и в совершенно особых условиях раздробленности и зависимости.

БУРЖУАЗИЯ И ГОСУДАРИ

Промышленность ни в коей мере не обладала здесь той целостностью, той мощью, той монолитностью и тем порывом, какие дают классу производителей полное осознание своей силы и права на власть. В то время как бюргеры немецких городов XVI в. рассматривали себя как действительную политическую силу и претендовали повсюду на верховную власть, немецкая буржуазия 1789 г. либо была равнодушна к общим судьбам нации, либо жила, повинуясь князьям и королям, и не обладала ни энергией, ни силой [48]. Старые ганзейские города больше не имели права ни

---

46. Критика меркантилистской политики вмешательства, регламентации и контроля со стороны просвещенных монархов, экономической политике которых были присущи фискальные заботы об интересах казны.
47. Кроче, Бенедетто (1866—1952), испытавший на себе влияние идей Вико и Гегеля, был автором труда «Matérialisme historique et économique marxiste» (1900), на который здесь ссылается Жорес. Отметим, что Жорес, вслед за Кроче, дает механистическую и несколько схематическую характеристику того, что он называет *экономическим* материализмом. См. ниже, «Дополнительные замечания», с. 64.
48. Дремлющая буржуазия. См. высказывание Энгельса, не свободное от некоторого преувеличения: «Немецкие буржуа знали, что

объединяться в союз между собой, ни вступать в союз с другими городами. Каждый из этих городов ограничивался тем, что жил и работал эгоистически, только для себя, и даже во имя своих коммерческих интересов всячески старался ослабить узы, связывавшие его с остальной Германией. Гамбург был космополитическим городом, куда со всего света стекались спекулянты, авантюристы и дельцы. Когда Германия вела войну с революционной Францией, Гамбург продолжал торговать с Францией под датским флагом и снабжал хлебом революционные города.

Кроме того, немецкая промышленность начинает развиваться благодаря княжеским и королевским указам, благодаря призванным Фридрихом иностранным рабочим, благодаря предоставляемым ей привилегиям и монополиям. Немецкая буржуазия весьма мало напоминает французскую, бывшую кредитором французского короля на сумму в несколько миллиардов, издавна существовавшую в рамках единой нации и отныне достаточно могущественную, благодаря длительному влиянию деятельности Кольбера, чтобы добиваться экономической свободы и политической власти [49]. В этом вопросе соображения Мирабо сходятся с соображениями Мёзера, и Бидерман превосходно резюмирует их [50]:

«Этот средний класс, сильный, просвещенный и независимый благодаря своей собственности и свободной промышленной деятельности, которая в современных государствах является опорой и источником политического движения, в XVIII в. в Германии был представлен лишь малочисленными изолированными элементами, лишенными всякого влияния. Старой буржуазии, гордой своей силой, более почти не было в городах империи; почти вся она была истреблена бедствиями Тридцатилетней войны. Класс ремесленников, владельцев мануфактур, купцов, пришедший ей на смену в монархических государствах, имел совсем другие основы материального существования; он почти полностью, прямо или косвенно, зависел от милости князей, дворов, администрации и чиновников; их он боялся, на них возлагал надежды, когда речь шла о его предприятиях. Значительная часть ремесленников жила производством предметов роскоши, предназначенных для рассеянных по всей стране княжеских дворов... Таким образом, все классы производителей были связаны с господствующей системой».

Немецкая буржуазия была недостаточно сильна, чтобы находить внутри своего класса сбыт своим товарам подобно французской буржуазии; в этом она полностью зависела от феодальной и княжеской Германии. В то время как во Франции сосредоточение богатых дворян в Версале и Париже отучило буржуазию средних и малых городов рассчитывать на клиентуру среди дворянства, а в самом Париже множество рантье и финансистов обеспечивало торговцам широкий сбыт для их товаров, в раздробленной Германии торговля и фабричное производство зависели от требований дворов. Слабая буржуазия, разделенная на бесчисленные

мелкие группы, возлагала все свои надежды на курфюрстов, князей, епископов, крупных землевладельцев, от них ожидала она стимула в своей жизни и развитии. И эти местные влияния были решающими; город был оживлен и работал или же был погружен в спячку и бездействие — в зависимости от нрава, идей и интересов непосредственных правителей [50а]. Например, кёльнские епископы считали наиболее разумным для того, чтобы предупредить освободительное движение народа, чтобы ослабить благородные страсти и усыпить сознание людей, сократить до минимума промышленную деятельность; им было удобно властвовать над клиентелой нищих и благодаря ей. Отсюда страшное запустение, яркую картину которого нам оставил Георг Форстер в своих «Видах Нижнего Рейна» и других сочинениях (весна 1790 г.) [51].

«Мы охотно покинули угрюмый и печальный Кёльн. Как мало соответствует этот обширный, но наполовину обезлюдевший город своему многообещающему виду со стороны реки! Из всех рейнских городов ни один не раскинулся столь широко, украсившись бесчисленными колокольнями. Мне называли столь огромное число колоколен, храмов и вообще алтарей, что оно превосходит всякое вероятие. Однако наряду со всеми этими храмами не осталось никакого местечка, где бы христиане, не признающие папы, могли свободно молиться. Магистрат, разрешивший протестантам отправлять богослужение в пределах городских стен, недавно оказался вынужденным взять это разрешение обратно, так как предрассудки черни угрожали восстанием, убийствами и поджогами. Эта чернь, составляющая почти половину населения города, т. е. массу в двадцать тысяч человек, обладает энергией, которая требует только лучшего руководства, чтобы придать Кёльну иной вид. Делается грустно, когда на расстоянии около тридцати немецких миль встречаешь город, расположенный для торговли несравненно выгоднее,

---

Германия — это только навозная куча, но им было удобно в этом навозе, потому что ... навоз согревал их». (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 2, с. 561.)

49. Ф. Энгельс, напомнив о слабости капитализма и буржуазии в Германии, подчеркивает, что «создателем немецкой буржуазии был Наполеон» благодаря навязанной им континентальной системе и свободе промыслов. (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 4, с. 48.)

50. Жорес ссылается здесь на труд Мирабо «De la monarchie prussienne sous Frédéric-le-Grand». См. выше, прим. 26.

50а. См. в этой связи: L. Gershoy. L'Europe des princes éclairés, 1763—1789. Paris, 1966. Он пишет о «гражданине и о его почтительном смирении перед авторитетом, о его неуклонном подчинении правам и прерогативам государя... о его подчеркнутой почтительности к вышестоящим, компенсируемой презрением к нижестоящим слоям, наконец и особенно о его полном отказе верить, что свободное исследование, критическое воображение, предприимчивый дух, смелость тоже могут быть буржуазными добродетелями, и притом не наименьшими» (p. 54).

чем Франкфурт, и тем не менее следует признать, что только во Франкфурте могло развиваться благосостояние, между тем как всюду в этих городах одни и те же причины противодействовали его развитию.

Говорят, в Кёльне живет много богатых семейств, но это меня не радует, ибо я на всех улицах вижу толпы оборванных нищих... Кому не ясно, что эта орава безнравственных и бессовестных нищих, живущих за счет трудящегося класса, должна задавать здесь тон? Но так как они ленивы, невежественны и суеверны, то они становятся орудием в руках своих вожаков, частью близоруких и развратных, частью коварных и властолюбивых. Духовные лица всех орденов, которыми кишат все улицы и огромное число которых производит на путешественника неприятное впечатление, могли бы благотворно влиять на нравственность этой необузданной массы, могли бы привести ее к прилежанию и к порядку... Но они не делают этого... Шайки нищих являются их милицией, которую они ведут на поводу темнейших суеверий, выдавая им скудный паек и натравливая их против магистрата, как только его распоряжения противоречат их намерениям».

Но всюду, даже там, где в действиях светских или духовных князей было больше понимания и уважения к человеческому достоинству, чем в этом отвратительном городе ленивого и нищего клерикализма, буржуазию водили на помочах, и она совсем или почти не обладала классовой гордостью. Когда во Франции Сиейес выступил со своей знаменитой формулой, такой скромной и в то же время гордой: «Что такое третье сословие? Ничто. Чем оно должно быть? Всем. Чем оно хочет быть? Кое-чем»,— то он нашел широкий и мощный отклик [52]. Ответом на тот же вопрос, заданный в 1789 г. в Германии, было бы полное молчание или, в лучшем случае, он был бы неопределенным, расплывчатым и беспомощным.

РЕЧЬ ШИЛЛЕРА О МИРОВОЙ ИСТОРИИ

Нельзя сказать, чтобы в этой Германии, столь сильной и смелой в области мысли, буржуазия не отдавала себе отчета в историческом развитии, постепенно разлагавшем средневековый уклад и порождавшем новые формы производства, обмена и жизни. Как раз в 1789 г., в речи «В чем состоит изучение мировой истории?», которой Шиллер начал курс лекций в Иенском университете и которую он произнес 26 мая, он нарисовал превосходную картину этой эволюции [53].

Но характерно, что он не столько подчеркивает усилия и борьбу, посредством которых была завоевана лучшая жизнь, сколько говорит об искусном и мирном приспособлении старых форм к новой жизни. И он не предлагает молодежи, слушающей его в эти бурные дни, озаренные первыми всполохами Француз-

ской революции, никакой непосредственной задачи, не призывает ее к действиям. Он словно советует ей пассивно отдаться течению великой реки.

«Ясное небо светит теперь над лесами Германии, которые раздвинули и сделали доступными лучам солнца сильные человеческие руки, и в водах Рейна отражаются виноградные лозы Азии. На его берегах возвышаются многолюдные города, и бодрая жизнь их наполнена трудом и наслаждением. Находясь здесь среди миллионов себе подобных, человек спокойно пользуется плодами своего труда, в то время как раньше его лишало сна присутствие хотя бы единственного соседа. Равенство, утраченное им при вступлении в общество, он обрел снова благодаря мудрым законам. От слепой власти случая и нужды он нашел себе прибежище под более мягким господством общественного договора и пожертвовал свободой хищного зверя во имя более благородной человеческой свободы. Он осуществил плодотворное разделение своего труда и своих забот. Тяжелая нужда не приковывает его теперь к плугу, и враг не отрывает его от него, чтобы сражаться за отечество и домашний очаг. Труд земледельца наполняет амбары хлебом, оружие воина защищает страну. Собственность человека находится под охраной закона, и ему обеспечено драгоценнейшее право самому выбирать себе профессию.

Сколько было создано произведений искусства, какие чудеса

---

51. См. выше, прим. 42. [См.: Г. Ф о р с т е р. Цит. соч., с. 58.] Жорес цитирует здесь пятое письмо, из Дюссельдорфа; он переводит буквально — «Виды Нижнего Рейна». [См.: Г. Ф о р с т е р. Избранные произведения. М., 1960. «Путешествие по берегам Рейна».— *Прим. ред.*]
52. См.: Ж. Ж о р е с. Цит. соч., т. I, кн. 1, с. 189. Подлинный текст следующий: «Что такое третье сословие? Все. Чем было оно до сих пор в политическом отношении? Ничем. Чего оно требует? Стать кое-чем в политическом отношении».
53. Шиллер, Иоганн Фридрих (1759—1805). После написанных им в молодости драматических произведений («Разбойники», 1780; «Заговор Фиеско», 1783; «Дон Карлос», 1787) обратился к философии и истории, опубликовав «Историю отпадения Нидерландов от испанского владычества» (1788), «Историю Тридцатилетней войны» (1791—1793). Шиллер начал читать лекции по истории в Иенском университете 26 мая 1789 г. речью на тему: «В чем состоит изучение мировой истории и какова цель этого изучения». Речь эта была опубликована в журнале «Der Deutsche Merkur» в ноябре 1789 г. Жорес датирует эту речь 26 мая 1790 г.; отсюда в его последующих рассуждениях возникает некоторая хронологическая путаница. См. ниже, прим. 55. Впоследствии Шиллер, под влиянием насильственных мер Французской революции, отказался от изучения истории, чтобы посвятить себя «эстетическому воспитанию» человечества и проекту народного просвещения. О Шиллере см. ниже, гл., II с. 134. [Об исторических воззрениях выдающегося представителя немецкого Просвещения Ф. Шиллера см.: Н. Т е р - А к о п я н. Шиллер как историк.— В кн.: Ф. Ш и л л е р. Собр. соч., т. 5, М., 1957.— *Прим. ред.*]

сотворило прилежание, какой свет был пролит на все отрасли знания, с тех пор как человек не расточает бесплодно своих сил для вынужденной самозащиты, с тех пор как от его собственной воли зависит, как бороться с нуждой, от которой ему не дано освободиться полностью, с тех пор как он получил драгоценнейшее преимущество распоряжаться своими способностями и следовать своему призванию! Как оживилась повсюду деятельность с тех пор, как многообразные потребности дали новый толчок человеческой изобретательности и открыли новые области для труда! Рушились преграды, созданные между нациями и государствами враждебным эгоизмом. Все мыслящие умы объединены теперь всемирными узами, и гений нового Галилея или Эразма будет светом всего их века» [54].

Это великолепный гимн буржуазии, великой буржуазной цивилизации, безопасности, производительной деятельности, разделению труда и функций, свободе промышленности, расширению рынков и широте разума, всемирному обмену товарами и идеями. Шиллер очень ясно сознает это движение. Именно буржуазному классу, именно *третьему сословию* недвусмысленно воздает он хвалу за весь этот замечательный прогресс цивилизации.

«Чтобы ремесла и торговля могли процветать, чтобы богатство могло вызвать к жизни искусство, чтобы государство стало уважать полезный труд земледельца и *чтобы наше среднее сословие,— этот творец всей нашей культуры,— могло создать предпосылки для прочного счастья человечества, должны были подняться города Италии и Германии, открыть свои ворота для труда, сбросить цепи крепостного права*, вырвать судебную власть из рук невежественных тиранов и заставить уважать себя с помощью воинствующей Ганзы».

Это решительное и нарочитое прославление могущества буржуазии, и, как ни осмотрителен и осторожен должен был быть в тот момент профессор немецкого университета, от него ждешь упоминания — хотя бы одним словом — о том, что процесс преобразования, который укрепляет это могущество, отнюдь не закончен. Но нет, он, наоборот, как будто бы говорит, что новая свободная жизнь решительно смягчила и использует для своих нужд все силы прошлого, все старые институты, и теперь надо только дать до бесконечности развиваться естественным проявлениям этого могущества, ставшего отныне неограниченным.

«*Правда, и в нашем веке еще осталось много пережитков прежнего варварского периода — этих порождений случая и насилия, которые не должен был бы увековечивать наш век разума. Но даже и этому варварскому наследию древних и средних веков человеческий разум придал некую целесообразность. Сколь безвредным и даже полезным делает он часто то, что еще не осмеливается ниспровергнуть! На грубом базисе анархической ленной системы Германия построила систему своей религиозной и политической свободы. Тень*

римского императора, которая сохранилась по эту сторону Апеннин, творит для мира несравненно больше добра, чем страшный его прообраз в Древнем Риме, потому что она поддерживает полезную государственную систему единодушием, в то время как тот подавлял человеческую деятельность рабским единообразием. И даже в религии нашей, как ни искажена она теми ненадежными руками, из которых мы ее получили, видно облагораживающее влияние более высокой философии. Наши Лейбницы и Локки имеют такие же заслуги перед догматами и моралью христианства, как кисть Рафаэля и Корреджо перед священной историей».

Я хорошо понимаю, что Шиллер должен был проявлять на своей кафедре в Иене большую сдержанность. И мне также известно, что именно в тот момент, когда он говорил,— в мае 1789 г.,— время, казалось, благоприятствовало мыслям о мире, о медленном и спокойном развитии. В самой Франции, после волнений первых месяцев, между традиционной королевской властью и волей нации, казалось, установилось своего рода равновесие. И Шиллер, пожалуй, мог расширить горизонты и повести речь о торжестве всеобщего мира.

«Возьмем, наконец, наши государства. Как крепко и как искусно связаны они друг с другом и насколько прочнее эта связь, продиктованная благодетельной необходимостью, чем торжественные договоры прошлого! Мир охраняется теперь постоянной готовностью к войне, и эгоизм одного государства стоит на страже благоденствия другого. *Общество европейских государств превратилось как бы в одну большую семью. Ее члены могут еще враждовать друг с другом, но надо надеяться, что они уже не будут раздирать друг друга на части*».

Прибавлю, что у Шиллера были веские основания желать для Германии медленного и почти неощутимого преобразования. Быстрое и мощное движение предполагало концентрацию сил и власти, прочное единство по французскому образцу. В каждом государстве ожесточенная борьба между буржуазией и князьями и дворянами немедленно вызвала бы появление обширных группировок сил; та из двух обширных враждебных группировок, которая бы одержала победу, навязала бы Германии эту, неизбежно связанную с борьбой, централизацию. Наоборот, если бы третье сословие, увлекаемое мощным и светлым потоком истории, развивалось постепенно

---

54. Шиллер предстает здесь как человек века Просвещения, одной из существенных черт которого была вера в прогресс, начиная с труда Тюрго «Tableau philosophique des progrès de l'esprit humain» (1750). [См.: Тюрго. Последовательные успехи человеческого разума.— В кн.: А. Р. Тюрго. Избранные философские произведения. М., 1937] и до труда Кондорсе «Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain» (1794). [См.: Ж. А. Кондорсэ. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М., 1936.]

в каждом княжестве, то свобода могла бы приспособиться к существовавшей тогда раздробленности Германии. Именно это и было мечтой многих мыслителей, и вот почему Шиллер с удовольствием останавливается на силах приспособления, действовавших в истории. Раз немецкая свобода сумела использовать при своем первом установлении политическую раздробленность, «феодальную анархию», то почему бы ей также не упрочить свои конечные и решительные успехи путем дробления самого политического суверенитета, путем уничтожения имперской власти?

Великий поэт предвидит создание братской федерации автономных германских государств, проникнутых духом растущей свободы и приводимых в состояние гармонии именно самой этой свободой. Наконец, пути развития истории многообразны, и человеческая жизнь не может быть втиснута раз и навсегда в какие-то застывшие формы. Быть может, если бы между революционной Францией и Германией не вспыхнула война, если бы война эта не привела к напряжению всех жизненных сил немцев, не привела бы к утверждению идеи единства, вызвав одновременно милитаризацию этой идеи, то германская нация и немецкая демократия установились бы в федеративной и мирной форме, которую предпочитал Шиллер.

Но даже для Шиллера эта идиллическая мечта была бы невозможной, если бы в тот момент, когда он выступал с лекцией, в Германии существовала активная, сильная и нетерпеливая буржуазия. Как после созыва Генеральных штатов во Франции, после клятвы в Зале для игры в мяч, после 14 июля и падения Бастилии, после октябрьских дней и победы Парижа, вновь вернувшего короля в свои стены, после ночи 4 августа и отмены феодального порядка, после упразднения десятины и национализации всех церковных имуществ, как мог после всего этого пламенный поэт, автор «Разбойников» и «Дон Карлоса», удовольствоваться для Германии тем, что существовало! [55] Он не смог бы прославлять эволюцию человечества и ни одним словом не упомянуть о том, что это третье сословие, творец цивилизации, не имеет в Германии никаких политических гарантий, никакой доли участия в политической власти, что ни произвол князей, ни феодальные повинности, ни цеховые путы не уничтожены! Нет, он не смог бы так тешить себя безграничными перспективами и пренебрегать вопросами нынешнего дня, если бы в Германии существовал энергичный, сознательный, отважный класс, жаждавший деятельности и власти.

В Иене он произнес перед молодежью спокойные и возвышенные слова:

«Раскрывая перед нами этот тонкий механизм, посредством которого *тихая* рука природы с начала времени планомерно развивает в тиши человеческие силы и с точностью отмечает, что́ сделано в каждый промежуток времени во исполнение этого великого плана

природы, история восстанавливает правильный масштаб для оценки счастья и заслуг, который всячески искажается иллюзиями, господствующими в данном веке. Она предохраняет нас от преувеличенного преклонения перед древностью и от ребяческого сожаления о прошедших временах...

Все прошлые века, не сознавая того или не достигая цели, напряженно работали над тем, чтобы подняться до нашего *человеческого* века. Все сокровища, добытые трудом и талантом, разумом и опытом на протяжении долгого существования мира, принадлежат в конце концов нам» *.

Если бы юные студенты из Иены были, подобно студентам из Ренна [56], сыновьями смелых и честолюбивых буржуа, достигших высокого классового сознания, они не потерпели бы, чтобы их знаменитый учитель развертывал перед ними картину совершающейся в тиши безграничной эволюции, не призывая их к определенным и решительным действиям. Как! Мы ограничимся составлением перечня сокровищ, накопленных человечеством в прошлом, и так и не поднимемся до того, чтобы увеличить эти сокровища как раз в тот час, когда великий соседний народ обогащает человечество поразительными достижениями в области права? Как! Мы должны ждать того дня, когда под мягким светом солнца, которого глаза наши, быть может, и не увидят, на немецкой земле тихо расцветут свобода и справедливость, подобно полевым цветам! Нет, не с такой высоты, не из такого далека, не с точки зрения вечной эволюции хотим мы смотреть на мир и происходящие в нем битвы. Мы хотим броситься в водоворот жизни, в водоворот действий, в кипящий человеческий водоворот!

Но нет, они не говорят этим языком, и нет в них подобного нетерпения, ибо оно невольно проявилось бы в словах великого и пламенного поэта, отдавшего им свою душу и искавшего общения с их душой.

Несомненно, ни мысль, ни сознание немцев не созвучны мысли и сознанию французов. Горячее дыхание Революции никак не коснулось немецкой буржуазии. О, эти неосторожные жирондисты, полагавшие, что скрытый огонь, пожиравший мир, внезапно вырвется наружу от объявшего Францию революционного пламени! На деле же то была бледная и задумчивая луна, поднимавшаяся за багровой вершиной вулкана.

Но не только политическая раздробленность Германии, не

---

55. Вспомним здесь, что свою речь о мировой истории Шиллер произнес 26 мая 1789 г., а не 1790 г. См. выше, прим. 53.
* См.: Фр. Шиллер. Собрание сочинений. М., 1956. ГИХЛ, т. IV. Вступительная лекция: «В чем состоит изучение мировой истории и какова цель этого изучения».
56. О революционных настроениях студентов университета в г. Ренн в 1788—1789 гг. см.: Ж. Жорес. Цит. соч., т. I, кн. 1, с. 101.

только экономическая слабость ее буржуазии сразу парализовали или ослабили революционный дух в этой стране.

Важно еще и то, что Германия в течение полувека привыкла к тому, что все прогрессивное исходило сверху.

ВЛИЯНИЕ ФРИДРИХА II

Во Франции монархия уже давно выполнила свою главную задачу — создание единого национального государства; к тому же еще совсем недавно она была дискредитирована личными пороками Людовика XV и непоследовательностью его политики, а поэтому и французская мысль, достигшая в XVIII в. своего расцвета, чувствовала себя независимой от королевской власти. Наоборот, Германия, раздробленная, подавленная и униженная после Вестфальского мира, вновь начала обретать веру в свои силы только под влиянием героических усилий Фридриха II и реформаторской деятельности Иосифа II. Фридрих II, этот замечательный государь, который во время Семилетней войны боролся один почти против всей Европы, который не впадал в уныние ни при каких неудачах и не обольщался никакими победами, который впоследствии, в мирное время, являл собой пример неустанного и добросовестного труженика, который, хотя он и не понимал и относился с пренебрежением к непосредственным усилиям и достижениям немецкой мысли, открыл ей тем не менее пути к величию, был для всех слоев немецкого народа, как для солдат, так и для ученых, как для крестьян, так и для людей искусства, героем национального возрождения [57].

К чему это отрицает Франц Меринг в своей книге «Легенда о Лессинге»? [58] Зачем, отказываясь видеть блестящую, очень привлекательную деятельность Фридриха II, он тем самым осуждает себя на непонимание истории современной Германии? Совершенно искусственно применив теорию классовой борьбы и экономического материализма, он вообразил, что немецкая буржуазия XIX в., не сумев сама осуществить дело национального объединения, предназначенное ей историей, и предоставив заботу об этом и честь этого Гогенцоллернам, стремилась скрыть свою несостоятельность, ссылаясь на то, что со времени Фридриха II существовала всепроникающая связь между действиями короля и немецкой мыслью.

Жизнь Лессинга, который почти полвека провел в Пруссии, по мнению Меринга, вполне подходила для этой легенды, и именно поэтому немецкая буржуазия в силу своего рода ретроспективного угодничества отвела великому и свободному уму Лессинга скромное место под сенью Гогенцоллернов. Но насколько это построение Меринга искусственно и непрочно! Прежде всего, если немецкая буржуазия, по его же собственному выражению, является не более чем «запоздалым выкидышем» в мировой истории, если она была

решительно неспособна выполнить в XIX в. свою историческую задачу без губительной помощи Гогенцоллернов, то как можно удивляться тому, что в XVIII в. самый прославленный из Гогенцоллернов содействовал своими героическими деяниями охватившему умы порыву, пробуждению мысли? Имеется множество свидетельств решающего влияния Фридриха II на развитие немецкого гения, словно луч славы и героизма переливается в луч просвещения. Мерингу не легко будет опровергнуть историческое свидетельство Гёте [59].

«Впервые правдивое, высокое и подлинно жизненное содержание было принесено в немецкую поэзию Фридрихом Великим и подвигами Семилетней войны. Любая национальная поэзия пуста и неминуемо будет пустой, если она не зиждется на самом важном — на великих событиях в жизни народов и их пастырей, когда все, как один человек, стоят за общее дело. Королей следует изображать на войне и в опасности, ибо доподлинными властителями они являются лишь в часы испытаний, когда определяют и разделяют судьбу последнейшего из подданных и в силу этого становятся интереснее самих богов, ибо боги, однажды предначертав исход событий, устраняются от участия в таковых. В этом смысле каждая

---

57. Фридрих II (1712—1786), прозванный Великим,— прусский король с 1740 г., один из «просвещенных монархов». См.: L. G e r s h o y. Op. cit., chap. IV, p. 77—89. [О деятельности Фридриха II см. коллективный труд советских ученых «Германская история в новое и новейшее время», т. I, М., 1970, с. 117—129.— *Прим. ред.*] «Коротко говоря,— заключает автор,— этот энергичный государь был реакционером-реформатором, желавшим разрешать дилеммы нового века уже устаревшими средствами своего времени».
58. Меринг, Франц (1846—1919) — публицист, историк и марксист-теоретик, представитель левого крыла Германской социал-демократической партии, соратник Розы Люксембург, Карла Либкнехта и Клары Цеткин, член «Союза Спартака», один из основателей Коммунистической партии Германии. Его труды по истории Германии, по истории германской социал-демократии, о жизни Маркса, его «Легенда о Лессинге» принадлежат к наилучшим работам марксистской историографии. С 1960 г. в Берлине осуществляется полное издание его трудов (F. M e h r i n g. Gesammelte Schriften. Berlin, Bd. 1—14); что касается «Легенды о Лессинге», см. в конце этой главы «Дополнительные замечания», Ф. Меринг и Ж. Жорес, 3, с. 65. [Русский перевод «Легенды о Лессинге» см.: Ф. М е р и н г. Литературно-критические статьи. М., «Academia», 1934, т. I. см. также: С. В. О б о л е н с к а я; Франц Меринг как историк. М., «Наука», 1966; А. Г. С л у ц к и й. Франц Меринг: революционер, ученый, публицист (Послесловие В. М. Далина.). М., «Наука», 1979.— *Прим. ред.*] О Лессинге (1729—1781) см. выше, с. 11, прим. 2. Лессинг долго жил в Берлине, где у него возникли резкие споры с Вольтером.
59. Свидетельство Гёте, цитируемое Жоресом, взято из произведения «Поэзия и правда». Жорес не учитывает данного Ф. Мерингом анализа свидетельства Гёте и принимает это свидетельство буквально.

нация, претендующая на всемирно-историческое значение, должна иметь свою эпопею... Пруссаки, а вместе с ними и вся протестантская Германия, обрели для своей литературы сокровище, у противной стороны [католической Австрии] не имевшееся и не возместимое никакими позднейшими усилиями...

Но об одном поэтическом порождении Семилетней войны, всецело навеянном мощным духом северонемецкой национальной сути, я должен здесь упомянуть с особой признательностью. Первым драматическим произведением сугубо современного содержания, смело выхваченным из самой гущи той замечательной эпохи и посему оказавшим чрезвычайное, никем не предвиденное воздействие, была „*Минна фон Барнхельм*“»* [60].

Я не собираюсь здесь выяснять, насколько верно уловил Гёте связь между произведением Лессинга и деятельностью Фридриха II. Может быть, г-н Мерinг действительно приписывает слишком много национал-либералам, называя буржуазными филистерами всех, придающих какое-нибудь значение этим словам Гёте. Но речь здесь идет вовсе не о Лессинге; я должен отметить общее влияние Фридриха II на духовную жизнь Германии, так как оно отчасти объясняет недостаток революционного пыла у немецкой буржуазии конца XVIII в.

Сам Лессинг, каковы бы ни были превратности его жизни, какой бы неблагодарностью ни заплатили в Берлине за его услуги во время Семилетней войны, всегда признавал, что источником новых дерзаний немецкого гения были дерзания и действия Фридриха II. Он освободил Германию от оков подражания и страха.

И как может Мерinг ссылаться на гневные слова Гердера, проклинавшего Берлин? Я полагаю, что именно Гердер больше всего и прославлял и комментировал деяния Фридриха II [61]. Вскоре после смерти короля он писал в своих «Письмах для поощрения гуманности»:

«Все мы думаем, что если на Европу и оказал сильное воздействие какой-нибудь великий человек, то это был именно Фридрих II. Когда он умер, казалось, что землю покинул необычайный гений. И друзья, и враги его славы были потрясены: казалось, что даже в своем земном обличье он должен был быть бессмертен... Итак, вы хотите, чтобы я поделился воспоминаниями о самых зрелых и самых трудных годах его жизни. Почти каждый год этой жизни вызывает во мне молчаливое восхищение великим человеком, а во времена Семилетней войны оно доходит до сострадания, исполненного чувства трагизма. Душа, рожденная для радости, для самой прекрасной деятельности в дни покоя и мира, человек, который в молодые годы дважды отдал дань лаврам военной славы — то ли под влиянием минутного увлечения, то ли по политическим соображениям — и который неизменно добивался быстрых успехов, теперь

вынужден очень дорого платить за этот венец победителя. Все державы Европы объединяются, чтобы обрушиться на одинокого и слабого человека, и его невероятная храбрость, его непоколебимое мужество, вместо того, чтобы умерить их гнев, напротив, возбуждают его. В те часы, когда опасность непрерывно нарастает, когда кажется, что судьба его уже решена, из глубин его души героя рождаются письма, *которым нет равных ни у одного народа, ни древнего, ни современного* [62]. Ничего подобного не рождалось ни в душе Катона, ни в душе Цезаря, ни в душе Брута или Оттона».

Поистине немецкую душу потрясла героическая драма; среди медленно плывущих, неясных по своим очертаниям облаков немецкой мысли она сверкнула как ослепительная молния. По мнению Гердера, это не было грубое ослепление победой и гордостью. Напротив, он сожалеет о том, что политика дворов Европы заставила Фридриха II прибегнуть к насилию:

«Несомненно, из-за этого многие зачатки кроткой гуманности, которые развились бы естественно в его благородной душе, были загублены. Имела ли когда-нибудь гуманность худшего врага в Европе, чем политика великих держав?»

Итак, немецкая мысль охотно угадывала под доспехами, которыми королю-воину пришлось облечь свою грудь, сердце страждущего и доброго человека. Вот, если угодно, и вся «легенда». Но

---

* Иоганн Вольфганг Гёте. Собрание сочинений. М., 1976, т. III. «Из моей жизни, поэзия и правда», с. 236, 237, 238. Перевод Н. Ман.

60. «Минна фон Барнхельм» вышла в свет в 1767 г.

61. Гердер, Иоганн Готфрид (1744—1803) особенно прославился как историк культуры своим трудом «Идеи к философии истории человечества» (1784—1791) (французский перевод был сделан в 1827 г. Э. Кине); это произведение — полная противоположность тем, в которых наследники философов эпохи Просвещения, такие, как Кондорсе, старались показать прогресс человечества. Его «Письма для поощрения гуманности» написаны между 1793 и 1797 гг.; это эссе на разные темы, к которому прибавлены извлечения из трудов других авторов — максимы Фридриха II, размышления Лессинга, стихи Клопштока; в центре — идея гуманности. О Гердере см. ниже, гл. II, с. 111. См. в конце данной главы «Дополнительные замечания», Ф. Меринг и Ж. Жорес, 4, с. 66. [О взглядах выдающегося представителя немецкого Просвещения И. Г. Гердера см.: А. В. Гулыга. Гердер. М., 1963; Б. Г. Вебер. Историографические проблемы. М., 1974, с. 7—19; см. также: Готфрид Гердер. Избранные сочинения. М.—Л., 1959.— *Прим. ред.*]

62. «Посмертные сочинения прусского короля Фридриха II» в 15 томах («Œuvres posthumes de Frédéric II, roi de Prusse», Berlin, 1788, vol. 1—15) вышли в Берлине в 1788 г. В них содержится и переписка с Вольтером. На нее и ссылается Гердер. Окончательное издание переписки Фридриха II было выпущено берлинской Академией в 1878—1886 гг. [См.: «Politische Korrespondenz». Bd. 1—46., Berlin, 1879—1939.]

как мог г-н Меринг ссылаться на Гердера, чтобы опровергнуть влияние Фридриха II на развитие великой немецкой мысли? [63]

Даже те, кто, как Клопшток [64], более всего страдал от предубеждения и презрения короля к нарождавшейся в Германии литературе, выражают свое восхищение Фридрихом II, и именно он для них служит образцом величия. Но не с самого начала: на первых порах, во время кампании в Силезии, Клопшток смотрит на него лишь как на завоевателя и с горечью и осуждением пишет о насилии, о его смертоносном деле; он мысленно бежит от этих «полей, где царит железо, где горестные стоны матери не в силах вырвать у смерти ее гибнущего сына», и уносится в безоблачные края, «где убийцу не чтут как героя». Порывы его души, «слезы его мечтаний» устремляются к более возвышенной и бессмертной славе — к славе творческой мысли.

Но, несмотря на все, по мере того, как Фридрих II развертывает свою деятельность, поэт изменяет свое отношение к нему. Он хотел бы, чтобы великий король-герой стал другом, советчиком немецкой поэзии. Но, увы, тот знает и любит только творения Франции. И тем не менее немецкое отечество хочет только одного: чтобы он улыбался как тем, кто мыслит, так и тем, кто действует. Какой страстью и страданием проникнуты слова Клопштока к Германии.

«Нет, больше не могу я молчать: душа моя горит, хочет воспарить в дерзком полете. О, будь же добра ко мне, моя отчизна, увенчанная тысячелетней славой! Люблю тебя! Ах, она отвечает мне знаком; и я решился; рука моя трепетно перебирает струны. Будь снисходительна и мягка, о великая мать! Дуновение проходит по твоей священной короне, ты ступаешь поступью бессмертных... Высокие пути приоткрылись мне, и, сжигаемый все более пламенным желанием славы, я вступил на них. Они ведут меня к высокой родине всего человечества [сверхъестественное отечество «Мессиады»] *. И ныне это тебя, моя немецкая отчизна, хочу я воспеть. Ты — та почва, на которой зреют мысли и дела для свершения великих предначертаний».

И сколь виновны те, кто отказывает в своей любви великой Германии! «Я — юная немецкая девушка, у меня голубые глаза и нежный взгляд; у меня благородное, гордое и доброе сердце. И мои голубые глаза смотрят сердито, и мое сердце преисполнено ненависти к тем, кто не признает отечества... Я — юная немецкая девушка и не согласилась бы ни на какое другое отечество, будь я свободна в выборе. Я — юная немецкая девушка, и мой гордый взгляд полон презрения к тем, кто колеблется в своем выборе... Нет, ты недостоин своего отечества, если не любишь его, как я!.. Я — юная немецкая девушка; мое благородное, доброе и гордое сердце бьется сильнее, когда произносят сладостное имя отчизны;

и оно забьется только при имени юноши, который, как и я, гордится своим отечеством, который добр и благороден, он настоящий немец!»

Так в 1770 г. пела муза Клопштока [65], и его гневные намеки обращены к великому королю, бывшему для Германии одновременно и славой, и горем. Несколько лет спустя, когда Фридрих II якобы сказал Геллерту знаменитую фразу [66]: «Почему немцы, подобно французам, не пишут таких книг, которые заставили бы меня прочесть их?»— Клопшток воскликнул:

«О ты, увидевший своим проницательным взором путь к победе и бессмертию, но, быть может, далеко отклонившийся от цели, бродя по бесчисленным дорогам жизни, неужели ты не видишь, как быстро выросла немецкая мысль, как ее крепкий ствол опирается на прочные корни и его ветви отбрасывают широкую тень!.. *О Фридрих, где был твой орлиный взгляд*, когда возрастала сила духа, когда било ключом вдохновение и разгоралось пламя,— все то, что короли могут вознаградить, но чего они не в силах создать?.. ...Но в состоянии ли вы услышать немецкую песню, вы, чей слух неотвязно преследуют французские рифмы?»

Чувствуется, что для Клопштока германское отечество стало бы совершенным, если бы героический гений Фридриха II и гений мыслителей и поэтов слились как бы воедино в общем достоянии. Но кто не почувствует, уже по самому страданию непризнанной немецкой мысли, каким непреодолимым очарованием обладал для нее герой Семилетней войны? И когда Фридрих II умер, Клопшток

---

63. Суждения Гердера о Фридрихе II иногда были более суровы. См.: Herder. Journal de mon voyage en l'an 1769. «Несомненно, то, что было в нем великого, было негативным — способность к обороне, сила, сопротивляемость; только его великие учреждения останутся вечными». Далее он упрекает его в том, что своей Академией он способствовал упадку философии. «Его философия, философия Вольтера, распространялась, однако, в ущерб миру; его пример был более пагубным, чем его доктрина... Он следовал примеру Макиавелли, хотя отвергал его». Фридрих II написал «Анти-Макиавелли»— опровержение «Государя» Макиавелли.
64. О Клопштоке см. выше, прим. 1.
* «Мессиада»— эпическая поэма из 29 песен, созданная Клопштоком в 1748—1773 гг., в основу сюжета которой легли легенды о деяниях Христа из Нового завета.— *Прим. ред.*
65. Клопшток был создателем немецкой национальной поэзии. У его од были две основные темы: любовь к отечеству и любовь к свободе. Когда в 1789 г. произошла Революция, то именно в ней видел он отныне — вопреки своему мнению о великих деяниях Фридриха II —«величайшее событие века». См. ниже.
66. В 1745 г. Геллерт (1715—1769) положил начало в Лейпциге курсу лекций по поэзии и красноречию, имевших большой успех. Из его произведений назовем «Басни и рассказы» (1746), «Духовные оды и песни» (1757 и 1759) и особенно «Жизнь шведской графини фон Г...» (1747—1748). См. в конце главы «Дополнительные замечания», Ф. Меринг и Ж. Жорес, 5, с. 66.

позволяет своей тайне раскрыться: действия короля были для него вершиной достижений века, высшим мерилом всяческой славы. Накануне созыва во Франции Генеральных штатов Клопшток восклицает: «Мудрое собрание Франции еще в дымке зари, утренний ветерок пронизывает нас до самых костей. Ах, пусть взойдет новое солнце, о котором никто даже не мечтал! Благословляю жизненную силу, позволившую мне дожить до этого дня, несмотря на мои шестьдесят лет. Простите меня, французы (это благородное братское имя), за то, что я так долго отговаривал немцев от того, что я советую им ныне,— поступить так, как вы [67]. *До сего времени я полагал, что величайшим событием века была борьба Геркулеса — Фридриха, защищавшегося своей палицей от всех государей и государынь Европы.* Я больше не думаю так. Франция венчает себя гражданской славой, не имеющей равных! Ее блеск более прекрасен, чем блеск обагренных кровью лавров» [68].

ВЛИЯНИЕ ИОСИФА II

В тот момент, когда Германия начала с восхищением размышлять о героической жизни прусского короля, она была плохо подготовлена к самопроизвольному зарождению в ней революционного движения. К тому же она была взволнована примером императора Иосифа II, эрцгерцога Австрийского [69]. Это он в течение всего своего правления, до самой своей смерти в 1790 г., выступал инициатором многочисленных смелых реформ; это он увеличивает число школ, ограничивает могущество церкви, конфискует имущество монастырей, поощряет торговлю и промышленность, провозглашает веротерпимость. Это благодаря ему также Германия привыкает ждать спасения и прогресса свыше; но на его примере она также убеждается, сколь трудно дело реформ. Несмотря на всемогущество императора, несмотря на свою непреклонную волю, Иосиф II непрерывно наталкивается на сопротивление сил прошлого, и предрассудки, которые он собирается одолеть силой, как бы сами восстают против него. Восстают Нидерланды, чтобы сохранить господство своих монахов; толпы фанатиков упорствуют, желая оставаться под игом церкви; и даже крестьяне не поддерживают императора, отменившего барщину. Таким образом, старания императора, казалось, являли Германии двойной урок бессилия; прежде всего потому, что политика реформ была политикой власти, проводимой сверху, и затем потому, что, идя по пути реформ, даже эта власть терпела провал. Что же делать? В великую печаль и в великое сомнение повергала современников беспокойная, деятельная, но бесплодная жизнь Иосифа II. Виланд отразил это настроение в статье, написанной в марте 1790 г. [70]:

«Это было правление, почти каждый день которого был отмечен изданием нового закона, систематическим уничтожением того

или иного злоупотребления или каким-нибудь начинанием, но при котором в то же время (несмотря на беспримерные энергию и преданность государя, хотевшего все видеть и всем руководить) было издано столько преждевременных законов, быстро терявших всякий смысл вследствие постоянных перемен, предпринято столько неудачных начинаний и совершено столько отступлений, что потомки не будут знать, восхищаться ли им неисчерпаемым и не знавшим усталости гением государя, у которого было столько великих и благих мыслей, или же удивляться капризу злого духа,

---

67. До 1789 г. Клопшток, если и любил свободу, не любил Франции. В одной своей речи на латинском языке он высмеял французское легкомыслие, отсутствие возвышенности мыслей, ветреность. В 1753 г. в «Рейнском вине» он превозносил немецкую основательность, которой чужда легковесность пены шампанского. Сравнительно с «Мессиадой» «Генриада» [Вольтера], по его мнению, не что иное, как дурная поэма.
68. Эта ода Клопштока озаглавлена «Генеральные штаты». См. ее перевод на французский в: M. B o u c h e r. La Révolution de 1789 vue par les écrivains allemands ses contemporains, p. 38.
69. О Иосифе II см. выше, прим. 23. См.: L. G e r s h o y. Op. cit., p. 89—103. Гершой высказывает следующее суждение: «Взгляды Иосифа II были в духе его страны и его века: умудренная опытом бюрократия, а отнюдь не классовые учреждения, должна была бы побудить небеса спуститься на землю. Его резкий разрыв с прошлым, устрашавший его противников, был чересчур революционен даже для его сторонников. Он шел в авангарде просвещенного общественного мнения, все же еще недостаточно созревшего для его программы. Если можно извлечь урок из истории XVIII в., то он состоит в следующем: монархический либерализм, либерализм «по доброй воле» (du «bon plaisir») короля не в силах был один разрешить проблем общества, пришедшего в конфликт со своим собственным прошлым» (p. 103). [О политике «просвещенного абсолютизма» Иосифа II («иозефинизм») см. новейший коллективный труд советских историков: «Освободительные движения народов Австрийской империи. Возникновение и развитие. Конец XVIII в.— 1849 г.». М., «Наука», 1980, с. 35—41.]
70. Виланд, Кристоф Мартин (1733—1813), чье первое произведение «О природе вещей» (1752) имело большой успех, в 1759 г. выпустил в свет эпический фрагмент «Кир», скрытое восхваление Фридриха II. В 1772 г. в «Золотом зеркале, или Властители Шешиана» он прославлял блага просвещенного абсолютизма. Но критика рассматривает этот утопический роман как произведение, продиктованное дипломатическими соображениями и не дающее представления о подлинном значении Виланда. Когда началась Французская революция, Виланд проявил здравый смысл и остался, в общем, беспристрастным. Гёте хвалил его умеренность. С 1773 г. Виланд издавал в Веймаре журнал «Немецкий Меркурий», затем «Новый немецкий Меркурий», где публиковались статьи, освещающие и комментирующие ход событий, диалоги или рассказы, в которых автор подводил итог своим размышлениям. О Виланде см. ниже, гл. II, с. 68 и 120. [О К. М. Виланде см. коллективный труд советских ученых: «История немецкой литературы», т. 2, М., 1963, с. 179—202.— *Прим. ред.*]

с таким ожесточением и злобой подрывавшего все то, к чему только прикасался государь. Какой человек с сердцем может оставаться равнодушным перед этой дилеммой? Как тут не огорчаться при мысли о судьбе человечества и участи государей, которым столь легкомысленно завидуют?»

Рассказав о смелых реформах, осуществлявшихся в то время во Франции, Виланд пишет в заключение:

«Не следует скрывать того, что французским законодателям очень посчастливилось, что они имеют дело с нацией, достигшей столь крупных успехов в области культуры и просвещения; вместо того, чтобы чинить препятствия реформам, она встречает их с энтузиазмом и почитает за благо все то, что может быть сделано благого, и злом все то зло, от которого ее избавляют.

Герцог де Ларошфуко сказал на заседании [Учредительного собрания] 13 февраля, что общественное мнение Франции уже давно решило поставленный сегодня вопрос, оно давно уже требует упразднения монашеских орденов и монастырей [71].

Речь идет здесь отнюдь не о чувствах и действиях аристократической и иерархической партии, которая из-за своих частных интересов или под влиянием своих страстей не упускает ни единого случая смущать, насколько это возможно, народ, сеять среди него недоверие и возбуждать его. Народ, даже самый благородный и разумный, остается народом. Но французский народ явил уже столько доказательств того, что даже самые темные его слои в состоянии опомниться при первом же призыве к благоразумию, что нет оснований опасаться, как бы отчаянные усилия этих поджигателей не возымели успех.

Насколько же император Иосиф II имел дело с другими людьми и насколько его владения были мало подготовлены к всесторонним реформам и мало просвещенными, чтобы признать за благо те реформы, которыми он хотел их облагодетельствовать! Еще задолго до того, как кому-нибудь пришла в голову мысль о возможности Революции, столь быстро совершившейся во Франции, у Иосифа II были великие идеи, которые ныне осуществляются во всей их полноте французским Национальным собранием. Но какие непреодолимые препятствия выросли перед ним! Как оспаривался каждый его шаг, и как он должен был быть счастлив, когда ему удавалось, хотя и с большим трудом, осуществить малую толику того, что французские законодатели при благоприятных обстоятельствах смогли осуществить сразу и без ограничений! Великое дело — знать, является ли воля главы государства всеобщей волей».

Итак, признание бессилия просвещенного абсолютизма открыть новые пути, осуществить реформы породило у мыслящих людей Германии глубокие и удручающие сомнения. Гердер в одном из своих «Писем для поощрения гуманности» хорошо выразил также и эту всеобщую печаль и разочарование [72]:

«Странная вещь — смерть монарха. Мы предвидели смерть Иосифа II: нам было известно, что он болен и угасает; и все же сегодня, когда по нем звонят колокола, впечатление совсем иное! Я его никогда не видел и никогда не получал от него никаких благодеяний, но готов был плакать, читая о последних событиях его жизни. Прошло девять лет с тех пор, как он взошел на трон; к нему тогда взывали, как к богу-освободителю; от него ждали самых великих, самых славных дел, даже невозможного; теперь его опускают в землю как искупительную жертву времени. Был ли когда-нибудь император, был ли даже когда-нибудь простой смертный, который хотел бы большего, больше бы трудился, не ведая ни отдыха, ни покоя? И какая участь! Быть вынужденным перед смертью не только бросить дело самых плодотворных лет своей жизни, но и отречься от него, самому перечеркнуть его! История не знает другого монарха, которого постигла бы столь тяжкая участь. Да, да, он много видел. Он видел слишком много. Не только европейские страны, которые он посетил, с которыми он познакомился самым детальным образом с ранних лет, как наследник и соправитель; видел он также и, вызывавшие у него отвращение, вязкие топи, трясины предательства, коррупции, беспорядка, которые он хотел оздоровить и превратить в светлый и чистый сад; а теперь он погребен в этих пучинах».

Он хотел добра народу, он мужественно провозглашал превосходные принципы. «Разве не бессмыслица,— пишет он в преамбуле к ряду своих ордонансов, направленных против крепостной зависимости и феодальных прав,— что сеньоры будто бы владели страной еще до того, как там появились подданные, и что таким образом они могли уступать последним, на определенных условиях, свои владения? Да они бы умерли сразу от голода, если бы никто не обрабатывал землю! Было бы нелепостью, если бы государь вообразил, что это страна принадлежит ему, а не он — стране, что миллионы людей созданы для него, а не он — для них».

Но эти революционные слова, подрывавшие в самой его основе феодальное право, тонули в пучине беспробудной рутины и предрассудков. Чтобы придать им жизненную силу, нужно было широкое крестьянское восстание; но оно было невозможно по двум причинам: прежде всего потому, что Иосиф II, который хотел освободить народ, но не хотел, чтобы народ освободил себя сам, подавил бы его; затем потому, что крестьяне империи, чтобы пойти на такой риск, должны были чувствовать, что у них, как и у кресть-

---

71. Учредительное Национальное собрание, заседание 13 февраля 1790 г., выступление герцога де Ларошфуко. («Archives parlementaires», т. XI, p. 575.) Виланд с его антиклерикализмом— результат его воспитания в духе вольтерианства — был доволен уничтожением во Франции монашеских орденов. («Немецкий Меркурий», март 1790 г.)
72. См. выше, прим. 61.

ян Франции, в борьбе против дворянства будет союзник в лице смелой революционной буржуазии; между тем буржуазия германских государств, раздробленная и немощная, была почти полным ничтожеством.

Однажды Иосиф II написал городу, который хотел воздвигнуть ему прижизненный памятник: «Когда будут искоренены предрассудки и родится истинный патриотизм с правильными взглядами на всеобщее благо; когда каждый, сообразно со своими средствами, будет с радостью нести государственные повинности, содействовать безопасности и величию государства; когда распространится просвещение благодаря лучше поставленному обучению, более простой системе образования и согласованию истинно религиозных идей с гражданскими законами; когда правосудие будет более строгим, когда богатство возрастет благодаря росту населения и успехам земледелия; когда развитие промышленности и мануфактур приведет к обращению их изделий по всей империи, на что я твердо надеюсь, тогда я заслужу, чтобы в мою честь был воздвигнут почетный монумент, но не теперь». Великие надежды! Широкие проекты! Но даже при таком энергичном импульсе, каким была воля государя, старое, раздробленное, клерикальное и феодальное государство нелегко превращается в современное государство, и Иосиф II умер, сокрушенный неудачей [73].

Георг Форстер, этот столь деятельный и столь осторожный ум, этот столь пылкий и в то же время рассудительный человек, во время своей поездки в 1790 г. в австрийские Нидерланды, вскоре после смерти Иосифа II, отмечает, как благородны были усилия императора и как бесплодны [74]. И он вынужден прийти к заключению, что прогресс — дело медленное и трудное и что ускорять его невозможно. Так реформаторская деятельность императора оборачивается уроком терпения, покорности, выжидания.

В Льеже, где корпоративные предрассудки и религиозное суеверие с особой силой препятствовали всякому освободительному движению, Форстер внезапно почувствовал, как мельчает его мысль и слабеет его надежда. Ему кажется, что в этом городе, как в капле воды, отражается истинный облик Германии, с ее рутиной и бессилием [75]:

«Точка зрения, которой мы до сих пор придерживались, вообще была слишком высока для повседневной политики. Мы многого не учитывали. Наш горизонт так расширился, что более мелкие, ближе стоящие к нам предметы не попадали в поле нашего зрения. Здесь внизу, за толпой людей и их мелкой своекорыстной деятельностью, очень мало или совсем не видно все то, что казалось столь ясным, так ярко сияло перед нашими взорами,— права человечества, развитие духовных сил, моральное совершенство».

Форстер как бы подавлен и унижен гнусными силами реакции, держащими человечество в рабстве. И в Лувене борьба Иосифа II против всякой рутины, всякого невежества, всякого фанатизма оказалась тщетной![76]

«Иосиф скоро понял, что без усовершенствования общественных образовательных учреждений нельзя и думать об основательном просвещении его бельгийских провинций. В то же время он понимал, что единственным фундаментом, на котором могли надежно покоиться его государственные реформы, было усиленное благоразумие. Поэтому он перевел светские факультеты в Брюссель, чтобы избавить их от опасности теологического тумана и облегчить правительству наблюдение за ними. Это распоряжение, достойное великого государя, которое само по себе свидетельствует о том, как глубоко император проникал в суть вещей и как он умел достигать нужной ему цели, быть может, и было бы осуществлено, если бы он стремился ярким светом рассеять тьму, в которую нидерландское духовенство намеренно окутывало себя и своих сограждан. К несчастью, это были лишь молнии, резкий свет которых сделал еще более чувствительными ужасы ночи; то здесь, то там они опаляли что-нибудь своим холодным лучом, зажигали и уничтожали, оставляя затем все таким же пустым и неплодородным, каким оно было раньше. *Великий принцип, согласно которому все хорошее происходит медленно и постепенно, что благодетельно не действие пожирающего пламени, а действие мягкого солнечного света, рассеивающего вредные испарения и благоприятствующего росту органических существ, казался одинаково чуждым уму и сердцу Иосифа, и это отсутствие столь важного основного понятия разрушило все его великие и по-королевски задуманные планы*».

Итак, в тот самый момент, когда на пылающей земле Франции, казалось, внезапно пробились все ростки, злосчастные попытки

---

73. Неудача просвещенного абсолютизма объясняется самой природой монархии и государства старого порядка, которые остаются дворянскими. Просвещенный абсолютизм с самого начала утверждался как вполне добровольный социальный и политический выбор, решительно противоположный революционному пути. Просвещенные государи, связанные слишком многочисленными узами со *своим* духовенством, со *своим* дворянством, принадлежали, как и те и другие, к старому порядку, зданию слишком старому, чтобы его обновить. Революция привела к краху всей системы. См. прим. 79.
74. См. выше, прим. 42. Жорес перефразирует здесь шестнадцатое письмо, из Брюсселя. Форстер высказывает в нем следующее суждение об Иосифе II: «Не стану отрицать, что взгляды Иосифа II были полезны и достойны уважения; но когда дело идет о благополучии стольких людей, то следует ли применять принудительные средства, чтобы заставить народ отказаться от некоторых преимуществ, если только их не заменят другими, которыми он может начать наслаждаться незамедлительно?»
75. Одиннадцатое письмо, из Льежа.
76. Двенадцатое письмо, из Лувена.

Иосифа II, словно мрачная тень, угнетали мысль Германии. Надо было ждать, пока под постепенным воздействием теплых солнечных лучей не начнут медленно созревать глубоко спрятанные в земле семена.

«... С того момента, когда император посягнул на привилегии духовенства в своих Нидерландах, с того момента, как он захотел очистить теологическое преподавание от грубого шлака и выкинуть кислое тесто болландистов *,— ему и всем его мероприятиям был произнесен приговор. В эпоху, когда вся католическая Европа, не исключая и самого Рима, стыдится чрезвычайных доходов, позорящих святость религии и возможных только до той поры, пока будет длиться власть суеверия,— в конце XVIII столетия бельгийское духовенство осмеливалось защищать самые дикие понятия иерархической непогрешимости и проповедовать на глазах у просвещенных современников спасительное невежество и слепое послушание» **.

С дьявольской хитростью духовенство обернуло оружие свободы против самой свободы, идеи просвещения против самого просвещения. Оно воспользовалось тем, что Иосиф II стремился навязать прогресс даже с помощью силы, чтобы поднять против него народ во имя человеческих прав, провозглашенных разумом XVIII в.

«Сознавая, что его действия полностью или наполовину заглушили во всех людях разум и что оно может смело рассчитывать на преданность самого многочисленного класса простых людей, духовенство упорно настаивало на своих нерушимых правах. Оно хитро повернуло оружие просвещения против самого просвещения... Принцип Иосифа II, согласно которому он считал себя обязанным для счастья народа силой насаждать *свою* правду, привел его к деспотизму, нестерпимому в наш век; бельгийское духовенство это знало и громко и смело подняло свой голос».

Печальная альтернатива — либо ждать стихийного пробуждения косного народа, в котором клерикальное воспитание усыпило все живые силы и парализовало все стремления, либо подвергнуться опасности восстаний во имя той самой свободы, которую ты намерен ввести! Именно эта дилемма, погубившая Иосифа II, вставала перед робким революционным сознанием Германии, и ужасное поражение императора замораживало все активные ее силы. Даже в Брюсселе Форстер опять останавливается на этой печальной проблеме бессилия и противоречивости [77]:

«Что касается характера народа, то можно было, открыв перед ним новое поле деятельности, надеяться изменить его в лучшую сторону; может быть, достаточно было внешнего толчка... Одно только открытие Шельды дало бы этот результат...[78] Но... бельгийский народ не проявил ни малейшего воодушевления... Такая бесчувственность должна была глубоко поразить императора; она обнаружила перед ним корни зла и подтвердила его убеждение в том, что только это зло препятствует его высокому стремлению вновь вооду-

шевить своих подданных. Кто после подобных примеров может поставить ему в вину, что он не полагался на разум народной массы, когда чувствовал в себе призвание со всем отцовским авторитетом облагодетельствовать своих подданных, которые казались ему несовершеннолетними детьми? Кто не пожалеет монарха, чей народ настолько отстал от него?»***

Форстер с горячим сочувствием и грустью следит за борьбой Иосифа II против отупляющего действия клерикализма:

«...Еще важнее были реформы, касавшиеся церковнослужителей. Император хотел в их лице подготовить для народа лучших воспитателей и руководителей и с этой целью во всех своих владениях, включая бельгийские провинции, основал семинарии, педагогические институты для будущих священников и пасторов, где они получали образование, основанное на лучших принципах, чем до сих пор, и знакомились с обязанностями не только по отношению к вышестоящим по иерархии, но и к человечеству и гражданам. Лувен, этот старый, когда-то знаменитый и, благодаря щедрости своих основателей, богатый университет, погрязший в болоте ультрамонтанских заблуждений, потребовал особого внимания и забот монарха и его педагогической комиссии. Почти неограниченные права и преимущества этой школы в руках властолюбивых священников способствовали созданию системы злоупотреблений, заговора против человечества и всего того, что его облагораживает, а именно мышления...

Главный предмет отеческого попечения Иосифа II — воспитание народа — требовало больших затрат. Назначенное школьным учителям и духовным пастырям новое жалованье составило значительную сумму, для покрытия которой еще следовало найти средства. Император, здесь, как и в Австрии, Венгрии и Ломбардии, хотел прибегнуть к лежащей втуне или употребляемой не по назначению казне монастырей; благочестивые дары и вклады, служившие в прошлом данью уважения к святости монастырской жизни и, по всей вероятности, способствовавшие превращению ее в развратную праздность, должны были отныне использоваться по назначению; предполагалось собрать их в единый религиозный фонд для удовлетворения потребности народа в получении ясных, простых понятий о богослужении и учении Христа. Монастыри получили приказ дать сведения относительно своих состояний;

---

* Общество иезуитов, основанное бельгийским иезуитом Болландом для публикации житий католических святых.— *Прим. ред.*

** См.: Г. Форстер. Цит. соч., с. 158—159.

77. Шестнадцатое письмо, из Брюсселя.

78. Иосиф II попытался открыть для торговли устье реки Шельды, закрытое после заключения Вестфальского мира (1648). Он натолкнулся на противодействие со стороны Голландии.

*** См.: Г. Форстер. Цит. соч., с. 179—180.

одновременно были отмечены деревни, в которых следовало открыть новые приходы, и — чтобы вернуться к первоначальной простоте и чистоте христианства — были запрещены процессии и богомолья, поддерживающие в народе тунеядство, суеверия и безнравственность; ханжество братьев исчезло; лишние праздники были отменены, и тем самым были перерезаны многие нити, с помощью которых римским духовным тиранам издавна удавалось распространять свое обширное царство и на Нидерланды. Наконец, император приступил к упразднению лишних монастырей...» *

Но духовенство разожгло в народе фанатизм и подняло его против Иосифа II. Итак, в то время как во Франции государь обманул чаяния народа, в Германии народ обманывал чаяния государя.

НЕВОЗМОЖНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА

Если бы прусский король Фридрих II и германский император Иосиф II были реакционерами, если бы они выступали против движений своего века, прогресса Просвещения, если бы они пытались усилить религиозную нетерпимость прошлого и феодальное угнетение, если бы они обрекли крестьян на жестокую эксплуатацию дворянством, а мыслителей — на удушающую поповскую дисциплину, то весьма сомнительно, чтобы раздробленная и нерешительная Германия ответила на это двойное угнетение революционным взрывом. Но по крайней мере перед немецким народом задача была бы поставлена ясно и решительно. Он должен был либо прозябать в рабстве и во мраке, либо объединиться в огромном трагическом порыве, чтобы, подобно революционной Франции, разом свергнуть и королевский произвол, и феодальный гнет, и деспотизм духовенства. Но ведь Фридрих II и Иосиф II, наоборот, использовали все силы своей абсолютной власти на то, чтобы ускорить развитие современной жизни в своих государствах, увеличить их богатство, развить мысль [79].

С другой стороны, если бы эти государи смогли прочесть таившиеся глубоко в немецкой душе неясные мысли о будущем, если бы они смело истолковали в самом широком смысле патриотические чаяния таких людей, как Клопшток и Гердер, их страстное, хотя и смутное стремление к полноте национальной жизни и если бы они, в согласии с самыми высокими умами, попытались создать современную, свободную и единую Германию, то тогда тоже могло бы возникнуть немецкое революционное движение, направленное против всех сил, державших страну в состоянии раздробленности, эксплуатации и мрака, мешавших подъему великого народа, направленное против князей, поделивших между собой суверенную власть над расчлененным отечеством, против всех видов феодальной иерархии, которая под прикрытием этих многочисленных

властителей, как светских, так и церковных, извлекала богатства и душила трудовой народ. Тогда великий и отважный государь созвал бы Генеральные штаты всей германской нации. Из рейхстага, который был на деле лишь смехотворным олигархическим представительством феодальной и раздробленной Германии, он создал бы народное представительство стремящейся к единству Германии. Он призвал бы [в это собрание] те средние классы, то третье сословие, об исчезновении которого сожалел Юстус Мёзер. Он подкрепил бы его крестьянами Германии, освобожденными имперским и национальным декретом от барщины и повинностей. И, опираясь на эти силы, наполовину им же вызванные к жизни, он к пользе государя и нации объединил бы Германию. Да, но в то время среди германских государей не было такого, который возымел бы подобные намерения и который попытался бы проводить такую политику. У них даже не могла зародиться подобная мысль. Прежде всего, они недостаточно сочувствовали идее национального объединения. Затем, если такие люди, как Иосиф II и Фридрих II, и хотели сделать кое-что для создания современного государства, то они хотели, чтобы инициатива этих реформ и осуществление их принадлежали всецело им одним.

Иосиф II был почти маньяком абсолютизма [80], а Фридрих II не питал ничего, кроме презрения, ко всяким сеймам, совещательным собраниям, где, как он выразился, болтливые и бессильные депутаты «лают на луну» [81]. Наконец, соперничество Пруссии и Австрии делало эту проблему неразрешимой: кто из государей возглавит движение за национальное единство и извлечет из него выгоду для себя? Для того чтобы германская нация смогла достигнуть, хотя бы частично, политического единства, понадобится, чтобы ее моральное единство окрепло в великих испытаниях 1806 и 1813 гг., понадобится, чтобы возросло ее экономическое единство благодаря политике Таможенного союза; понадобится, наконец, чтобы вопрос о первенстве был решен путем войны между Пруссией и Австрией.

---

* См.: Г. Форстер. Цит. соч., с. 186, 187.

79. Жорес подчеркивает здесь лишь одну сторону просвещенного абсолютизма: рационализацию административной организации, укрепление национального единства. Унифицировать государство, усилить центральную власть, упорядочить администрацию — такова была цель просвещенных монархов. Но природа общества и государства не претерпела никаких изменений, они оставались по существу дворянскими. Привилегии продолжали существовать, о народном суверенитете не было и речи. См. выше, прим. 73.

80. «Это был решительный сторонник самого неограниченного правления, надсмотрщик над каторжниками, жандарм над умами, державший всех под палкой». (L. Gershoy. Op. cit., p. 102.)

81. «Этот умнейший циник — в глубине души истинный сын своего отца — жандарма»,— пишет о Фридрихе II Гершой. (L. Gershoy. Op. cit., p. 89.)

В XVIII в., даже при Иосифе II и Фридрихе II, Германия была еще далека от цели. Ведь действия этих великих государей были двойственны и противоречивы. Оба они служили новому движению наполовину и тем самым приучили Германию видеть в прогрессе не результат коллективных и свободных усилий нации, а акт власти. В то же время они не дошли до идеи национального единства и народной монархии как законного и мощного выражения общей воли. Поэтому немецкая революция не была возможна ни против них, ни вместе с ними.

Наконец, к политической раздробленности Германии, к бессилию или по меньшей мере к экономической слабости ее буржуазии, к двойственному, одновременно прогрессивному, но и сковывающему влиянию государей прибавлялось, подрывавшее всякий порыв революционных действий, длительное воздействие великого морального кризиса Реформации. Это воздействие было двояким. Прежде всего, Реформация, если она и освободила совесть и мысль Германии, была для нее источником ужасных раздоров, началом нравственного величия и материального разорения. И, чтобы не дойти до отчаяния, Германия должна была замкнуться в горделивом созерцании своей мысли. Она должна была сделать внутреннюю жизнь, жизнь духа, самой основой существования человечества.

Для Германии энергия действия находила отныне выражение главным образом в дерзаниях ума. Но даже самые дерзания духа представлялись ей, по примеру Реформации, скорее результатом внутренней эволюции, чем разрывом с прошлым. Каковы бы ни были схватки великого Лютера с Римом, он претендовал не на уничтожение традиции, а на ее возрождение. Он думал, что ему удалось возобновить истинное развитие христианской мысли и усмотреть истоки современной свободы мысли внутри, в самых сокровенных глубинах христианства.

Итак, Реформация, вследствие тех материальных бедствий, которые она повлекла за собой для Германии, наполовину отвлекла немецкий дух от действия и, благодаря традиционной форме, в которую она облекала дерзания своей мысли, приучила его к пространным толкованиям и медленным, бесконечным эволюциям. Именно эти основные характерные черты усматриваю я в развитии мысли в Германии на протяжении второй половины XVIII в.: неловкость и робость в практическом приложении мысли к материальным и социальным вопросам и, наоборот, великолепную творческую смелость в области чистой мысли, но смелость, несовместимую с революционными действиями.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

О НЕМЕЦКОМ ПРОСВЕЩЕНИИ

В главе I Жорес в основном следует давно принятой традиционной точке зрения, которая связывает происхождение и характер Просвещения с покровительством государей. В действительности же часто резиденции государей не были центрами Просвещения в Германии. Таким центром был не Потсдам, а Берлин; не Дрезден, а Лейпциг; и еще Штутгарт, Тюбинген, Гёттинген, Гамбург. Немецкое Просвещение развивалось вне сферы интересов государей, хотя и на их глазах. Ни немецкая литература, ни само Просвещение ничем не обязаны, например, Фридриху II.

Просвещение в Германии, которому с середины XVIII в. были присущи плебейские аспекты (см. поэму Бюргера (1747—1794) под названием «Крестьянин своему светлейшему тирану»), было также отмечено сильнейшей ненавистью к тирании. Так, Клопшток написал против Фридриха II памфлет, который он сжег по настоянию своего перепуганного издателя. В этих условиях национальная и патриотическая мысль Германии восприняла с одобрением сначала Войну за независимость английских колоний в Америке, а затем Французскую революцию. Можно было говорить о революционной предрасположенности немецких просветителей.

Характерными элементами немецкого Просвещения были: пиетизм, поставивший границы религиозному сомнению; вольфовский рационализм (Вольф, 1679—1754, математик и философ), затормозивший развитие материализма в Германии, и идеализм — решающий момент, который был выражением политической неспособности духовных представителей немецкой буржуазии, гораздо более слабой, чем была буржуазия французская. «Непримиримый антагонизм между природой и законом в кантовской философии отра-

жает непреодолимые противоречия между существующим, феодальным государством и явно необходимыми законами буржуазного общества». (W. K r a u s s. Über die Konstellation der deutschen Aufklärung. — «Studien zur deutschen und französischen Aufklärung», Berlin, 1963, S. 388.)

Превосходные работы В. Крауса и его учеников в Берлине [Германская Демократическая Республика] доказали антифеодальный характер Просвещения и отсутствие положительного влияния Фридриха II на немецкую мысль его времени. [О немецком Просвещении см. также коллективный труд советских ученых: «Германская история в новое и новейшее время», т. 1, М., 1970, гл. 4; «История немецкой литературы», т. 2, М., 1963.— *Ред.*]

Ф. МЕРИНГ И Ж. ЖОРЕС

Франц Меринг (1846—1919) подверг суровой критике страницы, посвященные Жоресом Германии в III томе * его «Социалистической истории Французской революции», в статье, напечатанной в журнале «Die Neue Zeit» в январе 1903 г. (она была перепечатана в: F. M e h r i n g. Gesammelte Schriften. Berlin, 1963, B. IX, S. 386—400) под названием «Pour le roi de Prusse» **.

1. Что касается интеллектуальной среды в Веймаре (см. выше, с. 13, прим. 7), то, как пишет Меринг, «Жорес всегда делает несколько мелких шажков в направлении намека на социальную среду, в которой родились те цитаты из Гёте и Лессинга, которые он приводит. Он сообщает одну биографическую подробность о Гёте ... Справедливость требует ее более внимательного рассмотрения ... Так, он говорит, что Гёте жил в Веймаре вместе с братьями Гумбольдт, с братьями Шлегель, с Фоссом и Жаном Полем, что до Жореса еще не утверждал ни один смертный...» (F. M e h r i n g. Op. cit., S. 393.)

2. Что касается экономического положения Германии (см. выше, с. 15, прим. 11), то Ф. Меринг упрекает Жореса в том, что он не воспользовался книгой Густава фон Гюлиха (1791—1847). (G u s t a v v o n G ü l i c h. Geschichtliche Darstellung des Handels, der Gewerbe und des Ackerbaus der bedeutendsten handeltreibenden Staaten unserer Zeit. Jena, 1830.) Сельский хозяин и коммерсант, изобретатель и экономист, Гюлих был главой школы, которая намеревалась защищать ручной труд против механизированного труда. Меринг ставит Жоресу в вину, что он не использовал книги Гюлиха, краткий конспект которой составил Энгельс: «Жорес не изучил ни одного фундаментального научного труда об экономическом развитии Германии с XVI по XVIII в., например труда Гюлиха; он лишь перелистал некоторые тексты Форстера, Мёзера, Листа и компиляцию Бидермана о XVIII в., труд, не лишенный известной ценности, но довольно пошлый и с экономиче-

ской точки зрения совершенно несостоятельный,— и лишь для того, чтобы прийти к удивительному для него выводу, что в Германии в эпоху Французской революции уже было положено начало капиталистическому производству. Пользуясь цитатами, взятыми из этих текстов, Жорес воздвигает лестницу, с высоты которой он, преодолевая сомнения, высказывает суровые «истины» по поводу исторического материализма» (F. Mehring. Op. cit., S. 387.) О Бидермане см. выше, с. 21, прим. 19. О Жоресе и историческом материализме см. выше, с. 37, прим. 47.

3. На нападки Жореса (см. выше, с. 47, прим. 58) на «Легенду о Лессинге» (F. Mehring. Op. cit., B. IX) Ф. Меринг ответил в 1903 г. в статье «Pour le roi de Prusse» (Die Neue Zeit»). Перечислив ошибки Жореса, он заключает: «Жорес заходит даже дальше [буржуазных] историков в их усилиях по возвеличиванию прусского короля, как он идет дальше их и в осуждении исторического материализма». (F. Mehring. Op. cit., S. 400.)

Что касается пребывания Лессинга в Пруссии, то Жорес ошибается: Лессинг жил в Пруссии не около полувека, а не более чем треть своей жизни; он умер в возрасте 52 лет и прожил в Пруссии не более 18 лет. Надо прибавить, что, несмотря на все сказанное Жоресом, враждебность Лессинга к деспотизму не подлежит сомнению. «Легенда о Лессинге» появилась вначале в виде ряда статей в журнале «Die Neue Zeit» (1891 и 1892 гг.), органе германской социал-демократии, затем в 1893 г.— в виде расширенного отдельного издания; эта работа была высоко оценена Ф. Энгельсом, который считал ее наилучшим из имевшихся изложений генезиса прусского государства (см. письма Ф. Энгельса к А. Бебелю от 16 марта 1892 г., к К. Каутскому от 29 сентября 1892 г., к Ф. Рингу от 11 апреля 1893 г., к К. Каутскому от 1 июня 1893 г. и очень важное письмо к Ф. Рингу от 14 июля 1893 г. См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.,т. 38—39). «Легенда о Лессинге»— это история прусского деспотизма и одновременно немецкой классической литературы. Это опровержение легенд, созданных прусской монархической историографией, о прогрессивной роли, которую сыграла Пруссия, и особенно Фридрих II, в формировании немецкой нации. Ф. Меринг подчеркивает реакционный характер прусской монархии и, в частности, Фридриха II: он не был, как это утверждали, монархом — другом и покровите-

---

* В настоящем издании, которое является переводом последнего французского издания труда Ж. Жореса, под редакцией проф. А. Собуля, этот материал содержится в т. IV в соответствии с разбивкой на тома, осуществленной А. Собулем.— *Прим. ред.*

** «Pourle roi de Prusse»— французское выражение, означающее «на даровщину», «даром». В данном случае это намек на то, что Фридрих II платил своим солдатам из расчета 30 дней в месяц; таким образом, они ничего не получали за 31 число, т. е. за 7 дней в году.— *Прим. перев.*

лем Просвещения, а был своеобразным деспотом-тираном и милитаристом. «Легенда о Лессинге» подчеркивает роль немецкой классической литературы в начальный период борьбы буржуазии против феодальной системы и за свое освобождение. Если борьба эта развернулась сначала в области идей, то произошло это вследствие слабого развития буржуазии и капиталистического способа производства в Германии XVIII в. «Легенда о Лессинге» представляет собой классический труд по истории Германии и немецкой литературы в век Просвещения.

4. По поводу «Писем для поощрения гуманности», написанных Гердером в период 1793—1797 гг., см. выше, с. 48—49, прим. 61. Ф. Меринг пишет в своей статье «Pour le roi de Prusse» (F. M e h r i n g. Op. cit., B. IX, S. 397): «Эти письма представляют собой непрерывную борьбу против системы Фридриха, против политики дворов... Когда Гердер писал свои письма, через несколько лет после смерти Фридриха II, только что вышли посмертно опубликованные литературные сочинения короля, включавшие и его переписку с Вольтером, где Фридрих высказывает самые прекрасные и самые гуманные мысли, явно противоречившие его политической практике. Гердер использует эти мысли, чтобы дискредитировать систему Фридриха на основании им самим выраженных мнений, и в связи с этим высказывается о личности короля с некоторым одобрением, что из чувства справедливости сделал и я в своей «Легенде о Лессинге». Жорес перепечатывает эти одобрительные слова и задает мне вопрос в упор: „Но как мог г-н Меринг ссылаться на Гердера, чтобы опровергнуть влияние Фридриха II на развитие великой немецкой мысли?“»

Кроме того, Ф. Меринг напоминает биографическую подробность, касающуюся Гердера и Клопштока и опровергающую утверждения Жореса: «Гердер и Клопшток были прусскими дезертирами; им обоим удалось стать славой немецкой культуры и литературы только благодаря тому, что они своевременно ускользнули из любящих отеческих объятий своего повелителя Фридриха, от розог и шпицрутенов, от унижающего человеческое достоинство позора двадцатилетней военной службы,— один в Данию, другой в Россию. Чтобы призывать этих людей в свидетели для подтверждения культуры системы Фридриха, право, требуется известная смелость, отсутствие которой составляет одну из терпимых сторон прусской легенды».

5. Опять-таки в той же статье «Pour le roi de Prusse» (F. M e h r i n g. Op. cit., S. 398) Ф. Меринг бросает Жоресу следующий упрек: «Жорес повествует о том, что для Клопштока Фридрих был образцом величия; правда, вначале завоеватель не нравился поэту, но в конце концов действия Фридриха стали для Клопштока вершиной достижений века, высшим мерилом всяческой славы. В действительности все было как раз наоборот. Если в молодости Клопшток и отозвался с благосклонностью о «мыслителе в латах»,

то очень скоро он обрушивает на короля и его систему правления поток пышущих гневом од и продолжает это делать десятилетие за десятилетием, до самой смерти Фридриха. Пошлый памфлет Фридриха на немецкую литературу вызвал у Клопштока три или четыре яростные оды, в то время как Гердер сравнил в этой связи короля с живым призраком... Но что бы мы ни думали о войне Клопштока против Фридриха II, ни один прусский раб не осмелился усомниться в *факте* этой войны; это предстояло сделать историку Жоресу».

Далее Меринг упрекает Жореса в том, что он пожелал усмотреть намек на Фридриха II в «Vaterlandslied» Клопштока («Я — юная немецкая девушка...»), песне, посвященной Клопштоком своей племяннице. Меринг отсылает нас к относящейся к тому же времени оде Клопштока «Die Rosstrappe», где поэт ясно говорит, что́ он думает о Фридрихе II и Иосифе II.

Глава вторая

*

НЕМЕЦКАЯ МЫСЛЬ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ ВИЛАНДА

В сравнении с Монтескьё, Вольтером, Руссо, энциклопедистами и всей предреволюционной литературой Франции какая скудость, вернее, робость политической и социальной мысли у немецких авторов! Пожалуй, наиболее смело и определенно высказывался Виланд [1]. Порой кажется, будто под покровом своих излюбленных восточных вымыслов он вот-вот выскажет какую-нибудь смелую и ясную идею, но он тотчас же останавливается и погружается в мелочи. Но разве в «Золотом зеркале» [2], появившемся в 1772 г., он не попытался выступить со своего рода декларацией принципов? И не была ли она, еще до французской Декларации прав человека и даже до американской декларации, неким немецким проектом Декларации прав человека? Вот принципы, которые мудрый воспитатель внушает юному правителю [3]:

«1. Все люди — братья и от природы наделены однаковыми потребностями, равными правами и равными обязанностями.

2. Человек не может утратить свои основные права ни в силу случая, ни вследствие применения силы, ни в результате договора или отречения от них, ни в силу давности; они могут быть утрачены только вместе с исчезновением человеческого рода. И не существует никаких причин, непреложных или случайных, которые при каких бы то ни было обстоятельствах смогли бы освободить человека от его основных обязанностей.

3. Каждый человек должен поступать по отношению к другому так, как он хотел бы, чтобы при подобных же обстоятельствах тот поступал по отношению к нему.

4. Никто не вправе превращать другого человека в своего раба.

5. Власть и сила не дают никакого права притеснять слабых; наоборот, они налагают на тех, кто может ими располагать, обязанность помогать слабым.

6. Каждый человек, дабы иметь право на доброжелательность, сострадание и помощь другого человека, не нуждается ни в каком ином основании, кроме одного: что он — человек.

7. Человек, который хотел бы заставить других людей, чтобы они снабжали его пищей и дорогой одеждой, предоставляли ему роскошное жилище и все материальные удобства, неустанно трудились, дабы избавить его от всяких забот, чтобы они довольствовались лишь самым необходимым, дабы он мог с излишком удовлетворять свои самые причудливые желания,— короче, чтобы они жили только для него и ради обеспечения ему всех этих преимуществ, готовы были ежеминутно подвергаться всевозможным лишениям и страданиям, испытывать голод и жажду, холод и зной, идти на риск искалечить себя и даже умереть самой ужасной смертью,— человек, индивид, который предъявил бы такое требование к двадцати миллионам людей, не считая себя в то же время обязанным оказывать им взамен очень большие и равноценные услуги, не кто иной, как безумец, и люди, которым он предъявил бы такие требования, если только они согласились бы его слушать, такие же безумцы, как он».

Я сказал — Декларация прав? Но это, скорее, провозглашение расплывчатых принципов, где к бледным лучам евангельских истин примешиваются слабые отблески учения Руссо; ибо не может существовать настоящей декларации прав без определенной системы гарантий, целой организации, предназначенной для действительного обеспечения прав. Точно так же, какой прок в следующих сильных словах о нищете в утопическом описании страны царей Шешианских?

«В большинстве других государств бедность, дурное питание, отсутствие всякой заботы, от которых страдают и тело, и душа, способствуют превращению детей поденщиков и низшего слоя

---

1. О Виланде см. выше, с. 53, прим. 70.
2. В «Золотом зеркале» Виланд дает портрет воображаемого правителя просвещенного монарха Тифана, шешианского царя, который сам ограничивает свою власть, добровольно подчиняясь верховной власти закона. Этот царь согласует свою волю с велениями разума. Но Виланд утверждает также, что «только королю надлежит быть законодателем и исполнителем законов». Идеал просвещенного абсолютизма. Противник «Общественного договора» Руссо, «гипотезы, которой противоречит вся история», Виланд полагает, что народ с самого начала был подчинен высшей власти и что повиновение есть естественное состояние человека. «Золотое зеркало» посвящено мнимым переводчиком с китайского императору Тай-Тсу, под которым подразумевается Иосиф II.
3. В «Золотом зеркале», под заголовком «Декларация прав человека *на счастье*».

ремесленников в существа, отличающиеся от самой тупой скотины лишь смутным и неполным сходством с человеческим образом».

Да, но предлагает ли Виланд какую-нибудь серьезную реформу государственного устройства и законов? Требует ли он, например, как в это время во Франции требовал Бонсерф, выкупа феодальных прав и повинностей [4]? Нет, он набрасывает довольно химерический план общественного воспитания, по которому дети, собранные волей государя, с ранних лет начинали бы работать, обучались бы какому-нибудь ремеслу и направлялись бы оттуда либо в услужение в дома могущественных и богатых людей, либо на фабрики. Это своего рода национальная мастерская, ученики которой обеспечиваются в дальнейшем местом работы. Что за ребяческий проект! И это тогда, когда речь шла о том, чтобы привести в движение новые общественные силы и разбить бесчисленные оковы!

ЮСТУС МЁЗЕР И КРЕПОСТНОЕ ПРАВО

Юстус Мёзер, когда он изучает практические способы изменить крепостнический порядок, гораздо ближе к действительности [5]. Написанные им письма об этом предмете остаются весьма любопытным документом, свидетельствующим о медленном, почти неощутимом социальном движении, происходившем тогда в Германии. Но и здесь какая робость! Какая неуверенная и нетвердая поступь! Никакой идеи права! Ни на одну секунду Мёзер не думает или не осмеливается сказать, что крепостное право, действительно отдававшее всю крестьянскую семью во власть господина, запрещавшее несчастным крестьянам владеть имуществом, а после их смерти приводившее к конфискации их сбережений в пользу сеньора, лишало крестьянина всякого человеческого достоинства. Напротив, Мёзер представляет себе человеческое общество как ассоциацию, покоящуюся на интересах землевладельцев. Это акционерное общество, где акцией является земля и каждый должен обладать долей власти и прав, пропорциональной своему вкладу. Те, у кого нет ни одной акции, находятся вне социального права. Христианское равенство не может обеспечить им никакой доли этих прав в огромном обществе землевладельцев так же, как оно не может дать им, например, никаких прав в судоходной акционерной компании.

Таким образом, если Мёзер внушает своим читателям мысль о замене уз крепостной зависимости договором об аренде, то отнюдь не потому, что порабощение крестьянских семей оскорбляет чувство гуманности. Нет, он исходит из того, что так как сложность социальных отношений возрастает, в интересах самих помещиков — освободить крепостных. В самом деле, они полностью отвечают за них, а обязанность вмешиваться во все их дела, тяжбы,

затруднения и раздоры очень обременительна. Более того, для улучшения обработки земли нужны предварительные затраты. Если крепостные, возделывающие домен, не будут занимать деньги, то они не будут делать достаточных предварительных затрат [на улучшение хозяйства]. Если же они будут брать в долг, то может возникнуть много конфликтов между правами заимодавца, который захочет взять в залог условную собственность серва, и правами сеньора и господина, к которому после смерти серва должно вернуться это имущество. Поэтому может быть выгоднее освободить крестьян от крепостной зависимости, и Мёзер подробно указывает бесчисленные меры предосторожности, мельчайшие грабительские статьи, посредством которых землевладелец обеспечит себе уплату сервом, ставшим арендатором, повинностей, по меньшей мере равных повинностям крепостного.

Порой все же чувствуется, как через ясные и четкие выкладки Мёзера прорывается чувство гуманности. Он не всегда решается целиком высказать свою мысль, но пытается смутить совесть вестфальских помещиков картиной страданий крепостных, их плачевного положения. Оно еще более ухудшается из-за растущей неопределенности их повинностей. Было время, когда их обязательства были высечены на каменной доске, стоявшей в церкви за алтарем. Теперь же обязательства эти регулируются до бесконечности растяжимым обычным правом. И крестьяне всегда в тревоге, как бы малейшая уступка или малейшая неосторожность с их стороны не была использована как прецедент всегда их подстерегающим сеньориальным обычным правом. Например, однажды сын сеньора потребовал, чтобы его поцеловала молоденькая хорошенькая крестьянская девушка, стройная и веселая, и она, казалось, согласилась на это, но ее мать вдруг воскликнула: «Не делай этого, а то *это превратят в повинность*!»— и община крестьянских крепостных семей, специально собравшаяся для обсуждения этого случая, решила, что девушка поцелует его только в том случае, если каменная доска будет восстановлена и станет единственным основанием для определения обязанностей крепостных.

Кроме того, среди крестьян существовало поверье, что тот, кто, сделав новую уступку, расширит права сеньора, навлечет на свое жилище проклятие — его будут часто посещать привидения

---

4. О Бонсерфе см.: Ж. Жорес. Цит. соч., т. II, с. 381.
5. О Мёзере см. выше, с. 17, прим. 14. Для Мёзера сила нации — в земельной собственности; сельский класс — столп государства, гарантия его непрерывного существования. Для Мёзера ничто не важно в такой степени, как сохранить зажиточное крестьянство, наследственно привязанное к земле, которую оно возделывает и для которого он желает установить даже фидеикомисс. Мёзер жил в Оснабрюке, в сердце старой Германии — в Вестфалии, одной из цитаделей партикуляризма; узость и консерватизм, царившие здесь, объясняют многие аспекты его мышления.

и призраки. «Счастливое суеверие,— говорит Мёзер,— сделавшее больше, чем многие законы, чтобы несколько оградить крестьян от их собственной слабости».

Но какую тяжелую борьбу вели они! Иногда им приходилось бороться даже против своих близких, становившихся соучастниками сеньориального гнета. Всякий общественный строй, даже наиболее деспотический и жестокий, создает особые интересы и даже среди того класса, который он угнетает более всего, находит себе орудие и помощников. Так, освобождению старого крепостного препятствует его падчерица из страха, как бы, став свободным, он не оставил своего имущества своим детям от второго брака. А вот ужасный, душераздирающий заговор жениха и невесты против освобождения родителей девушки. Какая бездна печали!

«Бойко был крепостным очень доброго господина, но все-таки давно лелеял мечту стать полноправным свободным собственником земли, которую обрабатывал; он боялся, что наследник его господина окажется не таким великодушным или что его господин при затруднительных обстоятельствах будет вынужден продать его какому-нибудь тирану. Свобода часто рисовалась ему во всей своей привлекательности, и он не раз окидывал взглядом дубы, единственным владельцем которых мечтал стать.

«Алиса, Алиса,— часто говорил он жене,— если мы станем свободны, то наши дети тоже будут свободными, и все, приобретенное нами в поте лица, будет принадлежать им».

Наконец наступила счастливая минута, когда его хозяин был поставлен перед необходимостью продать часть своих дальних владений, и в частности то, на котором работал Бойко; всегда считая последнего добросовестным человеком, он предложил ему свободу и землю за умеренную плату.

— Мне не хотелось бы продавать тебя другому хозяину; ты мне всегда честно служил, и мне тяжело подумать, что ты можешь оказаться под властью человека, который, проигравшись, поправит свои дела за твой счет. Мне предлагают за вас две тысячи талеров, и я предоставляю тебе преимущественное право, если ты через неделю принесешь мне эту сумму.

Бойко выслушал это неожиданное предложение с двойственным чувством печали и радости.

— Жаль мне покидать моего милостивого сеньора,— ответил он,— бывшего до сего времени моим господином и моей опорой, проявлявшего всегда такое терпение, когда, попав в трудные обстоятельства, я не мог вовремя уплатить аренду. Но если уж я должен его покинуть, то я прошу и в самом деле предоставить мне преимущественное право; какого бы труда это ни стоило, я постараюсь к назначенному сроку собрать необходимую сумму, чтобы я и мои потомки могли бы жить и умереть свободными.

Сказав это, он, полный надежд, отправился домой. У него было пятьсот талеров; двести талеров он рассчитывал выручить за лес, которого у него было много, а недостающие деньги надеялся раздобыть, заложив часть земли. Едва успел он поделиться с женой и детьми их общей радостью и своим планом, как стал перебирать в уме всех соседей, подсчитывая, сколько в каждом крестьянском доме было денег и сколько он мог бы дать ему взаймы. По расчетам Бойко, один имел сотню талеров, другой — пятьдесят. Каждый раз, когда по этим расчетам, денег все же недоставало, жена Бойко говорила, что за неделю она постарается изготовить еще одну штуку лувенского холста, что поможет им заткнуть дыру. Все были уверены, что они в конце концов соберут нужные деньги; слезы радости навертывались на глаза Бойко... Поздно ночью эти славные люди покинули свои места у горячего очага и отправились на покой; даже во сне их не покидало волнение, вызванное предстоящей им великой переменой. Но когда все крепко уснули, старшая дочь Бойко, Газеке, слышавшая все разговоры у очага, пошла к своему жениху, чтобы поведать ему о постигшем ее несчастье.

— Пятьсот талеров, которые отец должен был дать за мною, в расчете на которые мы и обручились, теперь пойдут на то, чтобы купить свободу.— Таковы были ее первые слова, когда они встретились на обычном месте...— А когда срубят лес и заложат землю, то ты, конечно, не захочешь жениться на мне, и я буду вынуждена пойти по миру, выпрашивая себе на хлеб. Ах, Генрих, Генрих, нам надо помешать уплате этого выкупа за свободу; иначе мы оба будем несчастны, невыносимо несчастны: что можно предпринять с пустыми руками?

— В самом деле,— серьезно ответил Генрих,— о нашем браке не может быть и речи, если у тебя не будет денег. Мой господин не примет тебя, и я должен буду жениться на девушке с приданым, если я хочу сохранить свою землю. Но разве уплата выкупа — дело уже решенное? И необходимые деньги уже уплачены?

— Нет,— поспешно ответила Газеке,— отец в недельный срок должен собрать деньги; завтра он пойдет в общину, чтобы найти людей с деньгами и взять у них взаймы. Значит, еще можно помешать всему этому, либо найдя кого-нибудь, кто предложит сеньору за нас и за нашу землю бóльшую сумму, либо убедив людей не давать отцу взаймы. Разыщи их завтра и постарайся внушить им недоверие к отцу. А я тем временем повидаюсь с владельцем лугов, расположенных близ нашей деревни; денег у него куры не клюют, и я уговорю его предложить сеньору на сто талеров больше, чем должен уплатить отец. Ведь дела обстоят теперь так, что один крестьянин может купить другого, а владелец лугов, у которого уйма денег, человек добрый.

Они скоро расстались и, как говорит молва, провели тревожную ночь, настолько взаимная любовь возбуждала их мысли,

заставляя искать средства к спасению. Как только занялась заря, Генрих разыскал людей, у которых, по его предположению, водились деньги, и по секрету сказал им, что к ним придет Бойко и сообщит им, что он выкупился за две тысячи талеров; но он отдал вдвое больше, а столько все его владения никогда не будут стоить. И Генрих так преуспел, что Бойко, вставший позже, получил вместо денег одни извинения. Со своей стороны девушка уговорила владельца лугов, и тот легко убедил сеньора, который не видел никакого прока от своих земель, что две тысячи сто талеров получить лучше, чем две тысячи.

Впоследствии Газеке часто видела, как ее отец трудится на нового хозяина. Но радость собственного счастья побуждала ее легко мириться с этой горестью. Она не любила Генриха великой любовью, рожденной чувствами, подобными нашим; но она любила его достаточно, чтобы отдать отца и мать в руки палача».

Да, но Мёзер не возмущается порядком, так жестоко оскорблявшим естественные человеческие чувства. И когда разражается Французская революция, когда она уничтожает всякую личную крепостную зависимость и провозглашает Права Человека, Мёзер нисколько не прославляет ее за это дело освобождения человечества. Напротив, он выискивает в ней отрицательные стороны, находя, что Права Человека — химера и нарушение права. По его мнению, не существует универсального общественного договора, дающего всем членам общества равные права определять форму и законы этого общества. Существует первоначальный общественный договор, заключенный между собой людьми, занявшими землю и владеющими ею, и все люди, явившиеся впоследствии, могут заключать с участниками первого договора лишь второстепенный договор. Их принимают в общество только при том условии, что они будут уважать его право, основанием которого является господство земельных собственников в государстве. Вне этих рамок существует только коммунизм, и Декларация прав человека может означать лишь всеобщий раздел собственности [6].

Конституция может быть изменена только волей участников первоначального договора. Они одни являются акционерами этого общественного предприятия. Пока земля свободна, право человека имеет смысл: это есть равное для всех людей право захватить свободную землю, а затем защищать против всех захваченное. Но когда земля уже представляет собой чью-то собственность, нет иного права, кроме права собственности тех, кто владеет ею.

Такова теория, которую даже при зареве Французской революции создал один из свободомыслящих людей Германии. Это несомненный признак того, что Германия была страной, где промышленная буржуазия обладала весьма слабым самосознанием и не отдавала себе отчета ни в своих силах, ни в своих правах.

Правда, Мёзер победил или казался победителем в этом споре, когда утверждал, что сама Французская революция, проведя

различие между активными и пассивными гражданами, подчинила провозглашенное ею право человека праву собственности. Но, во-первых, нельзя смешивать один этап революции с революцией в целом. А главное, как можно превращать в довод против прав человека непоследовательность тех, кто, провозгласив их, не осуществил их в полной мере? Но даже в такой ограниченной и весьма урезанной форме они представляли огромный прогресс человечества, ибо была уничтожена личная феодальная зависимость, каждому человеку открывался доступ к неограниченной деятельности и вся буржуазия и весь класс мало-мальски зажиточных ремесленников допускались к осуществлению политической власти вместе с землевладельцами.

Политическая и социальная жизнь Германии должна была быть поразительно вялой, чтобы Мёзер решился противопоставить первым освободительным мероприятиям Французской революции устаревшую концепцию исключительного и абсолютного права земельной собственности, в каких бы формах она ни существовала — феодальных или современных.

СОЦИАЛЬНАЯ МЫСЛЬ БАЗЕДОВА И КАМПЕ

Педагоги и воспитатели тоже не способствовали развитию политического и социального движения в Германии. Среди них были люди незначительные, такие, как Базедов и Кампе [7]. Были и крупные величины, как Песталоцци. Но, хотя Законодательное собрание и пожаловало Кампе и Песталоцци французское гражданство (Базедов тогда уже умер) [8], хотя Кампе и восторгался Революцией, хотя Песталоцци ее и одобрял до конца, их деятельность не была непосредственно революционной. У Кампе нечего

---

6. В «Berliner Monatshefte» (июнь 1790 г., ноябрь 1791 г.) Мёзер осудил Французскую революцию за уничтожение ею крепостной зависимости, феодальных прав и за конфискацию церковных имуществ. Прямой узурпацией, обосновываемой ссылкой на «права человека», являются и предъявленные массами притязания на осуществление ими таких политических прав. «Предоставим богословам,— пишет он,— заботу создать это царство божие, объединяющее всех людей в абсолютном равенстве под именем грешников. Истинная политическая философия будет придерживаться понятия «двойного договора», породившего неравенство, ибо только один он соответствует историческим фактам. Мёзера прозвали «немецким Франклином». Гёте восхищался им: «Я мог бы сравнить его только с Франклином».
7. Базедов (1723—1790) — автор «Methodenbuch für Väter und Mütter der Familien und Völker». Кампе (1746—1818) — директор книжного магазина (который торговал книгами по вопросам воспитания), основанного им в Брауншвейге, автор «Theophron», «Kinder- und Jugendschriften» (1779—1784) (38 томов).
8. Заседание Законодательного собрания 26 августа 1792 г. («Archives parlementaires», t. XLIX, p. 10.)

и искать социальные взгляды. Его педагогическая деятельность была направлена на упрощение и максимальное облегчение преподавания, на развитие инициативы учащихся, на либерализацию дисциплины, но главным образом — на сокращение продолжительности обучения, чтобы дать молодежи возможность раньше вступать в жизнь. Он вводил больше физических упражнений, устранял из преподавания древних языков излишнюю эрудицию и грамматические сложности и основывал моральное воспитание на своего рода нейтральной религии, где различные христианские вероисповедания сливались в евангелический деизм. Конечно, облегченное таким образом преподавание было более «современным». Оно, правда, рисковало оказаться поверхностным. Кампе и Базедову приходилось защищать свой метод от бесконечных нападок [9].

«Чего хотят,— говорили они,— филантропинисты? [Такое название дали они этой системе преподавания.] [10] Зачем облегчают они изучение языков и наук? Дабы избежать отвращения к занятиям и тем самым обычного школьного метода, губительного для ума и души; дабы облегчить столь великие трудности нравственного воспитания; наконец, для того, чтобы ребенок, подросток, юноша имели время жить, имели время подготовиться к жизни, а также и с пользой наслаждаться самой жизнью. При той системе, какая применялась до сего времени, молодые люди из образованных классов почти не имели возможности жить, так как до двадцати или двадцати четырех лет все их силы уходили на подготовку к жизни, и к тому же на такую подготовку, которая чаще всего не делала их жизнь счастливой. Как показывает опыт, очень редко душа молодого человека, чьи разум и сердце ранее были скованы тяжелыми цепями школьного принуждения (неизбежного при нынешних методах), впоследствии стремилась возвыситься до чистой человеческой мысли и подлинных человеческих чувств. Если нам удастся осуществить свой план, то молодежь, которая росла бы под нашим руководством, не созреет слишком рано; но благодаря применению усовершенствованных методов она выиграет для себя лично половину времени, которое до сей поры тратилось на изучение языков и наук, и таким образом сможет подготовиться к жизни человека и гражданина. *Следовало бы даже посвящать физическому труду и хозяйственным работам приблизительно столько же часов в день*, сколько посвящается научным занятиям в собственном смысле слова, и пока ребенок не достигнет определенного возраста, последние должны проводиться только в форме развлечения в процессе ручного труда.

...Нашу цель — сделать каждого нашего ученика больше чем европейцем, швабом, австрийцем или саксонцем, сделать его человеком — можно будет счесть химерой только тогда, когда будет действительно доказано, что она недостижима. А кто осмелится доказывать это? Обвинители наши даже не пытаются привести

такие доказательства... Они подменяют это обвинение другим, говоря, что Базедов готовит своих учеников только к тому, чтобы они были людьми, а не гражданами существующего мира.

...Но не только людей хотим мы сделать из них, но и граждан нашего мира. Если верно, что мы стараемся сделать будущую жизнь наших детей возможно более безупречной, полезной для общего блага и счастливой, то верно и то, что мы стремимся дать им самое верное представление о существующей действительности, ибо одно было бы невозможно без другого; и если они получат от нас верное представление о вещах, то они поймут, что гражданские общества созданы для наивысшего блага человеческого рода и что эти общества в свою очередь предполагают существование известного порядка и правил, которым каждый гражданин должен подчиняться даже ценой некоторых жертв».

Великие умы Германии расходились в оценке нового воспитательного метода Кампе и Базедова. Клопшток, по-видимому, его одобрял. Гердер назвал Базедова «слепым Геростратом», который ради того, чтобы создать шумиху вокруг своего имени, разрушал все, что составляло силу немецкого преподавания. Георг Форстер, человек весьма передовой и притом восторженно относившийся к Французской революции, в 1790 г. резко отозвался о Кампе; он писал: «Удивительно, если с такими воспитателями в Германии еще останутся настоящие люди» [11].

Эти разногласия легко объяснить. С одной стороны, несомненно, что в методе Базедова и Кампе, в их призыве к инициативе, в их заботе о деятельной и счастливой практической жизни находит выражение дух активности и освободительные устремления XVIII в. Однако, с другой стороны, великая Германия инстинктивно чувствовала, что она еще не подготовлена к ускоренному темпу

9. Система образования по Базедову и Кампе была основана на естественных религии и морали; она предлагала наглядный метод преподавания и наглядные уроки; она проявляла тогда еще новую заботу о гигиене. Вот что писал Мирабо о Базедове: «Руссо написал своего «Эмиля»... Это возвышенное произведение стало в Германии светочем для души человека, украшенного обширными познаниями, одаренного пылким и глубоким умом, сжигаемого желанием быть полезным. Он проливает на обучение и воспитание живительный свет...». (См.: M i r a b e a u. De la monarchie prussienne sous Frédéric-le-Grand. 1788, t. V, p. 117.)
10. Базедов осуществлял свои педагогические принципы в институте в Дессау —«Филантропинуме»,— основанном им в 1774 г. Кампе возглавил его в 1776 г.: «Школа филантропии для учителей и учеников». Никаких линеек, никаких наказаний; царство дружбы и благожелательности; современные занятия, приносящие удовольствие, радостный труд, обучение путем игры. Школа закрылась в 1793 г.
11. См. также суждение Гёте о Кампе: «Я действительно высоко ставлю Кампе. Он оказал детям неисчислимые услуги; он предмет их восхищения, так сказать, их евангелие». (Э к к е р м а н. Разговоры с Гёте, М.-Л., с. 824. 29 марта 1830 г.)

деловой жизни и что истинная сила ее заключается отныне в могуществе ее мысли, проникавшей в самую суть различных проблем. Как охватить вселенную разумом, если сводить науку к накоплению практических знаний, а теологию — к своего рода ковру нейтральных тонов, который можно повесить на стены всех храмов? Базедов и Кампе создавали в зародыше то, что стало Realschulen [12] современной Германии, школами позитивистского направления, проникнутыми практицизмом. Но современная Германия, промышленная и коммерческая, нуждающаяся в бесчисленных мастерах, инженерах, счетоводах, коммивояжерах, крепких телом, с умом расчетливым и быстрым, либо совсем тогда не существовала, либо только зарождалась. И слабость системы Кампе и Базедова заключается в том, что они сами не имели представления об этой новой Германии. Они сами не считали и не выдавали себя за воспитателей нарождающейся новой буржуазии, озабоченной экономическими проблемами и вопросами политической свободы; и их школы, казалось, открывали взору действительно неясный и расплывчатый мир. Они не сознавали того, что формировался новый порядок, которому нужны были новые методы воспитания, что растет новый буржуазный класс, который надо быстрее вооружить самым необходимым, дабы он мог скорее подвигаться по новым путям. Их педагогика не имела смысла без глубоко революционной политической и социальной философии. А этой философии у них не было. Поэтому их начинание было подобно лишь хрупкой, голой ветви, по которой не струились более благородные соки мысли, но которая не получила еще притока мощных соков реального действия.

УЧЕНИЕ ПЕСТАЛОЦЦИ

Учение Песталоцци гораздо глубже [13]. Это своего рода социальное христианство, проникающее до самых глубин жизни. Песталоцци питает страстную любовь к народу, горячо и действенно сострадает его нищете, невежеству и пороку, часто бывающему их печальным порождением. На благо страждущих он хотел бы совершить такую смелую моральную революцию, что она подчас кажется совсем близкой к революции социальной. Но его образ мыслей страдает, если можно так сказать, двойным недугом. Во-первых, он до некоторой степени не доверяет науке. И не потому, что он опасается последствий критики ею того или иного религиозного догмата. Песталоцци не является христианином в строгом смысле этого слова.

Но ему кажется, что наука заставляет человека разбрасываться, что она заставляет его разум блуждать среди множества предметов, а затем бросает в хаос мира и рискует тем самым лишить его истинного счастья, которое состоит в сосредоточенности мысли,

в спокойных и уверенных занятиях упорядоченной деятельностью, ограниченной известными пределами. Истинное назначение человека, по мнению Песталоцци,— жить и действовать в довольно узком кругу, но в таком, где все имеет свое место и соответствует способности каждого к действию. Ему чужд широкий и волнующий взгляд на мир, его религия исполнена какой-то духовной интимности, его бог, как бы находящийся внутри, в душе, домашний, познается как всевышний отец, как источник спокойных и чистых привязанностей. Знание человеку необходимо, но он должен знать ровно столько, сколько нужно для познания и проявления своей истинной натуры, для того чтобы уберечься от суеверий, от заблуждений ума, от иллюзии легковерия, от смущающего душу пустого любопытства.

В написанном им в 1780 г. «Вечернем часе отшельника» я нахожу исполненный чувства и доверия простой моральный деизм савойского викария Жан-Жака, но деизм гораздо более искренний и глубокий:

«Господь — отец твоего дома, источник твоей радости... Господь — твой отец. В этой вере ты обретаешь покой, силу и мудрость... Вера в бога, утверждение чувства человека в самом высоком проявлении его природы, сыновнее доверие человека к отеческому попечению о нем бога. Вера в бога — источник покоя в жизни; покой в жизни — источник внутреннего, нравственного порядка; *внутренний, нравственный порядок — источник пра-*

---

12. **Realschulen — реальные училища.**
13. Песталоции (1746—1827). Чтение «Эмиля» открыло Песталоцци его призвание: он популяризовал, приспосабливая их, педагогические принципы Руссо. В частности, он с рвением апостола посвятил себя обучению бедных детей. Приюты и школы, которые он открывал последовательно в Нёйхофе, Станце, Бургдорфе и, наконец, в Ивердоне, принесли ему большую известность. Среди его многочисленных сочинений упомянем: «Вечерний час отшельника»— его первый фундаментальный философский труд, опубликованный в «Эфемеридах» Изелина (1780) «Лингард и Гертруда» (1781), «Как Гертруда учит своих детей» (1801), педагогические романы [См.: И. Г. Песталоцци. Избранные педагогические произведения в трех томах. М., 1961—1965]; «Исследование о ходе природы в развитии человеческого рода» (1797) («Meine Nachuntersuchungen über den Gang der Natur in der Entwicklung des Menschengeschlechts»). «Всю свою жизнь и еще теперь,— пишет Песталоцци в сочинении «Как Гертруда учит своих детей»,— я всегда желал одного: блага народа, который я люблю, несчастья которого я чувствую, как немногие люди их чувствуют, потому что вместе с ним я переносил его беды, как их переносили немногие люди». [О Песталоцци см.: Н. К. Крупская. Педагогические сочинения в десяти томах. Т. 1, М., 1957, с. 265—281; т. 4, М., 1959, с. 165—168; И. И. Зильберфарб. Выдающийся гельветский демократ Песталоцци.— «Из истории общественных движений и международных отношений», М., 1957.— *Прим. ред.*]

вильного приложения наших сил; порядок в приложении наших сил — источник их роста и достижения мудрости; мудрость — источник всяческой радости... Изумление мудреца перед глубинами творения создателя и его стремление проникнуть в его бездны отнюдь не обращают человечество к вере в бога. Ищущий может заблудиться в безднах творения; он может наобум носиться по этим водам, не достигая источника, питающего бездонное море».

Сообразно этим принципам образование, которое Песталоцци хочет дать детям народа и самому народу, не является образованием, побуждающим к любознательности или к тщеславию, а твердым и трезвым воспитанием сил ума и характера. Он часто говорит о своем желании видеть в хижине крестьянина одну только библию: другие книги только вводят его в заблуждение или, отвлекая его от повседневной работы, лишают его счастья, этой высшей истины для человека. Чтобы уберечься от заблуждений, нет никакой необходимости много учиться; но нужно всегда уметь находить спокойное и верное применение своим чувствам и мысли.

Нужна ли, например, вся метафизика мира или ученая теология, чтобы излечить крестьян от их бесчисленных суеверий, от их глупой и прискорбной веры в привидения и дьявола? Для этого достаточно, чтобы страх не мешал им видеть и рассуждать. Если они научатся смотреть и размышлять, то всегда поймут, что так называемые привидения — это либо порождаемые темнотой обманчивые видения, либо мошенничество; и от унизительных заблуждений и печальных падений духа их оградит только внутреннее моральное равновесие, а вовсе не рискованные размышления о сути вещей.

И именно на укрепление этого внутреннего равновесия, на обучение людей умению пользоваться в узком кругу своей жизни всеми данными им от природы способностями должно быть направлено воспитание.

Итак, люди будут учиться и получать знания не с чужого голоса, не благодаря ложной силе слов, но путем непосредственного жизненного опыта и развития своих природных способностей. И я понимаю, что в одном отношении этот метод является освобождающим: он освобождает ум от предрассудков, от рутины, от ходячих мнений и неопределенных идей; ясный взгляд на вещи сам подвергает себя оценке и ставит себе границы, чтобы не дать ввести себя в заблуждение, порождаемое видениями, уводящими в даль; и в тех узких рамках, в которых действует человек, он обретает уверенность, ясность мысли и радость. Но сколь опасно отгораживаться таким образом даже от волнующих и дерзких предположений науки! Это значит отказаться от пьянящей радости обладать вселенной или самих попыток овладеть ею. Как раз тогда, когда Песталоцци ограничивал возможности человека только дарованными ему природой и замыкал его в рамки скром-

ного и простого круга его жизни, Гёте вынашивал в себе ужасные и возвышенные дерзания Фауста:

«Какое зрелище, но увы! это всего лишь зрелище. Как мне объять тебя, о бесконечная природа?»

Вот истинно человеческий голос, великий революционный клич, приводящий в волнение саму вселенную. Метод мышления и жизненная философия, проповедуемые Песталоцци, хотя они и направлены на пробуждение разума, поистине слишком рискуют оказаться консервативными: какой бы здравой ни была мысль человека, какое бы правильное применение ни давал он своему разуму и своим чувствам, как сможет он верно судить даже о своем непосредственном окружении, связанном с его существованием, если он не обладает хотя бы самыми скромными познаниями по истории мира и человечества?

Жизненный уклад, социальные институты деревни определяются силами, бесконечно далеко выходящими за пределы самой деревни. Как различить, в чем институты эти искусственны или в чем они естественны, необходимы или случайны, вечны или преходящи, если не знать действительности в ее широком развитии, действительности, которая их породила и, быть может, завтра уничтожит? Человек не может быть уверен в том, что он гарантирован всегда, на все случаи жизни даже от самых нелепых суеверий, от веры в привидения и дьявольские наваждения, если у него нет иного средства защиты, кроме непосредственных ощущений, которые могут его обмануть, или здравого смысла, который может ему изменить. Только ставший привычным широкий взгляд на мир и его законы может послужить гарантией против всяческих неожиданностей чувств и разума.

Даже Руссо, советуя возврат к простоте и к природе, основывал свое учение на общей концепции истории; излагая в «Общественном договоре» свою хартию демократии и народного суверенитета, он выходил за пределы круга непосредственных отношений, в котором кажется замкнутой повседневная жизнь людей, и рассматривал совокупность всех отношений, которые приводят к образованию обширных обществ.

В своем стремлении ограничить таким образом усилия просвещения и развитие мысли Песталоцци оказывался на позициях той безграничной раздробленности, которая парализовала в Германии всякое действие и всякий революционный дух. Но даже в том узком кругу, в который он замыкает каждого, Песталоцци ждет спасения и подъема благосостояния самих страждущих, угнетенных и эксплуатируемых не от их собственных действий. Нет, так же, как в более широком, государственном масштабе инициатива реформ должна исходить сверху, от короля или императора, Фридриха II или Иосифа II, так и в мелкой деревенской общине, которую Песталоцци считает, по-видимому, главным очагом морального и социального совершенствования, все должно

совершаться по благородной инициативе доброго сеньора и доброго хозяина. Эти идеи еще более притупляют революционное острие учения великого педагога. Но какое острое осознание нужды и несправедливости, какое страстное стремление к добру! Какая ненависть к нищете, беспорядку и угнетению!

В соответствии со своим основным методом Песталоцци углубляется в самые мельчайшие детали моральной и социальной действительности; горизонт, который он открывает нашему взору, необычайно узок, так как это всего-навсего простая деревня, но в ней кипит жизнь. Ах, как угнетены несчастные крестьяне! И какой деморализующий произвол тяготеет над ними! В деревне Бонналь, по преступной небрежности местного сеньора, их угнетает и над ними издевается негодяй, сельский староста; он не только староста, но и владелец кабака и завлекает туда крестьян. Там они оставляют те гроши, какие у них еще остались после всяческих поборов и несчастий. Он толкает их и на то, чтобы они пили в кредит и делали долги. А когда крестьяне, опутанные долгами, оказываются в лапах ростовщика, им приходит конец. Их жалкое имущество переходит в руки старосты. Тот, в случае надобности, когда он хочет ограбить крестьянина, который противится ему, набирает в подкупленной или терроризированной им деревне лжесвидетелей, и невнимательное правосудие сеньора (юнкера) отнимает у несчастного, обреченного на полное разорение крестьянина его поле, его корову или его луг.

Восстает ли Песталоцци против этого всемогущего произвола сеньоров и сельских старост? Требует ли он демократической организации правосудия и народного управления общиной? Нет, он об этом ни секунды не помышляет. Добрый священник, добрый пастор Бонналя беспомощно сетует при виде этого зла. Он был не в состоянии повлиять ни на людей, ни на ход вещей. Суеверным и косным крестьянам он даже кажется подозрительным.

Когда он им говорит, что не верит в появления дьявола, они боятся, как бы он не навлек на деревню месть дьявола. Когда у смертного ложа он не бормочет механически пустые молитвы, а стремится проникнуть в тайники души умирающего, узнать главное, что его тревожит, и успокоить его душу, они считают его либо неумелым, либо равнодушным, либо нечестивцем. Но он все же рассчитывает на тайную силу добра, которое сумеет проложить себе дорогу.

И вот появляется новый наследник сеньориального поместья и всемогущества сеньора. У него возвышенный ум и добрая душа. Жена одного бедного издольщика, разоренного старостой в его кабаке, приходит к сеньору просить помощи. Тот возмущен. Один из крестьян, разоренных сельским старостой, как-то вечером напугал его своим появлением как раз в тот момент, когда негодяй переставлял межевой столб, чтобы присвоить себе часть общинных угодий. Сельский староста, пораженный внезапным появлением

человека, подумал, что его преследует дьявол. Обезумев от ужаса, он признается пастору в части своих преступлений. И таким путем сеньор узнает, что его дед в результате лжесвидетельства, подстроенного старостой, отобрал у бедной семьи луг, помогавший ей сводить концы с концами. Он в ужасе от зла, к какому может привести легкомыслие власть имущих. И с этого дня он посвящает себя служению общине. Он будет ее воспитателем и благодетелем. Прежде всего (я вкратце излагаю здесь содержание педагогического и социального романа «Лингард и Гертруда», написанного Песталоцци в 1780—1785 гг.[14]) сеньор созывает сельский сход. Он возвращает разоренному крестьянину отнятый у него луг, отстраняет злобного сельского старосту и назначает другого. Он заставляет того самого крестьянина, которого перепуганный староста принял за дьявола, рассказать собравшимся крестьянам мнимую историю с дьяволом и сельским старостой. И он задается целью осуществить раздел и оценку общинных угодий. У общины имеется обширное пастбище, которым пользуются только богатые крестьяне, поскольку скот, который туда выгоняют, принадлежит главным образом им. Для бедных крестьян было бы гораздо выгоднее разделить эту землю между крестьянскими дворами.

Таким образом, мы видим, что из двух решений, между которыми в 1789 г. колеблются наказы французских крестьян — восстановить ли общинные угодья или, напротив, разделить их, — Песталоцци склоняется ко второму.

Но богатые крестьяне в романе «Лингард и Гертруда» противятся разделу этих общинных угодий. В своем эгоизме они доходят до того, что устраивают нечто вроде заговора против помещика. Они воскрешают истории с появлением дьявола; они утверждают, что крестьянин, напугавший сельского старосту, был в сношениях с дьяволом и что дьявольским делом будет и раздел общинных земель. Однако сеньор, окруженный всей этой злобой себялюбивых ретроградов, продолжает свое дело.

«Почти каждый вечер он выходил на общинное пастбище, которое хотел разделить. Он не успокоился, пока не осмотрел его все; исходил все болота и овраги. Наконец у подножья горы, на одном из самых пустынных участков пастбища, он обнаружил три мощных источника, окруженных густой и обильной растительностью. Он сам определил уровень этих источников и обдумал способ, как равномерно распределить их благо... Так поступает отец, который в саду выбирает для своих детей гряды, где они смогут выращивать цветы и деревья... И он радовался за своего сына, еще лежащего в колыбели, и за всех его потомков и чувствовал, что его дети — дети отца небесного и что сад принадлежит

---

14. Французский перевод этого произведения появился в 1783 г. [См. русский перевод: И. Г. Песталоцци. Цит. соч., т. 1, М., 1961.— *Прим. ред.*]

вовсе не ему; но он — отец, и его долг — отдать сыновьям все свое достояние и научить их пользоваться им. Так чувствовал Арнер. Слеза скатилась по его лицу, когда, сидя в вечерней прохладе под могучим дубом у шумящего водопада, он познал обязанности и радости отца, восседающего на троне, и обязанности и радости отца в самой убогой хижине. Медленно повернулся он лицом к заходящему солнцу; его взор был обращен в небо, и сердце его устремилось к отцу всех людей. Тереза [его жена] встретила его в роще перед их домом, и вечер прошел в беседе о положении князя и дворянина. Последние слова, сказанные Арнером Терезе, были таковы:

„Закон божий, касающийся князей и дворян, гласит, что их владения принадлежат не им; что они облечены властью князей и дворян только для того, чтобы даровать народу, охранять и совершенствовать в своих руках то, что они могут ему дать, и чтобы научить его, как пользоваться этими полученными дарами и как передать их детям и их потомкам"».

Итак, Песталоцци утверждает, что улучшить условия жизни людей и смягчить страдания бедняков возможно посредством широкого социального патернализма власть имущих, являющегося отражением любви отца небесного. Но разве не отвечало бы больше достоинству людей, если бы спасение их исходило от них самих? Кроме того, если дворяне и князья не осознают своего отчего долга, если они, напротив, будут обирать и угнетать этих «детей», вверенных их попечению самим небом, то в чем гарантия и средство защиты для этих последних? Песталоцци ни на секунду не задает себе этого вопроса. И то, что великий педагог мог таким образом рассматривать все социальные и моральные проблемы, совершенно не касаясь идеи демократической революции, есть самый верный показатель вялости или полного отсутствия революционного духа в Германии. Он возносит доброго сеньора над людьми, словно это божество, одновременно благостное и грозное.

«Когда после долгих знойных дней земля и все растения жаждут влаги и на небе вдруг появляются грозовые тучи, то бедный крестьянин дрожит при виде этих застилающих небо туч; он забывает о жажде полей и об увядающих на выжженных полях растениях; он думает только об ударах грома, об опустошениях, причиняемых градом, о пожарах, вызываемых молнией, и о наводнении; но небожитель не забывает ни о жажде нив, ни об увядающих на выжженной земле растениях, и ниспосланная им туча утоляет жажду полей бедняков, которые ночью при свете молний, под ударами грома в страхе глядят на гору, откуда надвигается гроза. Но утром бедняк видит, что его надежды на урожай удвоились, и склоняется, простирая руки, перед владыкой земли, ниспославшим тучу, столь напугавшую его. *Это образ бедных людей, трепещущих перед своим сеньором, и образ Арнера, спешившего в Бонналь, чтобы их утешить и помочь им*».

И вот на сельском сходе, созванном по немецкому обычаю на площади под липами, доброму сеньору предстоит одолеть эгоистическое сопротивление богатых крестьян. Но у него есть против них средство: он установил, что в своих заявлениях, врученных старосте о количестве имеющегося у них сена и скота, они смошенничали. Они преуменьшили количество сена и преувеличили поголовье скота, чтобы в случае раздела получить больший участок общинного пастбища. Арнер разбил их планы. Он сразу сместил двадцать сельских должностных лиц, назначенных прежним сеньором. Все они были богатыми крестьянами, теми, кого Песталоцци в пылу своего рода демагогического ожесточения называет «толстопузыми». Унизив «толстопузых», сеньор обращается к тощим; должностных лиц деревни он выбирает из числа беднейших — из тех, кто еще накануне нищенствовал, выпрашивая кусок хлеба.

Согласно обычаю, в тот момент, когда назначают новых руководителей общины, все крестьяне должны стоять с непокрытой головой; в шляпах остаются одни только руководители. Но у назначенных Арнером новых должностных лиц, привыкших подставлять свою несчастную непокрытую голову дождю и солнцу, не оказалось шляп. Но это не помеха! Их снабдят ими богатые: сеньор велит «толстопузым» передать свои широкополые удобные шляпы бедным крестьянам. Когда «толстопузые» возвратятся домой, они будут чувствовать себя настолько униженными, что даже не посмеют рассказать женам о нанесенной им обиде и, рискуя наполнить деревню зловонным смрадом, бросят в огонь свои богатые шляпы, загрязненные минутным соприкосновением с омерзительной нищетой.

Сеньор не только приступает к разделу; его тревожит и скверная пища крестьян, питающихся главным образом картофелем, и он раздает им саженцы фруктовых деревьев из своих питомников, а также коз из своего стада, чтобы у каждой семьи были фрукты и молоко. По совету пастора в тот день, когда эти деревья начинают приносить первые плоды, он устраивает большое празднество.

Но развитие промышленности ставит перед сеньором новые задачи. В деревне открывается бумагопрядильня. Предприятием этим руководит, правда, еще не богатый капиталист или крупный фабрикант. Хозяин фабрики — сам простой труженик, который живет вольготной и простой жизнью зажиточного крестьянина. Мужчины, женщины и дети изготовляют для него пряжу на дому. Этот хозяин прядильни, как и сеньор,— друг людей. Его и его жену тревожит и огорчает неурядица, которую на первых порах вносит в семьи новая промышленная жизнь. И они хотели бы, чтобы путем еженедельных удержаний из заработной платы и обязательных сбережений всем рабочим было обеспечено владение небольшим домиком. Они хотели бы также, чтобы дети из рабочих семей получали достаточное образование.

«*Посмотрите*,— говорит помещику хозяин прядильни— *за пятьдесят лет у нас все изменилось, и старая школьная система больше не пригодна для жителей нашей местности и не соответствует существующим условиям. Прежде все было проще, и каждый только своим трудом зарабатывал кусок хлеба. При таком образе жизни людям почти не нужно было учиться в школе. У крестьянина своя школа, которой для него служат его хлев, его гумно, его лес и его поле; всюду, куда бы он ни пошел, он узнавал так много поучительного, что школа была ему, так сказать, бесполезна. Но совсем иначе обстоит дело с детьми бумагопрядильщиков и со всеми людьми, зарабатывающими себе на хлеб трудом сидячим и однообразным. Насколько я заметил, они находятся совершенно в таком же положении, как и живущие в городах простые люди, также зарабатывающие себе на хлеб трудом своих рук; и если они необразованны, если не удалось перевоспитать их натуру в более возвышенном духе, так сказать, если они не приучены к тому, чтобы постоянно откладывать какую-то часть каждого крейцера, попадающего в их руки, то бедные прядильщики, при всем своем жалованье и при том, что на него возможно приобрести, только растратят навсегда свои физические силы и уготовят себе жалкую старость. И так как нельзя надеяться, сударь, что родители, сбившиеся с пути таким образом, смогут научить своих детей более упорядоченной жизни и большей предусмотрительности, то участью всех семей останется вечная нужда, пока будет продолжаться работа бумагопрядильни; или же нужно, чтобы школа восполняла то, чему родители не научили детей, но что им, однако, необходимо*».

Итак, по свидетельству Песталоцци, в середине XVIII в. промышленность начала проникать в жизнь немецкой деревни, ранее занимавшейся исключительно земледелием; и добрый сеньор и добрый пастор должны были прийти на помощь не только нуждающимся, угнетенным и эксплуатируемым крестьянам, но и зарождающемуся промышленному пролетариату, нищему и непредусмотрительному. Потребность в школе выявляется особенно сильно с развитием промышленной жизни. Для крестьянина сама природа и прочные традиции производимой им постоянно разнообразной работы служат источником образования. Наоборот, однообразие, опустошающая человека монотонность промышленной работы не оставляют бедному рабочему сил, чтобы он мог подняться хотя бы на минуту над тем, из чего состоит его текущая работа. Именно школа должна хоть немного расширить его горизонт. По правде говоря, как ни простодушны и как ни химеричны филантропические чаяния Песталоцци, предполагающего у сильных мира сего подобное участие к несчастным рабочим, все же нельзя остаться равнодушным к этому страстному стремлению возвысить и облагородить всех людей. Это кладезь морального чувства, пренебречь которым было бы несправедливо. И сколь

прискорбно, что с самого зарождения промышленной жизни и возникновения мануфактур эта гуманная идея не смогла фактически защитить рабочих и их детей!

Это не значит, однако, что деревенские дети, прежде чем монотонный промышленный труд подчинил себе деревню, жили идиллической жизнью в своего рода раю на лоне природы. Нет, и тогда в убогой хижине бедного крестьянина дети росли чахлыми, истощенными нуждой, полуголодными, едва одетыми, хилыми, были праздными, вялыми и хворыми. Участие этих маленьких существ в промышленном труде могло бы стать благом и для них самих, а не только источником богатства для промышленности, если бы с самого начала их силы использовались разумно и человечно. Так, пребывание в доме доброй Гертруды, где они учатся прясть и окружены материнской заботой, является для них как бы физическим возрождением.

«Помещик, пастор и новый школьный учитель вошли в комнату Гертруды. В комнате было так тесно, что с трудом можно было пройти между прялок. Когда дверь открылась, Гертруда, не ожидавшая гостей, велела детям встать и дать места вошедшим. Но помещик остановил ее и, никому не дав двинуться с места, провел пастора и учителя вдоль стен к ее столу.

Трудно себе представить, в какой восторг эта комната привела гостей. То, что они видели у Мейера [хозяина прядильни.— *Ред.*], казалось им пустяком в сравнении с этим.

И это вполне естественно. Порядок и благосостояние в доме богача не производят такого впечатления. Невольно думаешь при этом, что другие не могут позволить себе подобного лишь потому, что у них не хватает денег. Но благополучие бедной хижины, показывающее, что все люди могли бы добиться того же, будь они приучены к порядку и хорошо воспитаны, производит громадное впечатление на добрую душу.

Глазам вошедших представилась теперь комната, переполненная бедными детьми, в обстановке полного благополучия.

Помещику казалось, что он видит во сне картину — прообраз своего возрожденного, хорошо воспитанного народа, а острый взгляд учителя, как молния, перебегал от ребенка к ребенку, от руки к руке, от работы к работе, от глаз к глазам.

Чем больше он видел, тем больше его волновала мысль: Гертруде удалось совершить то, чего мы ищем,— школа, которую мы ищем, создана в ее доме.

Некоторое время в доме царила глубокая тишина. Гости смотрели и молчали. Эта тишина и знаки уважения, граничащие с благоговением, которые выразил Гертруде среди этой тишины школьный учитель, заставили сердце женщины сильнее забиться.

А дети в это время бодро продолжали свою работу и смеющимися глазами поглядывали друг на друга. Они понимали, что господа пришли ради них и присматриваются к их работе.

Учитель посмотрел на пастора и хозяйку и спросил:

— Всё это ваши дети, хозяйка?

— Нет, не все мои,— ответила Гертруда и стала показывать ему, от прялки к прялке, своих ребят и детей Руди.

— Поверите ли вы, господин учитель,— сказал пастор,— что дети Руди четыре недели тому назад еще не умели спрясть ни одной нитки?

Учитель посмотрел на пастора и хозяйку и сказал;

— Неужели это возможно?

— Так оно и должно быть; ребенок в несколько недель может научиться хорошо прясть. Я знала детей, которые научились этому в два дня,— ответила Гертруда.

— Не это удивляет меня в этой комнате,— сказал помещик,— а нечто другое. С тех пор как эта женщина взялась за детей Руди, за какие-нибудь три-четыре недели они изменились до неузнаваемости. Прежде на их лицах лежала печать смерти и нужды, а сейчас все это стерто, исчезло бесследно.

Учитель спросил по-французски:

— Но что она делает с детьми?

— Одному богу известно,— сказал помещик.

— Если вы даже целый день проведете здесь, вы ничего необыкновенного не заметите. Вам будет казаться, будто все, что она говорит и делает, могла бы сделать и любая другая женщина; и, конечно, самой простой крестьянке в деревне не придет в голову, что то, что делается здесь, она не могла бы выполнить с таким же успехом.

— Этого достаточно, чтобы еще больше возвысить ее в наших глазах,— сказал учитель и прибавил: — Искусство достигает своего совершенства тогда, когда его перестают замечать. Все великое и возвышенное так просто, что детям и шалунам кажется, будто они все это, и пожалуй, даже больше того, сами могли бы сделать.

Когда господа заговорили меж собой по-французски, дети стали переглядываться и посмеиваться...

Гертруда сделала им знак, и в комнате воцарилась тишина.

Увидев на прялках книги, учитель спросил Гертруду, зачем они детям.

— Как зачем? Они учатся по ним.

— Но не тогда ведь, когда прядут? — спросил учитель.

— Именно тогда,— ответила Гертруда.

— Это я хотел бы видеть,— сказал учитель.

— Да,— сказал помещик,— ты должна нам показать это.

— Дети, возьмите свои книги и занимайтесь,— сказала Гертруда.

— Громко, как всегда? — спросили дети.

— Да, громко, как всегда, но как следует!

Ребята быстро раскрыли книги; каждый отыскал страницу, отмеченную для него, и стал учить заданное ему на сегодня. И в то время, как глаза детей внимательно глядели в книгу, колеса прялок продолжали вертеться с той же быстротой.

Учитель не мог отвести глаз от детей и попросил Гертруду показать ему все, что она проделывает с ними, все, чему она их учит.

Она хотела было скромно уклониться от показа, считая все, что она делала, малозначащим и полагая, что господа в тысячу раз лучше нее все это знают.

Но помещик присоединился к просьбе учителя.

Тогда она приказала детям закрыть книги и стала разучивать с ними стихи. На этот раз это был отрывок из песни:

Как чуден солнца мягкий свет,
Зажженный на небе высоком!
Как нежный блеск его лучей
Отраду сердцу, радость шлет!

В третьем отрывке, который они разучивали, говорилось: «Теперь солнце зашло. Так же по знаку властелина солнца меркнет могущество и величие человека, и его блеск превращается в прах и мрак»»*.

Увы! Но где же гарантия того, что дело пойдет именно так и что дети, обучаясь труду, будут окружены материнской лаской? Возможно, что в этот первый период зарождения современной промышленности, когда мастерская была лишь несколько разросшейся семьей, нашлись бы добрые души, вроде Гертруды, которые смягчили для детей бедняков тернистые тропы труда. И несомненно, можно было щадить и даже укреплять здоровье и жизнерадостность этих юных существ, не снижая производительной способности детского труда и не нанося ущерба росту и накоплению капитала, необходимого для крупного производства. Но опять-таки, где гарантия этого? Где контролируемая народом власть, которая могла бы радеть о народе? Вскоре для детей, задавленных промышленным трудом, подлинным «властелином солнца» станет сам капитал. И он скроет от них солнце; он заставит их изнемогать и чахнуть от долгой непосильной и беспросветной работы, и вскоре все сияние детства действительно превратится для них в прах и мрак. Но в этот неопределенный и смутный период жизни Германии, когда в условиях еще невредимого феодального порядка едва начинают зарождаться промышленные силы, Песталоцци поручает заботу о рабочих, как и о крестьянах, суверенному сеньору. Его мысль о возрождении человечества не выходит за эти рамки. Но как же быть, если сеньор — человек

---

* См.: И. Г. Песталоцци. Избранные педагогические произведения. Т. 1, «Лингард и Гертруда». М., 1961, с. 498—501.

злой, если он груб и эгоистичен? Если, вместо того чтобы раздавать крестьянам деревья из своих питомников и поровну делить между ними общинные угодья, он, напротив, сам захватит их и присвоит себе, как это делали в Европе в XVIII в. очень многие дворяне, где найти тогда управу? А если дворянчик вместо того, чтобы учить детей бедноты, работающих на прядильнях, станет, подобно многим мелким деспотам, опасаться, как бы эти зачатки просвещения и в самом деле не пробудили в униженных гордость, которая в народе зажжет луч надежды, погашенный эгоизмом аристократии? Внушает подозрения даже этот вид феодальной демагогии сеньора, унижающего зажиточных крестьян, «толстопузых», и пекущегося о бедноте, о бродягах и нищих. Не эти неимущие и несчастные могли предпринять попытку добиться свободы. Отнюдь не они могли вступить в борьбу против императорского, королевского или княжеского абсолютизма и против угнетения и эксплуатации со стороны дворянства. Они могли, напротив, легко превратиться в нищую клиентелу, возбуждаемую сеньором против зажиточных крестьян, стремящихся объединиться и добиться освобождения. Именно к такой тактике прибегали порой сеньоры во Франции, когда накануне 1789 г., желая обеспечить себе некоторую популярность в своих приходах, они защищали право бедных крестьян собирать колосья после жатвы (право гланажа) против собственнической расчетливости зажиточных земледельцев. Когда помещик высмеял и унизил этих крестьян, несомненно, настроенных эгоистически, но единственно способных хоть на какое-то сопротивление и действие, когда он заставил их снять шляпы, чтобы надеть их на головы нищих и оборванцев, то могло бы показаться, что он сделал довольно большой шаг вперед на пути социального равенства. На самом же деле он уничтожил всякую возможность к предъявлению требований и к революции. И когда помещик, покончив с дневными делами, обратил свое сияющее лицо к сияющему солнцу, то он действительно был властелином, и притом единоличным. В эти годы, непосредственно предшествовавшие Французской революции, потенциальный революционный дух в Германии был настолько незначителен, что даже благородный Песталоцци, с его великодушным сердцем и широтой ума, мог спуститься в самые низы социальной жизни и ознакомиться со всеми ее бедствиями, и ни минуты не помыслить о создании какого-либо справедливого политического устройства, которое действительно защищало бы интересы слабых.

МЫСЛЬ ЛЕССИНГА

Но чаще всего великие немецкие мыслители витают в более высоких сферах, чем социальный мир, или по меньшей мере парят над современностью. Словно немецкая мысль сама отказывается

искать точки приложения, в которых она могла бы соприкоснуться с действительностью. Можно ли представить себе что-либо более смелое и прекрасное, чем мысль Лессинга? [15] Но она настолько уверилась в идее вечности, что не проявляет ни малейшего нетерпения, чтобы осуществиться в текущем столетии. Как о том свидетельствует написанный Лессингом в 1780 г. знаменитый труд «Воспитание рода человеческого», он видит в ряде религий, через которые проходил человеческий дух в ходе своего развития, различные стадии медленного коллективного воспитания человечества [16]. Религия является для рода человеческого тем же, чем воспитание для индивида [17]. И так же, как воспитание должно находиться в соответствии со способностями индивида, так и каждая религия, будучи средством всеобщего воспитания, приспособлялась в течение веков к способностям человеческого рода. Это систематическое применение ко всему прошлому развитию человеческого духа метода истолкования, примененного Спинозой к Библии и иудаизму в его «Богословско-политическом трактате» [18]. Этот смелый метод не отрицает прямо ни одной религии, но признает за всеми религиями, включая христианскую, лишь временное и историческое значение, воспитательную и символическую ценность. По мере развития человечества меняются и методы, пригодные для его воспитания, а потому, когда человечество достигнет более высокого уровня развития, чем в эпоху христианства, на смену христианству придет более возвышенная религия. Христианство одержало верх над иудаизмом, открыв людям идею личного бессмертия, о которой плотский и ограниченный иудаизм не имел понятия. Но христианство соответствует более низкой ступени развития ввиду понимания им идеи бессмертия как средства вознаграждения или наказания, как воздаяния за добродетели или порок. Более возвышенная религия появится тогда, когда люди будут способны проявлять добродетель ради

---

15. О Лессинге см. выше, гл. I, прим. 2. [О Лессинге см.: «История немецкой литературы», т. 2, М., 1963, с. 121—159; Г. Фридлендер. Лессинг. Очерк творчества. М., ГИХЛ, 1957; Г. Э. Лессинг. Избранные произведения. М., 1953.— *Прим. ред.*]
16. В «Воспитании рода человеческого» Лессинг вновь возвращается к самому главному для него вопросу. Какую веру придавать Священному писанию? Как согласовать сказанное в Библии с требованиями морали и совести и с критическим анализом? Его философия истории станет позднее философией истории Гердера: поступательное совершенствование рода человеческого путем постоянных усилий над самим собой. Эта эволюция человечества находит выражение в духовном росте и воспитании каждого человека; но так же, как воспитание влияет на развитие каждого индивида, так и провидение играет роль наставника. Книга эта содержит сто параграфов под номерами.
17. § 1. «Откровение является для человеческого рода тем же, чем воспитание для индивида».
18. «Tractatus theologicopoliticus» был написан в 1665—1670 гг.

нее самой, а не из страха кары или в надежде на награду на небесах; и только тогда духовному взору человечества откроется и более чистая и бескорыстная идея бессмертия. Путем таинственного переселения душ — закона коего Лессинг не изложил ясно,— души людей возродятся в новой форме только для того, чтобы обновиться и усовершенствоваться, вновь прийти в соприкосновение с действительностью и расширить свое познание мира [19].

Несмотря на мистическую оболочку, которая приводит в замешательство несколько ограниченный французский ум, это утверждение преисполнено революционного дерзновения. Это утверждение вечного владычества свободного разума над вселенной. С силой брошенная в мир, теория эта, революционизируя всю систему идей, могла бы революционизировать и всю политическую и социальную системы. Ибо, если человеческая личность, находящая в себе самой и награду, и наказание и способная к бесконечным возрождениям, для которых она одна служит образцом и целью, тем самым, в сущности, полностью освобождается от идеи бога, полностью и навеки, то неужели она стала бы терпеть в период ее существования на земле тиранию более мелких властителей? Там, где Меринг, с его упрощенным экономическим и узкоматериалистическим подходом к человеческой мысли, видит лишь отражение того, что он называет «немецким убожеством», я, наоборот, вижу поразительное дерзновение мысли, стремящейся к абсолютной свободе [20]. Но не окажутся ли слишком долгими периоды мрака между этими возрождениями и пробуждениями духа?

«Не слишком ли много времени я потеряю? Потеряю? К чему мне тревожиться об этом? *Разве мне не принадлежит вся вечность*?» [21]

В тот момент это могло бы послужить девизом для всех самых изумительных дерзаний великих немецких мыслителей: «К чему мне стремиться к преходящему и немедленному осуществлению? Разве мне не принадлежит вечность?» А так как в действительном течении времени наибольшее сходство с вечностью имеет медленная, почти неощутимая эволюция, когда невозможно точно различить как появление новой силы, так и окончательное завершение предшествовавшего ей движения, то именно в этой кажущейся почти неподвижной форме движения Лессинг мыслит себе самый смелый прогресс: «Следуй своим незаметным путем, о вечное Провидение! Но не дай мне усомниться в тебе из-за этого неощутимого движения вперед! Не дай мне усомниться в тебе, даже если мне на мгновение и покажется, что движение твое направлено вспять! Ведь кратчайший путь вовсе не всегда самый прямой!» [22]

Так, кривыми, извилистыми путями по бесконечным кругам движется немецкая мысль к своей величественной цели — овладению вселенной высшей силой разума. Но как же эта геометрия

кривых мало благоприятна для прямого порыва революции! Как трудно будет сопоставить прямолинейное развитие французской революционной мысли и это уклоняющееся и извилистое развитие немецкой революционной мысли!

В своих диалогах о франкмасонах, написанных в 1778 г., Лессинг высказывает замечательную идею [23]— идею будущего единства человечества, достигнутого благодаря всеобщей терпимости и всеобщему миру. В жизни человечества наблюдаются печальные парадоксы. Так, религии созданы для того, чтобы связывать людей, т. е. объединять их. Между тем эти религии, противодействуя одна другой, отвергая одна другую, приписывая себе монопольное обладание истиной, превращаются в источник раздоров и ненависти. Но все это кончится, когда люди убедятся в том, что все религии, все верования одинаково хороши, если только они побуждают к добру, к согласию, к милосердию. Точно так же

---

19. § 97. «Почему бы мне, при другом существовании, не познать всех ступеней, когда люди получали могущественную поддержку в надежде на награду на небесах?»
20. Ф. Меринг отвечает Жоресу в своей статье «Pour le roi de Prusse» (p. 396): «Я не вывожу труда «Воспитание рода человеческого» из «немецкого убожества»; наоборот, я говорю, что высшей точкой «этого поучительного эссе» отнюдь не является гипотеза о переселении душ, появляющаяся в его конце; и только эта «фантастическая перспектива», по моему мнению, и объясняется «немецким убожеством», в том смысле, что человек столь жизнелюбивый, такой противник всякой идеи бессмертия, каким был Лессинг, был доведен тяжким бременем ужасных условий, в каких он жил, особенно в последние годы, до того, что смог вообразить себе «лучшее будущее» только в виде переселения душ. Впрочем, я рассматриваю «Воспитание рода человеческого» как попытку показать историческую неизбежность упадка религий, разоблачаемых самим их историческим оправданием...».
21. § 100.
22. § 91. См. также § 70. «Бог позволяет, чтобы простые истины, доступные разуму, какое-то время преподносились через откровение ради более быстрого их распространения и прочного усвоения». Рациональная религия, о которой мечтает Лессинг, не является естественной религией философов; это, скорее, религия, которая выходит за пределы откровения, поглощая его в себе.
23. «Эрнст и Фальк. Диалоги о масонах». Основное положение сводится к тому, что у истоков всякого социального сообщества стоит человек, ибо именно для него государство и было создано; сумма индивидуального счастья всех его членов составляет счастье общества. Из этого следует, что государство есть неизбежное зло, создающее вследствие разделения человечества серьезные неудобства. Поэтому нужно, чтобы над государствами существовало общество людей «свободных от предрассудков», дабы было «место, где патриотизм перестает быть добродетелью». Именно идеальное франкмасонство, основанное не на узах принуждения, но на всеобщем сочувствии, создаст то гуманистическое государство, где будут уничтожены «все различия, вызывающие отчуждение между людьми», где все будут взаимно просвещать друг друга, чтобы воплотить в жизнь подлинную человечность.

и человечество состоит из огромного числа людей, которых невозможно объединить в единую нацию. Следовательно, нужно, чтобы оно состояло из отдельных государств; а назначение этих государств — объединять людей. Но государства эти противостоят одно другому, не доверяют друг другу и тоже превращаются в источник разъединения и войны. Когда встречаются вместе немец, англичанин и француз, то в действительности это встреча не просто людей, которые являются носителями именно человечности и признают ее взаимно. Нет, даже не успев еще вступить в разговор и выяснить, каковы их интересы, они уже не доверяют друг другу. В них чувствуется национальная обособленность, подрывающая единство человеческого рода. И долг высоких и великих умов, к какой бы нации они ни принадлежали, беспрестанно восстанавливать это единство человечества, которому непрерывно угрожает опасность. Да, это достойный восхищения взгляд, возвышенный интернационализм сознания и ума. Но ведь идеального общения умов недостаточно, чтобы предотвратить или хотя бы смягчить ужасное столкновение страстей и ненависть между народами и расами. Каким образом, с помощью какой практической организации надеется Лессинг обеспечить это действенное и умиротворяющее общение между мыслителями разных народов? По-видимому, он имел в виду франкмасонство. Действительно, в 1771 г. он вступил в гамбургскую ложу «Трех золотых роз». Любопытно, что свои диалоги [24] он даже посвятил герцогу Фердинанду Брауншвейгскому, бывшему тогда великим магистром немецких лож,— тому самому герцогу Брауншвейгскому, который позднее подпишет, нехотя, достопамятный манифест против революционной Франции. Кто знает, не угнетало ли его воспоминание о великой гуманной идее Лессинга во время его медленного и печального похода через опустошенную Шампань?

Но франкмасонство было для Лессинга только символом. Он недолго питал надежду, если вообще питал ее, что оно в своей тогдашней форме действительно превратится в орган всеобщего объединения человечества, в движущую силу всеобщего мира. И Лессинг очень скоро почувствовал отвращение к ребячливым и бесплодным «поискам в области магии, к играм в микрокосм и к рассуждениям о всеобщем пожаре», которым предавались ложи, увлеченные идеями иллюминатов и оккультными науками. Говоря о франкмасонстве, он просто искал конкретного наименования для обозначения того интернационального сообщества высоких и свободных умов, которое должно было всегда стоять выше национальных предрассудков и искоренять их. Именно в этом смысле он и взывает к «невидимой ложе» и «вечному франкмасонству»; но каждому ясно, что, если его идея и достигает замечательной широты, она тем самым лишается всех реальных средств для своего осуществления и приложения. И Лессинг вновь возлагает свои возвышенные упования на почти незаметный прогресс,

совершающийся в веках, на постепенное приближение человечества к его идеальной судьбе.

Он, по-видимому, даже отвергает всякую мысль о прямом действии, о всякой подлинной национальной реформе в ближайшем будущем.

«Эрнст: Итак, судя по твоим словам, я представляю себе франкмасонов людьми, которые борются против зол, неизбежно порождаемых государством [25].

Фальк: Во всяком случае, такая мысль не может вызвать у франкмасонов никаких возражений. Храни ее, но не истолковывай превратно и не примешивай к ней посторонних элементов. Зло неизбежно порождается государством вообще, а не каким-либо определенным государством. Речь идет отнюдь не о зле, которое, принимая во внимание частное устройство какого-нибудь государства, неизбежно проистекает из этой организации. Никакого отношения к этому франкмасон не имеет, во всяком случае как франкмасон.

---

24. «Его превосходительству герцогу Фердинанду... И я также был у источника истины и черпал из него. Докуда я смог дойти, может судить только тот, кто даст мне, надеюсь, позволение пойти еще дальше. Уже давно народ желал бы пить из этого источника; народ жаждет».

Это единственное посвящение в произведении Лессинга. Ф. Меринг (статья «Pour le roi de Prusse», p. 394) упрекает Жореса в повторении басни некоторых предвзятых историков, согласно которой посвящение относится к герцогу Карлу Вильгельму Фердинанду, автору знаменитого «Манифеста», а не к герцогу Фердинанду (1721—1791) — великому магистру масонских лож Северной Германии. Меринг уже опроверг эту легенду в примечании к «Легенде о Лессинге». Меринг, вне всякого сомнения, прав. «Лессинг посвятил свои «Диалоги масонов» не правившему герцогу Карлу Вильгельму Фердинанду, но удельному герцогу Фердинанду, не племяннику, а дяде, не побежденному под Вальми и под Иеной, но победителю под Крефельдом и под Минденом, не фавориту Фридриха II, но открытому противнику деспотизма Фридриха, не жалкому человеку, продававшему своих подданных Англии в качестве пушечного мяса для войны против американских повстанцев, но честному солдату, отказавшемуся принять командование в войне против американских повстанцев, предложенное ему английским правительством»...

25. Третий диалог. Лессинг осуждает самый государственный организм, стремящийся навязать людям, в ущерб индивидуальному мышлению, ненавистное систематическое единообразие. Он восстает против удушающей атмосферы германского мелкодержавного государства, изобличая его гнет над умами. Но из этой критики он не делает никакого заключения в демократическом духе: он далек от мысли противопоставить патриархальному абсолютизму концепцию государства, покоящегося на суверенитете народа. Более того, он находит преждевременной всякую попытку преобразования политического статуса Германии, прежде чем будет завершено духовное и моральное преобразование нации. Он определяет форму человеческого сообщества, которое будет осуществимо лишь благодаря немногим возвышенным умам.

Заботу смягчить и излечить это зло он предоставляет гражданину, который за это берется сообразно со своими взглядами и энергией, на свой страх и риск. Деятельность франкмасона касается зол другого рода и другого, более возвышенного, порядка.

Эрнст: Я прекрасно понял. Не тех зол, которые вызывает недовольство гражданина, а тех зол, которые гнетут даже самого счастливого гражданина.

Фальк: Правильно. Так, значит, по-твоему, франкмасоны борются против этих зол? Да.— *Это сказано несколько сильно.* Бороться против этих зол! Конечно, чтобы искоренить их совсем? Но ведь это невозможно. Ибо вместе с ними было бы уничтожено и само государство. К тому же зло это не может стать сразу очевидным для тех, кто не имеет еще о нем никакого понятия. Только мало-помалу, начав издалека, можно пробудить в каждом это чувство, благоприятствовать его зарождению, а затем распространять и культивировать его; едва ли такую медленную и трудную работу можно назвать этим несколько суровым словом «бороться»! Понимаешь ли ты теперь, почему я говорил, что, даже если бы деятельность франкмасонов была беспрестанной, *прошли бы века, прежде чем можно было бы сказать*: *„Они достигли этого"*»?

Итак, в этот период немецкая мысль находит удовлетворение в том, чтобы до бесконечности раскрывать безмолвные горизонты. Это совсем не то, что некоторые вульгарные умы так часто называют «немецкой неясностью», или «немецким туманом». Напротив, эта идея поразительно ясная; но сильный и здоровый росток медленно развивается бесконечно долгое время. Настоящее едва различимо в процессе неощутимого и мощного движения вперед времени и вещей. Под сенью медленно растущего дерева, где происходит их вторая беседа, Эрнст и Фальк некоторое время наблюдают жизнь муравейника, полную движения [26].

«— Какая активность и в то же время какой порядок! Каждый что-нибудь несет, тащит или толкает и ни один не мешает другому. Погляди скорее, как они помогают друг другу.

— Муравьи, как и пчелы, живут обществом.

— Это общество тем более замечательно, что среди них нет никого, кто бы удерживал их вместе или управлял ими.

— Надо, следовательно, чтобы порядок существовал без управления.

— Когда каждый умеет управлять сам собой, почему бы и нет?

— Вот если бы так когда-нибудь было у людей?

— Это очень трудно.

— Несомненно.

— А жаль!»

Так они прислушиваются к сокровенным советам природы и усматривают безграничные возможности, но в процессе бесконечной эволюции. Всякое проявление нетерпения, всякое резкое действие было бы преступно и губительно.

«— Не тревожься. Франкмасон спокойно ждет восхода солнца и не гасит светильников, пока они хотят и могут гореть; но погасить светильники, а когда они уже погашены, спохватиться, что надо вновь зажечь огарки или даже новые факелы,— это не дело франкмасона!

— Я тоже думаю так.

— То, что покупается ценою крови, не стоит и капли крови».

Как уже предчувствуется драма мысли, которой предстоит при столкновении с Французской революцией воздействовать на сознание немцев, таким образом подготовленное великими мыслителями Германии! Загорающаяся на горизонте революция — разве это не восходящее солнце? Или это пламя нетерпения и гнева, отблеск пожара, создающий лишь иллюзию утренней зари?

Все будет: у одних воодушевление, у других смятение, неуверенность. Какая радость, если природа, озаряя наконец лучами света долгий путь, пройденный во тьме, действительно заставит взойти солнце свободы и справедливости! Но каково будет разочарование, если этот свет окажется обманчивым! И даже если свет этот будет истинным, если действительно занимается день, то какой грустью, быть может, наполнит это умы, подготовленные к восприятию глубоких и тихих радостей бесконечного ожидания лучше, чем к ясным и грубым радостям действия! Не всегда без сожаления погасят они свои светильники ожидания, побледневшие при ярком свете утра.

МЫСЛЬ КАНТА

Однако если обратиться к Канту [27], то его проницательный взгляд сумел охватить все движение человечества с удивительной ясностью и четкостью, его энтузиазм значителен, терпелив и силен. Он соединил самый высокий моральный идеализм с тем, что можно назвать реализмом или наиболее точным историческим натурализмом. Возможно ли создать науку о развитии человечества, историю человечества? Да, возможно, ибо закон человеческого мышления состоит в приведении в систему даже беспорядка и хаоса бесчисленных и запутанных фактов; и если природа в своих неорганических и органических явлениях подчиняется этой потребности разума, то почему бы ей не подчиниться этой потребности и в области социальных явлений, в области человеческой деятельности? К тому же, сколь бы сокровенны ни были мотивы человеческих действий и каких бы метафизических взглядов ни придерживались на свободу человека, все многообразные поступки, в которых проявляется человеческая воля, подчинены

---

26. Второй диалог.
27. О Канте см. выше, гл. I, прим. 3. [См.: В. Ф. Асмус. Иммануил Кант. М., 1973; «Философия Канта и современность». М., 1974.— *Прим. ред.*]

определенным законам. Статистика браков, рождений и всех волевых актов свидетельствует о постоянстве и известной связи причин и следствий, т. е. о скрытом наличии закономерности даже в кажущемся хаосе общественных явлений.

Поэтому теоретически нет ничего невозможного в том, чтобы построить систему развития человеческого общества и открыть общие, основные законы этого развития, подобно тому как Кеплер и Ньютон открыли законы движения планет. Практически здесь существует одно величайшее затруднение; ибо человечество находится в некотором роде в переходном состоянии. «Люди уже перестали действовать под влиянием одного инстинкта, подобно животным, но в целом они не действуют еще и по заранее намеченному плану, как должны были бы действовать граждане мира, повинующиеся одному только разуму». Таким образом, в человеческой жизни, в жизни общества не наблюдается ни постоянства грубого инстинкта, ни высшего постоянства разума. Коллективная жизнь человечества, если приложить к мысли Канта слова Паскаля, представляет собой неопределенную и неясную «среду», где механические действия и противодействия слепых сил и инстинктивных страстей перемешаны с проблесками идей и иногда как бы упорядочены смутными линиями полуосознанного плана.

Когда Маркс позднее скажет, что человечество находится еще на стадии своей «предыстории», так как над ним господствуют производственные отношения, вместо того чтобы оно господствовало над ними, и так как оно еще не взяло в свои руки сознательного управления бессознательными социальными силами, то это будет своеобразным применением великой идеи Канта. Но в этой неопределенности, в этой неустойчивости и смешении два положения остаются несомненными. Первое состоит в том, что природа, познанная человеческим разумом, не может в конечном счете не привести в развитии социальной жизни к победе разума. Но разум, в котором и посредством которого всякая свобода подчиняется общему правилу, тем самым согласует эти свободы между собой. И поскольку совершенное гражданское общество — это такое общество, в котором свободы достигли наивысшей ступени непринужденных и в то же время согласованных действий, то высшей целью природы на протяжении всей жизни беспокойного человечества и является установление идеального гражданского общества. В этом своем убеждении в конечном объединении разума, свободы и социального развития Кант проявляет свой благородный идеализм. Но какое конкретное и почти грубое чувство действительности! Ибо к этой идеальной цели человек поднимается из глубин животного состояния; вначале он, в сущности, животное, и действующие в нем силы — животные, инстинктивные, слепые силы; лишь в дальнейшем они регулируются воздействием бесчисленных столкновений, в которых постепенно иссякает их антагонизм. В пределах своей индивидуальной жизни человек

не может выявить всю свою природу, и многие заложенные в нем задатки погибают. В постоянной борьбе, на которую он осужден, он не всегда умеет обратить себе на пользу суровые уроки действительности. Он приходит либо в раздражение, либо в уныние.

Только на протяжении долгой жизни рода человеческого природа может создать человечество, развернуть и довести до зрелости все заложенные в нем задатки, все его неясные и неиспользованные возможности. Суров метод, посредством которого природа развивает человечество, заставляет его выявить все свои способности. Тщетно порой охватывает сердца людей тайное желание мира, умеренности, простоты — предчувствие будущего состояния человечества. Безжалостная природа не дает отдыха людям. С помощью таких непременных возбудителей, как корыстолюбие, честолюбие, гордость, беспокойство, она возбуждает и воспламеняет людей, и толкает их на все новые и новые усилия, на все более и более ожесточенные столкновения с другими людьми и вещами, и таким образом подготовляет живую и полную гармонию, которая будет не ленивым равновесием инертных сил, а конечным согласием активных и пламенных сил. Постепенно силы эти изживут — путем непрерывных столкновений и длительной войны на измор — свои антагонистические элементы и развернутся, достигнув одновременно могущества и порядка.

Как мы видим, это не идиллическое и наивное ожидание царства мира. Это не простодушная вера в конечное торжество кротости и в добровольное осуществление всеобщего добра. Это глубоко реалистический оптимизм, поскольку осуществление в природе требований разума явится, так сказать, неизбежным механическим результатом столкновения сил. Разум наконец восторжествует над механизмом инстинктов и страстей, но посредством того же механизма. Долгие периоды истории дают с самого начала тому некоторые гарантии, оставляют кое-какие элементы человечности, а поскольку поколения могут передавать одно другому эти частичные достижения человечности, свободы и мира, то несомненно, что и грубая эволюция социального мира неминуемо ведет к гармонии.

Задача истинной философии истории состоит в том, чтобы следить за накоплением этого достояния человечества и от эпохи к эпохе составлять его опись. Устраняя мало-помалу бесчисленные антагонизмы, составляющие самую основу социальной жизни, природа трудится над уничтожением главного антагонизма, заложенного в каждой человеческой личности и составляющего одновременно как ее силу, так и мучение. Этот основной антагонизм Кант определяет кратким выражением, что *человеческая личность обладает несоциальной социальностью*. Если человек одинок, то он вскоре начинает этим тяготиться или же одиночество пугает его. Он спешит найти других людей и присоединиться к ним, с тем чтобы либо лучше защитить себя от окружающих опасностей,

либо увеличить свою силу путем совместных действий с другими людьми, либо заполнить различными волнениями общественной жизни странную пустоту своей жизни.

Но едва человек, побуждаемый этим непреодолимым инстинктом социальности, присоединился к другим людям и действительно объединился с ними, как он начинает испытывать противоположную потребность вновь обрести свое одиночество. Он ревностно стремится отстоять свою индивидуальную свободу и даже свои прихоти. Он старается подчинить своей воле волю других людей, и этим деспотизмом, допускающим существование только одной воли, он, по меткому выражению Спинозы, осуществляет парадокс — превращает само общественное состояние в изолированное. Эти две противоположные, но неразделимые силы — социальность и несоциальность — будут резко сталкиваться как в социальном мире, так и в каждом индивиде, пока природа не создаст общества, в котором все виды свобод смогут проявляться и осуществляться в полной гармонии.

В XVIII же веке, в 1784 и 1785 гг., т. е. в те годы, когда Кант пишет некоторые из своих наиболее сильных социологических этюдов [28], до этого состояния равновесия свобод было еще весьма далеко. Прежде всего, внутри каждого государства существовало такое противоречие страстей и интересов, что принудительная власть была еще необходима, чтобы могла существовать сама общественная жизнь. Но отныне — и именно в этом проявляется в трудах Канта великий освободительный дух XVIII в.— каждому человеку должна быть обеспечена абсолютная свобода мысли. Такая свобода не освобождает людей от обязанности считаться с политическим и социальным механизмом, с механизмами иерархии и принуждения, все еще образующими жесткие социальные узы. Даже свободная критика разума должна касаться политических институтов более сдержанно и осторожно, чем религиозных верований, так как все религиозные верования — дело внутреннего порядка; они столь сильно переплетаются с жизнью совести и мысли, что, если бы мысль не была совершенно свободна в религиозных вопросах, ей бы угрожало рабство в самом ее средоточии.

Мало-помалу свобода критики и разума окажет влияние на сами политические институты и на волю государей. Таким образом, Кант сочетает глубоко консервативное чувство с революционными надеждами на всеобщее политическое и социальное освобождение путем внутренней работы свободной мысли. В своем замечательном труде, написанном в 1784 г., «Ответ на вопрос: Что такое просвещение?», он утверждает право свободной мысли. Именно способность самостоятельно мыслить и хотеть является, по его мнению, характерной особенностью человека. Всякая мысль, находящаяся под опекой,— мысль несовершеннолетнего.

«Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны другого человека. Несовер-

шеннолетие по собственной вине — это такое, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны другого человека. Sapere aude — имей мужество пользоваться собственным умом! — таков, следовательно, девиз просвещения.

Леность и трусость — вот причины того, что столь большая часть людей, которых природа уже давно освободила от чужого руководства, все же охотно остаются на всю жизнь несовершеннолетними. По этим же причинам другие люди так легко присваивают себе право быть их опекунами. Ведь так удобно быть несовершеннолетним! Если у меня есть книга, мыслящая за меня, если есть духовный пастырь, чья совесть может заменить мою, то мне нечего себя утруждать. Мне не надо мыслить, если я в состоянии платить; этим скучным делом вместо меня займутся другие» [29].

И однако, как ни сладостно для людской лености и трусости это затянувшееся несовершеннолетие, достаточно, чтобы мысль была свободна, и она постепенно пробудит все умы к восприятию мужественных радостей свободы. Кант требует полной свободы мысли не для интеллектуальной элиты, а надеется на нее для всего человечества, которое постепенно освободится, побуждаемое смелым примером свободных умов.

«Но более возможно и даже почти неизбежно, что публика сама себя просветит, если только предоставить ей свободу. Ибо тогда *даже среди поставленных над толпой опекунов* найдутся самостоятельно мыслящие, которые, сбросив с себя иго несовершеннолетия, распространят вокруг дух разумной оценки собственного достоинства и призвания каждого человека мыслить самостоятельно. При этом следует иметь в виду, что публика, до этого поставленная ими под это иго, затем заставит их самих оставаться под ним, если ее будут к этому подстрекать некоторые ее опекуны, не способные ни к какому просвещению. Вот как вредно насаждать предрассудки, которые в конце концов мстят тем, кто их породил или кто был предшественником тех, кто породил их. [Не намек ли это на трудности, на предрассудки и фанатизм, о которые разбились попытки реформ Иосифа II?] *По этой причине публика может достигнуть просвещения только постепенно. Посредством революции можно, пожалуй, добиться устранения личного деспотизма и угнетения со стороны корыстолюбцев и властолюбцев, но никогда нельзя посредством революции осуществить истинную реформу*

---

28. Мы цитируем: «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» (1784); «Ответ на вопрос: Что такое просвещение?» (1784); рецензия на книгу И. Г. Гердера «Идеи к философии истории человечества» [См.: И. Кант. Сочинения в шести томах. М., «Мысль», 1963—1966, т. 6, М., 1966.— *Прим. ред.*]; «Об определении понятия человеческой расы»; «Предполагаемое начало истории человечества» (1786).
29. Им. Кант. Соч., М., 1966, т. 6, с. 27.

образа мыслей; ***новые предрассудки так же, как и старые, будут служить помочами для бездумной толпы»*** [30].

На этом весь упор мысли Канта, одновременно мужественной и сдержанной, смелой и осторожной. Он не хитрит с правом на свободу мысли. Надо, чтобы она всегда обладала мужеством самоутверждения. И эта свободная мысль, распространяясь, одержит верх над предрассудками и преобразует существующие институты. Но это будет внутренняя и медленная эволюция. Внешние же революции, которые изменяют только форму власти, представляют собой лишь случайные явления, поверхностные и не имеющие ценности. Истинные революции должны совершаться внутри человека и распространяться затем на окружающий его мир. Истинный же внутренний и глубокий источник социальных перемен заключается в обновленной и освобожденной мысли. Именно в этом и состоит революционный метод или, скорее, метод проведения реформ, присущий Германии XVIII в., которая таила в себе всю гордость и все дерзания мысли, но которую крупные политические и социальные силы никак не толкали к непосредственным и внешним действиям. Но чем более Кант поначалу ограничивает попытку освобождения мыслью, тем более он хочет, чтобы попытка эта была энергичной.

«Для этого просвещения требуется только свобода, и притом самая безобидная, а именно свобода во всех случаях публично пользоваться собственным разумом. *Но вот я слышу голоса со всех сторон: не рассуждайте! Офицер говорит: не рассуждайте, а упражняйтесь! Советник министерства финансов: не рассуждайте, а платите! Духовное лицо: не рассуждайте, а верьте! Лишь один-единственный повелитель на свете* [Кант намекает на Фридриха II] *говорит: рассуждайте сколько угодно и о чем угодно, но повинуйтесь*! Здесь всюду ограничение свободы. Какое, однако, ограничение препятствует просвещению? Какое же не препятствует, а даже содействует ему? — Я отвечаю: публичное пользование собственным разумом всегда должно быть свободным, и только оно может дать людям просвещение. Но частное пользование разумом нередко должно быть очень ограничено, но так, чтобы особенно не препятствовать развитию просвещения. Под публичным применением собственного разума я понимаю такое, которое осуществляется кем-то *как ученым* перед всей читающей публикой. Частным применением разума я называю такое, которое осуществляется человеком на доверенном ему гражданском посту или службе. Для некоторых дел, затрагивающих интересы общества, необходим механизм, при помощи которого те или иные члены общества могли бы вести себя пассивно, чтобы правительство было в состоянии посредством искусственного единодушия направить их на осуществление общественных целей или, по крайней мере, удерживать их от уничтожения этих целей. Здесь, конечно, не дозволено рассуждать, здесь следует повиноваться.

Но поскольку эта часть [общественного] механизма рассматривает себя в то же время как член всего общества и даже общества граждан мира, стало быть, в качестве ученого, обращающегося к публике в собственном смысле слова в своих произведениях, то этот ученый может, конечно, рассуждать, не нанося ущерба делам, заниматься которыми ему поручено как пассивному члену. Было бы, например, крайне пагубно, если бы офицер, получивший приказ от начальства, стал, находясь на службе, умствовать относительно целесообразности или полезности этого приказа; он должен подчиниться. Однако, по справедливости, ему как ученому нельзя запретить делать заметки о событиях, имевших место во время его службы в армии, о ведении войны и представить их на суд публики. Гражданин не может отказываться от уплаты установленных налогов; если он обязан уплачивать их, то он даже может быть наказан за злонамеренное порицание налогообложения как за клевету (которая могла бы вызвать общее сопротивление), но этот же человек, несмотря на это, не погрешит против долга гражданина, если он в качестве ученого публично высказывает свои мысли по поводу несовершенств или даже несправедливости налогообложения. Точно так же священнослужитель обязан читать свои проповеди ученикам, обучающимся закону божьему, и своим прихожанам в согласии с догматами церкви; ибо он с таким условием и назначен. Но как ученый он имеет полную свободу, и это даже его долг — сообщать публике все свои тщательно продуманные и благонамеренные мысли о недостатках в религиозном учении и свои предложения о лучшем устройстве религиозных и церковных дел. В этом нет ничего такого, что могло бы мучить его совесть. В самом деле, то, чему он учит как священнослужитель, он излагает как нечто такое, в отношении чего он не свободен учить по собственному разумению, а должен излагать согласно предписанию и от имени кого-то другого. Он может сказать: наша церковь учит так-то и так-то; вот доводы, которые она приводит. Он извлекает для своих прихожан в этом случае всю практическую пользу из положений, которые он сам не подписал бы с полной убежденностью» [31].

Любопытная двойственность, в которой находит отражение вся мысль, вся общественная жизнь Германии того времени! Кант озабочен одновременно и обеспечением абсолютной свободы науки, и сохранением прусского правительственного и административного механизма. Какое различие между ним и англичанином, который, если бы убедился в несправедливости какого-нибудь налога, лично отказался бы от его уплаты; или между ним и французом, подготовляющим политическую революцию, чтобы уничтожить злоупотребления! Канту же достаточно неприкосно-

30. Там же, с. 28—29.
31. Там же, с. 29—30.

венности свободы разума, облеченного в научную форму. Именно от нее, не проявляя нетерпения, ожидает он необходимых преобразований.

Однако на деле, какими бы покорными и даже осторожными ни были действия, такая абсолютная свобода науки является зародышем революции; ибо наступит момент, когда противоречие между фактом и мыслью станет нестерпимым даже для тех, кто умеет прекрасно отделять по немецкому методу практическую деятельность от идеальной жизни духа. Если факт не поддается воздействию, то он должен совершить насилие над мыслью или же мысль должна его подчинить себе. Если эта двойственность нисколько не в тягость Канту, то не только потому, что Германия тогда чувствовала себя способной лишь на дерзания мысли, связав же мысль с действием, она лишь обременила бы мысль, но не породила бы действия. Это объясняется еще и тем, что политика Фридриха II, предоставившего полную свободу мнений, во всяком случае в вопросах религии, и установившего повсюду строгое повиновение, служила историческим и реальным фундаментом для ученых разграничений Канта. Кроме того, огромное влияние Фридриха II предотвращало в Германии всякое развитие революционного действия. Он отдал дань свободе, предоставив мысли развиваться безгранично. Кант ясно это говорит:

«Но имеются явные признаки того, что им [людям] теперь открыта дорога для совершенствования в этом, препятствий же на пути к просвещению или выходу из состояния несовершеннолетия, в котором люди находятся по собственной вине, становится все меньше и меньше. *В этом отношении наш век есть век просвещения, или век Фридриха.*

Государь, который не находит недостойным себя сказать, что он считает своим долгом ничего не предписывать людям в религиозных делах, но предоставлять им в этом полную свободу, который, следовательно, отказывается даже от гордого эпитета «веротерпимого»,— такой государь сам просвещен и заслуживает того, чтобы благодарные современники и потомки их славили его как государя, который избавил род человеческий от несовершеннолетия, по крайней мере, когда речь идет об опеке со стороны правительства, и предоставил каждому свободу пользоваться собственным разумом в делах, касающихся совести. При таком государе досточтимые представители духовенства могут без ущерба для своих служебных обязанностей в качестве ученых свободно и публично высказывать свои суждения и взгляды, которые в том или ином отношении отклоняются от принятой ими [церковной] символики; в еще большей степени это может делать каждый, кто не ограничен никаким служебным долгом. Этот дух свободы распространяется также вовне даже там, где ему приходится вести борьбу с внешними препятствиями, созданными правительством, неверно понимающим самого себя. Ведь такое правитель-

ство имеет перед собой пример того, что при свободе нет ни малейшей надобности заботиться об общественном спокойствии и безопасности... Я определил основной момент просвещения, состоявшего в выходе людей из состояния несовершеннолетия по собственной вине, преимущественно в делах религиозных, потому что в отношении искусства и наук наши правители не заинтересованы в том, чтобы играть роль опекунов над своими подданными... *Однако в своем образе мыслей глава государства*, способствующий просвещению в делах религии, идет еще дальше; *он понимает, что даже в отношении своего законодательства нет никакой опасности позволить подданным публично пользоваться своим разумом*» [32].

Итак, Кант, в силу логического развития понятия свободы, распространяет критику науки и на политические институты. Но он ожидает преобразования этих институтов только от самих правительств. Вот что он говорит в своем труде «Идея всеобщей истории» об экономической и политической свободе:

«Далее, гражданскую свободу теперь так же нельзя сколько-нибудь значительно нарушить, не нанося ущерба всем отраслям хозяйства, особенно торговле, а тем самым не ослабляя сил государства в его внешних делах. Эта свобода постепенно развивается. Когда препятствуют гражданину строить свое благополучие выбранным им способом, совместимым со свободой других, то лишают жизнеспособности все производство и тем самым опять-таки уменьшают силы целого... Так постепенно... возникает просвещение, как великое благо... *Это просвещение, а вместе с ним и некая неизбежно возникающая душевная заинтересованность просвещенного человека в добре, которое он постигает полностью, должны постепенно доходить до верховных правителей и получить влияние даже на принципы управления*».

Следовательно, прогресс распространяется именно от [просвещенных] умов к государю, а затем от государя, от правительства, он обращается на преобразованные институты. Нельзя сказать, что Кант ожидает постепенного преобразования мира от установленных политических властей, поскольку инициатива исходит от [просвещенной] мысли. Но они являются необходимым орудием осуществления этих реформ. И даже свобода мысли, эта основа всякого обновления и всякого прогресса, предполагает наличие весьма сильной правительственной власти. Если власть слаба, если ее оспаривают или если она боится, что ее будут оспаривать, то она не доверяет мысли.

Напротив, если она, как мы видим это на примере Фридриха II, уверена в своей силе, если она устроена достаточно прочно, чтобы не опасаться нападок свободной мысли, и если ее административный аппарат действует абсолютно надежно, то она может предоставить мысли полную независимость. Поэтому в некотором смысле

32. Там же, с. 19—20.

мысль тем свободнее, чем сильнее власть. Кант, с присущим ему реализмом и проницательностью, о которых я уже говорил, а также под очевидным влиянием политики Фридриха II, объясняет то, что он сам называет историческим «парадоксом».

«*Однако только тот, кто, будучи сам просвещенным, не боится собственной тени, но вместе с тем содержит хорошо дисциплинированную и многочисленную армию для охраны общественного спокойствия, может сказать то, на что не отважится республика: рассуждайте сколько угодно и о чем угодно, только повинуйтесь! Так проявляется здесь странный, неожиданный оборот дел человеческих, да и вообще они кажутся парадоксальными, когда их рассматривают в целом. Большая степень гражданской свободы имеет, кажется, преимущество перед свободой духа народа, однако ставит этой последней непреодолимые преграды.* Наоборот, меньшая степень гражданских свобод дает народному духу *возможность развернуть все свои способности.* И так как природа открыла под этой твердой оболочкой зародыш, о котором она самым нежным образом заботится, а именно склонность и призвание к свободе мысли, то этот зародыш сам воздействует на образ чувствования народа (благодаря чему народ постепенно становится более способным к свободе действий) и, наконец, даже на принципы правительства, считающего для самого себя полезным обращаться с человеком, который есть нечто большее, чем машина, сообразно его достоинству».

Следовательно, твердая оболочка прусского государства и деспотизма Фридриха II защищает свободу немецкой мысли. И эта оболочка уступит только внутреннему воздействию этой медленно нарастающей и созревающей свободы; разбить же ее извне — это значило бы рисковать обнажить эти ростки свободы прежде, чем они смогут выдержать такое испытание. По этой благородной, серьезной и глубокой заботе о свободе, сочетающейся с пониманием государственной необходимости, мы предугадываем, каково будет отношение великого разума Канта к Французской революции [33]. Он принимает ее с глубоким воодушевлением, так как она провозглашает царство разума, так как она является, в его глазах, силой духа, наконец пробивающей твердую защитную оболочку принуждения и свободно расцветающей пышным цветом. Канта особенно радует то, что, во всяком случае вначале, Революция как будто совершается при содействии королевской власти; именно король созывает Генеральные штаты и соглашается или делает вид, что соглашается, на ту новую роль, которую ему отводит Конституция. И у Канта появляется надежда, что в Германии под воздействием Французской революции ростки разума и свободы созреют быстрее. Если во Франции разум хотя бы на мгновенье вознесся до трона, то почему бы ему не вознестись до тронов в Германии? Если во Франции свобода духа, путем неизбежной эволюции, идущей изнутри вовне, превратилась

в свободу политическую, то почему бы в Германии духовной свободе не проявиться также и в области фактического положения вещей? Но у Канта этой надежде вовсе не сопутствует нетерпение к действию; и когда Французская революция оказывается вынужденной применить к королевской власти насилие и поразить короля, он отказывает ей в своем одобрении.

По мнению Канта, традиционные институты, какими бы гнетущими они ни были, не смогли бы возникнуть и существовать без определенного согласия на то самих угнетенных; полное притеснение, предполагающее, что люди абсолютно отвергают режим, которому они подчиняются,— историческая невозможность; поэтому вопрос о судьбе всякого института, который существует как бы в силу некоего договора, должен быть разрешен полюбовно и путем изъявления общей воли всех участников договора. Кроме того, необходимость для революции прибегнуть к насилию служит для Канта признаком того, что внутренняя и глубокая подготовка умов оказалась недостаточной. Между тем именно эта подготовленность умов является, по Канту, главным условием всякой революции; и если они поверхностны, то они не сто́ят того, во что они обходятся; они не сто́ят пролитой ими крови и причиненных ими разрушений. Вот какова точка зрения Канта на Французскую революцию; эти идеи были высказаны им еще в трудах, написанных до нее. Хотя он и склонен отвергать насилие, он совсем не склонен позволить обескуражить себя частичной или даже полной неудачей попыток достичь свободы; их успех обеспечен, но когда это свершится, рассудок не в силах установить; и реалистический оптимизм Канта, хотя он и восстает против проявлений нетерпения и лихорадочной поспешности, в то же время предохраняет от какого бы то ни было отчаяния и даже усталости. Таким же образом, не предаваясь иллюзиям и не торопясь, утверждает Кант неизбежность всеобщего и вечного мира между нациями [34]. В мире нет ничего более позорного и прискорбного, чем состояние вечной войны и вечного недоверия, приводящее народы к столкновениям.

В каждом народе естественное состояние и чистое насилие уступили место известному общественному порядку, который обеспечивает определенным образом и до некоторой степени взаимное уважение к свободам друг друга. Но в отношениях между нациями полностью продолжают царить нравы естественного состояния, и Кант не перестает сожалеть об этом.

---

33. Об отношении Канта к Французской революции см.: M. Boucher. La Révolution de 1789 vue par les écrivains allemands ses contemporains.., p. 114. Более конкретно см.: P. Schrecker. Kant et la Révolution française.— «La Révolution de 1789 et la pensée moderne». Paris, 1940, p. 266.
34. В 1795 г. Кант выпустил в свет свое эссе «К вечному миру». [См.: Им. Кант. Цит. соч., т. 6.— *Прим. ред.*]

«Человеческая природа,— пишет он в своем этюде «Может быть, это и верно в теории» [35],— нигде столь не достойна любви, как во взаимных отношениях между народами. В отношении своей самостоятельности или своей собственности никакое государство ни на одно мгновение не гарантировано от посягательств другого. Желание подчинить другого или ограничить его в том, что ему принадлежит, всегда налицо; и никогда нельзя уменьшать необходимые для защиты вооружения, которые делают мир часто еще более тяжелым и для внутреннего блага более опустошительным, чем даже война».

Кант вновь настойчиво возвращается к этому вопросу в своем труде «Идея всеобщей истории» [36]:

«Проблема создания совершенного гражданского устройства зависит от проблемы установления законосообразных внешних отношений между государствами и без решения этой последней не может быть решена. Что толку добиваться законосообразного гражданского устройства для отдельных людей, т. е. создания общественного организма? Та же несоциальность, которая заставляет людей объединяться, опять-таки служит причиной того, что каждый общественный организм во внешних отношениях, т. е. как государство по отношению к другим государствам, пользуется полной свободой. Следовательно, государства должны ожидать друг от друга таких же несправедливостей, как те, которые притесняли отдельных людей и заставляли их вступать в законосообразное гражданское состояние».

Состояние войны между нациями столь ужасно, что, по мнению Канта, оно почти оправдывает парадоксы Руссо, направленные против цивилизации:

«До совершения этого последнего шага (а именно образования союза государств), *стало быть, почти на полпути к этому образованию*, человеческая природа испытывает наиболее тяжкие бедствия при обманчивой видимости внешнего благополучия. *И Руссо вовсе не так уж неправ, предпочитая состояние диких*, коль скоро упускают из виду последнюю ступень, на которую нашему роду еще предстоит подняться. Благодаря искусству и науке мы достигли высокой ступени культуры. Мы чересчур цивилизованы в смысле всякой учтивости и вежливости в общении друг с другом. Но нам еще много недостает, чтобы считать нас нравственно совершенными... Но пока государства тратят все свои силы на достижение своих тщеславных и насильственных завоевательных целей и потому постоянно затрудняют медленную работу над внутренним совершенствованием образа мыслей своих граждан, лишая их даже всякого содействия в этом направлении, нельзя ожидать какого-либо улучшения в сфере морали. Ибо для этого необходимо долгое внутреннее совершенствование каждого общества ради воспитания своих граждан. А все доброе, не привитое на морально добром образе мыслей, есть не более как видимость и по-

злащенная нищета. В этом состоянии род человеческий останется до тех пор, пока он не выйдет указанным нам путем из хаотического состояния отношений между государствами».

Но как выйти из этого естественного состояния и состояния войны, терзающего народы? Тщетно было бы надеяться на то, что искусное политическое равновесие между государствами навсегда предотвратит конфликты. Напрасно старались бы дипломаты осуществлять комбинации, ибо они рушились бы при малейшем изменении соотношения сил.

«Основывать всеобщий прочный мир на том, что называется равновесием сил в Европе,— химера, призрак, порождение ума; это похоже на свифтовский дом, построенный архитектором настолько точно сообразно всем законам равновесия, что достаточно было сесть на него птице, чтобы он рухнул».

Нет, надо, чтобы все государства, каково бы ни было их относительное могущество и как бы неустойчиво ни было естественное равновесие сил между ними, вынуждены были подчиняться закону высшей справедливости для всех и решениям, согласующимся с законами. Но как привести их к этому? О, это будет долгий и тяжкий труд. Те, кто думал, что всеобщий мир легко осуществим, были мечтателями. Нет, минует немало времени и придется познать немало поражений, прежде чем он наступит благодаря силе разума, который внедрит постепенно в умы идею порядка, а также в результате столкновений, которые механически приведут к тому, что антагонизмы, существующие между государствами, изживут себя.

Человечество откажется от войны только после того, как еще долгое время будет страдать от ее отвратительных, все более тягостных последствий. Но скажут, что государства никогда не подчинятся таким принудительным правилам; что проект всемирного государства народов, под власть которого согласились бы поставить себя все государства, может, и звучит великолепно в теориях аббата де Сен-Пьера или Руссо [37], но он никогда не

35. В сентябре 1793 г. Кант опубликовал небольшой трактат, целью которого было опровергнуть общепринятое мнение, что «может быть, это и верно в теории, но не годится для практики». Вторая часть этого трактата направлена против Гоббса; Кант объявляет себя сторонником Французской революции и одобряет ее опыт рациональной организации государства. [Русский перевод работы Им. Канта «О поговорке „Может быть, это и верно в теории, но не годится для практики"» см.: Им. Кант. Цит. соч., т. 4, ч. 2-я, М., 1965.— *Прим. ред.*]
36. Им. Кант. Соч., т. 6, с. 15.
37. Аббат де Сен-Пьер знаменит своим «Проектом вечного мира» («Projet de paix perpétuelle», 1713). Руссо опубликовал в 1764 г. «Extrait et jugement du projet de «paix perpétuelle» de l'abbé de Saint-Pierre». [«Избранные места из проекта вечного мира» (в изложении Ж.-Ж. Руссо, 1760) см. в: «Трактаты о вечном мире». М., Соцэкгиз, 1963. Здесь же опубликовано и произведение Ж.-Ж. Руссо «Суждение о вечном

будет иметь практического значения. И для крупных государственных деятелей, и особенно для глав государств, видящих в нем ребяческую игру или выдумку педанта, он уже служит предметом для насмешек.

«Что касается меня,— говорит Кант,— то я питаю больше доверия к теории, которая вытекает из самого принципа права и призвана регулировать отношения между государствами, подобно тому как они регулируются между людьми. Я верю, что она мало-помалу сумеет навязать земным богам, в качестве нормы поведения, разрешение разногласий между отдельными государствами таким образом, который подготовит эти всеобщие правовые узы между нациями, это всемирное государство народов и сделает возможным его создание... Я не могу считать человеческую природу настолько погрязшей во зле, чтобы практические нравственные соображения не могли наконец восторжествовать после стольких бесплодных попыток».

Он рассчитывает на «природу вещей», которая, пройдя через тяжкие испытания, будет содействовать моральным требованиям разума. Под влиянием страшной череды потрясений и под гнетом растущих военных расходов человечество в конце концов постарается найти выход из этого «ада военных бедствий».

«Хотя... наши мироправители теперь не имеют средств на общедоступные воспитательные учреждения... поскольку все заранее откладывается для будущей войны, они тем не менее увидят собственную выгоду в том, чтобы не препятствовать самостоятельным... усилиям своего народа в этом деле. Наконец, самая война становится не только искусственной и, по своему исходу, для обеих сторон сомнительной, но — ввиду печальных последствий, которые государства ощущают от все растущего бремени долгов (новое изобретение), погашению которых нет конца,— рискованным предприятием... эти государства под давлением угрожающей им опасности предлагают себя в качестве третейских судей... и таким образом готовятся к будущему великому государственному объединению, примера которого наши предки не показывали».

Итак, вера Канта в трудно достижимое, но неизбежное воцарение мира между нациями, а также в прогресс свободы и справедливости внутри каждой нации основана отнюдь не на склонности его воображения к благим пожеланиям, а на уверенности в двояком, одновременно механическом и моральном, воздействии, которое принесет свои плоды в веках. Таким образом, мысль Канта является как бы гаванью, открытой для Французской революции, но гаванью, молы которой не смогут поколебать никакая буря, никакие яростные и могучие волны. Он останется непоколебимым в своей уверенности в наступлении мира даже тогда, когда конфликт между Революцией и Европой приведет к войне. Со своего рода стоической твердостью и трезвым рассудком он будет ждать, когда природа, в результате крайнего напряжения

воинственных усилий и усталости от ожесточенных антагонизмов, откроет путь в царство разума и справедливости. Воспитание человечества совершится путем внутренней работы и размышления, оно совершится также через страдания.

МЫСЛЬ ГЕРДЕРА

Мысль Гердера широка и смела [38], но не рассчитана на конкретное, немедленное применение и лишена силы импульса. Из его смелой и впечатляющей философии не вытекает никакой программы действия. Прежде всего этот пастор, человек большого и свободного ума, но в то же время придворный проповедник, наставляющий в христианской вере, более, чем всякий другой, избегал, если можно так выразиться, прямой и вызывающей мысли. Это отнюдь не было проявлением осторожности или малодушия. Кант превозносит в нем именно свободу духа, пример которой он смело подает людям своего круга. Его общее мировоззрение проникнуто идеями натурализма и пантеизма и предвещает уже теорию трансформизма *.

В своих «Идеях к философии истории человечества» Гердер видит во всех живых существах разнообразные проявления одной и той же органической, жизненной силы. Он отмечает аналогии, которые от царства к царству, от вида к виду обнаруживают преемственность природы, и сам человек представляется ему как бы продуктом всех сил и всех форм предшествовавшего развития. Кант, которому с его осторожным позитивизмом претили эти теории, возражал ему, что при бесчисленном множестве живых существ подобные аналогии неизбежны [39].

«Когда подгоняют друг к другу виды по их сходству, то незначительность различий при столь большом многообразии есть необходимое следствие именно этого многообразия. Если бы один род возник из другого или все роды возникли из одного первоначального рода либо из одного материнского лона, то только родство между ними могло бы привести к идеям, которые, однако, столь чудовищны, что разум отшатывается от них; *но такие идеи не следует приписывать нашему автору...*»

Во всяком случае, Гердер уже почти подошел к идее транс-

мире», написанное в 1761 г. в связи с предпринятым им «извлечением» из «Проекта вечного мира» Сен-Пьера.— *Прим. ред.*]

38. О Гердере см. выше, гл. I, с. 49, прим. 61.

* См.: И. Г. Гердер. Идеи к философии истории человечества. М., «Наука», 1977.— *Прим. ред.*

39. В 1785 г. Кант опубликовал рецензию на труд Гердера [см.: Им. Кант. Цит. соч., т. 6]. См.: M. Bouché. La philosophie de l'histoire de Herder. Thouars, 1940. [См. также: А. В. Гулыга. Гердер и его «Идеи к философии истории человечества».— И. Г. Гердер. Указ. соч., с. 612—648.— *Прим. ред.*]

формизма, против которого так ожесточенно выступал Кант. И он объяснял развитие человека совершенно определенными физиологическими причинами. Он предостерегал Германию от учения иллюминатов, от мечтаний мистического характера, от пустой экзальтации чувств и, по его собственному выражению, хотел написать естественную историю человечества.

«Я не хочу,— говорил он,— заниматься сверхчеловеком (Übermensch), а только человеком; я хочу следовать лишь законам человеческой природы». И он прибавлял: «Разум и здоровье — вот две основы развития человека; все учения, все действия, которые ведут к их умалению, бесчеловечны».

«Несмотря на имеющиеся в ней пробелы и плоскость многих острот», он хвалил «Всеобщую историю» Вольтера, его «Опыт о нравах и духе народов» [40], потому что Вольтер говорил в них о «чисто человеческом» и тем самым превзошел Боссюэ и других систематиков. Итак, это был сильный, свободный и здоровый ум. Несмотря на свое восхищение Лессингом, он резко отвергает идею о «возрождении», изложенную Лессингом в конце его «Воспитания рода человеческого» [41]. И, однако, с той противоречивостью, которая приводит в замешательство французский ум и объясняется духом Реформации, с ее тягой одновременно к рационализму и религиозному новаторству, Гердер в почтительных выражениях комментировал евангельские тексты и даже те чудеса, о которых в них говорится. Несомненно, он не допускал и мысли о материальности этих чудес и никогда не исходил из этого. Он всегда придавал рассказу символический смысл; так, комментируя воскрешение сына вдовы из Наина [42], он лишь отмечает, что еще за минуту до совершения чуда вдова не надеялась ни на что; и он говорит: «Это отображение того, что совершается в нас каждый день; мы теряем надежду, мы в отчаянии и неверии именно в тот час, когда бог готов влить новые силы в наше сердце и наш дух». Так чудо как бы растворяется в тайниках нашей духовной жизни. Но никогда Гердер не разрывает грубой рукой оболочку наивного символа, в которую облечена истина.

Величие духа состоит в умении все понять и приспособиться к последовательным формам, которые принимает действительность. «Мелочность духа,— говорит он,— это преступление против величия природы», а также против величия человеческого рода, запечатлевшего свое могущество, свои надежды, свои горечи и радости как в мечте, так и в науке, как в наивной религии, так и в просвещенной философии. Да, но эти столь восприимчивые, столь гибкие умы не были готовы начать против старой Германии предрассудков и тирании открытую и явную борьбу, борьбу революционную. Однако по-своему Гердер тоже содействует освобождению своего народа. Он показывает ему человечество, находящееся в постоянном движении, в постоянном стремлении к прогрессу; тем самым он открывает перед ним новые горизонты. Особенно он старается

вернуть Германии ее духовное самосознание [43]. О, насколько более глубок, чем у Лессинга и у Клопштока, его протест против «галломании», против увлечения властителей Германии французской литературой и французскими нравами! У Лессинга и у Клопштока речь идет об одной литературе. У Гердера — более благоговейное чувство, исполненное боли уважение к глубоко исконной немецкой национальности, хотя и столь раздробленной, к немецкой душе, столь непризнанной и столь попираемой. Как возмущается он социальным унижением родного языка, предрассудком, в угоду которому дворяне должны говорить с равным себе по-французски, а со слугой по-немецки! Как страдает он от ужасного распыления сил, которое после Тридцатилетней войны и Вестфальского договора почти уничтожило Германию! С волнением говорит он о великом Лейбнице, который силой своего гения до некоторой степени восстановил духовное единство Германии. Гердер мечтал о миролюбивой, широко мыслящей и гуманной Германии. Первой ее задачей он считал примирение религиозных верований не посредством наивного единообразия обрядов и отправления культа, а благодаря широте мышления и богатству чувства. Когда накануне Французской революции, направляясь в Италию, он проезжал через Нюрнберг, то картины Альбрехта Дюрера напомнили ему о былой творческой мощи Германии. «О, как далеки были государи от понимания духа германской нации! Как они угнетали его, истощали в оргиях и расточали!» И уже одной силой своих благих намерений он пробуждает вновь

40. В 1740 г. Вольтер составил план «Всеобщей истории», две главы которой были опубликованы в «Mercure» в 1745 г. под многозначащим заголовком «Nouveau plan d'une histoire de l'esprit humain». В 1756 г. появился «Опыт о нравах и духе народов» («Essai sur les mœurs et l'esprit des nations»), окончательное издание которого вышло в 1769 г.
41. См. выше, с. 91, прим. 16. Гипотеза о «возрождениях» высказана в § 97 «Воспитания рода человеческого» (1777—1780); см. выше, с. 93, прим. 19.
42. Наин — город в Галилее. Согласно легенде, Иисус воскресил там единственного сына одной вдовы.
43. Гердер заклеймил «бездеятельную душу возгордившегося космополитизма, который ни для кого не служит пристанищем». «Там, где природа разделила национальности посредством языка, нравов и характера, важно не извратить их, добиваясь их единства искусственным путем. Так, всякое подчинение иностранным нравам, всякое подражание другой цивилизации могут быть только пагубны для национального объединения, собственное развитие которого они искажают. С этой точки зрения Гердер осуждает французское влияние в Германии, результатом которого было «разделение знати и низших классов» и значительная задержка интеллектуального развития нации. Он особенно настаивает на необходимости для каждой нации развивать свой родной язык, «великий воспитатель человечества», отказ от которого в пользу иностранного языка равносилен уничтожению самой нации. Отсюда его враждебное отношение к Фридриху II, покровительствовавшему распространению французского языка и культуры.

совесть немцев. Он надеется, что эта великая общая идея захватит и князей и что с их помощью Германия возродится.

«Бессмертный памятник Германии! Поистине отечество наше достойно сожаления, ибо оно не имеет ни общего голоса, ни места для сборищ, где все могут услышать друг друга. Всё в нем расчленено, и столь многое стоит на страже этого расчленения: религиозные верования, секты, наречия, провинции, правительства, обычаи и право. Разве только на кладбище нам может быть предоставлено место для всеобщего единомыслия и взаимного признания!

Но почему же только здесь? Разве во всех сословиях, от высшего до самого низшего, не трудятся видимые и невидимые силы, стараясь облегчить и осуществить это всеобщее единомыслие и взаимное признание? Одна часть Германии бесспорно опередила другую; эта другая стремится вслед за первой, и можно полагать, что соразмерность будет вскоре восстановлена. Каждый честный человек должен стараться способствовать этому всеми силами, и, к счастью, кажется, те, кто должны быть честнейшими из немцев, правители, становятся сейчас на этот путь. Конечно, не различие религий разделяет нас и удерживает вдали друг от друга, ибо в любом вероисповедании в Германии есть просвещенные хорошие люди. Разница в диалектах между землями, где пьют пиво, и теми, где предпочитают вино, также не разделяет нас. Жалкий государственный интерес, притязания на больший ум, большую культуру в одном случае, на больший вес и большее богатство и т. п.— в другом,— вот что способствует нашему расколу; и это, как мне кажется, должно быть и будет преодолено всемогущим временем.

Ибо скажите, что мешает нам, немцам, всем вместе *признать друг друга сотоварищами* по труду на единой ниве гуманности, уважать друг друга и помогать друг другу? Разве у нас не единый язык, не единый общественный интерес, не единый разум, не одно и то же человеческое сердце? Нигде не удалось закрыть дорогу философии и критике; они пробиваются всюду; они живут в каждой здоровой голове. Их законы повсюду одни и те же; их цель повсюду только одна. И соревнование различных провинций может лишь способствовать этой цели.

Славы и благодарности заслуживает, следовательно, всякий, кто стремится ускорить единение немецких земель писаниями, ремеслами или учреждениями. Он облегчает взаимодействие и взаимное признание многих, и притом разнообразнейших, сил. Он объединяет провинции Германии *духовными и, следовательно, наиболее крепкими узами.*

То, что у нас нет столицы, конечно, не может помешать нашему делу. Ее отсутствие может помешать формированию вкуса. Но столица с таким же успехом может и испортить и сковать вкус, после того как она придаст ему вначале внешний лоск

и окрыленность. Зато глубокое понимание, спокойные размышления, деятельные попытки, чувства и выражения того, что в отдельных местах и повсеместно служит миру между нами,— всё это не нуждается в стенах столицы, всему этому нужен простор, мастерской для этого служит вся Германия. Чем больше и чем легче пробиваются там и тут вести, тем больше ширится обмен мыслями, и ни один князь, ни один король не станет этому мешать, если он понимает бесконечные преимущества производства духовных ценностей, духовной культуры...

Но вопрос понимания не единственный, ради которого я желаю Германии всеобщей связи; еще больше желаю я этого в вопросах характера, решений, предприимчивости. Мы все знаем, что немцы с давних пор больше делали, чем заставляли говорить о себе; они и сейчас еще так поступают. В каждой провинции Германии живут люди, которые без французского тщеславия, без английского блеска, послушно, подчас преодолевая страдания, совершают такие дела, которые, получив известность, внушили бы каждому прекрасные и мужественные чувства. Для этих людей я вовсе не желал бы двора или столицы. Алтарь честной верности пожелал бы я им, вокруг которого они бы объединялись душой и сердцем. Он может существовать только в царстве духа, то есть в письменных творениях. О, если бы такое творение существовало, самое замечательное из всех! Оно воспламенило бы души и укрепило бы сердца. Имя «немец», к которому сейчас многие нации осмеливаются относиться пренебрежительно, быть может, стало бы почетнейшим именем в Европе, без шума, без чрезмерных притязаний, только благодаря своей собственной силе, твердости и величию» [44].

Какая вера в силу духа! Какое пламенное поклонение мысли! Подобно тому как Кант ожидает внешнего прогресса, политиче-

44. Гердер в своей философии истории осуждает немецкое Просвещение в той мере, в какой оно является подражанием французам. То была защитная реакция Германии, стремящейся достичь культурной независимости, жить и мыслить *по-немецки*. Не в силах достичь политического единства и страдая от этого бессилия, Германия берет реванш у судьбы, утверждая веру в свою всемирную миссию духовного порядка. Именно здесь Гердера следует поставить в самый центр будущего Германии. Его можно считать зачинателем движения «Бури и натиска», движения, полного динамизма, которое родилось из немецкого Просвещения и явилось его завершением, в той мере, в какой оно указало путь для политических и социальных реформ. Движение «Бури и натиска» занимало передовые позиции в борьбе против ценностей феодального общества. Крушение восторженных надежд на реформы, столкнувшихся с реальностью привилегий и политикой князей, привело в итоге к политическому разочарованию и к бегству в идеализм. См.: W. K r a u s s. Über die Konstellation der deutschen Aufklärung».— Studien zur deutschen und französischen Aufklärung», Berlin, 1963, S. 309—399. [См.: Г е р д е р. Избранные сочинения. М.— Л., 1959, с. 299—301.— *Прим. ред.*]

ского и социального, главным образом от внутреннего развития свободы и воли, так от разума, от его глубокой работы ожидает Гердер объединения Германии, объединения, которое будет достигнуто отнюдь не путем агрессии, завоеваний и насилия. Нет, нет, разум пробуждается не для того, чтобы оттачивать меч.

«Ныне слава отечества не может быть дикой славой, приносимой завоеваниями, как злой демон потрясшей историю Рима, историю варваров и стольких гордых монархий. Какова была бы мать, которая, как вторая и более жестокая Медея, убила бы часть своих детей, чтобы обратить в рабство чужих детей и превратить их в игрушку для тех своих детей, которыми она не пожертвовала?.. Ныне слава отечества может состоять лишь в том, чтобы дать всем его сынам безопасность, возможность деятельности, свободное и радостное развитие — короче говоря, то воспитание, которое является сокровищем и источником достоинства человека».

Но если не о воинственной и суетной Германии мечтает Гердер, то он мечтает о Германии сильной и великой. Пробуждается прекрасная национальная гордость, сочетаясь с гордостью мысли. Берегитесь, революционеры Франции! Принося свободу, навязывая ее извне, вы, может быть, и совершаете преобразования, но они связаны с унижением. Берегитесь, солдаты Кюстина, дерзнувшие дойти до Франкфурта!

ШИЛЛЕР И ГЁТЕ

Над этой работой, совершавшейся подспудно в Германии, порой разражалась, как яростная, но, увы, бессильная гроза, поэзия Шиллера [45]. В его призывах к свободе больше экзальтированной риторики, чем революционной силы. Его знаменитая драма «Разбойники», написанная им чуть ли не на школьной скамье и впервые поставленная на сцене в 1782 г., свидетельствует одновременно как о пылких мечтаниях тогдашней молодежи, так и о бессилии немецкой буржуазии [46].

Сколько бы Карл Моор ни заявлял, что «Германия станет республикой, рядом с которой Рим и Спарта покажутся женскими монастырями» [47], сколько бы он ни сулил свободным нетерпеливым силам бесконечные возможности для действий,— если дело справедливости принимает форму разбоя, если только разбойники с большой дороги берут на себя защиту бедного крестьянина и честного торговца против вымогательств дворян и законоведов, то это значит, что возможности для возникновения нового политического и социального порядка еще не сложились. «Разбойники»— скорее крик отчаяния, чем призыв к действию; и в своем предисловии к пьесе Шиллер старается еще более умалить его значение [48]. Его маркиз Поза в «Доне Карлосе», написанном

в 1787 г., проповедует терпимость и провозглашает суверенитет народа, но в деле освобождения людей рассчитывает только на «королевского сына, посланного провидением и исполненного благородного воодушевления» [49]. Итак, Шиллер вверяет будущее не прямым действиям просвещенного и гордого народа. И освобождения мира он ожидает не столько от волевого акта порабощенных классов, сколько от своего рода кроткого всеобщего расцвета добра. Послушайте прекрасную песню, широкий и мистический припев которой вскоре позаимствуют немецкие революционеры, превратив его в «Гимн свободе». Это гимн «К радости» [50].

К радости

Радость, пламя неземное,
Райский дух, слетевший к нам,
Опьяненные тобою,
Мы вошли в твой светлый храм.
Ты сближаешь без усилья
Всех разрозненных враждой.
Там, где ты раскинешь крылья,
Люди — братья меж собой.

Хор

Обнимитесь, миллионы!
Слейтесь в радости одной!
Там, над звездною страной,—
Бог, в любовь пресуществленный.

Кто сберег в житейской вьюге
Дружбу друга своего,
Верен был своей подруге,—
Влейся в наше торжество!

Кто презрел в земной юдоли
Теплоту душевных уз,
Тот в слезах, по доброй воле
Пусть покинет наш союз!

Хор

Все, что в мире обитает,
Вечной дружбе присягай!
Путь ее — в надзвездный край,
Где Неведомый витает!

---

45. О Шиллере см. выше, гл. I, с. 41, прим. 53.
46. См.: Ф р. Ш и л л е р. Избранные произведения. М., 1954, ГИХЛ,
47. Там же, с.76
48. Шиллер — враг насилия. В «Разбойниках» восстание не восторжествовало над имманентным и нерушимым порядком. Карл Моор признает свою ошибку: преступление, даже ради справедливого дела, не сможет привести к его победе.
49. Маркиз Поза — воплощение идеала Шиллера.
50. Гимн «К радости» появился в 1785 г.

Мать-природа все живое
Соком радости поит.
Все — и доброе и злое —
К ней влечение таит.

Нам дает лозу и счастье
И друзей в предсмертный миг,
Малой твари сладострастье,
Херувиму божий лик...

Хор

Ниц простерлись вы в смиренье?
Мир! Ты видишь божество?
Выше звезд ищи его;
В небесах его селенья.

Радость двигает колеса
Вечных мировых часов,
Свет рождает из хаоса,
Плод рождает из цветов.

С мировым круговоротом
Состязаясь в быстроте,
Водит солнца в звездочетам
Недоступной высоте.

Хор

Как миры без колебаний
Путь свершают круговой,
Братья, в путь идите свой,
Как герой на поле брани.

С ней мудрец читает сферы,
Пишет правды письмена,
На крутых высотах веры
Страстотерпца ждет она.

Там парят ее знамена
Средь сияющих светил,
Здесь стоит она склоненной
У разверзшихся могил.

Хор

Выше огненных созвездий,
Братья, есть блаженный мир.
Претерпи, кто слаб и сир,—
Там награда и возмездье!

Не нужны богам рыданья!
Будем равны пм в одном:
К общей чаше ликованья
Всех скорбящих созовем.

Прочь и распри и угрозы!
Не считай врагу обид!
Пусть его не душат слезы,
И печаль не тяготит.

Х о р

В пламя, книга долговая!
Мир и радость — путь из тьмы.
Братья, как судили мы,
Судит бог в надзвездном крае.

Радость льется по бокалам.
Золотая кровь лозы
Дарит кротость каннибалам,
Робким силу в час грозы.

Братья, встаньте, пусть, играя,
Брызжет пена выше звезд!
Выше, чаша круговая!
Духу света этот тост!

Х о р

Вознесем ему хваленья
С хором ангелов и звезд.
Духу света этот тост
Ввысь, в надзвездные селенья!

Стойкость в муке нестерпимой,
Помощь тем, кто угнетен,
Сила клятвы нерушимой —
Вот священный наш закон!

Гордость пред лицом тирана
(Пусть то жизни стоит нам),
Смерть служителям обмана,
Слава праведным делам!

Х о р

Братья, в тесный круг сомкнитесь,
И над чашею с вином
Слово соблюдать во всем
Звездным судией клянитесь! [51]

Это поистине глубокое и мощное биение сердца самой природы, взволнованного смутной и бесконечной надеждой. Благодаря кроткому всеобщему благоволению и всепрощению падут все цепи: цепи деспотизма, цепи греха, цепи смерти. Но как мало это широкое и туманное освобождение существ и миров побуждает к непосредственным усилиям, к определенному и мощному революционному действию!

Итак, когда на горизонте Германии вспыхивают первые сполохи Французской революции, немецкий дух пробужден великой силой мысли и одушевлен высокими стремлениями. Но в Германии нет организованной и активной силы, готовой вступить в жестокую борьбу со старым миром. Однако там социальный гнет еще тяже-

51. См.: Ф р. Ш и л л е р. Собр. соч., т. 1, М., 1955, с. 149—152.

лее, чем во Франции; крепостничество, почти исчезнувшее во французском обществе, все еще тяготеет над немецким крестьянством, и даже усилия Фридриха II и Иосифа II, решивших уничтожить его, потерпели почти полную неудачу. Со дна этой пропасти крестьянин совсем или почти не слышит первых призывов революционной Франции к свободе; и даже самые благородные немецкие мыслители приветствуют Революцию вначале как прекрасное человеческое зрелище, но не как пример.

Кант, несмотря на все свое восхищение Декларацией прав человека и свободой, ни на секунду не сворачивает со своего трудного пути. Именно в 1790 г. он опубликовал свою «Критику способности суждения», продолжение своего великого критического труда. Он завершает свою безмолвную революцию в области мысли [52].

Именно в 1790 г. появилась первая часть «Фауста» Гёте [53]. Но в душе Фауста нет и следа великого революционного и гуманного чувства. Когда утомленный жизнью старый ученый собирается выпить смертельный яд, его на мгновенье удерживает чистое и благочестивое пение простых людей: «Христос воскресе». Звон колоколов поет ему песню о прошлом; ни один из них не поет песни о будущем, песни о всеобщем революционном освобождении человечества.

Подобно тому как великий философ мог продолжать глубокую работу своей мысли во время извержения вулкана, которое было не в силах помешать его размышлениям, так и великий поэт уберег свою мечту от какого бы то ни было социального влияния. В «Фаусте» перед нами конфликт человека со всей природой, с судьбой; и Гёте не решился бы умалить его, примешав сюда преходящий и узкий конфликт между человеком и системой институтов [54]. Но он не смог бы оградить свою мысль этим кругом безмятежности и тайны, если бы первые революционные события во Франции оказали сильное влияние на немецкое сознание. Нет, Германия ремесленников, мелких буржуа и крестьян еще пребывала в дремоте, а Германия мыслителей смотрела на эти события с любопытством, часто с сочувствием, но на первых порах отвлеченно и почти пассивно. Лишь мало-помалу и под воздействием последующих событий общественное мнение Германии пробудилось и всколыхнулось.

ВИЛАНД

Виланд отмечает почти день за днем впечатление, которое производит «на немецкого зрителя эта интересная трагедия» [55]. Это был умеренный и осторожный ум, представитель своего рода «золотой середины». Его сочувствие Революции очевидно. Но он опасается обширных потрясений, которые она принесет. В его

диалоге от августа 1789 г. один из собеседников выражает беспокойство [56]: «Возможно ли, мыслимо ли, чтобы король позволил лишить себя унаследованных и всегда признававшихся за ним прав и прерогатив, если он может этому помешать? И если его партия (ведь он, несомненно, еще не покинут всей нацией) в настоящий момент еще недостаточно сильна, чтобы оказать сопротивление народу, поднятому своими представителями, то долго ли она будет оставаться столь бессильной? Разве дворянство не является естественным защитником трона? А другие государи? Останутся ли они перед лицом революции, которая служит для них грозным зеркалом, спокойными зрителями театральной пьесы? Могут ли они остаться бездеятельными, когда им доказывают, уже не путем пустых умозрительных построений, изложенных на бумаге, а на деле, что от их народов зависит в любой момент отказать им в повиновении и выставить против них миллионы вооруженных людей, что они даже более не могут рассчитывать на свои наемные войска и что ни наследственное право, ни коронование, ни миропомазание ничего не значат, когда нации прийдет на ум даровать себе новую конституцию? Повторяю: останутся ли самые могущественные государи Европы, подобно Нерону при пожаре Рима, простыми зрителями революции, которая предрекает им их собственную судьбу или судьбу их преемников? А если,

---

52. В 1781 г. Кант выпустил в свет свою «Критику чистого разума». В 1788 г. появилась вторая критика — «Критика практического разума», в 1790 г.— третья критика: «Критика способности суждения». [См.: Им. Кант. Указ. соч., т. 4, ч. 1-я, М., 1965, т. 5, М., 1966.— *Прим. ред.*]
53. Гёте (1749—1832). В 1790 г. появился отрывок из «Фауста»; первая часть «Фауста» была опубликована в 1808 г. Вторая часть была закончена только за несколько дней до смерти поэта. [См.: Н. Вильмонт. Гёте. История его жизни и творчества. М., 1959.— *Прим. ред.*]
54. И в своих «Венецианских эпиграммах» (1790), и значительно позже в разговорах с Эккерманом (1824) Гёте отказался высказаться определенно, осуждая обе стороны: он ни сторонник деспотической власти, ни защитник прав человека.
55. О Виланде см. выше, с. 53, прим. 70. С 1773 г. Виланд издавал в Веймаре «Дер дойче Меркур», наиболее значительный журнал того времени (1200 подписчиков в 1789 г.). Журнал постоянно держал немецкое общественное мнение в курсе событий Французской революции. Весьма осведомленный благодаря чтению французских газет и обширной переписке, Виланд был просвещенным и добросовестным журналистом.
56. «Entretien sur la légitimité de l'emploi que la nation française fait actuellement de ses lumières et de sa force». Два человека спорят: монархист Адельстан и революционер Вальтер. Академическая дискуссия о смысле понятий и необходимых различиях: народ — это не чернь, а революция — не мятеж. Основная идея состоит в том, что воля того или иного человека не является *правом сама по себе*; это *право* воплощает в себе третье сословие.

что более чем вероятно, дело кончится всеобщей гражданской войной, какова будет участь Франции?»

В другом месте он задает себе вопрос, не оставило ли долгое порабощение, в котором ранее жила Франция, почти неизгладимые следы. «По моему мнению, с порабощением дело обстоит так же, как со здоровьем. Вдруг объявить свободным народ, который в течение веков сгибался под властью произвола и выражал свой пылкий восторг перед королями, ответственными только перед богом,— это все равно что объявить здоровыми людей больных, изнуренных злоупотреблениями или ослабленных чрезмерным трудом и плохим питанием. Свобода, как и здоровье, зависит от двух непременных условий, которые должны быть налицо одновременно: от хорошей конституции и от правильного образа жизни. Первую народу можно дать, но второй может сложиться лишь под длительным воздействием законов». Однако, несмотря на все, Виланд выражает свою симпатию Революции. С бесчисленными предосторожностями и постоянными колебаниями он то восхваляет ее, то предостерегает немецкий народ против духа системы Учредительного собрания. Я склонен думать, что доброжелательность и нерешительность Виланда в этом вопросе точно отражали в тот момент общую нерешительность Германии. «Уже не раз бывало, что народ, угнетаемый в течение веков, когда мера его долготерпения наконец переполнялась, восставал из пучины своих бедствий и вдруг осознавал бесконечное превосходство своей силы над силой своих угнетателей. Но чтобы великая нация, оказавшаяся вынужденной применить против своих тиранов право силы, пользовалась своей силой столь разумно и, провозгласив неотъемлемые права человека и гражданина, дала себе конституцию, которая покоится на прочном фундаменте этих прав и образует во всех своих частях единое целое, находящееся в согласии с самим собой и с целью гражданского общества,— *этого мир еще не видел, и слава такого примера, по-видимому, безусловно, принадлежит Франции.*

Следовательно, нет ничего удивительного в том, что с первых же мгновений этой революции, столь великой, столь беспримерной, всегда считавшейся невозможной, это поразительное зрелище не только привлекло внимание всей Европы, но и среди миллионов зрителей-иностранцев, нисколько непосредственно не заинтересованных, нашлось очень мало таких, которые с первых же дней не почувствовали инстинктивного и почти непроизвольного желания принять участие и проявить сочувствие к этому событию, высказать свое одобрение благородным людям, ставшим благодаря их характеру, их мужеству и силе их ума во главе великой нации, просвещенной, благородной, наделенной живым умом, отважной, доведенной невыносимым деспотизмом до отчаяния, и ждать ее успеха с необычным беспокойством и волнением живой страсти.

Несомненно, у многих из этих зрителей такое сочувствие было

естественным вследствие их внутреннего убеждения, что дело народной партии во Франции было правым, что оно было делом всего человечества, именно поэтому они не позволили смутить себя никаким осложениям этой борьбы, и даже событиям, вызвавшим всеобщее неодобрение, и остались верны своему желанию увидеть эту великую нацию, которая была близка к полному политическому разложению, возрожденной к жизни благодаря свободе и Конституции, соответствующей разумным и истинным принципам».

Признаюсь, мне приятно видеть в этом еще туманном немецком зеркале отражение несколько бледного и неопределенного, но все же великого и славного образа революционной Франции. Виланд отмечает, что в этом первоначальном сочувствии немцев к Революции большую роль сыграл естественный интерес человека к драме вообще; но первые же беспорядки, первые же уличные столкновения оттолкнули часть сочувствовавших:

«Поэтому я нахожу естественным, что мнение, которое первое время высказывала о Французской революции почти вся Германия, изменялось и что непрерывно стало расти число тех, кто считает, что Национальное собрание заходит слишком далеко в своих мерах, что оно поступает несправедливо и тиранически, что аристократический и монархический деспотизм оно заменяет деспотизмом демократическим».

Итак, мнения менялись. Немцы могли бы правильно судить о Революции лишь в том случае, если бы они сами из зрителей превратились в действующих лиц. Они тогда поняли бы все, чего требует борьба, и все ее страсти нашли бы отклик в их душе. Но хотя все наблюдали, никто и не помышлял о действиях. Очень скоро волна клеветы на Революцию захлестнула Германию. Первые эмигранты изображали Учредительное собрание как сборище глупцов и бездельников, направляемых несколькими хитрыми негодяями. Так, они использовали дурную славу, которую эти долгие неурядицы создали Мирабо. Виланд восстает против таких грубых и низкопробных выпадов.

«Кто вспомнит,— спрашивает он,— спустя несколько веков после великих освободительных движений о степени добродетели людей, сражавшихся за свободу?»

И всем тем, кто ему возражает, что историю Революции нельзя писать «при свете фонаря», он отвечает, что ее нельзя также писать при свете праздничных огней, которые зажглись бы в аристократических домах Парижа, если бы победила контрреволюция. Вскоре Виланд, по-видимому, начинает опасаться, как бы в результате неустанных маневров контрреволюции не были подорваны первые завоевания свободы; и он заявляет, что если благородным бойцам Революции и борцам за свободу и суждено погибнуть, то они погибнут, во всяком случае, со славой, попытавшись достичь самой необходимой и самой величественной цели.

Но смелость Учредительного собрания, упразднившего дворянство и нанесшего удар духовенству, обнаруживает перед ним всю мощь революционного движения, и к нему вновь возвращается уверенность. Любопытная деталь, показывающая, что Германия, где буржуазия была слабее французской, не распознала экономических причин Революции: Виланд удивлен и возмущен гарантией государственного долга, данной Учредительным собранием.

«Разве государственный долг по займам, заключенным при прежних правительствах и при последнем правительстве до революции 17 июня, является действительно национальным долгом, т. е. долгом, за который отвечает вся нация? [57]. Но ответ напрашивается сам собой. Когда образовался этот долг, нация, очень далекая от предчувствия своего нынешнего величия, не принимала никакого участия в отправлении законодательной власти и просто платила налоги, на введение которых не спрашивали ее согласия. Кроме того, бóльшая часть долга образовалась (как об этом громко говорят демократы) из-за чрезмерной роскоши и беспорядочных трат королевского двора, а нация так мало выигрывала от этого, что, в то время как несколько сот семейств обогащались за счет нации, миллионы семей впадали в нищету. Поэтому ясно, что заем, который не был заключен нацией, не был ею одобрен и использован в ее интересах, не может быть признан национальным долгом.

А вы, всемогущие законодатели, вы, кому нация доверила защиту всех своих прав, вы, от кого тяжко страждущий и доведенный до последней крайности народ (это ваши собственные слова) ожидает исцеления и спасения, неужели вы не боитесь навязать уже истощенной нации это огромное бремя?.. Из двадцати пяти миллионов свободных граждан и гражданок, составляющих население Франции, имеется по меньшей мере двадцать четыре миллиона, от которых требовать уплаты долгов французского двора было бы так же справедливо, как требовать уплаты долгов императора луны».

Да, но сокрушить и разорить буржуазию, бывшую кредитором государства, и уничтожить всякий общественный кредит означало бы погубить Революцию. Виланд понимал бы это, если бы в тот момент в Германии упрочила свое положение и руководила общественным мнением действительно революционная буржуазия.

Виланд следит за развитием Революции с мягким сочувствием, всегда несколько неопределенным, морализирующим и легко поддается испугу. И каждый раз, когда он делает оговорки или испытывает сомнение, новое проявление силы, новые неожиданные события Революции, так сказать, укрепляют его веру [58]. Среди стольких необычайных событий, смущающих разум, у Виланда постепенно вырабатывается своего рода смелость-смирение, более не ставящая пределов судьбе. Он без удивления и ужаса принимает республику [59]. Война, начавшаяся между Францией,

с одной стороны, и Австрией и Пруссией — с другой, на первых порах его, по-видимому, не тревожит. Он говорит (и не без некоторого основания), что если бы у государей было твердое намерение уничтожить Революцию, то они вмешались бы с самого начала. Но он не задерживается на этой мысли и позволяет увлечь себя нарастающему потоку событий [60].

Но что происходит? Появляются солдаты Кюстина. Французская революция проникает силой оружия в Германию; она обосновывается в Шпейере, в Майнце и даже во Франкфурте. У Виланда это не вызывает ни крика ужаса, ни крика ненависти. Но он и не призывает Германию присоединиться к революционному движению. Он ограничивается тем, что в осторожных и умеренных выражениях предупреждает власть имущих, что многие идеи постепенно проникли в народ, которому недавно они еще были неведомы, и что было бы разумным подготовиться к большим переменам. Поистине можно сказать, что просвещение охватило уже всю Германию, но ни в коей мере не всколыхнуло ее. Не чувствуется могучего дуновения, сотрясающего лес и заставляющего шуметь дубы; но некий легкий шелест повсюду предвещает изменения в атмосфере. Кто знает, не поднимется ли ветер? В январе 1793 г. Виланд берет эпиграфом знаменитую формулу Древнего Рима в дни крайней опасности: «Videant consules ne quid detrimenti respublica capiat» («Пусть будут консулы начеку, дабы республика не потерпела ущерба») [61]. И он констатирует медленную революцию в области идей, подготовляющую революцию в политической области.

---

57. Своей Декларацией об учреждении Национального собрания от 17 июня 1789 г. общины (третье сословие) одобрили предложение Сиейеса, отказавшись от наименования «Генеральные штаты», ставшего отныне беспредметным, и приняли наименование «Собрание представителей французской нации». Тотчас же после этого общины приняли декрет, обеспечивавший взимание налогов и уплату процентов по государственному долгу.
58. «Дер дойче Меркур», несмотря на свою критику, оставался в первые два года Революции благожелательным к Франции.
59. См. сентябрьский номер «Дер дойче Меркур» за 1792 г. («Французская республика»). Виланд констатирует, что только что совершилась вторая революция. Но что изменилось в целом? Одна конституция заменяет другую. Хотеть быть республикой недостаточно... Посмотрите на Польшу, которую республика погубила...
60. В отношении Виланда к политическим проблемам чувствуется моралист. Он полагает, что свобода требует «республиканских нравов». По его мнению, прежде чем провозглашать республику, Конвент должен был разрешить следующую философскую проблему: «Возможно ли с моральной точки зрения, чтобы Франция стала республикой, и в какой мере?» («Дер дойче Меркур», ноябрь 1792 г.)
61. В казни короля Виланд увидел прежде всего предостережение венценосцам. («Дер дойче Меркур», февраль 1793 г.)

«Культура и воспитание человечества, сделавшие за три века столь значительные успехи в наиболее важных районах Европы, постепенно прогрессировали и в конце концов незаметно привели к почти полному перевороту в сфере идей и чувств; *это своего рода интеллектуальная и моральная революция, и было бы пустым и неуместным делом пытаться силой предотвратить ее естественные последствия. Напротив, надо разумно и справедливо руководить этим непреодолимым движением таким образом, чтобы без сильных потрясений и к великому благу всего человечества, а также отдельных государств мы не упустили надлежащего момента и правильного способа осуществления необходимых преобразований... Нужно неустанно повторять, пока эта истина не будет усвоена: человечество в Европе уже достигло своего совершеннолетия. Оно уже не позволяет убаюкивать себя сказками и колыбельными песнями; оно более не считается ни с какими предрассудками, даже освященными долголетней традицией. Ни одно слово властелина не имеет более значения только потому, что это — слово властелина. Люди, как из низших классов, так и из других, слишком ясно сознают теперь свои интересы и то, чего они вправе требовать, чтобы и далее позволять отвлекать или успокаивать себя формулами, ранее обладавшими своего рода магической силой, а теперь наконец признанными словами, лишенными всякого смысла. Они не могут более верить всему тому, чему верили их деды, и не хотят больше терпеть то, что терпели их отцы. Злоупотребления, страдания, угнетение, которые некогда люди терпели, хотя со стонами и ропотом, но терпели, так как бессознательно считали, что иначе не может и быть, теперь начинают находить невыносимыми и видят возможность иного порядка. Они даже задают себе вопрос: почему должны мы их терпеть? И они ищут способа освободиться и возможности самим помочь себе, если те, кто должен взять на себя инициативу движения, обманут доверие, которое они еще питают к ним*».

Как усиливается революционный тон! Как под все более настойчивым и пылким воздействием революционной Франции Германия, несмотря на свою вялость и раздробленность, начинает содрогаться! Она предупреждает государей, что если они сами не проведут в интересах свободы и справедливости реформ, которых от них еще упорно ожидают, то народ сам встанет на защиту своего дела. Да, немецкие зрители пытаются стать действующими лицами и принять участие в революционном действии. Идет брожение умов, идеи распространяются все шире, и Виланд отмечает, что революционные формулы наконец проникли в самые глубинные, самые невежественные и самые угнетенные слои немецкого народа.

«Одним из важнейших последствий необычайных событий последних четырех лет является следующее: множество идей, ложных или наполовину верных, или чрезмерных и опасных,

которые бродят во многих умах, но также и много важнейших истин, много вполне обоснованных сомнений относительно того, что считалось не подлежащим обсуждению, множество вопросов, ответов и практических предложений, касающихся законодательства, управления, прав человека и обязанностей правителей, распространилось отныне повсеместно и проникло в низшие классы народа. Все это перестало быть достоянием кучки посвященных, обсуждавших все эти вопросы между собой. Просвещение, действительное или мнимое, истинное или ложное, преуспело в этот короткий промежуток времени гораздо больше, чем за предшествовавшие пятьдесят лет».

И Виланд отмечает, что Революция сумела найти столь простые и «столь впечатляющие» лозунги, что они проникают в сознание самого бедного ремесленника, самого темного наемного рабочего. «Было бы безумием воображать, что эти успехи просвещения не будут иметь последствий для нашего политического положения. Всякая попытка воспрепятствовать прогрессу человеческого разума под предлогом злоупотреблений, которые может совершать свобода, была бы невозможна не только морально, но и физически».

И Виланд, склоняясь то к одному, то к другому, что как бы отражало неустойчивое равновесие его мысли, то настоятельно предупреждает государей о сходстве социального строя в Германии и во Франции, то отмечает различия между обеими странами, чтобы оставить для Германии путь более мягкой эволюции.

«В вещах,— говорит он,— имеющих общие черты, большинство народа видит прежде всего сходство и недостаточно принимает в расчет различия. Поскольку и конституция Германии покоится в значительной мере на принципах старой феодальной системы и, так сказать, построена из ее обломков, поскольку и у нас есть высшее и низшее дворянство, обладающее большими привилегиями в отличие от остального народа; поскольку у нас имеются епископы и аббаты, являющиеся в то же время князьями и государями; поскольку и у нас есть множество богатых церковных бенефициев, на которые дворянство претендует как бы в силу права рождения; поскольку остатки старого общественного строя и различные виды личной зависимости и реальных повинностей, прикрепляющие подданных к земле сеньора, в разных местах тяжко угнетают тех, кто им подвластен; поскольку и у нас недостаток личной свободы и свободного распоряжения собственностью и огромное неравенство между относительно небольшой частью граждан и всеми остальными весьма оскорбительны,— ничего нет естественнее, чем предположить, что сходные причины приведут и у нас к сходным результатам. Поэтому нет ничего удивительного в том, что под воздействием Французской революции немецкая нация тоже разделилась на партии, которые, слава богу, не нарушили общественного спокойствия, но уже заявили о своем существовании различными манифестациями. Как только

во Франции восторжествовала народная партия, в Германии тоже образовалась партия, которой есть на что надеяться, и партия, которой есть чего бояться».

Но сохранится ли и далее этот параллелизм и завершится ли он революционным подъемом в Германии? По мнению Виланда, два обстоятельства еще дают правителям время принять решение, а разумным людям — право надеяться на то, что необходимые преобразования совершатся без насилия. Первое заключается в том, что в немецком сознании, словно в большом зеркале, отразились все события Революции и запечатлелись как величие и слава Французской революции, так и ее преступные и позорные деяния.

«Внутреннее спокойствие, которым, за незначительными исключениями, мы до сего времени пользовались в нашем немецком отечестве, свидетельствует об уравновешенном характере и здравом смысле нации, правильно оценившей не только завоевания свободы и равенства, но и неизмеримые бедствия анархии, отсутствие безопасности состояний и самой жизни, неистовство группировок, Вандею и множество преступлений и бесчеловечных деяний, к которым привела Революция во Франции и которые были слишком дорогой платой за каждую из ее побед».

И во-вторых, между прежними совершенно деспотическими порядками во Франции и порядками в Германии, как бы они ни были несовершенны, имеются существенные различия.

«Если бы Германия находилась точно в таком же положении, в каком была Франция четыре года назад, если бы у нас не было государственного устройства, преимущества которого намного превосходят его недостатки; если бы мы действительно не обладали значительной частью свободы, которую наши западные соседи должны были еще тогда завоевывать; если бы в большинстве случаев у нас не было правительств более мягких, больше уважавших законы и более внимательных к благосостоянию подданных; если бы у нас не было больше средств борьбы против угнетения, чем у французов в то время; если бы налоги у нас были столь же непомерны; если бы наши финансы были в таком же безнадежном состоянии, а наши аристократы — столь же невыносимо надменны и благодаря привилегиям столь же неуязвимы для всех законов, как аристократы Франции,— то, вне всякого сомнения, примеры, подаваемые нам этой страной в течение нескольких лет, оказали бы на нас иное воздействие; и в то время как у нас наблюдалась лишь некоторая склонность к возмущению, при иных обстоятельствах симптомы горячки проявились бы сразу, и из зрителя немецкий народ давно превратился бы в действующее лицо».

В самом деле, возможно, что отсутствие централизации политической власти в Германии давало некоторые гарантии свободы. Но, опять-таки, правителям Германии не следует дремать, не следует противиться неизбежному прогрессу. Ведь французы своей

гуманностью, как и своей доблестью, уже завоевывают сердца немцев:

«Смелость, доходящая до героизма, в соединении с величием души и гуманностью сильнее всего покоряет сердца и вызывает восхищение и любовь. *Генералы французской армии доказали свою великую мудрость тем, что сумели заставить своих солдат вести себя в соседних странах, где они теперь хозяева, столь выдержанно, что своим безупречным поведением они завоевали (во всяком случае, в Германии) уважение и симпатию народов, которым они проповедуют свое новое евангелие. С удивлением задавали себе вопрос, те ли это каннибалы, чудовища, апокалипсические звери, о злодеяниях которых столько рассказывали последние четыре года.* И приходилось признать, что все прочитанное и услышанное нами об ужасах пресловутых черных дней и о свирепых мерах, посредством которых суверенный народ по-своему вершил правосудие, если и не было полностью измышлением аристократов и их сторонников, то, во всяком случае, было непомерно преувеличено».

Так колебались немецкие мыслители, твердо не зная, на чем остановиться. Намеченная Виландом средняя линия с ее отклонениями и осторожным приспособленчеством, несомненно, довольно верно отражала общее состояние умов [62].

КЛОПШТОК

Первоначальный энтузиазм Клопштока не выдержал насильственных действий Революции [63]. Вначале Клопшток приветствовал в ней свободу и мир. Ему казалось, что благодаря законному признанию свободы исчезнут конфликты и войны — гражданские войны и войны между народами. И, быть может, больше, чем какой-либо другой немец, он призывал Германию вступить на путь, которым пошла Франция [64].

---

62. На протяжении всей Французской революции «Дер дойче Меркур» давал объективную и верную информацию; он неизменно излагал в весьма умеренном тоне проницательные комментарии событий. «Мое утешение в том,— писал Виланд Глейму в апреле 1793 г.,— что Французская революция, несмотря на все отвратительные взрывы фанатизма как аристократов, так и демократов и самые пагубные страсти, не будет потеряна для человечества и постепенно, не вызывая насильственных движений, принесет обильные плоды».

63. О Клопштоке см. выше, гл. I, прим. 1. [См.: «История немецкой литературы», т. 2, М., 1963, с. 160—178.— *Прим. ред.*]

64. Клопшток встретил Французскую революцию с живейшей радостью. Уже в 1788 г. он в своей оде «Генеральные штаты» прославлял предстоящий созыв «Собрания Галлии». В 1789 г. в оде «Людовик XVI» он благодарит монарха, восстановившего французские свободы. В «Князе и его наложнице» он противопоставляет королю французов немецкого самодура. В произведении «Познайте себя» он бранит

«Познайте себя»,— призывал он в 1789 г. немцев, занимавших по отношению к начинавшейся Революции неясную позицию.

«Франция завоевала себе свободу. Это величайшее событие века, достигающее вершин Олимпа. О Германия, неужели ты в своей жалкой ограниченности не можешь постигнуть этого? Неужели твой взор не может проникнуть сквозь туман и ночь? Посмотри все анналы мировой истории и, если сможешь, найди в них хоть что-нибудь подобное тому, что совершается там. О судьба! Отныне французы — наши братья. А мы? Я тщетно вопрошаю— вы остаетесь безмолвны, немцы! Что означает ваше молчание? Не печаль ли от горького и покорного бессилия? Или оно, быть может, предвещает близкую перемену? Так иногда глубокая тишина предвещает бурю, которая разразится вихрем и градом. А после бури в воздухе едва чувствуется мягкое дуновение; поют ручьи, и дождевые капли падают с листьев; в чудной свежести разливаются ароматы; безмятежно улыбается ясная лазурь необъятного неба. Все полно силы, жизни, радости; соловей поет любовную песню, и, еще сильнее любя, поет невеста. Мальчики пляшут вокруг мужчины, которого больше не притесняет никакой деспот, а девочки окружают безмятежную женщину, кормящую новорожденного молоком свободы».

Увы! Вскоре Клопшток испугается бури. Он не сможет дождаться, когда после вспышек ярости и молний людям засияет «ясная лазурь» свободы и мира. Еще в течение трех лет, с 1789 по 1792 г., он воспевает Революцию. В 1790 г. он посвящает герцогу де Ларошфуко поэму под знаменательным названием: «Они, а не мы» [65].

«Если бы я имел сто голосов, их было бы недостаточно, чтобы восславить свободу Франции. Чего только вы не достигли! Самое ужасное чудовище — война — заковано вами в цепи. О моя родина! Много страданий пришлось тебе пережить; но время смягчает их, и твои раны больше не кровоточат. Но есть одна, которую ничто не в силах исцелить, и она продолжает кровоточить. Это сознание того, что не ты, родина моя, достигла вершины свободы и явила ее блистательный пример другим окружающим тебя народам. Это сделала Франция. Ты не вкусила самой сладостной славы; ты не сорвала этой ветви бессмертия... Все же эта славная пальмовая ветвь подобна той, что сорвала ты, когда очистила религию, возвратила ей святость, похищенную у нее деспотами, чтобы сковывать души,— деспотами, проливавшими потоки крови, когда их подданные не хотели веровать во все то, что им предписывала бредовая фантазия господина. Если тобой, моя родина, было сброшено иго деспотов в рясах, то иго коронованных деспотов сбросила не ты».

Германия, со славой начавшая в эпоху Реформации освобождение духа, не сумела взять на себя инициативу революции и даже не вступает на революционный путь вслед за Францией.

Даже в апреле 1792 г., даже в тот момент, когда между Францией, с одной стороны, и Пруссией и Австрией — с другой, объявлена война, Клопшток не изменяет своей вере в Революцию. Он не задается вопросом, не способствовали ли французские революционеры своей наивностью или своими расчетами развязыванию конфликта. Он помнит только об одном: именно Франция провозгласила свободу людей; именно она заявила, что отвергает всякую завоевательную войну. И он возмущается военным походом, предпринятым теперь против Франции [66].

Он открыто высказывает свое неодобрение правителям Германии, не считающимся с мнением немецкого народа, и дает прекрасное наименование — «Освободительная война» (таково название его оды) — той войне, которую вынуждена вести революционная Франция [67].

«Мудрое человечество объединило людей в государства; оно нашло в самой жизни средство к жизни. Дикари не живут; они прозябают, как растения или животные; они лишены душевной силы. Идея объединения и мира получила значительное развитие в Европе; она почти достигла высшей цели, и теперь остается — что составляет тайну великих художников — придать прелесть красок четким линиям рисунка. Но как только вместо народов начинают действовать их правители, закон теряет свою силу и правители становятся дикарями; они превращаются в грубую силу природы, вроде силы львов или силы порохового взрыва. *А теперь вы хотите крови народа, который первым из всех народов приближается к высшей цели, который, изгнав увенчанную лаврами фурию — завоевательную войну, создал для себя самый прекрасный из законов; вы огнем и мечом хотите низвергнуть со страшной высоты сильный и мужественный народ, спасший самого себя, достигший вершины свободы; и вы хотите принудить его вновь служить дикарям. Вы хотите доказать убийствами, что всемирный судия — трепещите! Он и ваш судия тоже — не дал человеку прав.*

своих соотечественников, чересчур склонных к «вековому терпению». В 1790 г. в оде «Они, а не мы» он выражает свое отчаяние из-за того, что Революцию совершили французы, а не немцы.

65. Клопшток прочитал свою оду «Они, а не мы» во время празднества, состоявшегося в 1790 г. близ Гамбурга по случаю годовщины 14 июля. См.: M. Boucher. Op. cit., p. 40.

66. В письме от 22 июня 1792 г. Лафайету Клопшток выражает свое восхищение новым французским строем; стараясь служить Франции, как своей родине, он доходит до того, что дает ему советы военного характера.

67. «Freiheitskrieg» — «Освободительная война». Ода начинается с философских сентенций, достаточно прозаических, однако высказанных торжественным тоном. Далее его охватывает пылкий энтузиазм при мысли о прогрессе человечества. Возвращаясь к политике своего времени, поэт предостерегает деспотов и заключает советами и довольно загадочным призывом к немецким князьям вообще, или, точнее, к герцогу Брауншвейгскому.

Если бы, прежде чем меч обагрится кровью из раны, вы смогли внять предостережениям мудрости! Если бы вы не были слепы! Уже и в вашей стране разгорается искра и пламенеет пепел. Не спрашивайте ни придворных, ни привилегированных по рождению, проливающих за вас кровь в сражениях. Спросите тех, в чьих руках блестит лемех плуга, простых солдат, чья кровь ведь тоже не вода. И поймите из их честных ответов или из их молчания, чтб видят они под пеплом. Но вы презираете их. Тогда вступайте в эту страшную игру, на риск которой еще никто не отваживался, в войну совершенно нового рода».

К кому же были обращены эти пылкие, почти угрожающие речи? К герцогу Фердинанду Брауншвейгскому. Клопшток постарался, чтобы он получил эту оду как раз в тот момент, когда должна была начаться кампания, так что генералиссимус мог найти в своей библиотеке замечательный диалог о всеобщем мире, посвященный ему Лессингом, а в своей корреспонденции — пламенные стихи Клопштока [68].

Великий прозаик и великий поэт, разделенные двадцатью годами, как будто сговорились обрушить на герцога Брауншвейгского своего рода проклятие. Как мог он с легким сердцем сражаться, когда против него были все великие мыслители Германии? Итак, новые идеи всей своей силой обрушивались на герцога Брауншвейгского. Но в каком странном и двусмысленном положении оказалась Германия! Устами некоторых своих великих писателей — Лессинга, умершего, но продолжавшего жить в умах, сурового и могучего Клопштока — она проклинает начатую против Франции войну с целью подавления Революции, но у нее нет сил помешать ей. Она не решается на революционное движение, которое послужило бы лучшим отвлекающим маневром и явилось бы спасением для Франции и Революции. А вскоре и сам Клопшток начнет возмущаться «тиранией якобинцев».

Начиная с 1792 г. он жалуется на то, что Революция, уничтожив все корпорации, допустила возникновение корпорации якобинцев, этого клуба, «подобно змее, заглатывающей Париж, в то время как кольца ее душат провинцию» [69].

Когда на основании декрета Законодательного собрания Клопшток получил права французского гражданина, он не отказался от этой чести. Напротив, он выражает свою горячую благодарность в письме к Ролану, но с некоторыми оговорками. Он умоляет министра не допускать повторения сентябрьских событий и остановить Францию на ее пути к анархии [70].

Желая подчеркнуть свое враждебное отношение к политике пропаганды, направленной против всех королей, Клопшток прославляет короля Дании за его мудрую освободительную деятельность. И он заканчивает свое письмо словами, что его особенно радует звание французского гражданина, поскольку оно делает его «согражданином Вашингтона», который тоже получил фран-

цузское гражданство. Это означало призывать Французскую революцию к умеренной и наполовину консервативной политике вождей американского национального движения. Вскоре Клопшток совсем отвернется от Французской революции. По-видимому, после того как его симпатиями вначале пользовались умеренные, вроде герцога де Ларошфуко, он отдал их, и надолго, жирондистам. Как только последние оказались под угрозой и стало укрепляться влияние Робеспьера, Клопшток отходит от Революции. В довольно утомительных рассуждениях, уместных для надгробной речи, он вызывает кровавый призрак закона, пронзенного ударами кинжала. Закончив таким образом описание Революции этим мрачным видением сентябрьских дней, он в 1793 г. отрекается от прежних взглядов в поэме «Моя ошибка», являющейся актом раскаяния.

«Я долго следил за ними взором — не за теми, кто говорил, а за теми, кто действовал... Я верил,— какая иллюзия! — что занимается радостная заря золотой мечты. Это было каким-то очарованием, блаженством любви для моей жаждавшей свободы души... Свобода, мать спасения! Мне казалось, что ты будешь творцом, что своей божественной рукой ты создашь счастливых людей, твоих избранников. Неужели иссякла твоя творческая сила? Или они оказались неподатливым материалом в твоих руках? Разве у них каменные сердца и взгляд, мрачный, как ночь? Твое сердце, о свобода,— это закон, но их взгляд — это взгляд сокола, а сердце — пылающая лава. Их взгляд сверкает, и сердце загорается, когда им подает знак анархия. Они признают только ее. Тебя они больше не признают. И все-таки все вершится твоим именем, свобода! И когда меч поражает лучших граждан, он обрушивается на них во имя твое!»

Так первые надежды Клопштока быстро сменились горьким разочарованием. Но не вызвано ли это усталостью престарелого поэта, которому тогда шел семидесятый год и который, несмотря на несколько торжественный полет своей мысли, не смог подняться над непосредственными впечатлениями и возвыситься до созерцания светлых перспектив будущего? [71]

---

68. В конце призыв к герцогу Брауншвейгскому гласил: «Тот, кто может обмануть наши надежды и кто меня любит, разочарует меня, меня, желающего, чтобы жизнь цвела, и его поступки предвещают, что громовый день придет!»
69. «Ода якобинцам» помечена декабрем 1792 г. «Если вы не выгоните питона из его логова, если вы не забросаете камнями пропасть, то его слюна и его укусы обратят в прах рожденную вами свободу».
70. Клопшток получил права французского гражданина декретом Законодательного собрания от 26 августа 1792 г. («Archives parlementaires», t. XLIX, p. 710.) В своем письме к Ролану из Гамбурга от 19 сентября 1792 г. он говорит о том, как гордится тем, что таким образом оказался согражданином Вашингтона. См.: «Le Patriote français», № 667.
71. В оде «Завоевательная война», являющейся как бы парой к оде «Освободительная война», Клоп-

НЕДОВЕРИЕ ШИЛЛЕРА

Шиллер гораздо раньше, в полном расцвете сил (в 1789 г. ему было тридцать лет), проявил недоверие и сдержанное отношение к Революции. Он резко покончил с порывами маркиза Позы [72]. Ни на одну минуту не отдался он Революции целиком. Это было недоверие идеалиста, опасавшегося, как бы его слишком возвышенные и прекрасные мечты не были искажены и принижены действительностью. Люди отнюдь не казались ему подготовленными к этой задаче, к высшей цели человечества — превратить, как он говорил, «государство принуждения в государство разума» [73]. А если так, то к чему тратить время и печалиться, созерцая бесплодные судорожные усилия самонадеянного поколения, желающего добиться свободы вовне, прежде чем оно достигло ее внутри? Не раз Шиллер отводил свой взор от Революции, как от странного и неудачного спектакля без развязки, который только залил кровью сцену. Он оставляет без ответа настойчивые вопросы своего друга Кернера, как и он, по рождению шваба, спрашивавшего его мнения о Революции [74]. Однако в 1792 г. он пытается, внимательно читая газету «Монитёр», составить себе о Революции верное суждение [75].

Приближение войны заставляет его заявить, что отныне каждый гражданин, каждый немец должен принять решение. Но ему не удается преодолеть отвращение, внушаемое ему всеми участвующими в борьбе классами: наверху коррупция и легкомыслие, внизу грубые, звериные инстинкты. И он откладывает свои гуманные мечты до отдаленных времен. «Да,— пишет он в 1793 г.,— если бы отныне разум действительно являлся законодателем в политике, если бы человека считали не средством, а уважали и считали самоцелью, если бы воцарился закон, а истинная свобода стала бы фундаментом здания государства, если бы действительно совершилось это необычайное событие, то я бы навсегда распрощался с музами и навсегда отдался бы самому прославленному из искусств — управлению, основанному только на разуме. Но я осмеливаюсь усомниться именно в этой возможности. Да, я далек от веры в начало политического возрождения, так как события современности откладывают осуществление всех моих надежд на многие века.

Пока эти события еще не разразились, можно было тешить себя сладостной иллюзией, что незаметное, но непрерывное влияние мыслящих людей, что насаждаемые веками семена истины, что накопляемые сокровища просвещения сделали человека способным воспринимать лучшее и подготовили эпоху, когда философия сможет взять на себя определение этических норм мира, когда свет восторжествует над тьмой. В области теории ушли так далеко, что почтенные устои суеверия зашатались и было потрясено цар-

ство тысячелетних предрассудков. Казалось, для проведения великой реформы не хватало только сигнала, объединяющего умы в общем усилии. И вот сигнал был дан, и что же произошло?

Попытка французского народа восстановить священные права человека и завоевать политическую свободу выявила только его бессилие и непригодность для этого; в результате этой попытки не только этот несчастный народ, но вместе с ним и значительная часть Европы, все наше поколение были снова ввергнуты в варварство и рабство. Момент был самым благоприятным, но поколение оказалось развращенным, недостойным его, не сумевшим ни возвыситься до этой замечательной возможности, ни воспользоваться ею. То, как это поколение употребило великий дар судьбы, бесспорно, доказывает, что человеческий род еще не вышел из стадии первобытного насилия, что правление свободного разума наступило преждевременно, когда люди едва способны подавлять в себе грубые животные инстинкты, и что разум, до такой степени лишенный человеческой свободы, еще не созрел для гражданской свободы.

Человек проявляет себя в своих действиях; каков же его образ, отраженный в зеркале современности? Здесь — самая возмутительная дикость, там — другая крайность: полная инертность; обе эти весьма прискорбные крайности, одинаково губительные для человеческого характера, проявились в одну и ту же

шток, в присущем ему патетическом тоне и всегда стараясь говорить выспренне, приводит три примера осуществившихся великих надежд, чтобы лучше дать почувствовать свое разочарование в данном случае. Клопшток умер в 1803 г. в возрасте 79 лет. В 1798 г. в своей поэме «Радость и горе» («Freude und Leid»), несмотря на положение, в каком находилась Европа, он все-таки высказывает надежду.

72. См. выше, с. 41, прим. 53, и гл. II, с. 116. Об отношении Шиллера к Революции см.: M. Boucher. Op. cit., p. 94; J. Droz. L'Allemagne et la Révolution française. Paris, 1949, p. 173. [См.: Ф. П. Шиллер. Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество. М., 1955; Л. Лозинская. Фридрих Шиллер. М., 1960; А. Абуш. Шиллер. Величие и трагедия немецкого гения. М., 1964.— *Прим. ред.*]

73. Шиллер различает: «государство принуждения» (Notstaat), возникшее под давлением жизненных потребностей человека, чтобы сделать существование возможным, обуздывая эгоизм и насилия, и «государство разума» (Vernunftstaat), в котором первоначальный договор был заключен с полным сознанием преследуемой цели — расцвета нравственной личности каждого человека.

74. Кернер, которому в 1789 г. не было и двадцати лет, восхищался Французской революцией; в 1791 г. он переехал в Страсбург заканчивать свое медицинское образование, затем переселился в Париж, где сблизился с жирондистами. См. ниже, с. 142.

75. Шиллер пишет Кернеру 26 ноября 1792 г.: «С того времени, как я начал читать «Le Moniteur», я возлагаю больше надежд на французов». Он советует читать эту газету, позволяющую следить за дебатами в Конвенте. «Учитесь познавать французов, их силу и их слабость».

эпоху. В низших классах мы видим только грубые, анархические инстинкты, которые вырываются наружу, разрывая все узы общественного порядка, эти люди с какой-то неудержимой яростью спешат удовлетворить свои животные потребности. До сего времени их взрыв сдерживало не внутреннее моральное сопротивление, а одна лишь сила принуждения сверху; государство угнетало не свободных людей — оно налагало спасительные цепи на диких животных. Если бы государство действительно угнетало человечество, как его в том обвиняют, то мы бы увидели его после разрушения государства. Но прекращение угнетения внешнего лишь делает видимым угнетение внутреннее, а дикий деспотизм инстинктов порождает все те преступления, которые вызывают одновременно отвращение и ужас.

С другой стороны, образованные классы являют собой еще более отталкивающее зрелище полной вялости, слабоумия и нравственного падения, тем более отвратительное, что этому в значительной мере содействовала сама культура... Просвещение, которым не без основания похваляются высшие классы нашего времени, представляет собой лишь теоретическую культуру и служило только превращению развращенности в систему, тому, чтобы сделать ее неисправимой. Утонченное и последовательное эпикурейство начало гасить всякую энергию характера; а все сильнее сковывавшие человека цепи нужды, его растущая зависимость от физического мира постепенно привели к тому, что маразм пассивного повиновения стал высшим жизненным правилом. Отсюда и узость мысли, вялость действий, плачевная скудость результатов, которые, к его стыду, характеризуют наше время. Итак, мы видим, как дух времени колеблется между варварством и вялостью; мы видим вульгарное свободомыслие наряду с суеверием, грубость наряду с изнеженностью, и все держится лишь равновесием пороков.

Есть ли это, спрашиваю я, то человечество, за права которого ратует философия, на котором сосредоточена мысль всякого благородного гражданина мира, для которого новый Солон осуществит свои планы устройства? Я сильно сомневаюсь в этом... И если мне будет дозволено высказать свой взгляд на политическую необходимость нынешних дней и на перспективы в будущем, то я признаюсь, что считаю преждевременной всякую попытку улучшения государственного устройства в соответствии с определенными принципами (а всякое другое улучшение — не более чем уловка и забава), пока характер человека не восстанет из глубины своего падения, на что потребуется не менее столетия. Правда, будут говорить об уничтожении многочисленных злоупотреблений, о проведении многочисленных разработанных в деталях благих реформ, о многочисленных победах разума над предрассудками, но то, что построят десять великих умов, разрушат пятьдесят глупцов. По всему миру негров освободят от цепей,

а в Европе скуют цепями умы... *Французская республика исчезнет так же быстро, как и родилась; республиканская конституция приведет рано или поздно к состоянию анархии, и единственное спасение нации будет в том, что откуда-нибудь появится сильный человек, который укротит бурю, восстановит порядок и будет держать твердой рукой бразды правления, и, возможно, он даже станет абсолютным властелином не только Франции, но и значительной части Европы»* [76].

Увы! Как Шиллер суров! И — да простится мне эта вольность — как легко дается ему эта суровость! Он далеко от бури; он не понимает гнева, не разделяет увлечений народа, доведенного слепым абсолютизмом до полного разорения, до края гибели и вынужденного в несколько месяцев создать новую конституцию, народа, который внезапно перешел от политического сна к самой интенсивной и напряженной политической жизни и который тем не менее был мудр и умерен, упорно хранил доверие к тем, кто его предавал, нарушая верность принятой под присягой Конституции, призывая иностранцев для его погибели, народа, который нанес удар только тогда, когда был, так сказать, доведен до этого цинизмом бесконечного предательства и постоянной лжи. Да, в своих нападках Шиллер был несправедлив к тем, кому на скорбном поле битвы застилает глаза кровавая пелена.

И тем не менее для нас полезно поразмыслить над суровыми мыслями, высказанными им с такой силой. Это не пессимизм и не малодушие. Шиллер не утратил веры в человечество; напротив, он уверен, он знает, что благодаря просвещению оно достигнет свободы; и если для этого нужно время, если нужно столетие и даже столетия, то разве время может служить мерилом для человеческих усилий? Разве его можно отмерить для человеческой мысли, которая заранее предвидит будущие результаты и черпает в них свое мужество?

Это проницательное и суровое спокойствие замечательно. Никаких иллюзий относительно настоящего; но и никакой утраты надежды. Великий поэт был несправедлив к своим современникам и к революционной Франции. Он недостаточно хорошо понимал и мало говорил о том, насколько усилия настоящего, даже анархические и судорожные, способствовали подготовке будущего мира, мира свободы, демократии и справедливости, которого ждали люди. Но какая проницательность и какая глубина суждения! Да, как он и предрекал, понадобилось не менее столетия,

---

76. F. W. Hoven. Autobiographie. Nürenberg, 1840, S. 133. Соученик и друг Шиллера, Ховен в своей «Автобиографии» выразил чувства, преобладавшие в первые годы Французской революции среди немецких интеллигентов. Он рассказывает о беседах, какие вел осенью 1793 г. в Вюртемберге с Шиллером, у которого тогда сложилось окончательное суждение о Французской революции.

чтобы во Франции и в большей части Европы утвердилось определенное, упорядоченное и законное демократическое правление. Да, как он и предрекал с пугающей точностью в конце 1793 г., Французская республика будет уничтожена в несколько лет, а с точки зрения истории в несколько дней. И в пророчествах Шиллера вырисовывается на пороге новых, но уже подорванных свобод фигура грубого солдата, который воспользуется Революцией, чтобы завладеть Францией и частью Европы. О, когда видишь, какое губительное впечатление производили на благородные и свободные умы, подобные Шиллеру, бесполезные дикие поступки, обагрившие кровью несколько дней Революции, и жалкое соперничество самолюбий и тщеславных стремлений, как начинаешь их ненавидеть! Как постигаешь тогда все то зло, какое они причинили Революции, отвратив от нее столько гордых душ за пределами страны и с фатальной неизбежностью принудив ее удвоить истощавшие ее насильственные меры именно для борьбы с внешней опасностью, вызванной или усугубленной первыми насилиями!

Да, пусть Марат предстанет перед нами с гнусным и нелепым номером своей газеты от 19 августа, в котором он указывал участникам избиений дорогу в Аббатство, пусть выйдет он из своего темного подвала и взглянет на мир; пусть взглянет он на Европу! Он увидит тогда, как своей политикой избиений — от которой он, впрочем, несколько недель спустя малодушно отрекся — он дал в руки контрреволюции ужасное оружие, но главное, какое тяжелое бремя взвалил он на тех, чьи первые симпатии были на стороне свободы [77].

И пусть Ролан тоже выйдет из кабинета, где он сочиняет свои тяжеловесные памфлеты! Пусть и он оглянется вокруг, пусть измерит он все зло, причиненное бессмысленными раздорами, главным виновником которых он был [78].

А мы, социалисты XX столетия, которых то воодушевляют, то печалят героические и в то же время слепые, возвышенные и неуверенные, мощные и противоречивые усилия, которые сто двадцать лет назад были предприняты свободой,— мы возьмем на себя ту высокую задачу непрерывного и мудрого просвещения, задачу, которую великий немецкий поэт, огорченный, но не обескураженный предвидимым им крушением французских свобод, завещал будущему как его главный долг.

А сколько есть еще «революционных» голов из темных подвалов, сколько «государственных мужей» в жалких министерских передних, где плетутся интриги и идет борьба честолюбий! Осветим полное ненависти подземелье Марата и скучный салон педантичного Ролана.

Доискиваться в каждом вопросе полной истины и говорить ее всю, изучать во всех подробностях окружающую действительность, но также не упускать из виду мировой горизонт — вот

в чем спасение, вот в чем высшая гарантия от новых заблуждений и новых разочарований.

Шиллер прежде всего видит утешение и радость в эстетическом воспитании, его формулой было: «Через красоту к свободе, через эстетическую культуру к культуре политической» [79]. Но неужели, чтобы освободить человечество от его цепей, надо ждать, пока, восхищаясь шедеврами искусства и размышляя над ними, оно постигнет тайну уравновешенных творений и гармонических усилий? Может быть, Шиллер проявлял бы больше революционного нетерпения, если бы вместо чтения лекций в Иене перед по-прусски вымуштрованной молодежью, склонной к спокойному ожиданию и медленной эволюции мысли, он не порывал со своим родным краем — пылкой Швабией. В 1789 г. при первых же известиях о Французской революции университетская и школьная молодежь, как и многие корпорации ремесленников Швабии пришли в возбуждение. В краткой и живой картине Адольф Вольвиль обрисовал основные черты этого движения (Гамбург, 1875 г.)[80].

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ В ШВАБИИ

В Вюртемберге, в Швабии, еще за четверть века до Революции наблюдались большое оживление мысли и довольно деятельная политическая жизнь. Наряду с Рейнской областью это был самый значительный революционный очаг в Германии. Города там сохраняли значительные вольности, а сословные собрания, где были представлены различные классы, обладали определенной силой и активностью.

77. См.: Ж. Жорес. Цит. соч., т. III, с. 40.
78. Там же, с. 484 и сл.
79. После испытанного в 1793 г. разочарования Шиллер принимает решение отныне искать убежища в мире идей, так как они не замараны «грязью реального». Он излагает свою систему воспитания посредством красоты в своих «Письмах об эстетическом воспитании человека» («Briefe über die ästhetische Erziehung der Menschheit», 1795); первое из которых относится к Французской революции, и Шиллер использует в качестве аргумента ее бессилие переделать государство. Всякая политическая реформа, тем более всякая революция может оказаться эффективной только в том случае, если сначала будет переделан внутренне человек. Нужно «вновь установить единство в политически разделенном мире, объединив его под знаменем истины и красоты». («Путь к свободе ведет только через красоту». Письмо второе.) [См.: Ф. Шиллер. Собрание сочинений в семи томах. 1955—1957, т. 6, М., 1957.— *Прим. ред.*]
80. A. Wohlwill. Weltbürgertum und Vaterlandsliebe der Schwaben 1789—1815. Hamburg, 1875. См. особенно: E. Holzle. Das alte Recht und die Revolution. Eine politische Geschichte Würtembergs in der Revolutionszeit, 1789—1805. München und Berlin, 1931. См.также: J. Droz. L'Allemagne et la Révolution française... première partie, chap. III: «Les „Etats" wurtembourgeois et la Révolution française».

Сказать правду, горизонт буржуа и ремесленников был несколько узок. Он сложился в условиях существования буржуазных олигархий, которые, как и везде в Европе, постепенно завладели муниципальной властью; и между корпорациями ремесленников и средней буржуазией, хотевшими вернуть себе влияние, с одной стороны, и олигархией — с другой, завязалась борьба; она часто велась по самым незначительным вопросам и из-за интересов, имевших чисто местное значение.

Но как только вспыхнула Французская революция, она придала этой муниципальной борьбе более широкий, принципиальный характер. Отныне средние классы требовали более широкого толкования муниципальных конституций во имя Прав Человека. И требование установленных старыми обычаями вольностей, постепенно узурпированных или ограниченных кликами богатой буржуазии, иногда обосновывалось *Общественным договором.* Словно вдруг пронесся вихрь, сметая все устаревшее. Но студенты, особенно Тюбингенского университета и Каролингской школы [81], были уже вполне подготовлены в тому, чтобы увлечься идеями революционной свободы. Прежде всего, между их занятиями, знакомившими их со свободной жизнью Греции и Рима, и сугубо военной дисциплиной, которой они подчинялись в Каролингской школе, существовал контраст, иногда приводивший к вспышкам возмущения. Но главное, они вели напряженную умственную жизнь, которая не замедлила вылиться в сочувствие к революции. Она слагалась из разнообразных и неопределенных элементов, но при всем том отличалась чрезвычайным богатством. Это было смешение воспоминаний об античных республиках с идеями современной демократии. Их воодушевляли Спарта, Афины и Рим и воспламенял Руссо; словно горячий порыв ветра проносился над агорой или над форумом и, казалось, раздвигал их, призывал туда народные массы. Неотъемлемое право человека, провозглашенное Руссо, казалось студентам новым средством вновь обрести античную свободу, погребенную под веками угнетения. Словно выкованный в огне современных цехов заступ отрывает под вековыми наслоениями рабства искалеченную, но все еще прекрасную и благородную статую греческой свободы или свободы современной. Будучи демократами, они поклонялись тому, что откапывал и артистически объяснял Винкельман [82]. С другой стороны, в этих молодых горячих умах как бы сливались воедино немецкий национализм, верность империи, космополитизм и стремление к демократической свободе.

Шубарт и Карл Фридрих фон Мозер были пламенными патриотами [83]. Они мечтали восстановить единую, великую и могущественную Германию. Они хотели достигнуть этого не путем полного слияния и централизации по французскому образцу, а скорее путем строго упорядоченного и проникнутого национальным духом федерализма. «В швейцарской конфедерации, — говорил Шубарт, —

деление на тринадцать кантонов — деление чисто географическое; его даже не чувствуют входящие в конфедерацию... О, как счастлива была бы Германия, как была бы она спокойна, если бы берлинец научился считать своей родиной, любить и почитать Вену, венец — Ганновер, а житель Гессена — Майнц!» Но необходимыми узами, скрепляющими германскую федерацию, они считают великую императорскую власть, еще более твердую и прочную. Она будет живым символом и гарантией единства.

Молодой поэт Тилль прославляет империю: «О творец, ничего не явил ты под солнцем более великого, чем императорский трон Германии!» А Шубарт в 1784 г. издает воинственный клич германского национализма и империализма: «Пробуждаются львы, они слышат крик орла [имперский орел Германии], удары его крыльев, его призыв к бою. И они вырывают из рук чужеземца отнятые у нас земли, тучные луга и виноградные лозы. Над ними поднимется германский императорский трон, грозная тень которого падет на провинции соседей». Для этих энтузиастов черты Иосифа II и черты Фридриха II, «единственного и несравненного», сливались в единый прославленный образ героя — реформатора и воина [84]. Но они не отдавались целиком этим воинственным

---

81. Штутгартская Каролингская школа была, несомненно, одним из наиболее удачных созданий герцога Карла-Евгения (1744—1793). Она была носительницей в Швабии новых идей; ни социальное происхождение, ни религия не принимались в расчет при наборе учащихся. Единственной целью было сделать из них хороших слуг государства, высших гражданских и военных чиновников. Так в Каролингской школе сформировалось поколение, весьма мало склонное почитать «доброе старое право».
82. Винкельман (1717—1768) — археолог и историк античного искусства, автор «Sonderschreiben von den herkulanischen Altertümern» («Письма о древностях Геркуланума») (1762) и «Geschichte der Kunst des Altertums» («История искусства древности») (1764). [О Винкельмане см.: «История немецкой литературы», т. 2, М., 1963, с. 106—120; см. русский перевод его труда: И. И. Винкельман. История искусства древности. М., 1933.— *Прим. ред.*]
83. Шубарт (1739—1791) — журналист и поэт, основал в 1774 г. «Дойче кроник» («Deutsche Chronik»). Мозер (1721—1798) опубликовал в 1759 г. произведение «Хозяин и слуга» («Le maître et le serviteur») с резким осуждением князей, а в 1784 г.— «Государи и министры» («Souverains et ministres»), в котором порицал духовников, камергеров и «ночных министров»— королевских любовниц. С его именем связаны «Патриотические архивы», которые он издавал с 1784 по 1790 г. [О Шубарте см.: «История немецкой литературы», т. 2, М., 1963, с. 288—291; А. М. Деборин. Социально-политическое учение нового времени. Т. 2. «Очерки социально-политической мысли в Германии. Конец XVII — начало XIX в.», М., 1967, с. 50—52; «Немецкие демократы XVIII века. Шубарт, Форстер, Зейме», М., 1956.— *Прим. ред.*]
84. В 1786 г. Шубарт написал «Оду Фридриху II», в ней король был олицетворением идей Просвещения и свободы совести, типом мудрого государя, отца своего народа.

порывам. Часто, под воздействием французской философии, они также выражали желание посвятить себя служению всему человечеству.

Шиллер в одном из первых номеров своей «Рейнской Талии» писал [85]: «Я пишу как гражданин мира, не находящийся на службе ни у одного государя. Я начал с того, что потерял свою родину, чтобы приобрести взамен всю вселенную». В пламенных и смятенных душах молодых швабов этот вдохновляемый свободой космополитизм сочетался с мечтами о героическом национализме. Они примиряли эти противоположные устремления, воображая себе, что восстановленная в своем могуществе великая Германия будет служить делу человечества и мира. Едва Шубарт вышел в 1787 г. из тюрьмы после тяжелого десятилетнего заключения (на которое он был осужден деспотизмом герцога Вюртембергского [86]), как тут же приветствовал появившуюся и все возраставшую надежду на создание сильной миротворческой Германии. Он предсказывает наступление светлых дней, когда свободная Германия станет — что уже начинает осуществляться — «центром всей европейской мощи и высоким ареопагом, примиряющим разногласия между всеми народами».

Среди университетской молодежи Вюртемберга и Швабии распространились широкие и противоречивые надежды. На первых порах Французская революция не принуждала эти свободные и одаренные умы делать выбор между этими устремлениями, делать выбор между свободой и отечеством. Ибо вначале Революция была утверждением одновременно человеческой свободы и мира. Она уничтожала тирании и привилегии и осуждала завоевательные войны. Поэтому молодежь Тюбингенского университета и Каролингской школы вначале всем сердцем отдалась Революции, и Шубарт воодушевлял ее к этому в своей «Дойче кроник» [87]. Студенты основали настоящий клуб, где с энтузиазмом читали французские газеты, где в пылких речах прославлялась свобода. Их крайне раздражало соседство эмигрантов, обосновавшихся даже в Швабии, между теми и другими происходили столкновения и дуэли. Даже несмотря на военную дисциплину Каролингской школы, студенты нашли способ основать тайный клуб. Наиболее выдающиеся среди них — Кристоф Пфафф и Георг Кернер — произносили перед своими товарищами пламенные речи [88]. 14 июля 1790 г. они собрались, чтобы отметить большой французский праздник Федерации; ночью, обманув бдительность своих наставников, не предвидевших столь дерзкой выходки, они направились в герцогский тронный зал. Там они установили под балдахином гипсовую статую свободы, поставили по бокам ее бюсты Брута и Демосфена и в полных огня речах провозгласили свержение всех видов тирании. Сколько величия было в революционной Франции, если она заставляла так сильно биться сердца!

Студенты отважились даже на публичные манифестации. Члены «Лиги свободы» проскользнули на костюмированное празднество, устроенное в Штутгарте в честь эмигрантов, и в пантомиме, которой никто не ждал и за которую никто не осмелился даже наказать их, впервые изобразили уничтожение дворянства. Это было первым возмездием для эмигрантов, которые за пределами своего отечества, откуда они бежали, встретили насмешку и оскорбления. Эмигранты могут бежать далеко, даже в пассивно настроенную Германию, но и здесь их высмеивает Революция. В следующий раз, во время празднеств, молодые революционеры разбили урну, которую нес один из них, изображавший бога Кроноса. Из урны посыпалось множество листков бумаги, на которых были написаны девизы свободы и проклятия по адресу французских принцев. Но если эти хитрости и дерзкие выходки свидетельствуют о революционном настроении и брожении среди молодежи, то они одновременно говорят и о том, что в Германии революция не была широким общественным движением.

Как приятно было встретить среди тюбингенских студентов того времени в первом ряду поборников свободы молодого Шеллинга и молодого Гегеля! [89] В тот момент Гегель, казалось, был целиком поглощен изучением Греции, о которой впоследствии в замечательной речи скажет, что «если Библия нарисовала рай бытия, то греческая мысль — это рай духовный». Гегель покидал этот рай только для того, чтобы восторгаться событиями Французской революции, этими высшими проявлениями права, которые были живым проявлением духа. Шеллинг, уже изумлявший Германию

85. «Рейнская Талия»— журнал, издававшийся Шиллером. Это название носил только его первый номер (1785). С 1787 по 1791 г. журнал выходил под названием «Талия», а с 1792 по 1795 г.— под названием «Новая Талия».
86. Шубарт провел десять лет (1777—1787) в крепости Гогенасперн, после того как попал в ловушку. Его обвиняли в том, что он был «врагом религии», но в действительности ему не простили его протестов против продажи вюртембергских солдат английскому королю, его насмешек над педагогическими потугами Карла-Евгения и нападок на очередную любовницу герцога. «Ни один государь,—писал Кернер,— в самое короткое время не породил стольких поборников свободы, как это сделал Карл-Евгений своим позорным правлением».
87. О «Дойче кроник» Шубарта см.: M. B o u c h e r. Op. cit., p. 20.
88. О Кернере см. с. 135, прим. 74. Пфафф (1773—1852) — друг Кернера, впоследствии профессор химии в Кильском университете, в первые годы Революции тоже думал переехать во Францию.
89. Шеллинга (1775—1854) заподозрили в том, что он перевел «Марсельезу» по случаю посадки «дерева свободы» на берегу р. Неккар. Гегель (1770—1831) — сын чиновника ведомства финансов, провел юность в Штутгарте, 1788 г. поступил в Тюбингенский университет; к Французской революции вначале отнесся с искренним восхищением.

необычайно ранним расцветом своего ума и удивительным разнообразием и богатством своих познаний, был столь пылко увлечен Революцией, что университетское начальство заподозрило его в авторстве тайно распространявшегося немецкого перевода «Марсельезы».

Да, приятно видеть в тот час в ореоле Революции этих совсем еще молодых людей, почти юношей, которым немецкая философия обязана всей своей смелостью и широтой. Когда были провозглашены Права Человека, Гегелю было двадцать лет; когда впервые прозвучала «Марсельеза», Шеллингу было семнадцать. Я далек от намерения ребячески приписывать Французской революции слишком большую роль в будущих дерзаниях их мысли. Я хорошо знаю, что их учения возникли из глубоких источников немецкой мысли. Я хорошо знаю, что, несмотря на свою кажущуюся осторожность и трезвость ума, уже Кант, сделав мысль законодательницей природы, открыл путь для всех дерзаний. Но кто может усомниться в том, что первое впечатление от великого события, обновлявшего мир силой мысли, взволновало эти молодые умы? Как было Шеллингу не стать более смелым в поисках единства духа и природы, когда в Революции, столь воодушевлявшей его вначале, осуществлялось единство права и действия, слияние разума и материи? Позднее Гегель с восторгом скажет, что Французская революция совершила чудо, «поставив человечество на голову», т. е. положив в основу реальной жизни принципы самой мысли. И не станет ли он сам смелее, поставив «на голову» вселенную, т. е. заявив, что всякое реальное явление обусловливается движением и диалектикой идеи? Живительный огонь Революции уничтожил в этих молодых умах то, что еще оставалось в философии, даже у Канта, от схоластики. Мир, вся вселенная принадлежали разуму, и социальная действительность, внутренне освещенная огнем Революции, предстала для этих молодых восторженных диалектиков как претворение идеи. Так в этом пылающем горниле тюбингенских лабораторий мысли совершалось слияние немецкого духа с французским духом, духовного идеализма Германии с активным идеализмом Франции.

Когда же оба эти народа, вспоминая об этих священных часах, вновь найдут в себе силы восстановить свой союз?

Когда революционная Франция распространила на Эльзас свои декреты от 4 августа, когда она отменила феодальные права немецких владетельных князей в Эльзасе, когда она, выйдя за пределы того, что предусматривал Вестфальский договор, казалось, решительно приобщила Эльзас к жизни Франции, то даже самые недоверчивые и пылкие немецкие патриоты не протестовали. Они считали нелепостью и преступлением противопоставлять свой патриотизм мирному прогрессу Революции и свободы. Шубарт даже писал: «Стать таким путем французом — величайшее благо, которое может вообразить себе немец, мнящий

себя свободным, когда за его спиной щелкает бич деспота»[90].

И он считал для себя величайшей честью, что страсбургские революционеры, поддерживавшие постоянную связь со Швабией, пригласили его 14 июля 1790 г. на праздник Братства. Но для всех этих людей в Германии, когда им пришлось выбирать между различными партиями, оспаривавшими друг у друга власть над революционной Францией, когда революционная пропаганда с оружием в руках достигла немецких земель, началась душевная драма.

СИМПАТИИ К ЖИРОНДИСТАМ В ГЕРМАНИИ

Почти все эти энтузиасты, друзья свободы, были в какой-то мере монархистами. Один из самых пылких среди них, Георг Кернер, уехавший в Париж, чтобы быть в самом центре событий, оказался 10 августа 1792 г. среди защитников Тюильри и короля[91]. Быть может, тайный инстинкт предостерегал их, что, чем дальше зайдет в своем развитии Французская революция, чем сильнее скажутся ее последствия, тем бóльшим станет разрыв между нею и убожеством немецких революционных сил. Они хотели бы немного сдержать и замедлить бег «колесницы Революции», чтобы лучше поспевать за нею. Если Германии, чтобы действовать согласованно с Францией, пришлось бы не только уничтожить феодальные привилегии и произвол князей, не только ввести национальное представительство, но и упразднить королевскую власть и разрушить империю, то не пала ли бы она под непомерной тяжестью этой задачи? Не рискует ли она утратить всякую возможность объединения, если разорвет узы императорской власти, которая одна еще сохраняла некоторую общность государственной жизни?

Несомненно, в силу того же инстинкта осторожности большинство студентов Тюбингенского университета и Каролингской школы были на стороне Жиронды и против Горы. Несомненно, этому способствовали и их связи со Страсбургом, где мэр Дитрих, с конца 1791 г. внушавший якобинцам подозрение, создал очаг умеренного, полуфейянтистского, полужирондистского революционного движения. Поощрял их к этому и их молодой товарищ — Рейнгард, преподаватель в Бордо, бывший ярым сторонником

90. После своего участия в празднике Федерации в Страсбурге 14 июля 1790 г. Шубарт переименовал свою «Дойче кроник» просто в «Кроник». Он восхищался деятельностью Учредительного собрания и радовался присоединению Эльзаса к Франции.

91. О Кернере см. выше, с. 135, прим. 74, и с. 142. Кернер присоединился к жирондистам после Десятого августа. Когда Шарлотта Корде убила Марата, Кернер вбежал к одному из друзей с возгласом: «Она опередила нас!» Заподозренный, он вынужден был бежать в Швейцарию. Он возвратился в Париж после Термидора. См.: A. Wohlwill. Georg Kerner. Hamburg, 1886.

Жиронды и поддерживавший связь с Тюбингеном путем оживленной переписки [92]. Кроме того, виднейшие жирондисты, с их более утонченной, более блестящей и более широкой культурой (такова, во всяком случае, легенда), не могли не вызывать симпатии у немецких студентов, восхищавшихся Просвещением.

Партия же Горы могла им казаться издали, из-за клеветы ее противников или грубого пристрастия некоторых ее друзей, неким сообществом неуклюжих санкюлотов или невежественных демагогов. И они отвернулись от нее. Они также считали Гору ответственной за все насилия, которые обсуждались и всячески преувеличивались в Германии, что было на руку делу контрреволюции. Запоздалые и лицемерные заявления потерпевшей поражение и интригующей Жиронды против сентябрьских избиений они принимали всерьез и считали доказательством мужества. Но главное, присущая Жиронде нерешительность, ее постоянное противоречие между смелыми и блестящими лозунгами и осторожными компромиссами как раз соответствовали сложным колебаниям Германии, ее смелости в теории и ее робости на практике.

Даже накануне 10 августа жирондисты готовы были примириться с королевской властью — при условии, что они будут управлять ее именем. После того как они первые развязали войну, чтобы запугать монархию и поставить ее в полную зависимость от себя, они стремились ограничить и ослабить конфликт между революционной Францией и остальным миром. Страх поднять европейские державы на борьбу против Революции побуждал Бриссо и его друзей к уверткам, к хитрим и осторожным маневрам, с помощью которых в ноябре, декабре и январе они старались избежать страшившей их необходимости казнить короля. Стремясь таким образом выиграть время для себя, они тем самым выигрывали время и для революционеров за пределами Франции, которые не торопились высказать свое мнение. Жирондистская политика, политика уступок и компромиссов была, так сказать, тем крайним пределом, до которого могло дойти революционное движение в Германии. И кто знает, не отвечала ли борьба жирондистов против Парижа, их гибкая концепция национального единства, которая примирилась бы, конечно, не с расчленением и распадом отечества, но с достаточно централизованной федерацией,— не отвечала ли она политическим идеям той Германии, у которой не было столицы и которая могла бы достигнуть единства только путем укрепления федеративных уз [93].

По всем этим причинам революционеры Швабии и Вюртемберга были на стороне Жиронды. Поэтому по мере того, как влияние жирондистов падало, а влияние Робеспьера и Горы росло, немецкие революционеры начинали замыкаться в себе и отчасти отходить от Революции. Их также тревожит и приводит в замешательство весьма откровенная, даже грубая форма, которую в конце 1792 г. приняло вмешательство революционной Франции

за границей. Да, они были готовы следовать примеру Франции в той мере, в какой это позволяло политическое и социальное положение Германии. Да, такая пропаганда примером, оставлявшая немецкой революции, которая зарождалась или на которую надеялись, ее независимость, а германской нации — свободу самой завоевывать свою свободу, способствовала в Германии новому подъему идейного движения.

Но вот Франция решается сама провозгласить и организовать революцию вовне так же, как и внутри! Значит, свобода навязана! В старом готическом здании Германии деспотически располагается чужеземка. Это она безжалостно разрушает старое здание и составляет план перестройки по типу новой Франции. О тюбингенские мечтатели, соединявшие мечты о немецком национализме с мечтами о всеобщей свободе, в каком смятении ваш ум! Полвека спустя Гервег резко заявит: «Мы не хотим чужеземной свободы. Мы не хотим этой невесты, которую французские солдаты держали в своих объятиях прежде, чем привести ее к нам» [94].

Именно такого рода чувства национальной гордости и национального унижения начинают испытывать с конца 1792 г. немецкие революционеры.

---

92. Из всех швабов, увлеченных Революцией, Рейнгард был больше всех привязан к Франции, так как в 1792 г. поступил на французскую службу и оставался на ней до самой смерти. Видный дипломат, он удостоился от Наполеона титула барона, от Людовика XVIII — титула графа, а Луи-Филипп сделал его пэром. До Революции он был учителем в Бордо; он интересовался событиями, предшествовавшими Революции.
93. О связях иностранцев с Жирондой см.: A. M a t i e z. La Révolution française et les étrangers. Paris, 1918. О так называемых «немецких жирондистах» см.: J. D r o z. L'Allemagne et la Révolution française, p. 51. Идеал, общий у этих немцев с Жирондой,— «афинская республика», во главе которой стояла бы «аристократия заслуг», в которой почитали бы талант и богатство, необходимые условия для достижения просвещенности. Эти немцы инстинктивно отшатывались от якобинцев, людей действия и решений, когда замечали, что якобинцы притязали на то, чтобы обеспечить верховную власть классу, который, по мнению этих немцев, неспособен был верно понять, что такое общественное благо. Как могли бы эти люди оказывать в Германии революционное влияние, когда они осуждали самые побудительные мотивы революции?
94. Гервег (1817—1875) — немецкий поэт, автор гимна «Рабочий, пробудись!», предназначавшегося для Всеобщего Германского рабочего союза, основанного Лассалем в 1854 г.

Глава третья

*

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ ЭКСПАНСИЯ

Французская революция действительно более не могла медлить с принятием решения. Никакое завоевание, даже во имя свободы, не может избежать своих логических последствий. Когда Франция оккупировала какую-нибудь страну, а граждане этой страны были скомпрометированы тем, что служили Революции, для Франции невозможно было не оградить их от любого насилия. Именно по настоянию граждан Лимбурга и Дармштадта, боявшихся остаться беззащитными после ухода французских войск перед лицом репрессий контрреволюции, был издан знаменитый декрет от 19 ноября, уже цитировавшийся мной, в котором Франция обещала покровительствовать всем борцам за свободу [1]. Но этого было недостаточно. Ибо как осуществлялось бы такое покровительство? Окажется ли Революция вынужденной поставить охрану у дверей каждого из иностранных граждан, высказавшихся за нее? Или она предоставит властям старого порядка право действовать и впредь, навязывать себя, используя привычку, предрассудки или страх, и угрожать таким образом повсюду революционному меньшинству? Для его защиты поистине существовало только одно практическое средство: революционизировать страну, установить там свободу и призвать всех граждан к осуществлению своего суверенитета, но к осуществлению его согласно новым принципам и в духе Революции.

Столь же неотложной была и финансовая необходимость [2]. Источником средств для Революции во Франции были имущества старого порядка, имущества церкви и эмигрировавшего из страны дворянства. Невозможно было поддерживать мировую революцию за счет этих национальных имуществ, и если бы Франции пришлось

одной нести все расходы по большой войне за свободу, то пламя этой мировой свободы угасло бы в ее собственном очаге. Следовательно, для финансирования европейской революции надо было использовать богатства европейского старого порядка — под контролем Франции и из ее рук. Но возможно ли получить повсюду — в Бельгии, в Германии — в свое распоряжение имущества духовенства и дворянства, подобно тому, как это было сделано во Франции, не вводя там политических и социальных порядков революционной Франции? Вот вследствие какого сцепления необходимостей вооруженная и принявшая облик войны свобода приобретала форму и методы завоевания. Вот каким образом освобождение было навязано народам декретом победителя, и вот каким образом случилось наконец, что Революция облагала данью те самые народы, которые она освобождала.

Прошло то время, когда революционная Франция воображала, что стоит ей подать миру сигнал свободы, как все народы устремятся на его свет. Теперь ее армии находились в Бельгии и Германии, а люди встречали там Революцию чаще всего удивленным и несколько тревожным молчанием, прерываемым лишь редкими приветственными возгласами или же враждебным ропотом. Ни примера Франции, к тому же примера, сочетавшего свет и тень, великодушную свободу и кровавое насилие, ни защиты со стороны французских сил, обещанной каждому борющемуся за освобождение, недостаточно было, чтобы сразу пробудить энергию свободы и ввести революционные нравы. Поэтому Революция сама должна была попытаться завершить незаконченное в веках дело и ускорить слишком медленный ход истории в Европе.

ДОКТРИНА КАМБОНА

Именно это без недомолвок разъяснил Камбон на знаменитом заседании 15 декабря. Самый выбор для доклада финансиста, каким был Камбон, слишком ясно свидетельствовал о денежных затруднениях, обрекавших Революцию на авантюристическую политику. Я хочу привести эту речь почти полностью, прежде

---

1. См.: Ж. Жорес. Социалистическая история Французской революции, т. III, с. 262. «Национальный конвент заявляет от имени французской нации, что он предлагает братство и помощь всем народам, которые захотят вернуть себе свободу». («Moniteur», XIV, 517; «Archives parlementaires», LIII, 474.)
2. «Чем дальше продвигаемся мы по вражеской стране, тем более разорительной становится война, особенно при наших философских и благородных принципах... Беспрестанно говорят, что мы несем свободу нашим соседям. Мы несем им также нашу звонкую монету и наше продовольствие; наших ассигнатов они не хотят». (Выступление Камбона 10 декабря 1792 г.)

чем ее комментировать, так как никогда еще не ставились такие огромные проблемы [3].

«Какова цель,— сказал он,— начатой вами войны? Несомненно, уничтожение всех привилегий. Мир хижинам, война дворцам — вот принципы, какие вы выдвинули, объявляя ее [4]: в странах, куда мы вступаем, ко всем привилегированным, ко всем тиранам мы должны относиться, как к врагам. (*Аплодисменты.*) Таков естественный вывод из этих принципов.

Каким же было, наоборот, до сего времени наше поведение? Вступая в неприятельскую страну, наши генералы встречали там тиранов и их прислужников; мужество свободных французов обращало в бегство и тех, и других; французы входили в города как победители и как братья; они говорили народам: вы свободны. *Но они ограничивались одними словами.* Наши генералы, не зная, какого поведения им держаться, спрашивали у нас, какими правилами и принципами им руководствоваться. С докладной запиской по этому вопросу первым обратился к нам Монтескью [5]. Едва вступив в Германию, генерал Кюстин запросил вас, должен ли он упразднить феодальные права, десятины, привилегии, одним словом, всё, связанное с крепостной зависимостью, и должен ли он обложить дворян, священников и богатых людей контрибуцией для возмещения того ущерба, который они нанесли своей помощью эмигрантам. *Вы ничего не ответили на все его запросы.* Ожидая ответа, он решил, что не должен ставить под угрозу интересы Республики. Он потребовал уплаты контрибуции дворянами и богачами...[6]

Дюмурье, вступив в Бельгию, провозгласил великие философские принципы, но ограничился одними обращениями к населению. *Он до сего времени оставил в неприкосновенности все: дворян, привилегии, барщину, феодальный порядок и т. п.; все осталось по-прежнему. Эти земли по-прежнему находятся во власти предрассудков; народ там ничто; ведь мы обещали сделать его счастливым, освободить его от угнетателей, но ограничились одними словами. Народ, порабощенный духовной и дворянской аристократией, не в силах был сам разбить свои оковы*, а мы ничего не сделали, чтобы помочь ему избавиться от них [7].

Генерал полагал, что согласно инструкциям Исполнительного совета он обязан уважать суверенитет и независимость народа; он не хотел прибегать к чрезмерным контрибуциям; он оставил все как было, и когда наши обозы проходят через какие-либо заставы, они платят обычные пошлины. Генерал этот думал, что он не в праве даже заставлять жителей снабжать склады и обеспечивать продовольствием наши армии. Таковы наши философские принципы. Но мы не можем, мы не должны уважать узурпаторов, все те, кто пользуется льготами и привилегиями,— наши враги. Их надо уничтожить, иначе наша собственная свобода окажется под угрозой. Мы должны вести войну не только с одними короля-

ми; ибо, если бы они были одиноки, нам предстояло бы снести всего лишь десять или двенадцать голов. Мы должны вести борьбу со всеми их сообщниками, со всеми привилегированными кастами, которые, прикрываясь именем короля, на протяжении многих столетий разоряют и угнетают народ.

Ваши комитеты сказали: всё, существующее в странах (куда французы войдут с оружием в руках), как результат тирании и деспотизма, должно рассматриваться не иначе, как самая настоящая узурпация, так как короли не имеют права устанавливать привилегии в интересах кучки и в ущерб самому трудолюбивому классу. Франция сама провозгласила эти принципы, когда она восстала 17 июня 1789 г.[8]: незаконно все то, сказала она, что было при деспотизме. Я уничтожаю все существующее одним актом своей воли. Поэтому 17 июня, когда представители народа объявили себя Национальным собранием, они поспешили отменить все существующие налоги [9]; в ночь 4 августа они упразднили дворян-

---

3. «Moniteur», XIV, 758; «Archives parlementaires», LV, 70. Камбон (1756—1820) — негоциант, муниципальный чиновник в Монпелье, депутат Законодательного собрания от департамента Эро, в дальнейшем депутат Конвента.
4. Об этом знаменитом лозунге см. Ж. Жорес. Цит. соч., т. III, с. 248. По свидетельству А. Матьеза, лозунг этот в первый раз встретился в газете банкира Проли «Le Cosmopolite» от 15 декабря 1791 г.
5. О Монтескью и об освобождении Савойи см.: Ж. Жорес. Цит. соч., т. III, с. 243. 28 сентября 1792 г. в Конвенте было зачитано письмо Монтескью: савойцы просили образовать 84-й департамент. «Бойтесь уподобиться королям, приковывая Савойю к Республике»,— бросил Камиль Демулен. Делакруа перебил его: «А кто оплатит военные расходы?»
6. О Кюстине и о завоевании левого берега Рейна см.: Ж. Жорес. Цит. соч., т. III, с. 246. Возникала проблема: должна ли Франция освобождать народы за свой собственный счет, вывозя свою звонкую монету, или же она должна содержать свои войска за счет освобожденной страны, путем военных реквизиций и контрибуций? Не получая никаких инструкций, генералы поступали по-разному. Ансельм в Ницце, Монтескью в Савойе, Дюмурье в Бельгии требовали от населения как можно меньше. Кюстин, напротив, оплачивал расходы за счет Рейнской области.
7. О Дюмурье и завоевании Бельгии см.: Ж. Жорес. Цит. соч., т. III, с. 239.
8. 17 июня 1789 г. третье сословие приняло предложение Сиейеса: приняв Декларацию об учреждении Национального собрания, оно отказалось от наименования «Генеральные штаты», отныне лишенного смысла, ради наименования «Собрание признанных представителей французской нации, полномочия которых проверены», короче «Национальное собрание». См.: Ж. Жорес. Цит. соч., т. I, кн. 1, с. 318—320.
9. Камбон искажает текст решения Национального собрания. Собрание действительно объявило, что «оно временно соглашается от имени нации, чтобы налоги и сборы, хотя и установленные и взимаемые незаконно, продолжали и далее взиматься тем же способом, что и раньше, но только до того дня, пока не распущено это Собрание... Национальное собрание декретирует, что после его роспуска всякое взимание каких-либо налогов и сборов, не утвержденных точно, формально и сво-

ство, феодальный порядок и все, что было связано с феодальным порядком и что остатки предрассудков еще заставляли уважать. И не будем сомневаться в том, каким должно быть поведение народа, который хочет быть свободным и совершить революцию: *если он не имеет возможности совершить ее сам, то надо, чтобы его освободитель заменил его и действовал в его интересах, на какое-то время взяв в свои руки осуществление революционной власти.*

Если народы, которым армии Республики принесли свободу, не имеют необходимого опыта для установления своих прав, надо, чтобы мы объявили себя революционной властью и уничтожили старый порядок, который их держит в рабстве. (Аплодисменты.) Мы не станем создавать особый комитет, мы не должны прикрываться плащом от людских взоров, мы не нуждаемся в этих мелких уловках. Наоборот, мы должны придать своим действиям весь блеск разума и национального всемогущества. Было бы бесполезно скрывать наш образ действий и наши принципы. Тираны уже знают их, и вы только что слышали, что пишет по этому поводу штатгальтер [10]. *Когда мы вступаем в страну, то бить в набат должны мы.* (Аплодисменты.) *Если мы не ударим в набат, если мы торжественно не провозгласим низложение тиранов и упразднение привилегий, то народ, привыкший склонять голову под игом деспотизма, окажется не в силах разбить свои оковы; он не осмелится восстать, и мы лишь напрасно пробудим в нем надежды, если откажем ему в действенной помощи.*

Итак, если мы — революционная власть, то все противоречащее правам народа должно быть уничтожено, как только мы вступим в страну. (*Аплодисменты.*) Следовательно, нужно, чтобы мы провозглашали свои принципы, чтобы мы уничтожали все тирании и чтобы ничто, существовавшее прежде, не могло устоять перед осуществляемой нами властью.

Поэтому ваши комитеты и полагали, что после изгнания тиранов и их прислужников генералы должны в каждой коммуне, куда они вступят, опубликовать прокламацию, чтобы показать народам, что мы им несем счастье; *генералы должны немедленно упразднить десятины и феодальные права и все виды крепостной зависимости* [11]. (Аплодисменты.) Ваши комитеты еще полагают, что вы бы ровно ничего не сделали, если бы ограничились упразднением только этого. *Аристократия управляет повсюду; значит, надо уничтожать все существующие власти. Коль скоро возникает революционная власть, ни одно учреждение старого порядка не должно более существовать... Необходимо, чтобы была установлена народная система власти, чтобы все органы власти были обновлены; иначе все дела у вас будут вершить одни враги. Вы не можете дать стране свободу, вы не можете оставаться там в безопасности, если старые должностные лица сохранят свою власть. Непременно нужно, чтобы в управлении принимали участие санкюлоты.* (Громкие аплодисменты в зале и на трибунах.) Граждане! Аристо-

краты в странах, занимаемых нашими армиями, подавленные в момент нашего вступления, видя, что мы ничего не уничтожаем, уже воспылали новыми надеждами; они не скрывают своего злорадства; они верят в новую Варфоломеевскую ночь, и нетрудно было бы доказать, что в провинции Бельгии уже существуют четыре или пять партий, стремящихся властвовать над народом; аристократы уже сыплют золото, чтобы сохранить свое былое могущество. Там на виду только дворяне, духовенство, штаты, а народ там ничто; он предоставлен самому себе, а вы хотите, чтобы он был свободен! Нет, он никогда не будет свободен, если мы не заявим о своих принципах более твердо.

Вы видели представителей этого народа у барьера вашего Собрания; робкие и слабые, они не посмели признаться вам в своих принципах, они дрожали; они сказали вам: «Неужели вы покинете нас? Неужели ваши армии уйдут прежде, чем наша свобода будет упрочена? Неужели вы отдадите нас на милость наших тиранов? Мы недостаточно сильны. Окажите нам покровительство, предоставьте нам ваши силы» [12]. Но вы не покинете их, граждане! Вы уничтожите в зародыше их раздоры и угрожающие им бедствия. (*Аплодисменты.*) Для вас должно служить примером ваше поведение в Савойе [13]. Народ, ободряемый присутствием ваших комиссаров, высказался более решительно; он начал с уничтожения всего, чтобы осуществлять все самому; тогда его желание не вызывало сомнений; он показал себя достойным свободы и подал вам

бодно настоящим Собранием, будет прекращено во всех провинциях королевства».

10. Это письмо, изъятое у захваченного в плен барона, придворного князя Нассау-Узинген и пересланное 11 декабря 1792 г. генералом Миранда Конвенту, было зачитано на его заседании 15 декабря; оно, как полагали, было написано штатгальтером Объединенных провинций. «Эти бешеные враждебны всей Европе... Надеюсь, что мы разобьем их на суше и на море или они погибнут от наших наводнений, если мы сами не сможем поступить лучше». («Moniteur», XIV, 718.)
11. Статья 1 декрета от 15 декабря 1792 г.: «В странах, которые уже заняты или будут заняты армиями Французской республики, генералы должны немедленно объявить от имени французской нации уничтожение существующих налогов и сборов, десятины, постоянных или случайных феодальных повинностей, крепостного права, связанного с землей, личной зависимости, исключительного права охоты, дворянства и вообще всех привилегий. Они должны объявить народу, что несут ему мир, помощь, братство, свободу и равенство». («Moniteur», XIV, 755.) Доклад Камбона был представлен от имени Комитетов финансов, военного и дипломатического, отсюда выражение «Ваши комитеты».
12. Действительно, независимость, так же как и победа войск коалиции, была чревата риском выдать освобожденные народы их врагам. Депутация от Ниццы заявила об этом Конвенту 4 ноября 1792 г. («Moniteur», XIV, 385.)
13. 27 ноября 1792 г. Конвент по просьбе самих савойцев издал декрет о присоединении Савойи. См.: Ж. Жорес. Цит. соч., т. III, с. 263.

пример, который вы должны перенести на другие народы. Будем же следовать этому образу действий в странах, где мы должны будем *способствовать возникновению* революций; но, уничтожая злоупотребления, не будем пренебрегать ничем ради защиты личности и собственности. (*Бурные аплодисменты.*)»

Да, это серьезные проблемы. И прежде всего — как не оправдался первоначальный оптимизм Жиронды! Народы, которые, как она надеялась и заявляла, должны были восстать стихийно, проявляют, даже перед лицом победоносной Революции, полную инертность, непредвиденное пассивное сопротивление. Даже после поражения и поспешного бегства австрийцев, даже под благожелательным покровительством Дюмурье бельгийский народ не делает ни малейшего усилия для завоевания свободы; словно вьючное животное, которое не в состоянии распрямить спину, он сохраняет все свои старые институты, привычку к прежнему рабству [14]. Не помогло и то, что прусская армия была разбита при Вальми, что она была вынуждена отойти за Рейн, что французские войска оккупировали часть Германии и что наши генералы обращались к народам с пламенными призывами бороться за свободу. Германия не восстает; революционное движение там очень ограничено, слабо и ненадежно. Как и «просвещенный абсолютизм» Фридриха II и Иосифа II, так и революционная сила не может ускорить медленную эволюцию отсталых наций.

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ДИКТАТУРА ФРАНЦИИ

И все же она должна попытаться достигнуть этого, иначе ей грозит гибель; ибо, если ей не удастся революционизировать народы, она будет раздавлена усилиями всего мира. Но имеет ли она на это право? Камбон с несомненностью доказывает, что войны с королями недостаточно, что Революция, кроме того, должна уничтожить все феодальные привилегии дворянства и духовенства, эту опору королей.

Но суть вопроса не в этом. Вопрос заключается в том, должна ли эта революция быть вольным творением самих народов или Франция вправе совершить ее от их имени и вместо них. Камбон не ссылается здесь ни на какие иные основания, кроме необходимости.

Народы действительно неспособны сами совершить революцию. У них для этого нет либо опыта, либо силы или мужества. Их должна заменить Франция. С этого дня и согласно этому декрету все народы объявляются несовершеннолетними; существует лишь одна совершеннолетняя страна, которая в интересах всех остальных берет на себя заботу о свободе. Провозглашается *революционная диктатура Франции*. Раз вспыхнула война, раз она стала неизбежной, из-за измены ли двора или в результате тайных

замыслов части Европы, или из-за легкомысленного нетерпения и безрассудных расчетов Жиронды, и раз между революционной Францией и остальным континентом существовало губительное неравенство в политической и социальной зрелости, иного выхода не было. Начавшаяся война не была борьбой одной нации против другой нации, а борьбой одной системы институтов — против другой системы институтов. Теперь институты, созданные свободой, должны были уничтожить, пусть даже силой, институты, созданные рабством [15].

Но как опасна такая попытка! Какие диктаторские привычки привьет она Франции! И как рискует она отождествить в глазах других народов национальную свободу с былым порабощением! С того дня, когда свобода превратилась в завоевание, европейские патриоты стремятся слиться с контрреволюцией [16]. Конвент бесстрашно пошел на этот опасный риск. Он даже проявил величие, не прикрывая лицемерными оговорками французскую диктатуру, объявленную им миру, неспособному освободиться своими силами. Он мог бы в каждой стране создать для видимости комитеты, которые были бы псевдонациональным орудием Франции. Он не пожелал прибегнуть к этим окольным средствам. Франция должна была открыто взять на себя ответственность за свободу во всем мире. И он во всеуслышание заявил, что отныне управлять будет Франция.

«Ваши комитеты считали, что, потребовав уничтожения существующих властей, надо затем созвать народы в первичные собрания для избрания временных администраторов и судей, чтобы заставить соблюдать законы о собственности и личной

---

14. Об этих проблемах см.: «Occupants, Occupés, 1792—1815. Colloque de Bruxelles, 29 et 30 janvier 1968». Bruxelles, 1969. См. также: Ж. Жорес. Цит. соч., т. III, с. 240—241, прим. 33.
15. Высказывалось и другое соображение, которого Жорес здесь не приводит. Речь шла об определении судьбы занятых стран; они простирались от альпийских гор и до берегов Рейна. И вот раздались голоса, ставившие пределом французской экспансии завоевание естественных границ. По мнению Бриссо, высказанному им в ноябре 1792 г., «границей Французской республики должен быть только Рейн». 26 ноября он вновь сказал: «Если мы отодвинем свои границы до самого Рейна, если Пиренеи будут разделять только свободные народы, то наша победа будет прочной». Поход во имя освобождения превращался в завоевательный. Неудача пропаганды, военные и финансовые нужды ускоряли эту эволюцию.
16. Это мнение представляется чрезмерным. Именно космополитизм стремился слиться с контрреволюцией. Что касается национального чувства в завоеванных странах, то его пробуждение явилось, несомненно, реакцией на оккупацию, и оно обратилось против Франции; так было в Германии в 1813 г. Но его нельзя смешивать с контрреволюцией, даже если оно было отвлечено на другие цели, как опять-таки наблюдалось в Германии в 1813 г.

безопасности [17]. В то же время они считали, что эти временные администраторы могут быть нам полезны и во многих других отношениях. О чем мы должны прежде всего позаботиться, вступая в страну? О сохранении для суверенного народа имуществ, которые мы называем национальными и которые по всей Европе были узурпированы привилегированными. Следовательно, надо поставить под охрану напии имущества движимые и недвижимые, принадлежащие фиску, государям, их пособникам и приверженцам, их добровольным прислужникам, светским и церковным организациям, всем сообщникам тирании [18]. (*Аплодисменты.*) И для того чтобы никто не сомневался в чистоте и искренности намерений Французской республики, ваши комитеты предлагают вам не назначать определенных лиц для заведования и управления этими имуществами, а поручить заботу о них тем лицам, которых изберет народ [19]. Мы не берем ничего, *мы сохраняем все для затрат, необходимых для революции.*

Мы знаем, что, оказывая такое доверие временным администраторам, *вы будете иметь право исключить из их состава всех врагов Республики, которые попытались бы проникнуть в их число. Поэтому мы предлагаем, чтобы ни одна кандидатура не была допущена к голосованию при организации временных администраций, пока избранник не присягнет в верности свободе и равенству и письменно не откажется от всех привилегий и прерогатив, какими он мог пользоваться* [20]. (Бурные аплодисменты.) *Ваши комитеты полагают, что даже при соблюдении этих предосторожностей не следует еще предоставлять полностью самому себе народ, мало привычный к свободе*, что надо помогать ему нашими советами, брататься с ним; в соответствии с этим комитет считает, что, как только будут избраны временные администрации, *Конвенту следует направить к ним комиссаров, выделенных из числа его депутатов*, чтобы поддерживать с ними братские отношения [21]. Но этой меры было бы недостаточно; представители народа неприкосновенны; они ни в коем случае не должны быть исполнителями [т. е. они представляют законодательную власть.— *Ред.*]. *Следовательно, надо будет назначить исполнителей.* Ваши комитеты полагают, что Исполнительному совету со своей стороны следовало бы направить национальных комиссаров, которые будут согласовывать с администраторами меры по обороне только что освобожденной страны, по обеспечению армий запасами и продовольствием и, наконец, будут согласовывать меры, какие надо будет принять, чтобы покрыть издержки, которые мы уже понесли или еще понесем на их территории [22].

Вы должны подумать о том, что вследствие отмены старых налогов освобожденные народы не будут иметь никаких доходов; они будут прибегать к вашей помощи, и Комитет финансов полагает, что необходимо открыть государственную казну для всех народов, которые захотят быть свободными. Из чего состоит содержимое

нашей казны? Из наших земельных имуществ, которые мы реализовали в ассигнатах. Следовательно, вступив в страну, отменив в ней налоги, предложив народу часть своего достояния, чтобы помочь ему завоевать свободу, *мы предложим ему свои революционные деньги.* (Аплодисменты.) *Эти деньги станут его деньгами; тогда нам не придется покупать по дорогой цене звонкую монету, чтобы доставать в той же стране обмундирование и продовольствие, общий интерес объединит оба народа для борьбы с тиранией; тем самым мы увеличим свои силы, поскольку получим возможность сбыта, уменьшения массы ассигнатов, имеющих хождение во Франции, а земельное обеспечение, которое дадут имущества, отданные под охрану Республики, повысит кредитоспособность этих ассигнатов* [23].

Можно будет прибегнуть к чрезвычайным налогам, но тогда Французской республике не следует устанавливать их при помощи своих генералов; такой военный метод мог бы лишь заронить в умы облагаемых налогом незаслуженную неприязнь к нашим принципам. Мы отнюдь не являемся агентами фиска; мы отнюдь не хотим раздражать народ; так вот, ваши комиссары, договорившись с временными администраторами, найдут более мягкие средства. Временные администраторы смогут обложить богатых чрезвычайными сборами, которых могла бы потребовать какая-нибудь непредвиденная надобность, а национальные комиссары, назначенные исполнительной властью, *будут следить за тем, чтобы этими*

---

17. Статья 2 декрета от 15 декабря 1792 г.: [«В странах, которые заняты или будут заняты армиями Французской республики], генералы провозгласят суверенитет народа и упразднение всех существующих властей; они должны немедленно созвать народ в первичные или коммунальные собрания, чтобы создать и организовать временную администрацию», («Le Moniteur», XIV, 755.)
18. Статья 4 декрета от 15 декабря 1792 г.: «Генералы поставят немедленно под охрану и защиту Французской республики все имущество, движимое и недвижимое, принадлежащее фиску, государю и его исполнителям и приверженцам, а также добровольным сателлитам, общественным учреждениям и организациям светским и духовным». («Moniteur», XIV, 755.)
19. Статья 5 декрета от 15 декабря 1792 г. («Moniteur», XIV, 756.)
20. Статья 3 декрета от 15 декабря 1792 г.: «Все агенты и чиновники прежнего правительства, равно как и лица, почитавшиеся прежде знатными или состоявшие членами какой-либо корпорации, считавшейся ранее привилегированной, не будут допускаться (но только во время первых выборов) к занятию временных административных и судебных должностей». («Moniteur», XIV, 755.) См. ниже, с. 161, прим. 32.
21. Статья 6 декрета от 15 декабря 1792 г.: «...Национальный Конвент выберет из числа своих депутатов комиссаров для братания с [временной администрацией]». («Moniteur», XIV, 756.)
22. Статья 7 декрета от 15 декабря 1792 г. («Moniteur», XIV, 756.)
23. В декрете от 15 декабря 1792 г. нет ни одной статьи о курсе ассигната в завоеванных странах. Знаменательная осторожность!

сборами не облагался трудовой и неимущий класс. Таким образом мы внушим народу любовь к свободе; он больше не будет ничего платить и будет всем управлять [24].

Но вы ничего не добьетесь, если не провозгласите во всеуслышание, во всей их суровости, свои принципы, направленные против всякого, кто пожелал бы полусвободы. Вы хотите, чтобы народы, к которым вы пришли с оружием в руках, были свободны. Если бы они пожелали примириться с привилегированными кастами, то вы не должны были бы допустить эту позорную сделку с тиранами. Поэтому народам, которые пожелали бы сохранить у себя привилегированные касты, надо сказать: вы наши враги. Тогда и отношение будет к ним как к врагам, раз они не хотят ни свободы, ни равенства. Если же, напротив, они окажутся склонными к установлению свободного и народного порядка, то вы должны не только оказывать им помощь, но и обеспечивать им надежную защиту. Поэтому объявите, что вы никогда не будете вступать в переговоры с бывшими тиранами; ибо народы могли бы опасаться, что вы пожертвуете ими в интересах мира»[25]. (*Аплодисменты.*)

Я сказал — революционная диктатура Франции? Во всяком случае, это то, что можно назвать *революционным протекторатом* Франции над народами.

Несомненно, они не будут находиться полностью в подчиненном положении. Они будут даже в какой-то форме пользоваться свободой. Они будут призваны сами выбирать своих временных администраторов, а затем и своих представителей. Но деятельность этих администраторов будет подчинена верховному контролю комиссаров Конвента и верховному вмешательству комиссаров Исполнительного совета. Право голоса будет предоставлено только тем, кто клятвенно обяжется бороться против привилегий.

И представителям народа не будет дозволено принять полулиберальную конституцию; они не смогут искать компромисс между их политическими и социальными порядками и республиканской демократией, образец и одновременно лозунг которой им давала Франция. Следовательно, в действительности им придется полностью принять конституцию Франции; это всемирную демократическую республику декретирует Конвент!

Так же как народы будут обладать политическим суверенитетом только для осуществления задач, определяемых самой Революцией, так и возвращенными им Революцией национальными имуществами они смогут распоряжаться лишь под ее контролем. Разумеется, эти имущества прямо не перейдут в собственность Франции. Ими будут управлять выбранные народом администраторы. Но прежде всего они будут предназначены для покрытия военных издержек. Таким образом, все «национальные» имущества будут под своего рода революционным секвестром, то есть в распоряжении Франции. И после того как Франция навязала народам свое правительство, после того как она сделала их национальные

имущества земельным обеспечением в интересах Революции — своей Революции,— она еще навязывает им свои деньги. Ассигнаты будут *предложены*, т. е. их курс в Европе будет принудительным всюду, куда проникнет Революция.

Великая и смелая, но химерическая попытка; ибо, хотя Камбон мог сколько угодно говорить, что курс ассигнатов повысится благодаря более широкому обращению, однако стоимость ассигната определялась не только соотношением между количеством бумажных денег и количеством производимого продукта; она зависела и от степени веры людей в конечный успех Революции. А вера эта уменьшалась по мере того, как французы отдалялись от самого очага Революции и приходили в страны, где Революцию можно было вызвать и поддерживать исключительно силой; и курс ассигната катился стремительно вниз, в глубокие пропасти, в бездны рутины, недоверия и рабства [26].

ОДОБРЕНИЕ ЖИРОНДЫ И КОЛЕБАНИЯ ГОРЫ

Любопытно, что ни Жиронда, ни Кондорсе не имеют мужества откровенно признать, до какой степени эта программа навязываемой революции отличается от намеченной ими ранее программы стихийной революции. В особенности Кондорсе многократно и торжественно заявлял в своих речах, что каждый народ совершенно свободно определит свое новое государственное устройство и что даже предрассудки не будут подвергаться никакому насилию [27]. Не прошло и шести месяцев после объявления войны, как он пришел к тому, что стал одобрять план Камбона.

«Речь Камбона,— пишет он 16 декабря в «Кроник де Пари»,— блещущая великими истинами, которые непринужденность его стиля сделала еще более сильными, энергичная и благородная простота его высказываний снискали всеобщее одобрение. *Можно было подумать, что слушаешь гения свободы и равенства, грозно*

24. Статья 5 декрета от 15 декабря 1792 г.: «...[временная администрация] может налагать сборы при условии, что они не лягут бременем на бедную и трудящуюся часть населения». («Moniteur», XIV, 756.)
25. Ничего подобного не содержится ни в декрете от 15 декабря 1792 г., ни в сопровождающем его воззвании к освобожденным народам. («Moniteur», XIV, 755, 762.)
26. «Никто не любит вооруженных миссионеров»,— сказал Робеспьер 2 января 1792 г. Оккупированные народы совсем не оценили благодеяний, которые они считали смехотворными, ибо ценой их было введение ассигната. Вскоре уже нельзя было скрывать от себя, что оккупированная Бельгия восстанет при первой же неудаче французов; только аннексия, казалось тогда, могла предотвратить контрреволюцию в оккупированных странах.
27. См., например, речь Кондорсе 29 декабря 1791 г. Ж. Жорес. Цит. соч., т. II, с. 159—161, прим. 35.

предрекающего скорую гибель тирании, всем ее ветвям и проявлениям».

Да, но Кондорсе прежде надеялся, что эти ветви отомрут и упадут сами и что не понадобится топора победоносной Франции, чтобы отсечь их. Бриссо характеризует план Камбона в возвышенных выражениях [28]:

«От имени комитетов дипломатического, военного и финансов Камбон делает доклад о линии поведения, какой должны держаться наши генералы по отношению к народам, чья территория занята армиями Республики, затем он предлагает проект декрета, который можно рассматривать как проект *организации всемирной революционной власти* [курсив самого Бриссо]. Великие принципы свободы и политики, развитые докладчиком, произвели тем большее впечатление, что он изложил их с той увлекающей наивностью, с той энергичной простотой, которые свойственны прирожденному оратору, когда он не развращен и не старается развратить других».

Выпады Камбона против Робеспьера и Парижской коммуны принесли ему в тот момент симпатии Жиронды, выраженные ею в цветистых словах [29]. Да, это организация всемирной революционной власти и это грандиозно. Но это также, причем главным образом, распространение на весь мир революционной власти Франции; и Революция, вынужденная восполнять силой недостаточную подготовленность народов, рискует натолкнуться на тупое сопротивление или оскорбить благородную чувствительность и возвышенное чувство национальной гордости. Жиронда, и не подозревающая такой опасности, идет еще дальше, чем Камбон с его планом.

Бюзо, стараясь, несомненно, доказать монтаньярам, что он «революционнее» их, заявляет, что недостаточно потребовать от новых администраторов присяги в верности свободе и равенству и отказа от своих привилегий. Присягу можно обойти [30]:

«Я требую, чтобы все лица, занимавшие должности в старой администрации, не допускались к занятию таковых в новой; я хотел бы даже, чтобы этот запрет был распространен на всех бывших дворян или членов любых бывших привилегированных корпораций». (*Аплодисменты на многих скамьях, ропот на других.*)

Реаль протестует. «Предложение Бюзо,— воскликнул он,— привело бы к созданию у этих народов двух партий и разожгло бы у них гражданскую войну» [31].

Дантонист Базир тоже восстает против предложения Бюзо во имя суверенитета народов, которые должны быть абсолютно свободны в своем выборе. Жиронда прерывает его свистом. Барбару кричит: «Я требую, чтобы Базира выслушали, любопытно посмотреть, как он будет защищать дворянство и духовенство» [32].

Монтаньяры колебались. Они задавали себе вопрос, вправе ли Франция стеснять и ограничивать суверенитет других народов, чтобы вернее их освободить. Их также тревожили последствия,

которые могла бы иметь такая революционная непримиримость. Менее, чем жирондисты, опьяненные воинственной пропагандой, они боялись вызвать у народов раздражение. По странному противоречию, которое можно объяснить лишь прискорбным духом партийного пристрастия, Жиронда как раз в тот момент, когда она, казалось, не решалась нанести удар королю из страха сделать войну всеобщей, подвергла резким нападкам речи монтаньяров, призывавших к осторожности. Бриссо грубо заявляет в своем «Патриот франсэ» от 17 декабря: «Поправка Бюзо, встреченная с горячим одобрением, была уже декретирована, когда Базир, Шабо, Шарлье, *поддержанные двумя десятками членов той же группировки*, поднимаются со своих мест и начинают вопить против принятого декрета и *в защиту бельгийской аристократии*, приводя софистические доводы и перемежая их профанированными словами «народ», «суверенитет» и т. п. *В то самое время, когда эта позорная сцена возмущала всех республиканцев...*» и т. д.

В конце концов, это была лишь деталь. Важно было то, что революционная Франция, вместо того чтобы предоставить свободу действий народам, полностью освобожденным от страха перед своими угнетателями, вынуждена была подменять их собой и совершать вместо них, без них и — в случае необходимости — вопреки им их революцию. Страшная дилемма: либо оставить в неприкосновенности вокруг себя рабство, являющееся постоянной угрозой, либо превратить навязанную свободу в новую форму тирании. Франция искупала этим то, что своей великой и грозной Революцией она опередила весь мир. Если нация опережает другие народы, то это приносит ей славу, но и чревато для нее опасностью. Между переживаемыми ею социальными кризисами и социальными кризисами остального мира нет гармонии; и она должна либо погибнуть, увлекаемая отливом окружающих ее ретроградных сил, либо, распространяя силой прогресс и свободу, истощить себя в чудовищной борьбе и извратить насилием саму Революцию, которая должна освобождать и умиротворять. Поэтому наши патриоты весьма близоруки и умственно ограниченны, когда сожалеют о том, что Германия и Италия не остались раздробленными и бессильными, а сформировались в единые и сильные нации. Ибо именно благодаря этому можно отныне надеяться в Европе на более гармоническое политическое и социальное развитие

---

28. Статья Бриссо, помещенная в его газете «Le Patriote français» от 17 декабря 1792 г.
29. Об озлоблении Камбона против Парижской коммуны см.: Ж. Жорес. Цит. соч., т. III, с. 107.
30. «Moniteur», XIV, 761; Buchez et Roux. Histoire parlementaire de la Révolution française, XXI, 348; «Archives parlementaires», LV, 74.
31. Ibid.
32. Ibid. Предложение Бюзо было принято. См. выше, прим. 20, статья 3 декрета от 15 декабря 1792 г., а также ниже, прим. 34 и 35.

различных народов. Отныне развитие одного народа не рискует натолкнуться на косность других, и самые крупные внутренние преобразования народов не представляют собой более угрозы для равновесия и мира во всем мире.

ПРИЗЫВ РЕВОЛЮЦИИ К ЕВРОПЕ

Эта однородность Европы была подготовлена Революцией, ее борьбой против всеобщего рабства, ее страстными и настойчивыми призывами к всеобщему освобождению. Когда с высоты Альп свобода бросила свой орлиный клич вселенной и призвала к свободе и к жизни «нации, которые еще должны родиться», она провозгласила тот род единства, политической и социальной согласованности, которая характеризует новую Европу. Каковы бы ни были, сделанные по своей воле или вынужденные, ошибки Французской революции, это результат огромного значения.

Она обратилась ко всему человечеству с гордым приказом ускорить шаг, чтобы догнать ее. Она приводила в движение, встряхивала, насиловала отсталые нации. Она заставила их сойти с проторенной веками дороги. Она навсегда сделала для них невозможными дремоту и медлительность старого порядка. Она ускорила ритм жизни всех народов. При вспышках молний разразившейся в те дни грозы она резко поставила задачи, которые зрели в сознании элиты со своего рода священной медлительностью. И ее воззвание к народам о свободе, хотя оно и звучит как медь военного сигнала, исполнено также заражающей и настойчивой бодрости. Восстань, бельгийский народ, спящий таким тяжелым сном под плотным покровом католицизма! Восстаньте, немецкие мыслители и студенты, следящие взглядом за медленным движением бледных облаков в безбрежном небе Германии! Вспыхнула яркая заря, наступает торжествующий, быстрый рассвет, утренняя заря Революции!

«Французский народ бельгийскому народу, немецкому народу, народу...

Братья и друзья!

Мы завоевали свободу и мы сохраним ее; мы предлагаем вам разделить с нами это бесценное благо, которое вам всегда принадлежало и могло быть отнято у вас вашими угнетателями только путем преступления. Мы изгнали ваших тиранов; станьте свободными людьми, и мы защитим вас от их мести, от их замыслов и от их возвращения.

Отныне французская нация провозглашает суверенитет народа, упразднение всех гражданских и военных властей, которые вами управляли до сего дня, как и всех налогов, которые вы платите,

в какой бы форме они ни существовали, уничтожение десятины, феодального порядка, сеньориальных прав, как феодальных, так и цензуальных, постоянных или случайных, баналитетов, крепостного права, связанного с землей, и личной зависимости, привилегий охоты и рыбной ловли, барщины, габели, дорожной пошлины, городских ввозных пошлин и вообще сборов всякого рода, которыми обложили вас узурпаторы; она провозглашает также упразднение всех существующих у вас дворянских, церковных и других корпораций, всех прерогатив и привилегий, противоречащих свободе. С этой минуты все вы — братья и граждане, все вы равны в правах и все одинаково призваны управлять своим отечеством, служить ему и защищать его.

Соберитесь незамедлительно в первичные собрания коммун; поспешите учредить свои первичные администрации и суды в соответствии с положениями статьи 3 вышеприведенного декрета. Представители Французской республики согласуют с вами способы обеспечить ваше счастье и братство, которое отныне должно существовать между нами» [33].

Статья 3 — это как раз та, которая, по требованию Бюзо, предусматривала:

«Все агенты и чиновники, как военные, так и гражданские, прежнего правительства, равно как и лица, почитавшиеся прежде знатными или состоявшие членами какой-либо корпорации, считавшейся ранее привилегированной, не будут допускаться (но только во время первых выборов) к голосованию в первичных или коммунальных собраниях и к занятию временных административных и судебных должностей» [34].

Содержавшихся в воззвании слов о дворянских или духовных корпорациях не было в первой редакции проекта, зачитанного 15 декабря. Их внесли 17 декабря в окончательный текст [35].

Так Франция хочет заставить народы сразу воспринять, всем своим существом, все совершенное Революцией.

---

33. «Moniteur», XIV, 762; Buchez et Roux. Op. cit., XXI, 352; «Archives parlementaires», LV, 76.
34. См. выше, прим. 20.
35. Эта статья 3 декрета от 15—17 декабря 1792 г. была отменена 22 декабря 1792 г. («Moniteur», XIV, 811; «Archives parlementaires», LV, 355).

Глава четвертая

*

НЕМЦЫ ЛЕВОГО БЕРЕГА РЕЙНА

Пусть Германия проснется и примет решение! Тем, кто был воспитан на мощной и терпеливой мысли Лессинга, не следует более повторять слова учителя [1]:

«Автор поднялся на холм, откуда он думает увидеть то, что находится по другую сторону пути, пройденного его временем. Но он не зовет сойти с проторенной дороги спешащего путника, единственное желание которого — поскорее дойти до конца своего пути и отдохнуть. Он не претендует на то, чтобы очаровавший его вид имел такую же привлекательность в глазах другого».

Нет, нет, теперь более не время предаваться в одиночестве размышлениям и созерцанию. Наступила Революция, властно стремящаяся навязать всем свою точку зрения. Она не допускает мысли, что ее свет невыносим для глаз. И она хочет, чтобы все люди ускорили шаг, причем не на обычном пути, по которому до сего времени устремлялось их честолюбие, а на путях будущего, которые она узрела с вершины холма. А ты, Кант, мудрый и благородный ум, без иллюзий и уныния ожидающий будущего царства мира, которое возникнет из многочисленных столкновений, где люди истощат свой неизбежный и злой эгоизм, не находишь ли ты, что готовящееся столкновение слишком грозно и превышает меру человеческих сил? Наступает великое испытание для твоей великой философии истории [2]. И тебе тоже, великодушный и доверчивый Песталоцци, придется принять определенное решение [3]. Нельзя более ждать спасения от «доброго сеньора» или от «доброго хозяина». Революционная Франция вычеркнула твоего доброго юнкера, твоего доброго Арнера, из списка имею-

щих право быть избранными. Так в душе всех немцев становится явственным и нарастает внутренний конфликт.

Мягкий и умеренный Виланд в своем стремлении к равновесию и золотой середине находит удар слишком сильным, а требование — тягостным [4].

«Если верить неоднократным заверениям французов, то освобождение народов всей земли, искоренение тиранов и, если возможно, организация всего рода человеческого в единое демократическое братство являются единственной целью вооруженных действий новой Республики. В частности, гуманные цели гражданина Кюстина в его военной кампании в Германии состоят не столько в том, чтобы покарать государей, виновных в оказании поддержки эмигрантам (теперь это второстепенная задача), сколько в том, чтобы внушить жителям всех занятых им стран или стран, через которые проходят его войска, принцип неотъемлемого суверенитета народа и незаконности власти королей».

И если в глазах Виланда план этот и не лишен величия, то как он в то же время опасен и обманчив! Как мало он считается со здоровыми элементами германской конституции и опасностями, какие могут вызвать резкие преобразования!

«Я далек от того,— пишет он [5],— чтобы питать так мало доверия к просвещенной части немецкого народа и к врожденному здравому смыслу даже наименее культурных слоев народа, чтобы вообразить себе, что этот соблазнительный план мог бы быть так легко осуществлен в Германии, как это думает гражданин Рёдерер и ему подобные: этот план явно проистекает из полного незнания нашей конституции... Устройство Германской империи, несмотря на свои несомненные недостатки, в целом гораздо более благоприятствует внутреннему спокойствию и благоденствию нации и гора-

---

1. О Лессинге см. выше, гл. I, с.11. «Воспитанию рода человеческого», опубликованному впервые в 1780 г., было предпослано предисловие издателя, из которого Жорес приводит цитату. Лессинг всегда утверждал, что он не автор, но лишь издатель этого труда. Некоторые критики заключили из этого, что его действительным автором был Альбрехт Тэр, автор «Принципов рационального земледелия» (1809—1810). Но, вне всякого сомнения, это произведение Лессинга и как бы философское завещание гуманиста.
2. О Канте см. выше, гл. II, с. 97. В одном из своих последних трудов, в «Споре факультетов» (1798), Кант отдал дань уважения Французской революции: «Несмотря на все, она встречает в умах зрителей сочувствие, граничащее с воодушевлением... Такое явление мировой истории никогда не забудется; ибо оно обнаружило в глубине человеческой природы возможность нравственного прогресса, о которой до сих пор не подозревал ни один политический деятель».
3. О Песталоцци см. выше, гл. II, с. 78.
4. О Виланде см. выше, гл. II, с. 68 и 120.
5. W i e l a n d. Betrachtungen über die gegenwärtige Lage des Vaterlands.— «Sämmtliche Schriften». Leipzig, 1857, B. XXI, S. 232, 237—238.

здо более отвечает ее характеру и степени ее культуры, чем французская демократия; оно гораздо более благоприятствует им и гораздо более им отвечает, чем отвечала бы последняя, если бы какой-нибудь кудесник, вроде Мерлина, взялся превратить нас одним взмахом своей волшебной палочки в единую и неделимую демократию — подобно тому, как английский король посвящает в рыцари какого-нибудь честного лондонца из Сити... Для каждого народа лучшим является не идеальное и совершенное законодательство, а то, которое он может лучше выдержать. Так какие же фурии толкают нас на это безумие желать улучшения нашего нынешнего порядка, сколь бы он ни нуждался действительно в усовершенствовании, с помощью средств, которые, несомненно, его бы ухудшили и навлекли на наше отечество неисчислимые бедствия? Зачем нам такой дорогой ценой и с таким огромным риском покупать то, чего, по всей вероятности, мы можем достигнуть без смут, без дезорганизации, без преступлений, не жертвуя нынешним поколением, благодаря одному лишь прогрессу просвещения и морали? По крайней мере не подлежит сомнению, что, прежде чем прибегать к отчаянным средствам, мы должны исчерпать все другие, а это отнюдь не так [6].

Апостолы новой религии имеют весьма слабое и ложное понятие о нашем истинном положении, они заблуждаются, ибо их представления о том, что они называют нашим рабством, крайне преувеличены. Достаточно, однако, самого поверхностного знакомства с устройством Германской империи, с компетенцией имперских властей и основными законами империи, чтобы понять, что Германская империя состоит из большого числа независимых государств, над которыми стоит только закон, и что, начиная с выборного главы империи и до самого скромного городского советника, никто в Германии не может действовать вопреки закону...»

Пусть так, но какой удобный оптимизм! Виланд решает вопрос так, как ему это нравится. Он не хочет «опасных» и насильственных средств, то есть он не хочет, чтобы Германия присоединилась к революционным усилиям Франции изгнать немецких князей, экспроприировать имущество немецких прелатов и дворян и установить демократическую республику. Он ожидает медленных результатов духовного и морального прогресса. Ну, а если революционная Франция будет настойчиво продолжать свои попытки, что предпримут против нее? Поднимется ли Германия на борьбу с ней?

Виланд уклоняется от ответа. Как он не согласен на германскую революцию, так он и не проповедует немецкого крестового похода против Французской революции. И эта вялость и неопределенность мысли являются отражением несостоятельности Германии, даже в этот час острого кризиса. Впрочем, он понимает, сколь сильны пропаганда и проникновение революционных идей.

«Однако не следует обольщаться слишком большой безопасностью, когда ко всем основаниям соблюдать осторожность у нас еще добавляется продолжительное пребывание в Германии пятидесяти или шестидесяти тысяч вооруженных проповедников свободы и равенства. Это совершенно особое положение, когда новый вид религии проповедуют нам Кюстины, Дюмурье, Ансельмы и другие военачальники во главе своих армий.

Основатели и поборники этой новой религии не признают иного божества, кроме свободы и равенства, и хотя они и не распространяют своей веры огнем и мечом по способу Магомета и Омара, а, наоборот, по примеру провозвестников царства божия призывают к царству свободы кроткими и дружескими словами, тем не менее у них есть то общее с Магометом, что они не терпят рядом с собой никакой иной веры. Кто не с ними, тот против них».

Революция действительно ставила этот вопрос в такой настойчивой и категорической форме. Виланд, вместе с большой частью Германии, не хотел быть ни против революционеров, ни с ними. Но, в сущности, это означало встать на сторону противников Революции; ибо это создаваемое нерешительностью и бессилием равновесие позволяло германским князьям и государям организовать и использовать в интересах контрреволюции пассивные силы безвольного и инертного народа.

Но если Виланд в Веймаре погряз в этих формулах обманчивой мудрости и золотой середины, с каждым днем все более тщетных, если в Швабии революционно и в то же время патриотически мыслящие люди еще пытались избежать необходимости принять ясное решение [7] и если в особенности Штойдлин (в «Кроник», где он сменил Шубарта [8]), плохо ли, хорошо ли, примирял свое сочувствие Революции со своим немецким патриотизмом и с одинаковым восторгом отмечал подвиги революционных армий и героизм австрийских и прусских войск, то были люди, которые уже многие месяцы находились в самом пекле и должны были принять решение. Речь идет о тех, кто жил в государствах, расположенных на берегах Рейна, сперва находившихся под угрозой революционной Франции, а потом и занятых ею.

---

6. Критика Революции у Виланда основана на аполитичной и всецело интеллектуальной концепции свободы и равенства. Он рассматривает их не как условие осуществления власти народом, но с точки зрения гармоничного развития индивидуальных способностей.
7. О революционном брожении в Швабии см. выше, гл. II, с 139.
8. О Шубарте и о его «Дойче кроник» см. выше, с. 141, прим. 83. Штойдлин (Stäudlin) (1758—1796) старался продолжать публикацию «Кроник» после смерти Шубарта в 1791 г., но это издание, ввиду его жирондистских симпатий, в 1793 г. должно было прекратиться.

ГЕОРГ ФОРСТЕР

Жизнь великого и несчастного Георга Форстера — какая это жестокая драма совести и мысли![1] С тех пор как разразилась Революция, его душу терзали мучения и разрывали противоречия. В 1789 г. ему было тридцать шесть лет, и узкие рамки его обязанностей директора библиотеки Майнцского университета совершенно не удовлетворяли его потребности в кипучей деятельности и его могучего ума. В его жилах текла англосаксонская кровь. Он происходил из шотландской семьи, обосновавшейся в Германии в XVII в.[2] Едва достигнув возраста двадцати двух или двадцати трех лет, он совершил в 1772—1775 гг. кругосветное путешествие с английским капитаном, прославленным Куком. Это было второе путешествие Кука [3]. Форстер оставил его превосходное описание, отличавшееся такой ясностью мысли и образов, такой силой и живостью изложения, каких Германия еще не знала [4]. И уже тогда его высокий ум отличали благородство и тонкость. Он страстно любит науку и гордится человеческим разумом.

Он собирает, рисует, классифицирует животных и растения, и когда где-нибудь на мысе Доброй Надежды или в Океании он встречает бесстрашных ботаников, учеников великого Линнея [5], странствующих по всему миру, чтобы собрать и внести в классификацию своего учителя все почти безграничное многообразие растений, он проникается великим и почти религиозным восторгом; что может быть благороднее всепобеждающей мысли? Но повсюду наряду с этой страстной любознательностью и жаждой истины он исполнен заботы о человечестве. Он огорчается и протестует всякий раз, когда сталкивается с дурным обращением с рабами. На мысе Доброй Надежды, где голландская компания обратила

в рабство сотни готтентотов, он с горечью констатирует, до какой степени одни люди могут презирать других. Эти голландцы, благочестивые читатели и толкователи Библии, считающие, что без религии человек не более чем животное, систематически оставляют своих рабов вне всякой религии и всякого культа; но отнюдь не из терпимости, а вследствие крайнего презрения. В их глазах рабы — поистине не более чем звери [6].

Из этого долгого путешествия Форстер вынес огромную жалость к рабам, к чернокожим и великую ненависть к софизмам рабовладельцев [7]. К дикарям, к первобытным народам он тоже относится с мягким и скорбным сочувствием [8]. Он скорбит о всем зле, какое причиняют им европейцы:

«Большое несчастье, что все наши открытия стоили жизни стольким невинным людям. Но как ни жестоки эти насилия над малочисленными некультурными народами, которых посетили европейцы, это мелочь в сравнении с тем непоправимым злом, какое им причинили, разрушив все их моральные устои. Если бы хоть это зло было немного перемешано с добром, если бы их научили действительно полезным вещам или если бы у них искоренили какой-нибудь безнравственный и губительный обычай, мы могли бы тогда утешаться мыслью, что они выиграли в одном, хотя потеряли в другом.

---

1. О Георге Форстере (1754—1794) см. выше, гл. I, с. 32. См.: A. Chuquet. Le révolutionnaire George Forster.—«Etudes d'histoire», I, Paris, s.d.; K. Julku. La conception de la Révolution chez George Forster.— «Annales historiques de la Révolution française», 1968, p. 227. [См.: Ю. А. Мошковская. Г. Форстер — немецкий просветитель и революционер XVIII в. М., 1961; А. М. Деборин. Социально-политические учения нового времени. Т. II: «Очерки социально-политической мысли Германии. Конец XVII — начало XIX в.», М., 1967.— *Прим. ред.*]
2. Семья Форстеров переселилась в Данциг около 1640 г. и быстро онемечилась там. Но в ней, повидимому, никогда не забывали о своем шотландском происхождении.
3. Кук, Джемс (1728—1779). Его первое плавание с целью исследования Тихого океана было в 1768—1771 гг., его второе кругосветное путешествие — в 1772—1775 гг. Георг сопровождал своего отца, Рейнгольда Форстера (1729—1798), известного натуралиста.
4. «Reise um die Welt, während den Jahren 1772 bis 1775. Beschrieben und herausgegeben» von Georg Forster. Leipzig, 1842, в: «Sämmtliche Schriften», I. Французский перевод сочинения Г. Форстера был сделан в 1778 г. и включен в издание материалов экспедиции Кука: «Voyage dans l'hémisphère austral et autour du monde fait sur les vaisseaux du roi l'Aventure et la Résolution en 1772, 1773, 1774, 1775...», Paris, 1778, 5 vol. in-4°.
5. Линней, Карл (1707—1778). По настоянию Форстера-отца швед Сперман, ученик Линнея, был принят на борт корабля. (См.: «Voyage dans l'hémisphère austral et autour du monde...», t. I, p. 67.)
6. Ibid., t. I, p. 60.
7. Ibid., Introduction, p. XLIII.
8. Ibid., t. I, p. 413. «В Англии или в любой другой цивилизованной стране злых людей в пятьдесят раз больше, чем на этих островах».

Но я очень опасаюсь, что знакомство с нами причинило жителям южных морей одно только зло; и я думаю, что больше всего повезло тем народностям, которые, из страха или недоверия, не позволили нашим матросам вступить с ними в контакт» [9].

Увы! Как печально, что экспансия высших и культурных народов была опозорена столькими ненужными насилиями и низостями! [10] Но если Форстер суров к европейцам, то он отнюдь не питает сентиментальных иллюзий и в отношении дикарей. Он с отвращением отмечает безобразное, животное распутство жителей Новой Зеландии [11]. На всех островах Тихого океана девушки торгуют собой не из-за простодушного бесстыдства и первобытной наивности. Напротив, они чувствуют к этому некоторое отвращение. Но они не в силах долго противостоять страстному желанию получить яркую ткань или какую-нибудь другую соблазнившую их вещь. Порой и отцы девушек, не желая упускать случай нажиться, заставляют непокорных дочерей уступить домогательствам мужчин [12].

«Кто заслуживает большего отвращения — наши ли мужчины, претендующие на то, что они принадлежат к цивилизованному народу, и тем не менее ведущие себя по-скотски, или эти дикари, столь позорно продающие своих женщин? На этот вопрос я не в состоянии ответить».

Почти везде у дикарей существует только один закон, когда они питают ненависть: преследовать своих врагов до их полного истребления. В них легко пробуждается инстинкт убийства. В Новой Зеландии, близ побережья, Форстер и его спутники встретили семью дикарей, показавшуюся им приветливой и кроткой. Они подарили главе ее топор [13], предполагая, что, живя в одиночестве со своей семьей в густом лесу, он воспользуется топором, чтобы рубить деревья и обрабатывать древесину. Едва топор оказался у него в руках, как он бросился бежать с криком, что сейчас кого-то убьет. Должно быть, на другом краю леса у него был какой-то враг. Нет, нельзя, подобно Жан-Жаку, воображать, что невинность и доброта свойственны человеку в его естественном состоянии. Человечество еще жестоко и подло, свирепо, похотливо и алчно. Но благодаря мышлению оно хотя бы начинает предчувствовать наступление высшего порядка, и наука кажется прекрасной, когда она внезапно сопоставляется с таким грубым первобытным невежеством, не исключающим дурных инстинктов. Сколько благородной гордости и печали в этой беглой зарисовке стоянки европейцев среди совершенной дикости!

«На берегу шумного ручья, которому мы проложили удобный выход в море, устроились наши бочары, делавшие или починявшие бочки для воды. Над большим котлом, в котором из местных невиданных нами растений мы варили полезный и освежающий напиток для наших людей, поднимался пар. Другие варили рядом превос-

ходную рыбу для своих товарищей, чинивших, чистивших и конопативших корабль и приводивших в порядок снасти. Так различные работы оживляли местность и наполняли ее разными звуками; с расположенной поблизости горы доносилось эхо размеренных ударов плотницких молотков. В новой колонии процветали даже изящные искусства. Один начинающий художник [сам Форстер] рисовал растения и животных, живших в лесу, куда еще не ступала нога человека; один из наших друзей запечатлевал на бумаге романтические виды дикой страны, и сама природа удивлялась, видя себя воспроизведенной во всем богатстве красок и нежности тонов. Даже самая высокая наука почтила своим присутствием эти пустынные места. Рядом с местом ремесленных работ возвышалась обсерватория, снабженная самыми лучшими приборами, и астроном с неусыпным рвением следил за движением небесных светил; чудеса животного мира лесов и морей занимали мудрецов, стремившихся познать весь мир.

Одним словом, повсюду, куда бы мы ни бросили взгляд, мы видели процветание искусства и появление науки в стране, которая до сего времени была окутана глубоким мраком невежества и варварства. Эта прекрасная картина природы и высокой человечности длилась недолго. Она исчезла как метеор, почти так же быстро, как возникла. Мы отвезли свои приборы и инструменты обратно на корабль, и от нашего пребывания на берегу не осталось никакого следа, кроме небольшой просеки в лесу. Правда, мы посеяли там кое-какие лучшие сорта европейских растений, но буйная растительность очень скоро заглушит все полезные растения, и через несколько лет место нашей стоянки будет неузнаваемо, оно вернется к своему первобытному хаотическому состоянию. Так проходит слава мира. Но какое значение имеют для разрушительного будущего мгновения или века культуры? Оно стирает и те, и другие» [14].

Так могучая мысль Форстера, одновременно смелая и печальная, возвышалась над временем. Он возвращается в Германию, не прийдя ни к какому теоретическому решению, не составив себе системы взглядов, полный глубокой жалости к несчастному человечеству, отягощенному всяческим злом. Он боролся и страдал. В течение долгих месяцев плавания к Южному полюсу он познал предел опасностей и страданий, зловещие бури под черным небом,

---

9. Ibid., t. I, p. 252.
10. Ibid., t. II, p. 129. «Новозеландец, убивающий и съедающий своего врага, менее отвратителен, чем испанец, ради забавы отрывающий ребенка от груди матери и хладнокровно бросающий его на съедение своим собакам». Примечание: «Епископ Лас Касас говорит, что видел, как испанские солдаты совершали в Америке это жестокое преступление».
11. Ibid., t. I, p. 254.
12. Ibid., t. I, p. 231.
13. Ibid., t. I, p. 215.
14. Ibid., t. I, p. 192—193.

ярость мрачного океана, несущего глыбы льда. Он познал также елисейскую прелесть видов Таити, в духе описаний Вергилия: Devenere locos laetos *. Совершив кругосветное путешествие, он сказал, повторив слова Петрарки, что мир очень тесен:

«Я видел оба полюса, блуждающие звезды и их наклонные пути. И я увидел, насколько мы близоруки!» [15]

Да, но сколь гнетущим должно было показаться дремотное убожество немецкой жизни пылкому, деятельному и ясному уму этого человека, только что объехавшего весь мир и нашедшего его тесным! Он стремился к широкой деятельности, но был теперь осужден на угрюмую неподвижность. Профессор в Вильне и Майнце, он страдал от бедности, но главным образом от невозможности действовать. Даже сама его слава была для него бременем. Немцы с любопытством смотрели на бесстрашного человека, посетившего так много неведомых стран. Но он говорил себе: «Какой мне прок от этого детского и пустого любопытства? Они не сумеют извлечь пользы из скрытой во мне силы». Он женился на дочери крупного гёттингенского ученого Гейне, знаменитого комментатора Вергилия, и содержал своим трудом семью [16], делал переводы для немецких журналов или комментировал сочинения английских аторов. Он страдал, растрачивая свою энергию и способности на второстепенную работу.

Англия жила тогда интенсивной политической и промышленной жизнью, наслаждалась радостями свободы и гордилась своим богатством. Франция, во всяком случае центр страны, жила оживленной общественной жизнью, когда сила мысли вдохновлялась силой общественного мнения. В Германии замечательная духовная жизнь была уделом лишь некоторых избранных; но это были огни на вершинах; густая сонная мгла закрывала долины, а в маленьких городках люди жили своими жалкими интересами. Форстер относился с уважением к выдающимся мыслителям Германии. В частности, он понимал все величие Канта и ставил Англии в вину то, что она не пришла сразу в восхищение от него, не перевела и не приняла его трудов. Но Форстер не был создан для чистого созерцания. Ему казалось, что этот огонь высокой мысли должен вдохновлять весь народ на борьбу за свободу, на великие политические дела; но он видел всюду косность, рутину, глупое преклонение тупого, раболепствующего невежества перед самодовольным чванством привилегированных. В его личной жизни, ограниченной и стесненной, нашли отражение все беды немецкой жизни. Он не любил ни роскоши, какой требует утонченность, ни роскоши, порождаемой тщеславием. Но он хотел бы иметь возможность покупать книги и совершать путешествия, чтобы вновь увидеть мир. Иногда он решался на это, но ценой месяцев нужды и забот для его семьи.

Его молодая жена, хотя она и восхищалась им, отвернулась от него из-за его печали и непрактичности. И Форстер погиб бы,

раздавленный бременем жизни, если бы не его поразительная энергия духа, сила пытливой мысли, которые всегда торжествовали над тяготами бедности и огорчений. Он впитал все благородное и великое, что было создано человеческим духом. Он овладел древними литературами, «этой несравненной сокровищницей идей и образов», и знал почти все европейские языки и всю литературу Европы. С живым интересом следит он за развитием всех наук — от востоковедения, открывшего «Шакунталу» [17], до физики и химии. Но неужели придется всегда только читать, всегда только размышлять, неужели все сокровища человечества, которыми он овладел, пропадут втуне? Неужели не наступит час, когда можно будет применить к жизни, к вещественному прогрессу человечества всю эту силу ума и все эти знания?

Англичане тоже размышляли, овладевали знанием. У них был Ньютон, и они читали Гомера. Но они боролись в парламенте, управляли колониями, и у них духовная жизнь и деятельная жизнь сливались в единое пламя. Разве Питт не приветствовал в палате общин прекрасными стихами Вергилия предстоящее освобождение черных рабов? Как утомительно было для деятельного ума Форстера молча накапливать не находившие применения богатства мысли, бесплодные и беспокойные силы!

Когда разразилась Французская революция, она вызвала в нем большое смятение. Он предчувствовал, что произойдет одно из тех огромных потрясений, которые приводят в движение все безвестные и подавляемые силы. И несмотря на свою осторожность, несмотря на внешнее безразличие, которое он иногда подчеркивал, и на советы проявлять благоразумие, которые он сам себе давал потихоньку, он с самого начала втайне сочувствовал революционному движению, установившему свободу и развязавшему прежде скованные деятельные силы. Не то чтобы он сразу целиком и безоговорочно отдался этому чувству. У этого измученного и гонимого человека было некоторое недоверие к событиям и людям. И затем, будучи точным и методическим наблюдателем, он, чтобы судить о происходящем, ждал развития событий. По-видимому, в начале

---

* «Достигли радостных мест». (Вергилий. Энеида, VI, 638.)

15. «Voyage dans l'hémisphère...», t. IV, p. 216.
16. Гейне (Heyne) (1729—1812) — филолог и археолог. Союз Георга Форстера и Терезы Гейне не был счастливым. Он распался в 1792 г., когда французы захватили Майнц. Тереза поддерживала отношения с Людвигом Губером, другом Форстера, и бежала с ним сначала в Страсбург, затем в Швейцарию. Форстер с трудом оправился от этого удара.
17. «Шакунтала» — драма Калидасы, поэта I в. нашей эры [приблизительно V в.— *Ред.*], одного из самых известных во всей индийской литературе. Ее тема — любовь Шакунталы к своему супругу Дуньянте. Английский ориенталист У. Джонс (1746—1794) перевел эту драму с санскрита в 1789 г.

Революции он сдерживался и следил за тем, как бы не выдать своих чувств, а они были на стороне Революции [18].

Сначала он удивляется тому, что действующие лица столь великой драмы — люди столь заурядные. Он повторяет пошлые слова, распространявшиеся тогда контрреволюционерами о Катилине — Мирабо. Он говорит, что своими первыми успехами Революция обязана не гению или мудрости людей, что ей помогли тупость двух привилегированных сословий и железный закон судьбы, осуждающий на гибель разложившийся и отживший свой век строй. Но, проявляя своего рода бессознательную хитрость, он относит к событиям то величие, какого не признает за людьми. То, что он отнимает у революционеров, он отдает Революции. Однако не мог же он открыто встать на ее сторону. Это означало бы в одиночку поставить себя под удар и погибнуть.

Обладая проницательностью и ясностью взгляда, он хорошо понял, что Германия не последует примеру Франции. Словно призывая самого себя к осторожности, он утверждает, он повторяет, что Германия не готова к такой же революции, какая произошла во Франции. Даже в этих прирейнских землях, где пламенное дыхание, исходившее из Франции, еще не теряло своей силы, высказывались лишь пошлые мысли и совершались нелепости. В Майнце произошла ожесточенная стычка между ремесленниками и студентами, которые однажды вечером в трактире увели девушек, предназначавшихся ремесленникам. Майнцский курфюрст и управлявшие вместе с ним священники потворствовали возникновению этих мелких беспорядков, чтобы истощить в этих волнениях по жалким поводам боевой пыл жителей Майнца и иметь удобный предлог для жестоких репрессий и кровавых предостережений [19].

Что можно предпринять, когда тупость народа играет на руку мошенничеству духовенства? Ждать, оберегать себя, не отдавать жизни, своей и своей семьи, на волю мрачных и тяжелых волн. Тем не менее Форстер начинает осторожно выяснять мнение окружающих и в кратких словах выражает смелые мысли, из которых явствует, что он хорошо разбирался в европейской политике.

«Что вы думаете о Французской революции? — пишет он Гейне 30 июля 1789 г.[20]— То, что Англия спокойно предоставляет ей совершаться,— это либо великая лояльность, либо полное политическое непонимание. Республика с двадцатичетырехмиллионным населением причинит Англии гораздо больше забот, чем деспот с таким же числом подданных [21]. Но отрадно видеть, как философские идеи созрели в умах и как их удалось осуществить в государстве, причем такой невиданный в истории прежде полный переворот стоил так мало крови и вызвал так мало разрушений. Итак, это и есть наиболее надежный путь: научить людей понимать свои истинные интересы и права; все остальное придет как бы само собой».

Так пусть же друзья и семья Форстера успокоятся. Его самые смелые идеи не идут для Германии дальше задачи медленного и осторожного воспитания. В письме от 28 августа он, по-видимому, находит первые мероприятия Революции слишком дерзкими и чрезмерными [22]:

«Французская революция началась, но еще не закончилась. Лишь бы она не слишком спешила! Несомненно, полное упразднение дворянства должно было вызвать большое смятение, так как многие дворяне не имели иных доходов, кроме тех, какие им давали их сеньориальные права. Но на что-либо совершенное надеяться нельзя; довольно и того, если наконец совершится что-нибудь в своем роде хорошее и великое».

Какое все еще сдержанное и умеренное сочувствие! И на каком примере мы можем лучше понять колебания и медлительность сознания немцев, как не на примере страдающего теми же изъянами живого ума Форстера? Но Форстера возмущают призывы к реакции и оказанию давления, начинающие распространяться в Германии под влиянием смутного защитного инстинкта против революционной заразы.

«Я с болью увидел,— пишет он 7 сентября [23],— что Мейнерс в своем отзыве на описание путешествия Людвига в Суринам скорее хвалит, чем порицает автора за то, что тот одобряет работорговлю. Этот негодяй не стыдится утверждать, что Библия предписывает торговлю невольниками, и прибавляет: «Один человек может быть братом во Христе другого человека и в то же время быть телесно его рабом». И Мейнерс не возражает против этих различий, против этой поповской казуистики. «Гёттингенская газета»

---

18. Первоначально мнение Форстера о Французской революции было, действительно, скорее сдержанным и осторожным. Такое отношение отчасти объяснялось тем, что сведения о ней он получал с трудом, но также и свойственным Форстеру определенным образом действий. Такую нерешительность можно отметить у него и прежде, при различных превратностях жизни.
19. См.: F r. G. D r e y f u s. Société et mentalités à Mayence dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Paris, 1968. Майнцским курфюрстом был епископ-князь Карл Фридрих фон Эрталь.
20. Письмо Форстера к Гейне от 30 июля 1789 г. Briefwechsel.— «Sämmtliche Schriften». B. VIII, S. 84.
21. Употребляя в это время слово «*республика*», Форстер явно противопоставлял новую Францию Франции старого порядка. С самого начала он предчувствовал то влияние, какое могут иметь силы, вышедшие из Революции. Его раздумья касались не только непосредственного политического значения событий; он старался понять, как предопределит Революция будущее. С самого начала он рассматривал ее как движение глубокое и большого значения. Такое понимание укреплялось по мере развития Революции.
22. Письмо к Гейне. Briefwechsel.— «Sämmtliche Schriften», B. VIII, S. 88.
23. Письмо к Гейне. Briefwechsel.— «Sämmtliche Schriften», B. VIII, S. 88—89.

является проводником, распространяющим среди публики эти чудовищные принципы. Я давно уже не был возмущен до такой степени».

Им овладевает нетерпение, жажда борьбы. Он чувствует, что не сможет сдержать своего гнева. И, чтобы свободно дышать и скрыть свою душевную тревогу, а также чтобы видеть вблизи извержение вулкана, он едет в Бельгию, в Англию, во Францию [24]. Он хочет наблюдать, исследовать это грандиозное явление, начинающее потрясать Европу. И то, что его прежде всего привлекло в Революции, что он приветствовал в ней, было безграничное развитие сил и способностей.

Этот человек изнемогал в душной, гнетущей обстановке. О, пусть наконец разорвут бесчисленные, тесные оковы, в которых мелкий деспотизм держит как производительные силы, так и силу мысли! Пусть каждый человек вздохнет полной грудью, пусть проявятся все его способности!

«Повсюду развитие торговли,— пишет он из Ахена,— было неотделимо от развития гражданских свобод и шло с ним рука об руку. В Португалии торговля только сопровождала завоевания и как нечто вынужденное и неестественное должна была исчезнуть во тьме деспотизма и политических раздоров. В условиях немецкой олигархии она отважно боролась с ужасными препятствиями, создаваемыми варварской системой феодализма, и задерживается лишь срединным положением страны, в десять раз усложняющим всякие торговые операции. Несмотря на это неблагоприятное географическое положение, свобода может способствовать развитию отечественной торговли, что показывает процветание таких городов, как Гамбург и Франкфурт, и упадок Нюрнберга, Ахена и Кёльна».

Неужели этого не поймет немецкая буржуазия? Неужели она не заключит союз с мужественными мыслителями, чтобы разбить все эти преграды и заставить мир, все еще глупо поклоняющийся титулованной праздности и бесплодному деспотизму, уважать производящую буржуазию? Рабочие тоже выиграли бы от этого нового подъема деловой и коммерческой активности. Форстер словно пытается под видом спокойного научного изложения принципов экономического порядка составить революционный манифест трудовой Германии против Германии князей и священников.

«*С этой точки зрения крупный купец, чьи торговые дела охватывают весь земной шар и объединяют континенты, в своей духовной деятельности и влиянии на всеобщую жизнь человечества является не только одним из самых счастливых людей; одновременно с этим он благодаря своему практическому опыту, увеличивающемуся с каждым днем, благодаря торговым отношениям, систематическому мышлению и абстракции понятий, которую следует предполагать у человека всеобъемлющего ума, является и одним из самых просвещенных людей. Вместе с тем он — один из тех немногих,*

которые достигают высшего назначения человека — действовать, размышлять и посредством ясных представлений сосредоточить в себе самом объективный мир. Как завидна участь человека, чья предприимчивость служит источником благосостояния и домашнего счастья многих тысяч людей; еще завиднее она становится оттого, что он достигает этой благой цели без малейшего ущерба для их свободы и одновременно является невидимой побудительной причиной действий, которые каждый приписывает своей воле. Счастливо государство, имеющее таких граждан, чьи предприятия не требуют особой подготовки со стороны менее сведущих сограждан, более того, поднимают их духовный уровень. Там, где крайняя нищета угнетает ремесленника, где получаемый с крайним напряжением сил скудный заработок едва может удовлетворить самые необходимые потребности, в стране, где наука своим ярким лучом освещает высшие классы, там участью ремесленника становится невежество; он в этой стране не может осуществить самого благородного назначения человека несмотря на то, что сам изготовляет средства для связи народов между собой. Но совсем иначе обстоит дело там, где уверенные в своем вознаграждении искусство и трудолюбие создают тому, кто ими обладает и их применяет к делу, известную степень благосостояния, при правильном обучении и хорошем воспитании обеспечивающую ему получение хотя бы теоретических знаний. Каким мелким и ничтожным представляется нам деспот, опасающийся просвещения своих подданных, по сравнению с частным лицом, фабрикантом свободного государства, основывающим свое благосостояние на благосостоянии своих сограждан и на их разуме!» [25]

Какой интересный вывод! Это звучит как прославление Кантом промышленности: Кант провозглашает, что высший долг человека по отношению к человеку — рассматривать его как цель, а не как средство. И достоинство человеческой личности состоит в том, чтобы быть целью для самой себя. Человек не должен быть орудием для другого человека. Даже когда он сотрудничает с другим

---

24. В 1790 г. Форстер вместе с Александром Гумбольдтом спустился по Рейну до Нидерландов, оттуда отправился в Англию, затем во Францию. Он описал свои впечатления от путешествия в: «Ansichten vom Niederrhein, von Brabant, Flandern, Holland, England und Frankreich im April, Mai und Junius 1790...», Berlin, 1791—1794, 3 Bände. [См.: Г. Форстер. Избранные произведения. Изд. АН СССР, М., 1960.— *Прим. ред.*] Это одно из наиболее замечательных произведений в литературе о путешествиях. Оно содержит прекрасные описания условий жизни во многих странах, их ремесел, их обычаев. Особенным богатством и разнообразием отличается волнующее описание положения в главных странах, в которых побывали путешественники.
25. Georg Forster. Werke. Berlin, 1958, B. IX, S. 98—99. [См.: Г. Форстер. Цит. соч., с. 119.]

человеком, даже когда он работает под его началом, он не должен быть орудием. Даже при этой подчиненной работе он должен оставаться для себя целью, обогащать и совершенствовать свою собственную натуру, осуществлять свое самое высокое назначение. Но промышленность, великая и свободная промышленность, не стесняемая никакими корпоративными привилегиями, не истощаемая и не принижаемая никакой феодальной или княжеской эксплуатацией, является в практической области «царством целей», триумфом всех свобод. Глава промышленного предприятия проявляет неравненную силу мысли и инициативы. С другой стороны, рабочие, которые трудятся не по принуждению, а потому, что их привлекает достаточная оплата, остаются во всех отношениях свободными людьми. Они добровольно соглашаются работать; получаемая ими достаточно высокая заработная плата внушает им интерес к работе, в то же время они могут употребить часть своего заработка на собственное образование и обучение своих детей, на создание для себя и для своей семьи условий для свободной умственной деятельности. Это опять-таки философия Канта в применении к экономическим понятиям.

Читая и комментируя эти любопытные высказывания, я невольно думаю о той главе сочинения Барнава, где он дает экономическое обоснование всему тогдашнему политическому движению и Революции [26]. Для Барнава, как и для Форстера, промышленность является осуществлением свободы. Но насколько глубже и благороднее мысль Форстера! Барнав думает исключительно о славной и блестящей победе буржуазии. Форстер, вдохновляемый Кантом, думает обо всем человечестве. Человеческое достоинство во всей его полноте должно почитаться в каждом человеке — от самого скромного рабочего до могущественного главы предприятия.

Ни одна частица человеческого рода не может быть превращена в орудие. Как легко было бы социализму, овладев этой глубокой мыслью, доказать, что только он один может претворить ее в жизнь! Но Форстер ждал прихода всех людей к «царству целей», к царству человечности от расцвета деятельности буржуазии, от свободного развития промышленной демократии.

В этих высказываниях Форстера я обнаруживаю тройное влияние — Германии, Англии и Франции. От Германии Форстер получил высокое вдохновение и замечательные идеи Канта, который за десять лет революционизировал всю систему немецкого мышления. Англия явила ему образец широкой промышленной деятельности и подала идею об активном и зажиточном рабочем классе. Форстер в другом месте сам отмечает, что английские рабочие зарабатывают *вдвое или втрое больше*, чем немецкие. А Французская революция внушила ему страстное желание всемирного движения и всемирного обновления. Пример Франции, внезапно осуществившей идею, придает неожиданный коэффициент осуществимости всем идеям.

Форстер говорит: как знать? И он больше не высказывается просто как теоретик, как невозмутимый наблюдатель социальных явлений. Невольно он представляет себе немецкий народ стряхнувшим с себя оцепенение и давнее угнетение. То, что он пишет, он сказал бы с трибуны большого германского собрания, если бы Германия, объединив свои раздробленные силы и уничтожив бесчисленные группы, приняла как в экономической, так и в политической областях новую конституцию, единую и свободную.

Так именно Французская революция открывает перед умами непредвиденные возможности. Она — великая соблазнительница. В своих самых сокровенных мыслях и в глубинах своего сознания Форстер, несомненно, ловит себя на том, что он как бы составляет предварительный вариант экономического и политического манифеста германской революции.

И везде им владеет мысль, которая становится почти навязчивой: нужно освободить бесчисленные подавляемые силы и энергию. Нынешний тяжелый режим кажется ему дурным не столько потому, что он произвольно и несправедливо распределяет блага жизни, сколько потому, что он подавляет и душит тысячи, миллионы ростков, начатков мысли и действия, сил. Словно жесткая и тяжелая корка мешает взойти семенам. Пусть плуг вспашет землю и борона разобьет комья земли, но не для того, чтобы выровнять поле, а для того, чтобы освободить ростки.

В письме из Льежа Форстер превосходно излагает свою программу индивидуалистской и активной демократии [27]. Желательно ли осуществить полное единство человечества? Это в некотором смысле благородный идеал: у всего человеческого рода одна душа, одно биение пульса. Да, но это единство предполагает всемирную монархию, регулирующую и согласующую все силы. Что станет с этой мечтой в тот день, когда люди перестанут верить в непогрешимость единой монархии, которую им предлагают? Остается лишь искать единства в мощном развитии и живом равновесии всех свобод. Это равновесие было бы гибельным, если бы оно оказалось обреченным на неподвижность, если бы монотонная мораль, рутинная философия и убогий жизненный идеал свели к жалкой абстрактной упрощенности все богатство, разнообразие

---

26. Barnave. Introduction à la Révolution française. Chap. III. См.: Ж. Жорес. Социалистическая история Французской революции. Т. I, кн. 1, с. 136. Барнав и экономическая теория Революции.
27. Georg Forster. Op. cit., B. IX, S. 106. Одиннадцатое письмо, из Льежа. Наиболее ясное изложение политических и социальных взглядов Форстера (во время этой поездки 1790 г.) дано в той главе его книги, где он размышляет над событиями в Льеже. Он не удовлетворяется объяснением революционных выступлений в городе как местного явления. Он рассматривает государство в целом, право, отношения между индивидом и обществом.

умов и воль. Это было бы равносильно некоему всемирному механизму, воплощенному в бесчисленных индивидах; это стало бы новым рабством для людей, которые были бы связаны чересчур тесным согласием и, образовав цепь, снова оказались бы закованными в цепи.

Но этой опасности бояться нечего. Нет, нет, невозможно, чтобы однажды освобожденные жизненные силы дошли до того, чтобы сами себя нейтрализовали. И Форстер в своем желании всемирного и бесконечного развития всех сил доходит до признания законности временного произвола и насилия. Оно даст толчок, оно пробудит, заставит все силы, каким оно угрожает, проявить небывалое напряжение. Лишь бы это насилие не застыло, не было увековечено в основанной на угнетении конституции и притупляющих догмах; пусть оно будет только яркой и быстрой вспышкой человеческой свободы:

«Таким образом, конституция для всего человеческого рода, на вечные времена освобождающая нас от гнета страстей и тем самым от произвола сильнейших, давая нам для руководства одинаковый для всех закон, по всей вероятности, так же не достигла бы цели всеобщего морального совершенства, как и всемирная монархия. Что нам за польза развивать свои духовные способности, если у нас внезапно пропало побуждение к подобному развитию? Но это побуждение никогда не будет отнято у нас, во всяком случае, в этом единственном и мыслимом мире, во всяком случае, до тех пор, пока человеческий род не будет каждые тридцать лет омолаживаться и снова возрастать из прозябающих зародышей к животной чувственности и от нее — к смешанному физически-моральному существу. Буквы, формулы и заключения никогда не перевесят в молодом отпрыске могучего, темного стремления собственными силами исследовать свойства вещей и, исходя из опыта, подняться к жизненной мудрости. В его жилах без его ведома будет пылать огненный поток сил и желаний» *.

Поэтому не надо бояться, что поверхность человеческих обществ вновь будет скована слоем льда, один раз он уже был разбит. Сила горячих токов страсти будет поддерживать вечную текучесть жизни.

Какая замаскированная, но глубокая речь в защиту Французской революции! С первых месяцев ей больше всего ставят в вину ее насилия, ее крайности. Но кому не ясно, что эти злоупотребления силой являются расплатой за всякое великое движение? Или, может быть, хотят, чтобы уже теперь, проявляя слишком легко регулируемое и несколько бессильное благоразумие, новый мир заставил предчувствовать монотонную зрелость и быстро наступающую дряхлость? [28]

«Зрелище борющихся сил прекрасно, прекрасно и возвышенно даже в его разрушительном действии. В извержении Везувия, в грозе мы восхищаемся божественной независимостью природы.

Мы ничем не можем помешать накоплению в атмосфере грозовой материи, которая, скопляясь в тучах, грозит земле уничтожением; помешать возникновению в недрах гор паров, открывающих выход расплавленной лаве... Грозы в моральном мире производят точно такое же действие, только рассудок и страсть оказываются еще более гибкими, чем порох и электричество».

Форстер не говорит, где находится этот Везувий. Он не говорит, откуда доносится грохот нарастающей грозы. Но кратер вулкана — в Париже; грозовой ветер веет над миром из Франции.

К чему в таком случае спрашивать, на чьей стороне право — на стороне ли народов или на стороне королей? Это вопрос, о котором можно спорить до бесконечности. Подданные всегда смогут злоупотребить своим элементарным правом на сопротивление угнетению и восстать без решающих оснований. Короли всегда смогут злоупотребить своим традиционным правом, чтобы подавить под видом бунта самые справедливые и оправданные возмущения. Теоретически пределы права народов и права королей невозможно установить ни для одной из сторон — ни для невежественной толпы рабочих, шахтеров, ни для не менее невежественной толпы привилегированных — князей, дворян и священников.

Эта проблема будет разрешена не путем вечных юридических и теоретических споров, а в результате решительного натиска противоположных сил. Взгляните на вспыхивающие и разгорающиеся огни. Может быть, это гроза, и вы не остановите ее; может быть, это только яркие зарницы летних ночей. Смотрите и ждите. И Форстер, вопросительно глядя на европейский горизонт, действительно видит над Парижем и Францией широкое и яркое зарево свободы, а над Германией — мимолетные и бледные сполохи. Может быть, этот свет излучает немецкая душа? Или это только отблеск далекой грозы, разразившейся над Францией? Форстер не развивает своей мысли и продолжает свой путь. Он посещает Англию и удивляется тому, что не встречает там дружеского доверия и откровенности. Кто знает, не начинала ли уже тогда (в 1790 г.) сама Англия задавать себе вопросы? То, что Форстер принял за скованность или за обычную и непонятную сдержанность английского характера, может быть, у многих его собеседников было началом сомнений и колебаний.

Форстер быстро пересек Францию и ощутил всю мощь ее революционного движения. В июле 1790 г., в месяц празднества великой Федерации, он увидел почти всю страну — от Булони

---

* См.: Г. Форстер. Цит. соч., с. 144.

28. Размышляя о событиях в Льеже, Форстер указывал на роль насилия: свобода народа была там завоевана в 1789 г. посредством насилия. (G. Forster. Ansichten..., S. 128.) [См.: Г. Форстер. Цит. соч., с. 144—145.]

и до немецкой границы,— потрясенную и полную веры [29]. Разумеется, это не фейерверк, это яркий свет, заливший весь горизонт. Сразу по возвращении в Майнц, 13 июля 1790 г., Форстер пишет Гейне [30]:

«Моей быстрой поездки по Франции было достаточно, во всяком случае, для того, чтобы убедить меня в том, что о контрреволюции там нечего и думать. Все спокойно, все сулит новым учреждениям полный успех. Зрелище воодушевления, царящего в Париже, особенно на Марсовом поле, где шли приготовления к большому национальному празднику, возвышает душу, так как его разделяют все классы народа, так как оно всецело направлено на общее благо и чуждо частным интересам.

«Нам приходится страдать от разных вещей,— говорили мне многие граждане.— И как раз в настоящий момент мы испытываем немало лишений. Даже наше богатство значительно уменьшится, но мы знаем, что наши дети будут благодарны нам, так как все обернется к их благу». При подобном самопожертвовании, не исключающем высокого нравственного удовлетворения, можно рассчитывать на лучшее будущее».

С Иоганном фон Мюллером Форстер откровеннее [31]. Он пишет ему (по-французски) 12 июля: «...Я был свидетелем роста энтузиазма этого любопытного народа, ныне одушевленного каким-то огнем, каким-то рвением, лучами света, наконец, порожденного сначала как будто не его собственными силами, а, напротив, одним из тех великих поворотов неисповедимой судьбы, которая правит миром...»

И 18 июля в новом письме Иоганну фон Мюллеру такое же выражение веры в Революцию, но теперь веры спокойной и глубокой [32]:

«Я бесконечно рад тому, что вы согласны со мной относительно устойчивости Революции во Франции. Да, милостивый государь, она устоит! Судя по тому, что я видел, я в этом так же убежден, как в собственном существовании. Невозможно, чтобы когда-нибудь совершилась контрреволюция: ибо нация не только действительно единодушна, но и вполне просвещена и понимает свои интересы. Аристократы ждут момента, когда Национальное собрание установит налоги.

«Крестьянин,— говорят они, — ждет полного освобождения от налогов; когда речь пойдет о том, чтобы их по-прежнему платить, он придет в ярость; вот тогда мы будем в выигрыше».

Я совершенно не верю в это; во всех провинциях Франции крестьянин достаточно подготовлен к равному для всех и умеренному обложению; ему никогда не приходила в голову смехотворная мысль, что может существовать государство без всяких вообще налогов на общественные нужды. Я в этом уверен, судя по тому, что я слышал от тех, кто имел дело с сельскими жителями».

Но деятельный и ясный ум Форстера не мог остановиться на этом. Поскольку победа Революции во Франции казалась несомненной, а возврат к прошлому невозможным, то какое влияние окажет это на Германию? И он дает вполне ясный ответ на этот вопрос. С одной стороны, Германия не готова к такому движению, какое существует во Франции. Однако, с другой стороны, немецкие князья и привилегированное сословие не смогут далее безнаказанно сохранять и усиливать своей режим произвола. Они не смогут долго сопротивляться огромной, глубокой силе, стихийное и непреодолимое развитие которой подобно божественному проявлению.

«Мне хочется думать,— продолжает Форстер,— что это распространится; но мы в Германии еще совершенно не подготовлены к этому; наш мелкий люд еще томится в оковах невежества, более тяжких и более унизительных, чем оковы деспотизма; в Германии мало районов, где народ достаточно просвещен, чтобы употребить свободу во благо. Тем важнее для князей не раздражать его, так как он, конечно, не будет вести себя с той замечательной умеренностью, какой можно только восхищаться у французов наших дней. Именно по этой причине, несомненно, все усилия церковной иерархии сохранить свою прежнюю власть кажутся мне в настоящее время столь неосторожными. Можно подумать, что духовенство поражено слепотой. Неужели оно не понимает, что путь примирения — единственный, какой ему остается? Неужели оно всеми силами хочет ускорить катастрофу? Неужели оно предпочитает потерять все разом, а не уступить в настоящую минуту свету, разливающемуся вокруг него и озаряющему его сумрачное святилище? *Тех, кого боги хотят погубить, они прежде лишают разума.* Во всем этом, конечно, есть рука Провидения, судьбы, бога; и эта великая воля, нисколько не зависящая ни от каких человеческих усилий, совершится вопреки им. Мы еще увидим это своими глазами, и это будет далеко не самое неинтересное зрелище, очевидцами которого мы станем. Вообще теперь стоит жить, чтобы быть свидетелями неожиданного, своеобразного и утешительного развития сил, которые природа сосредоточила в душе человека».

---

29. О впечатлениях Форстера в июле 1790 г. см.: «Erinnerungen aus dem Jahre 1790 in historischen Gemälden und Bildnissen: 7. Französischer Enthusiasmus auf dem März oder Föderationsfelde».—«Sämmtliche Schriften», B. VI, S. 181. Патриотизм французов произвел на Форстера глубокое впечатление. (Ibid., S. 182.) В Париже этот космополит впервые понял всю мощь патриотизма.
30. G. Forster. Briefwechsel.— «Sämmtliche Schriften», B. VIII, S. 116—117. [См.: «Немецкие демократы XVIII века». М., 1956, с. 420—421.— *Прим. ред.*]
31. G. Forster. Op. cit., S. 117. Иоганн фон Мюллер (1752—1809) — историк, библиотекарь епископа Майнцского.
32. G. Forster. Op. cit., S. 119. [См.: «Немецкие демократы XVIII века», с. 421—422.— *Прим. ред.*]

По-видимому, с этого момента Форстер ждет решающих событий в самой Германии и, почти не признаваясь в этом самому себе, готовится к ним [33]. Несомненно также, что он теперь начинает более свободно высказываться перед профессорами, медиками, которые, как и он, сочувствуют Революции и Франции,— Гофманом, Доршем, Ведекиндом [34]. Напрасно пытается он соблюдать осторожность, напрасно пишет он Гейне, обеспокоенному его стремлениями, что он не может желать для себя большего счастья, чем мирная и постоянная работа в кругу семьи. Он не в силах противостоять головокружительному влечению к широкой деятельности, его манит бездна. К тому же в Майнце распространяются контрреволюционные настроения. Священники, заправлявшие в курфюршестве, пугаются свободомыслия, царящего в университете, и, отказавшись от тактики терпимости, какой они следовали из пренебрежения и отдавая дань моде, преследуют профессора Дорша за то, что он преподавал философию Канта [35]. И вот Германию начинают волновать интриги; при прусском дворе беспокойная партия толкает к войне, безразлично к какой — с Льежем, с Францией,— лишь бы вырвать короля из-под влияния его любовниц. Курфюрст Майнцский, сменив с возрастом предмет своей страсти, больше не требует, чтобы сладострастные строки «Ардингелло» Гейнзе [36] оживляли его угасшую силу, и, перейдя от любовных утех к политике, старается стать главой и вдохновителем германской контрреволюции [37]. Прибывают эмигранты, болтливые, прожорливые и наглые; они набрасываются на яства и шампанское, льстят епископу, называя его «папенькой». Из-за безграничной жадности этих изголодавшихся дворян поднимаются цены на съестные припасы, и Форстер полон отвращения и гнева. И эти люди претендовали на то, чтобы навязывать Германии свою волю и определять ее общественное мнение! И они претендовали на то, чтобы диктовать свободным умам, что́ им надлежит думать о Революции и ее вождях! А высокопарный памфлет англичанина Бёрка против Революции, перепечатанный и комментированный всей пишущей челядью германских дворов, придавал пошлой клевете и глупостям эмигрантов какую-то видимость красноречия и глубины! [38]

Форстер не смог и долее сдерживаться и в рецензиях, которые он публиковал на произведения английской литературы, выступал против Бёрка, разоблачая его софизмы, к великому смятению Гейне, видевшему, как он рискует все больше и больше [39]. Все равно! Да свершится судьба!

Немецкие дворяне то опьяняются, то ужасаются речами дворян — эмигрантов из Франции: «И вам тоже придется бежать, вас тоже ограбят, обворуют, подвергнут грубым насилиям, если вы не раздавите это змеиное гнездо якобинцев, которые повсюду в Европе овладеют душой народов и отравят ее».

Значит, война! И да погибнет Революция! О, какие безумцы!

«Соблюдая осторожность, пойдя на уступки,— говорит Форстер,— они могли бы отсрочить революцию еще на сто лет; но теперь провокациями своими они ускорят ее на полстолетия».

Какая самонадеянность! Они воображают, что Революция не сумеет защититься! Это не так. У нее нет регулярной армии, но она сильна доверием народа, который весь поднимется на ее защиту. Они делают вид, будто рассматривают Революцию как спектакль, как ряд театральных представлений, имеющих целью ослепить нацию. Но комедия довольно хорошо разыграна; ведь отныне крестьяне избавлены от половины своих прежних повинностей. Революция показала свою силу, когда после бегства короля Собрание так спокойно взяло власть в свои руки. Собрание проявило чрезмерную снисходительность! Напрасно сохранило оно королевскую власть. Теперь слабость эта ввергает мир в войну. Франция сможет выдержать эту войну. Она полна воодушевления, ее пылкий и единый народ обладает огромной силой и мощью своего

33. Несомненно, переход Форстера в ряды революционеров после занятия Майнца французами был вполне закономерным следствием. Форстер, так сказать, внутренне созрел для этого решения после своей поездки во Францию и в период работы над своим трудом «Ansichten».
34. Гофман (1752—1849) — профессор естественного права в Майнце. Дорш (1758—1819) — профессор философии в Майнце. Ведекинд (1761—1839) — профессор медицины в Майнце. (См.: A. Mathiez. Le médecin George Wedekind.—«Annales historiques de la Révolution française», 1924, p. 449.) Об этих лицах см.: J. Droz. L'Allemagne et la Révolution française. Paris, 1949, p. 201, «Les clubistes mayençais».
35. Дорш был назначен профессором философии в Майнцском университете в 1787 г.; его кантианство не замедлило создать для него трудности; в 1791 г. он был вынужден покинуть Майнц и отправился в Страсбург искать счастья в рядах конституционного духовенства (он был рукоположен в священники в 1781 г.).
36. Гейнзе, Иоганн Якоб Вильгельм (1749—1803) — немецкий романист. Его главное произведение — «Ардингелло» (1787).
37. Политическая эволюция рейнских курфюрстов, а особенно эволюция его государя, майнцского курфюрста-епископа, в течение 1790 г. не могла оставить у Форстера никаких иллюзий. Участие войск курфюршества в карательной экспедиции против Льежа, а еще более преследования, возбужденные против Дорша в связи с его кантианством, доказывали, что Карл Фридрих фон Эрталь отказался от своей либеральной, терпимой политики, сторонником которой он был до сего времени. Форстер пылал в душе гневом, видя, что эмигранты играют при майнцском дворе все большую и большую роль и толкают правительство к активному вмешательству во французское дела.
38. Burke. Reflections on the revolution in France, and on the proceedings in certain societies in London relative to that event in a letter intented to have been sent to a gentleman in Paris, London, 1790.
39. G. Forster. Geschichte der englischen Literatur im Jahre 1790.—«Sämmtliche Schriften», B. VI, S. 56—120. Стараясь опровергнуть положения Бёрка, Форстер не понимал их глубины: «жалкая болтовня»,— писал он.

богатства. У нее можно отобрать колонии, Сан-Доминго и все остальные, но

«французская промышленность всегда найдет для себя рынок, даже если у Франции не будет никаких заморских владений. Француз — владелец мануфактуры более экономен и более трудолюбив или по крайней мере так же трудолюбив, как англичанин; следовательно, он может продавать свои товары дешевле».

Так Форстер все более и более входит в интересы Франции — вплоть до того, что подсчитывает ее силы [40]. Он восхищается речью Бриссо против Австрийского дома. Он находит ее содержательной и решительной. Его тоже охватывает воинственная лихорадка Жиронды. Он обвиняет, он изобличает немецких священников, князей, дворян, делающих войну неизбежной. Но, в сущности, его настолько раздражает жужжащий рой эмигрантов, хвастовство и фанфаронство всех правящих групп Германии, он с таким нетерпением стремится вырваться из тяжкой неопределенности настоящего, что желает вспышки молнии, которая бы поразила тщеславных и очистила воздух. И он всем сердцем с французскими революционерами, обладающими отвагой и силой. Против якобинцев мечут громы короли, министры, привилегированные, придворные журналисты и пасквилянты. И именно на сторону якобинцев становится Форстер.

«Охотно признаю,— пишет он 5 июня 1792 г. Гейне [41], с беспокойством которого он не перестает считаться,— что я скорее за якобинцев, чем против них. Если бы не они, то в Париже вспыхнула бы контрреволюция, и старый порядок был бы полностью восстановлен. Это не они, а королева играет на руку Пруссии и Австрии. Дабы не потерять всего того, что завоевано, надо предоставить якобинцам действовать так, как они действуют. Сговор между тайным кабинетом [Тюильри], эмигрантами и иностранными дворами может быть расстроен только сильными средствами, которые покажут всем, сколь нетерпимо и фальшиво нынешнее положение вещей во Франции. *Все связи разорваны и должны быть разорваны, если не хотят снова надеть старые оковы.* Двор думает лишь о своем былом великолепии и о своем деспотизме. Пусть все рушится, лишь бы двор вновь утвердился на развалинах. Иностранные державы могут, как им угодно, рвать Францию на части, лишь бы предназначенный двору кусок был полностью в его власти. Но даже этот план — дело еще не решенное... Эмигранты хорошо знают это и без стеснения заявляют, что Пруссия и Австрия их обманули. Пересматриваются все соглашения между тремя великими державами. Императрица [российская] делит Польшу, вместо того чтобы послать свои войска во Францию. Пруссия, несомненно, получит свою долю. Австрия и Пруссия стремятся захватить французскую Фландрию, Эльзас и Лотарингию. Много дальше они не пойдут в своем продвижении. Если даже и погонят республиканцев, как стадо овец, то где-нибудь они все же наконец

окажутся прижатыми и будут вынуждены дать последний отчаянный бой, вынести всю тяжесть которого, несомненно, заставят эмигрантов. Последним дадут возможность действовать лишь после того, как державы завладеют французскими провинциями, на которые они зарятся.

Самое худшее во всем этом — подчеркнутое презрение ко всему, что хоть сколько-нибудь похоже на честность и принципы. Императрица — самодержица в Швеции, демократка в Польше, монархистка во Франции. Какое противоречие или, скорее, какое откровенное бесстыдство! Пруссия уже поставила в известность прирейнские области, что она будет платить за содержание своих войск бонами, расписками, которые она уже пускала в обращение во время Семилетней войны и которые так плохо оплачивались. Эти области бессильны и должны терпеть все, что угодно сильным; и они связаны нелепым покровительством, которое они оказали французским эмигрантам, без которых Пруссия и Австрия никогда не нашли бы предлога для нападения на Францию.

Легко сказать, что якобинцы заходят слишком далеко, но кто может отрицать, что, если они хоть на минуту выйдут из игры, произойдет контрреволюция? Ее желают все выступающие против якобинцев. И в такой момент, когда на чашу весов брошен столь тяжелый груз, им приходится прилагать все силы, чтобы удержать равновесие, а затем склонить чашу весов в свою сторону. И при таком напряженном положении для каждого, кто не друг и не враг, еще ждут разумных, спокойных и хладнокровных решений! Какое легкомыслие требовать этого теперь, когда имеет значение только действие, когда в течение четырех лет тщетны были все призывы к голосу разума и против Революции пускались в ход самые бесчестные средства! Нет, это значит требовать большего, чем христианское смирение, большего, чем подставить левую щеку, когда тебя ударили по правой. Кто станет отрицать бедствия, порождаемые гражданской войной, кто не скорбит о них? Кто станет оспаривать, что существуют тысячи людей, всегда готовых совершать мерзости под предлогом защиты свободы? Но ведь гражданская война началась, и эта война целиком лежит на совести двора, дворянства, духовенства и иностранных держав».

Здесь ум Форстера проявился во всей своей глубине. Какой проницательный и суровый взгляд! Какое умение распознавать эгоистические побуждения! Какое презрение к хищнической поли-

---

40. Эволюцию Форстера можно проследить по его обширной переписке: страстные и взволнованные суждения, в которых по мере развития истории все более ощущаются симпатии к якобинцам и Республике.

41. G. Forster. Briefwechsel.— «Sämmtliche Schriften», B. VIII, S. 193. [См.: «Немецкие демократы XVIII века. Шубарт. Форстер. Зейме». М., 1956, с. 429—431.— *Прим. ред.*]

тике той Европы, которая даже не думает о сохранении общественного порядка, защитницей коего она себя мнит, и у которой нет иных забот, как только разделить между собой добычу, какой является Франция. Человек, который так говорит и не боится, несмотря на поток лицемерных обвинений против якобинцев, разоблачать ненависть к Революции,— этот человек не проявит половинчатости, когда наступит решительный час. О, каким великим государственным деятелем, рассудительным, пылким, решительным и прозорливым, был бы Форстер для революционной Германии! Но Германия не пошла по революционному пути, и у великого человека, осмелившегося выступить слишком рано, не оказалось почвы под ногами.

И вот начинается война. В Майнц прибыл молодой император Франц-Иосиф, недавно коронованный во Франкфурте [42]. По улицам города снуют толпы солдат, священников, разодетых дворян, бахвалящихся эмигрантов. В широкой реке отражаются разноцветные флаги, которыми разукрашена флотилия. Епископ сияет. Небо без облачка. Эмигранты едят и пьют. Вечером дома ярко освещены, праздничные огни на колокольнях отражаются в глубоких водах Рейна. Какая безмятежная ночь! Нежный свет звезд, бледнеющий при ослепительном блеске городских огней. О, как сладко жить, позабыв обо всем! Прежде чем броситься навстречу опасностям и случайностям, люди ищут забвения. И бедный мыслитель, смешавшись с толпой, на секунду тоже разделяет это инстинктивное веселье. Таково мимолетное очарование этого часа, слабый луч света над темной бездной. Как жаль ослепленных людей, устремляющихся в бездну!

Но прошли недели, полные ожидания, тревог, бахвальства, лжи. И через три месяца после устроенного в Майнце великолепного праздника туда как победители входят солдаты Кюстина, солдаты Революции [43]. О, как пристально смотрел Форстер на жителей Майнца, толпившихся на пути, по которому проходили солдаты свободы! Как бы ему хотелось заметить в этом народе, подавляемом в течение веков, погруженном в дремотное состояние, радостный трепет, надежду, живой проблеск новой Германии! Друзья свободы, все те, кто в залах для чтения с воодушевлением воспринимал пылкие или полные горечи речи Форстера, Гофмана и Ведекинда, надели трехцветные кокарды, но народ в целом оставался мрачным или по меньшей мере сдержанным. Может быть, его смутила неожиданность события? Или он питал в глубине души какую-то ненависть и недоверие к этим французам, которых ему изображали грабителями и злодеями!

Может быть, его встревожило то, что при первом приближении неприятеля курфюрст потерял голову и трусливо бежал вместе с дворянами и прожорливыми эмигрантами, вместе со всеми городскими властями, предавшими и покинувшими его? Или, может быть, его поразили более чем простые, поношенные и бедные мун-

диры французских солдат? Они были в лохмотьях, часто босы. Мясо и свой хлеб они несли на штыках. Это казалось странным людям, выросшим в атмосфере придворных покоев и кафедральных соборов, привыкших к позолоте церквей и челяди. И народ не мог выразить иначе, чем молчанием, крайнюю путаницу своих впечатлений. О благородные мыслители Германии, ревностные ученики Канта, стремящиеся к свободе, какое ужасное бремя сонного и недоверчивого рабства предстоит вам сбросить!

МАЙНЦСКИЙ КЛУБ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ФРАНЦИИ

Но Форстер не терял надежды пробудить в жителях Майнца и Рейнской области стремление к свободе. По образцу Якобинского клуба было основано Общество друзей народа,* которое с согласия Кюстина обосновалось в роскошном концертном зале епископского дворца [44].

«Нельзя было придумать лучший символ, чем этот, чтобы немедленно воздействовать на народ, польстить его самолюбию и внушить ему, вместо прежнего почтения, презрение к вчерашним кумирам».

С высоты этой «трибуны санкюлотов» майнцские революционеры ежедневно выступали с обвинениями против курфюрста и старого порядка. В поводах для обвинений не было недостатка: как легкомысленны и трусливы люди, которые, спровоцировав таким образом Францию и навлекши на жителей Майнца вторжение, при приближении чужеземцев даже не пытались обороняться и так

---

42. Речь идет о Франце II (1768—1835), унаследовавшем 1 марта 1792 г. от своего отца Леопольда II трон Габсбургов и титул императора «Священной Римской империи германской нации». См.: Ж. Жорес. Цит. соч., т. II, с. 219.
43. Солдаты Кюстина вступили в Майнц 21 октября 1792 г. См.: Ж. Жорес. Цит. соч., т. III, с. 248.

* Майнцский клуб носил название «Общество друзей свободы и равенства». См.: Ю.А. Мошковская. Георг Форстер — немецкий просветитель и революционер XVIII века. М., 1961, с. 241—245.— *Прим. ред.*

44. См. К. Bockenheimer. Die Mainzer Klubisten der Jahren 1792 und 1793. Mainz, 1896; A. Chuquet. Mayence. Paris, 1892; J. Droz. L'Allemagne et la Révolution française. Paris, 1949, p. 201, «Les clubistes mayençais». В действительности еще до прибытия французов в Майнце существовало «Общество чтения», члены которого принадлежали к интеллектуальной элите; его «республиканский» дух был очевиден. Гёте, проезжая через Майнц 20 августа 1792 г. для участия во французской кампании, отметил: «Большое возбуждение умов, распространение республиканских умонастроений. Я чувствовал себя неловко в этом обществе». (Goethe. Kampagne in Frankreich 1792. 1919, S. 190.) Об основании клуба в Майнце 23 октября 1792 г. см.: «Moniteur», XIV, 357.

позорно бежали! С каким остроумием изображает Форстер, как они заталкивают в сундуки все свои ценные вещи, свои драгоценности и золото, свои роскошные епитрахили, все свое светское и церковное великолепие! Курфюрст бежал в карете, с которой он предварительно приказал снять гербы, и теперь неизвестно, в каком захолустье Германии он прячется. Чтобы увезти все эти сокровища, на Рейне была снаряжена целая флотилия. О, какое оживление, какое движение теперь на этой великой реке, которую правительство церковников превратило в пустынный и бесполезный путь, заброшенный торговлей! О ирония судьбы! Именно трусость властителей, их отчаянное бегство оживили до некоторой степени эту до сего времени пустынную реку! И как невежественны, как ничтожны были все эти люди!

Когда французы приблизились к городу, военный комендант решил, что это дружественная армия, армия принца Конде. Почему? Потому что французы продвигались так спокойно и уверенно, что никак нельзя было предположить, что они идут на штурм. О, смехотворное заблуждение трусов, которые даже не в состоянии понять, что такое храбрость, и предположить ее у других! Так ежедневно поносили павшее правительство Форстер и его друзья, пытаясь вызвать в душе народа любовь к новым свободам, породив презрение к былому рабству.

«Это было похоже на суд над мертвыми, существовавший в Древнем Египте».

Перед судом народа Майнца предстала мертвая тирания. Был момент, когда майнцские революционеры могли подумать, что они вдохновили и воодушевили народ. Когда на главной площади Майнца они посадили украшенное трехцветными лентами дерево свободы с красным колпаком на вершине, их приветствовала огромная толпа. Однако Форстер несколько обеспокоен. Он не видит вокруг себя организующих сил: несколько преподавателей, несколько врачей, несколько юристов и очень мало буржуа [45].

«Орудие, каким пользуется судьба для свершения своих предначертаний, часто лишено ценности само по себе [46]. Если отнять у майнцских якобинцев окружающее их великолепие прекрасно освещенного зала собраний и солидные заслуги нескольких образованных и честных людей, составляющих ядро общества, то останется весьма разношерстная толпа, обладающая всеми недостатками подобных поспешно созданных организаций и никоим образом не удовлетворяющая сколько-нибудь требовательный вкус. Силу Общества друзей народа составляют большое число образованных юристов, беспристрастие которых правитель вознаградил преследованиями и немилостью, несколько богатых купцов и почтенных граждан, известных своей честностью, несколько профессоров университета, субсидировавшегося, но часто преследовавшегося курфюрстом, и, наконец, несколько добродетельных священников, обладающих ясным умом. Все они сделали бы честь

любому обществу. Но в него был принят целый рой шумливых и грубых студентов и иной зеленой молодежи, а также и некоторые лица весьма сомнительной нравственности — либо для увеличения числа его приверженцев, либо ради соблюдения принципа равенства».

Были совершены ошибки. Профессору Бемеру пришла в голову странная мысль предложить своего рода референдум по двум спискам [47]. Под первым, красным с трехцветным краем, должны были стоять подписи друзей свободы. Под вторым, черным с изображенными на нем цепями,— подписи врагов Революции. Это значило грубо нарушить ту самую свободу, которую собирались почитать. Все же, несмотря на возражения Форстера, общество одобрило эту деспотическую ребяческую затею. И трусость прежних правителей была такова, что не нашлось ни одного человека из прежних привилегированных или их друзей, который бы осмелился подать свой голос за черный список. Но — и это главное — какую политику намерено было предложить гражданам Майнца Общество друзей народа? Какое решение? Великая политика, одновременно национальная и революционная, должна была бы состоять в том, чтобы сказать Кюстину:

«Мы такие же республиканцы, как и вы. Мы создадим Рейнскую республику и присоединим свое оружие к вашему, дабы революционизировать всю Германию. Достигнув этого, мы вступим в состав Германской республики, подобно тому, как мы входили в состав Германской империи. И новая Германская республика будет союзницей, младшей сестрой Французской республики.

Да, но эта великая политика была вдвойне невозможна. Во-первых, она совершенно не отвечала настроениям самих жителей Майнца. Действительно, они скорее мирились с событиями, чем участвовали в них, а для того же, чтобы они взяли на себя инициативу своего рода революционного крестового похода в Германии, нужен был, наоборот, великий энтузиазм. При их же покорной пассивности, благожелательной или недоверчивой, нельзя было ожидать никакого порыва. И, с другой стороны, не было никаких оснований надеяться, что Германия примкнет к революционному

---

45. Помимо нескольких интеллигентов, духовных или светских лиц, в клуб входили юристы, несколько чиновников курфюршества, несколько коммерсантов и студентов.
46. G. Forster. Darstellung der Revolution in Mainz.—«Sämmtliche Schriften». B. VI, S. 402.
47. Г. В. Бемер (1761—1839) в 1783 г. был директором протестантской гимназии в Вормсе. Ему принадлежит инициатива отправиться к Кюстину в Шпейер и предложить ему захватить Вормс. Он стал секретарем Кюстина и с 1 ноября 1792 г. до 17 апреля 1793 г. стоял во главе «Mainzer Nationalzeitung», официального органа майнцских клубистов.

движению. О, как должен был страдать Форстер, вынужденный вновь признать это в решающий час! По поводу революционных симптомов в Майнце он пишет [48]:

«*Положение Германии, характер ее жителей, степень и особенности ее культуры, разнообразие образов правления и законодательства, словом, ее физическое, нравственное и политическое состояние предопределили для нее медленное и постепенное развитие, медленное созревание. Она должна стать благоразумной при виде ошибок и страданий своих соседей и, быть может, получить сверху свободу, которую другие завоевывают снизу силой и одним ударом*».

Итак, Форстер не верит в Германию и настолько убежден в невозможности, в безумии всякого общего революционного движения, что его даже тревожит рвение некоторых жителей Майнца, так как оно, как ему кажется, может захлестнуть остальную Германию. Установить немедленно свободу и организовать народное правление можно только в Рейнской области и под непосредственным влиянием соседней Франции. Что это значит? Это значит, что судьбу Рейнской области не следует связывать с судьбой Германии. Нельзя будет силой заставить Германию сразу согласиться с принципами, к которым присоединилась Рейнская область, и нельзя оставлять рейнские земли в рабстве или в состоянии полусвободы в ожидании, пока вся Германия завершит свою медленную эволюцию.

Но смогут ли рейнские земли, таким образом отделенные от слишком отсталой и тяжеловесной Германии, сами себя защитить и спасти свою свободу? У них есть только одно средство спасения — войти в состав великой республиканской Франции-освободительницы, объединиться с нею. Такова с самого начала политика Форстера. С первых же дней он проповедует присоединение к Франции всего левого берега Рейна. 27 октября, всего через шесть дней после вступления Кюстина в Майнц, он пишет в Берлин книготорговцу Фоссу [49].

«Французская республика, по-видимому, не должна оставить Майнц. Под покровительством генерала основано Общество свободы, и население, предоставленное самому себе, как будто готово, как и население Савойи, все поголовно бросится в объятия Республики. Но взоры людей устремлены на тех, чьему суждению они доверяют, а последние еще не высказались. До сего времени я держался сдержанно, но такая нейтральность нежелательна: трудный момент заставляет принять решение. Пример Франции показал, какой будет везде участь эмигрантов, а революционный дух, пробудившийся после полного уничтожения союзных армий, оказывает, как и следовало ожидать, столь сильное действие, что можно опасаться всяческих последствий для германского государственного устройства, *если те части Германии, которые решительно встали на сторону демократии, не будут мирно отделены от нее и если их не уступят добровольно. К счастью для Германии,*

существует Рейн. Он должен стать границей, отделяющей от Германии территорию Республики. Было бы безумием еще лелеять старые мечты о неприкосновенности и неделимости Империи. Все потеряют, если захотят вновь овладеть всем. Пример королевской власти во Франции служит тому достаточным доказательством. Зараза будет непрерывно распространяться, если любой ценой не будет куплен мир, который позволит правительствам удержать своих подданных в повиновении. Теперь даже на это с трудом можно надеяться после столь серьезной ошибки, какой был поход во Францию. Солдаты, горожане и крестьяне недовольны; и первые, утратив свою честь, могут утешаться только утверждением, что бороться против свободы невозможно. Это доказала Америка, а затем и Франция. Пусть мне не возражают, ссылаясь на пример Голландии и Брабанта: эти страны сражались не за свободу, а за дворянство. В Италии все дрожат, опасаясь успехов Французской республики. Я слышал это из уст путешественников, заслуживающих полного доверия. Каталония ждет только первого сигнала. Гессен и Швабия в своем нетерпении стремятся навстречу освободителям. Кобленц в три дня станет французским. Куртрэ во Фландрии снова занят Ла Бурдоннэ, а Дюмурье, несомненно, еще до нового года завоюет всю австрийскую Бельгию [50]. Всемогущество России в Польше вызывает крайнее недовольство прусского короля и германского императора и требует от них напряжения всех сил для оказания противодействия. Тугут предлагает мир с Францией ценой уступки ей только Трирского и Майнцского епископств» [51].

Но невольно возникает вопрос: какую игру ведет Форстер? Если германское государственное устройство действительно до такой степени потрясено и ему так сильно угрожает революционный дух, если действительно Гессен и Швабия, а вскоре, несомненно, и другие государства призовут к себе Французскую республику и Революцию, то почему он, сторонник свободы, сразу отказывается революционизировать Германию? И как может он говорить, что мир необходим для того, чтобы остановить распространение Революции, чтобы позволить установленным властям сохранить старый порядок? Неужели Форстер настолько эгоистичен и подл, чтобы ценой отказа от всех революционных надежд Германии купить для себя удовольствие отправиться в качестве французского гражданина Майнца в Париж и играть там, а может быть и в Конвенте,

---

48. G. Forster. Op. cit., S. 404.
49. G. Forster. Briefwechsel.— «Sämmtliche Schriften», B. VIII, S. 237. [См.: «Немецкие демократы...», с. 435—438.— *Прим. ред.*] Фосс был берлинским издателем Форстера.
50. Дюмурье вступил в Бельгию 27 октября 1792 г. Победив австрийцев при Жемаппе 6 ноября, 14 ноября он был уже в Брюсселе. В течение одного месяца австрийцы были вытеснены из Бельгии вплоть до Рера.
51. Тугут, Франц де Паула (1736—1818) — австрийский канцлер.

двусмысленную и заметную роль? Разумеется, нет. Но запутанное и шаткое положение вещей в Германии заставляет его вести прискорбную и сложную игру. Несмотря на увлечение первыми успехами Франции, несмотря на стремления Гессена и Швабии, он хорошо знает по опыту самого Майнца, что в Германии нет значительных революционных сил. То, что Форстер ни минуты не надеялся на немецкую революцию, является, по моему мнению, одним из самых печальных и решающих признаков полного бессилия немецкого народа даже в эти тревожные и многообещающие дни. Форстер надеялся лишь на то, что, если благодаря аннексии или присоединению к республиканской Франции левого берега Рейна будет восстановлен мир, то пример этой великой победоносной и свободной Франции окажет мало-помалу свое влияние на Германию. Но, дабы сделать этот план приемлемым для немецких патриотов и даже для консерваторов, Форстер говорит, что продолжение войны может привести лишь к всеобщему разрушению в Германии. Поэтому он иногда делал вид, будто хочет ограничить Революцию. 21 ноября он пишет из Майнца своему берлинскому корреспонденту книготорговцу Фоссу [52]:

«Со вчерашнего дня, по особому приказу генерала Кюстина, я введен в состав администрации здешних мест от Шпейера до Бингена. Мне вверена забота о наибольшем благе страны и ее жителей, и я буду радеть о нем. Я буду охранять собственность и благосостояние, и тот, кто впоследствии будет владеть этой страной, кто бы он ни был, найдет ее в хорошем состоянии. *Если будет предпринята вторая кампания, то всю Германию охватит анархическое брожение, и я не поручусь государям за их троны. Давая этот совет, я действую как хороший пруссак, в лучшем смысле этого слова, как человек, желающий сохранения нынешнего положения, потому что он еще не уверен в революционной зрелости Германии и потому что преждевременная революция могла бы иметь печальные последствия. Но, ради бога, пусть поймут наконец, куда мы идем! Судьба нынешнего момента давно предрешена, и невозможно, чтобы прогнившие плотины могли устоять под бурным натиском свободы. Мы живем в решающую эпоху мировой истории. Ничего подобного не было со времени возникновения христианства. Ничто не может противодействовать энтузиазму и увлечению свободой, разве что косное государственное устройство Азии*».

Частичное решение, придуманное Форстером, соединяло, по его мнению, все преимущества. Лично его и его близких оно освобождало от всякого беспокойства и обеспечивало ему важную роль. Став французским гражданином и, вне всякого сомнения, представителем Майнца, он мог больше не опасаться репрессий со стороны епископа и его партии и, кроме того, мог служить посредником между стремительной Францией и более медлительной Германией. С другой стороны, немецкие революционеры были бы избавлены от ужасов гражданской войны с немцами — против-

никами революции, и развитие свободы в Германии могло протекать спокойно и уверенно.

Но план Форстера натолкнулся на самое решительное сопротивление. Значительное число немцев восприняло его как измену. Форстер в раздражении крайне резко ответил на это в своем письме от 21 ноября книготорговцу Фоссу [53]:

«Что касается того, что я должен оставаться пруссаком, то я могу очень многое ответить на это. Если я правильно понимаю это пожелание, оно противоречит принципам, которые я всегда высказывал,— правда, осторожно из-за деспотизма,— и моей любви к свободе. Я родился в месте, расположенном в часе езды от Данцига,— в прусской Польше, и покинул родные края до того, как они оказались под господством Пруссии [54]. Таким образом, я не являюсь прусским подданным. Я жил в Англии как ученый, совершил кругосветное путешествие, а затем делился своими скромными знаниями в Касселе, Вильно и Майнце [55]. Всюду, где бы я ни жил, я трудился, чтобы заработать себе на хлеб. «Ubi bene, ibi patria» *— эти слова должны оставаться девизом ученых. Это также девиз свободного человека, вынужденного жить одиноко в мелких государствах, не имеющих конституции.

Если для того, чтобы считаться хорошим пруссаком, живя в Майнце под властью французов, достаточно желать всем пруссакам, как и всем людям вообще, благ скорого мира и прекращения бедствий, связанных с войной, то я — хороший пруссак,— равно как я хороший турок, хороший китаец, хороший марокканец. Но если под этим подразумевается, что в Майнце я должен отказаться от всех своих принципов и среди всего этого брожения должен либо молчать, либо убеждать жителей Майнца в том, что они должны восстановить прежний деспотизм вместо того, чтобы пользоваться свободой вместе с французами, то я предпочел бы быть повешенным на ближайшем фонаре».

---

52. G. Forster. Op. cit., S. 246. [См.: «Немецкие демократы...», с.438—439.—*Прим. ред.*] 19 ноября 1792 г., не добившись согласия правящих классов Майнца, Кюстин своей властью назначил временную администрацию, наиболее видными представителями которой были Дорш и Форстер.
53. G. Forster. Op. cit., S. 273. Фосс предложил Форстеру доказать на деле, что он «хороший пруссак».
54. Форстер родился в Нассенгубене, вблизи Данцига (Гданьска), в 1754 г., до раздела Польши.
55. После участия в экспедиции Кука (1775 г.) Форстер прожил несколько лет в Лондоне. Затем благодаря графу Гессен-Кассельскому он стал профессором в Кассельском университете Каролинуме, затем — после раздела Польши — был профессором в Вильно и, наконец, в 1788 г. стал директором библиотеки майнцского курфюрста.

* «Где хорошо, там и отечество» (*лат.*).— *Прим. ред.*

Но сколько отчаяния в этой насмешке! И каким анахронизмом является это безразличие литератора и ученого к национальности! Результатом Французской революции и было как раз создание наций. И революционная свобода могла бы восторжествовать в Германии лишь в том случае, если бы она сочеталась с национальным порывом. Форстер в отчаянии обращается к очень узкой и несвязной концепции [56].

Но на какие трудности наталкивался он даже в прирейнских землях! Несомненно, в этих землях чувствовалось веяние свободы. Происходило как бы слияние немецкого духа с французским. В начале своей книги, впрочем, весьма шовинистической, «Немецкие республиканцы под властью Французской республики» Венедэ [57], сын одного из этих республиканцев, написал:

«Обнимитесь, миллионы!
Слейтесь в радости одной!
Там, над звездною страной,—
Бог, в любовь пресуществленный.

Эти стихи Шиллера были благородным черенком, привитым в моей душе, в моей зарождавшейся мысли [58].

К самым отдаленным воспоминаниям моего детства относится поездка, когда я целый день провел рядом с отцом, сидя в экипаже, запряженном одной лошадью; он был защищен кожаным верхом и кожаными занавесками от дождя, временами лившего как из ведра; только глубокой ночью добрались мы через темные поля до своей Бекерадской фермы.

Все время, когда отцу не надо было отвечать на вопросы любознательного пятилетнего ребенка, он читал книгу Монтескьё «Дух законов», а когда он иногда закрывал книгу, то, сидя рядом со мной, напевал свою любимую песню, два первых стиха которой:

Обнимитесь, миллионы!
Слейтесь в радости одной!

сохранились в моей памяти. Дважды отец пропел на тот же мотив французские слова, которых я не понял; только позднее я узнал, что это была «Марсельеза». Гимн Шиллера и песню Руже де Лиля в то время пели на один и тот же мотив; говорили также, что Шиллер переделал свою чудесную песню в «Марсельезу». Гимн «*К радости*» превратился в гимн *к свободе* — свободе, прекрасной, божественной искре! Также и дома, в торжественные минуты, отец пел свою песню. Под Новый год, в дни рождения отца и матери к обеду приглашали нескольких друзей и родственников, а также учителя Гейтера, в школе которого я учился грамоте. Наверху, в «зале», которой пользовались только в торжественных случаях, обед проходил весело и непринужденно. Мать гордилась превосходными кушаньями, подавались прекрасное жаркое, велико-

лепные пироги, самые нежные фрукты. Но когда бокал хорошего вина, а зимой пунша развязывал языки, отец вставал из-за стола и начинал ходить взад и вперед по комнате, и все с воодушевлением пели, чередуя куплеты, «Марсельезу» и гимн «К радости».

«Дух законов», гимн «К радости», «Марсельеза», Монтескьё, Шиллер, Руже де Лиль — так сливались воедино лучи французской и немецкой мысли; так широкий и нежный призыв Шиллера ко всем радостям вселенной приобретал остроту в «Марсельезе», в боевом кличе против тиранов, душителей радости.

Обнимитесь, миллионы!
Слейтесь в радости одной!
Там, над звездною страной,—
Бог, в любовь пресуществленный.

Что означает сговор гнусный
Предателей и королей?
Где замышляется искусно
Позор для родины твоей? [59]

Нежный Млечный Путь, сверкающий мириадами звезд, вдруг превращался для горящего взора как бы в путь сражений, в славное восхождение к высотам, где царит свобода. Вдруг великое сердце бога, которое билось в таинственных высях мирозданья, сжималось от гнева против душителей, нарушавших счастливый для всего живого порядок и разрывавших объятия миллионов. О, какое это было время, юные души впитывали в себя широкий

---

56. Мы не разделяем этого уничижительного суждения Жореса о Форстере. Он, несомненно, испытывал тревогу и колебался, но, конечно, не утратил надежды. В то время как его более знаменитые друзья отвернулись от него, сочтя его «потерянным для Германии», Форстер утверждал, что он с чистой совестью служит Французской республике. Он ненавидел епископское государство, признавался, что он не имеет никакого понятия о «патриотизме». Он не видел никакой своей вины в том, что старался добиться аннексии своей страны иностранной державой, ибо эта держава достигла более высокой ступени культуры. Взгляд, являющийся логическим следствием убеждения, согласно которому единственный смысл существования государства — в нравственном совершенствовании индивида. «Лучше быть свободным или по меньшей мере добиваться свободы,— пишет он в это время жене,— чем питаться подаянием деспота». (G. F o r s t e r. Op. cit., S. 320.)
57. Мишель Венедэ родился в 1770 г. в Кёльне, участвовал в движении, развернувшемся в прирейнских землях; обманувшись в своих честолюбивых надеждах, впоследствии обратился против французов. Его сын (J. Venedey) — автор труда «Die deutschen Republikaner unter der französischen Herrschaft».
58. Гимн «К радости», первая строфа хора. [Ф р. Ш и л л е р. Избр. произведения. М., 1954, с. 45.]
59. Вторая строфа «Марсельезы».

ритм немецкой мысли, могучий ритм французской мысли, и все силы мысли, действия и мечты гармонически сливались в единую мощную симфонию!

ФОРСТЕР И ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ФРАНЦИИ

Но все практические затруднения, связанные с этой проблемой, оставались налицо. В сущности, жители Майнца боялись триумфального и грозного возвращения своих прежних властителей и в то же время не осмеливались безоговорочно встать на сторону Революции. Кроме того, если избранные умы восхищались Францией и любили ее, то среди значительной части народа существовали национальные предубеждения и недоверие к французам. Форстер прилагал все усилия, чтобы рассеять эти опасения, чтобы освободить умы от национальных предрассудков и возвысить их до понимания того, что такое истинное отечество и свобода; замечательным примером интернационализма является его речь, произнесенная 15 ноября 1792 г. в майнцском клубе, в Обществе друзей народа [60]. В ней он пламенно отстаивает политику присоединения к Франции и к Революции. Это весьма ценный демократический и революционный прецедент для интернационалистской мысли социализма.

«Сограждане! Я хочу сначала мимоходом коснуться недоразумений, которые могут возникнуть между нашими братьями-французами и нами вследствие различия национального характера, но которые коварно стараются усилить, чтобы найти в них доказательство невозможности политического союза между обеими нациями. Поэтому Общество, цель которого состоит и должна состоять как раз в том, чтобы осуществить этот союз, должно обратить на указанные недоразумения самое серьезное внимание.

До сего времени хитроумная политика государей состояла в умении разделять народы, поддерживать между ними различия нравов, характера, законов, мыслей и чувств, разжигать ненависть, зависть, насмешливое и презрительное отношение одного народа к другому и укреплять таким образом собственное владычество. Тщетно самое чистое нравственное учение утверждало, что все люди — братья... Испорченные и очерствевшие сердца правителей не признавали братства. Для них превыше всего было удовлетворение их низменных, грубых страстей, их спесивого «я». Властвовать было для них первым и единственным счастьем, а для распространения своего владычества у них не было лучшего средства, чем ослепление, обман и, в итоге, эксплуатация тех, кто находился под их игом.

Среди бесчисленных измышлений, посредством которых им удавалось вводить в заблуждение своих подданных, надо указать на то, с какой ловкостью распространяли они веру в наследствен-

ные различия между людьми. Различия эти они создавали искусственно, с помощью законов; они всюду проповедовали их при помощи своих платных апостолов. Одни люди, говорили они, рождены, чтобы повелевать и управлять, другие — чтобы обладать доходами и должностями, огромная же масса народа создана для того, чтобы повиноваться. Негр из-за цвета кожи и приплюснутого носа предназначен быть рабом белого. Священный человеческий разум оскорбляли с помощью и других кощунственных утверждений.

Но эти свидетельства злобы одних людей и слабости и слепоты огромного большинства исчезли с нашей земли, очищенной и посвященной ныне свободе и равенству. Они канули в море забвения. Быть свободными, быть равными — таков был девиз разумных и высоконравственных людей; теперь это и наш девиз. Для полного развития своих физических и духовных сил каждый человек нуждается в равных правах, в равной свободе. И только самым различием этих сил и должно определяться различие в их применении. О ты, счастливец, получивший от природы в дар великие умственные способности или огромную физическую силу, разве тебя не радует возможность проявить их в полной мере? Как можешь ты отказать более слабому, чем ты сам, в попытке применить свою меньшую силу без вреда для других?

Таков, сограждане, язык разума, который так долго не признавали и душили. Но кому обязаны мы тем, что мы можем громко говорить этим языком в стране, где он еще никогда не звучал, пока наши лучшие братья, наши непривилегированные братья не изгнали выродившихся и слабоумных привилегированных, эти отбросы человечества, да, кому обязаны мы тем, что мы можем так говорить, как не свободным, равноправным и храбрым французам?

Правда, немцам с юных лет внушалась неприязнь к их соседям — французам; правда, нравы, язык, характер французов отличны от наших. Правда и то, что, когда во Франции властвовали самые жестокие чудовища, наша Германия тоже дымилась от их пре-

---

60. G. Forster. Über das Verhältnis der Mainzer gegen die Franken.—«Sämmtliche Schriften», B. VI, S. 413—431. [См.: Г. Форстер. Об отношении жителей Майнца к франкам.— Г. Форстер. Избранные произведения. М., 1960, с. 544 и сл.] После 27 октября 1792 г. Форстер допускал, что «было бы безумием еще лелеять старые мечты о неприкосновенности и неделимости Германской империи», и признавал Рейн «границей, отделяющей от Германии территорию Республики». 5 ноября он обнял Ведекинда в присутствии членов клуба, в который он записался. 15 ноября он произнес речь о присоединении левого берега Рейна к Франции, речь, которая должна была произвести большое впечатление. См.: A. Chuquet. Le révolutionnaire George Forster.— «Etudes d'histoire», t. I, p. 187; J. Droz. L'Allemagne et la Révolution française, p. 205.

ступлений. Именно тогда Лувуа, чье имя история сохранила, дабы народы могли проклинать его, велел предать огню Пфальц, а презренный деспот Людовик XIV скрепил своей подписью этот гнусный приказ.

Но не давайте вводить себя в заблуждение, сограждане, событиями прошлого; свобода французов существует всего четыре года, и перед вами уже совсем новый народ, созданный, так сказать, по совершенно новому образцу. Победив наших тиранов, они раскрывают нам братские объятия, защищают нас, дают нам самое трогательное доказательство братской любви, разделив с нами свободу, купленную ими столь дорогой ценой,— и это в первый же год существования Республики! Вот что рождает свобода в сердце человека, вот как освящает она храм, где обитает!

Чем были мы три недели назад? Как могла столь быстро совершиться чудесная перемена, сделавшая из нас — угнетаемых, притесняемых и безмолвных лакеев церковнослужителя — мужественных и свободных граждан, говорящих во весь голос, смелых друзей свободы и равенства, готовых или жить свободными, или умереть? Сограждане, братья! Сила, сумевшая так изменить нас, вполне сможет слить жителей Майнца и французов в один народ!

Наши языки различны, но разве поэтому должны быть различны и наши мысли?

Разве LIBERTÉ («СВОБОДА») и EGALITÉ («РАВЕНСТВО») перестают быть сокровищем человечества, если мы называем их по-немецки (Freiheit и Gleichheit)? С каких пор различие языков сделало невозможным повиновение одному и тому же закону? Разве российская самодержавная государыня не властвует над ста народами, говорящими на разных языках? Разве венгры, чехи, австрийцы, жители Брабанта и миланцы не говорят каждый на своем языке и тем не менее являются подданными одного императора? Разве население половины мира не именовалось некогда римскими гражданами? И неужели свободным народам будет труднее сообща подчиняться вечным истинам, коренящимся в самой природе человека, чем рабам повиноваться одному и тому же господину?

Прежде, когда Франция была еще под властью своих деспотов и их хитрых придворных, она служила образцом для формирования всех правительств! Тогда государи и дворяне почитали за особую честь отречься от своего родного языка, чтобы скверно говорить на скверном французском языке. А теперь смотрите! Французы разбили свои оковы, они свободны, и тонкий вкус наших сюсюкающих и косноязычных аристократов внезапно меняется: для их речи невыносим язык свободы; им бы очень хотелось убедить нас в том, что они — немцы, и только немцы, с головы до пят, что они стыдятся французского языка, чтобы в конце концов убедить нас не подражать французам.

Долой эти лицемерные и жалкие предлоги! Истина остается истиной, в каком бы месте и на каком бы языке ее ни провозгла-

шали, в Майнце или в Париже. Всякое благо сначала должно появиться в каком-либо одном месте, откуда оно затем распространяется по всей земле. Один из жителей Майнца изобрел книгопечатание; так почему бы в XVIII в. французу не изобрести свободы? Сограждане, заявите во всеуслышание, что призывный клич этой свободы даже на немецком языке звучит грозно для рабов; скажите им, что им придется выучиться русскому языку, если они не хотят говорить и понимать язык свободного человека. Да что я говорю? Нет, как громом поразите их слух, что вскоре на тысяче языков земли будут говорить только свободные люди, а презревшим разум рабам останется только лаять!

Как? Немцев заставляли со смехотворным и преступным усердием подражать безумствам и порокам наших соседей, пока те находились под властью своих тиранов; не стеснялись развращать народ самыми безнравственными примерами, а теперь, когда мы можем получить из их рук мудрость, добродетель, счастье или — скажу в двух словах — свободу и равенство, нас хотят предостеречь от примера Франции! Кто же не разгадает этих жалких и бессильных ухищрений умирающей аристократии!»

И опровергнув таким образом софизмы привилегированных и раскрыв тайну псевдопатриотизма, с помощью которого они вдруг стали защищать свою оказавшуюся под угрозой власть, Форстер пытается успокоить жителей Майнца, по-видимому, нарочито проявляя оптимизм, который в скором будущем ожидало самое горькое разочарование.

«Оглянитесь вокруг себя: вы увидите, что мощный и грозный заговор деспотов против свободы не достиг цели.

Герцогу Брауншвейгскому с его 150-тысячной армией наемников не удалось дойти до Шалона, и, за исключением предательски сданных Лонгви и Вердена [61], ему не удалось взять ни одной крепости. Победоносные знамена Республики отбросили его за пределы страны; он был вынужден бежать от голода и чумы, и, пока он пытается собрать и сосредоточить в безопасном месте остатки своих войск, утративших мужество, армия свободы пересекает границы: вся Савойя, Ницца, Шпейер, Вормс, Майнц и Франкфурт почти без сопротивления переходят в руки французов. Монс открывает свои ворота победителю Дюмурье. Трир с нетерпением ждет прибытия храброго Вимпфена, а в горном районе, по другую сторону Рейна, гессенцы и пруссаки бегут от гражданина и генерала Кюстина, от солдат свободы. Все австрийские войска в Нидерландах вот-вот растают в результате дезертирства или бегства в Люксембург; остатки прусских войск должны выбирать между отступлением в Вестфалию и голодом в Кобленце.

---

61. См.: Ж. Жорес. Цит. соч., т. III, гл. V: «Лонгви, Верден, Вальми».

На что же могут надеяться враги свободы в случае продолжения кампании? Во всей Германии совершенно исчерпаны запасы продовольствия и другие средства, необходимые для содержания больших армий. Австрийская казна пуста, и кредит Австрии упадет ниже, чем год назад курс французских ассигнатов. Курс ассигнатов повышается, а кредит Австрии не восстановится никогда. Пруссия, маленькое королевство, выдвинувшееся в первый ряд только благодаря финансовым операциям и крайнему напряжению всех сил, пожертвовала своими лучшими войсками, опустошила свою казну, в которой состоял истинный секрет ее искусственного величия, а ее король не умеет ни экономить, ни сражаться, ни мыслить, как его дядя Фридрих; он прогнал мудрых советников Фридриха, и Герцберг, который мог бы его спасти, заменен духовидцами и придворными льстецами [62]. Российская императрица воспользовалась удобным случаем, чтобы обмануть обоих своих соперников, и, пока они совершали свой безумный поход во Францию, захватила всю Польшу [63]; теперь они поняли свою ошибку и не знают, как им оградить себя от этой могущественной особы. Саксония, Бавария и Ганновер соблюдают мудрый нейтралитет, теперь более необходимый, чем когда-либо прежде. Швеция после войны с Россией стала бессильной. Монархическое правительство Дании благоразумно старается продлить свое существование, облегчая тяготы народа и обеспечивая свободу печати; Италия ждет своих освободителей, а Испания задолжала так много, что ничего не может предпринять против Франции. Свободные англичане шлют свое радостное одобрение свободным французам [64]. Вот каково положение в Европе.

Только буйное помешательство может при таком положении вещей побудить продолжать войну против Франции. Мне скажут, что ныне от правительств нечего и ждать, кроме ярости и безумия! И я признаю, что до сего времени их поведение действительно было проявлением безумия. Но предположим, что союзные державы напрягут все оставшиеся у них силы, чтобы снова перенести военные действия на берега Рейна; предположим, что их армии прибудут, располагая богатыми интендантскими запасами (каким образом их возможно пополнить, не знаю); предположим, что они будут иметь тяжелую артиллерию, которую они забыли захватить с собой в этом году,— где же, по вашему мнению, сограждане, французы будут их ожидать? Уж, конечно, не под стенами Майнца, когда Франкония и Швабия открыты до самых границ Богемии и Австрии.

О смехотворных страхах перед зимней осадой я и говорить не хочу: они слишком явно выдают жалкие усилия аристократов напугать наших сограждан, пользуясь их невежеством в вопросах войны [65]. Братья, вы тоже смеетесь над этими бесстыдными угрозами. Вы хорошо знаете, что теперь вместо трусливых дворян, которые бегут со всеми своими пожитками при первом намеке

на опасность, вашими защитниками являются свободные люди с мужественным сердцем в груди».

Поэтому, если для жителей Майнца нет никакой опасности соединить свою судьбу с судьбой Франции, то нужно, чтобы это объединение было полным. Нужно, чтобы, объединясь с Францией, они пользовались всей полнотой свободы, всей мощью Республики. Какая польза оставаться вне Франции, так сказать, на задворках Французской республики, если жители Майнца могут стать свободными гражданами только с ее помощью и под ее защитой? Какая также польза от принятия ублюдочной конституции, которая, сохранив остатки привилегий и дворянство, сделала бы невозможным полное сотрудничество Майнца с Францией, и как смогла бы республиканская Франция защищать в Майнце неполную и обманчивую свободу, лживость которой она сама была вынуждена изобличать?

«Сограждане, теперь настал благоприятный момент, когда вы можете стать и оставаться свободными, как только вы примете твердое решение присоединиться к Франции и действовать с ней сообща. Добейтесь чести первыми в Германии сбросить с себя цепи, не допустите, чтобы вас опередили ваши соседи. Рейн, большая судоходная река, является естественной границей великого свободного государства [66], которое не стремится ни к каким завоеваниям, но принимает народы, добровольно присоединяющиеся к нему, и имеет все основания требовать от своих врагов возмещения за несправедливо объявленную ими войну. Рейн останется, и это справедливо, границей Франции; этого не может не видеть человек, сколько-нибудь искушенный в вопросах политики, и на эту жертву давно бы уже решились, не будь для французов вопросом чести сначала вырвать из-под владычества тиранов Бельгию и Льеж.

Не сомневайтесь, Французская республика только ждет вашего заявления, чтобы оказать вам братскую помощь. Если желание Майнца и жителей прилегающих к нему районов будет высказано, если они хотят быть свободными и стать французами, то вы будете

---

62. Герцберг (1725—1795) — министр Фридриха II, впоследствии советник Фридриха Вильгельма, в 1791 г. попал в опалу.
63. В тот самый день, когда Законодательное собрание объявило войну (20 апреля 1792 г.), Екатерина II заявила, что она введет войска в Польшу. Русские войска пересекли границу в Литве и на Украине в ночь с 18 на 19 мая 1792 г. В июле вся Польша была занята.
64. См.: Ж. Жорес. Цит. соч., т. III, с. 253, «Адреса из Англии».
65. Оптимистическое суждение. Поражение Дюмурье под Неервинденом 18 марта 1793 г. повлекло за собой потерю левого берега Рейна. Герцог Брауншвейгский переправился 25 марта и оттеснил армию Кюстина, который отступил к Ландау. Пруссаки приступили к осаде Майнца.
66. О концепции естественных границ см. выше, с. 155, прим. 15.

немедленно включены в состав свободного и несокрушимого государства.

Быть может, вам говорили, что будет трудно отделить от Германской империи области, находящиеся по эту сторону Рейна. Но я спрашиваю, разве от Германии уже не отделили и не присоединили к Франции Эльзас и Лотарингию... (Что же касается Конституции), то опыт показывает на бесчисленных примерах, что в великие и решающие моменты средние, умеренные, половинчатые решения, когда от них не холодно и не жарко, лишь оскорбляют все стороны и вызывают всеобщее брожение. Разве для вас не служит достаточным предостережением пример самой Франции и слывущей умеренной придворной партии и фейянов? Вспомните мелких и недалеких интриганов, которые всегда вели скрытую игру, вынашивали тайные планы и плели хитроумные интриги, пролезали повсюду, чтобы исподтишка вызвать возмущение, сея клевету, угрозы, распространяя оскорбительные писания и стараясь путем подкупа приобрести себе сторонников. Вспомните, что это они, в конце концов, пытались с кинжалом в руке разодрать одежды своей матери, своей родины — своей Франции. Такова цель и назначение модерантизма, который всегда стремится обольстить вас успокоительными словами, нежным голосом, ангельским взглядом, чтобы затем опутать и задушить вас.

Я не преувеличиваю: вы потеряете все, если не возьмете всего, если вы не хотите всем сердцем быть совершенно свободными. Дело ясно. Кто вам гарантирует ваш пресный и жалкий компромисс, ваш умеренный и фейянтистский проект, правление вашего выборного государя, ваши состоящие из ростовщиков и дворян штаты, ваши две палаты, да, кто все это гарантирует вам? Этого не сделает драгоценная Священная Германская империя, которая не может более спасти и самое себя и дошла до предела. Этого не сделает обреченный на бездействие Регенсбургский рейхстаг [67]. Этого не сделают ни Пруссия, ни Австрия, которых вы нисколько не заботите.

Этого не сделают государи, которым вы хотите поручить свою судьбу. Хорошую гарантию имели бы вы, в самом деле, в их лице! Те, кто всегда пользуется Германской империей как пугалом, не думают о том, что они забыли нам сказать, как Германская империя поведет с нами переговоры насчет новой умеренной конституции. С кем из нас вступит она в переговоры? Признает ли она предварительно за нами право самим выработать новое государственное устройство? Мы видели в Люттихе [Льеже] обратное, и я скажу больше: я скажу, что Германская империя, с ее принципами, не может обсуждать с нами этот вопрос; что твердыня имперской конституции, не поддающейся никаким улучшениям, никаким изменениям, представляет собой не более чем вместилище для отбросов, шаткое и ветхое, которое можно проткнуть пальцем.

Теперь на этой старой свалке завелся обманчивый призрак, выдающий себя за дух немецкой свободы; но это дьявол феодального рабства, которого можно узнать по огромным реестрам, что он тащит с собой, и по лязгу цепей, сопровождающему каждый его шаг. Это ужасное привидение, которое толкует о титулах, о феодальном порядке, о дворянских грамотах, когда разумные люди говорят об истине, о свободе, о нации и о правах человека, можно изгнать, только пойдя на него с кинжалом в руке.

Оставим эти аллегории. Вот что я скажу ясно и просто: силой оружия можно принудить Германскую империю к уступкам; таким образом ее можно заставить признать Майнц свободным государством, которое вправе само определить свое государственное устройство. Но думать, в то время как Французская республика еще ведет кровавую борьбу с Пруссией и Австрией, что Майнцу удастся путем переговоров добиться от Германской империи признания своей Конституции, значит проявить политическую близорукость, которую можно извинить только крайней неопытностью».

А если Германская империя не может гарантировать эту Майнцскую конституцию, то можно ли надеяться, что ее гарантирует Франция ?[68]

«Но объясните мне, пожалуйста, как может Французская республика до такой степени изменить себе самой, чтобы гарантировать вам и Германской империи Конституцию, находящуюся в прямом противоречии с вечными принципами свободы и равенства, на которых покоится она сама? Она обещала свою поддержку свободной Конституции, а не прежнему рабству под новым наименованием [69]. Не воображайте, что свободная нация могла бы так резко противоречить сама себе и действовать столь безумно. Так не обольщайтесь же пустыми надеждами. Поймите вы все, городские и сельские жители, что обманчивый проект, который кажется безобидным, ведет вас к гибели. Если Французская республика не позаботится о вас при выработке условий мира, если она не гарантирует вам Конституции, которая противоречит ее принципам и которую она не может вам гарантировать, то что вам остается,

---

67. То есть имперский сейм, в действительности не имевший власти.
68. 8 ноября 1792 г. «класс коммерсантов», запрошенный Кюстином, сообщил в письме, составленном Даниелем Дюмоном, одним из его представителей, что он желает не разрыва с прошлым, но реформ в духе умеренности. Адрес требовал сохранения монархического устройства, обеспечивающего равновесие между прерогативами государя и правами народа; цензовой системы; он требовал, чтобы новая Конституция, признанная Францией, позволила Майнцу остаться частью Германской империи. См.: J. D r o z. Op. cit., p. 206.
69. «Национальный конвент заявляет от имени французской нации, что он предлагает братство и помощь всем народам, которые захотят вернуть себе свободу». (Декрет от 19 ноября 1792 г.)

как не слепо отдать себя в качестве побежденных и бессильных бунтовщиков в руки своих вчерашних господ? Покинутые Францией, покинутые всеми, вы не сможете поставить свои условия. Вам придется,— какая ужасная участь для тех, кто знает деспотизм и аристократов! — вам придется отдаться на милость победителей».

Эта речь замечательной политической силы, возможно, была единственной действительно политической речью, проникнутой глубоким пониманием реального положения вещей, исполненной страсти, произнесенной в то время в Германии. Мне пришлось перевести и цитировать из нее пространные выдержки, чтобы точно передать остроту почти неразрешимых проблем, терзавших тогда мысль и сознание Германии. Меч Революции вынуждает немецкий дух к быстрым решениям. Диалектика Форстера убедительна, и его выводы ясны. Он не оставляет жителям Майнца и прирейнских земель иного выхода, кроме полного объединения с Францией, кроме согласия на полную демократию. Но как могло не тяготеть над Германией тяжкое чувство тревоги? Поистине, Форстер почти героическим напряжением мысли пытается рассеять давние подозрения, ненависть и национальные предрассудки. Что может быть прекраснее той части его речи, где он во имя свободы заявляет свои права на все наречия, на все языки мира, оставляя на долю рабов один лишь звериный крик.

Но как быть! Уже два поколения немцев мечтают достигнуть политического и национального единства силой интеллектуального единства. Немецкий язык, все еще презираемый сильными мира сего, но обогащенный изумительными красотами благодаря великим поэтам и великим писателям, представляется ему истинным национальным сокровищем, залогом единства и величия. И вот самую прогрессивную, самую революционную часть Германии призывают отделиться от германского отечества и соединиться с народом, правда свободным, но говорящим на другом языке и имеющим иные традиции. Как же не сомневаться и не испытывать тревоги! Кроме того, население прирейнских земель подвергается двойному порабощению — завоевания и войны, что нашло отражение в самом учредительном акте, даровавшем ему свободу. Где данное вначале немецкому населению обещание, что оно само, пользуясь полным суверенитетом, выберет наиболее приемлемую для себя конституцию? Теперь жителям Майнца становится ясно, что если они не примут полностью Французскую конституцию, которую Кюстин преподносит им на острие своей шпаги, то им грозят всякие неожиданности: Франция их покинет, и они подвергнутся ожесточенным репрессиям со стороны епископа и дворян. Какое грустное противоречие— быть освобожденным победителем и полагать, что это освобождение могло бы совершиться иным способом, чем тот, какой угоден победителю. Нет, нет, эта свобода, навязанная и определенная

завоевателем, слишком тягостна, и Германия почувствует себя свободной только тогда, когда сама добьется свободы.

Форстер сам находится в крайне ложном положении, которое с каждым днем ухудшается. Если он не надеется на то, что революционная Франция, присоединив к себе Майнц и расширив свои пределы до Рейна, примером своим поможет политическому освобождению всей Германии, если он согласен оставить почти весь немецкий народ в рабстве на неопределенное время, то это своего рода дезертирство. Кто не почувствует какого-то отчаяния во всем том, что он говорит о Германии? Он заявляет, что ужасный дьявольский призрак немецкого феодализма можно изгнать только с кинжалом в руке, и в то же время роняет этот кинжал, останавливая победное движение Революции на берегах Рейна и отнимая у Германии тех рейнских революционеров, которые одни только смогли бы поднять меч против старых тираний. Какое противоречие и мрак! Более того, в то самое время, когда он призывает граждан Майнца к свободе и независимости, у него самого лежит на плече тяжелая рука завоевателя Кюстина. Он уже не может отделить себя от него. Он не может, не обрекая себя на гибельную изоляцию, даже указать на ошибки победоносного генерала.

Но он понимает их; он знает и пишет в своих заметках, в своих письмах, что Кюстин действует во Франкфурте крайне неосторожно [70], что, наложив на буржуазию контрибуцию, на которую она, несомненно, согласилась бы добровольно, если бы ее у нее потребовали в виде обычного займа в интересах немецкой свободы, он ранил ее самолюбие и нарушил ее интересы. И тем не менее Форстер оказался роковым образом связанным с победителем в такой степени, что вынужден обратиться к жителям Франкфурта с публичной речью в защиту действий генерала, которые сам он более всего осуждал.

Форстеру поистине пришлось до самого дна испить горькую чашу немецкого рабства. До Революции и в ее первые годы он жестоко страдал от бремени деспотизма, угнетавшего Германию. А теперь рука чужеземца, сбросившая это ярмо деспотизма, оказывается почти столь же тягостной и накладывает свой гнетущий отпечаток на изуродованную свободу. О, какое бессилие и горечь!

Но внезапно положение ухудшается еще больше. Сопротивление, оказываемое Германией Революции, начинает становиться более активным. Прокламация Кюстина, направленная против маркграфа Гессенского, поднимает против Кюстина гессенцев,

---

70. G. Forster. Antwort eines freien Mainzers an den Frankfurter, der mit dem Franken Custine gesprochen hat.— «Sämmtliche Schriften», B. VI, S. 432—441. О действиях Кюстина во Франкфурте см.: Ж. Жорес. Цит. соч., т. III, с. 248.

оскорбленных в своем самолюбии нападками на их главу [71]. И малочисленный французский гарнизон Франкфурта вынужден был капитулировать. 1 декабря в нападении гессенцев на гарнизон приняли участие почти все жители города [72]. И восстание всего населения одного города как бы возвещает о еще довольно отдаленном восстании всей Германии. Форстер был страшно подавлен: возможность близкой осады Майнца уже не казалась ему более нелепой. Жители недоумевали, а священники предрекали городу всяческие беды. Всех охватила тяжелая апатия, от которой людей отвлекали только самые насущные интересы.

«Трусость и безразличие немцев,— пишет Форстер 8 декабря,— вызывают чувство гнева. Никаких признаков какого-нибудь движения, но люди все время приходят к нам с заявлениями, что все выскажутся за свободу, если будут отменены все налоги. Переносить дурное обращение, обман, угнетение — это пустяки, в этом нет ничего такого, что могло бы побудить их стряхнуть с себя иго. Единственное, что им нужно,— это полная уверенность, что им не придется ничего делать, что им не нужно будет выполнять какие-либо обязанности» [73].

Горше всего для бедного борца было неодобрение его деятельности немецкими учеными и образованными людьми.

«Я получил от Фосса (1 января 1793 г.) печальное письмо. Произошло все, что он предвидел: берлинские ученые обсуждают мои поступки; меня не понимают; меня осуждают во всей Германии; меня считают главным виновником бед, постигших Майнц; против меня печатают гнусные пасквили. Да, я знаю все это. У тех, кто судит так обо мне, нет сердца. Суетливое ученое безделье развратило этих господ. Они не могут понять человека, способного действовать в нужный момент, и теперь они считают меня достойным презрения потому, что я действую в соответствии с принципами, которые они удостаивали своего одобрения, пока я ограничивался их изложением на бумаге. Но какое мне дело до всех этих пересудов? » [74].

РЕЙНСКИЙ КОНВЕНТ

Несмотря на все усилия сохранить бодрость, печаль и уныние Форстера нарастали, и когда 17 и 18 декабря население рейнских земель было призвано высказаться за принятие Французской конституции, число принявших участие в голосовании оказалось весьма незначительным [75]. Комиссарам Конвента Рёбелю, Осману и Мерлену из Тионвиля, прибывшим в Майнц 1 января, не удалось поднять настроение. И когда 24 февраля 1793 г. в церквах Майнца, Вормса, Шпейера и др. началась подача голосов для избрания Национального конвента Рейнских земель, число воздержавшихся было огромным [76].

Буржуазные корпорации оправдывались тем, что, если бы купцы высказались за присоединение к Франции, они не смогли бы ездить во Франкфурт на ярмарки. Тем не менее Рейнский Конвент, собравшийся 17 марта в большом зале Тевтонского ордена, несмотря на отсутствие более половины депутатов, боявшихся или не имевших возможности явиться, осмелился провозгласить разрыв с Германской империей и присоединение к Франции [77].

---

71. Прокламация, датированная «Франкфурт, 28 октября 1792 г.». «Ландграф Гессен-Кассельский собирает вокруг своей резиденции многочисленные когорты воинственных людей. Не думает ли он, что настал день суда для всех неправедных государей и день избавления для всех народов, ослепленных ими?..» («Moniteur», XIV, 413.)
72. О восстании во Франкфурте против французских оккупационных войск см. письмо Кюстина от 7 декабря 1792 г., прочитанное 11 декабря с трибуны Конвента. («Moniteur», XIV, 728; Ibid., XIV, 777.) Кюстин писал о «страшном предательстве, послужившем причиной обратного захвата Франкфурта, убийства наших братьев по оружию: триста из них пало под ножами убийц».
73. Письмо к жене от 8 декабря 1792 г. (G. Forster. Briefwechsel.—«Sämmtliche Schriften», B. VIII, S. 283.) [См.: «Немецкие демократы...», с. 440.— *Прим. ред.*] В своих письмах Форстер высказывает раздражение «безразличием немцев, возбуждающим у него гнев»: «это люди, которым, чтобы быть свободными, в конечном счете потребуется приказ». (Ibid., S. 279, 283, 296.)
74. Письмо жене от 1 января 1793 г. (G. Forster. Op. cit., B. VIII, S. 308—311.) [См.: «Немецкие демократы...», с. 443—444.— *Прим. ред.*]
75. В соответствии с декретом Конвента от 15 декабря 1792 г. См. выше, гл. III. Форстер, который в начале декабря не сомневался в том, что будет получено «огромное большинство», вскоре должен был разочароваться: он вынужден был признать, что это население «вполне смирилось с рабским состоянием».
76. Несомненно, что население в целом по разным причинам не желало присоединения к Франции. См. письмо комиссаров Конвента Грегуара и Симона от 20 февраля 1793 г.: «На основании сведений, получаемых нами со всех сторон, мы сочли весьма опасным приступить к подаче голосов... Но благодаря принятым мерам предосторожности подстрекатели из партии аристократов будут удалены до выборов. Злопыхатели будут устрашены, повсюду найдется по крайней мере некоторое число людей, которые примут участие в выборах». (См.: J. Droz. Op. cit., p. 209, n. 1.) В Майнце, в мрачной атмосфере, Конституции присягнули только 375 граждан. В Вормсе 24 февраля собрание не смогло состояться; лишь в следующие дни, под угрозой применения военной силы, 427 горожан назвали своих представителей. В Шпейере нотабли приступили к выборам только 9 марта. В конце концов из 900 коммун голосование состоялось только в 106.
77. Именно Форстер и побудил Рейнский Конвент вотировать отделение земель левого берега Рейна от Германской империи, низложение законных государей и присоединение к Французской республике. Ему, вместе с Люксом и Потоцким, было поручено сообщить об этих решениях Национальному Конвенту. («Moniteur», XVI, 8; заседание 30 марта 1793 г.)

Но это решение, которое имело бы значение только в том случае, если бы оно было принято с воодушевлением и восторгом, состоялось в мрачной и унылой атмосфере. Ему не сопутствовали никакие революционные надежды, все находились во власти тяжелых предчувствий. Вскоре Майнц будет осажден. И охваченные неистовой ненавистью буржуа слетятся издалека к несчастному Майнцу, разрушаемому и поджигаемому ядрами, и будут со злорадством следить за агонией города, принявшего Революцию.

Глава пятая

*

ФИХТЕ И ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Можно ли сказать, что Французская революция потерпела в Германии полное поражение? Разумеется, нет. Прежде всего, не напрасно вот уже в течение трех лет разыгрывался величественный спектакль революции во Франции. Как ни тупы, как ни косны были еще немецкие крестьяне, они узнали об отмене барщины и десятины, и это их поразило. Наиболее рассудительные государственные деятели в Германии ясно понимали, что для предотвращения восстания, подобного французскому, нужны некоторые реформы, необходимо облегчить тяготы, обременяющие народ.

Некоторые правители мелких государств, в частности самодур и деспот маркграф Гессенский, думали, что для искоренения революции в самом ее зародыше достаточно репрессивных мер. И действительно, в некоторых местах свобода печати, которой в течение трети столетия гордилась Германия эпохи Просвещения, оказалась под угрозой. В трактирах и на постоялых дворах было запрещено говорить о политике. «В трактирах,— писал один сатирический журнал,— теперь между людьми и животными существует лишь одно различие: то, что люди платят». Порой нарушалась тайна переписки. Но Германия дорожила свободой мысли, и дальше реакция не пошла.

Так, постепенно, распространялись идеи Революции, даже через посредство боровшихся с нею газет и журналов. И правительства чувствовали приближение часа, когда придется сделать уступки. В «Новом немецком музее» слуга и советник маркграфа

Фридриха Баденского Шлоссер призывал государей к осторожности и предусмотрительности [1].

«Будем надеяться,— писал он,— что в Германии люди окажутся благоразумнее, чем во Франции. *Невозможно помешать народу прийти к выводу, хотя бы на примере тех же французов, что дела могли бы обстоять иначе, чем теперь*, но нужно, чтобы готовность к повиновению оставалась достаточно сильной, дабы нейтрализовать противоположные стремления. *Однако для укрепления привычки к повиновению государям следует вовремя провести необходимые реформы: осуществить справедливое сокращение налогов, ограничить истребление дичи, облегчить барщину, помочь бедным, облегчить условия труда, обеспечить бдительный надзор за государственными служащими, ускорить судопроизводство — это теперь единственные красноречивые доводы, которые смогли бы удержать подданных от восстания*».

Так, несмотря ни на что, распространялись революционные идеи, и бесчисленные семена падали на вспаханную землю.

Приходя в столкновение с жизнью, возвышенная немецкая мысль мужала... Несомненно, многие отступали и отстранялись. Но другие мирились с неизбежной ожесточенностью великих движений человечества. Вопреки ярости и растущим угрозам реакции они хранили и поднимали все выше знамя права и свободы и таким образом приобретали в области мысли опыт борьбы.

Песталоцци [2], наученный опытом, уже не ждет блага для народа от мудрости и доброты правителей. Нет, князья, сеньоры, судьи были почти все эгоистами и слепцами. Народ не могли спасти правители, эксплуатировавшие его до сего времени. Значит, он должен спасать себя сам. А чем была Французская революция, как не попыткой народа самому себя спасти? Поэтому, распростившись с помещиком Арнером и священником Бонналя, Песталоцци, пережив духовный перелом, весь отдался революционному движению. В своей книге о Революции, которой он дал знаменательное название «Да или нет», он утверждает, что надо принять решение, и он принимает его. Он до конца будет с революционерами, даже несмотря на их жестокости и ошибки [3]:

«Пусть падут головы королей, если пролитая таким образом королевская кровь привлечет внимание народов к правам человека!» [4] Невелика любовь к страждущим, невежественным и угнетенным людям у тех, кто не прощает им их заблуждений и даже преступлений, совершенных ими на трудном и сложном пути к свету и праву. Так из глубоких родников милосердия и человеколюбия, давно уже питавших в тиши душу Песталоцци, наконец брызнула революционная энергия. В начале 1793 г. в Цюрихе он встретился с Фихте, и пламя этих двух душ слилось воедино [5].

Фихте был учеником Канта, но он смелее своего учителя бросался в жизненную борьбу и к Французской революции относился с восторгом. Философия Канта видела все достоинство человека

в свободе мысли, в независимости воли. Но, задается вопросом Фихте, что станет с этой свободой мысли и воли, если Революция потерпит поражение? Человеческому уму придется считаться уже не с осторожным либерализмом таких правителей, как Фридрих II или герцог веймарский, а с яростью победившей контрреволюции. Власть имущие будут чинить насилие над самой мыслью, чтобы вырвать все таящиеся в ней корни революции. Поэтому надо бороться. Отныне недостаточно защищать свободу мысли, как это делает Кант, отстаивая ее со сдержанной и непреклонной твердостью. Надо переходить в наступление, изобличать софизмы и расстраивать заговоры ее врагов. Так революционный энтузиазм Фихте привносит страсть в глубокую кантовскую философию свободы и придает ей практический, целеустремленный характер. В этом бесстрашном и бедном человеке, исходившем пешком всю Германию в поисках уроков, которыми он жил, была своеобразная плебейская гордость в духе Жан-Жака, но при большей нравственной выдержке, постоянстве и чувстве меры [6].

---

1. Шлоссер (1739—1799) родился во Франкфурте, был женат на сестре Гёте, состоял на службе у маркграфа Баденского. Он принадлежал к ордену иллюминатов. Впоследствии перешел на позиции консерватизма, как о том свидетельствует его полемика с Кантом по поводу его трактата «К вечному миру» (1795).
2. О Песталоцци см. выше, гл. II, с. 78.
3. Этот текст, написанный в конце 1792 г., был опубликован только в 1872 г.
4. P e s t a l o z z i. Ja oder Nein.— «Sämmtliche Werke». 1900, B. VIII, S. 49. [См.: И. Г. П е с т а л о ц ц и. Да или нет? Высказывание свободного человека об общественных настроениях в высших и низших сословиях у европейских народов.— И. Г. П е с т а л о ц ц и. Избранные педагогические произведения в 3-х томах. Т. 2, М., 1963, с. 67 и сл.— *Прим. ред.*]
5. О Фихте (1762—1814) и Французской революции см.: M. G u é r o u l t. Fichte et la Révolution française.— «La Révolution de 1789 et la pensée moderne», Paris, 1940, p. 98—192. [См. о Фихте работы советских ученых: А. М. Д е б о р и н. Политическая философия Фихте.— А. М. Д е б о р и н. Очерки социально-политической мысли в Германии. Конец XVIII — начало XIX в. М., 1967; Т. И. О й з е р м а н. Философия Фихте. М., 1962; П. П. Г а й д е н к о. Философия Фихте и современность. М., 1975.— *Прим. ред.*]
6. Французская революция была для Фихте главным событием его жизни, определившим его духовное призвание. Он сам в письме к Баггезену от апреля 1795 г. провел яркую параллель между философскими размышлениями, приведшими его к «Наукоучению», и борьбой за политическое освобождение, составлявшей главную идею Революции. «Моя система — это первая система свободы. Так же, как эта нация [Франция] избавит человечество от материальных цепей, моя система избавит его от ига *вещи в себе*, внешних влияний; ее первые принципы делают из человека независимое существо. «Основа общего наукоучения» родилась в годы, когда французская нация своей энергией добилась торжества политической свободы; она родилась в результате моей внутренней борьбы с самим собой и со всеми укоренившимися во мне

ФИХТЕ И СВОБОДА МЫСЛИ

В 1793 г. Фихте, которому был тогда 31 год, обращается из Цюриха к Германии со своим первым политическим манифестом —«Требование к государям Европы возвратить свободу мысли, которую они до сих пор подавляли». Местом издания книги указан «Гелиополис», или «Город солнца», а датой издания — последний год былой тьмы (1793 г.). Автор не указан, но Фихте заявляет, что он не замедлит себя назвать [7].

Итак, он требует неограниченной свободы для разума. Он воздержится от каких бы то ни было оскорбительных слов по адресу государей, многие из которых в Германии умели уважать свободу мысли. Он также воздержится от каких бы то ни было пустых насмешек. Но он будет утверждать во всей их полноте права человека, которые, впрочем, уже начинают заявлять о себе и намечаться. Сдерживать освободительное движение более невозможно.

«В наш век, особенно в Германии, человечество проделало большой путь. Правда, почти повсюду еще проглядывают готические контуры здания, и возведенные рядом новые постройки далеко еще не связаны в одно целое. Но ведь они существуют: они становятся обитаемыми, а старые разбойничьи замки рушатся. Если нас не уничтожат, то люди все более и более будут их покидать, оставляя их совам и летучим мышам. Новые постройки расширятся и, объединившись, образуют более правильное целое. Вот каковы наши намерения, и не этих ли надежд хотели бы нас лишить, уничтожив свободу мысли? Неужели мы позволим лишить нас этих надежд? Если остановить развитие человеческого разума, то возможны только два случая. Первый, и наименее вероятный, следующий: мы действительно останемся на том месте, где были прежде; мы откажемся от всякого намерения уменьшить свою нищету и поднять свое благосостояние; мы позволим поставить себе границы, которых не будем переступать. Во втором, значительно более вероятном случае: таким образом подавляемая сила естественного движения внезапно прорвется и разрушит все, что окажется на ее пути; человечество жестоко отомстит своим угнетателям, и революции станут неизбежными. Из ужасного примера такого рода, который нам дала современность, до сего времени еще не извлекли надлежащего урока. Боюсь, что уже поздно или почти поздно проделывать проходы в плотинах, с помощью которых вопреки урокам грозных событий безрассудно старались преградить нарастающий поток».

Это, как видите, не отвлеченное философское рассуждение о далеком будущем. Это — прямая угроза революцией [8]. И пусть правители не позволяют склонить себя к бессмысленному сопротивлению софизмам льстецов, говорящих им, что общественный договор предусматривает со стороны договаривающихся отказ

от многих прав, что именно полная свобода мысли несовместима с общественным договором. Нет, никто не мог отказаться от имени всех людей от права мыслить, то есть от самой природы, сути человека.

Самая сущность разума состоит в том, что он не знает пределов: «Безграничные поиски — неотъемлемое право человека. Договор, по которому он согласился бы на такое ограничение, означал бы лишь одно: я хочу быть животным, я хочу дойти в достижении истины лишь до известного предела. Следовательно, я хочу быть разумным существом только до известного предела; дальше я буду лишенным разума животным».

Если право мыслить неотъемлемо, то так же неотъемлемо и право мыслить *сообща*, ибо поиски сообща являются для человека условием достижения истины. Горе власть имущим, если они решатся совершить насилие над самой сутью человеческой природы! Горе им, если они ждут только несчастий и разрушений от того, что должно быть спасением!

«А теперь позвольте мне, государи, вновь обратиться к вам. Вы предрекаете нам невыразимые бедствия от свободы мысли.

предрассудками, и эта победа свободы способствовала появлению «Основы всякого наукоучения». Доблести французской нации обязан я тем, что поднялся еще выше; я обязан ей пробуждением во мне энергии, необходимой для постижения этих идей. Когда я писал труд о Революции, первые намеки, первые предчувствия моей системы возникали во мне как бы в виде награды. Таким образом, эта система в известной мере принадлежит французской нации». (См.: H. Schulz. Fichtes Briefwechsel, B. I, S. 449.) Никто не смог бы лучше сказать о влиянии Французской революции на философскую мысль Фихте. Именно революционный дух, пишет М. Геру, вдохнул жизнь в «первую систему свободы». Э. Кине (E. Quinet. Allemagne et Italie.— «Œuvres complètes», t. VI, p. 175) уподабливал Канта Учредительному собранию, а Фихте — Национальному Конвенту.

7. В связи с прусскими эдиктами от 9 июля 1788 г. (эдикты о религии и о цензуре) Фихте столкнулся с запретом опубликования своего «Опыта критики всяческого откровения» (январь 1792 г.) и второй части труда Канта о «Религии в пределах только разума» (июнь 1792 г.). Так возникло его «Требование к государям», написанное в конце 1792 г. и опубликованное в начале 1793 г. («Zurückforderung der Denkfreiheit von den Fürsten Europas, die sie bisher unterdrückten»). С 1788 г. Фихте поселился в Цюрихе и был там преподавателем. Решительностью своего тона, иронией «Требование» представляет собой подлинный революционный памфлет.

8. «О народы! Прошли времена варварства, когда вам осмеливались объявлять именем бога, что вы — стада, расселенные на земле именно для того, чтобы быть рабами кучки привилегированных». «Вы поняли, что именно вы самые сильные, а они — самые слабые. Это показал им ряд примеров, еще и теперь заставляющих их дрожать...» «Итак, осмельтесь спросить у государя, желающего властвовать над вами, по какому праву он вами повелевает».

Вы ее отнимаете у нас только для нашего блага, как у детей отнимают опасную игрушку. Вы заставляете состоящих у вас на службе журналистов рисовать самыми яркими красками беспорядки, которые вызывают разгоряченные умы, раздираемые противоположными мнениями. Вы показываете нам в этой связи, как кроткий от природы народ, охваченный яростью людоедов, народ, который жаждет уже не слез, а крови, ходит смотреть на казни с большим интересом, чем прежде на театральные представления; вы показываете нам, как он с победными кликами и веселыми песнями носит по улицам еще дымящиеся и сочащиеся кровью растерзанные тела граждан, как дети играют головами вместо волчков. Да, именно это вы говорите. Вот какими картинами хотите вы нас запугать. А мы, мы не хотим напоминать вам о гораздо более кровавых празднествах, которые фанатизм и деспотизм, эти два естественных союзника, устраивали для того же народа. Мы не хотим напоминать вам, что эти ужасы являются плодом не свободы мысли, а рабства, в котором долгое время держали разум. Мы не хотим напоминать вам, что нигде нет столь глубокого покоя и мира, как в могиле. Мы согласимся со всем, что вы говорите; мы с раскаянием бросимся в ваши объятия и будем со слезами на глазах умолять вас спрятать нас на вашей отеческой груди и оградить от всех несчастий. Да, мы тотчас предадимся вам, как только вы ответите нам на один почтительный вопрос.

О вы — благодетельные духи-хранители, пекущиеся о счастье народов, как мы это узнали из ваших собственных уст, вы, не имеющие иной цели в своей нежной заботливости, кроме этого всеобщего счастья,— почему теперь, под вашим высоким руководством, наводнения все еще опустошают наши поля и ураганы разрушают наши дома? Почему из-под земли все еще вырываются языки пламени и пожирают нас и наши жилища? Почему войны и чума уносят тысячами наших детей? Прикажите же урагану утихнуть. Прикажите это также грозе, бушующей в наших мыслях. Заставьте дождь орошать наши поля, когда они страдают от засухи, и пошлите нам живительное солнце, когда мы будем молить вас об этом, и дайте нам также истину, делающую людей счастливыми. Вы молчите? Вы этого не можете?»

Так Фихте с глубокой иронией указывает князьям и королям, что они напрасно вознамериваются заменить собой самого бога. Нет, они не повелевают силами природы, как и не властны над мыслью; и, подобно тому как в мире природы восстанавливается равновесие его стихий, так и мир социальный под воздействием божественной силы свободы тоже сумеет обрести покой и радость после бурь и испытаний. Никакие попытки террора, широко применяемого правителями, никакие газетные статьи, никакие рисунки, изображающие сентябрьские убийства, не заставят бесстрашный и неукротимый человеческий дух повергнуться ниц перед лож-

ными богами гордости и бессилия. Французская революция, на которую столько клевещут, справедлива.

Возможно, что она порой совершает ошибки и преступления. Но эти пережитки ярости рабов должны научить людей не отвергать наконец провозглашенные права человека, а осуществлять их лучшим образом.

ФИХТЕ — ЗАЩИТНИК ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Желая предостеречь Германию, заставить ее извлечь пользу из опыта Франции и найти пути для мирного развития, Фихте опубликовал в 1793 г. замечательную книгу под названием «К исправлению суждений публики о Французской революции» [9].

«Французская революция, как мне кажется, имеет огромное значение для всего человечества. Я не говорю об ее политических последствиях для всех стран, а также для соседних государств, которых она не имела бы без ничем не оправданной интервенции и без самой легкомысленной самоуверенности этих государств. Эти последствия очень велики, но они малозначительны в сравнении с другой, гораздо более важной вещью.

Пока люди не станут более мудрыми и справедливыми, тщетны будут все их усилия стать счастливыми. Едва вырвавшись из тюрьмы деспотов, они начинают убивать друг друга обрывками своих разбитых цепей. Было бы слишком печально, если бы их собственные страдания или страдания других людей не сделали их более благоразумными и более справедливыми. Таким образом, все события в мире представляются мне лишь поучительными картинами, которые развертывает перед нами великая воспитательница человечества. Французская революция — это великолепная картина на тему «Права человека и человеческое достоинство».

---

9. Fichte. Beitrag zur Berichtigung des Publikums über die französische Revolution. 1793. Фихте начал ученый спор о Революции в особенно трудный момент. Если в самом начале события во Франции были встречены с сочувствием и даже с восторгом, то дальнейшее развитие Революции не замедлило вызвать негодование или даже ужас, как и реакцию государей. Памфлет Бёрка (см. с. 185, прим. 38) нашел сторонников во всей Германии. Г. Реберг, государствовед в Ганновере, вдохновился этим примером и выпустил в 1793 г. свои «Исследования о Французской революции с критическими замечаниями о наиболее важных трудах, вышедших на эту тему во Франции» («Recherches sur la Révolution française, avec un compte rendu critique des ouvrages les plus remarquables parus en France à ce sujet»). Фихте ответил на эти обвинения своим «К исправлению суждений...» (французский перевод появился в 1859 г.).

Цель этой трагической картины не в том, чтобы чему-то научить и наставить кучку привилегированных. Учение об обязанностях, о правах и назначении человека не школьная игрушка: должно прийти время, когда воспитательницы наших детей будут объяснять обязанности и права человека юным существам, едва научившимся говорить, когда это будут первые слова, произнесенные ими; когда наибольшим наказанием будут слова: "Это несправедливо..." [10]

Но для того, чтобы это глубокое всеобщее воспитание в духе справедливости было возможно, не следует ждать, пока вихрь страстей сделает дух неспособным владеть собой. «Неужели мы будем говорить одичавшим рабам о справедливости среди трупов и крови?» Нет, нет, пока Германия еще спокойна, пока бурлящий поток еще не вышел из берегов, поспешим внедрить в сознание понятие о праве. Речь идет не о том, чтобы применить к существующим в Германии порядкам жесткое и грубое мерило абсолютного права. Речь идет не о том, чтобы вызвать насильственное восстание.

«Нет, первым делом мы должны сами познать справедливость и любовь к ней и распространить это знание вокруг себя, всюду, куда простирается наша деятельность. Люди становятся достойными свободы только благодаря внутренним усилиям, только благодаря своему развитию снизу вверх. Но само освобождение придет сверху».

Таким образом Фихте ждет спасения и всеобщего освобождения не от искусства властей и не от насильственного движения. Он рассчитывает на внутреннее самосовершенствование людей.

Неизбежное и мирное преобразование совершится благодаря сотрудничеству воспитанных умов и государей, привыкших все более и более уважать растущую гордость свободы. Но если он отвергает бурные движения демократии и даже в момент самого острого европейского кризиса остается верен методу эволюции и соглашения, составляющему самую сущность немецкой мысли, то он все же прямо идет к цели и беспощадно, без каких бы то ни было оговорок, изобличает несправедливость всех привилегий феодального и клерикального мира. Он осуждает абсолютную монархическую власть. «Там, где существует полная свобода мысли, не может существовать абсолютная монархия». Но с особенной силой и точностью анализа разоблачает он дворянскую, феодальную и церковную собственность. Перед его мысленным взором явно стоят великие меры Французской революции по экспроприации. Он начинает с отрицания всякого аграрного закона. «Каждому человеку изначально принадлежит право на владение всей землей. Но из этого нельзя сделать вывода, что каждый человек имеет право на равную долю земли и что земля должна быть разделена между людьми поровну, как то утверждают некоторые французские писатели, смешивая *право на присвоение с пра-*

вом собственности. Но когда человек, завладев частью земли или иного материала природы, трудом своим превратил ее в свою собственность, то ясно, что тот, кто работает больше, может и владеть большим, а тот, кто не работает, не может чем-либо владеть законно».

ФИХТЕ И КРЕПОСТНОЕ ПРАВО

Но если личная собственность, основанная на труде и измеряемая трудом, справедлива и необходима, то все договоры, согласно которым одни люди отчуждают в пользу других людей часть самих себя, неправомерны и могут быть отменены. Людей вынуждали отчуждать либо часть своих прав на самих себя, либо часть своих прав на вещи. Когда человек обязуется отдавать другому человеку либо весь свой труд либо часть своего труда, он отчуждает право собственности на свою рабочую силу, право собственности на самого себя. Когда он обязуется отдавать другому человеку часть плодов своей собственной земли, он отчуждает, по меньшей мере частично, свое право собственности на вещи. Таким образом, как мы видим, Фихте воспроизводит различие, на которое так часто ссылались в революционной Франции, между личной и вещной (реальной) зависимостью. И, одобряя решение Учредительного собрания, он хочет освобождения людей от всякой личной зависимости, без выкупа, и от всякой вещной зависимости — с выкупом.

Тщетно будут привилегированные ссылаться на то, что именно по договору другие люди передали им исключительное право распоряжаться их рабочей силой. Трудовой договор (Arbeitsvertrag) не может быть договором о рабстве, а человек, который согласился на вечное отчуждение своей рабочей силы,— раб.

Фактически даже при рабстве отчуждение это не является полным, так как господин обязан кормить раба. Право на жизнь — самое бесспорное из всех прав, и сам раб не мог от него отказаться. Таким образом, даже в условиях рабства права человека не уничтожаются полностью, не утрачиваются абсолютно, и человек всегда может сам потребовать восстановления своих прав и вернуть себе свободное пользование своей рабочей силой. Весь вопрос сводится к тому, чтобы установить, обязан ли освобождающийся раб, обретающий свободу крепостной, обязаны ли они уплатить выкуп своему господину. Нет, не обязан, отвечает Фихте; для отмены личной зависимости, рабства или крепостного состояния не требуется никакого выкупа. Ибо лицо, пользовавшееся [выгодами от личного порабощения], может жаловаться только на одно:

---

10. Этот текст взят из предисловия Фихте к его «Основе общего наукоучения» («Grundlagen der gesammten Wissenschaftslehre»). (Здесь и далее Жорес цитирует французский перевод 1859 г.).

на то, что, надеясь на длительность договора, оно не позаботилось о заключении других, выгодных для него договоров. Но ответ весьма прост: связанные договором по отношению к нему, мы тоже не позаботились о заключении выгодных для себя договоров; и действительно, мы не заключали никаких договоров. Теперь мы предупреждаем его. Он сможет располагать своим временем по своему собственному усмотрению; мы точно так же будем располагать нашим; мы не застигли его врасплох; мы находимся в одинаковом с ним положении. Но он уточняет свои претензии. Поскольку речь идет об исключительных трудовых договорах и полном или частичном праве на нашу рабочую силу, которое мы за ним признали, то он жалуется, что, раз договор будет нами расторгнут, работа не будет полностью выполнена. Тогда ему придется трудиться больше, чем это в состоянии выполнить один человек, или, во всяком случае, трудиться больше, чем он может или хочет.

Но рассмотрим эту жалобу по существу. Она сводится к следующему: у него слишком много потребностей, чтобы они могли быть удовлетворены в результате труда одного человека; и для удовлетворения их он настаивает на использовании труда других людей, которым придется ограничить свои собственные потребности как раз на то количество труда, какое они затрачивают для удовлетворения его потребностей. Нечего и говорить о том, что подобная жалоба может и должна быть отвергнута. Но он приводит более веский довод для оправдания своих обширных потребностей. Если у него непосредственно не больше сил, чем у другого человека, то он владеет продуктом труда многих людей, перешедшим к нему, быть может, по наследству от многочисленных предков; его собственность больше, и для использования этой собственности он нуждается в труде многих людей. Это его собственность, и она должна таковой остаться; для того, чтобы она могла приносить пользу, он нуждается в труде многих других людей; его дело решить, на каких условиях он сможет пользоваться их рабочей силой. Происходит свободное обсуждение вопроса об обмене, касающееся некоторой части его собственности и рабочей силы людей, необходимых для эксплуатации этой собственности, и при этом обсуждении каждый старается выиграть возможно больше. Он воспользуется, конечно, услугами того, кто предъявит наименьшие требования. Если он злоупотребит превосходством, каким обладает над угнетенным человеком в тяжелые для последнего дни, он в свою очередь рискует, что тот разорвет сделку, как только минуют дни острой нужды. Если он предложит им справедливые и благоприятные условия, то у него будет то преимущество, что договор окажется прочным. Но тогда, если каждый будет оценивать свой труд по самой высокой цене, собственник, нанимающий работников, не сможет более извлекать из своего имущества такой же доход, как прежде, и ценность его собствен-

ности значительно уменьшится. Это всегда может случиться; но какое нам до этого дело? Из его раскинувшихся под солнцем владений мы не взяли себе ни крохи; из его денег мы не взяли себе ни гроша. Сделать это мы не могли, но мы могли разорвать договор с ним, казавшийся нам невыгодным, и мы это сделали. Если его наследственное достояние уменьшилось из-за этого, то лишь потому, что ранее оно увеличилось благодаря применению наших сил, а наши силы — не его наследственное достояние. И почему нужно, чтобы тому, кто владеет сотней наделов земли, каждый из этих наделов приносил столько же, сколько приносит тому, кто владеет одним, этот его единственный надел?»

Это убедительное и смелое применение диалектики. Всю аргументацию Фихте можно резюмировать следующим образом. Если рабство и крепостное состояние заключаются в полной и безусловной отдаче одного человека во власть другого человека, если они ни в какой степени не предполагают взаимных обязательств и договора, то они являются результатом чистейшего насилия, стоят вне сферы права и по существу недействительны, так как человек не вправе сам уничтожать себя, отдавая себя полностью и навсегда другому человеку. Напротив, если они по существу своему являются результатом договора, то им, как всякому договору, касающемуся рабочей силы человека, может быть положен конец по воле одной из сторон. И само по себе расторжение этого договора, предоставляющее в дальнейшем полную свободу действий всем бывшим его участникам, не влечет за собой никакого возмещения. Какое глубокое и смелое применение теории подразумеваемого договора к экономическим и социальным отношениям людей, к отношениям собственности! Свобода и достоинство человека не могут быть утрачены за сроком давности в силу скрытого договора. Раб и крепостной, вновь обретая свободу, не возвращают себе насильственно права, от которого отказались; просто они осуществляют в форме, более отвечающей достоинству и деятельности человека, то право, которое они сохраняли, несмотря на всё, даже в условиях унизительного рабства и крепостной зависимости.

О, не следует удивляться и возмущаться по поводу тех усилий, которые в конце XVIII в. вынуждена была делать человеческая мысль для оправдания отмены рабства и крепостной зависимости! Ведь совсем недавно Юстус Мёзер доказывал их законность [11]; и Французская революция возмущала многие немецкие умы именно тем, что она разбила оковы личной и вещной зависимости. Это изобличалось как посягательство на собственность, и Фихте стремится доказать, что здесь нет никакого переворота, а есть лишь новая форма вечного трудового договора, который,

---

11. О Мёзере см. выше, с. 70. «Юстус Мёзер и крепостное право».

по существу, всегда предполагал право человеческой личности располагать собой.

Но если нынешние хозяева и имущие люди не могут жаловаться на осуществление этого права, то они тем не менее жалуются на последствия его осуществления. Они себя объявляют потерпевшими двойной ущерб — и в правах пользования, и в правах собственности. Ну что же, тем хуже для них, если они понесли ущерб в правах пользования! Говорить, что они могут удовлетворять свои потребности только с помощью рабочей силы многих людей, значит утверждать, что назначение этих людей только в том, чтобы служить орудием для имущих, для получающих доходы. Однако нет договора, который бы мог быть признан действительным на этом основании. Следовательно, когда люди освобождаются от уз рабства или крепостного состояния, как и от слишком тягостного для них трудового договора, от них нельзя требовать никакого возмещения под тем предлогом, что они наносят ущерб потребностям хозяина, так как потребности одного человека не дают ему никакого права на рабочую силу других людей.

ФИХТЕ И СОБСТВЕННОСТЬ

Относится ли это также к собственности, и скажет ли Фихте, что и собственность не имеет никакого права на рабочую силу людей? Казалось бы, логика подводила его к этому крайнему выводу, так как всякая собственность реализуется в системе пользования ею и, в конце концов, обеспечивает собственнику удовлетворение различных потребностей — насущных жизненных потребностей, потребностей в роскоши, потребностей в свободе или в господстве. Таким образом, если потребности одного человека не дают ему никакого права притязать на рабочую силу других людей, то собственность, являющаяся как бы суммой всех возможностей удовлетворения этих потребностей, тоже не вправе притязать на эту рабочую силу. Да, но это означает полное отрицание собственности. Ибо если для своего восстановления и дальнейшего существования, для обеспечения владельцу навечно бесконечного воспроизводства дохода с земли собственность не будет поглощать часть труда, который к ней прилагается, если весь этот труд будет компенсироваться путем полностью адекватного вознаграждения того, кто затратил его на обработку земли, то собственности уже не существует. Она быстро переходит в руки тех, кто создает ее своим трудом. В конце концов, нет иной собственности, кроме той, которая создана трудом.

Несомненно, с этих пор мысль Фихте отважно вступила на путь, который, как известно, несколькими годами позже привел его к социалистической системе. Но в 1793 г. он либо еще не пришел к ясному заключению, либо не признается в этих крайних выво-

дах. Он обходит препятствия, а не берет их штурмом. Да, собственность законна. Да, тот, кто получил наследство от предков, должен сохранить его. Но переход от рабства и крепостного состояния к другой форме трудового договора — к наемному труду, отнюдь не отменяет собственности и не делает невозможным ее сохранение, функционирование и увеличение. Дело самого владельца — привлечь и удержать у себя, путем достаточно высокой оплаты, рабочую силу, которая будет использована в его имении. И если работники повысят свои требования оплаты настолько, что доходы от собственности сократятся и, следовательно, понизится ее стоимость, то и в этом случае не может быть и речи о возмещении, так как утраченный теперь излишек стоимости явился результатом недостаточной оплаты труда при крепостном праве. Ведь именно эта рабочая сила создавала указанную прибавочную стоимость. Как же можно ее теперь обязать вторично создавать эту прибавочную стоимость путем уплаты возмещения?

Хорошо, но по мере того, как Фихте развивает свои сильные доводы, нас, современных социалистов, все более занимает решающий вопрос: ведь если рабочая сила настолько повышает свои требования оплаты, что доходы от собственности не только сокращаются, но сводятся на нет, то не является ли это уничтожением самой собственности?

Казалось бы, теперь Фихте в своем диалектическом отрицании уплаты возмещения должен был бы дойти до следующей крайней гипотезы: не должен ли владелец получить возмещение за совершенно новый риск полной утраты своей собственности, которому он подвергается вследствие новой формы трудового договора? Фихте не поставил этого острого вопроса в ясной форме. Но, в сущности, логически он должен был ответить на него отрицательно, и нам остается лишь довести до конца его только что приведенное рассуждение. Если рабочая сила, требуя более высокой оплаты, уничтожает весь доход, а следовательно, всю стоимость и самое существование собственности, то, значит, весь этот доход, вся эта стоимость и само существование собственности являлись результатом недостаточной оплаты рабочей силы. И раз он полагает, что переход к новой социальной экономике, к новому трудовому договору приводит к сокращению собственности в пользу более требовательной рабочей силы, то он логически должен признать полное уничтожение собственности в пользу бесспорно суверенной рабочей силы. В сущности, есть только одно неограниченное право — право рабочей силы, и право собственности может бесконечно отступать, свестись к нулю перед растущей мощью этого права рабочей силы.

Подобно тому как человеческие симпатии Фихте принадлежат «угнетенным», вчерашним рабам или крепостным, ставшим сегодня наемными рабочими, его диалектические симпатии — если можно

так выразиться — принадлежат рабочей силе, единственной ценности, которая в столкновении сил может расти бесконечно, не подвергая опасности человеческую личность. И, в сущности, он ясно дает понять, что надеется на конечное торжество рабочей силы, которая постепенно поглотит благодаря высокой оплате всю или почти всю субстанцию собственности. Именно в этом для него смысл, идеал, высший результат появления нового и свободного трудового договора вместо крепостного права. Так же, как робеспьеристы, но яснее, чем они, Фихте предвидит, что развитие свободного труда в свободных демократиях приведет к почти полному распылению собственности. И как сходны изложенные ниже взгляды Фихте с некоторыми самыми смелыми взглядами деятелей Революции!

«*Почти во всех монархических государствах жалуются на неравномерное распределение богатств, на громадные владения немногих людей наряду с наличием огромных масс людей, не владеющих ничем. И это явление удивляет вас при современных конституциях, и вы не можете найти решения этой трудной задачи и произвести более равномерное распределение благ, не посягая на право собственности? Если количество денежных знаков увеличивается, то это происходит из-за господствующего стремления большинства государств обогатиться посредством торговли и фабричного производства за счет всех прочих государств; вследствие головокружительного товарообмена нашего времени, который быстро движется к катастрофе и грозит полным разорением фабричного производства всем тем, кто принимает в нем хотя бы отдаленное участие, а также вследствие неограниченного кредита, более чем удесятерившего количество денег, выпущенных в Европе. Я утверждаю, что столь непропорциональное увеличение количества денежных знаков приводит к тому, что они неуклонно теряют свою ценность по отношению к стоимости вещей. Собственник продуктов, землевладелец, непрерывно повышает цены на товары, в которых мы нуждаемся, и благодаря этому его владения приобретают все большую стоимость в сравнении со стоимостью звонкого металла. Но возрастают ли пропорционально его расходы? Торговец, снабжающий его предметами роскоши, несомненно, сумеет оградить себя от убытков. Менее ловок ремесленник, изготовляющий необходимые ему предметы и подвергающийся давлению с обеих сторон — и землевладельца, и торговца. А как же бедный крестьянин? Он еще и теперь составляет часть земельной собственности и работает на барщине либо бесплатно, либо за непомерно малую плату. Еще и теперь его сыновья и дочери, как презренная челядь, служат сеньору за смехотворные гроши, которые даже сотни лет назад не соответствовали стоимости оказываемых ими услуг. У крестьянина нет ничего и никогда ничего не будет, кроме жалких средств для повседневного существования. Если бы землевладелец умел ограничивать свою роскошь, то он давно уже был бы — разве*

что торговая система подверглась бы полному и к тому же неизбежному изменению — или, во всяком случае, несомненно, стал бы исключительным обладателем всех народных богатств, и, кроме него, никто не владел бы ничем. Вы хотите помешать этому? Тогда сделайте то, что вы так или иначе обязаны сделать: сделайте так, чтобы человек мог совершенно свободно распоряжаться своим естественным достоянием, своими силами. Вскоре вы увидите замечательное зрелище: доход от земельной и всякой другой собственности будет обратно пропорционален размерам этой собственности; земля без насильственных аграрных законов, всегда несправедливых, будет разделена между все возрастающим числом рабочих рук, и наша задача будет решена. Имеющий глаза да видит; я продолжаю свой путь».

Приводя эти слова Фихте, не могу не вспомнить речей, произнесенных с трибуны Конвента в связи с ростом цен, и особенно большой речи Сен-Жюста об экономическом положении [12]. Фихте, восторгавшийся Революцией, несомненно, весьма внимательно следил за дебатами в наших Собраниях. Подобно Канту, выходившему на Кенигсбергскую дорогу встречать почту из Франции, Фихте, конечно, читал газеты, излагавшие речи и мнения великих революционеров. И мне кажется, что сдержанная и горделивая сила первых речей Сен-Жюста должна была пленить сильный ум и неустрашимую и гордую душу Фихте.

Сходство их идей поразительно. Так же, как Сен-Жюст, Фихте видит причину общего кризиса, дороговизны продуктов и остроты страданий народа в избытке денежных знаков, металлических или бумажных. Это явление наблюдается не только во Франции и не только под непосредственным влиянием выпуска ассигнатов. Рост цен, по-видимому, охватил всю Европу. Вначале повышение цен на хлеб было вызвано закупками Францией зерна в 1789 и 1790 гг. на всех европейских рынках. Кроме того, всю Европу, словно эпидемия какой-то лихорадки, поразило небывалое напряжение всех сил.

Во всей Рейнской области жизнь вздорожала из-за внезапного наплыва эмигрантов. Форстер неоднократно указывает в своих письмах на непомерно высокие цены на съестные продукты. Приготовления к войне и сама война в течение всего 1792 г. еще более увеличили повсюду дороговизну, чему способствовала и спекуляция французскими ассигнатами в Европе. Однако, в то время как во Франции рабочие и крестьяне, освобожденные Революцией от оков феодального или цехового порабощения, могли действовать, добиваясь соответствующего повышения заработной платы, в Германии рабочие, бывшие еще рабами цеховых корпораций,

12. Речь о продовольственном снабжении, произнесенная в Конвенте 29 ноября 1792 г. См.: Ж. Жорес. Цит. соч., т. III, с. 429 и далее.

как и крестьяне, опутанные старой феодальной системой, страдали от повышения цен и не могли потребовать соразмерного увеличения оплаты своего труда. И когда Фихте настаивает на освобождении труда, он преследует двоякую цель: во-первых, немедленно восстановить равновесие между ценами на продукты и оплатой труда и, во-вторых, путем непрерывного повышения заработной платы подготовить уничтожение больших поместий. Таким образом, он полностью разделял взгляды французских революционеров, которые именно в этот момент, в 1793 г., были озабочены тем, чтобы привести в соответствие оплату труда со стоимостью жизни и содействовать распылению крупной собственности.

Но мне кажется, что в некоторых отношениях экономический анализ Фихте глубже. В своей борьбе против феодальной системы революционеры ссылались на естественное право человека на свободу, и Фихте тоже ссылается на него. Чтобы ограничить капиталистическую спекуляцию и оправдать регламентацию торговли зерном и даже общую таксацию продуктов, они утверждали, что первая и самая главная собственность — это жизнь [13]; также и для Фихте право на жизнь — основное и неотъемлемое право человека. Но, помимо того, Фихте более ясно, чем это делают французские революционеры, развивает мысль о том, что все экономические и социальные институты, в сущности, представляют собой «трудовой договор», подразумеваемый или явный, касающийся «рабочей силы» человека. И именно эта рабочая сила, при самых разнообразных социальных системах и при всех их метаморфозах, является для него постоянным и главным элементом, создающим все ценности.

ФИХТЕ И ТЕОРИЯ ТРУДА

Французская революция, искореняя при ярком свете философии XVIII в. феодальные институты, обнажила корни экономической жизни, и Фихте констатировал, что самым глубоким корнем была сила человеческого труда. Как же было ему теперь не попытаться сделать из самого труда мерило всякого права и всякой стоимости? Известно, что несколько лет спустя в своей знаменитой книге «Замкнутое торговое государство» Фихте возлагал на общество обязанность регулировать производство и организовать обмен и определял стоимость трудом [14]. Каждый предмет стоил столько, сколько труда, прямо или косвенно, необходимо было затратить на его производство. Но можно сказать, что уже в 1793 г., в порыве своей революционной мысли, Фихте распознал то, что вскоре станет самой основой его социалистической мысли; я имею в виду важнейшую роль труда. И так же, как через посредство Доливье, Бабефа и Л'Анжа (Ланжа) [15] французский социализм, в его различных формах, связан с левым крылом революционной демократии и Революцией, так и немецкий социализм

связан через посредство Фихте с Французской революцией. Фихте провозглашает верховные права рабочей силы как раз в книге, предназначенной для защиты Революции. Именно революционное потрясение выявило среди обреченных на гибель институтов эту вечную силу труда. Когда Фихте заявляет, что рабочая сила, порывая с той формой собственности, с какой она была связана ранее, не обязана платить никакого возмещения, ибо именно она первоначально создала ценности, которые теперь разрушает, он провозглашает, что рабочая сила обладает верховным правом и обязана отчетом только самой себе. Но разве не Революция уничтожила без возмещения всякую личную зависимость? Я не знаю, предвидел ли Фихте уже в 1793 г. очертания той социалистической организации, которую позднее он обрисует в книге «Замкнутое торговое государство». Иногда кажется, что он скрывает часть своих мыслей, прибегая к загадочным оборотам фраз. Он заявляет о необходимом изменении всей системы обмена. Подразумевал ли он под этим только полную свободу обмена и труда, которая придет на смену феодальной и цеховой системе? Почему он не говорит этого более ясно? Мне кажется вероятным, что он тогда старался найти юридические нормы этого обмена и начинал видеть мерило экономического права в стоимости, создаваемой трудом. От его внимания не ускользнули предпринимаемые ощупью Французской революцией попытки установления цен. И он, несомненно, думал найти основу для такого установления.

«Имеющий глаза да видит»,— говорит он несколько таинственно, предупреждая нас тем самым, что выводы из его принципов идут дальше того, что он говорит. Следовательно, он предвидит не только поглощение всех крупных поместий трудом. Когда налицо будут одни силы труда, что будет регулировать их взаимоотношения? Не сам ли труд?

Итак, Фихте, несомненно, начинал предчувствовать возникновение системы, при которой обмен продукции будет регулироваться обществом на основе стоимости, определяемой количеством затраченного труда.

Но несомненно и то, что тогда мысли эти у Фихте были еще очень неясными и неопределенными. Я склонен думать, что поли-

---

13. См. речь Робеспьера о продовольственном снабжении, произнесенную им 2 декабря 1792 г. (Ж. Жорес. Цит. соч., т. III, с. 428): «Первый общественный закон заключается, следовательно, в том, чтобы обеспечить всем членам общества средства к существованию».
14. Этот труд был написан под влиянием зрелища нищеты, сопутствующей с огромными богатствами, приобретенными торговлей. Предлагаемые Фихте реформы заставляют смотреть на него как на первого теоретика государственного социализма.
15. См.: Ж. Жорес. Цит. соч., т. II, с. 389, «Пьер Доливье и собственность»; т. III, с. 396, «Проекты и системы; лионский социалист Л'Анж».

тика максимума, проводившаяся во Франции в 1793 и 1794 гг., придала большую определенность идеям Фихте в этом вопросе [16]. Однако эти огромные усилия по регламентации и организации цен оставались произвольными, так как новые цены представляли из себя цены 1790 г., увеличенные на одну треть. Эта основа была чисто эмпирической, а Фихте, разумеется, искал рациональную основу. Можно сказать, что система Фихте — это *максимум*, основанный на идее и определяемый согласно законам разума.

Таким образом, необычайный рост цен, вызвавший во Франции появление систем Доливье и Л'Анжа, породил в Германии идеи Фихте. Что удивительного в том, что чудовищное расстройство экономики побудило глубокие умы задуматься над самими основами политической экономии? На самом дне пропасти, разверзшейся от землетрясения, кипела и рвалась вверх, словно горячий, бурный источник, сила труда.

Но с каким презрением относится Фихте к привилегированным, которые, вдруг лишившись возможности эксплуатировать чужой труд, более не могут существовать! И с какой жестокой иронией, которой сопутствует серьезность юридических доводов, предлагает он им возмещение! [17] «Если, следовательно, привилегированный не может более ссылаться, чтобы присваивать себе рабочую силу других людей, на право наследственной собственности, то он должен работать, хочет он этого или не хочет. Мы не обязаны его кормить.

Но он говорит, что он не может работать. Уверенный в том, что мы будем продолжать кормить его своим трудом, он не развивал и не упражнял своих сил и не научился ничему такому, что позволило бы ему прокормиться, а теперь уже поздно, теперь его силы слишком ослаблены и подточены долгой праздностью, чтобы он был еще в состоянии научиться чему-нибудь полезному. И за это мы действительно ответственны, ибо согласились на такой неразумный договор. Если бы мы не внушили ему с юных лет уверенности в том, что будем кормить его без всяких усилий с его стороны, то ему пришлось бы научиться чему-нибудь. Следовательно, мы обязаны, и это будет законно, возместить ему за это, т. е. кормить его до тех пор, пока он не научится прокармливать себя сам».

Да, это суровое юридическое заключение. Единственное, что мы должны привилегированному,— это возмещение за его привычку к лени и неспособность к труду, которые в нем породила наша снисходительность. «Но как должны мы его кормить? Должны ли мы по-прежнему отказывать себе в самом необходимом, чтобы он мог купаться в излишествах, или же достаточно давать ему необходимое?»

Послушайте, какой революционный гнев звучит в ответе Фихте, как он возмущен излияниями лицемерной жалости к французской королевской семье и принцам, которым предавались немецкие контрреволюционеры: «У нас здесь приходилось слышать немало

изъявлений печали и сетований по поводу предполагаемых бедствий многих людей, внезапно перешедших от величайшей роскоши к гораздо более скромному положению.

Сетования эти исходили от людей, которые даже в свои самые лучшие дни никогда не имели того благосостояния, каким в свои самые худшие дни пользуются те, кого они жалеют, и которые сочли бы для себя величайшим счастьем иметь жалкие остатки их благосостояния. Чудовищная расточительность королевского стола была несколько ограничена, и люди, которые никогда не имели и никогда не будут иметь стола, подобного этому, несколько ограниченному, королевскому столу, жалеют короля. Королеве некоторое время не хватало кое-каких драгоценностей, и те, кто был бы счастлив разделить с ней ее *нужду*, скорбели о беде королевы. В наше время поистине нет недостатка в душевной доброте. Но все эти жалобы говорят о системе, и система эта такова: есть класс смертных, обладающий неизвестно каким правом удовлетворять все свои прихоти, какие только может подсказать ему самое разнузданное воображение. И есть другой класс, совершенно не имеющий права на удовлетворение тех же потребностей, что и первый, до такой степени, что в конце концов он оказывается низведенным до положения класса, лишенного самого необходимого ради того, чтобы обеспечивать вышестоящим всевозможные излишества».

Итак, личная крепостная зависимость будет уничтожена без всякого возмещения, за исключением скромной пенсии вчерашним привилегированным, которых самые их привилегии сделали неспособными зарабатывать себе на жизнь. Это будет возмещением не того ущерба, какой им причинило уничтожение привилегий, а наоборот, ущерба, причиненного им этими привилегиями. И здесь под суровой иронией юриста опять-таки кроется забота об осторожных переходах, никогда не покидающая немецких мыслителей, даже таких пламенных революционеров, каким был Фихте.

Что касается того, что Учредительное собрание называло реальными повинностями, а Фихте — *правами на вещи*, словом,

---

16. Закон о всеобщем максимуме был принят 29 сентября 1793 г. Требования таксации вполне определенно выдвигались с весны 1792 г. См.: Ж. Жорес. Цит. соч., т. II, с. 356.
17. Фихте ставит вопрос: дает ли упразднение привилегий право на возмещение ущерба? Возмещение допустимо только тогда, когда ущерб можно определить юридически. Здесь расторжение договора приводит к тому, что один человек лишается труда другого человека. Но, поскольку труд всегда есть собственность того, кто его предоставляет, он не может быть собственностью другого лица, и когда это последнее оказывается лишенным его, оно не ущемлено ни в одном из своих прав; поэтому у него нет права ни на какое возмещение ущерба.

что касается всех феодальных повинностей — ценза, барщины и т. п., которые прямо не ущемляют или не уничтожают личной свободы, то Фихте был сторонником системы выкупа. Революционный дух французских крестьян дошел и до него, но, как мы увидим, в ослабленном и смягченном виде.

ФИХТЕ И СЕНЬОРИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК

Фихте резко выступает против дворянских привилегий. Существование дворянства имело смысл в древние времена, когда для героической инициативы был широкий простор. Фамильная слава побуждала потомков в свою очередь проявлять отвагу и доблесть. Но современные общества представляют собою хорошо налаженный механизм, где все роды деятельности необходимы в равной мере. Но Фихте полагает бесполезным и несправедливым уничтожать в законодательном порядке дворянские фамилии, лишать знаменитые семьи их традиционных наименований, и в этом вопросе он расходится с Учредительным собранием. Он хочет даже сохранить дворянские титулы, которые в конце концов срослись с именами некоторых семей. Но он требует, чтобы закон никого не обязывал, обращаясь к тому или иному лицу, титуловать его «господин граф» или «господин барон». Кроме того, он требует (и это фактически было равносильно отмене дворянских титулов), чтобы каждый гражданин мог по своему желанию украсить себя титулом [18].

Но он хочет уничтожить не столько привилегии, порождаемые тщеславием, сколько привилегии, связанные с собственностью. Прежде всего, дворяне закрепили за собой владение особой категорией земель, рыцарскими имениями (Rittergüter), которые могли приобретать только дворяне. Здесь золото буржуазии теряет свою силу; оно более не обладает покупательной способностью. Дворяне считают, что земельная собственность является непременной основой их дворянских привилегий. Пусть так; но почему тогда у их сыновей не хватает нравственной силы отказаться от предложений, которые могут быть им сделаны, и действительно сохранить неотчуждаемость поместий? Зачем они взывают к вмешательству закона, исключающего из сферы торговли часть немецкой земли? Для облегчения обмена рыцарских имений между дворянами уже созданы ссудные кассы, которые пополняются только дворянами (или с помощью государства) и откуда они одни получают ссуды. Это, говорит Фихте, довольно эгоистическая комбинация, и такой кастовый кредит весьма узок. Но, в конечном счете, здесь нет никакого нарушения справедливости. Почему же дворяне выходят за пределы этого и лишают буржуазию и крестьян права приобретать некоторые категории земель? Закон о рыцарских имениях должен быть отменен.

«Но есть другие привилегии, ревностно охраняемые дворянством, от которых оно добровольно не откажется в пользу граждан [19]. Рассмотрим же их, чтобы судить, действительно ли землевладелец, безразлично, дворянин он или нет, имеет право притязать на них. Прежде всего мы обнаруживаем разные повинности, которыми обременены *крестьянские земли*, — барщину, фиксированную и нефиксированную, право выгона и выпаса скота и другие, им подобные. Мы не станем доискиваться *действительного* происхождения этих прав и повинностей; предположим, что мы установили их несправедливость; мы все равно ничего этим не достигнем, так как, несомненно, невозможно было бы установить действительных потомков первых угнетателей и первых угнетенных и указать последним человека, к которому они смогли бы обратиться со своими требованиями. Но *происхождение права* легко показать. Теоретически и юридически повинности оправдываются следующим образом. Поля лишь отчасти являются или совсем не являются собственностью крестьянина, который вынужден платить либо проценты на капитал, вложенный землевладельцем в его участок (на языке феодализма это называется *eiserner stamm*, *железной основой*), либо даже проценты на всю стоимость имения. И эти проценты, эту ренту крестьянин платит не деньгами, не звонкой монетой, а услугами, выгодами, доставляемыми им землевладельцу с участка, которым он владеет лишь на определенных условиях или заимообразно. Даже если эти привилегии не были установлены в таком виде первоначально, все уравновешивается обменом рыцарских и крестьянских владений. Естественно, что крестьянин платит за свой участок тем меньшую сумму, чем больший капитал составляют обременяющие этот участок повинности и исчисляемые в денежном выражении проценты, и что владелец рыцарского имения платит при покупке этого участка тем бóльшую сумму, чем значительнее исчисленные в денежном выражении повинности крестьянина, связанные с этим участком. Раз владелец рыцарского имения действительно уплатил стоимость повинностей, он в полном праве требовать уплаты процентов. Против законности этого требования *самого по себе* возразить

---

18. Фихте различает здесь *дворянство по мнению* и *дворянство на основе норм права*. Дворянство по мнению, т. е. дворянство, вытекающее для потомка из славы, которую снискали его предки, не может быть отменено: воспоминание об этой славе может побуждать к великим деяниям. Что касается дворянства на основе норм права и *привилегий собственности*, связанных с ним, то они не могут долее существовать: преимущества, первоначально приобретенные храбростью и заслугами некоторых лиц, должны исчезать вместе с ними и не должны передаваться по наследству.

19. F i c h t e. Beitrag zur Berichtigung der Urteile des Publikums über die Französische Revolution. Köln—Opladen, 1967, S. 171—174.

нечего; *более того, грубым посягательством на право собственности была предпринятая несколько лет назад крестьянами одного государства попытка насильственно освободиться от этих повинностей, и притом без всякого выкупа. Это посягательство на право собственности было вызвано невежеством крестьян, а также невежеством части дворянства, не осведомленного о том, на чем основаны его собственные права.* И опасность эту можно было бы гораздо лучше устранить хорошо мотивированным обращением, чем нелепыми карательными экспедициями и позорными приговорами к заключению в крепости. (Вооруженные косами и вилами крестьяне очень скоро отказались бы от всяких нападений; но лейтенант Н... как высокопарно повествует историк этой славной экспедиции, *поддержал честь оружия государства С...*) Однако очень многое можно возразить *против способа* взимания этих процентов. Не хочу говорить об ущербе, причиняемом всем правом выпаса. После всех приведенных ранее доказательств, оставшихся тщетными, бесполезно тратить силы еще на другие доводы. Не хочу также говорить о напрасной трате времени и сил и о нравственном падении, с которыми связана для любого государства система барщин. Те же люди, которые крайне вяло работают на барщине на поле сеньора, так как работают против воли, работали бы на своем поле изо всех сил. Треть числа обязанных барщиной, если бы их наняли за разумную плату, сделали бы больше, чем все эти подневольные труженики. Государство было бы в выигрыше, уменьшив на две трети число работников, и поля были бы лучше обработаны и использованы; исчезли бы глубоко развращающее крестьянина чувство рабской зависимости, взаимные претензии между ним и сеньором и его недовольство своим положением. Вскоре он стал бы лучше как человек, да и сеньор тоже. Я не хочу вдаваться в суть вопроса, я просто спрашиваю: «Откуда взялось ваше право на «железную основу», на вечные цензы, на уплату вам вечных повинностей? Я прекрасно понимаю, что все это дает огромные выгоды собственникам, особенно дворянам, придумавшим все эти формы поборов. Но я спрашиваю, не в чем ваша выгода, я спрашиваю, откуда ваши права». Само собой разумеется, что ваш капитал не должен быть отнят у вас. Мы также не можем заставить вас взять у нас денежную компенсацию за их отмену. Вы — совладельцы нашего имущества, и мы не можем заставить вас продать нам вашу долю, если вы не хотите отказаться от нее. Пусть так! Но кто нам объяснит, почему это единое имущество обязательно неделимо и должно составлять только единое имущество? Если совладение с вами и тот особый способ, каким вы его осуществляете, нам более не нравятся, то почему мы не имеем права возвратить вам вашу долю? Если я владею двумя наделами земли и оплатил только половину их стоимости, потому что вторая половина должна оставаться вашим «железным капиталом», то разве половина двух наделов не составляет один надел? За один

я заплатил, второй принадлежит вам; я себе оставляю свой, а вы берите ваш. Кто мог бы высказать недовольство такой операцией? Быть может, вам в высшей степени неудобно взять его обратно? Хорошо, если для меня окажется удобным его сохранить, заключим новый договор о способе исчисления процентов, который будет выгоден не только вам, но и мне. Если мы придем к соглашению, то дело может быть улажено. Таковы правовые принципы, из которых вытекают многочисленные способы упразднения гнетущей системы барщины и повинностей без несправедливостей и нарушения права собственности, если только государство отнесется к этому вопросу серьезно, если его возражения не будут пустыми отговорками и если оно не предпочтет выгоду малого числа привилегированных правам и интересам всех.

Если применить этот принцип к крестьянину, не обладающему правом собственности на свою землю, а просто получившему ее в пользование от своего сеньора, то совершенно ясно, что крестьянин вправе возвратить эту землю, если отягчающие ее службы и повинности покажутся ему несправедливыми или чересчур обременительными. Если сеньор тем не менее хочет, чтобы крестьянин сохранил ее, то они могут вступить друг с другом в переговоры, пока не достигнут согласия.

Ну нет, говорит традиционное право, крестьянин, не имеющий права собственности на землю, сам принадлежит земле, сам является собственностью сеньора; он не может покинуть землю и уйти когда угодно; право сеньора, владеющего землей, распространяется на *его личность*. Но это находится в резком противоречии с человеческим правом как таковым, это в полном смысле слова рабство. Каждый человек может иметь право на вещи, но никто не может иметь непреложного права на личность другого человека; каждый человек обладает неотъемлемым правом собственности на свою личность.

Пока крепостной хочет оставаться на месте, он может оставаться; как только он захочет уйти, сеньор должен отпустить его, и притом в силу его права. Сеньор не может сказать: «Покупая свои земли, я заплатил и за право на личность своего крепостного». Никто не мог продать ему подобного права, так как никто не имел его. Если он за это что-то заплатил, то его обманули, и он может взыскивать убытки с продавца. Никакое государство не может считать себя цивилизованным, если в нем еще существует это бесчеловечное право, если один человек вправе сказать другому: „Ты принадлежишь мне“».

И Фихте с возмущением добавляет: «Два соседних государства заключили договор о взаимной выдаче солдат-дезертиров. В пограничных провинциях обоих государств существовала крепостная зависимость, право собственности на личность крестьянина. С давних пор какой-нибудь несчастный, спасаясь от бесчеловеч-

ного сеньора, бежал за границу и оказывался там на свободе. Но землевладельцы обеих сторон поспешили распространить договор и на выдачу беглых крестьян, и в числе многих других жертвой этого договора стал один крепостной, бежавший из-за кражи двух виноградных лоз. Он был выдан и скончался под ударами палок. И это случилось в последние пять лет в государстве, которое я считаю самым просвещенным в Германии!» [21]

Да, у Фихте революционный тон. Это не педантический перевод революционных усилий Франции на язык «требований практического разума» и формул Канта, как с несколько излишне обобщенным пренебрежением отозвался Маркс обо всей немецкой революционной литературе того времени. Фихте горячо отстаивает права человека и человеческое достоинство и явно готов вступить в ожесточенную борьбу для их защиты. Он пылко протестует против карательных экспедиций, предпринятых в одном из германских государств, для подавления слабых попыток волнений крестьян. Он решительно высказывается против всех видов личной крепостной зависимости, требуя ее отмены без возмещения. Что касается выкупа реальных повинностей, то он предлагает систему, которая позднее будет применяться в Германии и в России. Правда, несмотря на свое пылкое стремление к справедливости и на бесстрашие своего духа, он не понимает всей мощи революционных потрясений во Франции. Когда он говорит о слабых волнениях среди немецких крестьян, он, по-видимому, не знает, что почти везде французские крестьяне восставали до 4 августа 1789 г., а очень часто и после этой даты, и что эти взрывы, эти проявления силы немало способствовали отмене феодальных повинностей и прав [22].

И особенно удивительно, что Фихте, так хорошо осведомленный о событиях во Франции, о декретах Собраний, о настроениях общественного мнения и, в частности, намекающий на проекты «аграрного закона», по-видимому, не знает о декретах Законодательного собрания, отменивших после событий 10 августа без выкупа целый ряд реальных феодальных повинностей: ценз, шампар и др. [23] Может быть, эти декреты, имевшие столь важное политическое и социальное значение, несколько померкли в ярком сиянии революции 10 августа? Или Фихте, стремившийся уничтожить всю феодальную систему, не посягая на право собственности, намеренно умолчал о законах об экспроприации, которые противоречили его системе и, по его мнению, могли скомпрометировать дело революции в Германии? Его аргументация, как и его выводы, несколько робки.

Совершенно верно, что невозможно установить ни первых угнетателей, ни первых угнетенных и их потомков. Но если феодальная система в целом представляет собой результат узурпации и насилия, если она происхождением своим обязана грубой силе и беззаконию, то какое дело обездоленному классу до того,

что как раз вследствие длительного существования несправедливости, которую он терпел, трудно точно измерить и определить размеры индивидуальных возмещений и ответственности? Он имеет право на полное освобождение и требует его. Поэтому французские революционеры не боялись докапываться до исторических корней феодального права и обнажать их. Революция вырвала их сразу. Французские крестьяне, гордые, сознающие свое право и свою силу, никогда не согласились бы на решение, которое придумал Фихте и которое позже осуществлялось во многих странах. Как! Чтобы освободиться от барщины, от феодальной десятины, цензуальных и случайных повинностей, тяжким бременем лежавших на нас в течение столетий, мы должны признать право сеньора на них и консолидировать их в виде земельного капитала? И для того, чтобы избавиться от рабства, тяготеющего над всей нашей землей, мы должны будем оставить дворянину часть этой земли в полную собственность! Чтобы очистить свой сад от сорной травы феодализма, которая его совсем заглушила, мы должны будем отдать сеньору часть этого сада и сможем очистить свое маленькое владение от всякой зависимости, только изуродовав его! Французские крестьяне не потерпели бы такой ампутации. Великая революционная волна, будоражившая ум Фихте, доходила до него, однако уже замедлив свой бег, ослабленной.

ФИХТЕ И ЦЕРКОВНЫЕ ИМУЩЕСТВА

Но если в отношении феодальных владений и феодальных прав Фихте менее смел, чем идущая на подъем Французская революция, то в вопросе революционной экспроприации церковных имуществ он идет до конца, или по крайней мере кажется, что идет. Он делает решительные, смелые, почти вызывающие выводы. Это смелое применение кантовской критики к теории договоров [24].

---

21. Здесь идет речь о праве владельца требовать выдачи беглого крепостного, праве, связанном с личной крепостной зависимостью. Сеньор может силой заставить своих беглых крепостных возвратиться на его земли. Во Франции это право было отменено эдиктом Неккера от 8 августа 1779 г.
22. Так, крестьянские волнения весной 1792 г. предшествовали изданию декретов Законодательного собрания. См.: Ж. Жорес. Цит. соч., т. II, с. 356.
23. См.: Ж. Жорес. Цит. соч., т. II, с. 604.
24. Прежде чем решать проблему светских привилегий церкви, Фихте определил, что такое «церковь» и каковы ее отношения с государством. Когда церковь возлагает на своих членов обязанности, противные их долгу граждан, то государство должно предотвращать это и карать (таково изгнание иезуитов). Во время революции государство вправе запрещать учения церкви, противные гражданским пра-

Точно так же, как, по мнению Канта, категории разума имеют значение только в их применении к опыту и в области опыта, так, по мнению Фихте, договоры имеют силу только тогда, когда они осуществляются в пределах чувственного мира. Между тем договоры, заключенные с церковью, с одной стороны, касаются земли, часть которой предоставляется церкви, а с другой — небесных высей, где церковь обещает блага, не поддающиеся проверке. Таким образом, договоры с церковью находятся вне чувственного мира и поэтому не имеют для человека ни смысла, ни реального значения, ни обязательной силы.

«Ни один договор не выполняется, пока он не перенесен в мир явлений, пока ни одна из сторон не дала того, что они обязались дать. Обмен земных благ на небесные блага не может иметь места, во всяком случае, в этой жизни, в чувственном, реальном мире. Владелец земных благ полностью выполнил свое обязательство, а обладатель благ небесных своего не выполнил. Только благодаря вере первый приобретает благо, в обмен на которое он не только подает надежду на то, что его имущество перейдет к церкви, но и передает свое имущество в ее реальное владение. Кто знает, действительно ли он верит церкви? Кто знает, сохранит ли он свою веру навсегда, не утратит ли он ее до своей смерти? Кто знает, пожелает ли церковь сдержать свое слово? И даже в том случае, если она теперь готова это сделать, не изменятся ли ее намерения? Кто знает, существует ли здесь действительно реальный договор между двумя сторонами? Никто не знает этого, кроме Всеведущего. Одна или обе стороны могут в любое время изменить свою волю, и тогда их обоюдная воля оказывается вне мира явлений.

Владелец земных благ передает их и получает взамен право *надеяться*, что церковь тоже даст ему блага; он думает, что его собственность стала собственностью церкви. Если затем он теряет веру либо в добрую волю церкви, либо в ее способность сделать его счастливым, он уже не может больше надеяться ни на какое возмещение. Его воля изменилась, и его имущество должно следовать за его волей. Оно все время продолжало оставаться его собственностью, и теперь он снова реально им владеет. Если предусматривается право расторгнуть какой-нибудь договор, то это прежде всего относится к договору с церковью. *Никакого возмещения!* Мы не наслаждались небесными благами церкви, церковь может взять их обратно; она может поразить нас своими карами, предать нас анафеме, проклясть. В этом она совершенно вольна, а если мы больше не верим в церковь, то это не произведет на нас большого впечатления.

Мой отец завещал все свое имущество церкви для спасения своей души. Он умирает, и я, в соответствии с гражданским правом, вступаю во владение его имуществом, правда, при условии выполнения мною всех обязательств, которыми он обременил

его по договору. Относительно своего имущества он заключил договор с церковью, но последний никогда не был осуществлен в мире явлений и покоится только на вере. Если я не верю в церковь, то подобный договор для меня не существует; для меня церковь ничто, и если я предъявляю требования на имущество своего отца, то я, во всяком случае, не посягаю ни на чьи права. Государство не может помешать мне в этом. Государство, *как государство*,— такое же неверующее, как и я; как государство, оно так же мало знает о церкви, как и я; церковь так же ничего не представляет для него, как и для меня. Государство не может защищать имущества лица, которое не существует для него. Оно обеспечило мне владение отцовским имуществом при условии, что я не присвою себе собственности какого-нибудь другого умершего гражданина. Я не сделал этого; значит, согласно договору, государство должно защищать мои права на владение этим имуществом. Это имущество принадлежало моему отцу, и оно оставалось его собственностью до его смерти, ибо этот договор, не имеющий в мире явлений никакой силы перед лицом как естественного, так и социального права, не мог отнять у него имущество. Правда, мой отец мог отказаться от него добровольно, и своим молчанием я мог бы подтвердить его волю; тогда государство не было бы призвано решать этот вопрос. Но я теперь не подтверждаю его воли и обращаюсь за содействием к государству. Я сам могу отказаться от своего права, но государство за меня этого сделать не может. Но мой отец был верующим; для него договор этот был обязателен; он казался верующим; мне неизвестно, был ли он действительно верующим; верит ли он еще и теперь, если действительно существует? Это мне еще менее известно. Пусть говорят всё, что угодно. Даже со своим отцом я имею дело не как с членом мира невидимого, а как с членом мира видимого, и в частности государства. Он умер, и его место в государстве занимаю я. Если бы он еще был жив и раскаялся в том, что отказался от своей собственности, то имел ли бы он право получить ее обратно? Да, имел бы; следовательно, и я его имею, так как в государстве я — это он, я представляю то же физическое лицо... Если мой отец не хочет этого, то пусть он возвратится в видимый мир, пусть опять вступит во владение своим имуществом, а затем отдает его кому угодно. До этого я действую от его имени. Но, поскольку он умер верующим, я поступил бы более правильно, сообразуясь с *его* верой. Я могу рисковать *своей* душой, но не душой другого. О, если я думаю так, то я не являюсь безусловно неверующим по отношению к церкви; значит, я действую непоследовательно и безумно, даже если рискую одной только своей душой. Либо церковь обладает в иной жизни действительным могуществом, либо она им не

вам, изгонять из общества всех лиц, отказывающихся от выполнения своих гражданских обязанностей.

обладает. На этот счет надо прийти к твердому убеждению. Пока я не пришел к нему, для меня надежнее не касаться церковных имуществ; ибо церковь проклинает, и это ее право, всех расхитителей церковных имуществ до скончания века. Правом требовать возвращения имущества обладает не только наследник в первом поколении, но также и во втором, в третьем, в четвертом и во всех последующих, так как наследник наследует не только вещи, но и права на вещи.

Но установленные таким образом принципы имеют еще более широкие последствия, и у нас нет никаких причин останавливаться перед возможными выводами. Даже допуская, что эта идея должна быть ограничена последующими соображениями, что она неприменима в действительной жизни и сводится к умственному упражнению,— *не только законный наследник, но и каждый без исключения человек имеет право взять в свое владение чисто церковные имущества.* Церковь как таковая не обладает ни силой, ни правом в видимом мире; для того, кто не верит в нее, она ничто, а то, что является ничьей собственностью, может стать собственностью первого, кто это захватит в видимом мире. Я обосновываюсь на каком-нибудь участке земли (я намеренно не указываю, есть ли там следы приложенного ранее труда) и начинаю его обрабатывать, чтобы завладеть им. Ты приходишь и говоришь мне: «Уходи отсюда, это место принадлежит церкви».— Ничего не знаю я ни о какой церкви, я не признаю никакой церкви; пусть твоя церковь докажет мне свое существование в видимом мире; я ничего не знаю о невидимом мире, и могущество твоей церкви в нем не имеет для меня никакого значения, так как я не верю в него. Уж лучше ты бы сказал мне, что это место принадлежит человеку, живущему на луне, так как, хотя я и не знаю этого человека, но по крайней мере знаю луну; я не знаю твоей церкви, как не знаю и невидимого мира, где она должна быть могущественна. Так пусть же этот человек продолжает жить на луне или спустится на землю и докажет мне, что ранее меня получил право собственности на эту землю; я человек земли и хочу на свой страх и риск сделать ее своей собственностью.

Но если церковь как таковая имеет отношение к невидимому миру, тем не менее она имеет в видимом мире представителей, претендующих на то, чтобы говорить от ее имени, предъявляющих от ее имени требования и получивших от нее в пользование имущества, которыми она располагает. Но я не знаю владельцев этих имуществ. Я знаю только земли, которые они занимают и которые принадлежат мне. Если они воображают, что получили их законно от церкви, обладающей невидимой властью, то это их дело, а не мое, и я вовсе не обязан возмещать им ущерб, порожденный иллюзиями, за которые я не отвечаю, и мечтами, каких я не вызывал. Единственное, что я обязан сделать, рассматривая их как реальных людей в реальном мире,— это возместить им ту добавочную

стоимость, которую они своим трудом придали моему имуществу. Возмещение это отнюдь не должно поступить в пользу церкви, на которую они ссылаются. Они вольны, если хотят, передать его ей. Я плачу им возмещение не как представителям церкви или ее бенефициариям, а как работникам, и соответственно ценности, созданной их трудом».

Так Фихте определяет права отдельных лиц на церковные имущества. Но каково будет отношение к ним со стороны государства? По мнению Фихте, государство не может иметь иных прав, кроме тех, какими обладают частные лица. Если все индивиды, составляющие государство, порвут с церковью, перестанут верить в нее и потребуют от нее возвращения их имуществ, то государство будет вправе действовать так же, как эти индивиды, и, как государство, оно вернет обратно имущества, данные им, в качестве государства, церкви, теперь не существующей для него. Как государство, оно возьмет обратно бенефиции, раздававшиеся им от имени церкви, которая теперь для него даже не тень, а просто ничто. Как государство, оно также возьмет обратно имущества, которые потребуют от церкви отдельные лица и которые они ему передадут, а также и те, на какие не объявится законных наследников. Но гипотеза о единодушном разрыве всех индивидов, составляющих государство, с церковью и верой — химера. Лишь часть граждан может отказаться от всяких отношений с церковью. Но эта часть будет возрастать, и от ее имени государство будет предъявлять все возрастающие требования на церковные имущества.

Как видите, решение вопроса о церковных имуществах, предлагаемое Фихте,— одновременно и более смелое, и более робкое, чем решение французских революционных легистов. Оно более смелое в том смысле, что превращает требование конфискации церковных имуществ в высшее утверждение освобожденного сознания. Договор, заключенный между церковью и дарителями, не является в точном смысле слова договором; он имеет лишь субъективное значение. Он сохраняет известное значение для дарителя или для его наследников только в том случае, если они верят и продолжают верить в действенную силу церкви в невидимом мире. Следовательно, действительный разрыв чисто субъективного договора представляет собой утверждение субъективной свободы.

По мнению Фихте, человек, говорящий церкви: «Верни мне имущество, которое я или мои предки тебе подарили»,— тем самым заявляет ей: «Я в тебя больше не верю».И этот иллюзорный договор расторгается так же, как он был заключен в глубине сознания. Таким образом, изъятие церковных имуществ является одновременно восстановлением свободы мысли, и подобно тому, как видимая передача земель в руки церкви была признаком и результатом порабощения введенного в заблуждение ума, так

и требование их возврата есть признак и результат свободы, вновь завоеванной просвещенным умом. Таким образом, великая революционная экспроприация церковных имуществ превращается для Фихте в интимную и глубокую драму совести и мысли, в своего рода внутреннюю трагедию.

Да, в некотором смысле она глубже и смелее, чем простая секуляризация. На каждом клочке земли, изъятой у церкви, сияет свет освобожденной мысли. Но если исходить из необходимости действия, то какой, в сущности, робкой и парализующей оказывается эта смелость! Если бы революционная Франция основывала право на экспроприацию церкви на индивидуальном освобождении отвергнувшей веру совести, ей с трудом удалось бы оторвать от церковных владений несколько клочков земли. Франция была почти целиком католической, и, если бы для того, чтобы отобрать у бездельников-монахов, у придворных аббатов, у будуарных епископов их доходы, их аббатства и бенефиции, гражданам надо было порвать с древней верой и освободиться от всех уз, порожденных привычкой и страхом и связавших их с «невидимым» миром, то монахи, епископы и аббаты еще на столетия сохранили бы свои пышные дворцы, тучные луга и обильные десятины. Наоборот, революционеры постарались отделить широкую политическую и социальную операцию от проблемы веры.

Нет, мы не хотим касаться веры. Нет, мы не требуем от вас неверия в обирающую вас церковь. Даже если вы продолжаете верить в церковь как таковую, даже если вы верите в ее сверхъестественное происхождение и в ее сверхъестественную силу, вы имеете право не подвергаться угнетению и ограблению ее недостойными представителями. И национализацию церковных имуществ революционеры изображали не как отказ от веры, а, наоборот, как восстановление и очищение ее. Французские легисты уничтожали церковную собственность, не оспаривая прав «невидимого» и не отрицая реальности договора. Они утверждали либо вместе с Талейраном, что государство, отбирая владения церкви, оставалось верным воле дарителей, избравших церковь только за отсутствием нации, либо вместе с Туре, что церковь всегда была лишь корпорацией и поэтому никогда не имела права что-либо получать и чем-либо владеть. Но все эти юридические доводы не ставили под сомнение и даже не затрагивали саму веру и законность основанного на вере договора. Именно благодаря этому Революции удалось достигнуть цели. И когда через три года после речей Талейрана, Туре и Мирабо [25], через три года после великих мероприятий по секуляризации всех церковных земель в пользу французской буржуазии и крестьян читаешь смелые, почти вызывающие высказывания Фихте, который хочет освободить одновременно и совесть, и землю, причем вторую посредством первой, то прежде всего поражаешься этому смелому сочетанию революционного духа с духом Канта; восхищаешься тем, как

революционный пример Франции, разрушившей всю старую феодальную и церковную систему, придает наступательную силу и смелость кантианству, а кантианство сообщает глубину, внутреннюю героическую свободу несколько поверхностному революционному духу Франции. Но вместе с тем очень скоро становится ясным, что если бы революционная Франция перегрузила проблемой веры и без того страшно трудный вопрос о полной экспроприации церковных имуществ, то она потерпела бы поражение.

Сообразительные и смелые революционные легисты, сведя к минимуму груз, обременявший идущую вперед Революцию, сразу открыли ей прямой путь через лес старых предрассудков и заблуждений; но сначала они вырубили топором ровно столько, сколько надо было вырубить, чтобы Революция прошла. В старом лесу человечества сохранялось еще множество старых верований, прежних заблуждений и ропщущих голосов. Не беда! Просека для Революции была пробита. И даже земля, где рос этот древний лес, была отнята у церкви. Понемногу будут меняться и питающие ее соки. Напротив, Фихте, прежде чем национализировать и секуляризировать землю, требовал от деревьев и трав, чтобы они отказались от своих прежних напевов, от привычного шелеста под дуновением вечернего ветра. Это значило заставить Революцию остановиться у самой опушки этого неведомого темного леса.

Кроме того, чисто индивидуалистический и субъективный вывод Фихте не приводил ни к каким общим действиям — единственному решающему оружию в борьбе против грозного врага. Были бы секуляризированы не все церковные владения, а только та их часть, которую потребуют вернуть люди, освободившиеся от веры. Напротив, теория французских легистов на общих основаниях признавала недействительными все дарственные или другие договоры, лежащие в основе образования церковной собственности. Благодаря этому в руки нации были переданы все церковные имущества целиком.

Таким образом, революция в области права собственности, транспонированная на немецкий образ мышления, несколько теряла в своей силе и смелости.

Не потому, что Фихте был способен только на бесплодные спекуляции и неопределенные мечты. Наоборот, он искал точных форм, посредством которых Французская революция могла бы войти в жизнь и дух Германии. Далекий от намерения усыплять Германию пустыми сентиментальностями, он предлагает ей действовать [26]. Несмотря на все свое восхищение Руссо, идеями которого он весь переполнен, он предостерегает Германию от

---

25. См.: Ж. Жорес. Цит. соч., т. I, кн. 2, с. 32, речь Талейрана 10 октября 1789 г.; с. 37, аргументация Туре 23 октября 1789 г.; с. 50, речь Мирабо 2 ноября 1789 г.
26. Уточним: Фихте, отнюдь не желая предаваться метафизичес-

болезненной и бессильной чувствительности последнего, от его расслабляющего пессимизма. Он призывает всех граждан к решительной борьбе, одновременно свободной и согласованной, индивидуальной и коллективной, против «природы», то есть против страданий, против несправедливости, против неравенства. «Кто не чувствует страданий других людей, тот человек низменный. Кто страдает от несчастий других людей, должен стремиться избавиться от этих страданий, прилагая все силы для улучшения положения вещей в своей сфере деятельности и среди своего окружения. Даже если предположить, что все усилия его в этом направлении останутся бесплодными, сознания того, что он действует, что он в силах бороться против всеобщей коррупции, достаточно, чтобы заставить его забыть о своих страданиях. Именно против этого и погрешил Руссо. Он обладал энергией, но скорее энергией страдания, чем энергией действия; он остро чувствовал людские страдания, но гораздо слабее ощущал в себе силы, способные победить эти страдания; и он судил о других, исходя из того, что он чувствовал сам: он преувеличивал бессилие человеческого рода перед всеобщими несчастьями, так как слишком остро ощущал свою собственную слабость перед своими бедами. Он вычислил страдания, но не вычислил сил, которыми обладало человечество для победы над ними. Мир праху его, и да будет благословенна память о нем! Он действовал, он воспламенил многие души, которые потом пошли дальше. Но он действовал, почти не сознавая, что действует. Он действовал, не призывая других людей к действию, не сознавая, насколько сильны могут быть эти общие действия против всех страданий и развращенности... Поэтому Руссо изображает разум в покое, а не в борьбе; он растравляет чувствительность, вместо того чтобы укреплять разум» [27].

Да, но если Германия выходила из круга бессильных страстей, если она шла дальше Вертера, дальше Руссо, если она заимствовала у Руссо огонь души его, но для того, чтобы озарить им новый мир, если она провозглашала свою веру в действие, как индивидуальное, так и общественное, если она объявляла войну силам зла, неравенству, невежеству, нищете, рабству, то разве не потому, что неизмеримая сила действия, вздымавшая почву Франции, распространилась, как волны великого землетрясения, на соседние страны и увлекла все умы? Итак, даже в тихой и дремотной Германии под давлением внутреннего огня, очагом которого была революционная Франция, стали проступать острые вершины [28].

АНОНИМНЫЙ НЕМЕЦКИЙ КОММУНИСТ

Но разве в Германии начал уже ставиться, как это было во Франции, вопрос о собственности как таковой, о всей собственности вообще? Разве критика феодальной и церковной собственности

уже стала распространяться на все формы собственности, в том числе на буржуазные, капиталистические и другие формы? И можно ли найти в течениях немецкой мысли что-нибудь аналогичное еще не совсем ясным полукоммунистическим идеям Доливье, полуфурьеристским идеям Л'Анжа? Читая переписку Форстера, я был поражен тем, что́ он написал 19 июля 1793 г. из Парижа своей жене [29]: «Другую радость мне доставила вчера одна хорошая немецкая книга: «О человеке и его положении», выпущенная в 1792 г. in-octavo в Берлине издательством Франке. Это одно из самых замечательных сочинений нашего времени, написанное молодым человеком, который правильно думает и чувствует. Мне хотелось бы знать, кто он такой и как его имя. Поскольку полное согласие умов невозможно, есть один вопрос, по которому его взгляды расходятся с моими: это его политические идеи относительно *общности собственности*». Коммунистическая книга, вышедшая в Берлине в 1792 г., в разгар Революции, книга, вызвавшая восхищение великого и свободного ума Форстера!

ким мечтам, озабочен поисками точных форм, которые позволили бы принципам Французской революции войти в политическую и социальную жизнь Германии. Его «Основа общего наукоучения» — не только оправдание Революции, но и практические поиски средств проложить ей путь в Германии; чтобы не скомпрометировать Революцию в глазах его соотечественников, он идет на известные уступки; говоря о переходных ступенях, он стремится показать, что необходимые справедливые преобразования можно было бы легко осуществить. Ирония, резкость, негодование, гнев говорят о революционном воодушевлении Фихте.

27. В основе критики, которой Фихте здесь подвергает Руссо, лежит желание действовать, ставшее одной из тем его лекций «О назначении ученого» («Über die Bestimmung der Gelehrten», 1794). [См.: Г. Фихте. О назначении ученого. М., 1935. — *Прим. ред.*] Фихте призывает своих слушателей к действиям. «Да не позволят они страданиям сразить себя; пусть восторжествуют они над ними своими действиями. Страданию следует отвести его место в деле улучшения человечества. Оставаться на месте и стенать о гибели людей, не пошевелив и пальцем, чтобы ей воспрепятствовать, значит поступать по-женски. Тот, кто наказывает и язвительно высмеивает, не говоря людям, как они могут стать лучше, не обладает ясностью ума. Действовать, действовать — вот смысл нашего существования в этом мире!»
28. Отметим все-таки, что «Основа общего наукоучения» не произвела на современников Фихте большого впечатления. Ни один журнал не поместил отзыва на нее, и только «Иенская литературная и универсальная газета» дала суровую критику, написанную Гентцем. Даже либеральные круги проявили сдержанность. Автора «Grundlagen...» считали в Германии якобинцем даже после того, как в апреле 1794 г. он получил кафедру философии в Иенском университете (при этом он вынужден был связать себя обязательством воздерживаться в своих лекциях от каких бы то ни было демократических высказываний).
29. Forster. Briefwechsel.— «Sämmtliche Schriften», B. IX, S. 55.

Я обратил на это место внимание Эдуарда Бернштейна, который разыскал эту книгу в берлинской Королевской библиотеке [30]. В 3-м выпуске своих «Документов социализма» он опубликовал из нее часть, относящуюся к коммунизму. Главная задача книги — воспитательная, и (анонимный) автор нигде прямо и определенно не ссылается на Французскую революцию. Но возможно ли допустить, чтобы огромное политическое и социальное обновление Франции не повлияло на ум, столь увлекающийся всем новым? Кроме того, автор ссылается на сочинения Виланда, который, как мы видели, часто высказывал мнения, близкие идеям Французской революции [31]. Как мог бы молодой писатель, объявляющий себя учеником, почти духовным сыном Виланда, прочитать только те политические и социальные труды своего учителя, которые появились до Революции, и пренебречь тем, что он писал о поразительном зрелище самой Революции? Впрочем, судя по тому, как он говорит о Виланде и ссылается на него, мне кажется, что он надеется прикрыть его авторитетом свои собственные дерзания и в то же время признает, что пошел дальше Виланда.

«Моим руководителем были сочинения Виланда. В них я находил природу, охарактеризованную более ясно, чем она непроизвольно представлялась мне сама. С каждым днем мои мысли все более расходились с общепринятыми представлениями; в условиях нашей жизни и во всех учреждениях, которые должны были подготовить нас к счастью, я находил столько вещей, противоречащих этой цели, что больше не мог подавлять желания представить свои идеи на суд публики и таким образом испытать самого себя. Мои мысли обретали особую силу при чтении «Золотого зеркала» и «Истории Данишменда»...[32]. Таким образом, все то, что может оказаться в моей книге заимствованным у других, не является гнусным плагиатом, и, чтобы обезопасить себя от всяких подозрений подобного рода, я здесь открыто признаю, скольким обязан в деле своего образования отцу немецкой литературы. Как отнесется Виланд к этому использованию его собственных трудов, я вскоре узнаю либо из публичного суждения, либо из полного снисхождения молчания... Но что же для него позорного в том, что он открыл мне глаза, которые все-таки остаются моими глазами?»

Итак, он вполне сознает смелость своего начинания и то возлагает ответственность за это на Виланда, то снимает с него эту ответственность. Он хотел бы прикрыться его авторитетом и в то же время опасается, что Виланд грубо отречется от него, если он скомпрометирует его. Учитывая все предосторожности и дипломатические уловки, я склонен думать, что автор воздерживается от всяких намеков на Французскую революцию только ради того, чтобы не усложнять своего положения и иметь возможность без излишнего риска проводить свои революционные идеи.

Но я уверен, что Французская революция была тем истинным очагом, где его идеи набирали силу. Ибо от приведенных мною выше бледных жалостливых и туманных фраз Виланда о нищете поденщиков и о необходимости создания национальных рабочих мастерских очень далеко до проекта эгалитарного коммунизма, развиваемого автором.

В этом коммунистическом проекте, словно припев, без конца упоминаются «Права Человека», и, хотя у самого Виланда, как мы видели, упоминается Декларация прав, трудно предположить, чтобы это обращение к Правам Человека в 1792 г. не было отзвуком Революции. Порой даже, несмотря на всю осторожность автора, у него прорываются революционные нотки. Когда он говорит о долготерпении, о невероятной покорности народов перед лицом всякой эксплуатации и всех видов рабства, он прибавляет: «Если только отчаяние своей могучей рукой не восстановит человека в его правах». В этих словах слышится отголосок глухих раскатов Революции в соседней стране. По правде говоря, его коммунизм еще остается весьма утопическим, и в то время, как у Доливье, у Л'Анжа, у первых французских социалистов, видна реальная связь между коммунистическими идеями и революционными событиями, у него коммунистическая идея остается абстрактной, и в этой книге можно было бы видеть не более чем ученическое сочинение, если бы, несмотря ни на что, смелость некоторых ее формулировок и какая-то трепетность не связывала ее с мировым потрясением.

«Очень многие люди не имеют того, на что их потребности дают им право, и всеобщее недовольство вполне обоснованно.

По мере накопления богатств увеличиваются и мнимые потребности привилегированных; отсюда расточительность, алчность, зависть, насилие.

О, если бы было возможно, чтобы частная собственность (Privateigenthum) перестала быть единственным, столь развращающим средством распространения влияния своего «я», и если бы

---

30. «Из одного немецкого коммунистического сочинения 1792 г. Человек и его положение». («Aus einer deutschen Kommunistischen Schrift fon 1792. Der Mensch und seine Verhältnisse».— «Dokumente des Sozialismus. Hefte für Geschichte, Urkunden und Bibliographie des Sozialismus.» Éd. E. Bernstein. Berlin, 1902, B. I, S. 124—131.
31. О Виланде см. выше, с. 68, «Политическая мысль Виланда», и с. 120.
32. «История мудрого Данишменда и трех календарей. Дополнение к истории Шешиана» («Geschichte des weisen Danischmend und der drei Kalender. Anhang zur Geschichte von Scheschian») (1795). Это не продолжение «Золотого зеркала», как предполагал кое-кто из критиков, но, скорее, его опровержение, свидетельствующее о перемене, происшедшей в Виланде после 1792 г. Виланд превозносит там скромную семейную жизнь вдали от царского двора.

граждане, подобно детям в отчем доме, могли утолять свой голод за общим столом в государстве скромных размеров,— какое огромное множество преступлений и еще более пороков, этих друзей мрака и порождений роскоши, исчезло бы навсегда!»

Какой же хаос идей царил в этой раздробленной и бессильной Германии! Коммунизм, тесная семейная солидарность кажутся автору возможными только в крохотных государствах. И поэтому его коммунизм несет на себе печать ретроградности, так как отрицает великую объединенную Германию.

Но «отвечает ли это уничтожение частной собственности природе человека? Как будет существовать в будущем промышленность, если у человека будет отнята его собственность, плоды его труда»?

Заметьте, что речь идет здесь не только об аграрном коммунизме, а о коммунизме всеобщем, и в частности о коммунизме промышленном. Да, промышленность, вся промышленность сможет жить и развиваться, не нуждаясь в таком стимуле, как частная собственность.

«Это важный вопрос, и недоверие к человеческому роду оправдывается его собственными ошибками. Тебе известны слабости человека, но ты не знаешь их причины. Неужели ты серьезно думаешь, что человеческая природа не сможет дать ничего более великого? Разве ты не наблюдал, что одна и та же почва, при другой ее обработке, родила рожь вместо чертополоха? Такова же природа человека: она допускает такое бесконечное множество видоизменений, что ее можно довести до всех степеней совершенства — от чёрта до ангела. *И мы ошибаемся, если видим в нашей природе, сформированной временем и обстоятельствами, природу человека. Частная собственность, несомненно, сильный стимул к труду, и, когда жажда собственности велика, человек охотно жертвует ради нее своим трудом и даже жизнью. Но вопрос в том, чтобы узнать, действительно ли собственность является единственным средством пробудить активность человека*».

Несмотря на слишком общий характер этих положений, разве мы не имеем уже здесь первую попытку применения эволюционного и исторического метода к проблеме собственности? Человеческая природа мыслится как бесконечно гибкая: стимулирующая роль частной собственности отнюдь не отрицается. Но при других социальных условиях, в другой социальной среде могут иметь значение другие стимулы к действию.

«Неужели ты думаешь, что, если бы не было частной собственности, мы вскоре вернулись бы к состоянию дикости. Значит, нас воспитала и возвысила собственность. Но как могу я быть уверен в этом? Не потому ли, что частная собственность существует везде, где господствует и развивается промышленность?.. Опыт, насколько он может быть показательным, по-видимому, под-

утверждает этот вывод, *но, если бы сущность вещей навсегда ограничивалась их издавна установленными формами, наши самые прекрасные надежды рассеялись бы в прах*».

Здесь чувствуется мощное дыхание характерного для XVIII в. оптимизма. Да и как могло бы поразительное зрелище Французской революции, внезапно породившей столько новых форм жизни, не способствовать взлету новых надежд у человека?

Хотя частная собственность до сего времени как будто постоянно сопутствовала и благоприятствовала прогрессу, мы обнаруживаем ее также на самых низких ступенях человеческой цивилизации. Человек, живущий ловлей рыбы, не хочет, чтобы кто-нибудь притронулся к выловленной им рыбе. Дикий охотник уходит в уединенные места, чтобы дичь принадлежала ему одному, и это уединение продлевает состояние его дикости. Частная собственность не только далеко не всегда повышала жизненный уровень человека, но и не могла помешать гибели общества. На частной собственности покоилось могущество финикийцев, греков и римлян, и все эти государства распались. Наряду с существенным и действительным прогрессом жажда частной собственности и неразлучные с ней алчность и гордыня вызывали и мнимый прогресс, несший с собой погибель.

На службу капризам и прихотям моды ставятся неисчислимые силы труда. Плохие писатели оптом фабрикуют романы, чтобы хоть чем-нибудь заполнить пустые головы женщин. Истинные художники, создающие строгие и чистые формы красоты, грубо отвергаются государями и богачами, благодаря своему золоту ставшими хозяевами самого искусства и всего прекрасного. Труд и сама жизнь народов как бы обращаются в камень пышных и безвкусных дворцов, где царят тщеславие и глупость. И лишь изредка и с большим трудом удается распуститься чистому цветку красоты и благородства. Воспитатели народа, бедные, презираемые и слабые, могут внушить ему только неуверенность и уныние. Вот по крайней мере некоторые из результатов частной собственности. Ей все еще удается обманывать человека относительно ее собственной природы. Именно потому, что собственность направляет, притом часто по ложному пути, промышленность, так как заставляет производить бесполезные или бессмысленные вещи, люди думают, что именно собственность вызывает развитие промышленности. Нет, она ее извращает, а не создает. Она толкает ее на ложный путь, а не служит для нее двигателем.

Основой всякой деятельности является сознание силы. Если труд питает и направляет это сознание с юных лет, то применение этой силы становится абсолютной необходимостью, а способ применения этой силы определяется отчасти тем направлением, какое ей систематически придавалось, а отчасти вкусами нации. Дело воспитания — решить, каким образом будет действовать эта рабочая сила. И в тот день, когда интересы государства не станут

искусственно смешивать с интересами каст эксплуататоров и угнетателей, в тот день, когда государство сбросит с себя тяжкое бремя паразитизма законоведов, таможенных сборщиков, палачей и монахов, в этот день непреодолимая сила труда направится на удовлетворение общих интересов государства и отдельных людей, на достижение всеобщего широкого и здорового благосостояния.

В общинах моравских братьев, у которых нет никакой личной собственности, которые являются лишь временными управляющими общим имуществом, процветают и труд и промышленность. И если эти люди кажутся угрюмыми и мрачными, то исключительно из-за суровости их религиозных законов, а вовсе не потому, что коммунизм освободил их от забот и жизненной борьбы.

Важно изменить не политическую, не внешнюю форму обществ. Самые различные политические режимы могут быть хороши, если они ограждают граждан от произвола. Надо обновить нравы, систему воспитания, общественные учреждения, чтобы мир и радость, даваемые общей собственностью, пришли на смену столкновениям и страданиям, порождаемым частной собственностью.

Но как же быть с самыми низкими и, однако, с самыми нужными занятиями, за которые люди берутся лишь из крайней необходимости, когда уже не приходится думать о приличиях? Но если существуют профессии, внушающие отвращение, то это отчасти потому, что они грязные; имеется очень мало таких занятий, которые нельзя было бы уничтожить или сократить благодаря другому образу жизни. Это отвращение связано также с ложным пониманием приличий, и я согласен, что есть много работ, вида которых нежная дама по имени «Благопристойность» не может вынести и минуты, не прикрыв лицо веером. Для какого-нибудь господина из дворян трудно и помыслить о том, чтобы сшить себе или другому пару башмаков. Но я сомневаюсь, чтобы этот род занятий внушал ему большее отвращение, чем внушало бы какому-нибудь честному гражданину в обществе, основанном на законах природы, роль господина из дворян... Эта изменчивость мнимых приличий должна была бы нас успокоить, даже если бы разнообразие людских вкусов и склонностей, которые могут быть направлены на удовлетворение общественных потребностей, не служило бы для нас и без того гарантией, что на любую работу всегда найдутся охотники».

Как видите, это все то же постоянное нелепое возражение, еще и ныне выдвигаемое против социализма.

Но не исчезнут ли или не ослабеют ли те глубокие, внутренние радости, которые дает частная собственность?

«Я сам построил себе этот дом; с ним связана часть моей жизни, и поэтому мне дорого это имущество. Я посадил это дерево, поса-

дил его для себя и жду, чтобы оно давало плоды именно мне, и никому другому, и чтобы оно дарило мне прохладу. И мысль, что оно будет принадлежать моим детям и что, когда я буду уже давно покоиться в земле, они смогут собираться под этим деревом и благословлять меня, радует мое сердце! И пойми — если ты теперь отнимешь у меня мое дерево и мой дом, то моего счастья как не бывало! — Сохрани бог, чтобы во всем государстве счастье иссякло так же, как оно иссякло в твоем сердце! — Значит, мое счастье — истинное счастье? — Это истинное счастье; но скажи мне, почему твой сосед смотрит так печально.— Это не удивительно: у него пала лошадь, и он слишком беден, чтобы купить себе другую, а чиновник тем не менее требует с него барщины.— Бедняга! Но кому же принадлежала павшая лошадь? — Кому? Ему самому, и никому другому.— И у этого человека нет посаженного им дерева, в тени которого он мог бы отдохнуть и насладиться прохладой? — Есть, но, когда нас удручают заботы и горе, никакая тень не будет приятна.— А не желал бы ты, чтобы твой сосед тоже был весел? — Как не желать? Но кто может ему помочь? — Вот видишь, как раз в этом и весь вопрос. Кто может помочь ему? Кто поможет ему? Немало жителей этой деревни владеют бóльшим, чем им нужно; но этот *излишек* принадлежит *им*, и бесчувственное «я» не хочет ничего знать о страданиях другого.— Так ты ему поставишь в вину то, что он, имея этот излишек, не отдает его другому? — Это не совсем так. Человек, равнодушный к страданиям другого, должен остерегаться сам оказаться в таком положении, когда ему заплатят той же монетой. Но зло, неизбежное в данных условиях и, следовательно, извинительное,— перестает ли оно поэтому быть злом? — Разумеется, нет.— Перестает ли оно ранить благородное сердце, которое хотело бы видеть радость вокруг себя? — Разумеется, нет.— А если бы страдания твоих братьев исчезли в тот момент, когда это дерево перестало бы быть *твоим*? Тяжела ли была бы для тебя эта жертва? — Нет, клянусь богом, не тяжела! — Я так и знал, что сердце твое не столь мало, чтобы довольствоваться только своим счастьем. О, когда человек счастлив один, то это жалкое счастье, счастье, которое можно лишь оплакивать! Когда тщеславие любуется собой, мудрость смеется. Но когда эгоизм впитывает, как губка, все творимое жизнью и остается холоден к страданиям и смерти других, тогда дух человечности плачет и закрывается траурным покрывалом, сотканным из печальной судьбы человечества.

О, подумай, каким будет для тебя счастьем, когда ни одно лицо не будет омрачено горем и заботами, когда на лицах людей появится чистое выражение сочувствия, когда невидимый обмен этими отрадными чувствами станет как бы всеобщим обменом безмятежностью и покоем; ибо человек может достигнуть такой степени счастья. Тогда ты сможешь сохранить свое дерево и радо-

ваться его тени.— Как я должен понимать это? Дерево больше не принадлежит мне. Какое же я имею на него право? — Но разве только собственность могла бы дать тебе право пользоваться какой-то вещью? — А как же иначе? — Предположи, что все семьи в твоей деревне объединились, чтобы сделать общими их имущество и их земли, и что все это считается собственностью общества, из которой каждый будет получать, что ему нужно. Все будут питаться за общим столом в общем доме, где слабый будет следовать примеру сильного, невежественный — учиться у образованного; превосходное средство обмена полезными мыслями. Работу каждого будет определять старейший, единственный глава. Частные потребности каждого члена государства составят предмет заботы самого государства. Какая перемена точки зрения! Существование каждого человека более не зависит от его собственных слабых сил: за него отвечает все общество. Счастье и несчастье утратят свою силу; судьба больше не играет слабыми: человечество оказывает ей твердое сопротивление, и человек становится хозяином своей судьбы.— Хорошо, но ты только что обещал мне право, равносильное праву собственности на вещи, которые, однако, мне более не принадлежат.— У тебя остаются твое дерево и твой сад; ибо общество взяло у тебя твою собственность не для того, чтобы ты обеднел, а для того, чтобы ты имел больше и чтобы никто не терпел недостатка в необходимом. Что мешает тебе сажать деревья и радоваться приносимым ими плодам? Кто помешает твоим детям благословлять тебя? Кто станет выгонять их из этого жилища, пока они будут чувствовать себя в нем счастливыми? Или мысль, что это дерево принадлежит тебе, и только тебе, что его тень принадлежит тебе, и только тебе, возбуждает в твоем сердце столь жалкое чувство счастья,что для наслаждения им тебе нужно вообразить, что этого права лишен весь род человеческий?

...Когда мы станем способными к другим чувствам и другим радостям, мы более не будем находить столь утешительной возможность оставлять детям свое состояние.

Ведь такое множество богатых молодых людей именно из-за своего богатства считают для себя необязательным разумно и с пользой применять свои силы. Поэтому отцы должны были бы бояться этого ужасного испытания для своих детей. В самом деле, может ли отец желать для своих детей чего-нибудь более разумного, чем видеть их счастливыми?»

Как мы видим, это коммунизм, близкий к коммунизму «Кодекса природы» Морелли [33]. То обстоятельство, что автор не делает никакой попытки связать коммунизм с мощным революционным движением, придает этому немецкому произведению утопический характер, несколько неприятный в этот период активного обновления и социальной реорганизации. В то время как во Франции зарождающийся коммунизм был связан всеми своими корнями

с революционной действительностью, в то время как он требовал осуществления провозглашенных наконец прав человека и вмешивался в кризис, связанный с ростом цен, и в организацию продовольственного снабжения, в Германии он был как бы облаком мечты, плывущим высоко в холодном небе, едва озаренным бледным отблеском отдаленных событий. И все же не лишено интереса, что в немецких умах, пришедших в брожение под влиянием Революции, зародились зачатки коммунизма. Практический и пылкий ум Форстера видел в этой книге нечто большее, чем просто ученическое сочинение. Несомненно, Форстер был противником коммунизма. Но в жизни, полной испытаний и борьбы, на которую его осудили превратности Революции, он мог бы почувствовать только отвращение к абстрактному и пустому сочинению.

В атмосфере, накаленной Революцией, рождались самые разнообразные идеи. Любопытная вещь! Едва успел Форстер сделать в письме от 19 июля 1793 г. свои оговорки относительно коммунизма, как был вынужден резко протестовать против притязаний собственности навязать себя как неоспоримое право. В Германии победила контрреволюция; и она провозгласила, что никто не имеет права писать, предварительно не признав собственности в качестве главной и незыблемой основы. Очевидно, под прикрытием «права собственности» вообще, контрреволюция хотела сохранить ее старые формы, феодальные и церковные. Форстер негодует в своем письме от 23 июля [34]:

«По тону прокламации я вынужден заключить, что всякой справедливости, всякой истинной свободе в Германии пришел конец. *Как, если хочешь получить разрешение писать, то надо признать чувство собственности основой общественного порядка? А между тем этот порядок мог бы прекрасно существовать без этого чувства и даже без самого предмета* [*собственности*], *который, как бы ни важна была его роль теперь, не может быть объявлен главнейшим*».

Форстер сделал большой шаг вперед в течение нескольких дней. Произошло ли это под влиянием недавно прочитанной им книги, коммунистические тенденции которой, сначала им оспариваемые, мало-помалу оказывали свое действие на его ум? Или это было главным образом возмущение наступившей в Германии

---

33. «Code de la nature ou Le véritable esprit de ses lois de tout temps négligé ou méconnu» (1755). [См.: Морелли. Кодекс природы, или Истинный дух ее законов. М.—Л., 1947.— *Прим. ред.*] Это произведение, долгое время приписывавшееся Дидро, принадлежит перу Морелли, о личности которого еще почти ничего не известно. Это одна из наиболее значительных рационалистических коммунистических систем XVIII в.

34. Письмо к жене. Forster. Briefwechsel.— «Sämmtliche Schriften», B. IX, S. 58.

реакцией, стремившейся заковать мысль в оковы? Или же Форстер решил, что различные формы частной собственности, несмотря на свой временный и поверхностный антагонизм, были по существу едины и что чрезмерная защита частной собственности против коммунизма отвечает интересам самóй феодальной собственности? Или же это произошло под влиянием книги коммунистического характера англичанина Годвина, которая вместе с коммунистическим сочинением немецкого автора открыла деятельному уму Форстера новые пути? По любопытному совпадению он как раз в эти июльские дни 1793 г. прочитал замечательную книгу Годвина.

В том же письме от 23 июля он пишет: «Передо мной книга, очень заинтересовавшая меня,— два тома in quarto Уильяма Годвина «Исследования о политической справедливости («Enquiry on political justice» [35]). Это очень серьезный философский труд, в котором автор изучает способы основать наконец всякое человеческое общество и все государственное устройство на основе разума, морали и их незыблемых принципов. Это сочинение, исполненное пылкой и священной жажды истины, богато сведениями, в будущем оно, несомненно, окажет влияние, даже если в настоящее время оно не смогло оказать немедленного воздействия. Я делаю из него как можно больше выписок для себя, так как книга принадлежит Национальному Конвенту, которому она была прислана».

Какие драматические встречи идей и умов! И какая связь демократии и коммунизма! Самый смелый революционный борец Германии, единственный человек действия, которого дала немецкая демократия, находится в Париже, и там на другой день после того, как он с удовольствием, хотя и не без чувства внутреннего сопротивления, прочитал сочинение немецкого коммуниста, он с радостью читает сочинение великого английского коммуниста — экземпляр, присланный последним Национальному Конвенту.

Французская революция далеко превзошла даже свои собственные непосредственные утверждения, даже те нынешние формы, в которые она облекала действительность. Она могла отвергать аграрный закон, могла сохранять частную собственность, но она была крайней демократией, и поэтому демократический коммунизм устремлялся к ней и узнавал в ней себя. Она была как бы пылающим очагом всех новых идей, и бушевавшее в этом горниле пламя и жар достигали такого накала, что в нем могли расплавиться отлитые ею временные формы. Поэтому в сознании внимательно прислушивавшегося к Революции Форстера несколько абстрактный и утопический коммунизм немецкого автора внезапно загорелся и засиял всеми красками жизни.

Итак, не было ни одного направления французской мысли, которое бы не нашло отклика и эквивалента в Германии. По-види-

мому, Революция в целом, всеми своими элементами, всеми своими тенденциями, воздействовала на Германию и проникала в нее. Но в каком ослабленном виде находим мы там все эти силы! Как медленно и неуверенно развивается в Германии движение, которому мешает недоверие формирующегося национального духа! Германия лишь мало-помалу и в националистической форме усвоит некоторые идеи Французской революции. И уже в конце 1792 г. можно было с уверенностью сказать, что Французская революция натолкнется в Германии на множество препятствий.

35. У. Годвин (1756—1836). См. далее, с. 446, гл. X, посвященную Годвину.

Глава шестая

*

РЕВОЛЮЦИОННАЯ МЫСЛЬ В ШВЕЙЦАРИИ

В Швейцарии Революция тоже сталкивалась с сопротивлением и проявлениями недоверия [1]. В ряде кантонов, в Цюрихе, в Берне, влияние аристократии было господствующим. Патрициат из дворян и богатых буржуа сосредоточил в своих руках почти всю власть.

РЕВОЛЮЦИЯ И КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ В ЖЕНЕВЕ

В Женеве, как это очень ясно показал г-н Анри Фази в своем содержательном исследовании о конституциях Женевы, борьба между силами аристократии и силами демократии происходила на протяжении всего XVIII в. [2]. В 1781 г. демократы ценой больших усилий добились кратковременной победы. Эдиктом 10 февраля 1781 г. были расширены полномочия Генерального совета, то есть народа. Существенные гарантии были предоставлены уроженцам, то есть потомкам людей, обосновавшихся в Женеве. Свобода труда и промысла, ранее признававшаяся лишь за некоторыми категориями буржуазии, была распространена на бóльшую часть жителей, и феодальная система была довольно основательно урезана.

«Составные элементы феодального порядка, а именно барщина и реальная и личная талья, были отменены без возмещения во всех землях, принадлежавших государству. Что же касается людей, подвластных сеньорам и обязанным барщиной и различными повинностями, то они могли от этого освободиться, уплатив своему сеньору «цену указанного освобождения, определенную экспертами, избранными по взаимному согласию обеими сторона-

ми, или, за отсутствием их, назначенными Советом». Это означало, что отмена феодальных привилегий была декретирована в Женеве за восемь лет до Французской революции (Анри Фази)[3].

Это был как бы отзвук проектов Тюрго, порой усиленный. Но победа демократии и новых социальных сил в Женеве была недолговечной. Страшась демократической заразы, аристократические кантоны Цюрих и Берн решили вмешаться. И французский министр иностранных дел г-н де Верженн поддержал их. Франция, по-видимому, действовала не под влиянием опасений политического характера, поскольку она лишь недавно оказала помощь делу освобождения Соединенных Штатов Америки и у нее не было оснований считать, что пример маленькой Женевской республики может оказаться опасным для ее монархического строя. Но Франция, несомненно, опасалась, что традиционное влияние ее резидента в Женеве и все ее политическое влияние в кантонах ослабнут, если будут поколеблены те маленькие олигархии, которые она считала полностью себе подчиненными [4].

Соединенными силами Франции и кантонов демократическое движение в Женеве было раздавлено. Вожди движения — адвокат дю Роврэ, банкир Клавьер [5] — были вынуждены эмигрировать.

---

1. См.: W. Œ s c h i. Geschichte der Schweiz im XIX^ten Jahrhundert, B. I, Leipzig, 1903; Ed. C h a p u i s a t. La Suisse et la Révolution française. Genève, 1945; A. M é a u t i s. Le club helvétique de Paris (1790—1791) et la diffusion des idées révolutionnaires en Suisse. Neuchâtel, 1969; J. S u r a t t e a u. Occupation, occupants et occupés en Suisse de 1792 à 1814.— «Occupants, occupés, 1792—1815. Colloque de Bruxelles, 1968». Bruxelles, 1969. О Базеле см.: G. G a u t h e r o t. La Révolution dans l'ancien évêché de Bâle. T. I: «La République rauracienne». Paris, 1908. О Берне см.: R. F e l l e r. Geschichte Berns. T. IV: «Der Untergang des Alten Berns, 1789—1798». Bern, 1960. О Цюрихе см.: W. v o n W a r t b u r g. Zürich und die französische Revolution. Basel und Zürich, 1956.
2. H. F a z y. Les Constitutions de Genève. Genève, 1890. В более широком аспекте см.: Ed. C h a p u i s a t. Genève et la Révolution française. Genève, 1912; M. P e t e r. Genève et la Révolution. Genève, 1921.
3. H. F a z y. Op. cit., p. 150; H. F a z y. Genève de 1788 à 1792. Genève, 1917. Фактически общей работы о революции и контрреволюции в Женеве накануне 1789 г. пока нет.
4. См.: H. T r o n c h i n. Un médecin du XVIII^e siècle: Théodore Tronchin. Paris, 1906. В письме к своему брату Франсуа от 20 января 1781 г. Троншен приводит следующие слова Верженна: «Могу ли я не заботиться о вашей стране, ведь вы проявили так много заботы обо мне. Я вам ручаюсь, что задушу демагогию, эту гидру о 1200 головах».
5. Дю Роврэ (1747—1814) — адвокат, один из вождей «представителей» (народной партии), член Совета двухсот (1766 г.), генеральный прокурор в 1779 г.; вернулся в Женеву в 1789 г.

   Клавьер (1735—1793) — негоциант и банкир, член Совета двухсот, был вынужден эмигрировать в 1782 г. В Париже он сблизился с Бриссо и Мирабо, бóльшую часть финансовых сочинений которого он составил. Занимал пост министра государственных налогов (министра фи-

и Женеве пришлось подчиниться олигархической и притеснительной конституции, которая грубо, как в Женеве, так и за ее пределами, урезала свободу печати и собраний и запретила печатать без особого на то разрешения Малого совета какие-либо отзывы о законах страны. Эта конституция лишала Генеральный совет, т. е. народ, большой части его суверенитета, она лишала его права назначать половину членов Совета двухсот и права ежегодно устранять четырех членов Малого совета и почти свела на нет право «*представлений*», т. е. петиций.

В то время феодальная система представлялась столь устаревшей и невыносимой, что женевская реакция не осмелилась в 1782 г. полностью отменить освободительные меры, проведенные эдиктом 1781 г. Но она их основательно урезала. Она сохранила, ослабив их, постановления, касавшиеся государственных земельных владений. Осталась в силе отмена без возмещения личной тальи, а освобождение от реальной тальи, которое эдикт 1781 г. отменил без возмещения, было обусловлено выкупом. Но в отношении ленных владений частных лиц феодальная система была восстановлена полностью.

Дю Роврэ, Клавьер и другие эмигранты, ставшие друзьями Мирабо, который с пристальным вниманием следил за ходом всех освободительных движений в Европе, за всеми благородными усилиями человеческого ума, образовали в Париже небольшую, но пылкую колонию [6]. Однако с 1782 до 1788 г. силы реакции господствовали в Женеве. Так же, как и во Франции, волнения в Женеве в 1789 г. были вызваны вначале крайним вздорожанием хлеба. Зима была очень суровой. Рона и Женевское озеро замерзли, не хватало пшеницы, хлеб ужасно вздорожал. Народ восстал, требуя снижения цены на хлеб до 4 су за фунт, и в своем порыве разорвал путы, созданные Конституцией 1782 г. [7]

Городские власти предложили, а народ одобрил в феврале 1789 г. 1321 голосом против 52 текст эдикта, призывавшего изгнанных вернуться, восстанавливавшего прежнюю буржуазную милицию, сократившего налоги, предоставлявшего право гражданства уроженцам четвертого или пятого поколения и признававшего в принципе, что члены Малого совета должны избираться народом. Но осуществление этого принципа было отсрочено на десять лет. Однако это означало, что будущее принадлежит демократии. Народ выразил свою радость в массовых празднествах.

В это же время из Франции в Женеву стало доходить дыхание свободы и революции. Сильное либеральное движение в Дофине и в Штатах этой провинции вызвало мощные отзвуки в Женеве [8]. Между Женевой и Греноблем установились постоянные связи. Мануфактура, производившая крашеные холсты, построенная в Женеве на берегу Роны, вблизи озера, там, где ныне расположена гостиница Берг, подсказала одному из Перье мысль основать такую же мануфактуру в Визиле, и один из Фази, семейства, из

лона которого выйдет великий женевский демократ Жан-Жак Фази [9], был привлечен в качестве служащего на новую фабрику в Визиле. Он находился там в 1789 г. и присутствовал на празднествах, устроенных семейством Перье в честь Штатов Дофине. В Женеве в то время часто проживал (вероятно, он имел там летний дом) королевский прокурор при Гренобльском суде. Он находился там в то время, когда Мунье давал показания о событиях 5 и 6 октября, и слышал их; текст его показаний я нашел в архивах Женевы [10].

«Я не был очевидцем убийств, совершенных в Версале. Г-н де Мирабо встал за моей спиной и сказал мне: «Г-н председатель, из Парижа идут 40 тыс. вооруженных людей; ускорьте обсуждение, закройте заседание, скажите, что вы идете к королю». Я замечаю, что тот, кто мне это говорит,— г-н де Мирабо. Удивленный, я отвечаю: «Я никогда не тороплю выступающих. Я нахожу, что их слишком часто торопят». Г-н де Мирабо ответил: «Но, милостивый государь, эти 40 тыс. человек!» Излишне приводить мой ответ».

О скудоумный человек, подозрительный, обидчивый, ограниченный! Это «я никогда не тороплю выступающих»— образец героизма комического и глупого.

нансов) в жирондистском правительстве в марте 1792 г. и вторично — после 10 августа. Арестованный вместе с жирондистами, Клавьер покончил с собой 8 декабря 1793 г.

О событиях в Женеве см.: Brissot. Le Philadelphien à Genève, ou Lettres d'un Américain sur la dernière révolution de Genève, sa constitution nouvelle, l'émigration..., pouvant servir de tableau politique de Genève jusqu'en 1784. Dublin, 1783.

6. О женевской колонии и, в более широком плане, о швейцарской колонии в Париже см.: A. Mathiez. La Révolution et les étrangers. Cosmopolitisme et défense nationale. Paris, 1918.
7. В какой мере революция в Женеве была связана с эволюцией экономической конъюнктуры? П. О'Мара показал, что кривые различных цен в Женеве в XVIII в. сходны с соответствующими кривыми во Франции того времени. (P. O'Mara. Geneva in the eighteenth century. A socio-economic study of the bourgeois city during the Golden Age. 1956, диссертация, защищенная при Калифорнийском университете.)
8. О провинции Дофине и предшествовавших Революции волнениях см.: Ж. Жорес. Цит. соч., т. I, кн. 1, с. 135—136.
9. Жан-Жак Фази (1794—1878) — швейцарский политический деятель, публицист, основал в 1826 г. газету «Журналь де Женев», депутат Большого совета в 1846 г. Один из руководителей вооруженного восстания женевских демократов (октябрь 1846 г.), которое свергло консерваторов и привело к власти радикалов. Сыграл видную роль в разработке демократической Конституции, принятой народом 7 июня 1847 г. Фактический глава женевского правительства до 1861 г.
10. Мунье (1758—1806) вышел из состава Учредительного собрания после октябрьских событий 1789 г. и нашел себе убежище в Женеве.

Под влиянием Французской революции демократическое движение в Женеве все усиливалось. Граждане города требовали народной конституции, немедленного осуществления принципа избрания народом членов Малого совета, отсроченного на десять лет. В движение включились и сельские жители. 15 августа и 18 декабря 1790 г. они обращались к «Досточтимым светлостям» Женевы с петицией о предоставлении им гражданского и политического равенства. В этой петиции они требовали полного упразднения феодального порядка.

На сей раз они не ограничиваются, как в эдикте 1781 г., государственными землями, а требуют отмены во всех ленных владениях частных лиц всяких личных повинностей и выкупа цензов «по умеренной цене». Помимо этого, они требуют упразднения десятин и выплаты возмещения за них государственным казначейством.

Кроме того, размер пошлины, уплачиваемой сеньору при переходе имущества в другие руки, должен быть для частных владений таким же, как и для государственных владений,— 12% стоимости имущества. Они требовали также менее обременительной системы воинской повинности, которая не требовала бы от крестьян столь часто являться для службы в город; организации народного правосудия, осуществляемого арбитрами, избираемыми на основе всеобщего избирательного права; предоставления права голоса всем жителям. Они протестовали против фискальных привилегий, которыми пользовались богатые граждане города. Налог взимался с дохода, и загородные дома буржуазии не облагались, как не приносящие дохода, тогда как поле землепашца было обременено чрезмерными налогами. (Archives de Genève.)

Как видите, это целая, обширная и точная, программа требований. Она означала конец феодального порядка и рождение эгалитарной демократии. В других кантонах, где развитие событий в демократическом духе шло куда медленнее, чем в Женеве, аристократия сохраняла свою силу. Но все олигархические власти были охвачены тревогой.

Да и в самой Женеве аристократия начиная с 1790 г. подумывает об организации сопротивления. И для сохранения своих привилегий она прежде всего обращается к Англии. Англия была в числе держав, которые гарантировали независимость Швейцарской конфедерации, а кроме того, она пристально следила за действиями Франции повсюду в мире. Вот почему тактика женевской аристократии с самого начала состояла в том, чтобы убедить английское правительство в следующем: революционная Франция, покорив народы сначала с помощью своих идей, а затем и путем вооруженной силы, посягнет на суверенитет Женевы и кантонов. В Архивах Женевы я нашел на сей предмет весьма любопытную переписку. Один из представителей городских вла-

стей, г-н Деюк, пишет 11 августа 1790 г. милорду Лидсу, первому государственному секретарю его британского величества:

«Я тоже полагал, что эти тучи затянут все небо, когда нас достигнут тучи, которые сгущаются по соседству с нами... Я знал о беспокойстве Совета и о тревоге, охватившей в то время Б..., еще до того, как вы оказали мне честь осведомить меня об этом. Мне, однако, кажется, что сама природа вещей должна бы нас успокоить на этот счет. Ибо было бы противоестественно, чтобы люди имущие пожелали связаться со страной, обремененной долгами. Что касается мануфактур, то, как только они свяжутся с таким же порядком, они поставят себя в такое же положение».

Однако если в тот день г-н Деюк несколько успокаивал английское правительство, то другие сообщения должны были, наоборот, встревожить последнее, как это видно из ответа, отправленного из Уайтхолла 31 августа 1790 г.:

«Я представил королю письмо, которое вы любезно отправили мне 24 июля и в котором сообщаете о тревоге, вызванной поведением в Республике неких французов, по-видимому желавших добиться принятия принципов, произведших столь неожиданно Революцию в их королевстве. Хотя надлежит надеяться, что Женевскую республику не постигнут никакие неприятности вследствие охватившего соседнюю нацию духа новшеств, я очень рад заверить вас, господа, как повелел то король, в искреннем участии, с которым Его Величество неизменно следит за процветанием вашей Республики, в коем, как есть все основания полагать, очень заинтересованы и соседние державы, так что едва ли возможно, чтобы они допустили какие-либо угрозы вашей безопасности и независимости, не став своевременно на их защиту».

В своей дипломатической переписке Деюк жаловался на демократические тенденции в Женевском государстве. Женевский посланник в Париже Троншен, всецело преданный интересам аристократии, возбуждал тревожные настроения своих соотечественников. Он писал из Парижа 18 ноября 1790 г.:

«Граф де Флао сказал мне, что аббат Грегуар, депутат Национального собрания, показывал письмо, полученное им из Женевы, в котором сообщалось, что *партия крепнет* и что *дней через восемь можно будет поднять восстание и отделаться от неприятных людей*. Вы легко поймете, милостивый государь, какое впечатление способно произвести подобное сообщение на мой ум, уже давно осознавший, что движение врагов нашей родины будет копировать движение, осуществленное во многих местах, и что у них жестокие замыслы. Я немедленно снесся с герцогом де Ларошфуко с просьбой проверить этот факт, не теряя ни минуты».

Тревога Троншена была чрезмерной. Конечно, не было никакого заговора, никакого замысла у Франции произвести рево-

люцию в Женеве. Но многие французы, приезжавшие в Женеву по делам или к знакомым, неизбежно способствовали распространению революционных идей, которыми они были полны. И аристократов охватил страх. Я представляю себе, что Мунье, посетив проездом Женеву, немало способствовал охватившей их тревоге.

Самым жестоким ударом для аристократии кантонов был «мятеж» швейцарских солдат полка Шатовьё в Нанси [11]. Это был как бы сигнал к восстанию, исходивший как раз от тех, кто по своему назначению и по договору являлись защитниками «законной власти». Это подрывало ту репутацию «верности», которой Швейцария пользовалась испокон веков. Это подрывало также основы выгодного военного промысла. Волнение охватило все кантоны, большие и малые, Унтервальден так же, как и Берн, перед лицом этой национальной катастрофы. Сразу же было принято решение о применении жестких санкций. В частности, городские власти Берна пишут 19 августа 1790 г. «достохвальным кантонам» Конфедерации:

«Мы рассматриваем восстание, которое вспыхнуло в швейцарском полку Шатовьё, стоящем гарнизоном в Нанси, как событие крайне важное. Это побудило нас запретить с сего дня всем и каждому из этих унтер-офицеров и солдат доступ на нашу территорию и принять против тех из взбунтовавшихся, которые окажутся нашими уроженцами, строжайшие меры, вплоть до лишения их привилегий и прав гражданства. Мы не сомневаемся в том, что все швейцарские кантоны применят вместе с нами это средство *спасения чести нации*».

Спустя год, когда в связи с принятием королем Конституции 1791 г. [12] Национальное собрание Франции приняло закон об амнистии, оно выразило пожелание, чтобы эта амнистия была распространена и на солдат, осужденных в Швейцарии. Король передал это пожелание, но кантоны ответили отказом, то ли полагая таким образом угодить тайному желанию короля, то ли потому, что в самом деле не могли простить солдатам столь грубого нарушения традиций воинской дисциплины, составлявших до сих пор «честь» нации и обеспечивавших ей благосостояние.

Но после 10 августа, когда революционная Франция, вступив в борьбу с королем Сардинии, готовилась перенести военные действия в Савойю, к самым воротам Женевы, тревога аристократической партии достигла предела, и даже некоторые демократы, опасаясь узурпации и вторжения Франции, начали волноваться. Люди вроде дю Роврэ, которые всегда боролись в Женеве за интересы народа и свободу, стали сближаться с людьми из аристократической партии во имя сохранения независимости Женевы, и это послужило для Франции предостережением о необходимости действовать очень осторожно. Женева ожидала помощи главным образом от Англии. Но английские министры не решались ринуться в бурю. Они следили за ходом событий и не хотели принимать

скороспелых решений ради довольно незначительных интересов. Троншен, который поспешно отправился в Лондон умолять английское правительство о помощи, писал 20 сентября и 16 октября:

«Обстоятельства приняли слишком серьезный характер, чтобы можно было допустить малейшую небрежность. Но милорд Гренвиль находится в деревне. Был у меня с визитом г-н дю Роврэ в сопровождении г-на Ребаза [13]. Они сходятся в том, что нельзя далее откладывать нашу просьбу о посылке войск на помощь швейцарцам, поскольку, как они знают, война королю Сардинии объявлена. Но они полагают, что если французы потребуют для своих войск разрешения пройти через наш город в походном порядке, то невозможно, в силу декретов, отказать им в этом...»

Одновременно Троншен намекает на подрывные интриги, которые ведутся в соседних со Швейцарией французских департаментах.

«Я рекомендовал вам, господа, вспомнить о связях, которые можно установить в департаменте Юра. Но я полагаю, что время для этого еще не наступило, *потому что лица, мне известные и сделавшие мне предложения, которые некоторое время тому назад пользовались здесь доверием, не пользуются им более с тех пор, как королевство находится во власти мятежников*».

Как далеко раскинулась сеть заговора, которую разорвало восстание 10 августа!

«*По существу, речь шла об объявлении желания Франш-Конте присоединиться к швейцарским кантонам*; это должно остаться в тайне. Надеюсь иметь возможность обратиться к г-ну Питту через г-на Тилларсона, которого он знает с хорошей стороны». (25 сентября 1792 г., Archives de Genève.)

Но 16 октября, после встречи с лордом Гренвилем, он добавил: «Я не могу заставить министра покинуть ту позицию осмотрительности, которую кабинет, по-видимому, давно занимает».

В то время английские министры еще не решались вступить

---

11. О деле швейцарских солдат полка Шатовьё см.: Ж. Жорес. Цит. соч., т. I, кн. 2, с. 169.
12. Точнее, принятый 14 сентября 1791 г. Учредительным собранием декрет об амнистии был применен к осужденным солдатам полка Шатовьё после декрета Законодательного собрания от 31 декабря 1791 г. («Moniteur», XI, 15.) 15 апреля 1792 г. Собрание приняло решение о проведении «праздника свободы», который должен был увековечить подвиг «славных солдат Шатовьё».
13. Ребаз (1737—1804) эмигрировал в Париж после поражения демократического движения в 1782 г. С 1789 г. поддерживал связь с Мирабо, в 1790 г. становится его сотрудником. В 1792 г. назначен временно поверенным в делах Женевской республики в Париже, позднее — посланником (1794—1796).

в борьбу с Францией. Генерал Монтескью, двигаясь из Савойи, вступил в Женеву. Но он там не задержался. Он заключил с городом соглашение, которое регулировало отход французских войск и ограничивало численность швейцарских войск, которые могли стоять гарнизоном в городе. Это стало предметом одного из обвинений, предъявленных Конвентом Монтескью. Его упрекали в том, что он пощадил женевскую аристократию и дал возможность создать у ворот Франции очаг сопротивления и контрреволюции [14].

В самой Женеве демократы были в нерешительности. Им бы хотелось, чтобы действия Франции дали демократическому движению решающий импульс. Но они опасались последствий военной оккупации. Они мечтали о том, чтобы между Францией и Европой поскорее был заключен мир и чтобы революционная Франция, освобожденная от необходимости действовать силой оружия, получила возможность действовать силой примера и пропаганды. На двери учрежденного в то время клуба можно еще и теперь прочитать надпись «МИР», вырезанную ножом и неоднократно повторенную. Это был, как мы видели, также лозунг Форстера и немецких революционеров.

Что до Клавьера, бывшего банкира и женевского революционера, то, став министром финансов революционной Франции в жирондистском правительстве, образованном после 10 августа, он не стал действовать заодно со своими прежними товарищами по борьбе, дю Роврэ и Дюмоном. Они стремились предохранить от всяких посягательств независимость Женевы, даже рискуя спасти таким образом аристократию. Клавьер же стремился раздавить аристократию, даже рискуя повредить делу независимости Женевы. Он испытывал острую ненависть к патрициям, этим жестоким эгоистам, которые преследовали его, и ему казалось нестерпимым, чтобы под предлогом защиты Женевы солдаты аристократических кантонов Цюриха и Берна стояли в ней гарнизоном [15].

Женевские власти послали делегатом в Париж некоего Гаска, который должен был повлиять на членов Собрания и на Дипломатический комитет [16]. Тайно ему помогали в его демаршах Дюмон и дю Роврэ. Но Клавьер оказался несговорчивым. Зато Бриссо, с которым они встретились у Клавьера, показался им, напротив, покладистым. Странный человек этот Бриссо! Своими речами он разжигает войну, он толкает к пропаганде с оружием в руках, к мировой революции, а затем в деталях пытается смягчать, ослаблять столкновения. Он вмешивается во все дела и портит их все своим дряблым и немощным прекраснодушием.

«Мы нашли Бриссо гораздо более разумным, чем первого [Клавьера]. Он говорил с нами обо всем этом гораздо более откровенно и беспристрастно. Из этой второй беседы мы заключили, что, по его мнению, Франции не следовало воевать со швейцарцами, жестко обращаться с Женевской республикой, насильственно

заставлять соседние с Францией нации одобрять демократию и равенство».

Итак, в то время как революционная Франция вступала в конфликт с Европой, Швейцария, как и Германия, представляла собою силу неуверенную и неоднородную. Аристократия там была влиятельна, действовала внимательно и ловко, а демократия, несмотря на сильные порывы, была там ослаблена из-за страха подвергнуть опасности национальную независимость.

---

14. Монтескью (1739—1798) — главнокомандующий Альпийской армии. 7 ноября 1792 г. декретом Конвента был обвинен в том, что, не будучи уполномочен, вел переговоры с городскими властями Женевы об отступлении швейцарских войск. Смещен 9 ноября. Бежал в Швейцарию 13 ноября. («Moniteur», XIV, 230, 423, 443, 490; «Archives parlementaires», LIII, 311, 332, 333). См.: Ж. Жорес. Цит. соч., т. III, с. 195, 243.
15. Относительно дю Роврэ см. выше, с. 255, прим. 5.
Дюмон (1759—1829) — пастор, учитель в Лондоне. Находясь в Париже в 1789 г., вступил, вместе с Клавьером, Ребазом, дю Роврэ, в группу женевцев, объединившуюся вокруг Мирабо. В 1791 г. в Лондоне стал преданным сотрудником И. Бентама, сочинения которого перевел. Вернувшись в Женеву в 1814 г., Дюмон оставил «Souvenirs sur Mirabeau» (Paris, 1832).
О Клавьере см. выше, с. 255, прим. 5, и Ж. Жорес. Цит. соч., т. II, с. 308—310, 488—491.
16. Гаск (1748—1813) эмигрировал в 1782 г., вернулся в Женеву в апреле 1790 г. В феврале 1793 г. был избран в Национальное собрание, в декабре 1793 г. член временного Комитета безопасности, синдик после восстановления конституционного правления (весной 1794 г.). 12 января 1798 г. назначен государственным секретарем и в этом качестве подписал договор о присоединении Женевы к Франции. В октябре и ноябре 1792 г. Гаск выполнял различные миссии во Франции.

Глава седьмая

*

ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В АНГЛИИ

В те решающие годы мировой истории над Англией витало некое поистине трагическое сомнение. Будет ли и она увлечена движением Революции или, наоборот, выступит против него и внутри, и вне страны? От решения этой дилеммы зависел в известной мере дальнейший ход судеб человеческих. Если Англия у себя внутри задушит всякую попытку осуществления демократии и если она присоединится к державам на континенте, чтобы со свойственным ей упорством, с ее золотом и умением вести дела, с ее престижем страны, первой завоевавшей свободы, обрушиться на революционную Францию, то последняя, загнанная, истощенная, вынужденная напрягать для защиты все свои силы, будет обречена, после героического и неистового возбуждения, на длительную депрессию. Революция не будет побеждена окончательно, но ее славе будет нанесен чудовищный урон [1].

И наоборот, если Англия проявит сочувствие к Франции и согласует свое собственное движение с движением Революции, если она придаст своим либеральным и парламентским учреждениям демократический характер, если она предоставит всему народу избирательные права и, не разрушая монархии, сделает ее подлинно народной, тогда Революция станет непобедимой в Европе. Ее сила удвоится: она будет опираться на идеал и на традицию. Для Франции после длительного упадка общественных свобод, лишенных после Генеральных штатов 1614 г. даже подобия гарантий, Революция явится внезапным, лучезарным обретением Права. Для Англии она станет продолжением и расширением того дела свободы, которое началось с Великой хартии и продолжалось в 1648 и в 1688 гг. [2].

Континентальная контрреволюция была бы бессильна перед таким союзом расширенной либеральной традиции с новой демократией. Она не смогла бы даже по-настоящему завязать борьбу. И Франция, избавившись от своей предательской королевской власти и освободившись одновременно от всяких внешних забот, развивалась бы в условиях свободы и мира, она не изведала бы ни диктатуры террора, ни военной диктатуры. Да, это был бы другой ход истории.

СИЛЫ АНГЛИИ

В 1789 г. Англия далеко не обладала тем населением и той экономической силой, которыми она обладает ныне. Она была гораздо менее населена, чем Франция, и насчитывала (вместе с Шотландией) всего лишь 11 млн. жителей [3] против 25 млн. жителей Франции. Ее ныне столь грозный морской флот в то время лишь ненамного превосходил французский. Она тогда только что потеряла свои американские колонии, и ее престиж был поколеблен. Но это была лишь поверхностная рана, и она затягивалась с поразительной быстротой. Англия вновь поднималась, проявляя поразительные усилия воли. Она обладала заметным преимуществом над другими нациями в области промышленности и располагала могучим торговым флотом. Она охраняла свои завоевания в Индии и закрепляла их, все более беря под защиту государства смелые капиталистические компании, которые аннексировали большие территории и открывали для себя рынки сбыта. Ее колонии на Антильских островах по-прежнему процветали, и она с радостным удивлением констатировала, что и после Войны за независимость Соединенные Штаты продолжали торговать с нею. Более того, ее товарообмен с этими лишь недавно освободившимися колониями возрастал. Англия извлекала выгоду

---

1. Об отношении Англии к Революции см.: J. Holland Rose. Pitt and the great war. London, 1911; A. W. Ward and G. P. Gooch. The Cambridge history of British foreign policy. T. I, Cambridge, 1912; R. W. Seton-Watson. Britain in Europe 1789—1914. Cambridge, 1937; J. Deschamps. Les îles britanniques et la Révolution française. Paris, 1949; «The debate on the French Revolution», Ed. by A. Cobban. London, 1950.
2. Это тезис Бёрка, изложенный им в его «Reflections on the revolution in France» (1790). «Вы обратили внимание на то, что, начиная с Великой хартии и до Билля о правах [1689 г.], наша конституционная политика всегда заключалась в провозглашении и востребовании наших свобод как некоего *наследства*, как завещанного имущества, которое мы унаследовали от наших предков...» См. ниже, с. 349, прим. 38.
3. Явное преувеличение. В 1801 г. численность населения Англии едва превысила 9 млн. В 1700 г. она составляла около 6 млн. Это дает прирост за сто лет приблизительно на 50%.

из того роста активности, который свобода, победа и мир вызвали в Соединенных Штатах, и даже ее видимое поражение обернулось для нее торжеством благодаря экспансии ее промышленности.

Стоит прочитать восхитительные путевые заметки Маккензи, чтобы убедиться, что именно после войны английская торговля особенно смело проникает на север Америки, вплоть до полярных областей [4]. По любопытному совпадению, как раз в 1789 г., когда во Франции вспыхивают события, которым предстоит взбудоражить весь мир и вскоре поглотить все силы Франции, Маккензи окончательно организует те могучие компании, которые будут скупать у эскимосов пушнину в обмен на английские изделия и которые свяжут Лондон и полюс смелыми торговыми операциями, охватывающими двухлетний цикл. Поразительная уверенность в себе и поразительное бесстрашие.

Даже в отношениях с Францией, чье победоносное вмешательство в пользу восставшей Америки глубоко задело Англию, английская торговля взяла реванш. Договор 1786 г. открыл французский рынок для английских товаров, и удивленная Франция, особенно Нормандия, озабоченная сбытом своих сукон, спрашивали себя, смогут ли они выдержать конкуренцию лучше оснащенной английской промышленности [5].

Англия, таким образом, все более утверждалась в сознании того, что ее сила — в экспансии ее промышленности и что эта экспансия может стать неотразимой. Благодаря этому смягчалась даже горечь недавно испытанного поражения. Или, во всяком случае, та уязвленная гордость, которую она ощутила от него, не была похожа на ту мелочную и желчную досаду, под влиянием которой народам, как и отдельным личностям, случается делать наихудшие ошибки.

АДАМ СМИТ

Адам Смит, человек, одаренный широким и ясным умом, в своем «Исследовании о природе и причинах богатства народов», опубликованном впервые в 1776 г. и переизданном в 1784 г. [6], начертал для Англии пути, по которым ей предстояло идти, или, вернее, он понял, каковы были тенденции, направление экономического развития Англии, и в его лице Англия обрела истинное понимание своей судьбы.

Чтобы ясно представить себе, до какой степени Англия в то время была впереди в области экономики, достаточно сравнить труд Смита, столь широкий, здоровый, живой, с сочинениями наших экономистов, наших физиократов XVIII в. В последних есть что-то чудно́е, кудее, что-то ребячье и сектантское. Чувствуется, что Франция еще не распутала свой экономический клубок,

что она еще не представляет себе ясно, в какую сторону ей следует направить свою деятельность.

Конечно, подъем французской промышленности в то время был уже значительным, и я отметил выше ее рост [7]. Но как раз в тот момент, когда этот подъем должен был стать решающим и когда Франция должна была дополнить свою мощную сельскохозяйственную активность столь же мощной промышленной деятельностью, ее экономическая мысль словно охвачена колебаниями и смущена. Она как будто отступает на время к сельскому хозяйству и видит в нем не только основу, но и главную и единственную форму богатства [8].

Учение физиократов представляет собою странную смесь идей, прогрессивных и реакционных. Они люди прогрессивные, поскольку они хотят применить мощь капитала к обработке земли, к сельскохозяйственному производству, поскольку они страстно ненавидят те препятствия, те внутренние барьеры, которые задерживают обращение продуктов земли. Но, когда посредством парадоксальных ухищрений и схоластических построений они принимаются доказывать, что одно только сельское хозяйство

---

4. А. Маккензи (1764—1820) — шотландский путешественник. Продолжая обследование, начатое Херном, для Северозападной компании пушнины, он открыл реку, ныне носящую его имя, и достиг Ледовитого океана. В 1792—1793 гг. он пересек Скалистые горы, следуя в направлении Тихого океана. Описание этих двух его путешествий см.: A. Mackenzie. Voyages from Montreal on the river St. Laurence, through the continent of North America, to the Frozen and Pacific oceans in the Years 1789 and 1793. London, Edinbourg, 1801.
5. Речь идет о торговом договоре, называемом договором Идена — Рейневаля, по имени дипломатов, ведших переговоры (1786 г.). См.: L. Cahen. Une nouvelle interprétation du traité franco-anglais de 1786.— «Revue historique», 1939. О последствиях английской конкуренции для французской текстильной промышленности, в частности в Нормандии, см.: Bouloiseau. Aspects sociaux de la crise cotonnière dans les campagnes rouennaises en 1788—1789.— «Actes du 81e Congrès national des Sociétés savantes, Rouen — Caen», 1956, p. 403. См. ниже, с. 333, речь Питта от 12 февраля 1787 г., и с. 335, прим. 15.
6. Adam Smith (1723—1790). Inquiry into nature and causes of the wealth of nations. London, 1776. [См.: А. Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1962. Об А. Смите см.: А. В. Аникин. Адам Смит (1723—1790). М., 1968; «Адам Смит и современная политическая экономия». М., Изд. МГУ, 1979.— *Прим. ред.*]
7. См.: Ж. Жорес. Цит. соч., т. I, кн. 1, с. 104.
8. О физиократах см. главным образом труды: G. Weulersse. Le mouvement physiocratique en France de 1756 à 1770. Paris, 1910; G. Weulersse. La physiocratie à la fin du règne de Louis XV, 1770—1774. Paris, 1959; Idem. Les physiocrates sous les ministères de Turgot et de Necker, 1774—1781. Paris, 1950. [См.: В. П. Волгин. Развитие общественной мысли во Франции в XVIII веке. М., 1977, гл. II.— *Прим. ред.*]

производительно, что одно оно дает чистый продукт, когда они доходят до того, что квалифицируют промышленный класс как «*класс бесплодный*» под тем предлогом, что в промышленном продукте человек находит лишь стоимость труда, который он в него вложил, тогда физиократы служат делу реакции; они рискуют затормозить подъем промышленности и заморозить Францию в состоянии некоего чисто сельскохозяйственного капитализма. Это запутанная и неясная теория народа, который еще не уверен в своем пути и не сообразит, как примирить со своей традиционной сельскохозяйственной мощью те новые силы производства и многообразные формы капитализма, пробуждение и рост которых он чувствует в себе.

И наоборот, широкая теория Адама Смита отвечает уверенности народа, созревшего для крупной промышленности и для коммерческого господства на мировых рынках. Конечно, он считает сельское хозяйство крайне важным, и если Англия заметно обошла другие народы в области экономической, то это, по его мнению, потому, что она лучше, чем любая другая страна, обращалась с земледельческим классом. Но это прогрессивное земледелие должно быть опорой промышленности, а не препятствием для ее развития.

Адам Смит констатирует, что фактором почти беспредельного роста производительности является возрастающее разделение труда. Поэтому именно в промышленности, особенно в крупной промышленности больших городов, усиливается это разделение труда. Оно наименее развито в селах, где один человек занимается самыми различными делами.

«Сельским рабочим почти всюду приходится заниматься самыми различными промыслами, связанными в той или иной мере между собою использованием одних и тех же материалов. Сельский плотник изготовляет все изделия из дерева, а сельский слесарь — все изделия из железа». Итак, именно в городской промышленности, в крупных населенных пунктах дальше всего идет разделение труда — необходимое условие прогресса.

АДАМ СМИТ И ЕГО ТРУДОВАЯ ТЕОРИЯ

Точно так же, отнюдь не объявляя промышленность бесплодной, как это делают физиократы, потому что она якобы лишь воспроизводит стоимость затраченного труда, Адам Смит делает труд мерой всякой стоимости, даже и сельскохозяйственной.

«Таким образом, очевидно, что труд является единственным всеобщим, равно как и единственным точным мерилом стоимости, или единственной мерой, посредством которой мы можем сравнивать между собою стоимость различных товаров во все времена и во всех местах» [9].

Конечно, он не довел анализ так далеко, как это сделает Маркс, и его теория стоимости гораздо менее систематична. Он выводит прибыль и ренту не только из труда. Он считает, наоборот, что рента, или арендная плата, прибыль с капитала и труд составляют три элемента цены товара.

«Так, например, в цене хлеба одна ее доля идет на оплату ренты землевладельца, вторая — на заработную плату или содержание рабочих и рабочего скота, занятых в его производстве, и третья доля является прибылью фермера. Эти три части, по-видимому, либо непосредственно, либо в конечном счете составляют всю цену хлеба» [10].

Но Смит как бы предчувствует, что из этих трех элементов, которые он не смешивает в одно, труд является самым основным.

«Должно заметить, что реальная стоимость всех отдельных составных частей цены измеряется количеством труда, которое каждая из них может купить или заказать. Трудом измеряется стоимость не только той части цены, которая заключается в *труде*, но и той, которая заключена в *арендной плате*, а равно и той, которая заключена в *прибыли*».

Сказано довольно двусмысленно и неясно. Ибо сумма арендной платы или прибыль от капитала могут быть употреблены либо в самом деле на покупку рабочей силы, т. е. на выплату заработной платы, либо на покупку товаров, цена которых, согласно Смиту, определяется рентой, прибылью, а также трудом. Но тогда почему ограничиваться одной из этих двух гипотез и измерять стоимость ренты и прибыли только количеством труда, которое на них можно купить или заказать? Или дело в том, что из трех элементов, которые соучаствуют, по Смиту, в образовании цены товара, т. е. рента, прибыль, труд, при ближайшем рассмотрении именно труд является решающим. Тогда мало сказать, что труд — *мера* всякой стоимости. И надо также сказать, что труд составляет всякую стоимость. Да и как бы он мог быть мерилом стоимости, если бы он не составлял ее? Мы видим, таким образом, что Смит находится на пути, ведущем к теориям Рикардо [11] и Маркса. И это преимущественное значение труда в образовании стоимости является признаком растущей промышленной цивилизации, когда доля земельной ренты, сырья, постепенно уменьшается, а доля труда возрастает.

«По мере того,— говорит Смит,— как тот или иной товар

---

9. А. Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1935, т. I, с. 35.
10. А. Смит. Цит. соч., т. I, с. 47.
11. Рикардо, Давид (1772—1823) — один из первых теоретиков английской классической буржуазной политэкономии, разработал теорию стоимости. Его главный труд — «Начала политической экономии и налогового обложения» («Principles of political economy and taxation», 1817).

становится более мануфактурным, та часть, которая выражается в *заработной плате* и в *прибыли*, возрастает по сравнению с той, которая выражена в ренте».

Это и есть восходящее движение промышленного капитализма, и вся теория Смита ориентирована в этом направлении. Не то чтобы, по Смиту, земельная рента была обречена исчезнуть или хотя бы сократиться. Наоборот, она продолжает расти, но это результат роста общего благосостояния, решающим элементом которого является развитие мануфактур.

«Я закончу эту длинную главу замечанием, что любое улучшение в состоянии общества ведет, прямо или косвенно, к повышению реальной земельной ренты, к увеличению труда других или произведений труда других.

Расширение мер по мелиорации и обработке земель ведет к этому прямо. Доля продукции, получаемая землепашцем, неизбежно возрастает по мере роста продукции.

Повышение реальной цены тех видов сырых продуктов, коих вздорожание вначале является следствием мелиорации и обработки, а затем становится причиною их дальнейшего прогресса, например, повышение цены скота, также прямо ведет к повышению ренты землевладельца, и притом в бóльшей пропорции. Вместе с реальною стоимостью продукции возрастают не только реальная стоимость доли землевладельца и реальная власть, которую эта доля дает ему над трудом другого, но также и пропорция этой доли относительно общей продукции в целом.

Весь прогресс производительной мощи труда, непосредственно ведущий к сокращению реальной цены произведений мануфактуры, косвенно ведет к повышению реальной земельной ренты. Землевладелец обменивает на мануфактурные изделия ту часть своей сырой продукции, которая превышает размеры его потребления, или что сводится к тому же, превышает цену этой части. Все, что уменьшает реальную цену первого рода продукции, повышает реальную цену второго рода продукции; одно и то же количество этой сырой продукции впредь соответствует большему количеству продукции мануфактурной, и землевладелец получает возможность приобретения большего количества предметов удобства, украшения и роскоши соответственно своему желанию.

Всякое увеличение реального богатства общества, всякое увеличение массы применяемого в нем полезного труда косвенно ведет к повышению реальной земельной ренты. Какая-то часть этого прироста труда, естественно, направляется к земле. В ее обработке употребляется большее количество людей и скота. Продукция растет по мере того, как увеличивается таким образом капитал, предназначенный создавать ее, а рента растет вместе с ростом капитала».

Итак, если Адам Смит не утверждает, что подъем промышленности полностью зависит от земли, то он, однако, отнюдь не скло-

нен пренебрегать сельскохозяйственным богатством. Наоборот, он показывает, что оно связано с общим богатством и, в частности, с ростом производительности промышленности. В связи с прогрессом промышленности возрастает, по Смиту, не только сельскохозяйственное богатство в целом. Происходит также, и главным образом, рост богатства землевладельца, рост земельной ренты.

В своей особой сфере промышленность все более подчиняет ренту прибыли и труду. Но в сфере сельского хозяйства прямым следствием развития промышленности является рост абсолютной и относительной стоимости земельной ренты.

Таким образом, в широкой теории Адама Смита мы видим крупных землевладельцев, земельную аристократию Англии заинтересованными в прогрессе промышленности, в общем росте производства и богатства. И мне понятно, почему Уильям Питт, который старался примирить традицию с движением вперед, который ясно понимал необходимость нового, промышленного развития и вместе с тем бережного обращения с консервативными силами, сделал книгу Адама Смита своим экономическим евангелием. Правда, Смит не надеется на то, что английская земельная аристократия, зачастую ленивая и легкомысленная, сразу поймет, сколь сочетаются ее интересы, как класса, с общими интересами всей нации и промышленного развития.

«В народе есть три различных класса: те, кто живут на *ренту*, те, кто живут на *заработную плату*, и те, кто живут на *прибыль*. Эти три крупных класса суть основные классы, составляющие любое цивилизованное общество... Интересы первого из этих трех крупных классов (земельных рантье) тесно и неразрывно связаны с общими интересами общества. Все, что приносит пользу или ущерб интересам одного, неизбежно имеет такое же действие в отношении другого. Когда в нации происходит обсуждение вопроса о каком-либо торговом или административном уставе, землевладельцы никогда не смогут ввести ее в заблуждение, даже если они будут прислушиваться только к голосу интересов своего класса, по крайней мере если предположить, что они обладают элементарными знаниями относительно того, в чем заключаются их интересы. Говоря по правде, очень часто им недостает даже этих элементарных знаний. Из трех классов это единственный, которому его доход достается без труда и без заботы, к которому его доход приходит как бы сам по себе, без того, чтобы этот класс вырабатывал какое-нибудь задание или какой-нибудь план. Эта беспечность, естественное следствие столь покойного и удобного положения, чаще всего оставляет людей этого класса не только в неведении последствий, которые может иметь какой-нибудь генеральный устав, но и лишает их способности к умственному усилию, необходимому для того, чтобы понять и предвидеть эти последствия».

Но если их просветить, если их приучить к размышлению, то самый их эгоизм, разумный и осведомленный, будет служить новым интересам промышленной Англии.

АДАМ СМИТ И СВОБОДА ТОРГОВЛИ

Адам Смит настолько убежден, что промышленное могущество Англии достигло зрелости, что отвергает все искусственные средства, с помощью которых до того времени поддерживали, или полагали, что поддерживали, английскую промышленность. Правда, он не считает возможным заставить купцов и владельцев мануфактур, оказывающих очень большое влияние на правительство страны, окончательно отказаться от льгот, предоставляемых им системой меркантилизма, от таможенных пошлин, закрывающих или стесняющих ввоз, от премий экспортерам.

Не природа вещей, не правильно понятые интересы промышленности и торговли, а слепой, нетерпеливый и невежественный эгоизм купцов и владельцев мануфактур является препятствием на пути к полной свободе торговли, к свободному товарообмену.

«Конечно, ожидать восстановления когда-нибудь полностью свободы торговли в Великобритании было бы так же нелепо, как ожидать осуществления в ней республики «Утопии» или «Океании»[12]. Этому непреодолимо препятствуют не только предубеждения общества, но и частные интересы многих отдельных лиц, которые еще труднее одолеть. Если бы офицеры армии вздумали с таким же усердием и единодушием выступать против всякого сокращения численности армии, с каким владельцы мануфактур противятся всякому закону, могущему привести к увеличению числа их конкурентов на внутреннем рынке; если бы они подстрекали своих солдат, как владельцы мануфактур подстрекают своих рабочих, нападать с оскорблениями и ругательствами на людей, предлагающих подобные меры, то попытка сократить армию была бы столь же опасна, как сделалось в настоящее время опасным пытаться уменьшить в каком-либо отношении монополию, захваченную нашими владельцами мануфактур к нашему ущербу. Эта монополия привела к такому сильному увеличению численности некоторых групп нашего промышленного населения, что, подобно разросшейся постоянной армии, оно стало внушительной силой в глазах правительства и во многих случаях запугивает законодателей. Член парламента, поддерживающий любое предложение, направленное к усилению этой монополии, может быть уверен, что приобретет не только репутацию знатока промышленности, но и большую популярность и влияние среди класса, которому его численность и богатство придают большой вес. Напротив того, если он высказывается против таких мер и если он пользуется достаточным авторитетом, чтобы иметь возможность помешать им, то ни его

общественная честность, ни самое высокое общественное положение, ни величайшие общественные заслуги не смогут оградить его от самых гнусных обвинений и клеветы, от личных оскорблений, а иногда даже от опасностей, грозящих со стороны взбешенных, наглых и обманутых в своей жадности монополистов»[13].

Адам Смит не верит в возможность преодолеть эгоизм монополистов и установить полную свободу торговли. Но, во всяком случае, он считает, что для английской промышленности настало время приобщиться к ней. Я не собираюсь обсуждать здесь утверждения Адама Смита. Я не стану входить в рассмотрение вопроса о том, было ли развитие Англии затруднено протекционистской системой, высшим выражением которой явился Навигационный акт Кромвеля[14], или, наоборот, как это утверждает Лист[15], именно благодаря этому акту английская промышленность достигла той мощи, которая дала ей возможность без риска и даже с выгодой перейти к новому методу и сломать барьеры, отделявшие ее от мирового рынка. Но что бесспорно, так это то, что Адам Смит, в ком великий дух системы умерялся наличием весьма точных и обширных знаний, не стал бы предлагать английской промышленности этой политики свободы, конкуренции и экспансии, если бы не чувствовал ее силы и динамизма.

Он не хочет торопить с переходом от режима протекционизма и регламентации к режиму свободного товарооборота, он хочет осторожно подготовить этот переход.

«Владелец большой мануфактуры, который при внезапном открытии внутреннего рынка для конкуренции иностранцев будет вынужден прекратить свое дело, без сомнения, потерпит очень значительный ущерб. Та часть его капитала, которая затрачивалась им на покупку сырых материалов и на оплату его рабочих, сможет без особых затруднений найти другое применение. Но та часть его, которая была вложена в фабричные постройки и в орудия производства, вряд ли сможет быть реализована без крупных потерь. Поэтому справедливое внимание к его интересам требует, чтобы перемены такого рода производились отнюдь не внезапно, а медленно, постепенно и после предупреждения за продолжитель-

---

12. Речь идет об «Утопии» Томаса Мора (1478—1535) и «Республике Океании» Джеймса Гаррингтона (1611—1677). [См.: Ю. М. Сапрыкин. Политическое учение Гаррингтона. М., 1975.— *Прим. ред.*] О Море см. ниже, с. 285, прим. 34.
13. А. Смит. Цит. соч., с. 50—52.
14. Навигационный акт 1651 г. (возобновленный и дополненный в 1660 г.) запрещал всем иностранным судам ввозить в Англию любые товары, кроме товаров их собственных стран. Торговля между Азией, Африкой, Америкой и английскими портами была дозволена исключительно судам, построенным в Англии, принадлежащим английским судовладельцам и управляемым английскими экипажами.
15. Лист (1789—1846) — экономист, сторонник Германского таможенного союза (Zollverein). См. выше, с. 15, прим. 12.

ный срок. Если бы было возможно, чтобы решения законодательных учреждений внушались всегда не крикливой настойчивостью групповых интересов, а широким пониманием общественного блага, то именно ввиду этого они должны были бы особенно избегать как установления новых монополий этого рода, так и дальнейшего расширения уже существующих монополий. Каждое такое ограничительное мероприятие вносит известную степень расстройства в состояние государства, от которого трудно потом избавиться, не вызывая другого расстройства»[16].

Питту, несомненно, понравилось это сочетание смелости и благоразумия, дерзаний мыслителя и осторожных расчетов государственного деятеля. Уже в 1776 г. Адам Смит подготовляет умы к большой перемене в торговых отношениях Англии с Францией, и можно сказать, что он много сделал для того, чтобы знаменитый торговый договор 1786 г. стал возможным [17].

«Установление особых ограничений ввоза всех почти товаров из тех стран, торговый баланс с которыми считается неблагоприятным, представляет собою второе средство, при помощи которого меркантилистская система рассчитывает увеличить количество золота и серебра. Так, например, в Великобританию разрешен ввоз силезского батиста для внутреннего потребления при уплате известной пошлины, но воспрещен ввоз французского кембрика и батиста, если не считать лондонского порта, где они должны храниться для вывоза.

Более высокие пошлины наложены на французские вина, чем на вина португальские или какой-либо другой страны.

Что касается так называемого налога 1692 г., то была установлена пошлина в размере 25% стоимости или цены для всех товаров, ввозимых из Франции, тогда как товары других наций были обложены гораздо более низкими пошлинами, редко превышающими 5%. Исключение было сделано для вина, водки, соли и уксуса из Франции; эти товары были обложены другими, сугубо тяжелыми пошлинами на основании других законов или специальных статей того же закона.

В 1696 г. на все французские товары, кроме водки, была наложена добавочная пошлина в размере 25%, ибо основная пошлина в 25% была признана недостаточно затрудняющей их ввоз. Одновременно была установлена новая пошлина в размере 25 фунтов с бочки французского вина и другая — в размере 15 фунтов — с бочки французского уксуса.

...В период до начала нынешней войны [18] пошлину в 75% с цены товара следует считать минимальным обложением большей части сельскохозяйственных или промышленных продуктов Франции. Для большинства этих товаров такие пошлины были равносильны запрещению ввоза. Французы в свою очередь, как кажется, относились к нашим товарам с такою же суровостью, хотя я не столь хорошо осведомлен о том специальном обложении, какому

они подвергали их. Эти взаимные стеснения и ограничения прекратили почти всякую легальную торговлю между этими двумя народами, и контрабандисты стали теперь главными поставщиками британских товаров во Францию и французских товаров в Великобританию»[19].

Условия договора 1786 г. были, как известно, гораздо более либеральными. Воодушевляемая скрытой силой экспансии и направляемая великим теоретиком свободы торговли, английская промышленность пробивала мало-помалу скорлупу протекционизма и запретительных пошлин, в которой она была заключена более века, и шла на риск свободного товарооборота [20].

АДАМ СМИТ И КОЛОНИАЛЬНАЯ СИСТЕМА

В силу тех же принципов и так же смело Адам Смит предлагает своим соотечественникам изменить их колониальную систему, аналогичную, впрочем, колониальной системе всей Европы. В то время колонии были для метрополии заповедным полем эксплуатации. Колонии могли продавать свои продукты только метрополии и покупать только товары метрополии. Так что, будучи постоянно вынужденными, в ущерб себе, иметь дело с ценами монополии, они должны были продавать по самым низким ценам и покупать по самым дорогим. А перевозка товаров как при ввозе, так и при вывозе была закреплена исключительно за торговым флотом метрополии [21]. Каким же образом колонии могли развиваться и процветать при подобном порядке? Дело в том, что по меньшей мере две причины хоть отчасти нейтрализовали опасные воздействия этой монополии.

Во-первых, метрополия, подчинив себе неким образом всю торговлю колоний, была заинтересована в том, чтобы поощрять производство колоний. Не будучи в состоянии поощрять его свободой торговли, она поддерживала его обильным вложением капиталов. «Процветание колоний, производящих сахар, было в значительной мере следствием огромных богатств Англии, коих

16. Там же, т. II, с. 51—52.
17. См. выше, с. 267, прим. 5.
18. Имеется в виду Война за независимость английских колоний в Америке, начавшаяся в 1775 г.
19. А. Смит. Цит. соч., т. II, с. 54.
20. Небесполезно напомнить здесь об успехах британской внешней торговли в XVIII в. По официальным данным, среднегодовой оборот внешней торговли Англии и Уэльса (импорт + экспорт + + реэкспорт) составлял в 1716—1720 гг. 13 млн. фунтов стерлингов, а в 1784—1788 гг.— 31 млн. Стало быть, оборот внешней торговли вырос в 2,4 раза. См.: F. Crouzet. Angleterre et France au XVIII siècle. Essai d'analyse comparée de deux croissances économiques.— «Annales, E. S. C.», 1966, p. 254.
21. Это одна из основных статей Навигационного акта 1651 г.

часть, как бы переливаясь через край, хлынула в колонии». Во-вторых, поскольку новые колонии были преимущественно сельскохозяйственными, они менее страдали от ограничений свободы их торговли, чем если бы у них было промышленное производство, аналогичное производству метрополии.

Адам Смит говорит (и он, вероятно, прав): «Хотя политика Великобритании в отношении торговли ее колоний была продиктована тем же духом меркантилизма, что и политика других государств, все же она была в целом менее узкой и менее угнетательской, чем политика любой другой державы» [22].

Даже английские колонии в Америке, восставшие против Англии в то время, когда Адам Смит писал свой труд, пользовались довольно либеральным режимом. «Что касается возможности управлять своими делами по своему усмотрению, английские колонисты пользовались полной свободой во всех отношениях, за исключением торговли с заграницей [23]. Их свобода во всех отношениях равна свободе их соотечественников в метрополии, и она гарантирована таким же образом собранием народных представителей, претендующим на исключительное право установления налогов для содержания колониального правления. Авторитет этого собрания внушает исполнительной власти уважение к нему. И последний колонист, даже самый подозрительный, пока он соблюдает законы, ничего не опасается, никакого проявления злобы со стороны правительства или любого должностного лица провинции, гражданского или военного. Колониальные собрания, как и Палата общин в Англии, не всегда являются вполне точным представительством народа, но все же они по своему характеру ближе к этому. И так как исполнительная власть не располагает средствами подкупать их или, ввиду поддержки, получаемой ею из метрополии, не имеет необходимости делать это, то, как правило, эти собрания находятся под большим влиянием своих избирателей. Советы, которые в законодательных учреждениях колоний соответствуют Палате лордов в Великобритании, состоят не из наследственной знати. В некоторых колониях, как, например, в трех округах Новой Англии, Советы эти не назначаются королем, а выбираются народными представителями. Ни в одной из английских колоний не существует наследственной аристократии. Конечно, во всех колониях, как и во всех свободных странах, потомок старинной колониальной фамилии пользуется большим уважением, чем новопришелец одинаковых достоинств и столь же состоятельный, но он только пользуется бóльшим уважением и не обладает никакими привилегиями, могущими быть неприятными и стеснительными для его соседей.

До возникновения нынешних смут колониальные собрания обладали не только законодательной, но и отчасти исполнительной властью. В Коннектикуте и Род-Айленде они выбирали губернатора. В других колониях они назначали чиновников, собиравших

налоги, устанавливаемые ими, причем эти чиновники были подчинены непосредственно этим собраниям. Таким образом, среди английских колонистов больше равенства, чем среди жителей метрополии. Их нравы более республиканские, и их правительства, в особенности в трех провинциях Новой Англии, до сих пор тоже были более республиканскими» [24].

И вот почему со стороны английского правительства было безумием посягать на свободы, к которым американские колонисты издавна привыкли и которые стали для них еще более необходимыми вследствие быстрого роста колоний. Адам Смит, писавший в разгар войны, говорит об этих вопросах и об ответственности правительства своей страны весьма сдержанно. Но он восстает против всей торговой политики, проводившейся тогда великими европейскими державами в отношении своих колоний. Он утверждает, что эта политика столь же вредна для метрополии, как и для колонистов. В самом деле, она способствует искусственному направлению в охраняемые таким образом колонии слишком большой части национального капитала. Эта политика ведет к тому, что метрополия разучивается производить по возможно более дешевым ценам, и это ослабляет ее в конкурентной борьбе с другими нациями. Адам Смит считает, что если Англии пришлось отказаться от проникновения ее товаров во Францию, если французская промышленность смогла изгнать Англию, особенно изделия ее шерстяной промышленности, с побережья Средиземного моря и с рынков Ближнего Востока, то это потому, что Англия чрезмерно увлеклась погоней за слишком легкими барышами, которые она себе обеспечила посредством монополии торговли в колониях. И чрезмерный, «уродливый» рост колониальной торговли поглотил слишком большую часть ресурсов, являющихся плодом энергии и честолюбивых устремлений нации. В интересах Англии, в интересах разумного распределения ее экономических сил на мировом рынке было бы ослабить узы монополии, связывавшие деятельность колоний. И Адам Смит использует для подкрепления своего тезиса неожиданный урок, преподанный Англии событиями в Америке. Кто мог думать, что Англия, возлагавшая свои самые великие надежды на колониальную торговлю, получит тяжелый удар вследствие внезапной приостановки товарообмена с восставшими американскими колониями? Однако оказалось наоборот, что она тотчас же получила значительные компенсации.

---

22. А. Смит. Цит. соч., т. II, с. 173.
23. «Навигационные законы» всегда обязывали американцев вести торговлю исключительно с Англией, под контролем Ведомства по делам торговли (Board of trade), созданного в 1696 г. для проведения в жизнь этих законов и для охранения экономического главенства метрополии.
24. А. Смит. Цит. соч., с. 173—174.

И если Англии достались эти компенсации благодаря ходу событий, то именно потому, что ее деловые отношения со странами мира были уже достаточно обширными и разнообразными.

Итак, вместо сузившегося или закрывшегося в одном месте рынка сбыта появлялись новые рынки сбыта. Отсюда нетрудно было заключить, что Англия должна искать безопасности и мощи не в монопольной эксплуатации охраняемых и замкнутых рынков, а в экспансии, разнообразной и беспредельной, в расширении и постоянном обновлении рынков.

«Монополия колониальной торговли, отвлекая к ней гораздо бóльшую долю капитала Великобритании, чем направлялось бы в нее при нормальных условиях, нарушила, по-видимому, то естественное равновесие, которое в противном случае существовало бы между различными отраслями британской промышленности. Промышленность Великобритании, вместо того чтобы приспособляться к большому числу менее обширных рынков, приноровилась преимущественно к одному обширному рынку. Ее торговля, вместо того чтобы направляться по большому числу небольших каналов, была приучена идти преимущественно по одному большому руслу. Это сделало всю систему ее промышленности и торговли менее устойчивой, а общее состояние ее политического организма менее здоровым, чем было бы в противном случае. В своем современном состоянии Великобритания напоминает один из тех нездоровых организмов, у которых некоторые важные члены слишком разрослись и которые поэтому подвержены многим опасным заболеваниям, почти неизвестным организмам, у которых члены развиты более пропорционально. Небольшая закупорка того большого кровеносного сосуда, который искусственно расширен сравнительно с его естественными размерами и через который заставляют циркулировать неестественно бóльшую часть промышленности и торговли страны, почти наверное приведет к весьма опасным заболеваниям всего политического организма. В связи с этим перспектива разрыва с колониями напугала народ Великобритании гораздо больше, чем когда-либо пугала его Испанская армада [25] или слухи о вторжении французов. Именно этот страх, основательный или неосновательный, сделал отмену закона о штемпельном сборе популярной мерой, по крайней мере среди купцов [26]. В полном устранении с колониального рынка, хотя бы оно длилось всего несколько лет, бóльшая часть наших купцов усматривала неизбежную полную приостановку своей торговли, большая часть владельцев наших мануфактур — полную гибель своих предприятий, а бóльшая часть наших рабочих — прекращение своей работы. Напротив, разрыв с кем-либо из наших соседей на континенте, хотя он тоже может вызвать некоторое нарушение или приостановку в занятиях некоторых из различных классов населения, ожидается без такого общего волнения.

Кровь, циркуляция которой задерживается в одном из мень-

ших сосудов, легко просачивается в сосуд бóльших размеров, не вызывая сколько-нибудь опасного расстройства. Напротив, когда она задерживается в каком-либо из более крупных сосудов, немедленным и неизбежным последствием бывают судороги, паралич или смерть. Если одна из этих чрезмерно разросшихся отраслей мануфактурной промышленности, искусственно поднятая при помощи премий или монополии на внутреннем и колониальном рынке на неестественную высоту, испытывает небольшую остановку или перерыв в своей работе, это часто вызывает возмущение и беспорядки, беспокоящие правительство и даже затрудняющие работу законодательного учреждения.

Как велики должны быть поэтому расстройство и замешательство, неизбежные в случае внезапной и полной остановки работы столь большой части главных отраслей нашей промышленности, говорили люди.

Единственный способ вывести Великобританию из довольно критического состояния — это постепенно и умеренно смягчать законы, создающие для нее исключительную монополию колониальной торговли, до тех пор, пока эта торговля станет в значительной мере свободной. Это единственный способ помочь ей или, если потребуется, заставить ее извлечь из этой уродливо разбухшей отрасли некоторую часть ее капитала, чтобы направить эту часть, хотя бы и с меньшею прибылью, в другие отрасли. Это единственный способ, уменьшая постепенно одну отрасль ее промышленности и одновременно усиливая все остальные, помочь стране незаметно восстановить между различными отраслями ту правильную пропорцию, то естественное и спасительное равновесие, которое неизбежно приносит совершенная свобода и которое совершенная свобода одна может сохранять.

Открытие сразу колониальной торговли всем странам могло бы вызвать не только некоторые временные затруднения, но и зна-

---

25. Непобедимая Армада — название, данное Филиппом II флоту, который он направил в 1588 г. против Англии. Экспедиция окончилась провалом.
26. Чтобы поправить дела казны, обремененной долгами, правительство Георга III решило ввести новые налоги, которыми облагались бы как англичане, так и американцы. В 1765 г. парламент принял закон о гербовом сборе, обязывавший] употреблять гербовую бумагу, продаваемую государством, для всяких юридических актов. Франклин, находившийся в то время в Лондоне, заявил протест от имени своих земляков, ссылаясь на то, что американские поселенцы являются английскими гражданами. А согласно Великой хартии 1215 г., ни один новый налог не мог быть введен без согласия представителей нации. Поскольку поселенцы не представлены в парламенте, они не обязаны уплачивать этот налог. Закон о гербовом сборе был отменен в 1766 г. Это было началом конфликта между Англией и ее американскими колониями.

чительные потери для большей части тех, кто в настоящее время участвует в ней своим трудом или капиталом. Внезапное лишение работы даже одних только кораблей, которые ввозят 82 000 бочек табаку, превышающие потребление Великобритании, очень сильно дало бы себя почувствовать. Таковы несчастные последствия всех регулирующих мер меркантилистской системы! Они не только вызывают очень опасные расстройства политического организма; расстройства эти такого характера, что часто бывает трудно устранить их, не вызывая, по крайней мере временно, еще бóльшие расстройства. Каким образом осуществить это постепенное открытие колониальной торговли? Какие барьеры надлежит уничтожить в первую очередь и какие подлежат уничтожению лишь после всех других? Наконец, иными словами, какими путями и в какой последовательности надлежит восстановить систему справедливости и совершенной свободы? Решение этих вопросов мы должны предоставить мудрости будущих государственных деятелей.

Пять различных событий, о которых никто не думал и которых никто не предвидел, очень счастливо содействовали тому, что Великобритания перенесла гораздо легче, чем можно было ожидать, испытываемое ныне ею полное отстранение, на протяжении более года (с 1 декабря 1774 г.), от очень крупной отрасли колониальной торговли, а именно от торговли с двумя Соединенными Провинциями Северной Америки. Во-первых, эти колонии, готовясь к своему соглашению об отказе от импорта, совершенно очистили Великобританию от всех нужных им товаров[27]. Во-вторых, чрезвычайный спрос испанского флота поглотил в этом году многие товары Германии и северных государств, в частности полотна, которые обычно конкурировали даже на британском рынке с изделиями мануфактур Великобритании. В-третьих, заключение мира между Россией и Турцией [28] вызвало чрезвычайный спрос со стороны рынка Турции, оказавшегося очень плохо снабженным, когда страна терпела бедствие и русский флот крейсировал в Архипелаге. В-четвертых, в течение некоторого времени из года в год возрастал спрос северных государств на изделия британских мануфактур. И, в-пятых, недавний раздел Польши [29] и последовавшее за этим замирение, открыв рынок этой большой страны, добавили в этом году к постоянно возрастающему спросу стран Севера чрезвычайно сильный спрос и этой страны.

Эти события, исключая четвертое, по самой природе своей случайные и преходящие, и если бы, несчастным образом, отстранение от столь крупной отрасли колониальной торговли затянулось на более продолжительное время, оно могло бы повлечь за собою дополнительные затруднения и ущерб. Однако, поскольку эти стеснения будут наступать постепенно, они будут ощущаться не так остро, как если бы они проявились сразу, а за это время труд и капитал страны смогут найти новые занятия и направление,

предотвращая таким образом возможность сколько-нибудь значительного возрастания этих затруднений...

Однако мы должны тщательно избегать смешения действия колониальной торговли с действием монополии колониальной торговли. Первое всегда и безусловно благотворно. Второе всегда и непременно вредно. Но первое столь благородно, что колониальная торговля, даже будучи монополизирована и несмотря на вредные последствия этого, все же в целом остается благотворной, и притом очень благотворной, хотя и в меньшей степени, чем это было бы при отсутствии монополий»[30].

Мы видим, как в произведении Смита, имевшем глубокое и часто решающее влияние на умы, вырисовываются новые тенденции большой капиталистической политики Англии. Конечно, она не откажется от приобретения колоний, от аннексий территорий, в частности, она предпримет, как раз тогда, когда вспыхнет Французская революция, энергичные усилия для закрепления своего господства в Индии. Но она устремит уже свои взоры на весь мир, на мировой рынок. Она все больше и больше будет отказываться от исключительных режимов, от системы премий и монополий, предпочитая проникать повсюду, извлекать выгоду из всех событий и приноравливать подвижность своей торговли к подвижности мирового рынка. И главной ее заботой будет открыть для себя рынки. Вот почему она не будет неизменно воинственной и тупо недоверчивой: она будет проникаться все большей верой в свою силу и свободу.

И меня не удивляет, что государственные деятели вроде Питта, прошедшие школу Адама Смита, до последней крайности сопротивлялись идее войны с революционной Францией.

Ничто не было более противно английскому духу и широкой торговой политике Англии, чем вмешательство в дела других на-

---

27. В 1774 г. все американцы были единодушны в пылком стремлении к налоговой независимости и торговой автономии. Осенью этого года в Филадельфии собрался первый континентальный конгресс. Если в плане политическом он вначале пользовался примирительными формулами, то в плане экономическом он смело объявил войну, возобновив кампанию за бойкот ввоза и потребления английских товаров. Это было согласованное наступление против промышленной Англии.
28. Имеется в виду Кючук-Кайнарджийский мирный договор, заключенный 21 июля 1774 г. между Россией и Турцией после русско-турецкой войны 1768—1774 гг.
29. Речь идет о первом разделе Польши между Пруссией, Австрией и Россией в соответствии с Петербургской конвенцией 1772 г., на которую польский сейм после длившегося более года сопротивления вынужден был в конечном счете согласиться.
30. А. Смит. Цит. соч., т. II, с. 195—197.

родов в пользу одной политической системы и против какой-либо другой. Сражаться, исходя из предвзятого мнения, за французскую аристократию и монархию — это значило бы признать, что торговля Англии связана с тем или иным политическим положением в Европе и во всем мире. Но английская торговля претендует на то, чтобы сравняться в гибкости с подвижностью и быстротою дел человеческих: это значит не бояться никаких потрясений, если только они оставляют неприкосновенной саму английскую конституцию и не закрывают никаких путей английскому крупному капиталу. Напротив, чем дольше Англия сможет в условиях всеобщего неистовства сохранить мир и таким образом избежать бремени, отягчающего положение торговли и промышленности других стран, тем она будет могущественнее в международной торговой конкуренции. Прославленный девиз английских радикалов и последователей Гладстона в XIX в.: «Мир, свобода, экономика» — уже содержится в мастерском труде Адама Смита. И до 1793 г. этот девиз резюмирует всю политику Уильяма Питта.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОЧЕРК СОЦИАЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ ФРАНЦИИ И АНГЛИИ

Но каковы могли быть непосредственные результаты воздействия Французской революции на состояние умов в Англии и на ее внутренние порядки? Между общественным движением в Англии и во Франции не могло быть точного и глубокого соответствия. Прежде всего, бóльшая часть *социальных* требований, выдвинутых народом Франции в 1789 г., не имела смысла для английского народа. В то время в Англии могла идти речь о политической революции, которая бы заменила полной демократией монархический и олигархический парламентарный строй. Там нельзя было представить себе социальную революцию, аналогичную французской. Ибо бóльшая часть социальных и экономических реформ, за которые боролась французская нация, уже были осуществлены в Англии [31].

В плане экономическом и социальном Французская революция добивалась равенства граждан в отношении налогов, создания единого внутреннего рынка путем упразднения всех таможенных барьеров между провинциями и, наконец, уничтожения феодального порядка.

Но в Англии в 1789 г. не было касты, которая пользовалась бы привилегиями в отношении уплаты налогов: аристократия платила налоги точно так же, как буржуазия и народ. Внутри страны не было никаких препон, мешавших обращению товаров. Когда Адам Смит излагает причины величия и богатства Англии, он особо отмечает, как одну из самых важных, «неограниченную свободу перевозки всех видов товаров из одного места страны в дру-

гое, не будучи обязанным давать отчет какому-либо государственному учреждению, ни подвергаться каким бы то ни было опросам или осмотрам» [32].

Несмотря на многочисленные еще пережитки цеховой организации, это была уже в основном свобода труда, промысла и торговли. А что касается феодального порядка, то если в Шотландии еще сохранялись кое-какие слабые следы его, можно все же сказать, что он был почти полностью ликвидирован всем ходом развития сельской жизни.

Конечно, в конце XVIII в. в Англии еще сохранялись некоторые феодальные отношения, узы, связывавшие вассала с сеньором. Были еще домены, были держания, владельцы которых должны были вносить сеньору ежегодный ценз.

Однако случайные платежи, как, например, пошлина, выплачиваемая сеньору при переходе имущества в другие руки, ложившиеся тяжким бременем на сделки, были давно отменены законом Карла II. Таким образом, собственность, даже отягченная уплатой ежегодной феодальной пошлины, могла быть продана и уступлена без уплаты какой-либо пошлины. Точно так же феодальное право выкупа (droit de retrait), позволявшее наследнику сеньора в течение определенного срока выкупить отчужденный фьеф, не обременяло английскую собственность. Этот более либеральный режим распространялся и на колонии. И, по мнению Смита, это — одна из причин превосходства английских колоний.

«Во всех английских колониях земельные держания связаны просто с арендной платой; такая природа владения облегчает отчуждение, и владелец большой земельной площади находит выгодным для себя возможно скорее произвести отчуждение возможно большей ее части, оговаривая для себя лишь небольшую земельную ренту... Во французских колониях действует Парижское обычное право, гораздо более благоприятное, в вопросах наследования недвижимостей, для младших сыновей, нежели законы в Англии.

Во французских колониях, ежели какая-либо часть дворянского имения или феодального держания отчуждена, она остается в тече-

---

31. Здесь следовало бы провести сравнение между Английской революцией XVII в. и Французской революцией XVIII в. См. статью: Ch. H i l l. La Révolution anglaise du XVII[e] siècle. Essai d'interprétation.— «Revue historique», № 449, 1959, p. 5. «Английская революция XVII в. сыграла роль, равноценную той, которую в истории Франции сыграла Французская революция... Она положила конец средневековью... Старый порядок должен был быть свергнут, для того чтобы Англия могла вступить на путь того более свободного экономического развития, которое было ей необходимо для максимального роста национального богатства и обеспечения руководящего положения в мире». Английская революция XVII в. смела пережитки средних веков.
32. А. С м и т. Цит соч., т. II, с. 408.

ние определенного срока предметом права взятия обратно или выкупа, либо в отношении наследника сеньора, либо в отношении наследника семьи, и так как все крупнейшие владения там принадлежат дворянам, то это неизбежно затрудняет отчуждения. Между тем в новой колонии большое имение гораздо скорее делится путем отчуждения, нежели путем наследования» [33].

ПЕРЕМЕНЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Наконец, и что особенно важно, начиная с XVI в. система крупных хозяйств, крупных ферм распространилась почти на всю Англию. Томас Мор изобразил в своей «Утопии», в нескольких замечательных очерках, картину этих социальных перемен [34]. По мере развития процесса индустриализации Англии сырую шерсть перестали отправлять во Фландрию и начали перерабатывать ее в пряжу и ткани внутри страны; в связи с этим пастбища и разведение овец приходят на смену пахоте и хлебопашеству.

Сельских работников поглощают мануфактуры, и крупные и богатые фермеры, управляющие большими земельными владениями, становятся на место прежних мелких держателей и *испольщиков* или арендаторов-издольщиков. Обработка земли и ведение хозяйства на основе аренды переходят от феодального способа к капиталистическому. Феодальный порядок предполагает, что сеньор не может эксплуатировать сам или в лице одного фермера все свои владения. Он сдает их частями держателям, которые становятся мелкими собственниками, опутанными, однако, множеством повинностей и связанными бесчисленными узами. В известном смысле, как это ни парадоксально на первый взгляд, феодальный порядок предполагает наличие мелкой собственности. Именно наличие множества мелких собственников, обремененных еще феодальными повинностями, и делало феодализм во Франции ненавистным и невыносимым. Там, где, как в Англии, мелкие держания были поглощены крупными хозяйствами, крупными фермами, феодальный принцип теряет, так сказать, всякую точку приложения.

Крупный собственник, тот же дворянин, который передал фермеру в обмен на ренту управление своим имением, нисколько не заинтересован в том, чтобы связывать его вечными феодальными повинностями. Наоборот, он заинтересован в том, чтобы заключать с ним арендные договоры лишь на определенный срок или, самое большее, пожизненные, таким образом, чтобы иметь возможность повысить арендную плату по мере роста продуктивности имения и земельной ренты.

Итак, в Англии феодальный порядок был устранен промышленным и аграрным капитализмом прежде, чем он был сметен во Франции восстанием мелких собственников. И сама английская аристократия, действуя в собственных интересах, поставила новую,

капиталистическую крупную земельную собственность на место старой системы феодальных держаний. Даже испольщина, которая, строго говоря, не является феодальным договором, но которая представляется Смиту очень близкой к феодальному договору, поскольку препятствует капиталистической прогрессивной эксплуатации земли, была давно устранена и заменена арендой.

«Крепостных земледельцев былых времен,— пишет Адам Смит, чей труд отличается удивительным обилием точных сведений,— постепенно сменил род фермеров, известных ныне во Франции под наименованием *испольщиков* (metayers). По-латыни их называли *coloni partiarii*. *Они в Англии перевелись так давно*, что *я теперь даже не знаю, как их называть по-английски*. Землевладелец снабжал их семенами, скотом и сельскохозяйственными орудиями, словом, всем капиталом, необходимым для того, чтобы можно было вести хозяйство на ферме.

Полученный продукт делился поровну между землевладельцем и фермером, после вычета из него того, что было необходимо для сохранения и восстановления капитала, который возвращался землевладельцу, когда фермер покидал ферму или хозяин не возобновлял арендного договора... Однако интересы земледельцев этого рода не могли побуждать их затрачивать на дальнейшее улучшение земли хотя бы часть того небольшого капитала, который они могли накопить из своей доли продукта, потому что не принимавший участия в этих затратах землевладелец должен был тем не менее получать половину дополнительного продукта, получаемого в результате этой дополнительной затраты труда. Считается, что десятина, составляющая лишь десятую часть всего получаемого продукта, является весьма большим препятствием к улучшениям; поэтому повинность, достигавшая половины продукта, должна была создавать неодолимое препятствие для улучшений. В интересах испольщика было извлечь из земли все, что она могла дать при затрате капитала, предоставленного ему землевладельцем, но его интересы никогда не требовали добавления к этому капиталу хотя бы доли его собственных средств.

---

33. А. Смит. Цит. соч., т. II, с. 160—161.
34. Речь идет в основном о начальной стадии огораживаний и расширения пастбищ для овец за счет пахотной земли. «Овцы,— писал Томас Мор в своей «Утопии»,— обычно такие кроткие... ныне, как говорят, стали такими прожорливыми и неукротимыми, что пожирают даже людей». [Т. Мор. Утопия. М., 1978, с. 132.— *Прим. ред.*] О перестройке в земельной собственности в XVIII в. и ее последствиях, экономических и социальных, см.: P. Mantoux. La révolution industrielle en Angleterre au XVIII^e siècle. Essai sur les commencements de la grande industrie moderne en Angleterre. Paris, 1905 (2^e éd., Paris, 1959), p. 127. [См. также: В. М. Лавровский. Исследование по аграрной истории Англии XVII—XIX вв. М., 1966.— *Прим. ред.*]

Во Франции, где, как говорят, пять шестых всех земель королевства заняты этой разновидностью земледельцев, землевладельцы жалуются, что их испольщики не упускают ни одного случая использовать скот землевладельца для извоза вместо сельскохозяйственных работ, потому что в первом случае вся выручка достается им, а в последнем делится пополам с землевладельцем. Эта разновидность арендаторов еще существует кое-где в Шотландии *. Их называют «*держателями со стальным луком*». Эти былые английские арендаторы, которые, по словам барона Джильберта и доктора Блэкстона [35], представляли собою скорее управляющих землевладельца, чем собственно фермеров, были, вероятно, арендаторами той же разновидности.

Эту разновидность арендаторов сменили, хотя и медленно и постепенно, фермеры в точном смысле этого слова, обрабатывающие землю со своим собственным капиталом и уплачивающие владельцу земли определенную арендную плату» [36].

Мы узнаем в этих страницах Адама Смита те общие идеи, которыми Артур Юнг во время своего путешествия по Франции будет руководствоваться при исследовании сельского хозяйства и системы земельной собственности в этой стране [37]. Эта разновидность фермеров, которая в Англии все время разрасталась с тех пор, как сеньоры, соблазняемые роскошью и промыслами городов, распустили свои феодальные свиты и старались извлечь из своих земель возможно больший чистый доход, мало-помалу приобрела силу и обзавелась гарантиями. Она добилась продления срока договоров, чтобы защитить себя от слишком резких повышений арендной платы. Она завоевала, по крайней мере для части своих фермеров, политические права, право участия в выборах в Палату общин. Она мало-помалу добилась, даже в Шотландии, где феодальные традиции были особенно живучи, ликвидации дополнительных повинностей, которые землевладелец навязывал ранее, сверх основных условий договора, своим фермерам, отягченным еще пережитками вассальной зависимости. Освободив наконец аренду от всякой феодальной примеси, эта разновидность фермеров привела ее к чисто капиталистической форме, к форме договора. Она деятельно способствовала росту сельскохозяйственного богатства, и это она мало-помалу составила почти весь тот капитал, который придал земледелию всю его силу. Таким образом, эти фермеры стали одним из самых влиятельных классов английского государства.

Завоеванные ими юридические гарантии в отношении арендуемого имения были так прочны, что весьма часто, когда землевладелец хотел учинить судебный иск против третьего лица, которое он обвинял в посягательстве на его собственность, он учинял этот иск не от имени своего права собственника, а от имени права фермера, заинтересованного для ведения своего хозяйства в целости и безопасности имения.

«Когда такие фермеры берут аренду на ряд лет, они иногда могут находить в своих интересах вкладывать часть своего капитала в дальнейшее улучшение фермы, потому что они могут ожидать возмещения со значительной прибылью произведенных затрат еще до истечения срока аренды. Однако положение даже этих фермеров было долгое время крайне неустойчиво и остается еще таким во многих странах Европы. Покупщик земли может по закону отобрать у них арендуемый ими участок до истечения срока аренды. В Англии это может быть сделано даже посредством фиктивного иска о возвращении имущества (action of *common recovery*). В случаях, когда землевладелец незаконно и насильно сгонял их с арендованного участка, процедура, посредством которой они могли восстановить свои права, была крайне несовершенна. В результате жалобы они не всегда получали обратно земельный участок, дело ограничивалось присуждением денежного возмещения, которое никогда не покрывало действительно понесенного ущерба. Даже в Англии, в стране, где больше, чем где-либо в Европе, уделялось внимания свободным крестьянам (йоменам), только в четырнадцатый год правления Генриха VII [38] был введен в практику *иск об изгнании*, посредством которого арендатор получал не только возмещение убытков, но и утраченное владение землею; иск этот имел также и то действие, что арендатор не лишался немедленно своих прав арендатора вследствие неопределенного решения одной инстанции. Этот род иска считался даже настолько эффективным, что в новой практике, когда собственнику приходилось обращаться в суд по вопросу о владении своей землей, он редко прибегал к процедурам, установленным для собственников земли, а действовал от имени своего арендатора, путем иска об изгнании. Таким образом, в Англии прочность владения арендатора такая же, как и собственника земли. Помимо этого, в Англии пожизненная аренда с уплатой 40 шиллингов годичной ренты считается «вольным держанием» (franche-tenure) и дает арендатору право голоса на выборах в парламент. И так как значительная часть крестьян обладает такого рода вольными держаниями, то все их сословие пользуется уважением со стороны их землевладельцев ввиду политического значения, которое это им дает. Мне кажется, нигде в Европе, кроме Англии, нельзя найти примера того, чтобы арендатор строил здание на не принадлежащей ему земле, полагаясь на то, что чувство чести владельца не позволит ему воспользоваться таким значительным повышением стоимости его земли.

---

* У Жореса опечатка: вместо «Ecosse» (Шотландия) дано «chasse» (охота).— *Прим. ред.*

35. Блэкстон (1723—1780) — английский юрист, автор «Commentaries on the law of England».
36. А. Смит. Цит. соч., т. I, с. 331—332.
37. Arthur Young (1741—1820). Travels in France. 1792.
38. Генрих VII — король Англии с 1485 по 1509 г.

Эти законы и обычаи, столь благоприятные для свободного крестьянства, вероятно, больше содействовали современному величию Англии, чем все ее хваленое торговое законодательство.

Закон, обеспечивающий наиболее долгосрочную аренду и ограждающий ее от всякого рода правопреемников землевладельца, существует, насколько мне известно, только в одной Великобритании. В Шотландии он был установлен уже в 1449 г. при Якове II. Впрочем, его благоприятное действие значительно ослаблялось фидеикомиссами [39], потому что они воспрещали наследникам сдавать земли на долгие сроки, часто даже на срок больше года. Недавний акт парламента несколько смягчил эти ограничения, но они все еще остаются очень чувствительными» [40].

Акт 1449 г., получивший название *Великой хартии* земледельцев Шотландии, в самом деле постановляет следующее:

«Повелели, ради спокойствия и блага бедного народа, обрабатывающего землю, чтобы все те, кто взял или возьмет впредь землю из рук сеньоров на определенный срок и будет иметь арендный договор, в случае продажи или отчуждения этой земли или этих земель сеньорами сохранили свое право аренды до истечения сроков договора, в чьи бы руки земля ни перешла, с той же арендной платой, на условиях которой они его заключили».

Что же касается фидеикомиссов, то закон, принятый в десятом году царствования Георга III [41], позволял владельцу имения, обремененного фидеикомиссами, сдавать участки в аренду на любое число лет, но не более 31 года, или на 14 лет и одну жизнь, или на срок двух жизней, при условии, чтобы в договорах сроком на две жизни фермер обязывался выполнить определенные указанные в них улучшения. Закон разрешал также заключение арендных договоров сроком на 99 лет при условии возведения построек. Мы видим, какой прочный фундамент подводили все эти постановления под права фермера и его хозяйственную деятельность.

«Поскольку в Шотландии,— продолжает Адам Смит,— никакое арендное держание не дает права участия в выборах в парламент, крестьяне пользуются там со стороны землевладельцев меньшим уважением, чем в Англии.

В других странах Европы, хотя и было признано необходимым обеспечить права арендаторов от произвола наследников и покупателей земли, такие гарантии ограничивались очень кратким сроком: во Франции, например, девятью годами с начала аренды. Впрочем, в названной стране срок этот недавно удлинен до двадцати семи лет — период, все же слишком непродолжительный для поощрения арендатора к проведению наиболее значительных улучшений. Землевладельцы в прежние времена были законодателями во всей Европе. Поэтому все законодательство, относящееся к земле, считалось с интересами землевладельца. В его интересах

было придумано, что арендный договор, подписанный кем-либо из его предшественников, в течение долгого ряда лет не мог препятствовать ему пользоваться полной стоимостью его земли. Жадность и несправедливость всегда близоруки, и они не предвидели, как сильно такое правило должно мешать улучшениям и потому, в конечном счете, причинить ущерб действительным интересам землевладельца.

Помимо уплаты ренты фермеры считались обязанными выполнять для своего землевладельца множество услуг, которые точно указывались в арендном договоре или устанавливались какими-либо правилами; они определялись обычаями и нуждами поместья. Эти повинности, поскольку они имели совершенно произвольный характер, причиняли арендатору много затруднений и неприятностей. В Шотландии отмена всех повинностей, не установленных точно в арендном договоре, очень сильно изменила к лучшему в течение нескольких лет положение свободных крестьян (йоменов).

Государственные повинности, лежавшие на йоменах, отличались не менее произвольным характером, чем их частные повинности. Сооружение и ремонт дорог — повинность, существующая еще и поныне, как мне кажется, повсеместно, хотя неодинаково обременительная в различных странах,— были не единственной повинностью этого рода. Когда войска короля, его двор или какие-нибудь его чиновники проезжали через какую-нибудь местность, йомены обязаны были доставлять им лошадей, подводы, продовольствие по ценам, назначаемым интендантом. *Великобритания, насколько я знаю, представляет собою единственную монархию в Европе, где эта натуральная повинность совершенно уничтожена.* Во Франции и Германии она существует до сих пор...[42]

Государственные налоги, лежащие на крестьянах, столь же не урегулированы и обременительны, как и натуральные повинности. Сеньоры былых времен были очень мало расположены вносить своему суверену подати деньгами, но легко соглашались пре-

---

39. Фидеикомиссы — акт щедрости, включенный в завещание или в договор, обращенный к определенному лицу, которое обязано сохранять и после своей смерти завещать его определенному третьему лицу, которое его заменит. Весьма распространенные в старом праве, эти фидеикомиссы обеспечивали сохранение владений в одних и тех же семьях и тормозили перемещения земельной собственности.
40. А. Смит. Цит. соч., т. I, с. 332—333.
41. Георг III — король Англии с 1760 по 1820 г.
42. Во Франции королевская дорожная повинность, установленная в 1738 г. генеральным контролером Орри, ложилась бременем исключительно на крестьян. В 1786 г. она была заменена денежным сбором, который не должен был превышать одной шестой части размеров тальи. Постой солдат сохранился до 1789 г.

доставить ему возможность «стричь» (tailler), как они говорили, своих арендаторов, и были недостаточно сообразительны, чтобы понять, насколько это в конечном счете затронет их собственные доходы. «*Талья*», та, которая до сих пор существует во Франции, может дать представление об этой стрижке былых времен. Это налог с предполагаемого дохода арендатора, исчисляемого в соответствии с капиталом, вложенным им в свое хозяйство [43]. Арендатор поэтому заинтересован представить себя малоимущим и, следовательно, затрачивать возможно меньше на обработку своего участка и совсем ничего не затрачивать на его улучшение. Если бы в руках французского фермера даже накоплялись какие-либо средства, «талья» почти равносильна запрету вложить их в землю. Помимо того, налог этот считается обесчещивающим того, кто подлежит ему, и ставящим его в более низкое положение сравнительно не только с дворянином, но и с мещанином, а всякий, снимающий землю в аренду, подлежит этому налогу. Ни один дворянин, ни один горожанин, обладающие капиталом, не захотят подвергнуться такому унижению. Таким образом, налог этот не только препятствует употреблению на земельные улучшения капитала, накопленного в земледелии, но и устраняет от этого все другие капиталы. *Старинные десятины и пятнадцатые деньги, столь распространенные в Англии в минувшие времена, поскольку они распространялись на землю, представляли собою, по-видимому, налог такого же характера, как и „талья"*» [44].

АНГЛИЙСКИЕ И ФРАНЦУЗСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ

Итак, еще раз (и это более чем убедительно доказывают приведенные цитаты из Адама Смита): английские земледельцы, которые уже не платили или почти не платили феодальных повинностей, которые были свободны от большинства натуральных повинностей, обременявших французского крестьянина, которые уже не платили ни тальи, ни десятины, ни пятнадцатых денег, ни вообще какого-либо налога, которым не были бы равным образом обложены все классы нации, и которые были защищены системой очень долгосрочных аренд от произвола землевладельца, не имели оснований выдвигать против социального порядка своего времени и своей страны ни одного из тех обвинений, которые так неистово выдвигали французские крестьяне.

Наказы, которые французские крестьяне подписывали в большинстве сельских приходов, для английских крестьян были бы лишены почти всякого смысла. И еще одно отличие: вспомним, что во Франции крестьяне в наказах жаловались на крупных фермеров, обвиняемых в скупке земли, так же как и на дворян [45]. Это обвинения, характерные для районов с преобладанием мелкого хозяйства, где множество мелких хозяев с гневом смотрят на

небольшое число крупных сельскохозяйственных предпринимателей, стремящихся поглотить многочисленные мелкие хозяйства. В Англии, наоборот, все сельское хозяйство покоилось на системе крупных ферм, крупных хозяйств капиталистического типа, а редкие мелкие держатели, группировавшиеся вокруг крупных фермеров, и не думали протестовать против этой системы, ставшей господствующей и почти единственной формой сельскохозяйственного производства [46].

Конечно, нельзя сказать, что у фермеров не было оснований жаловаться на крупных землевладельцев — дворян. Начать с того, что сеньоры, несмотря на долгосрочные договоры, ухитрялись повышать арендную плату. И порой по истечении срока аренды они производили повышение тем более значительное, что в течение долгого ряда лет арендная плата оставалась неизменной. Это было причиной частых конфликтов и резких жалоб со стороны многих фермеров. Затем следует заметить, что оптимистическая картина политического и социального прогресса класса фермеров, данная Адамом Смитом, оставляет в тени немало страданий и несчастий. Фермерам — да и то не всем — удалось добиться, например, отмены дополнительных услуг и повинностей феодального порядка, скрытно обременявших арендные договоры, лишь в ре-

---

43. Здесь имеется в виду *личная* талья, называемая так потому, что она взималась в зависимости от ресурсов (доходов) облагаемых лиц, причем оценка этих ресурсов устанавливалась произвольно сборщиками налогов. В провинциях, где имелись штаты, как, например, Лангедок, талья называлась *реальной (вещной)*: ею облагались не лица, а земли (за исключением земель дворянских). Дворяне и многие буржуа были освобождены от тальи, которая считалась крестьянским налогом. Однако в областях вещной тальи владельцы земель, считавшихся недворянскими, платили талью, даже если они были дворянами.
44. А. Смит. Цит. соч., т. I, с. 333—335.
45. См.: Ж. Жорес. Цит. соч., т. I, с. 247, «Крестьянские наказы».
46. Невозможно переоценить важную роль крупного фермера в социальной жизни Англии. Фермер должен был быть достаточно состоятельным, чтобы вносить крупную арендную плату и вкладывать в свое хозяйство значительные капиталы. Обычно для ведения хозяйства требовалось инвестировать по две гинеи на каждый гектар. Эти земли сдавались в аренду за очень высокую плату. Ферма Массингам, в Норфолке, занимавшая 400 *га*, т. е. примерно две трети земель прихода, была сдана в аренду ее владельцем Хорасом Уолполом из расчета один фунт стерлингов за гектар. В Суффолке ферма Рахем была сдана в аренду за 1660 фунтов стерлингов в год. В Норфолке ферма Дантон занимала площадь 700 *га*, т. е. все земли прихода, и для ее обработки требовалось 80 лошадей. Франсуа де Ларошфуко описал широкий образ жизни этих крупных фермеров, порой на грани роскоши. Артур Юнг отметил, в тоне порицания, что обстановка в доме фермера иногда включала пианино. Это был образ жизни, соответствовавший размерам оборотных капиталов и получаемых прибылей.

зультате длительной борьбы, в ходе которой они претерпели немало притеснений и обид [47].

Глубокой болью звучат стихи шотландского поэта Бёрнса о страданиях фермеров и крестьян Шотландии, об их жизни, протекающей в тяжком труде и подчинении [48]. Несмотря на общую эволюцию Англии от феодализма к капитализму, еще часто силы феодализма и капитализма объединялись, чтобы угнетать бедного крестьянина. Он был обременен высокими и все возраставшими платежами, вытекавшими из арендного договора, и вместе с тем был опутан множеством мелочных повинностей, связанных некогда с вассальной зависимостью. Но, несмотря на все это, было бы невозможно составить общий перечень всех этих жалоб. Пережитки феодализма оставались лишь в виде отмирающих обычаев, и сама экономическая эволюция с каждым днем сводила их на нет. Если бы, стало быть, английским или шотландским фермерам пришлось сформулировать социальные требования, то они были бы направлены не против отношений между вассалом и сюзереном, а против отношений между фермером и собственником земли. Следовательно, ко времени Французской революции для английских земледельцев мог стоять только один вопрос — о самой собственности на землю.

Но требовать упразднения арендной платы или даже ее существенного сокращения в результате вмешательства государства значило бы отменить право частной собственности на землю или подготовить его отмену. Но английские фермеры никак не были подготовлены к такого рода аграрному коммунизму. Им недоставало смелости мысли, чтобы дойти до отрицания самого права собственности, да и их интересы не располагали их к этому. Хотя они и не были владельцами земли, они владели значительным капиталом, вкладываемым в землю, и обобществление земель поглотило бы капиталистическую силу фермера так же, как и право собственности землевладельца. Если бы тогдашних землевладельцев лишили собственности на землю, то каким образом фермеры могли бы лишить нового права общей собственности своих наемных работников, рабочих фермы? [49]

Фермеры не могли и мечтать, чтобы попросту встать на место их землевладельцев, на место крупных сеньоров. Им, следовательно, оставалось только продолжать борьбу, которая велась испокон веков, добиваться более долгосрочных арендных договоров и по возможности сопротивляться повышениям арендной платы. Но эти усилия, уже принесшие счастливые результаты, нисколько не были похожи на те широкие требования, которые, подобно требованиям революционных крестьян Франции, были направлены против всего режима. Если поколебать право собственности, уже не покрытое больше, как во Франции, всеми феодальными наростами, уже как бы обнаженное, они рисковали возбудить аппетиты сельских пролетариев, всех работников ферм, за настро-

ениями которых они с тревогой следили, как мы увидим, с первых дней Французской революции. К тому же в крупной земельной аристократии фермеры часто видели как бы своего союзника и своего защитника. В ней, в том решающем политическом влиянии, которое она еще имела в парламенте, фермеры видели гарантию того, что их пшеница и их скот будут защищены от импорта из-за границы. А без таких протекционистских законов они считали бы себя обреченными на гибель. Вот почему в английской деревне не было условий для революционного движения.

---

47. Глубокое проникновение капитализма в сельское хозяйство Англии и распространение социального типа крупного фермера протекали медленнее, чем это изображалось долгое время, особенно на севере страны. Несмотря на укрупнение земельных хозяйств и огораживания, в ряде областей сохранилось немало держателей. Традиционное английское сельское хозяйство не исчезло внезапно: преобразование было медленным, хотя темпы его ускорились в царствование Георга III (1760—1820).
48. Бёрнс, Роберт (1759—1796) — сын бедного крестьянина, он тоже в течение некоторого времени ходил за плугом на маленькой ферме своего брата. См. гл. VIII.
49. Любопытно, что Жорес, уделив столько внимания проникновению капитализма в сельское хозяйство Англии и роли крупных фермеров, не подчеркнул должным образом последствия этих явлений: развития сельскохозяйственного пролетариата. В изложении Жореса слабо представлен факт, фундаментальный для эволюции английского сельского общества: крестьянин, с самого начала Нового времени освобожденный от крепостного права и феодальных повинностей, был в конечном счете экспроприирован в ходе широкого движения укрупнения сельских хозяйств и огораживаний, которое ускорилось в конце XVIII в. и низвело его до положения наемного поденщика, свободного, конечно, но безземельного.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БУРЖУАЗИЯ И РАБОЧИЙ КЛАСС

При существующем экономическом и социальном порядке у промышленной буржуазии тоже не было оснований для претензий. Она обладала всем необходимым для капиталистического роста. Она имела премии, монополии, огромное поле для хозяйственной деятельности в колониях и на внешних рынках, решающее влияние в парламенте, который был олигархическим, но никогда не оказывал сопротивления давлению со стороны крупных интересов. Ей не приходилось, подобно французской буржуазии, добиваться контроля над бюджетом. Она осуществляла этот контроль, во всяком случае, в той мере, в какой этого требовали ее кастовые интересы, интересы самой влиятельной и самой богатой ее части. Ей не приходилось также добиваться свободного обращения продуктов и товаров внутри страны, она им уже пользовалась. И, уж конечно, не было необходимости восставать или возбуждать общественное мнение только для того, чтобы уничтожить то, что еще оставалось от корпоративной системы.

Да и во Франции вначале проблемы промышленных корпораций было бы недостаточно, чтобы вызвать сильное движение. Если многие наказы требовали уничтожения цехов и гильдий, то не столько из-за сильной ненависти к корпорациям, сколько в силу теоретической привязанности к принципу «свободы труда». В сущности, как мы уже видели на примере петиции многих парижских торговцев и фабрикантов, значительная часть промышленной и торговой буржуазии боялась полной свободы торговли [1]. Ей казалось, что если не закрепить законом, утверждающим уставы корпораций, довольно продолжительный срок ученичества, то это может привести к упадку всех ремесел. Буржуазии казалось так-

же, что ничем не ограниченная конкуренция приведет к резкому падению цен. Страх перед неизвестностью возможных последствий такой конкуренции испытывали не только те, кто уже обладал званием мастера. Но и те, кто, тяжело трудясь, готовился приобрести это звание, заранее опасались уменьшения тех гарантий и привилегий, которыми они надеялись пользоваться в будущем. Немало колебаний и опасений испытывали также и рабочие, боявшиеся, что абсолютная свобода труда и конкуренция рабочей силы приведут к снижению заработной платы. Достаточно напомнить статью Марата [2]. К тому же корпоративные привилегии не распространялись ни на все административные области, ни на все отрасли производства, и, если владелец мануфактуры хотел создать предприятие вне рамок корпорации, если он хотел основать новый промысел, он легко добивался этой льготы.

АДАМ СМИТ И ЦЕХОВАЯ СИСТЕМА

С тем большим основанием цеховая система в капиталистической Англии, где она фактически уже сократилась и стала более гибкой, чтобы приспособиться к росту новых и разнообразных видов производства, не была более препятствием, способным вызывать раздражение заинтересованных кругов. Наоборот, многим она представлялась полезной уздой, не позволявшей всеобщей капиталистической конкуренции принимать лихорадочный характер, доходить до гибельных эксцессов. Достаточно внимательно прочитать главу «О заработной плате и прибыли», в которой Адам Смит выступает против цеховой системы, чтобы убедиться, что эта система уже подверглась многим ограничениям и что для духа предприимчивости и индивидуального дерзания открывались все более широкие возможности.

«*Исключительная привилегия* определенного цеха неизбежно ограничивает конкуренцию в городе, где он существует, теми лицами, которые состоят в цехе. Для доступа в цех необходимо пробыть в этом городе учеником у мастера, состоящего в цехе. Цеховые уставы иногда устанавливают количество учеников, которое дозволяется держать каждому мастеру, и почти всегда устанавливают продолжительность ученичества. Уставы того и другого рода имеют целью ограничить конкуренцию меньшим числом людей,

---

1. Учредительное собрание не без колебаний решилось упразднить окончательно цеховую систему и таким образом установить свободу производства, приняв 2 марта 1791 г. соответствующий закон. См.: Ж. Жорес. Цит. соч., т. I, кн. 2, с. 191.
2. См.: Ж. Жорес. Цит. соч., т. I, кн. 2, с. 188, «Марат и рабочие»; с. 191, «Марат и корпорации»; с. 226, «Марат и закон Ле Шапелье».

чем это было при отсутствии таких стеснений. Ограничение числа учеников сокращает конкуренцию непосредственно. Продолжительность срока ученичества ограничивает ее косвенным, но не менее действенным образом, поскольку увеличивает расходы на обучение мастерству.

В Шеффилде устав цеха не разрешает ни одному мастеру-ножовщику держать более одного ученика. В Норвиче и Норфолке ни один ткацкий мастер не имеет права держать более двух учеников под угрозой штрафа в пользу короны в пять фунтов в месяц. Повсеместно в Англии, а также в английских колониях ни один мастер-шляпник не может держать более двух учеников под угрозой штрафа в пять фунтов в месяц, из которого половина идет в пользу короны, а другая в пользу заявившего о том суду. Оба последние постановления, хотя они и утверждены законом королевства, очевидно, продиктованы тем же цеховым духом, каким внушен и шеффилдский устав. Не прошло и года со времени учреждения в Лондоне цеха шелкоткачей, как они издали постановление, ограничивающее число учеников у каждого мастера двумя. *Потребовался специальный акт парламента для отмены этого постановления*» [3].

Все эти постановления, ограничивавшие число учеников и устанавливавшие минимум продолжительности ученичества, Адам Смит считает незаконными.

«Самое священное и неприкосновенное право собственности есть право на собственный труд, ибо труд есть первоначальный источник всякой собственности вообще. [Мы узнаем здесь преамбулу знаменитого указа Тюрго, который пытался применить идеи Смита во Франции [4].] Все достояние бедняка состоит в силе и ловкости его рук, и мешать пользоваться ему этой силой и ловкостью так, как он сам считает для себя удобным, если только он не вредит своему ближнему, значит прямо посягнуть на эту священнейшую собственность. Это представляет собою явное посягательство на законную свободу как самого работника, так и тех, кто хотел бы нанять его. Такие ограничения препятствуют рабочему работать так, как он считает выгодным, а остальным людям — нанимать тех, кого они хотят» [5].

Но в действительности, в тех отраслях промышленности, где ограничение числа учеников причинило бы слишком серьезный вред, парламент отменял ограничительные постановления корпораций. По-видимому, он допускал их применение только в тех отраслях промышленности, которые считались достигшими известного равновесия. И сами цехи, по свидетельству Смита, лишь *иногда* ограничивали это число. В самом деле, цехи не могли сами останавливать набор рабочей силы в растущих областях промышленности, с тем чтобы воспрепятствовать в будущем конкуренции со стороны учеников, которые станут «рабочими», мастерами, и откроют свое дело. Цехи таким образом отрезали бы себя

сами от большей части промышленной деятельности и прибылей. Таким образом, ограничение числа учеников, часто противоречившее прямым интересам самих корпораций или сдерживаемое актом парламента, действовало, в порядке исключения, там, где производство, казалось, достигло некоего достаточно постоянного уровня.

Гораздо чаще корпорации устанавливали продолжительность ученичества, и Смит говорит нам, что в былые времена во всей Европе она, по-видимому, определялась семью годами. Но это было, как признает сам Смит, лишь косвенное ограничение промышленной свободы. Конечно, такая продолжительность ученичества представляется чрезмерной, и она затрудняла доступ к занятию промышленной деятельностью. Но, прежде всего, ничто не доказывает, что в данном случае мы не сталкиваемся со своего рода общественным предрассудком, не имеющим никакого отношения к эгоистическим расчетам корпораций. Весьма возможно, что при отсутствии таких уставов общественное мнение и обычай навязали бы будущим «рабочим», тем, кто мечтал стать «мастерами», довольно продолжительный срок ученичества. Это была некая гарантия, которую общество, с основанием или без него, требовало от них и которую они считали своим долгом предоставить ему. Во всех индустриальных странах обычай продолжительного срока ученичества надолго пережил цеховые уставы, и было бы неудивительно, если бы этот обычай возобладал вновь.

Во всяком случае, если этот семилетний срок и был чрезмерным, он ненамного превышал тот, который в то время был установлен во многих отраслях промышленности просто в силу обычая. И те, кто, стремясь к званию мастера, вступал на этот долгий путь ученичества, знали, что затраченное ими вначале время было лишь авансом, который впоследствии будет им неким образом возмещен теми гарантиями, которые они, в свою очередь, обретут в этой системе.

И, наконец, судебная практика сильно сократила область применения постановлений об ученичестве.

«Закон, изданный в пятый год правления Елизаветы, известный под наименованием *закона об учениках* [6], постановил, что впредь

---

3. А. Смит. Цит. соч., т. I, с. 107—108.
4. Эдикт Тюрго об упразднении цехов датирован 5 февраля 1776 г. В преамбуле-манифесте Тюрго осуждал цеховую систему во имя свободы и естественного права. О затронутых здесь проблемах см. для сравнения: E. Coornaert. Les corporations en France avant 1789. Paris, 1968, 2e éd.
5. А. Смит. Цит. соч., т. I, с. 110.
6. Елизавета, королева Англии с 1558 по 1603 г. Речь идет о Статуте о подмастерьях от 1563 г., подлинном кодексе труда, который систематизировал постановления муниципалитетов и гильдий и закрепил до XVIII в. экономическую систему Средних веков. К середине века эта регламентация еще существовала, хотя и в урезанном виде; вскоре она рухнула, не столько под

никто не сможет заниматься никакими ремеслами, никакой профессией, никаким искусством, практикуемым в то время в Англии, не пройдя предварительно ученического срока продолжительностью не менее семи лет. Таким образом, отдельные постановления многих корпораций превратились в Англии в общеобязательный закон для всех ремесел в *городах* Англии, *имеющих ярмарки*. Ибо хотя выражения этого закона очень общи и, по-видимому, относились ко всему королевству, однако путем толкования его действие было ограничено одними городами с ярмарками. Было признано, что в деревнях одно лицо может заниматься несколькими различными ремеслами, хотя оно и не прошло семилетнего ученичества в каждом из них»[7].

Такое строгое требование длительного ученичества предполагает в самом деле четкое разграничение отдельных ремесел и довольно далеко зашедшее разделение труда. Там, где, как в деревне или в примитивных промыслах, один и тот же рабочий должен выполнять весьма различные работы, нельзя требовать специального обучения каждой из них. Зато если специальное обучение предполагает разделение труда, то можно задаться вопросом, не содействует ли оно этому разделению труда и его закреплению. Две отрасли производства, отделившиеся друг от друга в результате промышленного прогресса, уже не могут обратно соединиться и слиться, когда каждой из них соответствует долгий срок специального ученичества. Это как бы предохранитель, не позволяющий дифференцированной промышленности вернуться к состоянию первоначального смешения.

Но как Англия сумела избежать узких рамок цеховой системы, особенно хорошо видно по тому, как путем очень ловкого буквального толкования судебная практика ограничила применение закона Елизаветы о семилетнем ученичестве исключительно теми отраслями промышленности, которые существовали в момент издания этого закона. Но после XVI в. появилось бесчисленное множество новых отраслей промышленности.

«Сверх того, строгое толкование выражений закона *ограничивало его действие теми ремеслами и промыслами, которые существовали в Англии до пятого года правления Елизаветы, и никогда не распространялось на ремесла, которые появились после этого времени*. Такое ограничение породило ряд различий, которые с точки зрения определенной политики представляются в высшей степени нелепыми. Было установлено, например, что *каретник* ни сам, ни через своих работников не имеет права изготовлять колеса для своих экипажей, а должен покупать их у мастера *колесника*, ибо последнее ремесло существовало в Англии до пятого года правления Елизаветы. Но *колесник*, хотя он и не пробыл в ученичестве у *каретника*, имел право делать сам или при помощи своих работников кареты и экипажи, ибо ремесло *каретника* не подходит под действие закона, так как оно не существовало в Анг-

лии во времена его издания. *Многие из мануфактур Манчестера, Бирмингема и Вулвергемптона ввиду этого не подлежат действию этого закона, поскольку они не существовали в Англии до пятого года правления Елизаветы*»[8].

Адам Смит мог бы указать еще много других постановлений, столь же «абсурдных», как и постановление о каретниках и колесниках. Но развитие истории происходит ценой таких нелепостей в деталях. Англия сохранила для своих старинных и традиционных промыслов, для тех, которые не обновились полностью, защиту корпоративной системы. Но она освободила от нее новые отрасли промышленности, возникшие после ее вступления в период промышленного и капиталистического развития. В этих условиях, в точках соприкосновения обеих систем, неизбежно возникали странные сочетания и аномалии. Но какое значение имели эти странности рядом с той силой, какую придавало английской промышленности это сочетание традиции и приспособления, эта гибкость, благодаря которым она могла позволить себе новые дерзания, не ломая сразу еще прочные старые формы?

Однако, ограничивая сферу применения корпоративной системы ремеслами, существовавшими еще до пятого года правления Елизаветы и до периода большого промышленного подъема, Англия тем самым не только освободила новые ремесла от всяких препон. Она провозгласила также этим моральный и социальный упадок цеховой системы, отныне применявшейся лишь к силам прошлого и не проникавшей во все расширяющуюся сферу нового капитализма. И замечательно то, что города, которые в XIX в. станут очагом самой передовой и смелой английской промышленности, такие, как Манчестер и Бирмингем, уже тогда были освобождены — для большей части развивавшихся в них ремесел — от стеснительной цеховой опеки. Это первый и уже сильный подъем освобожденного от пут капитализма.

УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Уже в то время, и в значительно большей мере, чем во Франции, горное дело, в частности добыча угля, играет в Англии весьма важную роль. И эта промышленность стояла всецело вне рамок корпоративной системы. Уже одно то, какое место занимает она

действием новых идей, сколько под давлением новых интересов. См.: P. Mantoux. La révolution industrielle au XVIII[e] siècle. Chap. IV de la 3[e] partie, «Intervention et laissez-faire».

7. А. Смит. Цит. соч., т. I, с. 108—109. В Англии, как и во Франции, цеховая система существовала только в городах и не распространялась на сельские местности.
8. А. Смит. Цит. соч., т. I, с. 109.

в труде Адама Смита, дает достаточное представление о ее растущем значении. Он говорит о ней в связи с «земельной рентой». Он говорит о ней также в главе о «заработной плате и прибыли» [9].

«Какова бы ни была цена на лес, если цена угля такова, что расход на отопление углем почти одинаков с расходом на дровяное отопление, мы можем быть уверены, что в данной местности и при данных условиях цена угля не может подняться выше. Это наблюдается в некоторых отдаленных от побережья частях Англии, особенно в Оксфордском графстве, где даже простонародье обыкновенно при топке мешает пополам каменный уголь с дровами и где поэтому разница в расходе на тот или другой вид топлива не может быть весьма значительной.

В странах, производящих каменный уголь, цена последнего везде стоит ниже этого максимального уровня. В противном случае уголь не мог бы выдержать издержек при дальней перевозке сухим путем или водою. При таких условиях находило бы сбыт только небольшое количество угля. А углепромышленники и владельцы угольных копей находят более выгодным для себя *продавать большое количество угля* по цене, несколько превышающей минимальную, чем небольшое количество угля по максимальной цене. Наиболее богатый рудник регулирует цену угля всех других рудников в окрестности. Как владелец рудника, так и предприниматель, разрабатывающий его, находят, что, продавая несколько дешевле своих соседей, они смогут получить — первый бóльшую ренту, второй — бóльшую прибыль. Их соседи скоро оказываются вынужденными продавать свой уголь по такой же цене, хотя и не могут делать это без потерь и хотя это всегда уменьшает, а иногда совсем сводит на нет их ренту и прибыль. Некоторые копи в результате этого забрасываются, другие же перестают приносить ренту и могут быть разрабатываемы только землевладельцем.

Низшая цена, по которой может продаваться уголь в течение сколько-нибудь продолжительного времени, должна, как и цена всякого другого товара, быть достаточной для возмещения капитала, затрачиваемого на его производство, и обычной прибыли на него. Цена угля, получаемого из копи, которая не дает ее собственнику ренту и которую он должен разрабатывать сам или же забросить, обычно должна приблизительно держаться на этом уровне.

Даже в тех случаях, когда уголь дает ренту, последняя составляет меньшую часть цены угля, чем это имеет место у большинства других произведений земли. Рента с имения, в котором ведется сельское хозяйство, обыкновенно достигает, как считают, трети валового продукта. При этом, по общему правилу, рента эта устойчива и не зависит от случайных колебаний урожая. Для угольных копей рента в размере одной пятой валового продукта

считается весьма высокой; обычная рента достигает одной десятой его. При этом сама рента редко бывает обеспечена, она зависит от случайных колебаний добычи. Эти последние так значительны, что в стране, где капитализация из 3 $^1/_3$ процентов считается умеренной ценой при покупке недвижимого сельскохозяйственного имения, капитализация из 10 процентов считается хорошей ценой при покупке каменноугольной копи.

Стоимость каменноугольной копи для ее владельца часто зависит столько же от ее местоположения, как и от ее богатства. Стоимость рудника, содержащего металлы, в большей степени зависит от его богатства и в меньшей — от его местоположения. Простые, а в еще большей мере драгоценные металлы, будучи выделены из руды, представляют собою такую значительную ценность, что могут обычно выдержать издержки перевозки на очень большие расстояния сухим путем и на самые отдаленные расстояния морским путем. Их рынок сбыта не ограничивается местностями, находящимися поблизости к руднику, а распространяется на весь мир. Японская медь составляет предмет торговли в Европе, испанское железо — на рынках Чили и Перу. Перуанское серебро проникает не только в Европу, но и через Европу в Китай.

И наоборот, цена угля в Уэстморленде или Шропшире может оказывать мало влияния на цену его в Ньюкасле, а цена в Лионском районе и совсем не может оказывать влияния [10]. Продукты столь отдаленных друг от друга каменноугольных копей никогда не могут конкурировать между собою».

Разумеется, это еще только самое начало горной промышленности. Каменный уголь употребляется почти исключительно для отопления. Его широкое применение в промышленности — дело будущего [11]. Но каменный уголь уже заменяет в качестве топлива дрова, пожираемые в большом количестве мануфактурами. Конечно, Англии еще было очень далеко до ее нынешней огромной добычи угля, не имела она и нынешнего многочисленного пролетариата. Однако английские экономисты и государственные деятели начинали обращать внимание на рабочих горной промышленности, уже дававших рабочему классу Англии пример высокой заработной платы.

---

9. А. Смит. Цит. соч., т. I, с. 150—152. Об угольной промышленности Англии в XVIII в. см.: P. Mantoux. La révolution industrielle..., p. 286.
10. Уэстморленд, Шропшир — западные области Англии, примыкающие к Ирландскому морю или граничащие с Уэльсом. Ньюкасл — административный центр Нортамберленда на р. Тайн (впадающей в Северное море), город, откуда экспортировался уголь.
11. Технология выплавки чугуна на коксе была выработана Абрагамом Дерби в 1709 г. Ее распространение совершалось медленно на протяжении всего XVIII в. В 1788 г. Великобритания производила всего лишь 63 тыс. тонн чугуна.

«Когда непостоянство работы сочетается с ее особой утомительностью и грязью, это иногда повышает заработную плату за самый грубый труд сравнительно с платой за труд самых искусных ремесленников. Рудокоп, работающий сдельно, *зарабатывает обыкновенно в Ньюкасле вдвое больше, а во многих местах Шотландии втрое больше, чем простой рабочий.* Такая высокая заработная плата объясняется вообще утомительностью, неприятностью и грязностью его работы. *В большинстве случаев этот рабочий может всегда иметь работу, если только он этого хочет.* Грузчики угля в Лондоне заняты работой, которая в отношении утомительности, грязи и неприятности не уступает труду углекопов, и ввиду неизбежной нерегулярности прибытия судов с углем большинство имеет весьма непостоянную работу. И потому если углекопы обычно зарабатывают вдвое и втрое больше обычного чернорабочего, то не должно было бы казаться странным, что грузчики угля зарабатывают иногда вчетверо и впятеро больше. *При произведенном несколько лет назад обследовании их положения было установлено, что при расценке, по какой они тогда оплачивались, они могли зарабатывать от шести до десяти шиллингов в день. Шесть шиллингов составляют почти вчетверо больше заработной платы чернорабочего в Лондоне, а в каждой профессии наименьшим обычным заработком следует считать заработок значительного большинства рабочих данной профессии».*

АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА

Но от корпоративной системы ускользали не только все ремесла, созданные после издания закона Елизаветы, или быстро растущие крупные отрасли промышленности, вроде горной. От нее были свободны также все акционерные предприятия, а их число все возрастало. Адаму Смиту даже кажется, что развитие акционерных обществ или компаний было иногда чрезмерным и распространялось на отрасли, где скорее требовалась бы индивидуальная предприимчивость. Он дает акционерному обществу очень точную характеристику. Отныне английский капитализм оснащен одним из своих важнейших органов.

«Акционерные общества, утвержденные королевской хартией или парламентским актом, во многих отношениях отличаются не только от привилегированных компаний, но и от частных торговых товариществ.

Во-первых, в частных торговых товариществах ни один участник не может без разрешения компании продать свой пай другому лицу или ввести нового члена в товарищество. Однако каждый член может по надлежащем извещении выйти из товарищества и потребовать выплаты ему его пая из общего капитала. Напротив, в акционерном обществе член не может требовать от

общества выплаты его пая, но каждый член может без согласия общества передать свой пай другому лицу и таким образом ввести нового члена. Стоимость акции акционерного общества всегда определяется ее ценою на рынке и может быть больше или меньше суммы, внесенной ее обладателем в капиталы компании.

Во-вторых, в частном торговом товариществе каждый член отвечает по обязательствам и долгам товарищества всем своим имуществом. В акционерном обществе, напротив, каждый член отвечает только в размере своего пая.

Торговые операции акционерного общества всегда ведутся советом директоров. Правда, этот совет часто подлежит во многих отношениях контролю общего собрания акционеров. *Но общее собрание этих акционеров редко претендует на понимание дел общества. И когда среди них не господствуют партийные раздоры, они не считают нужным интересоваться ими, довольствуясь получением того полугодового или годового дохода*, какой директора сочтут нужным выдать им. Это полное освобождение от забот и риска сверх определенной суммы привлекает в акционерные общества людей, которые не считали бы возможным рисковать всем состоянием в частном торговом товариществе. Поэтому такие общества обычно привлекают к себе гораздо бо́льшие капиталы, чем те, какими могут похвалиться частные торговые товарищества. Торговый капитал Южноокеанской компании одно время превышал 33 800 тыс. фунтов. Приносящий дивиденды капитал Английского банка достигает в настоящее время 10 780 тыс. фунтов» [12].

Следует заметить, что система акционерных обществ применялась главным образом для предприятий, занимавшихся внешней торговлей (Королевская Африканская компания, Компания Гудзонова залива, Южноокеанская компания, Ост-Индская компания) [13].

«Выдающийся французский автор, большой знаток политической экономии, аббат Морелле [14], приводит список пятидесяти пяти акционерных обществ для внешней торговли, учрежденных в разных странах Европы с 1600 г., которые, по его словам, все

---

12. А. Смит. Цит. соч., т. II, с. 331—332.
13. Королевская Африканская компания, ведшая торговлю главным образом с районом Гвинейского залива, и Компания Гудзонова залива, учрежденная для выгодной торговли пушниной, возникли после Реставрации 1660 г. Учрежденная в 1600 г. Ост-Индская компания слилась в 1708 г. с новой компанией, официально признанной в 1698 г., и образовала великую Ост-Индскую компанию. Английский банк был учрежден в 1694 г.
14. Морелле (1727—1819) сотрудничал в «Энциклопедии». Занимался также вопросами политэкономии.

потерпели неудачу вследствие плохого управления, несмотря на то, что обладали исключительными привилегиями» [15].

Адам Смит стремится очень узко ограничить сферу действия акционерных обществ. Но они, очевидно, не оставались в этих границах и начинали проникать в область собственно промышленной деятельности, даже тогда, когда это было связано с большим риском.

«Акционерные общества могут вести успешно, по-видимому без исключительных привилегий, только те предприятия, в которых все операции могут быть сведены к так называемой рутине или к такому единообразию методов, какое допускает немного или совсем не допускает изменений. К предприятиям такого рода относятся: во-первых, банки, во-вторых, предприятия по страхованию от огня, от морского риска и каперства во время войны, в-третьих, сооружение и содержание судоходных каналов [16] и, в-четвертых, подобные им предприятия, снабжающие водой города.

Хотя принципы банковского дела могут казаться до некоторой степени темными, его практика может быть сведена к точным правилам. Отступление в каких бы то ни было случаях от этих правил ради чрезвычайного барыша от заманчивых спекуляций почти всегда в высшей степени опасно и часто гибельно для банковской компании, рискнувшей на это. Но акционерные общества, в силу своей структуры, обычно более тщательно соблюдают установленные правила, чем частные товарищества. Поэтому такие общества, по-видимому, весьма пригодны для этого дела. Главные банки в Европе поэтому являются акционерными обществами, и многие из них занимаются своим делом очень успешно без каких-либо исключительных привилегий. Английский банк не имеет других привилегий, кроме той, что другие банковские компании в Англии не могут состоять более чем из шести лиц. Оба существующих в Эдинбурге банка являются акционерными обществами и без всяких привилегий.

Хотя стоимость страхования от огня, от потерь в море или каперства и не может быть вычислена очень точно, однако она допускает такую приблизительную оценку, которая позволяет сводить риск до некоторой степени к твердым правилам и методам. Поэтому страховое предприятие может вестись акционерным обществом без исключительных привилегий. Ни Лондонская страховая компания, ни Королевская биржевая страховая компания не имеют таких привилегий.

Когда судоходный канал сооружен, управление им совсем просто и легко подчиняется точным правилам и методам. Даже сооружение его таково, что может быть сдано подрядчику с оплатой поверстно или по количеству шлюзов. То же самое, что о канале, можно сказать и о водопроводе, снабжающем водой большой город. Такие предприятия могут вестись, и часто на самом

деле ведутся очень успешно, под управлением акционерных обществ без исключительных привилегий [17].

Однако учреждение акционерного общества для какого-либо предприятия только потому, что такое общество может оказаться способным вести это предприятие успешно, *или изъятие отдельной группы купцов от действия обычных законов, которые распространяются на всех их соседей*, только потому, что при таком изъятии они могут преуспевать, конечно, не является основательным. Для того чтобы такое учреждение было вполне целесообразным, наряду с возможностью таких правил и методов налицо должно быть еще два других обстоятельства: во-первых, должно быть совершенно очевидно, что это предприятие приносит бóльшую и более общую пользу, чем бóльшая часть обыкновенных предприятий; во-вторых, что оно требует большего капитала, чем тот, какой может без труда быть собран частным товариществом. Если умеренный капитал достаточен, бóльшая полезность предприятия не может служить достаточным основанием для учреждения акционерного общества, потому что в таком случае спрос на то, что оно должно производить, может быть незамедлительно и легко удовлетворен отдельными предприятиями. Во всех четырех отмеченных выше видах предприятий налицо имеются оба эти условия...

За исключением четырех видов предприятий, я не мог представить себе какого-либо другого, где налицо имелись бы условия, требующиеся для того, чтобы было целесообразно учреждение акционерного общества. Английская медная компания в Лондоне, компания для выплавки свинца, компания для шлифовки зеркал не имеют целью какой-либо большой или особенной пользы, которую они бы преследовали. Не требуется также, по-видимому, для выполнения их целей затрат, непосильных для состояния многих частных лиц. Мне неизвестно, возможно ли свести дело, какое ведут эти акционерные общества, к таким точным правилам и методам, которые делают его пригодным для акционерных обществ, или имеют ли они повод хвалиться чрезвычайными прибылями. *Горнопромышленная торговая компания давно уже обанкротилась. Акции Британской полотняной компании в Эдинбурге продаются в настоящее время много ниже своей нарицательной стоимости и выше, чем несколько лет тому назад.* Акционерные общества, учрежденные с патриотической целью поддержания неко-

---

15. А. Смит. Цит. соч., т. II, с. 346.
16. О важном значении сети каналов в Англии XVIII в. см.: P. Mantoux. La révolution industrielle, p. 109.
17. Обращает внимание отрицательное отношение Адама Смита к распространению акционерных обществ на промышленные предприятия. В самом деле, многие акционерные промышленные компании, учрежденные в XVIII в., потерпели неудачу.

торых отдельных видов мануфактурной промышленности, кроме принесения себе вреда и уменьшения капитала всего общества, вряд ли приносят больше пользы, чем вреда. Несмотря на самые честные намерения, неизбежное пристрастие директоров к отдельным отраслям промышленности, в которые разные предприниматели завлекают их и обманывают, задерживает фактически развитие остальной промышленности» [18].

Ясно, что акционерные общества, это капиталистическое орудие, еще не имеют той гибкости и силы, которые они приобретут позднее, но тесный круг корпоративной жизни уже сломан. И крупная английская буржуазия отнюдь не нуждается в революции, чтобы выйти из этого круга. Акционерное общество еще представляется, даже людям свободного и смелого ума, как что-то исключительное, как нарушение общих правил, предписывающих каждому нести по своим обязательствам полную ответственность, простирающуюся на все его состояние. Но поле деятельности акционерных обществ будет расширено естественным развитием капитализма.

АДАМ СМИТ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Адам Смит страдает, сгорая от нетерпения, при виде остатков корпоративной системы. Однако он не решается призвать на помощь закон, чтобы окончательно сломать эту систему, ибо хорошо знает, как иногда трудно отличить корпоративную организацию от свободных объединений. И Смит не доходит до того, чтобы, подобно французскому Учредительному собранию с его законом Ле Шапелье [19], запретить даже объединения, имеющие своей непосредственной целью взаимопомощь. Он сожалеет о том, что эти свободные объединения легко превращаются в корпорации, но не решается требовать закона для их роспуска.

«Люди одного и того же вида торговли или ремесла редко собираются вместе даже для развлечений и веселья без того, чтобы их разговор не кончился заговором против публики или каким-либо соглашением о повышении цен. *Действительно, невозможно воспретить такие собрания даже изданием закона, который можно было бы проводить в жизнь или который был бы совместим со свободой и справедливостью.* Но хотя закон не может препятствовать людям какой-либо отрасли торговли или ремесла собираться по временам вместе, он, во всяком случае, не должен ничего делать для облегчения таких собраний и еще меньше для того, чтобы делать их необходимыми.

Постановление, которое обязывает всех лиц, занимающихся в данном городе определенной отраслью торговли или ремесла, вносить свои имена и адреса в публичный регистр, облегчает устройство таких собраний. Оно сближает лиц, которые без этого,

может быть, никогда не узнали бы друг друга, и каждому из них указывает, где он может найти своих собратьев по профессии.

Постановление, дающее лицам, занимающимся определенным видом торговли или ремесла, право облагать себя для обеспечения своих бедных и больных членов, вдов и сирот, делает такие собрания необходимыми, поскольку создает для их участников общее дело.

Корпорация или цех не только делает такие собрания необходимыми, но и делает постановление большинства обязательным для всей корпорации. В свободной торговле или свободном ремесле действительное соглашение может быть установлено только при единогласном согласии всех членов, и оно может длиться только до тех пор, пока все члены останутся при том же мнении. Большинство же корпорации или цеха может принять обязательное постановление с соответствующими карами за его нарушение, причем это постановление ограничивает конкуренцию более действенно и более продолжительное время, чем любое добровольное соглашение» [20].

Как мы видим, экономический индивидуализм у Адама Смита выражен так же четко, как и у революционных деятелей Франции. Он почти готов запретить даже собрания по вопросам благотворительности и взаимопомощи, потому что они могут стать зародышем корпоративной жизни. Это приводит его непосредственно к той позиции, которая получит выражение в законе Ле Шапелье. И этим подтверждается то, что мы ранее говорили об этом законе. Он, конечно, отчасти отвечает классовым расчетам. Учредительное собрание хотело воспрепятствовать собраниям рабочих, объединяющихся с целью добиться повышения своей заработной платы. Но оно не сознавало, что творит, по существу, свое классовое дело. Оно полагало, что проводит в жизнь бесспорные принципы.

В том недоверии, с каким Адам Смит относится к корпорациям и ко всяким собраниям, которые могут привести к их созданию, нет ничего буржуазного. Ибо Смит имеет здесь в виду не собрания наемных рабочих, запрещенные, впрочем, грозными статутами, а собрания мастеров, самостоятельных ремесленников и торговцев. Но хотя он и ненавидит корпоративную систему, он знает, что эта система находится в процессе разложения, а в той мере, в какой она еще существует, она отвечает если не интересам, то по крайней мере предрассудкам и привычкам очень многих людей ремесла. Таким образом, подобно тому, как ничто в социальном строе Англии не вынуждало крестьян, почти полностью освобожденных от феодального порядка, к революционному дей-

---

18. А. Смит. Цит. соч., т. II, с. 284—286.
19. О законе Ле Шапелье, запретившем коалиции и стачки, см.: Ж. Жорес. Цит. соч., т. I, кн. 2, с. 219.
20. А. Смит. Цит. соч., т. I, с. 116.

ствию, точно так же ничто в экономической и промышленной системе страны не вынуждало к такому действию и английскую буржуазию

РАБОЧИЕ И ПРАВО КОАЛИЦИЙ

Мог ли инициатором социальной революции стать английский пролетариат, рабочий класс? Но у английских пролетариев 1789 г. не было, так же как и у французских пролетариев, классового сознания. Их положение было, несомненно, часто очень тяжелым, а гарантии — слабыми. У них не было почти никакой возможности успешно объединиться для защиты своей заработной платы. Над ними тяготели грозные репрессивные законы, к которым беспощадно прибегали их хозяева [21].

«Рабочие хотят зарабатывать возможно больше, хозяева хотят платить возможно меньше. Первые склонны договариваться между собою, как добиться повышения заработной платы, последние — о том, как ее снизить.

Нетрудно, однако, предвидеть, какая из этих двух сторон должна при обычных условиях иметь преимущество в этом споре и вынудить другую подчиниться своим условиям. Хозяева-предприниматели, будучи менее многочисленны, гораздо легче могут договориться между собою, и притом закон разрешает или по крайней мере не запрещает им входить в соглашение, между тем как он запрещает это сделать рабочим. В Англии нет ни одного парламентского акта против соглашений о понижении цены труда, но имеется много таких актов, которые направлены против соглашений о ее повышении. Во всех таких спорах и столкновениях хозяева могут держаться гораздо дольше. Землевладелец, фермер, владелец мануфактуры или купец, не нанимая ни одного рабочего, могут обыкновенно прожить один год или два на капиталы, уже приобретенные ими. Многие рабочие не могут просуществовать и неделю, немногие могут просуществовать месяц, и вряд ли хоть один из них может протянуть год, не имея работы. В конечном счете рабочий может оказаться столь же необходимым для своего хозяина, как и хозяин для рабочего, но в первом случае необходимость не проявляется так непосредственно.

Говорят, что нам редко приходится слышать о соглашениях хозяев, *но зато мы часто слышим о соглашениях рабочих*. Но те, которые на этом основании воображают, что хозяева редко вступают в соглашения, совершенно не знают ни жизни, ни данного предмета. Хозяева всегда и повсеместно находятся в своего рода молчаливой, но постоянной и единообразной стачке с целью не повышать заработной платы рабочих выше ее существующего размера. Нарушение этого соглашения повсюду признается в высшей степени неблаговидным делом, и виновный в нем предприни-

матель навлекает на себя упреки со стороны своих товарищей и соседей. Мы, правда, редко слышим о таких соглашениях, но только потому, что они представляют собою обычное и, можно сказать, естественное состояние вещей, о котором никогда не говорят. Иногда хозяева входят также в особые соглашения с целью понижения заработной платы даже ниже этого уровня. Такие соглашения проводятся всегда с соблюдением крайней осторожности и секрета до самого момента их осуществления, и если рабочие, как это иногда бывает, уступают без сопротивления, то посторонние лица никогда не узнают о состоявшемся соглашении, хотя это очень чувствительно отражается на рабочих. Однако таким соглашениям часто противопоставляется оборонительное соглашение рабочих. Иногда сами же рабочие, без всякого вызова со стороны хозяев, вступают по своей инициативе в соглашение о повышении цены своего труда. Обычно они ссылаются при этом то на дороговизну съестных припасов, то на большую прибыль, получаемую хозяином от их труда. Но отличаются ли соглашения рабочих наступательным или оборонительным характером, они всегда вызывают много разговоров. Стремясь привести дело к быстрому решению, рабочие всегда поднимают большой шум, а иногда прибегают даже к непривычным буйствам и насилиям. Они находятся в отчаянном положении и действуют с безумием отчаявшихся людей, вынужденных или помирать с голоду, или нагнать страх на своих хозяев, чтобы заставить немедленно удовлетворить их требования. С другой стороны, хозяева в таких случаях поднимают не меньше шума и требуют вмешательства гражданских властей, а также строгого применения тех суровых законов, которые были изданы против соглашений слуг, рабочих и поденщиков. Ввиду этого рабочие очень редко что-либо выигрывают от бурного характера таких соглашений, которые отчасти благодаря вмешательству гражданских властей, отчасти в силу большого упорства хозяев и отчасти вследствие необходимости для большинства рабочих сдаться, чтобы получить кусок хлеба, обычно кончаются лишь наказанием или разорением зачинщиков» [22].

Это наводило на мысль, что взрыв Французской революции и та большая политическая роль, которую начинал играть рабочий класс во Франции, побудят английских рабочих по меньшей мере потребовать предоставления им права коалиций. Этого не произошло. Во всяком случае, я не нахожу нигде указаний на такое общее требование. Любопытное дело! Даже в 1796 г., когда

---

21. Об общих чертах юридического и материального положения рабочих см.: P. Mantoux. Op. cit., chap. III—IV de la troisième partie.
22. А. Смит. Цит. соч., т. I, с. 62—63.

член парламента Уитбред, ссылаясь на крайне бедственное положение английских рабочих, выступает с предложением издать закон, устанавливающий минимум заработной платы [23], никому ни в Палате общин, ни в стране не приходит в голову мысль, что верный способ повышения заработной платы заключается в предоставлении рабочим права коалиций. Сегодня нам представляется гораздо более смелым шагом установить минимум заработной платы, чем признать за рабочими право коалиций и стачки.

Самые передовые умы Англии конца XVIII в. смотрели на вещи с совершенно иной точки зрения. Они исходили из того, что закон уже однажды вмешался в дело определения размера заработной платы. Правда, это имело своей целью, как в знаменитом законе Елизаветы, установление максимума заработной платы, тогда как установление минимума составляло подлинную социальную революцию. Но важно то, что был прецедент. Напротив, провозглашение свободы коалиций, с точки зрения людей того времени, означало узаконение восстания. Фокс (см.: Hansard. The parliamentary history of England, v. 32) рекомендует, правда, ассоциацию как путь к повышению заработной платы, но он имеет в виду ассоциацию филантропов, а не рабочих [24]:

«Если палата, соответственно тому, что было предложено, решила создать ассоциацию, все члены которой обязались бы сами пользоваться лишь одним видом хлеба, чтобы ослабить жестокое следствие его нехватки, то разве она не могла бы заодно создать ассоциацию, имеющую своей целью поднять цену труда пропорционально ценам предметов первой необходимости?»

Но ни Фокс, ни кто-либо из его либеральных коллег и не думал о предоставлении самим заинтересованным права создать такую ассоциацию. Питт, выступая 12 февраля 1796 г. с речью, направленной против предложения Уитбреда, тоже ни словом не упоминает о рабочих коалициях. Он говорит о дружеских обществах, friendly societies, которые являются обществами взаимопомощи рабочих, и не предвидит того, что эти общества взаимопомощи станут однажды зародышем рабочих организаций сопротивления и борьбы.

«Поощрение дружеских обществ будет способствовать облегчению огромного бремени, ныне отягощающего общество в виде помощи бедным, и промышленность получит возможность в тяжелые моменты выходить из положения благодаря своим сбережениям» [25].

Если бы в то время рабочий класс Англии выдвинул общее требование относительно права коалиций, то трудно предположить, чтобы Питт совершенно не упомянул о нем. Он, конечно, выразил бы опасения относительно возможных отклонений рабочих обществ взаимопомощи от своих целей.

Чем объяснить, что, несмотря на потрясение, вызванное во всем мире и среди рабочих Французской революцией, английские рабочие не потребовали законодательного признания столь важного для них права? Конечно, это отнюдь не было следствием равнодушия или недооценки. Ибо из только что приведенных выдержек из Адама Смита, а также из многочисленных документов, собранных Сиднеем и Беатрисой Вебб в их прекрасной истории тред-юнионизма, видно, что фактически на протяжении всего XVIII в. рабочие прибегали к коалициям для того, чтобы отстоять свою заработную плату или добиться ее повышения [26]. И они не довольствовались временными объединениями, они создавали постоянные ассоциации.

«Ни в бесчисленных брошюрах и рабочих плакатах того времени, ни в протоколах заседаний палаты общин нам не удалось обнаружить каких-либо следов существования до 1700 г. постоянных ассоциаций людей наемного труда для защиты и улучшения условий их договоров. В первые годы XVIII в. мы находим отдельные жалобы на ассоциации, «недавно созданные» квалифицированными рабочими некоторых профессий. Далее в ходе этого столетия мы наблюдаем постепенное учащение этих жалоб, а равно и встречных обвинений со стороны организованных объединений рабочих. Начиная с середины XVIII в. протоколы заседаний палаты общин полны петиций и контрпетиций, свидетельствующих о существовании ассоциаций наемных рабочих в большей части квалифицированных профессий. Таким образом, судя по тому, как участились законы, направленные против ассоциа-

---

23. Мысль о фиксировании законом размеров заработной платы возникает в конце XVIII в. Те, кто предлагал это, имели в виду установить таким образом гарантированный законом минимум заработной платы, изменяющийся в зависимости от изменения цен на продукты питания. Вопрос был поставлен в парламенте, но билль, представленный в декабре 1795 г. Самюэлем Уитбредом и поддержанный Фоксом, встретил весьма сильное сопротивление. Сам автор законопроекта как будто извинялся за такое отступление от здравой доктрины, которое может быть оправдано только исключительными обстоятельствами. «Я чувствую так же, как любой человек, как желательно в подобном деле воздерживаться от всякого законодательного вмешательства: цена труда, как и цена любого другого товара, должна быть предоставлена ее естественным колебаниям». См. ниже, с. 325, прим. 49.
24. Фокс, Чарлз Джеймс (1749—1806) — глава партии вигов. В прениях по предложению Уитбреда Фокс настаивал на необходимости дать бедным возможность заработать на жизнь, не прибегая к общественной благотворительности.
25. «The parliamentary history of England from the norman conquest to the year 1803». London, 1806, 36 vol., v. 32, p. 708. См. ниже, с. 325, прим. 51.
26. Sidney and Beatrice Webb. History of trade-unionism. London, 1894 (см. главным образом главу I).

ций в отдельных отраслях промышленности, мы имеем основания предполагать, что это движение приняло широкий характер...»

Любопытно, что все эти рабочие волнения и организации появляются даже ранее мануфактурного периода. Развитие мануфактур достигает особого размаха только к середине XVIII в., тогда как рабочие, занятые в мелкой ремесленной промышленности, уже в течение пятидесяти лет объединялись и организовывались. Следовательно, если в 1789—1793 гг. мы не наблюдаем в Англии широкого движения пролетариев за свои требования, значительных классовых выступлений за право коалиций, то отнюдь не потому, что английские рабочие недооценивали его значение. Но дело в том, прежде всего, что структура английской промышленности была еще слишком сложной, слишком дробной, чтобы стали возможны широкое движение и борьба пролетариев за свои требования. Каковы бы ни были успехи в развитии мануфактуры, она еще не стала преобладающей в очень большом числе отраслей производства. Например, как указывает Сидней Вебб, суконщики Йоркшира начали создавать крупные мануфактуры лишь в 1794 г. Среди промышленных рабочих многие еще наполовину были заняты в сельском хозяйстве. Были еще в то время, особенно в Шотландии и в бедных районах, cottagers, владельцы совсем маленьких участков, неспособных их прокормить, которые искали в промышленном труде необходимые дополнительные ресурсы [27].

«Продукт такого труда часто оказывается на рынке дешевле, чем это соответствовало бы его характеру. Чулки во многих частях Шотландии вяжут гораздо дешевле, чем в других местах, где их изготовляют на станках, и это потому, что их вяжут работницы, которые главную часть своих средств к существованию получают от других занятий. Более тысячи пар чулок привозится ежегодно с Шотландских островов в Лейт, причем цена их колеблется от пяти до семи пенсов за пару. В Лирвике, скромной столице Шотландских островов, как меня уверяли, десять пенсов в день составляют обычную плату за простой труд. На этих же островах население вяжет шерстяные чулки в одну гинею и выше за пару.

Льняная пряжа производится в Шотландии почти так же, как и вязание чулок, т. е. работницами, которые нанимаются главным образом для других целей. Те, кто пытаются заработать на жизнь исключительно одним из этих видов труда, ведут весьма скудное существование. В большей части Шотландии хорошей прядильщицей считается та, которая может заработать двадцать пенсов в неделю» [28].

Нетрудно понять, что эти рабочие и работницы, распыленные и еще более чем наполовину связанные с интересами сельской жизни, не были подготовлены для участия в широком и энергичном классовом движении.

Но, что особенно важно, много людей наемного труда еще были связаны узами корпоративной системы и ремесла. Когда создавались крупные мануфактуры, они сталкивались не только с сопротивлением ремесленников, мелких производителей. Они сталкивались также с сопротивлением их рабочих и подмастерьев, которые чувствовали себя затронутыми в своих привычках и в мануфактурах видели угрозу самому своему существованию и, во всяком случае, часто оказывались вынужденными покидать родные места. Когда в 1794 г. система мануфактур была осуществлена в Йоркшире в суконном производстве, «рабочие и мелкие хозяева вначале боролись единодушно, оказывая сопротивление новой форме капиталистической промышленности, которая начинала отнимать у них контроль над продуктом их труда» [29].

Но могли ли рабочие, люди наемного труда, выступать энергично против своих хозяев и требовать признания права коалиций, могли ли они развернуть против них мощное классовое движение в тот момент, когда они были с ними связаны в деле общей защиты определенной формы производства, которой угрожал капитализм? Вот почему в каждой отрасли промышленности рабочие, воспитанные в духе системы средних веков, проникнутые, так же как их хозяева, духом ограничений, корпорации, привилегий и монополии, действовали заодно с этими хозяевами всякий раз, когда они считали, что какой-либо из этих монополий угрожает опасность. Вот почему, как заметил Адам Смит, очень часто хозяева провоцировали восстания своих рабочих, чтобы помешать проведению какой-нибудь меры, которая ограничила бы их привилегию, например допустив конкуренцию иностранных товаров.

ЗАКОН О БЕДНЫХ

Наконец, законы о бедных, об оседлости и о сертификатах [удостоверениях] * имели следствием прикрепление рабочих к определенным местам, дробление рабочего класса.

---

27. *Cottagers* — собственники или владельцы маленького дома, *cottage*. Обладал ли *cottager* клочком земли или работал на чужой земле, ни его заработная плата, ни собираемый им урожай не позволяли ему удовлетворить потребности семьи. Вследствие этого были вынуждены работать и жена, и дети.
28. А. Смит. Цит. соч., т. I, с. 106.
29. Существенным элементом сопротивления рабочих новым формам производства является враждебное отношение к применению машин, которые угрожают лишить их средств к существованию. Этим объясняются восстания в графстве Ланкашир в 1779 г., волнения в Йоркшире в 1794 г., движение луддитов в 1811—1812 гг.

* См. о них Н. М. Мещерякова. Пролетариат Англии в процессе формирования. М., 1979, с. 81 и сл.— *Прим. ред.*

«Препятствия свободному перемещению труда, создаваемые цеховыми законами, существуют, думается мне, во всей Европе. Но те препятствия, которые в этом отношении создаются законами о бедных, являются, насколько мне известно, особенностью Англии. Эти препятствия состоят в трудности для бедняка приобрести оседлость или даже разрешение на занятие своим ремеслом в любом приходе, за исключением того, к которому он принадлежит. Цеховые законы препятствуют свободному передвижению лишь труда ремесленников и мануфактурных рабочих, тогда как трудность приобрести оседлость препятствует даже передвижению простого чернорабочего труда. Не лишним будет дать беглый очерк возникновения, усиления и современного состояния этого зла, величайшего, пожалуй, из всех создаваемых в Англии политикой государства.

Когда вследствие уничтожения монастырей бедные лишились благотворительной помощи этих религиозных учреждений, после ряда других неудачных попыток помочь им, законом, изданным в сорок третий год правления Елизаветы, было установлено, чтобы каждый приход заботился о своих бедных и чтобы ежегодно назначались попечители о бедных, которые должны были вместе с цеховыми старостами собирать путем обложения жителей прихода необходимые для этой цели суммы.

В силу этого закона каждый приход неизбежно оказывался вынужденным заботиться о своих бедных. Поэтому немаловажным вопросом стало, кого же, собственно, считать бедным данного прихода. Вопрос этот после различных толкований был в конце концов решен законом, изданным в тринадцатый и четырнадцатый годы правления Карла II, когда было постановлено, что неопротестованное пребывание в каком-либо приходе в течение сорока дней создает для любого лица оседлость в нем, но что в течение этого срока двое мировых судей имеют право, по жалобе церковных старост или попечителей о бедных, удалить всякого нового жителя в тот приход, где он перед тем законно проживал, если только он не нанимает помещения за плату в десять фунтов стерлингов в год или не предоставит достаточных, по мнению судей, гарантий в том, что не явится бременем для прихода, в котором теперь поселился» [30].

Это фактически означало лишить трудящихся бедняков свободы передвижения; были приняты многочисленные меры предосторожности, чтобы чернорабочие не могли передвигаться в нарушение закона и обманным путем получать оседлость. Необходимый для этого сорокадневный срок проживания начинал исчисляться лишь со дня заявления, сделанного вновь прибывшим в церкви ко всеобщему сведению.

По мере развития в XVIII в. системы мануфактур, требовавшей более широкого передвижения рабочей силы, стало трудно и почти невозможно сохранять стеснительное законодательство об

оседлости. И оно было заменено режимом сертификатов [удостоверений].

«Законом, изданным в восьмой и девятый годы правления Вильгельма III [31], было установлено, что лиц, имеющих сертификат от последнего прихода, в котором они на законном основании проживали,— сертификат, подписанный церковными старостами и попечителями о бедных и заверенный двумя мировыми судьями,— обязаны допускать к поселению все другие приходы; что они не подлежат выселению только на том основании, что могут оказаться обременительными для прихода, а могут быть выселены только в том случае, если фактически ложатся на него бременем, и что приход, выдавший сертификат, обязан уплачивать расходы по содержанию и выселению их» [32].

Вместе с тем приобретение оседлости было еще более затруднено, чем прежде. Да и сами сертификаты нелегко было получить. Каждый приход боялся, как бы ему не пришлось нести расходы по вспомоществованию и водворению в родные места того, кому он выдал сертификат, в том случае если последний заболеет. Поэтому передвижение самых бедных из чернорабочих было крайне затруднено. Но рабочий класс Англии в целом отнюдь не протестовал против этих помех. Адам Смит удивляется терпению, с которым он это переносит [33].

«Выселение человека, не совершившего никакого преступления или проступка, из избранного им для жительства прихода представляет собой очевидное нарушение естественной свободы и справедливости. *Однако простой народ Англии, столь ревностно относящийся к своей свободе, но, подобно народу большинства других стран, никогда правильно не понимающий, в чем именно она состоит, уже более столетия терпит это* угнетение. *Хотя мыслящие люди нередко указывали на закон об оседлости как на общественное зло, он никогда не вызывал каких-либо массовых народных протестов*, подобных протестам против приказов об аресте без указания лица, тоже представляющих собой злоупотребление, но не ложащееся гнетом на широкие массы. *Осмелюсь сказать, что вряд ли найдется в Англии хоть один бедняк в сорокалетнем возрасте, который в какой-либо момент своей жизни не почувствовал жестокий гнет этого нелепого закона об оседлости*».

---

30. Это был закон 1662 г. об оседлости (act of settlement). Этот закон охранял интересы приходов, но в ущерб свободе передвижения низших социальных категорий. [См.: А. Смит. Цит. соч., т. I, с. 122—123.]
31. Вильгельм III — король Англии с 1689 по 1702 г.
32. А. Смит. Цит. соч., т. I, с. 125.
33. Там же, с. 127. См. также разоблачение этой системы Артуром Юнгом: «Самая лживая, самая зловредная, самая гибельная, какую когда-либо изобретало варварство». («Political arithmetic», I, 93).

Однако Адам Смит не указывает, каковы были те выгоды, которые в глазах большой части английского рабочего класса компенсировали эти недостатки. Во-первых, приходы не подвергались риску внезапного наплыва нищеты. Во-вторых, что особенно важно, та трудность передвижения, которую испытывали наиболее бедные рабочие, защищала быстро растущие отрасли промышленности от конкуренции дешевых рабочих рук, что вызвало бы понижение заработной платы. Я бы не удивился, если бы оказалось, что закон об оседлости и сертификатах помог квалифицированным рабочим довольно многих отраслей промышленности отстоять свою заработную плату или повысить ее.

Позднее, в 1796 г., когда Питт, как верный ученик Адама Смита, выдвинет перед палатой общин идею отмены или радикального изменения закона об оседлости и сертификатах, он это сделает отнюдь не под давлением общественного мнения. Наоборот, он стремится обеспечить свободное передвижение рабочей силы наперекор живучим предрассудкам общества. И он заботится об интересах капиталистов, нуждающихся в избыточной и подвижной рабочей силе, не меньше, чем об интересах рабочих. Цель, которую он себе ставит,— это интенсификация капитализма, со всеми ее хорошими и дурными возможностями [34].

«По моему мнению, главным злом являются злоупотребления, проникшие в закон о бедных нашей страны, и слишком сложный способ исполнения, предусмотренный этим законом. Наш закон о бедных, хотя и разумный в своей первоначальной основе, способствовал стеснению передвижения рабочей силы и, стремясь из побуждений гуманности исправить определенные беды, породил вместо этого целую систему злоупотреблений. Порочные средства исцеления породили лишь путаницу и беспорядок. *Законы об оседлости (laws of settlements) мешали рабочему отправиться на рынок, где он мог бы распорядиться своим умением к наибольшей своей выгоде, а капиталисту они мешали нанять лицо, достаточно умелое, чтобы доставить ему лучшее вознаграждение за предоставленные им авансы...*»

Правда, в этот закон были внесены некоторые смягчения.

«Ныне должностные лица прихода не могут удалить рабочего только потому, что они опасаются, как бы он не стал бременем для прихода. Но в связи с каким-либо временным бедствием промышленный рабочий может быть перемещен с места, где его деятельность была бы полезна ему и его семье, в другое место, где он может стать бременем и не иметь никаких средств для обеспечения самого себя. Чтобы устранить столь важное неудобство, надлежит коренным образом исправить законы об оседлости. Я полагаю, что, обеспечив свободное передвижение рабочих, устранив препятствия, мешающие промышленности самой использовать свои ресурсы, мы бы далеко продвинулись в исцелении бед и уменьшили бы необходимость усиления налогов на содержание

бедных. Нескольких лет такого свободного передвижения рабочих, освобожденного от навязанных законами стеснений, было бы достаточно для осуществления того, что является целью этих законов. Благотворные результаты этой свободы получили бы широкое распространение, выросло бы богатство нации, а бедные обрели бы не только большее благосостояние, но и больше достоинства: бремя налогов в пользу бедных, ложащееся столь тяжким бременем на сельское население, было бы значительно уменьшено» [35].

Совершенно очевидно, что Питт не следует определенному общественному мнению, а старается внедрить в умы своих современников новую и тогда еще весьма спорную теорию. Английские рабочие страшились опасностей, которые могло породить слишком быстрое развитие капитализма, в них был жив дух корпоративного и местнического протекционизма, смягчавший и замедлявший широкие и грозные движения. Мало-помалу этот дух отступает перед неотразимым напором капитализма: те мелкие локальные убежища, в которых как бы укрылись группы рабочего класса, будут опрокинуты и сметены ураганом, и на открытой и выровненной земле пролетарская масса сможет развернуть широкие классовые движения. Но пока что эта масса была разделена, раздроблена, и в то время, когда развертывались события Французской революции, не было возможности для общего широкого движения английского пролетариата. Он еще был слишком разделен и обречен на неподвижность из-за своей раздробленности, чтобы могла развернуться широкая борьба за требования, даже по столь важному для всех пролетариев вопросу, как право коалиций.

БУРЖУАЗНЫЕ РЕПРЕССИИ

К тому же фактически не весь рабочий класс Англии был лишен той силы, которую давала коалиция. Как в рабочем движении не было единства и общности, так не было единства и общности

---

34. «The parliamentary history of England», t. 32, p. 707, 12 february 1796. См. также: W. Pitt. Speeches. T. II, p. 369. Свободное передвижение рабочих было жизненной необходимостью для крупной промышленности. То, чего не удалось добиться аргументами человечности, было осуществлено из соображений пользы, покоящихся на доктрине «laissez-faire».
35. Закон 1796 г. лишил местные власти права превентивного выдворения; только лица, не имеющие средств к существованию и фактически оказавшиеся на содержании органов общественной благотворительности, подлежали возвращению в приход, где они родились. Так был положен конец и невыносимому угнетению, которому подвергали рабочий класс, и стеснениям, затруднявшим работу предприятий. Отныне передвижение рабочей силы стало неограниченным.

в буржуазных репрессиях. Английская судебная процедура по вопросу создания рабочих коалиций с целью повышения заработной платы была весьма непостоянной и неопределенной на протяжении всего XVIII в. Часто случалось, что закон устанавливал размеры зарплаты. Это имело два противоположных следствия. С одной стороны, любая попытка рабочих добиться путем коалиции непосредственно от хозяев заработной платы выше установленной законом становилась актом мятежа и могла быть наказана как таковая. С другой стороны, нельзя было запретить рабочим организовываться, объединяться с целью добиться применения установленных законом тарифов заработной платы, ибо в этом случае рабочие объединения становились орудием закона; им нельзя было также отказать в праве обращаться в парламент с коллективными петициями по вопросу изменения тарифов заработной платы. Таким образом, рабочее движение находилось в более благоприятных условиях, чем это представлялось на первый взгляд, и вопрос о праве образования коалиций в целях повышения заработной платы не был поставлен прямо и четко. Супруги Вебб показали это на основе глубокого анализа фактов [36].

В XVIII в. «запрещение коалиций было все еще следствием регламентации промышленности. Предполагалось, что регламентация условий труда есть дело парламента и судов и что нельзя позволить ни коалициям, ни отдельным лицам вмешиваться в споры, которые могли быть разрешены законным путем [37]. Цель, которую преследовали статуты, заключалась не в запрещении коалиций, а в определении размеров заработной платы, в предотвращении недобросовестных действий или ущерба, в обеспечении точного выполнения договора о найме или надлежащих соглашений об ученичестве. И если, с одной стороны, коалиции, создаваемые с целью вмешаться в эти регулируемые законами дела, считались незаконными и обычно недвусмысленно запрещались, то, с другой стороны, коалиции, создаваемые с целью предложения вопросов, которые могли бы стать объектом новых законодательных актов, какие бы возражения эти предложения ни вызывали со стороны хозяев, по-видимому, не считались незаконными.

Таким образом, первоначальный тип рабочей коалиции — общество, имеющее целью осуществление закона,— по-видимому, всегда молчаливо признавался терпимым. Хотя и представляется вероятным, что с юридической точки зрения подобные объединения подходили под определение ассоциаций и заговоров либо в силу обычного права, либо в силу старинных статутов, мы не знаем случаев, когда такие объединения подвергались бы преследованиям как незаконные. Например, мы рассказывали о том, как в 1726 г. ткачи Уилтшира и Сомерсетшира открыто объединились для представления королю и его совету петиции, направленной против их хозяев, богатых суконщиков. Королевский совет

отнюдь не счел действия ткачей незаконными и принял их жалобу к рассмотрению. И когда хозяева стали упорствовать в неповиновении законам, мы видели, как в 1756 г. братство ткачей-суконщиков обратилось с петицией к палате общин на предмет придания большей эффективности полномочиям судов в деле определения размеров заработной платы и добилось принятия парламентом нового акта в соответствии с пожеланиями ткачей. Почти постоянные коалиции рабочих-трикотажников, действовавшие с 1710 до 1800 г., никогда не подвергались преследованиям со стороны властей. Ассоциации шелкоткачей Лондона были потенциально санкционированы актами Спитфилдса [38], поскольку делегаты рабочих ассоциаций регулярно являлись к судьям, которые определяли и пересматривали размеры сдельной заработной платы...»

И вообще, «не следует воображать, что каждая ассоциация становилась предметом преследований и что тред-юнионистский лидер того времени проводил всю свою жизнь в тюрьмах. Поскольку английская полиция была очень плохо организована и по своей инициативе не возбуждала преследований, коалицию обычно оставляли в покое до тех пор, пока какой-нибудь хозяин не чувствовал себя настолько стесненным в своих операциях, что брал на себя труд привести в движение механизм закона. Во многих случаях мы видим хозяев, которые терпят существование коалиций их рабочих или по крайней мере закрывают на это глаза. Лондонские хозяева-печатники не только признавали весьма старинную организацию «капеллы» *, но начиная с 1785 г. явно считали ее полезной для получения и рассмотрения предложений рабочих, как организованного целого».

Итак, еще в 1789 г. система, регулировавшая право коалиций, была все еще неопределенной, представляя собой сочетание терпимости и произвола. Но по мере развития капитализма, распространения системы мануфактур, по мере того, как парламент отказывался от вмешательства в законодательном порядке в дело определения размеров заработной платы, вопрос о праве коали-

---

36. S. and B. Webb. Op. cit., p. 61.
37. Поэтому-то парламент на протяжении всего XVIII в. не переставал издавать законы, запрещающие рабочим то одной, то другой отрасли промышленности создавать объединения. Именно так поступили в отношении рабочих — портных (1722), ткачей и чесальщиков шерсти (1725), шляпников (1777), бумажников (1796). По словам Уитбреда, в 1800 г. существовало сорок законов, изданных с этой целью.
38. Акт Спитфилдса, изданный в 1773 г. и подтвержденный в 1792 г., предоставил муниципальным властям Лондона право установления размеров заработной платы ткачей в шелковой промышленности и надзора за осуществлением этих решений.

* Капелла (Chapel) — традиционное название коллектива типографских рабочих.— *Прим. перев.*

ций принимает более четкие очертания. И кризис, вызванный Французской революцией, постепенно усилит в английском пролетариате демократические стремления и придаст этой проблеме неожиданную остроту. Но в 1789 г. рабочий класс еще не устремлен к этой цели, и она не является движущей силой революции.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Английский пролетариат не побуждает к восстанию и крайняя нищета. Конечно, много людей испытывало жестокие страдания, особенно сельские пролетарии. Но, в общем и целом, подъем английской промышленности благоприятно отразился на положении английских рабочих.

«В собственно мануфактурный период капиталистический способ производства достаточно окреп для того, чтобы сделать законодательное регулирование заработной платы и невыполнимым и ненужным»[39].

Таким образом, ограничительные законы о заработной плате, предписывавшие ее максимум, мало-помалу отменялись или становились недействительными. Но чего Маркс не добавляет в нарисованной им мрачной картине этого периода истории английского пролетариата, так это то, что фактически в XVIII в. наблюдается большой рост заработной платы [40]. Я уже цитировал указание Форстера о том, что в 1790 г. заработная плата английского рабочего была в два или три раза выше заработной платы немецкого рабочего [41]. Достаточно заглянуть в труд Адама Смита, чтобы увидеть там этот прогресс в области заработной платы. Адам Смит обладает своеобразным научным простодушием: он наблюдает социальные явления без всякой классовой предвзятости. Мы только что видели, с каким беспристрастием он отмечал ущерб, причиняемый рабочим законами о коалициях. Он находит несправедливым, что рабочие не могут объединяться, между тем как хозяева сговариваются постоянно. Он так мало склонен к оптимистической оценке положения рабочих, что Лассалю показалось, что именно в его труде он впервые обнаружил формулу железного закона заработной платы. Смит указывает без всяких оговорок, что прибыль капиталистов образуется путем изъятий из продукта труда. Свою знаменитую главу «О заработной плате» он начинает следующими словами:

«Продукт труда составляет естественное вознаграждение за труд, или его заработную плату.

В том первобытном состоянии общества, которое предшествует присвоению земли в частную собственность и накоплению капитала, весь продукт труда принадлежит работнику. Ему не приходится делиться ни с землевладельцем, ни с хозяином.

Если бы такое состояние сохранилось, вознаграждение за труд

возрастало бы вместе с увеличением производительной силы труда, порождаемой разделением труда. Все предметы постепенно становились бы более дешевыми. На производство их требовалось бы все меньшее количество труда. И так как товары, на производство которых затрачено одинаковое количество труда, при таком положении вещей естественно обменивались бы друг на друга, то их равным образом можно было бы покупать на продукт меньшего труда...[42]

Однако такое первобытное состояние общества, при котором работник получает полный продукт своего труда, не может сохраняться с момента присвоения земли в частную собственность и накопления капитала. Это положение вещей, следовательно, отошло в область прошлого задолго до того, как были достигнуты наиболее крупные успехи в увеличении производительной силы труда, и поэтому было бы бесполезно исследовать дальше, какое влияние это положение вещей могло бы оказать на вознаграждение или заработную плату за труд.

Как только земля становится частной собственностью, землевладелец требует долю почти со всякого продукта, который работник может взрастить на этой земле или собрать с нее. Его рента составляет первый вычет из продукта труда, затраченного на обработку земли.

Далее, только в редких случаях лицо, обрабатывающее землю, имеет средства для содержания себя до сбора жатвы. Эти средства существования обычно авансируются ему из капитала его хозяина, фермера, который нанимает его и который не имел бы никакого интереса нанимать его, если бы не получал долю с продукта его труда или если бы его капитал не возмещался ему с некоторой прибылью. Эта прибыль составляет второй вычет из продукта труда, затрачиваемого на обработку земли.

---

39. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, с. 750.
40. П. Манту (P. Mantoux. Op. cit., p. 442) обращает внимание на то, как трудно исследовать положение с заработной платой в Англии в XVIII в. из-за недостаточной документации. С другой стороны, важно знать именно реальную заработную плату, т. е. покупательную способность, которая определяется на основе многочисленных элементов. Однако П. Манту выявляет несколько черт: общее повышение заработной платы в 1770—1795 гг., растущий разрыв между заработной платой в промышленности и в сельском хозяйстве, притягательная сила промышленности. Но за повышением заработной платы последовало длительное ее понижение вследствие изобилия рабочей силы; так, например, было у ткачей. Как всегда, самую низкую заработную плату получали женщины и дети. Положение еще усугублялось критическими обстоятельствами, которые переживала Англия в 1793—1815 гг.: увеличение номинальной заработной платы отнюдь не было пропорционально повышению цен, вызванному войной.
41. См. выше, с. 32.
42. А Смит. Цит. соч., т. I, с. 60.

Такой же вычет для оплаты прибыли делается из продукта почти всякого другого труда. Во всех ремеслах и производствах большинство работников нуждается в хозяине, который авансировал бы им материалы для их работы, а также заработную плату и средства существования до времени ее окончания. Этот хозяин получает долю продукта их труда, или долю стоимости, которую труд прибавляет к обрабатываемому им материалу. Эта доля и составляет прибыль хозяина».

Подобно тому как он не скрывает происхождения прибыли капиталиста, Адам Смит не скрывает антагонизма, существующего между капиталистом и наемным рабочим.

«*Размер обычной заработной платы зависит повсюду от договора между этими двумя сторонами, интересы которых отнюдь не тождественны. Рабочие хотят получать возможно больше, а хозяева хотят давать возможно меньше. Первые стараются сговориться для того, чтобы поднять заработную плату, последние же — чтобы ее понизить*» [43].

И в этой борьбе, конечно, превосходство на стороне постоянной и молчаливой коалиции хозяев.

К этим социальным причинам снижения заработной платы добавляются экономические причины. Закон предложения и спроса понижает цену труда, когда его предложение слишком велико. И поскольку высокая заработная плата, благоприятствуя бракам и воспроизводству рабочей силы, способствует росту предложения рабочей силы, эта высокая заработная плата имеет тем самым тенденцию превратиться в меньшую заработную плату. Это и говорит Смит в том месте, которое Лассаль приводит в своей полемике с экономистами и в котором, как ему показалось, он нашел первое упоминание железного закона заработной платы.

«Если спрос на труд непрерывно возрастает, оплата труда необходимо должна в такой степени поощрять браки и размножение среди рабочих, чтобы этот непрерывно возрастающий спрос мог быть удовлетворен столь же непрерывно возрастающим населением. Если заработная плата в какой-либо момент опустится ниже того уровня, который требуется для этого, недостаток рабочих рук скоро повысит ее, а если она поднимется выше этого уровня, чрезмерное размножение скоро понизит ее до необходимой нормы» [44].

Но, по правде говоря, Лассаль здесь довольствуется малым. Цитируя это место, он восклицает, что его противник Вирт [45] имеет «неслыханную смелость апеллировать против него к Адаму Смиту». Но прав Вирт, а Лассаль, вырывая из контекста эти фразы, совершенно извратил мысль Адама Смита. Ибо для Смита закон роста народонаселения не является единственным фактором, воздействующим на заработную плату. Да, в стране, где промышленность находилась бы в состоянии застоя, где не было бы роста капитала, где спрос на рабочую силу оставался бы неиз-

менным, этот закон роста населения действовал бы с точностью железного закона.

«Если бы *в такой стране* заработная плата превысила размер, достаточный для существования рабочего и содержания его семьи, конкуренция между рабочими и интересы хозяев скоро понизили бы ее до наименьшего размера, который только совместим с простым человеколюбием» [46].

Но в странах, где промышленность растет, где она постоянно испытывает потребность в большем количестве рабочих рук, рабочие могут постепенно поднять свою заработную плату выше уровня прожиточного минимума. К тому же в этих странах понимают, что интересы их производства требуют наличия такого рабочего класса, который хорошо оплачивается и хорошо питается. И в стране, где промышленность процветает, повышению уровня жизни рабочих способствует не только подъем промышленности, но и сила общественного мнения. По мнению Смита, случай Англии в XVIII в. именно таков.

«Спрос на лиц, живущих заработной платой, необходимо увеличивается по мере возрастания дохода и капитала данной страны и никоим образом не может увеличиваться при отсутствии такого возрастания. Возрастание же доходов и капитала означает возрастание национального богатства. Следовательно, спрос на лиц, живущих заработной платой, естественно возрастает по мере возрастания национального богатства и не может возрастать при отсутствии последнего...

В Великобритании заработная плата в настоящее время, повидимому, стоит выше того уровня, который необходим для обеспечения рабочему возможности прокормить семью...

В Англии прогресс в сельском хозяйстве, промышленности и торговле начался значительно раньше, чем в Шотландии. Спрос на труд и, следовательно, его цена должны были неизбежно возрастать по мере этого развития. Ввиду этого как в минувшем столетии, так и в настоящем заработная плата была в Англии выше, чем в Шотландии. *Она, правда, значительно возросла с того времени*» [47].

Не только номинальная величина заработной платы возросла, но и реальное благосостояние рабочих.

«*Реальное вознаграждение труда, т. е. действительное количество предметов необходимости и жизненных удобств, которое оно может доставить рабочему, возросло на протяжении текущего*

---

43. А. Смит. Цит соч., т. I, с. 61—62, 73.
44. Там же, с. 66.
45. Вирт (1822—1900) — немецкий экономист, основал в 1856 г. «Arbeitgeber».
46. А. Смит. Цит. соч., т. I, с. 66.
47. А. Смит. Цит. соч., т. I, с. 64, 68, 70.

столетия, пожалуй, еще значительнее, чем денежная цена труда. Не только несколько подешевел хлеб, но значительно понизились в цене также многие другие продукты, которые вносят приятное и здоровое разнообразие в пищу трудолюбивого бедняка...

Крупные улучшения в мануфактурном производстве дешевых тканей, льняных и шерстяных, дают рабочим более дешевую и лучшую одежду, а прогресс в производстве грубых металлов дает им более дешевые и лучшие инструменты, а также много приятных и удобных предметов домашнего обихода... Обычные жалобы на то, что роскошь распространяется даже среди низших слоев народа и что рабочие не довольствуются теперь той пищей, одеждой и жилищем, какими довольствовались в прежние времена, могут убедить нас, что возросла не только денежная цена труда, но и его реальное вознаграждение» [48].

Заметьте, что Адам Смит не выступает в защиту какого-нибудь положения, поскольку этот рост общего благосостояния имел место при системе регламентации и монополии, которую он осуждает. Он не сгущает красок, наоборот, он предостерегает читателя от преувеличенного оптимизма. «С тех пор денежный доход и расходы рабочих семейств значительно выросли в большей части королевства, в одних местах больше, в других меньше, *но почти нигде в такой степени, как это недавно внушали обществу в некоторых преувеличенных оценках нынешнего состояния заработной платы*». Таким образом, утверждения Адама Смита обоснованны и добросовестны.

Я обращаю внимание на то, что в ходе парламентских прений по вопросу о минимуме заработной платы, установленном в 1795 и 1796 гг., в момент, когда война и плохие урожаи обрекли на бедственное положение часть английского народа, Уитбред пекся о защите интересов исключительно работников сельского хозяйства («Законопроект Уитбреда об урегулировании заработной платы работников сельского хозяйства» [49]). Правда, в одном месте Уитбред как будто говорит о том, что в течение столетия произошло общее снижение заработной платы. «Если бы было необходимо сослаться на какой-то авторитет, я привел бы выдержки из работ доктора Прайса [50], где он доказывает, что в ходе двух столетий цена труда выросла не более чем в три или четыре раза, тогда как цена предметов первой необходимости выросла в шесть или семь раз, а цена одежды — не менее чем в четырнадцать или пятнадцать раз за тот же период». Но, прежде всего, утверждения доктора Прайса, человека сильного ума, испорченного духом системы, часто бывают тенденциозными и парадоксальными. Я не буду останавливаться на том, как их опровергает Питт. «На авторитет доктора Прайса,— сказал он 12 февраля 1796 г.[51],— ссылались для того, чтобы показать большой рост цен некоторых предметов первой необходимости по сравнению со слабым ростом заработной платы. Но статистические выкладки доктора Прайса

ошибочны, ибо он сопоставляет заработки работников с ценами на продовольствие в определенный, взятый им период и заработки нынешних работников с нынешними ценами тех же предметов, не учитывая изменение обстоятельств и изменения, происшедшие в предметах питания. Хлеб, бывший в то время почти единственным продуктом питания работников, ныне заменен продуктами более дешевыми, и неправильно делать вывод, что заработная плата далеко не соответствует ценам на продовольствие на том основании, что работники не могут больше приобретать в прежнем количестве продукт, в котором они уже не нуждаются так, как прежде».

Не картофель ли имеет в виду Питт, говоря о «более дешевых продуктах (cheaper substitutions)», которые частично заменили хлеб в народном потреблении? Такое восхваление было бы страшным признанием нищеты. Но, повторяю, я не хочу входить в эти расчеты и бесконечные споры. Существует противоречие между словами Питта, признающего вздорожание хлеба, и словами Смита, который двадцатью годами ранее писал, что в XVIII в. он был дешевле, чем в предыдущем столетии [52]. Питт, несомненно, обра-

---

48. А. Смит. Цит. соч., т. I, с. 71, 72.
Представление оптимистическое и требует некоторой оговорки. Несомненно, что первые две трети XVIII в. были временем относительного изобилия и дешевизны. Именно тогда появляется новое слово «комфортабельный», не только в среде буржуазии, но и в народе, вместе с кожаной обувью и белым хлебом. В 1765—1775 гг. наблюдается, однако, задержка в росте общего благосостояния. Ряд неурожайных лет вызвал повышение цены хлеба: квартер (12,7 кг), цена которого с 1710 г. редко превышала 45 шиллингов, стоил на лондонском рынке летом 1773 г. 66 шиллингов. Это вызвало обычные волнения: скопления народа и грабеж на рынках, мельницах и складах. В дальнейшем цены снизились, но не вернулись к прежнему уровню. В отдельных местах отмечался также голод, например, в 1783 г. в Стаффордшире. Положение народных масс было уже неустойчивым, когда в 1793 г. началась большая англо-французская война, которая еще значительно усугубила это положение. См. ниже, прим. 52.
49. «The parliamentary history of England», t. 32, p. 703 (3 декабря 1795 г.). См. выше, с. 311, прим. 23.
50. Ричард Прайс (1723—1791) — проповедник и публицист, автор «Essay on the population of England from the Revolution to the present time» (London, 1780). См. ниже, с. 349, прим. 36.
51. «The parliamentary history of England», t. 32, p. 706. См. выше, с. 311, прим. 25.
52. Отмеченное здесь Жоресом противоречие объясняется разницей в два десятка лет. Хлеб, стоивший в 1792 г. 47 шиллингов квартер, поднялся в цене до 50 шиллингов в 1793 г. и до 54 шиллингов в 1794 г. Но в 1795 и 1796 гг. неблагоприятные климатические условия вызвали беспрецедентное повышение цен: средняя цена превысила 80 шиллингов, а в августе 1795 г. она достигла 108 шиллингов. За этим кризисом последовало затишье: исключительно хорошие урожаи в гораздо большей степени, чем меры, принятые для поощрения ввоза, снизили цену квартера зерна до 62 шиллингов

тил внимание лишь на непосредственное вздорожание. Но что, на мой взгляд, важнее всего и что подтверждает общие указания Адама Смита, это то, что Уитбред и его сторонники говорят исключительно о сельскохозяйственных рабочих. Именно среди них нищета была велика. Аристократия беспощадно продолжала свою политику земельных захватов. Крупные землевладельцы огораживали и захватывали общинные угодья. Число коттеджей, независимых мелких крестьянских усадеб, сократилось вдвое, как это установил Прайс в своей книге «Народонаселение Англии» [53]. И все эти крестьяне, опустившиеся до положения пролетариев, лишенные законом об удостоверениях возможности передвижения, были на краю полной нищеты. «Я хочу,— восклицал Уитбред,— вызволить бедных тружеников из состояния рабской зависимости. Я хочу сделать *землепашца*, проводящего свои дни в неустанном труде, способным обеспечить свою семью пищей, одеждой и жильем с некоторым комфортом. Я хочу освободить молодежь этой страны от необходимости идти в армию или во флот *или отправляться толпами в большие города в поисках пропитания* (*from flecking to great towns for subsistence*). Я хочу дать тому, кто пашет, сеет и молотит хлеб, возможность вкусить от плодов труда своего, дав ему право на часть продукта его труда». Эти слова Уитбреда не расходятся с тем, что в тот же день сказал Бердон в палате общин [54]: «Данные о средних размерах заработной платы на протяжении нескольких лет дают возможность палате убедиться в том, что заработки рабочих значительно возросли». Ибо то, что говорил Уитбред, относилось исключительно к заработкам сельскохозяйственных рабочих. Это обстоятельство подчеркивает также другой сторонник законопроекта, Ликлемир [55]: «В настоящее время нет такого сельскохозяйственного работника, который мог бы комфортабельно содержать себя и свою семью (No agricultural labourer could at present support himself and his family with comfort), ибо хлеб из ячменя продается по огромной цене — двенадцать пенсов, тогда как вся заработная плата не превышает одного шиллинга в день... В заключение я заявляю, что должен быть установлен минимум оплаты для *сельскохозяйственного труда*».

Это, очевидно, крайние следствия великого преобразования в экономике, завершившего уничтожение мелкой крестьянской собственности в пользу крупных животноводческих ферм и вызвавшего обезлюдение деревни в пользу растущей мануфактурной промышленности. Уитбред определенно указывает на это, когда он высказывает намерение остановить эмиграцию сельскохозяйственных работников, толпами уходивших в крупные города. А Прайс, несомненно, ошибался, когда утверждал, что следствием аграрного кризиса было общее сокращение населения, как населения городов и самого Лондона, так и населения деревень. Наоборот, происходил рост промышленного населения и промыш-

ленности, и этот рост производительных сил сопровождался ростом заработной платы в промышленности.

Итак, если в 1789 г. английский пролетариат не обладал достаточно развитым классовым сознанием и чувством единства, чтобы выдвинуть общие экономические требования, то, с другой стороны, он не дошел и до такой степени нищеты и страданий, чтобы у него не оставалось другого средства, кроме немедленного восстания. Наоборот, он чувствовал, что его интересы связаны с ростом английской промышленности, и отнесется враждебно ко всему, что могло бы угрожать промышленному и торговому превосходству Англии.

С другой стороны, раскол между двумя имущими классами Англии, землевладельцами и промышленниками, который позволит английскому пролетариату в XIX в. оказать воздействие на законодательство страны, еще не произошел. В теориях Адама Смита этот раскол лишь в зародыше. Ибо в тот день, когда промышленный класс, порвав с системой регламентации и монополии, потребует полной свободы торговли, чтобы вновь завоевать мировой рынок и сделать Англию мировым пакгаузом, он столкнется с сопротивлением крупных землевладельцев.

Но в 1789 г. политическое соглашение между новой земельной аристократией и крупной деловой буржуазией, заключенное во время революции 1688 г., остается еще в силе. Крупные коммерсанты и промышленники поддерживают режим колониальной монополии и таможенного протекционизма так же, как и крупные землевладельцы.

Наряду с политическим соглашением сохранялось и социальное равновесие между двумя крупными классами имущих: крупное землевладение росло за счет разорения крестьянства (peasantry), а крупная промышленная собственность росла благодаря развитию системы мануфактур и постоянному расширению рынков сбыта. Однако по ряду признаков уже можно видеть, как ось богатства и экономического могущества мало-помалу смещается в сторону промышленности, и промышленный класс начинает обнаруживать, что английская конституция не уделяет ему политического влияния, пропорционального его социальной мощи. В частности, он начинает требовать реформы избирательного закона. Но это движение медленное и притязания умеренные.

в 1797 г. и до 54 шиллингов в 1798 г. Однако во время суровой зимы 1798/99 г. цены вновь повысились, и куда сильнее, чем когда-либо прежде: до 75 шиллингов с лишком в 1799 г., до 127 в 1800 г. и до 128 шиллингов с лишком в 1801 г.

53. См. выше, с. 325, прим. 50.
54. «The parliamentary history of England», t. 32, p. 714.
55. Ibid., p. 711.

ПИТТ МЛАДШИЙ [1]

И оказывается, что ведущий министр Англии, гениальный консерватор, понимает необходимость этих перемен. Он внушает капиталистической буржуазии веру в свои силы и в будущее. Он обещает дать ей в соответствующий момент вполне определенные удовлетворения, не подвергая ее неведомому риску демократии. И он старается защищать крупные интересы английских капиталистов, одновременно обеспечивая английской нации блага мира и надежную финансовую систему.

В 1783 г. простой депутат, он выступает против Фокса и либералов в защиту Ост-Индской компании [2]: он не хочет, чтобы государство воспользовалось ее тяжелым положением и поставило ее под контроль и управление, которые были бы похожи на экспроприацию.

«Я признаю,— сказал он с той силой, которая привлекала и объединяла вокруг него всех деловых людей Сити,— что я достаточно слаб, чтобы уважать права, записанные в хартиях, и что, предлагая новую систему управления и контроля, я не считаю недостойным себя консультироваться с теми, кто более всех заинтересован в деле, которое нужно реформировать, и поэтому наиболее способны дать полезные советы. Я признаю, что предпочесть действовать с их согласия вместо того, чтобы прибегнуть к принуждению,— это непомерное нарушение. Я признаю, что в предлагаемом вам мною проекте закона я сам руководствовался идеями акционеров Ост-Индской компании, здравым смыслом и благоразумием этих людей, которые лучше всех знают существо дела и существенно в нем заинтересованы». («Parliamentary speeches», 14 january 1784 [3].)

Поистине, крупная буржуазия нашла государственного человека себе под стать. Законопроект, направленный против Ост-Индской компании, был одобрен палатой общин, но король Георг III с этим не согласился. Он отозвал министров и призвал к власти молодого Питта. Последний принял это предложение, несмотря на бурное сопротивление большинства палаты общин. Он смело выступил против этого большинства в защиту королевской прерогативы [4].

«Я хочу защищать Конституцию в целом, в соответствии с ее подлинным духом: я хочу охранять как права законодательной власти, так и права государя. Эти права государя, они определены Конституцией столь же тщательно, как и права палаты общин, и долг министров и членов этой палаты защищать в равной мере и те и другие права... Конституция этой страны — ее слава, но ее превосходство покоится на справедливом равновесии. Она равным образом свободна как от беспорядков демократии, так и монархической тирании, и ее красота — в сочетании этих элементов. Это смешанное правление, которое создано мудростью наших предков, и долг всех нас — отстаивать его. Наши предки испытали на опыте превратности и беспорядки республики. Они познали вассальную зависимость и деспотизм неограниченной монархии. Они отказались от того и другого, но, сплавив их воедино, они создали систему, вызывающую зависть и восхищение всего мира. Эта форма правления составляет гордость англичан, и они расстанутся с ней только вместе с жизнью». (1 марта 1784 г.[5].)

К чему были бы Питту эти теории и формулы ограниченного правления, если бы в стране существовала крупная социальная сила, которая стремилась бы создать себе гарантии в форме более простого, более решительного правления?

Но крупные капиталистические и промышленные интересы, господство которых в Англии все более возрастало и которые

---

1. Питт Уильям, Питт Младший (1759—1806)—сын Уильяма Питта Старшего (1708—1778). В 1781 г. был избран в парламент, в 1782 г. назначен канцлером казначейства, с 1783 г.— премьер-министр. Питт оставался у власти семнадцать лет, с 1783 до 1801 г. Он провел переговоры с Францией, завершившиеся подписанием между обеими странами торгового договора (1786 г.), реорганизовал управление Индией (1784 г.). Хотя в начале Французской революции он был сторонником нейтралитета, казнь Людовика XVI послужила ему предлогом для разрыва дипломатических отношений, который повлек за собою объявление войны Конвентом (в феврале 1793 г.).
2. «The parliamentary history of England», t. 24, p. 48 (3 декабря 1783 г.).
3. Ibid., t. 24, p. 318.
4. См. ниже, с. 331.
5. «The parliamentary history of England», t. 24, p. 707. Это восхваление английской конституции Питтом предвосхищает восхваление ее Бёрком в его «Reflections on the revolution in France» (1790). См. выше, прим. 2, и ниже, с. 349, прим. 38.

вовлекали в свою орбиту пролетариат, еще зависимый и неуверенный в своих силах, хотели гарантировать себя как от парламентского всемогущества, так и от королевского абсолютизма. И они чувствовали себя сильными в условиях равновесия властей.

ПИТТ И РЕФОРМА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

После нескольких месяцев борьбы Питт апеллировал к стране, потребовав роспуска палаты общин, и получил на выборах большинство [6]. Он отнюдь не ограниченный консерватор и старается осуществить в представительной системе Англии некую ограниченную реформу, остерегаясь вместе с тем поворота в сторону всеобщего избирательного права. 18 апреля 1785 г. он заявляет:

«Приступая к этому вопросу, я уверен, что встречу большое сопротивление, ибо есть лица, которые враждебны любой реформе. Но я выступаю с большей надеждой, чем когда-либо, и эта надежда представляется мне твердой и разумно обоснованной. Никогда ранее люди не были так просвещены в этой области, как ныне. Никогда ранее не было более благоприятного момента для дискуссии. Большая часть возражений, которые до сих пор выдвигались против реформы, не имеет отношения к проекту, который я вам сейчас предложу, и поистине речь будет идти о вопросе совершенно новом для этой палаты.

Я знаю, как трудно выступать с предложением плана реформы. Число враждебных ей джентльменов — легион. Те, кто с неким суеверным почтением относятся к Конституции, благоговеют перед ней до такой степени, что боятся коснуться даже ее недостатков, всегда порицали всякую попытку улучшения системы представительства. Они признают наличие в ней неравенств и наслоений грязи. Но в своем восторге перед великим зданием они не могут допустить, чтобы некий реформатор своими руками невежды вздумал исправлять повреждения, причиненные ему временем.

Есть и другие, которые видят порожденные обстоятельствами недостатки и хотели бы их исправить, но сопротивляются этой попытке на том основании, что, мол, если однажды мы коснемся Конституции хоть в одном пункте, то уважение к ней, до сих пор защищавшее нас от слишком смелых истолкователей духа новшеств, пропадет, и тогда нельзя предвидеть, до каких крайностей мы дойдем под предлогом реформы. Есть еще другие, но, признаюсь, я не питаю к ним такого же уважения, которые считают, что нынешнее состояние представительства безукоризненно и подходит для осуществления всех замыслов, что оно отвечает всем принципам Конституции. Для них палата общин есть старинное здание, на которое они привыкли смотреть с уважением

и благоговением. Они с колыбели привыкли видеть в ней безупречный образец: их предки наслаждались свободой и благосостоянием под кровом этого здания, и всякая попытка внести в него малейшие изменения кажется нечестивой и кощунственной этим фанатическим поклонникам старины. Никто более меня не благоговеет перед этим старинным учреждением. Но все знают, что даже лучшие учреждения, подобно человеческим телам, несут в себе зародыш упадка и разложения, и вот почему я считаю себя вправе предложить средства против разложения, которое может поразить с течением лет тело Конституции, если не предотвратить этого посредством мудрых и здравых законов.

Этим последним, рассуждающим подобным образом, я не рискую представить мои предложения, ибо отчаиваюсь в возможности переубедить их. Но я вполне уверен, что в том, что я представлю палате, я смогу убедить тех джентльменов, о которых говорил вначале, чьи аргументы, каковы бы ни были их возражения против общих и неопределенных идей реформ, не направлены против четких и ясных предложений, которые я им представляю» [7].

Таким образом, в 1785 г. этот двадцатипятилетний министр, просвещенный и серьезный, старался примирить традицию вигов, которую принял от своего отца, великого Чатама [8], с духом осторожности и консерватизма тори. Он задумал создать новую партию тори, партию разумного консерватизма, открытого для духа реформы. Еще до того, как над миром пронесся грозный вихрь Французской революции, он отдавал себе отчет в том, что для эффективной защиты старого здания английской Конституции от беспокойного духа нововведений необходимо несколько переделать ее, приспособить к новым потребностям. Он был озабочен сохранением союза крупной земельной и крупной промышленной собственности путем предоставления должного места в предста-

---

6. См. выше, с. 329.
7. «The parliamentary history of England», t. 25, p. 432. Известно, какая беспорядочная избирательная система действовала в XVIII в. в Англии. В графствах право голоса предоставлялось землевладельцам, в местечках — только корпорациям. Список избирательных округов, составленный в средние века, не подвергся почти никаким изменениям. Сильно растущие города, такие, как Ливерпуль, Манчестер, не имели никаких представителей, тогда как захиревшие местечки («гнилые местечки») продолжали их выбирать. «Гнилое местечко» Олд Сарем было избирательной вотчиной семейства Питтов.
8. Питт Уильям (1708—1778), Питт Старший, был избран в парламент «гнилым местечком» Олд Сарем (1735), противник кабинета Уолпола, министр иностранных дел (1756), затем подал в отставку, но очень скоро возвратился в правительство (1757). В 1761 г. Питт подал в отставку. С 1766 г. в связи с пожалованием титула графа Чатама — член палаты лордов, тогда же принял пост премьер-министра, который покинул в 1768 г. по состоянию здоровья.

вительстве новым элементам, городам, выросшим благодаря труду и торговле, оставляя, однако, при этом в силе старинный приоритет крупных землевладельцев. И он надеялся, путем осторожных перемен и точно рассчитанных уступок, успокоить и надолго задержать всякое реформаторское движение. Таким образом, удастся скрепить, более чем когда-либо ранее, союз сил, одновременно консервативных и разумно либеральных. И под защитой этих устойчивых и уравновешенных сил английская нация, перенесшая тяжкое испытание американской войны, сможет извлечь все преимущества из восстановленного мира, сможет поправить свои финансы и обеспечить широкий подъем всем экономическим силам, замечательный расцвет которых предвидел и возвестил десятью годами ранее в своей книге А. Смит.

Конечно, Питт никоим образом не вступал на путь демократии, он не предусматривал никакого развития сверх той весьма ограниченной реформы, которую предложил.

«Я полагаю, что можно выработать план, который, полностью соответствуя основным принципам представительства, улучшил бы нынешние несовершенные порядки и обеспечил бы на будущее время совершенный строй. *Говоря так, я знаю, что идея полного и всеобщего представительства, распространенного на всех и обеспечивающего каждому его личную долю в законодательной власти, несовместима с населением и состоянием Англии.* Практическое определение того, чем должна быть народная законодательная власть, может быть сформулировано так: Собрание, свободно избранное и объединенное с массами народа самыми тесными узами союза и совершенной симпатией» [9].

Итак, ничего, что было бы похоже на всеобщее избирательное право или вело бы в этом направлении, а только более верное приспособление узкой представительной системы Англии к важнейшим интересам нации и новому соотношению социальных сил. Что для этого требуется? Нет необходимости менять общее число членов парламента, но следует изменить, придерживаясь определенного правила, порочное распределение мандатов между местечками, центрами земельного богатства, и графствами, центрами растущего промышленного могущества. Когда число домов какого-нибудь местечка ниже определенной цифры, его право избрания депутата в парламент будет передано тому из графств, где число домов наиболее выросло.

«У всех, кто изучает эти вопросы, сложилось твердое и ясное убеждение, что необходимо изменить нынешнее соотношение между представительством местечек и графств, с тем чтобы большее число депутатов пришлось на долю сильно населенных местностей, нежели на долю местностей, где нет ни собственности, ни населения. Поэтому я намерен предложить палате, чтобы места депутатов некоторых местечек этого рода были распределены между графствами».

И это будет произведено без принуждения, не актом власти: местечкам, которые добровольно откажутся от этой бесплодной привилегии, будут предоставлены особые преимущества, снижение налогов, субсидии из специального фонда.

Несмотря на все эти предосторожности, несмотря на свою настойчивость, Питту не удалось убедить большинство своих тори, и оно отказалось принять эти проекты к рассмотрению [10]. Сопротивление землевладельцев-консерваторов всякому, даже малейшему, перемещению политического влияния было еще неодолимым. Но своими предложениями реформы премьер-министр завоевал большой моральный авторитет. С одной стороны, промышленная и капиталистическая буржуазия понимала, что Питт сознает значение новых интересов и сумел бы обеспечить им большее участие в управлении страной, не подрывая Конституции, не задевая глубоко земельной аристократии, с которой английские капиталисты не хотели рвать отношений. С другой стороны, когда Питт вступит в борьбу с революционным движением, когда он выступит, после 1789 г., против всякой реформы избирательной системы, он сможет заявить, что руководствовался отнюдь не духом слепого консерватизма, но что если он высказывается против всяких перемен, то только потому, что новаторы проникнуты революционным духом и стремятся к крайней демократии. И его политику неподвижного выжидания поддержит почти вся промышленная буржуазия, равно как и землевладельцы-тори [11].

Вряд ли можно было бы понять развитие отношений между Англией и Революцией без этого политического и социального анализа английской жизни.

ТОРГОВЫЙ ДОГОВОР С ФРАНЦИЕЙ

Заключением торгового договора с Францией [12] Питт вновь утверждал свою веру в производственную мощь и экономическую экспансию Англии, в силу и творческий дух ее буржуазии. Он в то же время утверждал, что его главная цель — расширение торговых связей английской нации.

«Я полагаю, что могу с самого начала сказать (12 февраля 1787 г.) [13], как нечто всем известное, что преимуществом Франции являются дары ее земли, ее климата и изобилие натуральных

9. «The parliamentary history of England», t. 25, p. 435.
10. Проект избирательной реформы Питта был отвергнут палатой общин 248 голосами против 174.
11. Избирательная реформа будет проведена только в 1832 г.
12. Об англо-французском торговом договоре 1786 г. см. с. 267, прим. 5.
13. Речь Питта см. в: «Recueil des discours prononcés au Parlement d'Angleterre par J. C. Fox et W. Pitt», Paris, 1820, 12 vol., t. 4, p. 187. Договор был ратифицирован палатой общин 252 голосами против 118.

продуктов; что Великобритания, наоборот, имеет бесспорное превосходство благодаря своим мануфактурам и промышленным товарам. Бесспорно, что Франция имеет по договору большие преимущества в части, касающейся натуральных продуктов. Ее вина и водки, ее масла и уксусы, особенно два первых предмета, представляют такую большую ценность, что не может быть и речи о взаимности в обмене натуральными продуктами, ибо нам нечего противопоставить им, разве только пиво. Но зато разве не является доказанным и очевидным фактом, что Великобритания, со своей стороны, обладает некоторыми мануфактурами, каких нет в других странах, и что в других отраслях промышленного производства она имеет такое превосходство над своими соседями, что не боится никакой конкуренции? Таково относительное положение обоих народов, такова конкретная основа, на которой, на мой взгляд, между ними могут быть установлены справедливый обмен и связи. Каждый из них имеет отличную, свойственную только ему продукцию. Каждый имеет то, что недостает другому. Они не сталкиваются в основных ведущих отраслях своей экономики. Они подобны двум крупным купцам разных отраслей, которые могут торговать с прибылью, не мешая друг другу. Если предположить, что теперь в нашу страну будет ввезено большее количество натуральных продуктов Франции, разве кто-нибудь может сказать, что мы, со своей стороны, не отправим больше хлопчатобумажных тканей по ныне установленному прямому пути, нежели ранее, когда мы действовали ухищрениями и окольными путями? Или кто станет утверждать, что мы теперь не ввезем во Францию больше шерстяных изделий, чем тогда, когда их ввоз был ограничен только несколькими портами и обременен весьма тяжелыми ввозными пошлинами? А разве все наши мануфактуры не извлекут больших выгод из возможности отправлять свои изделия без других обложений, кроме пошлины в размере 10 или 11 процентов, а для некоторых товаров — даже в размере всего лишь 5 процентов?.. Справьтесь о том, имеет ли Франция такие мануфактуры, такие отрасли промышленности, которыми она владеет одна или же в которых она отличается настолько, чтобы договор мог вызвать у вас тревогу. Вряд ли стоит об этом говорить... Стекло не может быть импортировано в большом количестве. В некоторых видах кружев или позумента, да, французы могут иметь преимущество, но это превосходство они бы сохранили независимо от договора. А крики насчет модных товаров туманны и не имеют значения, если вдобавок ко всем выгодам, которые дает нам договор, мы примем во внимание богатство страны, с которой мы будем торговать. Учитывая численность ее населения, насчитывающего 28 млн. человек [14], и соответствующее огромное потребление, ее близость к нам и преимущество легких и регулярных сношений, можно ли колебаться и не приветствовать новую систему, не ждать с нетерпением ее быстрой ратификации [15]? Овладение столь обшир-

ным и надежным рынком расширит нашу торговлю, между тем как таможенные пошлины, вырванные из рук контрабандистов и возвращенные в их естественные каналы, увеличат наши государственные доходы — два источника английского богатства и английского могущества.

...Некоторые джентльмены утверждают, что нельзя выработать выгодного договора между нашей страной и Францией, потому что до сих пор не было никакого договора такого рода и, наоборот, торговые отношения всегда были невыгодны для Англии [16]. Это кажущееся правдоподобным рассуждение совершенно неверно. Ибо, во-первых, в течение весьма многих лет мы не имели опыта торговой связи с Францией и, следовательно, не можем иметь разумного суждения об ее достоинствах. И, во-вторых, если бы и было верно, что система торговых сношений, основанная на Утрехтском договоре, была невыгодной для нас [17], то из этого вовсе не следует, что и теперь дело обстоит так же, *ибо в то время мануфактуры, в которых ныне мы обладаем превосходством, едва зарождались* и промышленное первенство было на стороне Франции, а не на нашей стороне... Было бы смешно воображать, что

---

14. Явное преувеличение. Население Франции насчитывало около 25 млн. человек. См.: Ж. Ж о р е с. Цит. соч., т. I, кн. I, с. 194.
15. Превосходство английских изделий было так очевидно, что соседние страны могли бы защитить себя только жесткой запретительной системой. В действительности они никогда не занимали такой позиции. До 1789 г. мнение склонялось если не к свободной торговле, как ее понимал в следующем столетии Кобден, то по крайней мере к заключению торговых договоров. Примером этого был англо-французский договор 1786 г. Одним из его последствий было открытие французского рынка для изделий Манчестера. Зато, правда, французские хлопчатобумажные ткани впервые получили доступ на английский рынок. Но этот режим взаимности неизбежно шел на пользу той из двух стран, которая благодаря своей более передовой технике могла производить в большем количестве и по более низким ценам.
16. Протекционистская таможенная политика имела своих сторонников главным образом среди предпринимателей старых отраслей промышленности, привыкших пользоваться привилегиями и полагавших, что не могут обойтись без них. Но руководители новых отраслей промышленности понимали, сколь необходимо для них получение дешевого сырья и широких рынков сбыта. Металлурги Бирмингема, владельцы прядилен Манчестера одобряли договор 1786 г. Выражение «свободный обмен» для того времени было бы неточным. Но всюду, где появляются машины и крупное производство, дает себя чувствовать необходимость широкой торговой экспансии. Следствием этого и было появление торговых договоров.
17. Утрехтский договор, положивший конец войне за испанское наследство, был заключен в 1713 г. Что касается торговли, то по договору французы и англичане должны были взаимно пользоваться «привилегиями, свободами и льготами» «наиболее благоприятствуемой нации».

Франция согласится предоставить нам какие-либо преимущества не на основе взаимности. Этот договор ей выгоден. Но я не колеблясь скажу, не таясь даже от Франции, что, как бы выгоден ни был для нее этот договор, он еще более выгоден для нас. Доказательство этого утверждения кратко и бесспорно. Франция приобретает для своих вин и других продуктов обширный и богатый рынок. Мы — тоже, но в гораздо большей степени. Она приобретает рынок в 8 млн. человек, мы приобретаем рынок в 24 млн. человек [18]. Франция приобретает этот рынок для своих натуральных продуктов, получение которых занимает лишь небольшое число рабочих рук, которые лишь слабо благоприятствуют судоходству и дают очень мало дохода государственному бюджету. *Мы приобретаем этот большой рынок для наших мануфактур, занимающих сотни тысяч человек, получающих свое сырье со всех концов мира — что благоприятствует росту нашего морского могущества* — и во всех своих делах и на всех ступенях своего развития широко содействующих росту государственных ресурсов».

Итак, Уильям Питт ясно сознает индустриальный характер новой Англии. За семьдесят лет, истекших после Утрехтского мира, в стране совершилась экономическая революция. Страна была в основном сельскохозяйственной, она стала в основном промышленной. Конечно, Питт отнюдь не собирается ущемлять интересы или ограничивать притязания крупных землевладельцев, он не намерен, в частности, отменить ввозные пошлины на хлеб и, таким образом, обеспечить промышленности менее дорогую рабочую силу. Но он сознает, что великолепный взлет Англии на международном поприще возможен главным образом благодаря ее промышленности, ее мануфактурам. Подобно тому как он хотел путем парламентской реформы предоставить немного больше места промышленной буржуазии, не урезая грубо привилегий землевладельцев, точно так же он никоим образом не посягает на основы сельскохозяйственного богатства, но в переговорах с другими нациями он руководствуется главным образом интересами промышленной экспансии. Питт взял на себя в истории задачу обеспечить мирную эволюцию древней Англии отс тарого, сельскохозяйственного порядка к новому, промышленному и капиталистическому строю [19].

И для этой политики преобразований и экспансии он нуждается в мире, особенно в мире с Францией, но это должен быть мир разумный и сильный, всегда готовый, если это потребуется, к энергичной обороне или к целесообразному наступлению.

«Рассматривая договор с политической точки зрения, я не колеблясь протестую против слишком часто выдвигаемого утверждения, будто Франция есть и должна быть неизменно врагом Англии. Мой ум восстает против столь чудовищного и невероятного утверж-

дения. Полагать, что какая-либо нация может быть неизменно врагом другой,— это проявление слабости и ребячества. Это не вытекает ни из опыта наций, ни из истории человечества. Это клевета на устройство политических обществ, это предполагает наличие некой сатанинской злобы в изначальной природе человека. Между тем эти нелепые разговоры получили распространение. Идут еще дальше. Уверяют, что, заключая этот договор, Англия слепо бросилась в объятия своего постоянного и неизменного врага. Люди рассуждают так, как если бы этот договор должен был не только заглушить в наших сердцах всякую ревность, но и уничтожить все наши средства обороны, как будто бы, заключая этот договор, мы отказываемся от нашей армии и нашего флота, как будто бы наша торговля сократится, наше судоходство приостановится, наши колонии останутся беззащитными, да и вся деятельность государства будет поражена вялостью, ослабеет. На чем основаны все эти страхи? Разве этот договор предполагает, что период мира не будет полностью использован для того, чтобы мы подготовились помериться силами с Францией в случае войны? И, напротив, не будет ли правильно сказать, что, открывая нам новые источники богатства, увеличивая ресурсы нации, этот мирный период должен увеличить также наши средства для более эффективной борьбы с врагом, если придется сражаться? Но этот договор дает нечто большее. Рождая между обеими нациями привычку взаимных отношений и обоюдной выгоды, он делает менее вероятным, чтоб нам пришлось воззвать к нашим вооруженным силам, к тому же возросшим. Договор будет благотворно содействовать сближению обеих наций, установлению более тесной общности взглядов, вкусов и нравов. Обеспечивая общее благо той и другой, он внесет в их отношения гармонию, благоприятствующую продлению мира... Я слышал разговоры о неизменном характере французской нации и французского кабинета, о ее ненасытном честолюбии, постоянной враждебности и неустанных замыслах, направленных против Англии, и я знаю, что́ можно сказать о ее недавнем вмешательстве в наши распри с нашими колониями и о недавнем нападении на нас. В этот момент наших невзгод Франция вмешалась с целью раздавить нас, это истина, которую я нисколько не хочу скрывать. Я доказал, что условия договора не могут ни

---

18. В то время население Англии превышало 9 млн. человек; см. выше, с. 265, прим. 3. О населении Франции см. с. 335, прим. 14.
19. Одобрение договора 1786 г. представителями крупной промышленности предвещало ту поддержку, которую их преемники оказали, полстолетия спустя, пропаганде Манчестерской школы. Что касается Питта, то, когда ему довелось вести переговоры с Францией, он не преминул советоваться с ними и следовать их мнению. См.: W. B o w d e n. Industrial society in England towards the end of the XVIIIth century. New York, 1925.

угрожать нашей безопасности, ни сократить наших владений, а что, напротив, укрепив нашу силу, договор в то же время отдаляет возможность войны. Я знаю, что не всегда надлежит доверять мирным заверениям. Но, хоть и зная, что Франция была агрессором в большей части наших предыдущих войн, я, однако, доверяю ее заверениям и ее лояльности в нынешних переговорах. Какие замыслы может в один прекрасный день внушить честолюбие? Это ускользает от человеческой проницательности. Но в настоящий момент французский двор руководствуется правилами достаточно благоразумными и политичными, чтобы не подчинить интересам своей собственной безопасности и своего собственного блага министерские планы химерического возвеличения. Наша нация испытала во время последней войны давление самой чудовищной разрушительной коалиции, и все же в конце конфликта Франции нечем было похвастать [20], и, конечно, это не очень поощряет снова намеренно вступать в борьбу с нами. Несмотря на наши неудачи, наше сопротивление вызывало восхищение, и, даже терпя поражения, мы явили доказательства нашего величия и наших неисчерпаемых ресурсов... Почему бы тогда мне не лелеять эту идею, что Франция, убедившись в твердости и стойкости нашего характера, в нашей силе и бесплодности враждебных по отношению к нам начинаний, предпочтет им выгоды сердечных отношений с нами?»

Питт не предвидел того необычайного потрясения, которое Революция произведет во всем мире. Но можно видеть, что он не будет искать в первых революционных событиях предлогов для разрыва и повода для войны. У него нет фанатической ненависти к Франции, а исходя из интересов Англии, ее финансов, ее торговли, ее мануфактур, он хочет мира. Но когда кризис разразится и обострится, с какой неукротимой твердостью, с какой непреклонной гордостью выступит он стражем национальной безопасности, национальных учреждений, национальной гордости!

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРОЦВЕТАНИЕ

После многолетних усилий, ловких и упорных комбинаций Питту удалось в 1792 г. восстановить равновесие английских финансов, нарушенное войной в Америке [21], и он может возвестить в Англии эру снижения налогового обложения. Он возвещает ей также великолепный рост ее капиталистического могущества. В то время когда Франция бьется в страшных, раздирающих, хотя и благотворных конвульсиях, речь Питта 17 февраля 1792 г. по финансовому вопросу [22] представляет собой победный гимн английской политики, ее традиционной и ограниченной свободы. Это как бы гордый вызов демократии: можешь ли ты сделать больше для величия и богатства нации? Фокс с иронией говорил: «Это финан-

совый юбилей». Это было нечто большее. Это был политический юбилей Англии.

Вслушайтесь в эти сильные слова, гордые и в то же время осмотрительные. Питт констатирует, что доходы государства в 1791 г. достигли 16 750 тыс. фунтов, на 500 тыс. фунтов выше среднегодового дохода за предыдущие четыре года, и что ресурсы бюджета постоянно возрастают. Он настаивает на возможности и необходимости сокращать и далее государственный долг путем погашения части трехпроцентного займа и конверсии четырех- и пятипроцентного. Он предлагает совершенно новый план быстрого размещения новых займов, которые, может быть, придется выпустить, а также сокращение некоторых налогов, более всего обременявших бедные классы, в частности налога с домов, имеющих менее семи окон. Затем Питт вскрывает глубокие причины растущего процветания страны и, как восторженный последователь Адама Смита, отмечает мощный промышленный и капиталистический подъем:

«Если, рассмотрев различные статьи доходов, мы перейдем к более непосредственному изучению ресурсов нашего процветания, мы обнаружим их в соответствующем росте наших мануфактур и торговли. Расчеты, производимые на основе таможенных документов, не могут считаться абсолютно точными, но они позволяют произвести сопоставления разных периодов.

В 1782 г., последнем году войны, импорт в нашу страну, по таможенным оценкам, составил 9174 тыс. фунтов [фунт равняется 25 франкам]. Он постепенно возрастал с каждым годом и в 1790 г. достиг 19 120 тыс. фунтов.

Экспорт изделий английских мануфактур становится все более значительным и решающим критерием торгового преуспеяния. В 1782 г. его стоимость была определена в 9919 тыс. фунтов. В следующем году она составила 10 409 тыс. фунтов. В 1790 г. она возросла до 14 921 тыс. фунтов, а в минувшем году (по которому расчет был произведен для английских мануфактур) она составила 16 420 тыс. фунтов. Если мы примем в расчет также и реэкспорт

---

20. Намек на то, как окончилась война за независимость английских колоний в Америке, в которую включились на стороне Соединенных Штатов в 1778 г. Франция, в 1779 г.— Испания и в 1780 г.— Нидерланды. Тем не менее Соединенные Штаты подписали с Англией сепаратный мир. Версальский договор был подписан девять месяцев спустя (3 сентября 1783 г.). Франция получила Тобаго (Антильские острова) и Сенегал и больше ничего. Помогая Соединенным Штатам, она истратила полтора миллиарда.
21. В ходе войны в Америке Англия вошла в долги на сумму 2,5 млрд.
22. «Recueil des discours prononcés au Parlement d'Angleterre», t. 10, p. 160. См.: «Moniteur», XI, 540. Канцлер казначейства выразил «свое удовлетворение тем, что смог облегчить бремя налогов, не задерживая погашение долга».

иностранных товаров, то в 1782 г. экспорт достиг 12 239 тыс. фунтов, а после заключения мира в 1783 г. его стоимость повышается до 14 741 тыс. фунтов и в 1790 г. достигает 20 120 тыс. фунтов. Эти документы, такие, как они есть (а они неизбежно несовершенны), позволяют лишь дать общее представление о внешней торговле нашей страны. Более чем вероятно, что наша внутренняя торговля, которая все больше способствует росту нашего богатства, выросла по меньшей мере в такой же пропорции, как и внешняя. У меня нет возможности тщательно сопоставить деятельность различных наших мануфактур за тот же период времени. Но их быстрое развитие было замечено всеми, и знание местных условий, которым обладают джентльмены из разных концов страны, перед коими я выступаю, делает излишним вдаваться в детали.

Констатируя, таким образом, рост наших доходов и показав, что он сопровождается соответствующим ростом наших мануфактур, мы задаемся вопросом: какие обстоятельства позволили достичь таких результатов?

Ответ, возникающий сразу же и непосредственно в уме каждого человека этой страны, таков: все это преуспеяние является следствием мастерства и природной энергии нации. Но благодаря чему эти мастерство и энергия смогли проявиться с такой особенной силой и достигнуть результатов, столь значительно превысивших достижения предыдущих периодов? *Бесспорно, бóльшая часть этих благоприятных результатов объясняется техническими усовершенствованиями, осуществленными в каждой отрасли производства, и сокращением затрат труда благодаря изобретению и применению машин* [23]. *Кроме того, в течение этого периода мы более, чем раньше, наблюдали действие одного фактора, который главным образом и способствовал достижению страной ее торгового первенства. Я имею в виду высокое развитие кредита, которое создает дополнительные облегчения нашим купцам для расширения их операций внутри страны и дает им возможность достигнуть соответствующего превосходства и на иностранных рынках* [24]. *Это преимущество было особенно заметно во второй половине того периода, о котором я упоминал, и оно непрестанно возрастает вместе с ростом процветания, которому оно способствует.*

Помимо этого, дух поиска и предприимчивости, присущий нашим купцам, сказался в расширении нашего судоходства и наших рыбных промыслов и в завоевании новых рынков сбыта в различных частях света, и, бесспорно, этим усилиям немало помогли наши новые отношения с Францией, как следствие торгового договора, и хотя эти отношения затруднены и сокращены вследствие беспорядков, свирепствующих в данный момент в этом королевстве, они, эти отношения, явились большим дополнительным стимулом для развития промышленности и деловой активности нашей страны [25].

Однако есть еще другая причина, гораздо более благотворная, чем все остальные, потому что действие ее постоянное и все более

расширяющееся. **Это постоянное накопление капитала**, *это его постоянная тенденция к росту, тенденция, действие которой более или менее заметно, в зависимости от того, нейтрализуется ли она или нет каким-либо общественным бедствием или неловкой или пагубной политикой; но эта тенденция должна всегда проявляться и возрастать в стране, достигшей известной степени торгового процветания. Каким бы простым, каким бы очевидным ни был принцип этого роста, и хотя его действие, конечно, должно быть зримым в более или менее высокой степени, особенно в самые последние периоды, я сомневаюсь, чтобы этот принцип был когда-нибудь объяснен столь полно, столь исчерпывающим образом, как это сделал в своих сочинениях один автор нашего времени, к сожалению, скончавшийся (я имею в виду автора знаменитого трактата о богатстве народов)* [26], *который благодаря широкому знанию деталей и глубине своих философских исследований нашел, я полагаю, лучшее решение всех проблем истории торговли и политической экономии. Накопление капитала происходит оттого, что часть прибыли от него ежегодно отчисляется на увеличение этого капитала, и увеличенная таким образом сумма капитала снова употребляется подобным же образом и дает прибыль в последующие годы. Огромная масса собственности нации возрастает, таким образом, постоянно по сложным процентам, и ее рост за довольно длительный период таков, что на первый взгляд кажется почти невероятным. Как бы велико ни было прежде влияние этой причины, оно будет еще большим в будущем, ибо сила ее возрастает по мере ее действия. Она действует с постоянно возрастающей скоростью и с постоянно возрастающей силой.* Mobilitate viget, viresque acquirit eundo. *(В самом своем движении она набирает энергию и на ходу обретает силы.)*

Как мы узнали на собственном опыте, действие этой силы может быть остановлено или замедлено особыми обстоятельствами, оно может быть прервано на время или даже преодолено. Но там, где есть некая основа производительного труда и деятельной промыш-

---

23. См. выше, с. 275, прим. 20, цит. статью Ф. Крузе в «Annales, E.S.C.», 1966, p. 254. Именно в Великобритании были осуществлены технические изобретения, являющиеся основой крупной промышленности: прядильные машины, летучий челнок, механический ткацкий станок, выплавка чугуна на коксе, пудлингование, паровая машина. Это обеспечило Англии решающее превосходство. См. также: P. Mantoux. Op. cit.
24. В Англии в конце XVIII в. организация кредита была гораздо более передовой, чем во Франции.
25. Торговая экспансия, вне всякого сомнения, была мощным стимулом для роста промышленности. См.: Fr. Crouzet. Op. cit. Что касается внутренней торговли, напомним, что Великобритания, в отличие от Франции, обладала подлинным национальным рынком.
26. Речь идет о труде Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776).

ленности, она не может быть полностью заглушена. Даже в пору самых страшных бедствий и самой страшной нужды ее действие тормозит и ослабляет пагубные следствия кризиса, и при первых признаках возвращения процветания действие этой силы проявляется вновь. В период длительного спокойствия, подобный нынешнему, трудно вообразить, чтобы действие этой силы капитала имело какие-то пределы. Нет, ей нельзя установить никаких пределов, пока в стране еще существует какой-либо объект для познания или промысла, который не достиг высшей степени возможного совершенства, пока еще есть в стране пядь земли, которой можно дать лучшую обработку, или пока еще остается новый рынок, который может быть открыт, или какой-либо уже существующий рынок, который может быть расширен. Благодаря торговым сношениям эта сила накапливаемого капитала участвует в какой-то мере и в процессе роста всех остальных наций, со всем возможным разнообразием существующих в них условий. Грубые потребности стран, еще только выходящих из состояния варварства, и утонченные, все возрастающие потребности в роскоши и изяществе — все будет равным образом открывать ей новые источники богатства, новые сферы действия в обществах, находящихся на любом уровне развития, и в наиболее отдаленных частях земного шара. Это то действенное начало, которое, как я полагаю, основываясь на уроках истории и повседневного опыта, сохраняет в общем и целом, вопреки непостоянству фортуны и катастрофам империй, некое постоянное течение последовательного прогресса в общем мировом порядке.

Таковы обстоятельства, которые, как мне кажется, самым непосредственным образом способствовали нашему теперешнему процветанию. Но и они связаны с другими, еще более важными обстоятельствами.

Они явно и необходимым образом связаны с наличием мира, и его продление, в условиях безопасности и постоянства, должно быть главной целью внешней политики нашей страны. Они еще более связаны с внутренним спокойствием и с естественными результатами правления свободного, но вполне благоразумного. Что вызвало в последние сто лет столь быстрый прогресс, которому нет аналогий в других периодах нашей истории? Что бы это могло быть, если не то, что на протяжении всего этого времени под спокойным и справедливым правлением прославленных государей из семейства, ныне занимающего трон, во всей стране царило неведомое прежде великое общее спокойствие? Мы пользовались, во всей их чистоте и совершенстве, благодеяниями исконных принципов нашей Конституции, провозглашенных и установленных достопамятными событиями конца прошлого столетия [27]. *Такова великая и доминирующая причина, придавшая глубокое значение другим благоприятным обстоятельствам, о которых я говорил.*

Именно союз свободы и закона, создающий преграду как для превышения власти, так и для необузданности народных волнений,

обеспечивает собственности надлежащую безопасность, приводит в действие талант и труд, содействует расширению и надежности кредита, обращению и росту капитала, это он формирует и воспитывает национальный характер и приводит в движение все силы общества во всем разнообразии его элементов.

Трудолюбивая деятельность этих больших классов, столь многочисленных и столь полезных (которые ныне особенно должны быть предметом забот палаты), крестьян-собственников и сельской буржуазии [*peasantry и yeomanry* [28]], *сноровка и изобретательность рабочих, эксперименты и усовершенствования, проводимые богатыми землевладельцами, смелые спекуляции и удачные авантюры богатых купцов и предприимчивых мануфактуристов — все это имеет один и тот же источник. Следовательно, об этом жизненном начале мы должны особенно заботиться: если мы сохраним этот главный и существенный фактор, все остальное будет зависеть только от нас. Мы должны помнить, что любовь к Конституции, хотя она является своего рода национальным инстинктом в сердцах англичан, укрепляется разумом и размышлением и повседневно утверждается опытом, что это Конституция, которой мы должны восхищаться не только в силу традиционного почтения, которое мы должны проявлять, не только в силу предрассудка или привычки, но которую мы должны горячо любить и уважать, так как знаем, что она практически обеспечивает свободу и благосостояние отдельных личностей и всей нации, что она лучше всякой другой формы правления, какая только может существовать, обеспечивает достижение полезных и реальных целей, составляющих единственную истинную основу и единственное разумное содержание всякого политического общества*» [29].

Так говорил Уильям Питт в палате общин под аплодисменты поддерживавшего его большинства в тот самый час, когда в Париже в Законодательном собрании, заседавшем вот уже несколько месяцев, кипели еще смутные страсти и еще неясные идеи. Да, это был великолепный триумф. Да, это был победный гимн англий-

---

27. Намек на «Славную революцию» 1688—1689 гг., приведшую к власти олигархию земельной аристократии и капиталистической буржуазии.
28. Эти социальные категории к концу XVIII в. явно приходили в упадок. Считается, что число независимых хозяйств уменьшилось в период 1740—1788 гг. на 40 тыс. Это разорение свободного крестьянства двояким образом благоприятствовало промышленной революции в Англии: образуя резерв рабочей силы для промышленности и создавая внутренний рынок для изделий мануфактур.
29. См. восхваление английский конституции Бёрком в его ««Reflections on the Revolution in France». Для англичан их конституция — «бесценное сокровище»... «Я считаю, что нашим счастливым положением мы обязаны нашей Конституции»... См. ниже, с. 347.

ского капитализма и английской свободы, неограниченного капитализма и ограниченной свободы. Питт замечательно охарактеризовал новое движение: рост производства, совершенствование техники, развитие машинного производства и кредита, постоянное накопление капитала, расширение рынков сбыта, экстенсивное и интенсивное завоевание мирового рынка.

Капитал, с присущим ему внутренне законом постоянного и неодолимого роста, обретает в его глазах какой-то почти религиозный характер. Капитал — это вечная и провиденциальная сила, которая, невзирая на беспорядки, кризисы, крушения как людей, так и государств, поддерживает в мире прогрессивный порядок и спасает от уничтожения плоды усилий поколений, приобщающихся своими бессмертными сбережениями к будущему всего человечества. Похоже на то, что для Питта этот вечный и всемирный капитализм нашел в английском капитализме свое наивысшее воплощение и свой окончательный образ. Именно благодаря широкой и уравновешенной энергии английского народа капитал распространится по всему свету и проявит свои свойства на всех ступенях цивилизации, как в варварских странах, так и в странах с утонченной культурой. Любопытное дело! Голос государственного человека, политика-практика звучит смелее, взволнованнее, сильнее, нежели голос теоретика. Питт как будто видит еще дальше, чем Смит, и своим более ярким светом освещает более широкие горизонты. И он пробуждает гордость у всех классов нации — у крестьянина и рабочего и в равной степени у богатого дельца из Сити — за это великолепное движение и еще более великолепные перспективы. Но Англия обязана всей этой радостью, всей этой гордостью растущим богатством своей умеренной конституции, своей смешанной системе управления, при которой самые активные классы нации уравновешивают королевскую прерогативу, не уничтожая ее. Решится ли она, ради опасного удовольствия подражать другому народу, в муках ищущему свой путь, изменить свою испытанную конституцию, отдаться на волю случая и беспорядков неограниченной демократии? [30]

Питт старался поставить на службу сохранения конституции самый промышленный расцвет Англии. Он старался направить все наиболее позитивные и наиболее активные интересы нации против всяких поползновений к революции французского типа. И все великие социальные силы объединились вокруг него [31].

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ФРАНЦИЕЙ И АНГЛИЕЙ

Итак, по мере того, как мы глубже анализируем политическое и социальное положение Англии накануне 1789 г., все более явными становятся почти непримиримые различия между Францией и Англией, все глубже представляется глазам наблюдателя та

пропасть, которую Французской революции пришлось бы преодолеть, чтобы шагнуть на землю Англии.

Франции предстояло уничтожить все еще обременявшие ее остатки феодального порядка. В Англии же почти не осталось следов феодализма [32].

Во Франции церковь владела, в ущерб крестьянству, большой частью земли. Английская церковь была очень богата, но бóльшая часть церковных владений была секуляризована во время Революции 1688 г. [33].

Во Франции буржуазия, чтобы добиться гарантий, должна была вести непримиримую борьбу почти со всем дворянством, чьи привилегии покоились на королевском произволе. В Англии дворянство и буржуазия издавна, со времен Великой хартии, заключили союз, чтобы держать королей под контролем. И в 1688 г. появилась новая аристократия, разбогатевшая за счет духовенства, которая и образовала, вместе с крупной промышленной буржуазией, правящий класс.

Во Франции всякое национальное представительство не осуществлялось в течение двух столетий, и только революционным путем нация могла завоевать свое право. В Англии уже века существовало законное представительство нации, и история палаты общин была яркой и славной. Сколь бы узким ни было еще это представительство, оно могло расширяться без потрясений.

Во Франции дефицит вынудил королевскую власть созвать Генеральные штаты и привести в движение Революцию. В Англии правительство Питта энергичными мерами восстановило финансовое равновесие и даже подготовило, как раз тогда, когда вспыхнула Французская революция, наступление эры прибавочной стоимости и снижения налоговых обложений.

Во Франции неравенство налогообложения, обременявшего лишь одну категорию граждан, вызывало гнев населения. В Англии все граждане уже давно были равны перед налогом.

---

30. См. заключение Бёрка в его «Reflections». «Добавим, если угодно, но сохраним то, что они [наши предки] оставили нам, и, твердо стоя на почве британской Конституции, будем любоваться аэронавтами Франции, но не будем пытаться следовать за ними в их отчаянных полетах».
31. Под великими социальными силами подразумеваются традиционная крупная земельная собственность (дорогой сердцу Свифта *landed interest*) и новые экономические силы (дорогие сердцу Дефо *moneyed*), та олигархия, которая со времени компромисса 1688—1689 гг. правила Англией в рамках парламентарной монархии.
32. См. выше, с. 283, прим. 31.
33. Церковь Англии [англиканская церковь], церковь «установленная», т. е. официально признанная, расходы на содержание которой несло государство, была еще в XVIII в. самым крупным землевладельцем страны.

Наконец, во Франции пролетариат, хотя и не готовый еще к классовой борьбе, внезапно вырос благодаря ожесточенной борьбе между буржуазией и контрреволюционными классами. В Англии согласие, существовавшее между земельной аристократией и промышленной буржуазией, лишало английский пролетариат возможности расти и действовать, пока не пробьет его час. Кроме того, английские пролетарии чувствовали себя связанными со всей политической и социальной системой Англии выгодами, которые они получали от быстрого промышленного роста страны, и общностью экономических интересов.

Итак, Англия противопоставляла Революции свою стабильность, обладавшую огромной силой. Однако Революция внесла в мировую жизнь принцип несравнимой силы, который должен был привести в волнение даже Англию. Этот принцип — демократия. Было три вопроса, в которых эта новая сила должна была затронуть Англию и действительно затронула ее.

Во-первых, королевская прерогатива не была точно определена. Король постоянно покушался на права и власть палаты общин. Очень часто правительства представляли собой не что иное, как придворную камарилью, действия которых выражали скорее королевский каприз, чем волю нации. И так как английский народ часто страдал от ошибок королей, действовавших бесконтрольно и окруживших себя министрами-льстецами, так как он переживал глубокое унижение от потери американских колоний, вину за которую возлагал на Георга III и правительство лорда Норта [34], и так как довольно тяжелые налоги, посредством которых Питт восстановил равновесие бюджета, усиливали недовольство, часть нации подумывала о более строгом ограничении власти короны. Но если, согласно принципам Французской революции и Декларации прав человека, только нация суверенна, а король обладает лишь властью, доверенной ему нацией и, следовательно, условной, то вопрос этот разрешался. Таким образом, демократия представлялась решающим средством для ограничения и сдерживания королевской власти.

Во-вторых, Французская революция внезапно придала вопросу об избирательной реформе неожиданный размах. Если до 1789 г. в Англии все усилия самых смелых умов не шли дальше требований незначительного расширения избирательного права и исправления системы выборов, то Франция сразу призвала к избирательным урнам и осуществлению политической власти более 3 млн. граждан. Франция провозгласила принципы, которые явно должны были привести к всеобщему избирательному праву. Английский народ, который во времена Кромвеля и уравнителя (левеллера) Лилберна уже соприкоснулся с принципами демократии и применял их на практике в ряде своих диссидентских церквей, где верующие

сами составляли правление, был глубоко взволнован великолепным примером равенства, данным Францией.

Наконец, могли ли сами пролетарии, столь несчастные порой, столь угнетаемые законами о вербовке и принуждением к морской службе, столь эксплуатируемые богатыми классами, могли ли они остаться равнодушными при виде того, как пролетарии Франции, крестьяне Дофине или Бургундии, рабочие Парижа, принявшие горячее участие в движении, сбивали спесь с дворян и пышных прелатов, рушили замки и Бастилию и требовали от властей дешевого белого хлеба?

ПАМФЛЕТ БЁРКА ПРОТИВ РЕВОЛЮЦИИ

Итак, три революционные силы били ключом на английской почве, поколебленной великим сотрясением Франции. Трудно сказать, каковы были вначале, в первые дни, размах и глубина этого движения. В своих «Замечаниях о письмах Бёрка и Калонна» Пристли утверждает, что сам Бёрк своими резкими полемическими нападками на Французскую революцию привлек к ней внимание английского народа [35]. «До появления его книги (то есть до конца 1790 г.) девяносто девять англичан из ста пребывали в полном неведении относительно событий, происходивших во Франции». Это, конечно, преувеличение, но влияние Революции не могло быть ни быстрым, ни широким. Бёрк заволновался, когда в октябре 1789 г. Ричард Прайс, бывший в одно и то же время ученым-экономистом, финансистом и пламенным проповедником унитариев *, выступил с амвона с восторженной хвалой Французской революции и когда в результате этой проповеди Учредительному собранию от имени *Общества революции (Revolutionary*

34. Георг III, родился в 1738 г., король в 1760—1820 гг. Лорд Норт (1732—1792), став в 1770 г. премьер-министром, восстановил налог на чай, что повлекло за собой войну с английскими колониями в Америке. Несмотря на свою непопулярность, он оставался у власти до 1782 г. благодаря поддержке короля. До самой смерти он был непримиримым противником Питта.

35. Пристли (1733—1804) — богослов, философ и химик, горячий сторонник Французской революции, 26 августа 1792 г. был провозглашен Законодательным собранием французским гражданином, член Конвента. Преследуемый своими соотечественниками, он в 1794 г. поселился в Соединенных Штатах. См.: P r i e s t l e y. Letters to Rt Hon. Edmund Burke, occasioned by his Reflections on the Revolution in France... Birmingham, 1970. См.: «Moniteur», VII, 436. См. ниже, с. 351, прим. 44.

* Унитарии (от латинского «unitas» — единство) — левое рационалистическое крыло протестантизма. Отстаивали веротерпимость и духовную свободу, особенно в области религиозной догматики.— *Прим. ред.*

Society) [36] был послан приветственный адрес. Пламенный ирландский оратор сохранил, несмотря на свой возраст, пылкость воображения. Он предчувствовал, что в один прекрасный день революционное движение, передавшись из Франции, поколеблет весь политический и социальный строй Англии. Он был вигом и вместе с Фоксом выступал против Питта и короны. Он выступал в защиту дела освобождения английских колоний в Америке. Но если Бёрк желал играть на сцене английской олигархии яркие и благородные роли, то он никоим образом не хотел, чтобы порядок представления был нарушен и на сцену выступил сам народ. К тому же это был человек продажный, он получал в свое время субсидии от американских колоний и теперь тайно получал пенсию от короля.

Я спрашиваю себя, не было ли открытие и опубликование знаменитой французской «Красной книги», где были перечислены все прислужники короля, получавшие от него пенсии [37], главной причиной неприязни Бёрка к Революции. Он выступал против Революции с какой-то особенной ненавистью. Она угрожала его духовным склонностям, привычке к парадности и блеску. Она угрожала также безопасности его пышной и порочной жизни. Перенесенная в Англию, Революция могла разбить блестящее окружение, в котором пребывала его персона, и осушить источник его тайных доходов. В конце 1790 г. в объемистом памфлете «Размышления о Французской революции» он дал волю своему гневу [38]. Я оставляю в стороне то, что представляет собой лишь блестящую инвективу или сентиментальную декламацию и романтические куплеты о Марии-Антуанетте, вроде: «Я некогда видел ее, блиставшую, подобно утренней звезде». Я остановлюсь лишь на основных идеях этого памфлета.

Главная забота Бёрка — исключить всякую историческую связь между Англией и революционной Францией. Напрасно, мол, искать в истории Англии прецеденты Французской революции. Правда, в Англии Долгий парламент [39] конфисковал имущества настоятелей монастырей и церковных капитулов так же, как Франция только что экспроприировала аббатов и монахов. Но со стороны английского парламента это был лишь акт защиты, он не ставил под вопрос всю систему собственности. Правда, у Англии была своя революция, когда могло показаться, что народ сам выбрал себе государя. Во время Реставрации, после Кромвеля, и позднее, в 1688 г., представители нации, действительно, позаботились о замещении вакантного престола. Но, когда они таким образом чинили часть разрушившегося здания, они не собирались утверждать преобладание выборного принципа [40].

«Бесспорно, во время революции (в 1688 г.) в лице короля Вильгельма имело место небольшое и временное отступление от строгого порядка установленных правил престолонаследия [41], но было бы противно всем истинным принципам законоведения превращать в принцип закон, принятый в особом случае и касаю-

щийся одной определенной личности: «Privilegium non transit in exemplum» *. Если было когда-либо время, благоприятное для установления принципа, согласно которому единственно законный король — это король, избранный народом, то, несомненно, это было время революции. И если тогда этого не было сделано, то это доказывает, что, по мнению нации, этого не следует делать никогда. Нет ни одного человека, настолько несведущего в нашей истории, чтобы не знать, что большинство парламента было настолько мало склонно к любому подобию такого принципа, что поначалу решило возложить освободившуюся корону не на голову принца Оранского, а его жены Марии, первородной дочери короля Якова, которую признавали как его несомненную дочь. Напоминать вам все обстоятельства, доказывающие, что принятие ими короля Вильгельма не было собственно *избранием*, значило бы повторять избитые вещи. Для всех, кто действительно не хотел возвращать короля Якова или залить свою страну кровью и опять подвергнуть ее религию, ее законы, ее свободы тем опасностям, которых они только что избегли, это было актом *необходимости* в самом строгом моральном смысле, какой только может иметь это слово. Рассматривая сам акт, в котором парламент временно и в единственном

---

36. О Прайсе (Price) (1723—1791) см. выше, с. 325, прим. 50. Проповедь Прайса была переведена на французский язык.: «Discours sur l'amour de la patrie, prononcé... le 4 novembre 1789, à la séance de la Société formée pour célébrer la commémoration de la Révolution dans la Grande-Bretagne...» Paris, 1790, imp. in-8°, 64 p. Под впечатлением проповеди Прайса диссиденты убедили Общество революции [1688 г.] послать адрес Учредительному собранию того же 4 ноября 1789 г. («Moniteur», II, 171). См.: Ж. Ж о р е с. Цит. соч., т. III, с. 253, «Адреса из Англии».
37. «Le Livre rouge ou Liste des pensions secrètes sur le Trésor public...» Paris, 1790, in-8°, imp. en rouge.
38. B u r k e. Reflections on the revolution in France, and on the proceedings in certain societies in London, relative to that event, in a letter intended to have been sent to a gentleman in Paris... London, 1790, imp. in-8°, IV—356 p.
39. Долгий парламент [парламент эпохи Английской буржуазной революции XVII в.— *Ред.*] был назван так, потому что заседал с 1640 по 1653 г.
40. «Размышления» Бёрка начинаются с соображений «О роли монархии в английской Конституции», в которых автор оспаривает принципы, выдвинутые Прайсом в его проповеди 4 ноября 1789 г. Первый принцип: «Право выбирать самим тех, кто нами правит». Второй принцип: «Право смещения недостойного правительства». Третий принцип: «Право самим формировать правительство».
41. Вильгельм Оранский, король Англии (1689—1702) под именем Вильгельма III, был женат на Марии, дочери Якова II, короля Англии в 1685—1688 гг. «Славная» революция 1688—1689 гг. лишила трона сына Якова II в пользу Марии и Вильгельма. Созванный *Конвент* признал монархами обоих супругов (13 февраля 1689 г.).

* Привилегия не может служить примером (*лат.*). — *Прим. ред.*

случае отступил от строгого порядка наследования в пользу принца, хотя и не самого близкого, однако одного из самых близких по линии наследования, любопытно отметить, как вел себя в этой деликатной ситуации лорд Сомерс, представляя билль, названный Биллем о правах [42]. Любопытно отметить, с какой ловкостью это временное нарушение преемственности было устранено из поля зрения... Наши предки хорошо знали, что выборы были бы губительными для «единства, мира и спокойствия этой страны». Чтобы достичь непосредственных целей и исключить навсегда доктрину «Old Jewry» [название улицы, где собиралось «Общество революции»] о мнимом праве людей избирать своих королей, они включили статью, представляющую торжественное отречение от выборного принципа: «Духовные и светские лорды и Палата общин от имени народа смиренно и лояльно заявляют о своем подчинении *за себя, за своих наследников и их потомство во веки веков*». Не только неверно, будто мы благодаря революции приобрели право выбирать своих королей, но, если бы даже мы прежде имели такое право, английская нация в тот момент торжественно отказалась и отреклась от него от имени своего поколения и всех последующих поколений» [43].

Пусть так, пусть существует, как превосходно доказывает Бёрк, только весьма отдаленная связь между Английской революцией 1688 г., вызванной обстоятельствами, и Революцией во имя принципа, совершенной во Франции в 1789 г. Бесспорно, что в в 1688 г. Англия не претендовала на учреждение демократии, что она не провозгласила и не создала народовластия и отступила от традиции и порядка престолонаследия лишь настолько, насколько это было необходимо для защиты жизненных интересов, которым угрожали действия Стюартов. Но дело не в этом. Никто не намеревается оправдывать Французскую революцию и демократию одним только английским прецедентом 1688 г. Достаточно того, что англичане — друзья Революции имели полное основание утверждать, что и в самой Англии монархическая традиция не была непрерывной, что королевское право не было неприкосновенным.

Возможно, что выбор, сделанный уполномоченными нации, был только по видимости выбором, а в действительности это был акт необходимости, как выразится в дальнейшем Гизо о Луи-Филиппе, заимствовав тезис Бёрка и применив его к революции 1830 г. Но ведь истолкователем этой необходимости выступила сама нация, и, стало быть, что бы ни говорили, налицо ясное и формальное проявление национальной воли при зарождении королевского права новой английской династии. Это вовсе не значит, что английская нация собирается лишить своих королей власти. Но это значит, что она может, не посягая на установленное ею самой право, лучше обеспечить непосредственное осуществление национального суверенитета. Таким образом, юридический прецедент 1688 г.,

усиленный духом демократии, но примененный с традиционной английской осторожностью, может привести к великому политическому преобразованию в духе народного права, свободы и равенства.

Пристли отмечает [44], что виг Бёрк интерпретирует Английскую революцию 1688 г. так же, как это делали тори, которые, оставаясь в душе якобитами [45], но желая постепенно оправдать свое присоединение к новой династии, притворялись, будто видят в ней лишь законного и необходимого преемника павшей монархии. Книга Бёрка — сочинение ритора, а не государственного человека, ибо он рассуждает так, будто речь шла о перенесении в Англию, в силу английских прецедентов, законченной демократии и всей революции в целом. Это не входило в намерения ни большинства англичан, сочувствовавших Революции, ни тех французов, которые хорошо знали оба народа. Кондорсе в одном из своих дипломатических донесений решительно заявляет, что англичане возьмут от Революции только то, что соответствует их духу и может ускорить у них, без всякого разрыва и насилия, дело реформ. Таким образом, было вполне естественно, что, для того чтобы оправдать внесение в английскую конституцию более широкого народного

---

42. Сомерс (1651—1716), записан в адвокатуру Лондона в 1676 г., избран в парламент в 1689 г., назначен лордом-хранителем большой печати в 1693 г., затем лордом-канцлером Англии в 1697 г. Играл большую роль в переговорах, завершившихся восшествием на престол Вильгельма Оранского. Действительно, в 1689 г. не было ни отрешения Якова II, ни избрания нового короля: ввиду того, что трон стал вакантным вследствие бегства Якова II, рассматриваемого как отречение, его дочь Мария заняла его место в соответствии с законами о наследовании, а Вильгельм принял вместе с нею титул короля с равными правами. 13 февраля 1689 г., после того, как им зачитали текст Билля о правах, они были торжественно провозглашены королем и королевой Англии под именем Вильгельма III и Марии.
43. Локк, Джон (1632—1704) дал совершенно иное истолкование Революции 1688—1689 гг. в своем «Трактате об управлении государством» (1690). Он тоже оправдывает совершившийся факт, но потому, что этот совершившийся факт представляется ему в высшей степени разумным. «Гражданское общество» или «правление» (Локк употребляет, не делая различия, тот или другой термин) имеет целью защиту прав человека (и прежде всего права собственности). Если власть посягает на естественные права, а именно на свободу и на собственность, подвластные имеют право восстать. Локк оправдывал Революцию 1688—1689 гг. естественным правом, а Бёрк — историческим прецедентом.
44. В своих «Letters to Rt Hon. Edmund Burke, occasioned by his Reflections on the Revolution in France...» См. выше, с. 347, прим. 35.
45. Якобиты — сторонники претендента Якова Эдуарда Стюарта (Якова III, 1688—1766), сына Якова II, лишенного в 1689 г. престола, переданного его сестре Марии и Вильгельму Оранскому. См. выше, с. 349 и 351, прим. 41 и 42.

духа, стали придавать особое значение народной воле, лежавшей в основе самого королевского права в момент его недавнего возникновения. И когда он говорит, что все предыдущие акты королей окажутся недействительными, если считать, что только избрание является единственным основанием законности, то это не более как пустая игра ума.

Столь же тщетно и с пустым красноречием восхваляет Бёрк красоту традиции, исторической преемственности, придающей коллективной жизни народов глубоко интимный характер семейной жизни [46].

«Заметьте, что начиная с Великой хартии и до Билля о правах [47], наша Конституция неизменно провозглашала и утверждала наши свободы как *завещание*, как *наследие* наших отцов, которое должно быть передано нашему потомству как особое достояние, завоеванное для народа этого королевства, без всяких ссылок на какое-либо более общее и древнее право. Благодаря этому наша Конституция сохраняет единство, несмотря на столь великое разнообразие ее частей. У нас наследственная королевская власть, наследственные пэры, и Палата общин и народ, которые наследуют привилегии, вольности и свободы от длинного ряда предков.

Такая политика представляется мне результатом глубокого размышления или, вернее, счастливым проявлением некой инстинктивной мудрости, которая выше размышления. Дух новшества является обычно результатом эгоистического характера и ограниченного кругозора. Народ не способен проникнуть своим взором в далекое грядущее своих будущих поколений, если не умеет оглядываться назад, на своих предков. Английский народ хорошо знает, что идея наследственности является надежным принципом сохранения и дальнейшей передачи уже имеющегося достояния, отнюдь не исключая при этом принципа совершенствования. Эта идея допускает новые приобретения, но она обеспечивает то, что уже приобретено. Каковы бы ни были преимущества, приобретенные совокупностью людей, руководствующихся этими принципами, их можно рассматривать почти как некое домашнее установление, покоящееся на принципе своего рода вечной неотчуждаемости. Благодаря конституционной политике, действующей по примеру природы, мы получаем, обладаем и передаем по наследству наш образ правления и наши привилегии точно так же, как мы вступаем во владение нашей собственностью и нашей жизнью и передаем их нашим потомкам. Политические учреждения, имущественные блага, дары провидения переходят к нам, а от нас к тем, кто следует за нами, одним и тем же путем и одним и тем же порядком. Наша политическая система находится в точном соответствии и гармонии с мировым порядком и с образом существования, присущим некоему вечному организму, состоящему из преходящих элементов, так как в нем благодаря удивительной мудрости, управляющей великой тайной воплощения и жизни

рода человеческого, ничто в данный момент ни старо, ни среднего возраста, ни молодо, но все пребывает в неизменно прочном состоянии. Этот организм живет в непрерывном разнообразии упадка, падения, обновления и вечного совершенствования. Таким образом, следуя в управлении государством методам природы, мы, вводя улучшения, никогда не являемся вполне новыми, а поддерживая старое, никогда не становимся совсем устаревшими. Будучи связаны таким образом и этими принципами с нашими предками, мы руководствуемся не суеверной приверженностью к старине, а духом философского анализа. Выбрав эту форму наследования, мы придали нашей политической системе некое сходство с отношениями, основанными на кровном родстве. Мы увязали Конституцию нашей страны с самыми дорогими нам семейными узами; мы приняли и как бы включили наши основные законы в интимную сферу наших семейных привязанностей. Мы сохраняем неразрывно слитыми и любим со всем пылом наших соединенных и взаимно усиливающих друг друга чувств нашу политическую систему, наши семейные очаги, наши могилы и наши алтари.

Наш план — согласовать наши искусственные учреждения с природой и взывать к ее верным и могучим инстинктам для укрепления слабых и подверженных ошибкам изобретений разума, и этот прием, позволяющий нам рассматривать наши свободы в свете закона наследования, дает нам и другие не менее важные преимущества. Действуя всегда как бы в присутствии канонизированных предков, дух свободы, ведущий сам по себе к беспорядку и крайностям, умеряется благоговейной серьезностью. Это сознание свободного происхождения внушает нам некое привычное чувство прирожденного достоинства, исключающего ту наглость выскочки, которая возникает почти неизбежно и к несчастью для них самих у тех, кто впервые приобретает какое-нибудь общественное отличие. Благодаря этому наша свобода становится благородной свободой. Она приобретает внушительный и величественный облик. У нее своя генеалогия и свои славные предки.

У нее свои аудиенции и свои гербы. Своя портретная галерея, свои надписи на монументах, свои архивы, свои отличия и свои титулы. Мы обеспечиваем уважение к нашим гражданским учреждениям с помощью тех же правил, которыми пользуется природа, чтобы внушить нам почтение к личностям в силу их возраста или

---

46. В следующем отрывке Бёрк старается опровергнуть третий принцип Прайса — «право самим формировать правительство»: «Революция была совершена для сохранения наших законов и *древних* и бесспорных свобод и того *старинного* порядка правления, который является их единственной гарантией... Одной только мысли о создании некоего нового правления достаточно, чтобы вызвать у нас чувство отвращения и ужаса».
47. От Великой хартии до Билля о правах: с 1215 до 1689 г.

происхождения. Все ваши софисты не могут выдумать ничего, что было бы лучше приспособлено для сохранения разумной и мужественной свободы, чем тот путь, по которому мы следовали, мы, сделавшие великими хранителями наших прав и привилегий не столько наши умозрения, сколько нашу природу, не столько наши умы, сколько наши сердца».

Чудесно, вот первая формулировка того политического и социального натурализма, который Тэн и его ученики противопоставляют мнимому абстрактному идеализму, мнимой метафизике Французской революции. Именно ритор Бёрк оказывается великим изобретателем этой глубокой философии. Уже не мысль человека создает произвольно тип общества: народы развиваются в ходе некоего непрерывного, медленного роста, подобно организму. Природа, о которой говорит Бёрк,— это не та отдаленная, идеальная и химерическая природа абстрактного первобытного человека, столь дорогого французским философам XVIII в. Это совокупность общественных и семейных инстинктов в том виде, как они проявляются в современных христианских обществах. Пусть так, но что же означают эти излияния сентиментальной риторики? Что означает эта бьющая через край лава английской спеси, которую Тэн собрал, охладил и заставил застыть в нескольких тяжеловесных фразах? [48]

Хорошо, когда народ может рассматривать свою политическую свободу как наследие предков; хорошо, как говорится, если она у него в крови. Бёрк несколько компрометирует эту идею, когда, одержимый аристократическим духом английских учреждений и нравов, доходит до того, что представляет себе свободу в виде благородной дамы с ее фамильными портретами и дворянскими грамотами. Читая его, невольно вспоминаешь, что это гордое сознание свободы, которое он смешивает в конце концов с дворянской спесью, было уделом лишь ничтожного меньшинства привилегированных. Благородная дама имеет свои аудиенции, но народ не имеет туда доступа, и надо обладать гербами, как она, чтобы попасть в ее окружение. Благородная свобода, говорите вы, но эта свобода чопорна, редко являет свой лик и высокомерна, и она заставляет почти сожалеть о более экспансивной гордости тех, кого вы называете выскочками. Впрочем, дело вовсе не в том, чтобы сформулировать исторический закон, которому до сих пор следовало развитие Англии. Вопрос в действительности ставится так: что надлежит думать о Французской революции? И какую позицию должны занять англичане в отношении тех, кто попытается распространять и прививать ее принципы в Англии? Так вот, на этот вопрос высокопарная декларация Бёрка с ее семейной и натуралистической теорией не дает никакого ответа, даже намека. Вопрос заключается в том, нашли ли французы в завещанном им веками историческом наследии достаточно свобод, достаточно гарантий, чтобы им оставалось только принять и терпеливо увеличивать это наслед-

ство. Так как, если на протяжении двух веков их давил все возраставший абсолютизм, если это накопленное наследственное достояние, передаваемое одним поколением другому, заключается только в рабстве и произволе, то как может Бёрк судить Французскую революцию с точки зрения того типа исторического развития и мудрого накопления, который совершенно неприложим к Франции?

Да, французский народ вынужден стать, на свой страх и риск, выскочкой свободы. Уже более двухсот лет, как Генеральные штаты впали в забвение; вот уже более двухсот лет монархия, окруженная привилегированными, все более и более угнетает народ. Заставите ли вы французский народ принять без сопротивления весь этот огромный дефицит свободы, ссылаясь на законы наследственности и законы о наследовании? Высший закон непрерывности развития не нарушается. Как и любой другой народ, французский народ не может отрешиться от своего прошлого. Он тоже наследует плоды усилий своих предков, он наследует то французское единство, которое придает всем идеям столь удивительную силу и мощь, он наследует ту блестящую философию, которая доходит до самой сути вещей и истоков учреждений. Вот в чем его наследство. И Революция — не случайность, не неожиданное творение и фантазия некоего поколения идеологов. Она — величественное откровение и высшая реализация социальных и интеллектуальных богатств, накопленных усилиями предприимчивых буржуа и смелых мыслителей. Бёрк или издевается, или проявляет невероятное отсутствие исторического чутья, когда утверждает, что Франция в 1789 г. обладала элементами традиционной свободы, которые она могла развить по английскому образцу.

«Вы могли бы, если бы захотели, воспользоваться нашим примером и придать вашей восстановленной свободе соответствующее достоинство. Ваши привилегии, хотя вас и лишили их, не были стерты из вашей памяти. Правда, здание вашей Конституции за то время, когда вас лишили ее, подверглось опустошению и разграблению, но вам остались кое-где стены, а кое-где — фундамент» [49].

---

48. T a i n e. Histoire de la littérature anglaise. Paris, 1863. Тэн противопоставляет англичан — консерваторов и христиан французам — революционерам и вольнодумцам. Он добавляет: «То, что один называет обновлением, другой называет разрушением. То, что один чтит как установление права, другой проклинает как ниспровержение всех прав». «Никогда контраст двух сознаний, двух цивилизаций не был выражен в более благородной форме, и на сей раз опять Бёрк, с превосходством мыслителя и враждебностью англичанина, взял на себя труд показать нам это» (t. III, p. 95).
49. По существу, Бёрк обвиняет Французскую революцию в том, что она уничтожила дворянство: здесь он лучше, чем кто-либо другой, разглядел главное, окончательное в свершениях Революции. Но здесь же проявляются и пределы мысли Бёрка: введя в историю понятие эволюции, он

Бёрк забывает, что Тюрго попытался произвести эту перестройку и это приспособление, но его прогнали. Он забывает, что парламенты были лишены возможности осуществлять свое древнее право ремонстрации. Он забывает, что провинциальные собрания оставались бесплодными, что собрание нотаблей было не чем иным, как заговором привилегированных против права, что коварство и насилия двора толкнули Генеральные штаты на путь революции. Уж не следовало ли третьему сословию, под предлогом розысков старых фундаментов и использования остатков древних стен, согласиться на голосование по сословиям, которое отдало бы судьбы страны в руки привилегированных?

Нет, абстрактным и химерическим является метод Бёрка, ибо он хотел бы силой применить к Франции тот тип эволюции, который в то время подходил только для Англии.

Совершенно верно, что англичане обладали «правами», завоеванными последовательно. И это, в известном отношении, более надежно, чем общая и принципиальная Декларация прав человека и гражданина. Но у Франции не было иных средств для завоевания определенных, существенных прав, кроме властного утверждения прав человеческой личности. И только этот идеализм был тогда практичным.

Неосновательная в отношении Франции, критика Бёрка была столь же бесплодной и в отношении Англии, ибо для последней речь шла вовсе не об отказе от ее традиционного пути медленной эволюции и осторожного приспособления. Подлинный вопрос заключался в следующем: не следует ли ввести в английскую конституцию, без ее ломки, больше элементов демократии? И не должно ли установление демократического порядка и народного суверенитета во Франции сообщить английской системе более быстрое движение в демократическом направлении? Ведь, в конечном счете, у Англии тоже были свои кризисы. И ускорение ее эволюции не так уж сильно противоречило бы законам ее жизни. Вот что Бёрк говорит о правах человека [50]:

«Эти метафизические права, входя в общественную жизнь, подобно лучам света, проникающим в плотную среду, по законам природы преломляются и отклоняются от своей прямой линии. В великой и сложной массе человеческих страстей и интересов первоначальные права людей претерпевают такое разнообразие преломлений и отражений, что становится абсурдным говорить о них так, как если бы они продолжали действовать во всей простоте своего исходного направления».

Я, со своей стороны, скажу, что, проникая в английскую среду, свет французского идеализма и Французской революции неизбежно должен был подвергнуться преломлению и отклонению. Но Бёрк вместо того, чтобы вычислить этот индекс преломления и определить направление, в котором должны были развиваться в Англии новые идеи, отвергает любой свет демократии как некое оскорбле-

ние. Он пытается пресечь всякое распространение революционного влияния. И тем самым он впадает в то абстрактное упрощение и бедность идей, в которых упрекает мнимых французских метафизиков.

При наличии такой фундаментальной ошибки в суждении, какое значение стоит придавать тем издевательствам и оскорблениям, которые Бёрк расточает по адресу Революции и революционеров? Он только повторяет то, что контрреволюционеры пишут в своих памфлетах. В парижском народе он видит лишь неистовствующую, зверскую толпу. Он высмеивает Собрание, это сборище болтливых адвокатов и священников, лишенных политического опыта и всякого кругозора. Подобно аббату Мори, он делает вид, будто верит, что секуляризация церковных имуществ предоставила лишь удобный случай для еврейских спекуляций и безудержного ажиотажа [51].

Любопытная вещь! Он предвидит, не без известной прозорливости, что в близком будущем движимое богатство будет преобладать. Он заявляет, что французское дворянство, мало-помалу теряя свою земельную основу, «уподобится евреям, ставшим его компаньонами или его хозяевами». Но это главенство движимого богатства внушает ему страх. Он не понимает, или делает вид, что не понимает, той существенной, правовой разницы, которая существовала, с точки зрения революционеров, между корпоративной и лишенной мобильности собственностью церкви и новыми формами буржуазной, промышленной и финансовой, собственности, подвижными, гибкими, бесконечно легко передаваемыми. А иногда он как будто сводит к заговору биржевых игроков и грабителей то огромное капиталистическое движение, происхождение и сущность которого так хорошо объяснил Барнав. Но иногда и ему случается высказывать ясные и глубокие мысли.

«Это надругательство над всеми правами собственности пона-

в то же время определил границы этой эволюции: иерархия классов представляется ему элементом божественного порядка. Революция должна быть осуждена, потому что она разрушает этот общественный строй.

50. См. разделы сочинения Бёрка, озаглавленные: «О подлинных правах человека», «Политическая наука — наука экспериментальная», «Права человека несовместимы с идеей общества» (место, цитированное Жоресом). «Все мнимые права этих теоретиков имеют абсолютный характер, и как раз пропорционально их метафизической истинности они практически и морально ложны».

51. См. разделы памфлета Бёрка, озаглавленные: «Религия — основа всякого общества», «О религии в Англии» «Общественный культ требует наличия государственного религиозного установления», «Необходимость церковных имуществ для обеспечения независимости церкви и ее достоинства», «Для англичан церковные имущества неприкосновенны», «О чувствах, возбуждаемых в Англии конфискацией».

чалу прикрывалось самым удивительным доводом: уважением к общественному доверию. Враги собственности сначала утверждали, что их самой нежной, деликатной и рачительной заботой является выполнение обязательств короля в отношении кредиторов государства.

Эти проповедники прав человека столь заняты просвещением других, что у них не хватает времени самим просветиться. Иначе они бы знали, что первейшая обязанность общественного доверия касается собственности граждан, а не кредиторов государства. Требования граждан являются первейшими и выше всех иных. Имущества частных лиц, владеющих ими в результате приобретения, или по наследству, или на основании какого-либо участия в имуществе какой-нибудь общины, никоим образом не могут служить обеспечением для кредиторов государства. Эти имущества не принимались в расчет, когда эти кредиторы заключали сделку с государством. Кредитор хорошо знает, что государственная власть, кем бы она ни была представлена — королем или Сенатом, может гарантировать свои обязательства только государственными ресурсами. А источником государственных ресурсов может быть только справедливое и пропорциональное обложение совокупности граждан. Это единственное обеспечение для кредитора. Никому не дано свою собственную несправедливость превращать в залог своей верности.

Нельзя не отметить противоречия, порождаемого крайней слабостью этой новой концепции общественного доверия, считающегося не с природой обязательств, а с положением лиц, заинтересованных в этих обязательствах. Национальное собрание не признало действительным ни одного акта прежнего правительства королей Франции, за исключением его денежных обязательств, хотя законность этих актов была наиболее спорной. Остальные акты королевского правительства рассматривались в свете столь одиозном, что ссылка на один из них в обоснование какого-нибудь требования представлялась своего рода преступлением. Пенсия, пожалованная в награду за оказанные государству услуги, есть, несомненно, некое право собственности, столь же солидное, как любое обязательство, констатирующее ссуду капитала государству... Право закладывать настоящие и будущие доходы является наиболее опасным проявлением ограниченного абсолютизма. А между тем это единственные акты деспотизма, которые были признаны священными. Чем объяснить это предпочтение, оказанное демократическим собранием определенному виду собственности, являющейся результатом самых порицаемых и самых пагубных действий монархической власти? Разум не в состоянии найти объяснение этим противоречиям. Тем не менее причина у них есть, и, мне кажется, ее нетрудно разглядеть[52].

Благодаря громадной государственной задолженности Франции незаметно выросли большие денежные интересы [*a great moneyed*

interest], а вместе с ними и большая сила. Преобладавшие в этом королевстве старинные обычаи постоянно затрудняли общее обращение собственности, в частности, взаимную обратимость земельных владений в деньги и денег в земельные владения. Семейные установления, носившие более общий характер, и более строгое, чем в Англии, право выкупа, огромные земельные владения, являвшиеся собственностью короны и, в соответствии с нормами французского права, считавшиеся неотчуждаемыми, обширные владения религиозных корпораций — все это вместе привело к тому, что земельные и денежные интересы во Франции отделены друг от друга и менее способны к слиянию, чем в нашей стране, а обладатели этих двух видов собственности менее расположены друг к другу.

К денежной собственности народ долгое время относился с недоверием. Он видел, что с нею связана его нужда и что она ее усугубляет. Она возбуждала также зависть у представителей старых земельных интересов, отчасти по тем же причинам, которые делали ее ненавистной для народа, но главным образом потому, что блеском своей выставляемой напоказ роскоши она затмевала обедневшие древние дворянские роды, сохранявшие часто одни только титулы. Даже тогда, когда дворяне, представлявшие наиболее постоянные земельные интересы, сочетались браком с представителями другой категории (что иногда случалось), то считалось, что богатство, спасавшее семью от разорения, оскорбляет и унижает ее.

Таким образом, злоба и ненависть обеих сторон даже возрастали от тех причин, которые обычно сглаживают раздоры и превращают ссору в дружбу. Вместе с тем гордость людей богатых, недворян или недавно ставших дворянами, возрастала с ростом их богатства. Их раздражало более низкое положение, оснований которого они не признавали. Они готовы были на все, лишь бы одержать верх над своими надменными соперниками и обеспечить своему богатству те уважение и влияние, которые они считали справедливыми. Они били по дворянству в лице королевской власти и церкви. Они направили свой удар на то место, которое считали наиболее уязвимым, а именно на владения церкви, которые под покровительством короны обычно доставались дворянам. Епископы и высшие аббаты, пользовавшиеся доходами от этих владений, были, за редким исключением, выходцами из этого сословия.

В этой подлинной, хотя и не всегда заметной, войне между старыми земельными интересами дворянства и новыми денежными интересами перевес был на стороне последних, потому что их сила была более гибкой. Денежные интересы по своей природе более склонны к авантюрам, а их владельцы более расположены ко всякого рода новым начинаниям. Будучи сам недавно приобретен, денеж-

---

52. Этот отрывок озаглавлен: «Предлог, послуживший прикрытием для конфискации»; а следующий: «О подлинной причине конфискации».

ный капитал лучше приспосабливается ко всякому новшеству. Это, стало быть, тот вид богатства, который подходит для тех, кто желает перемен».

А к этим финансовым дельцам, заинтересованным в том, чтобы обобрать церковь и, таким образом, косвенно обобрать и унизить дворянство, присоединились энциклопедисты, «политические литераторы», враги христианства [53]. Союз этих людей и объясняет ту ярость, с которой напали на всю земельную собственность религиозных корпораций, и ту великую заботу, с которой революционеры вопреки своим принципам занялись интересами, происхождение которых связано с королевской властью. Вся зависть к богатству и власти была искусственно направлена против некоторых категорий богатых людей. Как иначе можно объяснить явление столь необычное, столь неестественное, что церковные владения, устоявшие перед столькими потрясениями и гражданскими насилиями, охраняемые и правосудием и предрассудками, оказались использованными для погашения долгов, сделанных правительством, дискредитировавшим себя и свергнутым?

«Какое дело было духовенству до всех этих сделок? [54] Какие государственные обязательства имело оно, помимо своих собственных долгов? Все владения духовенства до последнего акра должны были послужить их обеспечением. Ничто не раскрывает лучше тайну подлинного духа Собрания, которое в затеянной им конфискации в пользу государства рядится в тогу новой справедливости и новой нравственности, чем его поведение в отношении долгов духовенства. Клика конфискаторов, верная своим денежным интересам, в угоду которым она нарушает все другие интересы, решила, что духовенство должно отвечать за общественные долги. Но если какие-либо лица должны были нести убыток в пользу кредиторов государства, то, уж конечно, те, кто заключал все эти сделки. Но тогда почему не были конфискованы имения генеральных контролеров? Почему не были конфискованы имения длинного ряда министров, финансистов и банкиров, которые богатели в то самое время, когда нация разорялась в результате их действий и их советов? Разве не правильнее было бы конфисковать имущество г. Лаборда [55], нежели имущество архиепископа Парижского, который никогда не имел никакого отношения ни к государственным долгам, ни к ажиотажу? Или если уж вы должны конфисковать все старые земельные владения в пользу биржевых игроков, то почему эта кара ограничена одной категорией? Я не знаю, оставили ли траты герцога де Шуазеля хоть что-нибудь от огромных сумм, полученных им по милости его повелителя в ходе финансовых операций этого царствования, столь способствовавшего бесконечной расточительностью как в мирное, так и в военное время созданию нынешней задолженности Франции. Если что-нибудь осталось, почему же оно не конфисковано? Я вспоминаю свое пребывание в Париже при старом правительстве. Я прибыл туда как раз после того, как герцог

д'Эгийон — так по крайней мере все считали — был спасен от плахи охранительной рукою деспотизма. Он был министром и был замешан в темных делишках этого расточительного времени. Почему же его владения не переданы муниципалитетам по месту их расположения? Знатный род де Ноай долгое время служил (и допускаю, что верой и правдой) французской короне и получил некую толику ее милостей. Почему же его состояние не было использовано для погашения государственного долга? А разве состояние герцога де Ларошфуко более священно, нежели состояние кардинала де Ларошфуко?»

Так продолжает Бёрк, извергая свой гнев на либеральных дворян, действовавших в начале Революции сообща с третьим сословием [56]. Но какая странная смесь глубоких мыслей и реакционных благоглупостей! Бёрк как будто верит, что только жадность нескольких финансистов наметила имущества церкви как добычу, а государственный долг оставила неприкосновенным. Он забывает, что этот государственный долг, уже рассеянный, по крайней мере в Париже, среди значительной части буржуазии, нельзя было аннулировать, не парализовав всей экономической деятельности нации и не подорвав, сведя на нет кредит, всей жизни государства. И он выступает более как полемист, нежели как философ, если не замечает того, что имущества дворян представляли собой индивидуальную, буржуазную собственность, тогда как имущества церкви были корпоративной собственностью, и поэтому их можно было конфисковать, не подвергая опасности право собственности как институт. С его изобретательной, но вздорной декламацией Бёрка можно было бы поставить рядом с аббатом Мори [57], если бы его знание английской жизни не давало ему иногда острого ощущения экономической реальности. Он отлично видел, в чем заключалась существенная разница между Англией и Фран-

---

53. Здесь очень резкий текст против «литературной клики» и ее «продуманного плана разрушения христианской религии». «Эти отцы атеизма — сами тоже ханжи. Они переняли тон монахов, чтобы выступать против монахов».
54. Этот отрывок озаглавлен: «О несостоятельности предлога, придуманного для обоснования конфискации».
55. Лаборд (1724—1794) — финансист, наживший огромное состояние во время Семилетней войны. Арестованный в 1793 г., предстал перед Революционным трибуналом, был приговорен к смертной казни и гильотинирован в 1794 г.
56. Известна роль герцога д'Эгийона, депутата Генеральных штатов от дворянства сенешальства Ажен, и виконта де Ноай, депутата дворянства от бальяжа Немур, во время событий ночи 4 августа. Герцог де Ларошфуко-Лианкур был депутатом дворянства от бальяжа Клермон-ан-Бовези.
57. О дискуссии в Национальном собрании по вопросу конфискации имуществ духовенства см.: Ж. Жорес. Цит. соч., т. I, кн. 2, с. 31 и особенно с. 42, «Демагогия аббата Мори».

цией: во Франции старые земельные интересы вели борьбу против новых денежных интересов, тогда как в Англии они поддерживали друг друга. Он не вскрывает всех причин этого различия, но самый факт отмечает ясно и решительно. И он как раз опасается того, как бы революционное возвышение и наглое главенство новых интересов во Франции не разорвало рикошетом уз солидарности, возникших в Англии между обновленной земельной аристократией и промышленно-капиталистической буржуазией. Почем знать, не заявит ли промышленный и финансовый класс, осмелев от побед, одержанных только что во Франции, притязаний на больший блеск и бóльшую власть также и в Англии? И тогда одним ударом будет разбит союз политических и социальных сил Англии, будет разбита система правящих классов. И, напуганный внезапным усилением одного из элементов союза, Бёрк всячески старается подчеркнуть особенно важное значение другого. Его симпатии всецело на стороне старых земельных интересов. Очевидно, что он безусловно предпочел бы банкротство — поскольку, поражая движимую собственность, оно спасает земельную — той экспроприации земельных владений в интересах буржуазии, которая была осуществлена революционной Францией. Бёрк полностью склоняется на сторону той из двух сил, все еще соединенных и почти слившихся в английской правящей системе, которой, как ему представляется, угрожает наибольшая опасность со стороны политического и социального движения, резкий сигнал к коему был дан Французской революцией. Здесь он касается самого сокровенного, консервативного существа английской системы. До тех пор, пока союз обновленной земельной аристократии с новым промышленным и финансовым классом не будет разорван или ослаблен, демократия не сможет добиться успеха. И Бёрк, подобно Питту, старается сохранить этот союз, проявляя при этом, однако, более реакционные тенденции. Питт старается укрепить равновесие сил, которые, несмотря на все усилия, остаются, как он чувствует, изменчивыми и неустойчивыми, предоставляя растущему классу, а именно деловой буржуазии, умеренные, но реальные уступки, с тем чтобы предотвратить зарождение у нее недовольства и всякой мысли о разрыве. Бёрк же пытается воспрепятствовать растущим притязаниям промышленного и финансового класса, показывая ему на примере Франции, что всякое нарушение равновесия в его пользу поставит под угрозу не только земельную аристократию, но весь общественный порядок, не только одну форму собственности, самую древнюю и почтенную, но всю собственность вообще.

Именно собственность оказывается под угрозой, по мнению Бёрка, в результате любого расширения избирательного права. Бесспорно, талант, способности должны быть представлены, но собственность должна оставаться как бы основой и уравновешивающим балластом национального представительства. «Не может быть справедливого и законного представительства в государстве, если интел-

лектуальные способности не представлены в нем так же хорошо, как собственность. Но так как интеллектуальные способности [ability] есть начало энергичное и активное, а собственность — начало вялое, инертное и робкое, последняя никогда не сможет быть гарантирована от посягательств способностей, если не будет обладать в представительстве превосходством, и притом значительным. Чтобы должным образом защитить собственность, необходимо дать представительство ее крупным, накопленным массам. Характерной особенностью, самою сутью собственности, образуемой сочетанием двух начал — принципа приобретения и принципа сохранения,— является ее *неравномерное распределение*. Посему крупные массы собственности, возбуждающие зависть и искушающие алчность, должны быть ограждены даже от возможности какой-либо опасности. Они сами образуют естественный оплот для более мелкой собственности всех степеней. Та же масса собственности, но разделенная естественным ходом событий между несколькими лицами, уже не оказывает того же действия. Ее способность защищать себя ослабляется в результате дробления. При этом дроблении доля каждого будет меньше той, которую в пылу своих вожделений он надеялся получить при дележе собственности, накопленной другими. Поистине, расхищение немногочисленных крупных владений при распределении их между многими лицами могло бы дать лишь совсем жалкую долю. Но толпа не способна произвести этот расчет, а те, кто толкает ее на этот грабеж, никогда не собираются делить добычу поровну.

Возможность сохранения навсегда собственности в нашей семье — один из элементов, наиболее способствующих увековечению самого общества. Она нашу слабость ставит на службу нашей добродетели; она прививает доброжелательность даже скупости. Владельцы родового богатства и наследственных отличий являются неким образом естественными поручителями за их передачу по наследству. Палата пэров создана у нас на этих началах. Она вся состоит из наследственных земельных собственников и носителей титулов. Она составляет третью часть законодательной власти и является, в последней инстанции, единственным судьей всей собственности во всех ее подразделениях. Точно так же составлена фактически, если и не обязательно, в своем большинстве Палата общин. Пусть заседающие в ней крупные собственники будут теми, кто они есть (и у них много шансов оказаться среди лучших); во всяком случае, они представляют собою *балласт, обеспечивающий устойчивость общественного корабля...*

Говорят, что 24 млн. человек должны значить больше, чем 200 тыс. Да, если свести Конституцию к арифметической задаче» [58].

---

58. Этот отрывок озаглавлен: «О представительстве в государстве: какое место следует уделять таланту; какое место следует уделять собственности».

Итак, Бёрк хочет объединить все консервативные силы вокруг собственности вообще и вокруг крупной наследственной собственности особенно.

Но разве последующий опыт не показал, что Англия могла значительно расширить сферу демократии, не создавая серьезной угрозы для собственности, даже для крупной земельной собственности аристократии? Бёрк в это не верил, и, когда он говорит, что собственность тем лучше защищена, чем она компактнее, и тем слабее, чем больше она раздроблена, он идет как раз наперекор тому, что можно назвать охранительным революционным инстинктом Франции, которая хотела укоренить собственность как раз путем ее разделения.

Памфлет Бёрка, столь дерзко, столь вызывающе провозгласивший консервативные идеи, получил огромный резонанс. Он вызвал почти во всей Европе и одобрение, и осуждение. В самой Англии одни встретили его с восхищением, другие — с негодованием, он открыл англичанам скрытые причины того доброжелательного или враждебного интереса, с которым они следили за событиями во Франции [59].

ОПРОВЕРЖЕНИЕ БЁРКА

Георг Форстер, давая обзор английской литературы в «Дойче Рундшау» за 1791 г., отметил оживленные споры, которые вызвал этот памфлет [60]. Появилось множество всякого рода рассуждений и опровержений.

«Бёрк, *государственный человек* или — если мы не хотим пускать пыль в глаза читателям в угоду претенциозному педантизму, злоупотребляющему звонкими словами,— старый разгоряченный фразер, вызвал столь резкое сопротивление лишь потому, что он пытался засыпать французскую Конституцию своими софизмами, нелепостями и немощными нападками. Его более сильный противник, юрист Мэкинтош, одержал над ним полную победу, тем более блестящую, что его «Vindiciae Gallicae» являют неопровержимое доказательство того, что можно писать в мужественном стиле и красноречиво, не допуская ни одного непристойного слова, и можно придерживаться истины, анализа аргументов за и против и держаться обсуждаемого вопроса, не прибегая ко всем этим старым приемам иезуитской диалектики. Неуязвимое и неопровержимое возвышается его сочинение, *заслужившее единодушное одобрение Англии*, и бросает вызов медным лбам, которые осмеливаются утверждать все что угодно, потому что им уже нечего больше терять в смысле чести и общественного уважения. Здесь не место заниматься разбором других опровержений произведения Бёрка, ибо он не представляет интереса для нашей публики. Достаточно сказать, что Татэм, Тауэрс, Баутфилд, Бадзер, Ротсдаунг, Пай-

готт, мисс Уолстонкрефт, г-да Маколей, Грэхэм, Гамильтон, Капел Лоффт, Уолси, сэр Брук Бхусби Дюпон и множество анонимных писателей обратили против него свое оружие с большей или меньшей удачей, но все же не безуспешно [61]. Ввиду общего негодования публики Бёрк счел необходимым предпринять слабую попытку оправдаться, и в своем обращении новых вигов к старым он пытался путем хитроумных толкований снять с оппозиционной партии, от имени которой он выступал, обвинения в отходе от принципов вигов» [62].

Было ли осуждение Бёрка столь единодушным, как это говорит Форстер, восторженно относившийся тогда к Революции, вознаграждавший себя в своих критических обзорах за то молчание, которое он еще считал необходимым хранить в Германии по самому существу событий? Вероятно, риторическая запальчивость Бёрка несколько шокировала, а его внезапный приступ непримиримого торизма вызвал известный скандал. Тем более что в 1791 г. Революция, казалось, вступила в период спокойного развития и равновесия. Ее пропагандистское влияние на другие страны было довольно скромным, и ожесточение Бёрка, в унисон с которым вскоре (с конца 1792 г.) будут настроены многие умы, в то время несколько смущало.

---

59. «Размышления» Бёрка имели большой успех: они стали евангелием контрреволюции. Но они вызвали и критику, оспаривавшую их узкое истолкование революции 1688 г., например, Мэкинтоша в его «Vindiciae Gallicae» [«Галльские домогательства».— *Ред.*]. Однако Томас Пейн, который уже ранее встал на сторону американских повстанцев, расширил полемику, опубликовав в 1791 г. свои «Права человека». О Мэкинтоше и Пейне см. далее, с. 368 и 378.
60. О Форстере см. выше, с. 169, прим. 1. Форстер опроверг утверждения Бёрка в своей «Истории английской литературы в 1790 г.», стараясь показать, что Французская революция является отнюдь не метафизическим творением разрушительных и абстрактных умов, а делом «естественной справедливости». См. также критику Бёрка в «Voyage philosophique et pittoresque en Angleterre et en France fait en 1790...» (Paris, an IV, p. 354).
61. См. ниже, гл. VIII и X, которые Жорес посвящает революционной и социальной мысли в Англии.
62. В связи с Французской революцией в рядах вигов произошел раскол. В апреле 1791 г., во время обсуждений в палате общин билля об организации конституционного режима, Фокс торжественно порвал с Бёрком. Так совершился раскол вигов.

Глава восьмая

*

РЕВОЛЮЦИОННАЯ МЫСЛЬ В АНГЛИИ

Одновременное появление множества сочинений в ответ на памфлет Бёрка свидетельствует о том, что общественное мнение Англии осознало величие Революции. Я нашел в Национальной библиотеке некоторые из тех книг и брошюр, которые перечислил Форстер, а также некоторые анонимные сочинения из числа упомянутых им. Было бы весьма полезно и интересно проследить по всем библиотекам Англии, ее архивам, частным коллекциям, по брошюрам и газетам изменчивое влияние французских событий на умы англичан. Луи Блан, имевший, несомненно, возможность порыться во всех этих сокровищах, комментирует только наиболее известные. Следовало бы углубиться в детали и добраться до самых глубин множества сознаний [1].

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАМФЛЕТ

Из прочитанных мною в Национальной библиотеке брошюр я остановлюсь сначала на анонимном памфлете, напечатанном в Лондоне у Джонсона (около церкви св. Павла), под названием «Соображения» («Observations»). Это первый вопль, вырвавшийся из груди страдающего и истерзанного народа. Это уже не чисто политический памфлет. Это памфлет социальный, это протест нищеты пролетариев против напыщенного эгоизма продажной риторики Бёрка.

«Да, г-ну Бёрку нужна смелость, чтобы поносить таким образом Французскую революцию и свободу за те деньги, которые он получает под чужим именем. Мне нет надобности входить в под-

робности. Г-н Бёрк поймет меня лучше, чем кто-либо иной. Он способен расчувствоваться только над несчастьями сиятельных людей, над несчастьями людей, раззолоченных подобно идолам. Как он изливается в сочувствии королю и королеве! Но народ, раздавленный, в лохмотьях, но грудные дети, тщетно ищущие хоть каплю молока в иссохшей груди матери,— это его ничуть не волнует. Это ведь не театр, тут нет ничего величественного. Однако когда-нибудь придется выслушать молчаливое величество нищету [the silent majesty of misery]. Хватит трудовому народу постоянно находиться перед выбором: или терпеть голод, или отдаваться в руки жестоких вербовщиков армии и флота. Странная судьба у этих людей, обязанных защищать родину и лишенных родины. Ибо какая может быть родина без свободы и собственности? А у них нет ни свободы, ни собственности. Да и где свобода в Англии? Одно только название. В английской Конституции свобода определяется одним словом: собственность. И притом это не собственность, созданная трудом,— это огромная, чудовищная собственность, поддерживаемая привилегиями и коварством, это та нерушимая и неприкосновенная собственность, которая передается из поколения в поколение избранным, как бы ленивы, как бы нищи телом и духом они ни были. А этот режим субституций, эта собственность, основанная на привилегии, развивает у всех привилегированных, как мужчин, так и женщин, дух лени, вялость ума и тела. Сколько среди них таких, которые могли бы действовать, творить, проявлять предприимчивость, а между тем они впадают в дрему, тупеют под сенью этого идола! Женщины болтают в салонах, мужчины проводят время на охоте, а народ угнетен. Если кому-нибудь из этих охотников придет в голову устроить свою псарню и свои охотничьи угодья около дома бедного крестьянина, это разорение: урожаи будут вытоптаны или потравлены, и голодающему крестьянину придется покинуть свой клочок земли и влиться в толпу городской бедноты. А сколько там страданий! Сколько искусных рабочих прозябает и умирает в заразных трущобах [in pestilential corners]! Сколько их разоряется из-за перемены моды или сокращения промышленного производства!»

Да, это вопль нищеты и возмущения всех пролетариев, сельских и городских. И весьма знаменательно, что этот протест англий-

1. Эту работу еще предстоит сделать. О влиянии Французской революции и об английской революционной мысли см.: W. Ph. Hall. British radicalism. 1791—1797. New York, 1912; P. A. Brown. The French Revolution in English history. London, 1918; H. W. Meikle. Scotland and the French Revolution. Glasgow, 1912; E. Halévy. La formation du radicalisme philosophique. T. II; «Evolution de la doctrine utilitaire de 1789 à 1815». Paris, 1901. [См.: Е. Б. Черняк. Массовое движение в Англии и Ирландии в конце XVIII — начале XIX в. М., 1962; Л. Е. Кертман. География, история и культура Англии. М., 1979, гл. 4.— *Прим. ред.*]

ского пролетариата появляется в связи с книгой Бёрка, направленной против Революции. В огромном революционном водовороте скорбный голос бедноты вдруг обретает волнующую силу. И здесь, так же как во Франции, так же как в Германии, начинают вырисовываться те возможности, которые обещала демократия в социальной области. И здесь утверждается решающая связь справедливости и политической свободы.

Выступая в защиту Французской революции, английский пролетариат начинает возвышать свой голос.

МЭКИНТОШ

В произведении Мэкинтоша [2], каким бы умеренным и уравновешенным оно ни было, тоже есть социальное содержание. Ныне оно представляется нам очень уж оптимистическим. Мэкинтош не предвидит бурь, не предвидит страшных потрясений, которые вскоре будут вызваны европейской войной. Впрочем, когда он писал, в начале 1791 г., еще можно было надеяться на мирную и в то же время грандиозную развязку революционной драмы, и осуществление такой мирной развязки еще не представлялось чем-то превосходящим человеческие силы. Как может Бёрк утверждать, что Французская революция — следствие необдуманного увлечения? Она — неизбежное следствие и единственное исцеление от того политического и социального беспорядка, в который бросила Францию абсолютная монархия. Как может он усматривать пагубное нарушение традиций в замене голосования по сословиям голосованием поголовным? Ведь эти замкнутые корпорации, эти касты сохраняют дух эгоизма и привилегии. Как может он оплакивать упразднение дворянских титулов и феодальных прав и повинностей? Необходимо привнести в нравы дух равенства, без которого демократия невозможна. Зачем негодовать по поводу национализации церковных имуществ? Государство имеет право оплачивать своих служителей культа и морали таким образом, каким оно находит нужным. Прежде оно отводило для их оплаты непостоянные доходы от некоторых недвижимостей. Ныне, обеспечив им определенное жалованье, оно вправе располагать этими недвижимостями. Выпуск ассигнатов вам представляется делом безрассудным? Сколько сарказмов и мрачных пророчеств нагромоздил Бёрк по поводу ассигнатов и обращения бумажных денег! Нет больше и не будет иных ресурсов, кроме ассигнатов, обеспечением для которых служат церковные имущества.

«Их фанатическая вера во всемогущую силу ограбления церкви привела этих философов к пренебрежению всякой заботой о государственных доходах, подобно тому, как мечта философа о философском камне привела глупцов, под влиянием герметической иллюзии*, к пренебрежению разумными средствами улучшения

их положения. Для этих финансистов-филантропов универсальное лекарство, изготовленное на волшебном эликсире церкви, становится средством исцеления государства от всех его недугов. Эти господа, конечно, не особенно верят в чудеса благочестия, но, бесспорно, глубоко верят в чудеса святотатства. Имеется неотложный долг? Выпускайте ассигнаты. Нужно ли платить возмещение или пенсии тем, кого они лишили должности или их профессиональных занятий? Ассигнаты. Надо оснастить флот? Ассигнаты. Если, несмотря на выпуск ассигнатов на 60 млн. фунтов стерлингов, уже легших тяжелым бременем на народ, нужда государства столь же велика, как и прежде, то один говорит: надо выпустить ассигнатов на 30 млн. фунтов, нет, на 40 млн., говорит другой. Единственное, что отличает все эти финансовые группы одну от другой,— это бóльшая или меньшая сумма ассигнатов, которые они предлагают навязать терпению общества. Они все — пророки ассигнатов. Даже те, кому их природный здравый смысл и знание торговли подсказывают веские аргументы против этой смехотворной практики, заключают свои речи предложением выпуска ассигнатов. Я предполагаю, что они вынуждены говорить об ассигнатах, потому что любой другой язык не был бы понят. Хотя опыт показал их бессилие, это не может их обескуражить»[3].

И Бёрк, увлекаясь своим остроумием скомороха, пародирует сцену из «Мнимого больного»:

«Что, ассигнаты обесценены на рынке? Как этому помочь? Выпустить новые ассигнаты. — Ho si maladia opiniatria non vult se garire, quid illi facere? Assignare, postea assignare, ensuita assignare»[4] *.

Посредством шутовской аллитерации «assignare» заменяет здесь традиционное «saignare» **. И Бёрк, в некоем пророческом и

---

2. Мэкинтош (Mackintosh) (1765—1832) опубликовал в 1791 г. памфлет, озаглавленный «Vindiciae gallicae. Defense of the French revolution and its English admirers against the accusations of the right hon. Edmund Burke» (Dublin, 1791, in -8°, VI—167 p.). По существу, Мэкинтош оспаривал данное Бёрком узкое толкование Английской революции 1688 г. и прогрессивной эволюции. Французский перевод появился в 1792 г.: «Apologie de la Révolution française et de ses admirateurs anglais, en réponse aux attaques d'Edmund Burke» (Paris, 1792, in -8°, 362 p.). В связи с этим сочинением Национальное собрание присвоило Мэкинтошу звание французского гражданина.

* «Герметическая иллюзия» — выражение из обихода алхимиков, вроде философского камня и пр.— *Прим. перев.*

3. Burke. Op cit., Paris, 1912, p. 384.

4. Бёрк продолжает: «Ваши нынешние доктора говорят, быть может, по-латыни лучше, нежели доктора из вашей старой комедии, но они не обладают ни большей мудростью, ни большим разнообразием ресурсов».

* Но если болезнь упорно не хочет исцеляться, что с нею делать? Прописывать, после прописывать, затем прописывать (ассигнаты). (Ломаная латынь в смеси с ломаным французским.)— *Прим. перев.*

** Saignare — пускать кровь (*франц.*).— *Прим. перев.*

в то же время карикатурном озарении, дает нам увидеть в будущем окончательный крах бумажных денег и разнузданную спекуляцию режима, который будет называться Директорией.

«Францией будут всецело править корпорации агитаторов, общества, созданные в деревнях из директоров ассигнатов, адвокаты, агенты, биржевые игроки, образующие гнусную олигархию, основанную на разрушении королевской власти, церкви, дворянства и народа».

Когда я переписываю эти чудовищные фантазии Бёрка, которым трагикомедия кончающейся Революции придаст некоторое подобие истины, я, наоборот, восхищаюсь гениальной смелостью революционеров. Да, если говорить языком Бёрка, этот чудесный бумажный корабль пронес Революцию и ее достояние через все бури, по разбушевавшимся волнам. Что отвечает Мэкинтош на эту оргию блестящих картин и мрачных пророчеств? Операция с ассигнатами была полезна вдвойне: политически и экономически [5].

«Создание бумажных денег, представляющих национальные имущества, имело целью сделать возможной продажу этих имуществ и восполнить недостаток звонкой монеты в обращении. Здесь, как и по многим другим вопросам, предсказания противников совершенно не оправдались. Они предсказывали, что не найдется ни одного покупателя, достаточно смелого, чтобы доверить свое имущество установлению столь новому и столь мало надежному. Но национальные имущества раскупались во всех частях Франции с величайшей охотой. Они предсказывали, что оценка стоимости этих имуществ на деле окажется преувеличенной, но за них, как правило, платили вдвое и втрое выше оценки. Они предсказывали, что обесценение ассигнатов приведет к повышению цен на предметы первой необходимости и жесточайшим образом ударит по беднейшему классу. А на деле произошло то, что доверие к ассигнатам укрепилось благодаря быстрой продаже имуществ, являющихся их обеспечением, ассигнаты сохранили свою нарицательную стоимость, а цены на предметы первой необходимости снизились, и в страданиях неимущих наступило значительное облегчение. Постоянно сжигаемые миллионы ассигнатов дают исчерпывающий ответ на все нападки.

Многие покупатели не воспользовались возможностью уплаты в рассрочку, что неизбежно при таких крупных продажах, а уплатили сразу всю стоимость. Так было, в частности, в северных провинциях, где главными покупателями были богатые фермеры. Это счастливое обстоятельство, поскольку оно ведет только к увеличению столь полезного и почтенного класса людей, одновременно владеющих землей и обрабатывающих ее.

Отрицательные следствия эмиссии в нынешнем состоянии Франции были преходящими, ее положительные следствия постоянны. Две важные цели должны были быть достигнуты этим путем: одна

политическая, другая — финансовая. Первая заключалась в том, чтобы связать возможно большее число собственников с Революцией, от стабильности которой зависела безопасность их имущества. Это то, что описывает г-н Бёрк, говоря, что они становятся таким образом сообщниками конфискации, хотя это была как раз та политика, которую проводили английские революционеры, когда они поощряли рост государственного долга, дабы заинтересовать большее число кредиторов в длительном существовании нового строя... Вторая цель заключалась в погашении государственного долга».

И Мэкинтош надеется на осуществление этих целей. Он добавляет с самым пылким оптимизмом:

«С самого начала операции один общий момент представлялся решающим лицам, сведущим в политической экономии. Либо ассигнаты сохранят свою ценность, либо они ее не сохранят. Если они сохранят свою ценность, то ни одна из бед, которых опасались, не сможет произойти. Если они обесценятся, то каждое падение их ценности будет для их владельцев новым побудительным мотивом обменять их на национальные имущества. В самом деле, никто не захочет хранить обесценивающиеся бумаги, если есть возможность приобрести солидную собственность. Если большая часть ассигнатов будет употреблена таким образом, ценность оставшихся в обращении должна была бы немедленно подняться, во-первых, потому, что сократится их количество, и, во-вторых, потому, что их обеспеченность станет более очевидной. Падение стоимости [ассигнатов] ускорит процесс продажи земель, а эта продажа земель остановит падение стоимости. Неудача ассигнатов как средства обращения усилит их как средства продажи, а их успех как средства продажи восстановит их полезность как средства обращения. Это взаимодействие неизбежно, хотя небольшое обесценение ассигнатов не сделало его во Франции очевидным».

Мы знаем, как обошлась история с противоположными предсказаниями Бёрка и Мэкинтоша. По существу, в споре с Бёрком прав был Мэкинтош. Ибо если доверие к ассигнатам было непоправимым образом подорвано, то только в результате острого военного кризиса. Но это доверие сохранялось достаточно долго, чтобы позволить Революции окрепнуть, укорениться множеством своих корней в бесчисленных областях и связать с собой бесчисленные интересы, рожденные продажей церковных имуществ.

Книга Мэкинтоша доказывает, что в конце 1790 г. в Англии самые спокойные, самые рассудительные люди верили в возможность спокойной и счастливой эволюции французской демократии. Они восторгались чудесным созданием этих бумажных денег,

---

5. M a c k i n t o s h. Apologie de la Révolution française, p. 134.

которые превращались в прочное богатство и приводили к существенным успехам; или, вернее, в этом неожиданно разросшемся бумажном богатстве отражалось яркое, реальное пламя богатства и жизни, подобно тому как ослепительный свет солнца отражается в обширных скоплениях золотистых облаков. Бёрк предвещал скорое крушение этого воздушного сооружения, а Мэкинтош говорил: «Блеск этих плывущих облаков фиктивного богатства есть лишь отражение реального богатства Франции, одушевленной и воспламененной Революцией».

Таким образом, Революция ставила перед миром разительную и необыкновенную проблему.

В противоположность Бёрку, все симпатии которого на стороне земельной собственности, как наиболее устойчивого и наиболее консервативного элемента того *консорциума* землевладельцев и промышленников, который управлял Англией, Мэкинтош видит в движимой, промышленной и финансовой, собственности необходимую и благотворную силу [6].

«Во всех европейских странах, вместе взятых, представители торговых и денежных интересов были гораздо менее связаны предрассудками, гораздо либеральнее и умнее, чем класс земельных собственников [landed gentry]. Кругозор коммерсантов расширился благодаря разветвленным связям со всем человечеством, и этим объясняется то большое влияние, которое оказала торговля на преобразование современного мира в либеральном духе [in liberalizing the modern world]. Поэтому неудивительно, что этот класс просвещенных людей оказывается самым пылким в борьбе за дело свободы, самым ревностным сторонником политической реформы. Неудивительно, что среди них философия находит более верных учеников, а свобода — более энергичных друзей, нежели среди надменной и зараженной предрассудками аристократии [haughty and prejudiced aristocracy]. Такие же следствия имела революция 1688 г. в Англии. Представители денежных интересов составили в значительной мере силу *«вигизма»*, тогда как громадное большинство землевладельцев продолжали оставаться ревностными *„тори“*».

Но влияние Французской революции на Англию не должно ограничиваться, по мнению Мэкинтоша, усилением политического и социального влияния класса промышленников, коммерсантов и финансистов, более активного и либерального, чем класс землевладельцев. Выдающийся юрист [7] приветствует появление демократии, стремление к социальному и политическому равенству. Если он одобряет Учредительное собрание за упразднение привилегий дворянства, сословных различий и феодального порядка [8], то потому, что обязанность законодателя — содействовать возможно больше распространению собственности или, по меньшей

мере, устранению искусственных причин, усиливающих естественную тенденцию концентрации собственности.

«Существуют два вида неравенства. Одно неравенство — личное, это неравенство таланта и добродетели, источник всего лучшего и достойного восхищения в обществе; другое неравенство — это неравенство имущественное, которое должно существовать, потому что только собственность может быть стимулом к труду. А труд, даже если бы он не был необходим для существования, был бы необходимым для счастья человека.

Но, хотя собственность и необходима, в своих крайних проявлениях она — величайшая язва гражданского общества. Сосредоточение власти, как результат накопления богатств в немногих руках, является постоянным источником угнетения и презрения к общей массе человечества. Власть богачей еще более концентрируется благодаря их стремлению к объединению [their tendency to combination]; для бедняков же такое объединение невозможно вследствие их многочисленности, их рассеяния, бедности и невежества. Богачи группируются по профессиям, по различным степеням богатства (по так называемым рангам), это облегчают также их знания и их немногочисленность. Во всех странах это они неизбежно осуществляют правление, ибо они одни обладают необходимыми для этих функций умением и досугом. При таком положении вещей совершенно очевидно, что они неизбежно будут стоять на высшей ступени социальной лестницы. Тем не менее предпочтение, отдаваемое частным интересам перед общими интересами,— величайшее из общественных зол.

Следовательно, все законы должны иметь целью устранение этого зла, а между тем их постоянная тенденция — усугубление его. Как будто мало неизбежного имущественного неравенства, законы добавляют к этому еще почетные и политические отличия. Как будто мало неизбежного стремления богачей к объединению, законы организуют их еще в классы. Законы укрепили этот сговор против общих интересов, между тем как они должны были бы оказывать ему сопротивление, если уж не могут обезоружить его окончательно. Говорят, законы не могут уравнять людей. Пусть так. Но разве это основание для того, чтобы углублять неравенство, которое они не могут устранить? Разве это основание для того, чтобы поддерживать *корпоративный дух*, являющийся их самым роковым врагом?»[9]

---

6. M a c k i n t o s h. Op. cit., p. 123.
7. Сначала врач, Мэкинтош в 1795 г. стал адвокатом. Одно время он возглавлял кафедру гражданского права и международного права в Гертфорде. Позднее, будучи членом палаты общин, он способствовал обновлению уголовного законодательства.
8. M a c k i n t o s h. Op. cit., p. 67.,
9. Ibid., p. 59—61.

МЭКИНТОШ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕФОРМА

Как применить эти принципы к социальному строю Англии — довольно неясно, и Мэкинтош не пытается наметить это более определенно. Надлежит ли изменить законы о наследовании, тот режим субституций, который увековечивает состояние крупной аристократии? Он более склонен пересмотреть политические привилегии аристократов и богатых. Прежде всего он имеет в виду палату лордов и олигархическое представительство палаты общин: политическая демократия представляется ему необходимым средством для уравновешения социального неравенства, постепенного смягчения его самых вопиющих проявлений путем более эффективной защиты общих интересов. Впервые — и это факт величайшей важности — в Англии всерьез ставится вопрос о всеобщем избирательном праве. Этот вопрос поставлен в порядок дня Французской революцией. Когда Питт предложил отмеченную мной выше частичную реформу избирательного права [10], он лишь упомянул о всеобщем избирательном праве как о некой крайней чисто теоретической формуле, которая в действительности не стала даже предметом обсуждения. Благодаря широкому демократическому движению во Франции, предоставившей миллионам граждан право голоса, этот вопрос перестал быть чисто теоретическим. Он становится главным предметом политической и социальной борьбы. Мэкинтош и его друзья ясно поняли, что революционная демократия Франции не сможет остановиться на том промежуточном решении, которое она приняла. Разделение граждан на активных и пассивных неизбежно рухнет, потому что оно искусственно. Между большинством активных и пассивных граждан не существует достаточной разницы в социальном положении, чтобы могло сохраниться их политическое неравенство. На 6 млн. граждан приходится более 3 млн. избирателей. Для демократического порядка это слишком мало, для олигархического — слишком много. И Франция неизбежно придет к полной демократии благодаря силе выдвинутого ею принципа и провозглашенным ею Правам Человека, а также благодаря размаху и быстроте развития, которые ей придала Конституция. Бёрк совершенно напрасно злорадствует по поводу непоследовательности Учредительного собрания, которое, приняв закон о налоге в размере трехдневного заработка и отведя в избирательной системе решающую роль собственности, предоставило право голоса только некоторым людям, а не всем. Эта непоследовательность могла быть только временной. И Мэкинтош проявил большую политическую прозорливость, заявив, что логика принципов и революционного движения вскоре опрокинет хрупкую преграду, воздвигнутую между активными и пассивными гражданами. Французская революция несет в самой себе всеобщее избирательное право, полную демократию. И именно всеобщее избирательное право и полную политическую демократию (по край-

ней мере в отношении представительства) хочет установить в Англии Мэкинтош: потрясение столь же широкое, сколь и глубокое.

«Что касается избирательного права, то это вопрос первостепенной важности для общества. Тут я полностью согласен с г-ном Бёрком в осуждении бессильного и нелепого определения, посредством которого Учредительное собрание лишило избирательных прав [disfranchised] всякого гражданина, не платящего прямого налога в размере трехдневного заработка [11]. Совершенно очевидно, что эта мера может привести лишь к ряду нелепостей и к нарушению справедливости. Но подобные замечания были уже сделаны во время обсуждения [декрета] во Франции, и в Собрании с критикой этого плана выступили со всей силой их разума и красноречия самые прославленные лидеры народной партии. Особенно отличились своими критическими выступлениями г-да Мирабо, Тарже и Петион. [Мэкинтош, ссылающийся на протоколы заседаний от 21 и 29 октября 1789 г., напечатанные в «Журналь де Пари» и в «Революсьон де Пари», переоценивает оппозицию демократов закону о налоге в размере трехдневного заработка: она не была особенно сильной [12].]

Но наиболее робкие, наиболее зараженные предрассудками члены демократической партии не решились на такое смелое нововведение в политической системе, каким была бы СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Они колебались между своими принципами и предрассудками, и борьба закончилась обманчивым компромиссом, этим вечным прибежищем слабых и медлительных характеров. Они утешали себя мыслью, что на деле зло будет не так уж велико. Они не обладали достаточно широкими и возвышенными взглядами, чтобы понимать, что НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ПРИНЦИПОВ — палладиум добродетели и свободы.

Впрочем, члены этой группы не составляют большинства в своей партии. Но аристократическое меньшинство, готовое на все, лишь бы опозорить Собрание или поставить его в затруднительное положение, поспешило объединиться с ними и запятнало рождающуюся Конституцию этой абсурдной узурпацией.

Один просвещенный и рассудительный противник г-на Бёрка попытался оправдать эту меру. В «письме к графу Стэнхопу» [13] он утверждает, что дух этого закона находится в полном согласии с принципами естественной справедливости, потому что даже в ес-

---

10. См. выше, с. 330, «Питт и реформа избирательной системы».
11. См.: B u r k e. Réflexions sur la Révolution française, p. 289, «Comment le système électoral français protège les riches».
12. См. Ж. Ж о р е с. Цит. соч., т. I, с. 468, «Избирательное право».
13. Стэнхоп (1753—1816) — шурин Питта Младшего, в 1780 г. избран в члены палаты общин, противник войны с английскими колониями в Америке. Поклонник Французской революции, порвал из-за этого с Питтом и стал очень непопулярен: в 1795 г. лондонская чернь сожгла его дом.

тественном состоянии бедняк имеет право только на милосердие, и тот, кто ничего не производит, не имеет права участвовать в управлении тем, что создано трудом других. Но, даже если допустить справедливость лишения политических прав ничего не производящих бедняков, все же фактически этот принцип применяется неправильно. Домашняя прислуга лишена [права голоса] декретом Собрания [14], хотя очевидно, что она так же живет своим трудом, как и любой другой класс общества. Следовательно, аргумент, выдвинутый нашим хитроумным и изобретательным писателем, к ним совершенно не применим. Однако утешением для последовательных друзей свободы может служить то, что это злоупотребление не долго продержится. Дух разума и свободы, одержавший столько великих побед, не в силах надолго задержать столь жалкий противник. Численность избирателей в первичных собраниях так велика, а значение каждого индивидуального голоса соответственно так мало, что для них почти совершенно не представляет интереса противиться расширению избирательного права»[15].

Любопытное дело! Английский писатель упрекает французских законодателей в недостатке идеализма. Он настаивает на полном и бескомпромиссном осуществлении *принципов*. Таким образом, несмотря на этнические и исторические различия, идея демократии, вспыхнув во Франции, распространяет свой свет на другие нации.

Достаточно установить в Англии народный суверенитет, чтобы многие злоупотребления были вырваны с корнем.

«Поклонники Французской революции, естественно, обращаются ко всем угнетенным и просвещенным гражданам с призывом рассмотреть вопрос о том, где источник угнетения.

Если уголовные законы все еще висят над головой наших братьев-католиков, если закон об отречении (test act) [16] *все еще оскорбляет наших сограждан-протестантов, если в Шотландии все еще терпят пережитки феодальной тирании, если печать еще в оковах, а наше право быть судимыми судом присяжных урезано, если наши владельцы мануфактур подвергаются преследованиям и травле со стороны акцизного управления* [17], то причина всех этих притеснений одна. Ни одна из ветвей нашей законодательной власти не представляет народ. Позвольте всем слоям угнетенных граждан сплавить все их местные и частичные жалобы в одно большое целое. Позвольте им перестать вымаливать свои права в роли просителей или нищих, как ненадежную милость, взывая к надменному милосердию узурпаторов. Законодательная власть будет их угнетать, пока она не станет их властью. Позвольте им объединиться и провести такую реформу народного представительства, которая действительно сделает Палату общин их представителем. Если, отбросив свои мелкие частные интересы, они объединятся для этой великой цели, они достигнут ее» [18].

Итак, таким людям, как Мэкинтош, демократия представлялась необходимой гарантией и необходимым дополнением либерализма. Благодаря ей, и только ей, будут уничтожены законы нетерпимости, тяготеющие над католиками и диссидентами. Только благодаря демократии будут отменены те фискальные законы, которые фактически ограничивают свободу промышленности. Демократия подтвердит и защитит от всяких посягательств традиционное право свободы печати и право быть судимым судом присяжных. Таким образом, новая демократия является как бы высшей стадией развития английского либерализма.

Итак, по мысли Мэкинтоша, в Англии можно будет ввести принципы демократии и народный суверенитет без потрясения конституции. К чему насильственные перемены?

«Спокойная и законная реформа — высшая цель тех, кого г-н Бёрк так исступленно клеймил. И в самом деле, ее вполне достаточно».

Зачем посягать на королевскую власть или даже на палату лордов?

«Власть короля и лордов всегда становилась страшной в Англии только вследствие разлада между Палатой общин и ее мнимыми избирателями. Если бы Палата общин действительно стала выразителем воли народа, то привилегии других учреждений, противящихся воле народа и его представителей, не имели бы никакого значения. В результате такого основного улучшения все второстепенные реформы протекали бы естественно и мирно. О большем мы не мечтаем, и, выдвигая эти требования, мы не только не заслуживаем обвинения в проповеди мятежа, но думаем, что имеем право считаться самыми искренними поборниками спокойного и устойчивого правления. Мы хотим реформой предотвратить революцию, исправлением предотвратить ниспровержение. Мы предупреждаем наших правителей, пусть осуществят реформы, пока есть еще у них силы провести реформы с достоинством и спокойно, и мы заклинаем их не дожидаться момента, а он *неминуемо* наступит, когда им придется вымаливать у народа, который они угнетают и презирают, жалкие крохи их нынешних полномочий»[19].

---

14. «Чтобы быть активным гражданином, надлежит... не быть на положении прислуги, т. е. наемного слуги». (Статья 2, раздел II, глава I, часть III Конституции 1791 г.)
15. Mackintosh. Op. cit., p. 204—207.
16. Закон об отречении (test act) (1673) обязывал каждого чиновника отречься от признания папской власти, признать религиозное верховенство короля и принять обряды англиканской церкви. Таким образом исключались все католики и все диссиденты.
17. Акциз (Excise) — налог на некоторые предметы потребления (соль, пиво, вино ...), введенный Долгим парламентом в 1643 г.
18. Mackintosh. Op. cit., p. 313.
19. Ibid., p. 316.

Проявляя большое политическое чутье, Мэкинтош подчеркивает, что положение английских финансов не то, каким было в 1789 г. положение французских финансов, и поэтому Англия могла бы гораздо увереннее идти по пути реформ.

«Нет ничего нелепее утверждения, что все, кто *восхищается* Французской революцией, хотят *подражать* ей. С одной стороны, среди друзей свободы могут быть разные мнения относительно масштабов демократических изменений, внесенных в систему управления Францией. С другой, и это гораздо важнее, надлежит вспомнить, что поведение наций изменяется в зависимости от условий, в которых они находятся. Слепые поклонники революций берут их за неизменный образец. Именно так восхищается г-н Бёрк революцией 1688 г. Но мы полагаем, что воздадим деятелям этой революции самую высокую дань уважения, если, вместо того, чтобы повторять то, что они сделали тогда, мы постараемся сделать то, что они сделали бы сейчас; поэтому мы не видим никакого противоречия в том, что оглядываемся на Францию, не для того, чтобы подражать поведению французского народа, а для того, чтобы укрепить наш дух свободы. Мы позволяем себе раздумывать над тем, как действовал бы лорд Сомерс [20] в условиях Просвещения и знаний XVIII в. *и как бы действовали французские патриоты в условиях спокойствия и богатства Англии. Мы не обязаны копировать поведение, к которому последних вынудило банкротство их финансов и расстройство их управления, точно так же, как мы не обязаны сохранять учреждения, которые Сомерс пощадил во времена предрассудков и мрака*».

Итак, Мэкинтош хочет осуществления того, что составляет сущность Французской революции, но постепенно, что характерно для Англии.

Именно следуя по такому пути реформ и эволюции, Англия придет, правда весьма медленно, к почти полной демократии, совмещаемой, как то предвидел Мэкинтош, с сохранением королевской власти и палаты лордов. Но толчок к этому огромному потрясению, которое, совершаясь постепенно в течение всего XIX в., привело в конечном счете английский народ к достижению фактического суверенитета, был, несомненно, дан Французской революцией. Настойчивый, нетерпеливый, а под конец почти угрожающий тон, в каком говорит столь осторожный человек, как Мэкинтош, ясно указывает, что в последние месяцы 1791 г. часть английского общественного мнения страстно стремилась к великим переменам.

ТОМАС ПЕЙН

Необычайный успех более радикальной книги Томаса Пейна является еще одним доказательством все возраставшего лихорадочного возбуждения умов. Томас Пейн родился в Англии, в Нор-

фолке, а в 1774 г. эмигрировал в Америку [21]. Выступая в журналах и газетах, он вел там борьбу за независимость Соединенных Штатов. Его последовательно республиканская книга «Здравый смысл» получила большой отклик в Америке и Европе [22]. Он вернулся в Европу за десять лет до того, как вспыхнула Французская революция. В Париже он сошелся со многими людьми, которых уже волновали новые идеи. Из Лондона он не переставал со страстным интересом следить за событиями во Франции; и именно Пейну поручил Лафайет передать Вашингтону ключи от Бастилии.

В Англии он сразу же пытается пропагандировать последовательно демократические и республиканские идеи. Сначала он связался с Бёрком, который был тогда еще для всех красноречивым и смелым вигом, страстным защитником американской независимости. Пейн, подготовленный событиями в Америке к великим и простым решениям, попытался убедить Бёрка, что нельзя провести реформу парламента руками самого парламента и уничтожить привилегии руками привилегированных. Он предлагает Бёрку еще в 1788 г. идею созыва некоего Национального конвента, который сметет все устарелое. Кто знает, не толкнул ли Бёрка в объятия тори именно Пейн, внезапно раскрыв перед ним крайние следствия демократического принципа. Бёрк ответил на предложения Пейна с некоторым беспокойством. Каково же было

---

20. О лорде Сомерсе (1651—1716) см. выше, с. 351, прим. 42.
21. Томас Пейн (1737—1809) — общественный и политический деятель США. Родился в Англии, эмигрировал в Америку, присоединился к борцам за независимость, в 1776 г. опубликовал памфлет «Здравый смысл» («The Common Sense»). Вернувшись в Англию, он вступил в резкую полемику с Бёрком по поводу Французской революции и опубликовал «Права человека» («Rights of man», 1791). Был провозглашен гражданином Франции и избран членом Конвента, поддерживал политику жирондистов. В 1794 г. написал «Век разума» («The Age of reason»), в этой книге Пейн стоял, хотя и непоследовательно, на позициях материализма (метафизического) и подвергал теологию суду разума. Закончил свою жизнь в Америке. О Томасе Пейне см.: «The complete writtings of Th. Paine», pub. by Ph. Foner, New York, 1945, 2 vol; «Th. Paine, representative selections», pub. by H. Hayden Clark, New York, 1944; M. C. Conway. The life of Th. Paine. New York, 1932, 2 vol. Имеется французский перевод: «Th. Paine et la Révolution dans les deux mondes», Paris, 1900; W. E. Woodward. Tom Paine, America's godfather. New York, 1945. [См. Пейн Т. Избранные сочинения. М., 1959; Н. М. Гольдберг. Томас Пейн. М., 1969.— *Прим. ред.*]
22. «Здравый смысл» был переведен на французский язык в 1791 г.: «Le Sens commun, ouvrage adressé aux Américains, et dans lequel on traite de l'origine et de l'objet du gouvernement, de la constitution anglaise, de la monarchie héréditaire, et de la situation de l'Amérique septentrionale». Paris, 1971, in-8°, IV — 114 p.

негодование Пейна, когда Бёрк совершенно неожиданно принялся извергать проклятия и анафемы на Французскую революцию и истолковывать в самом консервативном духе непримиримого торизма Английскую революцию 1688 г.

Пейну было тогда пятьдесят два года, но его революционный и республиканский пыл лишь разгорался в ходе борьбы. Отвечая Бёрку, он написал книгу, ясную и резкую, которая была опубликована в двух частях и нанесла, так сказать, два удара: один в марте 1791 г., другой в феврале 1792 г. «Права человека»— таково было торжественное название этой книги, воспроизводившее заглавие преамбулы как американской, так и французской конституций [23]. То была нить, связавшая свободу Америки со свободой Франции. Витиеватой и риторической инвективе Бёрка Пейн противопоставляет свою инвективу, резкую, подчас грубую. Он срывает с монархии и аристократии всякий ореол величия. Да, поистине, как сетует Бёрк, прошли времена «рыцарства» и церемонной вежливости.

«Монархия и аристократия — не что иное, как фарс, и они сойдут в могилу, подобно всем заблуждениям: пусть г-н Бёрк облачается в траур».

Право первородства и право субституций, составлявшие силу английской аристократии, суть права чудовищные, варварские.

«Для аристократической семьи в действительности существует только один ребенок, остальные рождаются лишь для того, чтобы быть съеденными, и людоеды-родители сами готовят трапезу».

Пейн не тратит времени на сожаления о былом блеске старинных фамилий, погашенном французскими революционерами. Они хорошо сделали, упразднив все дворянские титулы.

«Все эти герцогские и графские титулы были не более чем детской забавой для тщеславия. Теперь люди действительно достигают зрелости и надевают тогу мужей. *Революция не уравняла — она возвысила*» [24].

Дворянин, переставший быть дворянином и ставший гражданином, отныне гораздо выше. Бёрк имеет смелость притязать на ограничение народного суверенитета, ссылаясь на мнимые, якобы заключенные ранее договоры. В действительности, подобно тому, как представители Англии не имели права облагать народ налогом на будущие времена, точно так же они не вправе навязывать ему форму правления. Суверенитет нации остается всегда неделимым, и если она захочет не только ограничить королевские прерогативы, но и упразднить саму королевскую власть, она может это сделать. Пейн не скрывает, что сохранение королевской власти представляется ему несовместимым с демократией. Раньше или позже демократия, следуя своему естественному развитию, приведет к республике. Если во Франции Революция еще не упразднила королевской власти, то только вследствие некоего почтения к добросердечию короля, к его качествам как человека. Отчасти это

сделано под влиянием некоторых еще сохранившихся предрассудков, которые с каждым днем будут все слабеть. И Пейн указывает нам в пространном и верном примечании, что многие французские революционеры, с которыми он беседовал, согласны с ним в том, что королевская власть — учреждение противоречивое и преходящее и что, как только состояние народного сознания позволит это, они предоставят Конституции дойти до ее естественного завершения — до республиканской формы [25]. Если вспомнить, что книга Пейна была написана в 1791 г., то это бросает любопытный свет на то, что происходило в умах некоторых людей во Франции.

Тщетно пытается Бёрк напугать англичан рассказами о кровавых беспорядках, об анархических насильственных действиях Французской революции.

Насилия всегда являлись результатом провокаций и измены двора. Насилия эти совершала «*чернь*». Да, но вместо того, чтобы негодовать или ужасаться, надо задаться вопросом: *почему существует чернь*? Почему часть народа опустилась, почему она груба? Подобно Бабефу, Пейн отвечает: потому что ее научили жестокости на примерах самых отвратительных пыток. А также потому, что ее держали в ужасающей нищете и невежестве ради лучшего обеспечения богатства, силы и блеска некоего меньшинства.

«Оттого, что некоторые люди не по заслугам вознесены, другие не по заслугам унижены. Многочисленная часть человечества постыдным образом оттеснена на задний план картины человечества, чтобы с большим блеском выделить на первом плане марионеток государства и аристократию. В начале всякой революции эти оттесненные люди являются скорее спутниками армии, нежели защитниками свободы: их еще нужно научить пользоваться ею» [26].

«*В начале*» — да. Но само революционное движение возвышает и облагораживает эту чернь, превращает ее в народ. Пейн внимательно присматривался к этим темным и грубым толпам. Он

---

23. Th. Paine. Rights of man, being an answer to Burke's attack on the French Revolution... London, 1791. Этот памфлет был переведен на французский язык в мае 1791 г. Своими инвективами, направленными против политического и социального неравенства, своими страстными нападками на короля и лордов Пейн взволновал народ, тем более что его памфлет разошелся по всей стране в дешевых изданиях.
24. Th. Paine. Droits de l'homme, p. 89. И дальше: «Искусственно благородный человек (дворянин) похож на карлика рядом с человеком благородным от природы».
25. Th. Paine. Droits de l'homme, p. 181. «Если монархия — вещь ненужная, почему она еще кое-где сохраняется? А если она необходима, то как можно без нее обходиться? Все цивилизованные нации согласны в том, что необходимо *гражданское правление*, но гражданское правление — это правление республиканское». И дальше: «Если я спрашиваю американца, хочет ли он иметь короля, он меня спрашивает, неужели я принимаю его за дурака».
26. Ibid., p. 42—43. Пейн оправдывает взятие Бастилии (p. 29) и октябрьские события (p. 46).

хотел приобщить их к просвещению, к свободе, к власти, к благосостоянию. И его политический и республиканский радикализм сильно окрашен своего рода государственным социализмом. На это не обратили надлежащего внимания, и сам Даниель Конуэй в своей, правда, весьма содержательной книге о Томасе Пейне [27] не отметил социальной стороны этого произведения. Упущение тем более странное, что Томас Пейн был признан подлинным и великим предтечей всей той партии политической и социальной реформы, которая после первых опытов Уильяма Коббета приняла форму чартизма. Что говорят о Коббете супруги Вебб? [28]

«В те трудные времена, которые последовали за миром 1815 г., сочинения Коббета приобрели чрезвычайное влияние и авторитет у целого поколения рабочих. Его резкая критика правящих классов и его неустанные обращения к людям наемного труда с призывом отстаивать свои права на управление всеми делами были ответом на политическую тиранию антиякобинской реакции, на повышение цен и пр. Для Коббета и его последователей самым неотложным делом было провести билль об избирательной реформе, за ним, по их мысли, должна была последовать некая социальная реформа, представление о которой у них было весьма смутное».

Но именно этот Коббет, глава некоего политического радикализма с примесью социального реформизма, именно он ссылается на Пейна и на борьбу, которую тот вел за демократию и в защиту бедных. Именно этот Коббет в 1819 г. отправляется в Америку, чтобы вырыть из земли прах Пейна, и привозит его в Англию. Книга Пейна «Права человека» — поистине первое евангелие того политического радикализма с социальным оттенком, который сыграет столь большую роль в Англии XIX в. Вторая часть книги Пейна, вышедшая в свет в феврале 1792 г. [29], содержит уже нечто большее, чем «смутные социальные концепции»: она содержит целый план организации в интересах бедных. Пейн не только возмущается законами о принудительной вербовке в армию, позволяющими «тащить людей по улицам, как пленных». Он не только восстает против законов об оседлости и об удостоверении, которые любой приход превращают в цитадель эгоизма, отталкивающую рабочего, приходящего из другого прихода. Он не только возмущается варварством правил, на основании которых вдова бедного рабочего, умершего в другом приходе, «на нищенской повозке» отправлялась в тот приход, откуда он был родом. Нет, он добивается упразднения всего законодательства о бедных. Он видит в нем аппарат инквизиции и истязаний для рабочего класса и, как он энергично выражается, «орудие гражданской пытки» [30].

Но если он стремится уничтожить эту узкую и варварскую регламентацию, то не для того, чтобы бросить бедняков, людей наемного труда на произвол судьбы, предоставить их всем случайностям ложно понятой свободы. Пейн с восхищением отзывается о произведении Адама Смита и усваивает принципы экономи-

ческого либерализма [31]: он высказывается против корпорации, против монополии и привилегии. Но в доктрину свободной конкуренции он вносит поправку, требуя энергичного вмешательства общества в защиту слабых, в защиту всего трудового и бедного люда. Он хочет учредить большой бюджет социального страхования и обеспечения. Источником средств для этого бюджета должно послужить главным образом ограничение права наследования. Следует остерегаться, говорит он, ограничивать состояние, которое каждый гражданин добывает себе своим умением и энергией, такое ограничение парализовало бы активность людей и остановило бы рост богатств. Однако, когда состояние переходит по наследству, можно обложить доход с такого переходящего состояния прогрессивным налогом, рассчитанным таким образом, чтобы, когда доход от этого состояния достигнет 12 тыс. фунтов стерлингов, он бы полностью поглощался налогом. Таким образом, завещатели будут заинтересованы в том, чтобы распределять свое наследство между многими лицами, и, с другой стороны, будут созданы значительные ресурсы. Этими ресурсами государство воспользуется прежде всего для создания общественных мастерских, в которых будут заняты все безработные. В особенности же оно воспользуется ими для обеспечения детей и стариков от нужды.

Пейн подсчитал, что на 7 млн. жителей собственно Англии приходится около 640 тыс. детей младше четырнадцати лет. И он хочет, чтобы государство ежегодно выплачивало семьям пособие в размере 4 фунтов стерлингов (100 франков) на каждого ребенка, при условии, что детей будут посылать в школу и будут заботиться об их воспитании. Это составит расход приблизительно 3 млн. фунтов стерлингов в год, или 75 млн. франков. Но в большинстве профессий мужчины, достигнув возраста 50 лет, теряют частично свою работоспособность. Во всяком случае, они не могут более обеспечить свое существование своим трудом. Здесь опять необходимо вмешательство государства. С его стороны это будет не проявление великодушия, а выполнение долга. Немыслимо, чтобы в налогах, которые труженик вносил на про-

---

27. M. D. C o n w a y. Thomas Paine et la Révolution dans les deux mondes. Paris, 1900, XL—460 p. (французский перевод сделан Ф. Раббом).
28. B. a n d S. W e b b. History of trade-unionism, p. 139. Коббет, Уильям (1762—1835) — один из деятелей английского радикализма, защитник принципов Французской революции, основатель газеты «Two-penny Tract» (1816), предназначенной для простого народа. Неоднократно осуждаемый, Коббет эмигрировал в 1816 г. в Америку, откуда вернулся в 1819 г.
29. T h. P a i n e. Droits de l'homme. Seconde partie réunissant les principes et la pratique. Paris, 1792. (Перевод с английского был сделан по третьему изданию.)
30. Ibid., p. 173. О законодательстве о бедных, см. с. 313.
31. Об Адаме Смите и экономическом либерализме см. выше, с. 266.

тяжении всей своей жизни, не нашлось части, предназначенной для воспроизводства и создания капитала, назначение которого — помочь ему, когда наступит время усталости и бессилия [32].

Итак, эту пенсию, которую государство будет выплачивать всем трудящимся начиная с пятидесятилетнего возраста, надо, по выражению самого Пейна, РАССМАТРИВАТЬ «НЕ КАК МИЛОСТЫНЮ, А КАК ПРАВО». Эта пенсия, предназначенная некоторым образом восполнить недостаток рабочей силы, будет возрастать от 50 до 70 лет, по мере уменьшения рабочей силы. Расход этот будет практически равен тому, который государство уже приняло на себя в отношении детей. Следует учесть, что в Англии тогда было всего лишь 7 млн. жителей и что ее бюджет составлял всего 16 млн. фунтов стерлингов, т. е. 400 млн. франков. Таким образом, Пейн выделял около *половины бюджета* на социальные расходы, на организацию широкой системы обеспечения, которая посредством помощи детям и пособий на их воспитание, посредством общественных мастерских и пенсий по нетрудоспособности и старости должна была предохранять трудящихся на протяжении всей их жизни от невежества, безработицы и нищеты. Применительно к нынешнему бюджету Франции система Пейна означала бы ассигнование более 1200 млн. франков в год на нужды социального обеспечения. В ней не было ничего смутного, химерического, поскольку ныне, в современных государствах, одной из главных забот демократии является решение в законодательном порядке вопроса о социальном обеспечении и ассигновании соответствующих средств из государственного бюджета. Поразительно, что уже в 1791 г., под влиянием Прав Человека, был разработан план законодательства, за осуществление которого и сто лет спустя ведут борьбу демократии, проникнутые идеями социализма. Никогда еще творчество Революции в социальной области не проявлялось с таким блеском.

Правда, до тех пор, пока военные бюджеты современных государств будут поглощать столь огромную часть национальных ресурсов, безумием было бы надеяться, что на осуществление больших социальных начинаний могут быть ассигнованы значительные государственные средства. Но Пейн уже понял это и высказал с замечательной силой и четкостью. Для него война — главный враг. И он предлагает свободным народам проводить политику одновременного разоружения. Возможно, что указываемые им причины войн слишком частного характера, слишком поверхностны. Он, несомненно, неправ в отношении Питта, считая его одержимым некими перманентными воинственными замыслами. По мнению Пейна, война для королей и их министров только удобный случай или, вернее, предлог для повышения налогов и ущемления свобод. «Война — это жатва королей» [33]. Пейн не придавал должного значения как глубоким противоречиям экономических интересов, так и неизбежной коллективной гор-

дости наций, которой не чужды даже демократии. Но в своем стремлении уничтожить войну он проявлял твердость и волю. Он полагал, что, если Франция, Англия и Соединенные Штаты образуют союз свободных народов, эти три державы сразу же получат возможность сократить наполовину свой военный флот и предложить другим нациям провести равноценное сокращение. На средства, сэкономленные благодаря сокращению военных расходов, и были бы созданы в значительной мере предусмотренные Пейном социальные учреждения для трудящихся, детей и стариков. И он считал, что подлинная свобода наступит только тогда, «когда мастерские будут полны, а тюрьмы — пусты, когда на улице нельзя будет встретить ни одного нищего» [34]. Мир, разоружение, всеобщее избирательное право, всеобщее образование, всеобщее страхование от всех случайностей жизни — такова ясная и великая программа Пейна. И так как его книги сразу же переводились и несли во Францию его идеи, река Революции непрерывно прибывала от притока замечательных идей и сил. Как будто весь людской поток должен был в какой-то момент устремляться по этому великому руслу.

Книга Пейна захватывала английскую публику как грубоватой смелостью формы, так и широтой идей.

«Держу пари,— гордо писал Пейн,— что продажа книг, опровергающих меня, не достигнет и четвертой части продажи моей книги» [35].

Если бы глубокий анализ политического и социального положения Англии не показал нам, какие крепкие якоря еще удерживали старый корабль английской конституции, мы согласились бы поверить, что он будет подхвачен волной, широким потоком пламенной демократии.

---

32. Th. Paine. Op. cit., p. 159 — 161.
33. Ibid., p. 207—209. «Если бы люди дали себе труд подумать, как это подобает разумным существам, то вряд ли что-нибудь показалось им более смешным и нелепым — помимо соображений морального порядка,— чем вкладывать средства в сооружение судов, наполнять их людьми, а затем гнать их в океан, чтобы посмотреть, кто сумеет раньше послать другого ко дну. Мир, который ничего не стоит, дает гораздо больше выгод, чем любая победа со всеми ее расходами. Но мир, хотя он более всего отвечает желаниям наций, не отвечает видам правительств и дворов, чья обычная политика состоит в поисках предлогов для введения новых налогов, получения должностей и доходов».
34. Ibid., p. 202.
35. Ibid., p. 215. «Что касается меня, то я глубоко убежден, что то, что я сейчас делаю с намерением примирить род людской, чтобы сделать его счастливым, чтобы объединить нации, которые до сих пор были врагами, чтобы с корнем вырвать отвратительную практику войны и разбить цепи рабства и угнетения, что это приятно его глазам [речь идет о боге, которого Пейн называет отцом всех людей]. И так как это лучшая служба, которую я могу нести, то я выполняю ее с радостью».

АНГЛИЙСКИЕ ПОЭТЫ И РЕВОЛЮЦИЯ

Французская революция увлекала не только умы реформаторов. Она воспламеняла души поэтов и их мечты. Внезапное пробуждение этого народа, всего народа к свободе — то был не только великий урок, то было великое и волнующее зрелище. Падение Бастилии заставило содрогнуться всю землю, до самых глубин немотствующего рабства, как если б до самых могил дошло дыхание жизни. Великое братское ликование на празднике Федерации возбуждало чувства и опьяняло сердца далеко за пределами Франции. Даже в самых посредственных брошюрах, опровергавших Бёрка, выражалось сожаление по поводу того, что этот человек, одаренный воображением, все еще продолжает воспевать старое рыцарство и средневековые турниры и не видит, сколько рыцарского величия в этом восторженном единении провинций и городов, отрекающихся от исконного соперничества, разбивающих старые привилегии!

Почти все молодое поколение английских поэтов было взволновано ослепительным сиянием красоты и свободы, исходившим от Французской революции. Любопытное дело! В самой Франции не было ни одного крупного поэта, вдохновленного Революцией. Андре Шенье был в основном сатириком, слагавшим о ней язвительные ямбы [1]. События были слишком жгучими, слишком серьезными, чтобы могли разыграться мечты. Пламя борьбы, гнева, неистовой надежды пожирало мысль. Подобно тому как раскаленная атмосфера поглощает облака, которые возрождаются вновь лишь в волнениях бури, так сладостные юношеские грезы нежных душ были поглощены растущим накалом событий и идей.

Наоборот, для молодых англичан, находившихся достаточно близко от Французской революции, чтобы ощутить ее великие эмоции, но не быть вовлеченными непосредственно в эту жестокую драму, она представлялась грандиозным человеческим спектаклем, благодаря которому мечты, возбужденные вначале великим зрелищем природы, получали еще больший простор [2].

КАУПЕР

В нежном и удивительном предчувствии утонченный поэт Каупер [3] уже пробуждает чувства человечности и свободы, которым предстояло потрясти мир. Это он в 1783 г., за пять лет до того, как Уилберфорс открыл большие дебаты в палате общин, заклеймил рабство в проникновенных стихах (их перевод я заимствую из замечательной книги г-на Анжелье о Роберте Бёрнсе) [4]:

«Я не хотел бы иметь раба, который бы вскапывал мою землю, носил бы меня, обмахивал бы меня опахалом, когда я сплю, дрожал бы, когда я просыпаюсь, я не хотел бы этого даже за все богатства, созданные когда-либо купленными и проданными мускулами! Нет, как ни дорога мне свобода и хотя сердце мое ценит ее превыше всего, я предпочел бы скорее самому быть рабом и носить цепи, нежели заковать в них раба»[5].

Это он за шесть лет до штурма Бастилии предвидел ее падение, призывал к нему.

«Позор для человечества, и для Франции позор еще больший, чем все ее потери или поражения, давнишние или недавние, на суше или на море, это — Бастилия, дом рабства, хуже того, за который некогда господь покарал фараона! Ужасные башни, узилища разбитых сердец, крепостные башни и вы, клетки отчая-

---

1. Андре Шенье (1762—1794) поместил в «Журналь де Пари» (12 ноября 1791 г.—26 июля 1792 г.) ряд статей, направленных против якобинцев и жирондистов. Проникшись острой ненавистью к Революции, дошел до защиты Людовика XVI. Будучи арестован, написал свои «Ямбы», названные так потому, что у античных поэтов ямб считался размером, наиболее подходящим для сатирической поэзии.
2. Об английских поэтах и Революции см.: «Cambridge history of literature», t. XI, 1914; Ch. Cestre. La Révolution et les poétes anglais. Paris, 1906.
3. Уильям Каупер (Купер) (1731—1800) опубликовал свой первый сборник стихов в 1782 г. В 1784 г. он написал свое главное произведение «Задача» («The Task»), описательную поэму, в которой он воспевает очарование природы и радости семейного очага. [См.: А. Аникст. История английской литературы. М., 1956, с. 192—193; «История английской литературы». Т. 1, в. 2, М.— Л., 1945.— *Прим. ред.*]
4. A. Angelier. Etude sur la vie et les œuvres de R. Burns. Paris, 1892, thèse.
5. Ibid., p. 187, отрывок из «The time-piece» Каупера (Cowper), стихи 29—36.

ния, где по милости королей веками раздавались вздохи и стенания несчастных людей, музыка, столь сладостная для ушей деспотов, нет такого английского сердца, которое не затрепетало бы от радости, узнав, что вы наконец пали, узнав, что даже наши враги, столь часто ковавшие нам цепи, ныне сами свободны, ибо тот, кто любит свободу, желает ее торжества и за пределами своей страны. Он поддерживает дело свободы повсюду, где идет за него борьба. Ведь дело свободы — это дело Человека!» [6]

Эти прекрасные, широкие звуки не могли не подготовить души англичан к братскому восприятию первых проявлений французской свободы. И вот являются юноши с возвышенным челом, исполненные грёз: Вордсворту в 1789 г. было девятнадцать лет, Колриджу — семнадцать, Саути — пятнадцать [7]. Они тогда еще не писали, они жили, упиваясь красотой природы и шедеврами ума. И Французская революция, такая юная и светлая, слилась, если так можно выразиться, с их молодостью и их светом. Им казалось, что она вносила в жизнь человечества подвижную и здоровую свободу природы, беспредельное движение волн, широкое дыхание ветра, могучий шелест листвы, прозрачность света. Когда позднее они обращались мыслью к своей первой молодости, то не различали радостей, дарованных им природой, от радостей, дарованных человеком. Это та же утренняя надежда, та же сверкающая, свежая заря, занимающаяся над озерами и над городами, это нежный, бескрайний пейзаж, где спокойствие деревень, пробудившихся к свободе, сливается со спокойствием горизонтов, пробудившихся к радости. Но временами также это тот же могучий ропот лесов и толпы, а когда поднимается сильный ветер,— тот же трепет бесчисленной листвы и бесчисленного народа.

КОЛРИДЖ

«Вы, облака,— восклицает Колридж [8] в своей «Оде Франции»,— вы, плывущие или дремлющие высоко-высоко надо мной, вы, чьим движением по неведомым путям не управляет ни один смертный, и вы, волны океана, не признающие в своем движении иных законов, кроме вечных, и вы, леса, внимающие, склонившись на ваших пологих холмах, ночному пенью птиц, если только сами, величавым движением ветвей своих, не творите торжественную мелодию ветра; да, вас всех, и рокочущие волны, и вас, высокие вершины деревьев, и тебя, восходящее солнце, и тебя, звезда, искрящаяся голубым светом, и все сущее, что живет и хочет быть свободным, я призываю в свидетели, что всегда всем сердцем обожал божественную свободу!

Когда Франция, охваченная гневом, расправила свои богатырские плечи и с клятвой, от которой содрогнулись воздух, земля и море, топнула могучей стопой и поклялась стать свобод-

ной, будьте свидетелями моих надежд и опасений! С какой радостью пел я ей высокую хвалу, не ведая страха среди толпы рабов! А когда, в один проклятый день, желая задушить освободившуюся нацию, монархи, подобно бесам, собравшимся по мановению волшебной палочки, выступили в поход и Англия примкнула к их свирепой своре, то, как ни дороги мне ее берега и омывающий их океан, как ни велики во мне патриотические чувства и нежная привязанность к нашим холмам и рощам, усиленные многими узами дружбы и увлечениями юной любви, мой голос бестрепетно пел, предрекая поражение всем, кто посмел бросить вызов свободным людям. Да, я предсказал поражение, которое слишком долго оттягивали, и бесплодное отступление. Ибо никогда, о Свобода, я не омрачал твоего света и не глушил твоего священного пламени ради каких-либо узких интересов! Но мои песни сливались с ликующими песнями освобожденной Франции, и я склонял свою голову и оплакивал доброе имя Англии».

Итак, хотя эта любовь к свободе и питалась как будто изменчивыми событиями и ненадежными источниками, она не была смутной и бессильной. Она не утихала внезапно, как утихает порой ветер в душный день. Эти молодые люди, которые в первые дни Революции молча копили свои чувства, надежды и мечты,

---

6. Отрывок из «Задачи» («The Task») Каупера («The winter-morning walk»), стихи 379 и след. А. Анжелье комментирует их следующим образом: «Стихи о Бастилии показывают нам, до какой степени даже за рубежом эта мрачная крепость была символом деспотизма. Когда мы слышим, как поэт восклицает: «Нет такого английского сердца, которое не затрепетало бы от радости, узнав, что вы наконец пали», и сколько ненависти вкладывает он в эти слова, он, который был неспособен ненавидеть, то начинаешь лучше понимать тот энтузиазм, с которым у нас приветствовали крушение этих ненавистных стен».
7. Уильям Вордсворт (1770—1850), Самюэл Тейлор Колридж (1772—1834), Роберт Саути (1774—1843).
8. Будучи студентом в Кембридже, Колридж с восторгом встретил Французскую революцию и долгое время оставался ей верным. Однако, подвергшись вместе со своими друзьями Саути и Вордсвортом гонениям со стороны «общества», он мало-помалу пал духом. В пятиактной драме (второй и третий акты которой написал Саути) он воспел падение Робеспьера. Он возмущался экспансионистской политикой Директории, особенно вторжением в Швейцарию и в Женеву, этот Рим кальвинистов. В этой связи Колридж покаялся и в своей «Палинодии» осудил нечестивого врага. Он написал в 1798 г. «Оду Франции», которая в действительности была одой против «кощунственной» Франции. См.: A. Angeli er. Op. cit., p. 194. См. также: R. J. White. The political thought of S. T. Coleridge. London, 1938. [О Колридже см.: А. А. Елистратова. Наследие английского романтизма и современность. М., 1960; «История английской литературы», т. 2, в. 1—2, М., 1953—1955; Н. Я. Дьяконова. Английский романтизм. М., 1978, гл. I.— *Прим. ред.*]

не побоятся, даже когда Англия примкнет к коалиции европейских монархов, объединившихся против Франции, оскорбить национальное чувство и во весь голос, будучи англичанами, пожелать поражения Англии и победы делу свободы. Есть в этом гордая сила народа, свободного частично и желающего полной свободы.

ВОРДСВОРТ

И у Вордсворта это сначала то же юношеское ликование, та же радость пробуждения, а затем то же жестокое испытание, та же жестокая борьба [9].

Вордсворту было двадцать пять лет, когда он посетил Францию накануне великого праздника Федерации в июле 1790 г. И все поля и луга, равно как и возбужденные города, были озарены сиянием братского ликования. Когда люди того времени говорят торжественно и с умилением о природе, их язык иногда кажется нам выспренним. Но это были излияния чувствительной юности, приобщающей саму вселенную к ликованию рождающейся свободы. В душе Вордсворта это чистое сияние отражается, как в глубоком и прозрачном озере отражаются бездонные и чистые небеса [10].

«По воле случая мы высадились в Кале как раз накануне великого дня Федерации. И там, в небольшом городе с небольшим населением, мы увидели то сияние на лицах, когда радость одного человека сливается с радостью десяти миллионов человек. Оттуда мы направились на юг, двигаясь напрямик через деревни и местечки, все еще сверкавшие праздничным убранством, цветами, увядавшими на триумфальных арках и на увитых гирляндами окнах домов. Целых три дня мы двигались по большим и проселочным дорогам, сокращавшим наше утомительное путешествие, через уединенные деревни, и везде мы встречали доброжелательность и радость, разлитые как благоухание весны, проникающее во все уголки земли, между тем как молодые вязы, вытянувшиеся рядами на протяжении многих лье вдоль величественных дорог этого огромного королевства, бросали легкую тень и шелестели над нашими головами; с тех пор они навсегда слились с нашими воспоминаниями и вошли в нашу жизнь, как если бы и сейчас мы все еще медленно двигались под сенью их листвы. Как приятно и радостно в эти первые часы юношеской силы предаваться нежной меланхолии поэта и грустным мыслям под изменчивые напевы ветра, склоняющего вершины деревьев. Еще большим очарованием было видеть пляски свободы под открытым небом, при свете вечерней звезды. Эти живые танцы продолжались далеко за полночь, невзирая на надсадно ворчавших седовласых зрителей»[11].

Это поистине молодость нации, молодость мира, и от этой земли Франции, которой касались ноги танцующих, под-

нималось упоительное благоухание, как вечерами с лугов. Слушайте дальше эту песнь юности: Вордсворт спускается по Соне и Роне, восхищаясь вместе со своим спутником извилистой и быстрой рекой, непрерывной сменой глубоких и величественных долин.

«И мы, двое одиноких иностранцев, были до заката дня окружены радостной толпой этих людей, ныне освобожденных, веселой армией путешественников, делегатов, возвращавшихся с великого торжества, только что отпразднованного в их столичном городе, под открытым небом. Подобно пчелам, они собирались в рои. Подобно пчелам, они были шумными и радостными. Порой бывали они легкомысленны в неистовстве своего ликования, как будто своими мечами, украшенными цветами, они сражались с дерзким ветром. Мы присоединились к этой великолепной компании и разделили с ними их ужин, как желанные гости, подобно ангелам, принятым старым Авраамом. После ужина мы все по сигналу поднялись с высокими расцвеченными кубками в руках, полные счастливых мыслей. Взявшись за руки, мы образовали цепь и двинулись, танцуя вокруг стола. Все сердца были открыты, все речи дышали дружелюбием и весельем: мы носили имя, чтимое во Франции,— имя англичан, и они приветствовали нас с гостеприимной обходительностью, как своих предтеч на славном пути» [12].

Но увы! Не омрачат ли скоро мрачные тучи эту чистую радость? Вот уже мы видим, как сильная, но нежная и мечтательная душа Вордсворта удручена борьбой, начатой с монахами. Он не сознает того, что Революция погибла бы, если бы не вырвала с корнем эту враждебную силу, и страдает от того, что опустел Большой картезианский монастырь, который ему нравилось воображать себе населенным мечтателями, погруженными в молитву. Есть в Революции какое-то все возрастающее возбуждение, которое тревожит его: якобинцы, Национальное собрание, clamorous halls, залы, полные криков. Он сочувственно слушает,

---

9. Вордсворт по окончании Кембриджского университета путешествовал по Швейцарии и Франции, где с восторгом приветствовал Революцию. Он одобрил казнь Людовика XVI и выступил в защиту Республики. Эти настроения нашли отражение в «The borderer» (написанном в 1796 г. и опубликованном в 1842 г.). Однако и он, преследуемый «обществом», мало-помалу пал духом. См.: E. L e g o u i s. La jeunesse de Wordsworth, Paris, 1896. [О Вордсворте см.: Н. Я. Д ь я к о н о в а. Английский романтизм. М., 1978, гл. II.— *Прим. ред.*]
10. Ослепительная мечта Революции на ее заре еще сверкает в «Прелюдии», которую Вордсворт закончил, однако, на закате своей жизни (это произведение было опубликовано только после его смерти, в 1850 г.).
11. W o r d s w o r t h. Le Prélude. Paris, 1949, 2 vol., t. I, livre 6, p. 259. (Перевод на французский язык был сделан Л. Казамианом.)
12. Ibid., p. 261.

не снисходя, однако, до его контрреволюционной мечты, молодого и обаятельного Бопюи, который вскоре эмигрирует и в котором любезная веселость старого порядка умерялась меланхолической серьезностью, рожденной нежданными испытаниями [13].

Посетив развалины Бастилии, он испытывает удивление и почти склонен упрекать себя в том, что это вызывает у него менее глубокое и сладостное волнение, нежели увиденная им в тот же день прекрасная и спокойная картина Гвидо Рени. Но, несмотря на все, восторг перед свободой берет верх, и пятнадцать лет спустя он все еще обольщает сам себя, воскрешая в памяти эти славные дни. Эти воспоминания, подобно роднику или утренней заре, вечно освежают усталую душу поэта.

«Европа в то время вся трепетала от радости. Франция стояла на вершине своей славы, и человечество как будто возрождалось... Пленительные часы надежды и радости! Какое счастье жить в часы этой утренней зари, а быть тогда молодым — это было верхом блаженства. Не только избранные места — вся земля несла в себе красоту обещания, красоту полураспустившейся розы, которая всегда красивее розы, уже вполне распустившейся. Какой темперамент мог устоять при виде этого и не раскрыться навстречу нежданному счастью? Люди, обычно инертные, пришли в возбуждение, живые натуры были охвачены восторгом».

А какими могучими звуками славил он падение Бастилии, предсказанное Каупером!

«Внезапно грозная Бастилия, со всеми казематами ее ужасных башен, рухнула, низвергнутая яростью негодования, и крики народа заглушили грохот ее падения! Из ее развалин поднялся, или казалось, что поднялся, золотой дворец, обитель справедливого для всех закона и кроткой, отеческой власти. Я испытал его, это мощное сотрясение; я ощутил это превращение. Да, это было чудесное видение, какое бывает, когда, выйдя из непроницаемого тумана, вдруг видишь небо и землю и бываешь ослеплен ими. Между тем со всех сторон звучали пророческие арфы: «Не будет больше войны, разве вы не слышали, что решили отречься от завоевания? Несите гирлянды, несите, несите самые прекрасные цветы, чтобы украсить дерево свободы». Моя душа трепетала, мой меланхолический голос сливался с хором. Ликуйте, все нации. Ликуйте все, способные радоваться во всех странах. Отныне все недостающее нам мы найдем у других и, обогатившись из общей сокровищницы, обретем в едином сердце общее сродство».

Так развертывалась чудесная, полная человечности сила Революции. Так идея всеобщего мира и всеобщей свободы создавала как бы всемирное отечество. Воздействие Революции на Вордсворта должно было быть очень сильным, чтобы его вера в свободу и в человечность не была поколеблена ни кровавыми сентябрьскими событиями [14], ни первыми симптомами планомер-

ной борьбы с религией. За преходящими актами насилия, за случайными преступлениями он провидел наступление царства нежной человечности и с каким-то благоговением приветствовал конечную победу Франции и Революции. Одиннадцатая песнь его «Прелюдий», где он поведал нам о своих мыслях конца 1792 г., отличается несравненной возвышенностью.

«Прекрасный тихий свет окутывал землю, день угасал в необычайной тишине, один из тех прекрасных дней, которые словно созданы для того, чтобы умиротворить души и в то же время углубить печаль. Я остановился на берегу Луары, воды ее струились, и бросил долгий прощальный взгляд на ее богатые поместья, виноградники и пашни, обширные луга и пестрые краски леса. Прощайте, мирные пейзажи, теперь я связан с жестокой метрополией. Король был свергнут со своего трона, и армия вторжения, словно самонадеянная туча, подгоняемая губительным ветром, вырвалась на равнины свободы. Эти люди — надменные, как те восточные стрелки, которых вел с собою великий могол и которые образовали вокруг ожидаемой добычи кольцо величиной с целую провинцию и мало-помалу его сжимали,— эти бесстрашные завоеватели увидели, как этот народ, на который они заранее смотрели как на добычу, вдруг превратился в народ-мстителя, и в страхе бежали перед его гневом. Разочарование и ужас — вот все, что осталось тем, чье дикое воображение питалось кровожадными надеждами, а справедливому делу — победа и уверенность.

Государство, как бы для того, чтобы обезопасить себя окончательно и явить миру величие и бесстрашие своей души или утолить острое чувство гнева или, особенно, чтобы поиздеваться над разбитой коалицией и воздать ей убийственную благодарность за то, что она воодушевила народ на свержение короля и пробудила к новой активности несколько угасшую энергию,— государство не стало беречь опустевший трон и с восхитительной поспешностью конституировалось под величественным именем Республики. Правда, этому предшествовали прискорбные преступления, ужасные убийства, когда слепой меч творил правосудие! [15] Но эти черные дни миновали, земля была избавлена навсегда — так, по крайней мере, надеялись — от этих эфемерных чудовищ, которые могут привидеться лишь раз: то вещи, которые могли лишь возникнуть и тут же должны были исчезнуть.

---

13. Вордсворт вновь путешествовал по Франции с ноября 1791 г. до конца 1792 г., исполненный восторга перед Республикой, при рождении которой он присутствовал. Именно в Блуа он встретил Мишеля Бопюи.
14. «Le Prélude», t. II, livre 10, p. 385. «Прискорбные злодеяния предшествовали этому событию (Республике)... Но это было прошлое... Это были эфемерные чудовища». См. следующее прим.
15. Намек на сентябрьские избиения. См. предыдущее прим. и далее.

Воодушевленный этой надеждой, я вернулся в Париж и с пылом, которого отнюдь не испытывал прежде, обошел этот обширный город. Я проходил мимо тюрьмы, где ютился вместе с женой и детьми злополучный король, образуя как бы печальное сообщество рабства. Я проходил около дворца, недавно подвергшегося под грохот орудий штурму разъяренной толпы. Я гулял в сквере площади Карусель, ныне опустевшей, где только недавно перестала гулять смерть, я рассматривал тут и там следы крови, как человек, у которого в руках книга, рассказывающая о достопамятных вещах, но для него закрытая, ибо написана на незнакомом ему языке; с мукой вопрошает он немые листы и почти пугается их молчания. Но с наступлением ночи я острее чувствовал тот мир, в котором пребывал, землю, по которой ходил, и воздух, которым дышал. Моя комната была расположена высоко и особняком, почти под крышей большого дома, и это жилище мне бы очень нравилось в более спокойное время; тогда даже оно не было бы лишено известного очарования. Я бодрствовал, с зажженной свечой, читая с перерывами. Страх прошлого угнетал меня почти так же, как и страх перед будущим. Я размышлял о сентябрьских избиениях, отдаленных от меня всего несколькими неделями! Я их видел, я их касался, и в моем словно заколдованном сне переплетались трагические вымыслы с подлинными историями, воспоминания с предчувствиями. Лошадь привыкает к манежу и, даже несясь самым диким галопом, скачет по вчерашним следам. Едва пронесется буря, как в воздухе уже назревает новая, еще более ужасная; поток отступает, но лишь для того, чтобы вскоре вновь покинуть свое убежище в великой бездне; все явления повторяются, и даже землетрясение бывает не однажды.

Так трудился мой разум, пока мне не послышался голос, кричавший на весь город: «Перестань спать!»

Кошмар исчез вместе с криком, им порожденным. Но напрасно размышления более спокойного ума сулили мне сладкий мир и сладкое забвение. Моя комната, хотя в ней царили тишина и спокойствие, представлялась мне мало благоприятствовавшей ночному отдыху, небезопасной, как лес, где бродят тигры.

С рассветом я поспешил на променад в Орлеанском дворце (Пале-Руаяль). В этот час на улицах было еще тихо; но не то было под сводами. Там, в сумятице нестройных криков, встретившей меня у входа, я услышал резкие голоса разносчиков, оравших: «Разоблачение преступлений Максимилиана Робеспьера». Рука, столь же быстрая, как голос, раздавала печатный текст речи, той, недавно произнесенной, когда Робеспьер, понимая, с какой целью были брошены несколько слов двусмысленного порицания, смело поднялся и предложил всякому, у кого есть против него дурные подозрения, выступить открыто с обвинением. Последовала мертвая пауза, никто не шелохнулся; тогда среди всеобщего

молчания поднялся со своего места Луве, пересек один по проходу зал и, остановившись у подножия трибуны, сказал: «Робеспьер, я обвиняю тебя» [16]. Хорошо известен бесславный конец этой атаки. Известно, как тот, кто бросил эту ужасную громовую стрелу, единственный человек, дерзнувший дать сигнал к атаке, был покинут соратниками и остался одинок при исполнении своей опасной задачи, он отступил, сетуя на то, что напрасно небо столь расточительно, помогая людям, которые предают сами себя.

Но я говорю об этих вещах только потому, что для моей души они были то как буря, то как проблеск солнца, только поэтому. А теперь позвольте мне рассказать, как я был взволнован до глубины души, когда увидел, что свобода, жизнь и смерть вскоре будут в самых отдаленных уголках страны зависеть от милости тех, кто управляет столицей; когда я увидел, какова цель борьбы и кто одержит победу; когда я увидел нерешительность партии, преследовавшей самые лучшие цели, и уверенное наступление тех, кто, несмотря на свое безбожие, был силен как в нападении, так и в защите. Ах, как я молился тогда о том, чтобы по всей земле, у всех людей разум путем терпеливого упражнения стал достойным свободы! Чтобы всем умам, исполненным рвения, открылась святая истина!

Тогда ядовитые речи злых языков будут обезврежены. Тогда с четырех сторон света во Францию будет притекать благотворная сила, которая поможет ей совершить то, что без помощи она не сможет осуществить: кристально чистое дело. Не думайте, что к этой молитве я добавил просьбу о спасении, ибо я был столь же чужд всяких сомнений и тревог относительно исхода дела, как ангелы — греха.

Но я был огорчен всем тем злом, которое было связано с неизбежным развитием событий. Я искал средств борьбы с этим злом, средств его устранения. И я, ничтожный и безвестный чужестранец, к тому же не обладающий даром красноречия даже на родном языке, совершенно не приспособленный к сумятице и интригам, я, однако, желал в то время от всего сердца взять на себя ради такого большого дела даже опасное поручение. Я говорил себе, что сколько раз судьба человечества зависела от нескольких лиц, что единая человеческая природа возвышается над отдельными отечествами, подобно единому солнцу в небесах; что, следовательно, самые великие вещи могут оказаться в поле зрения самого скромного человека; что человек слаб только вследствие неверия в себя, и отсутствия надежды, между тем как божественный перст указует ему, что надежда — самое верное дело».

---

16. Намек на знаменитое заседание Конвента 25 октября 1792 г. и на «робеспьериду» Луве: «Робеспьер, я обвиняю тебя...» См. Ж. Жорес. Цит. соч., т. III, с. 493, «Катилинарий Луве».

Так Вордсворт напрягал усилия, чтобы преодолеть кошмар сентябрьских событий, преследовавший его по ночам, и сохранить светлую надежду. Он хотел бы ценой своей жизни очистить Революцию от всякого насилия. Даже при всех ее насилиях она оставалась для него неким залогом грядущей человечности: его благородное сердце не дрогнуло и не уступило даже перед его собственной чувствительностью. Будучи вызван в Англию в конце 1792 г., он пытается связать великодушие Французской революции с великодушием английского либерализма и великим человеколюбием Уилберфорса [17]. Два года он не был в Англии.

«Мог ли я, патриот мира, укрыться вновь под сенью лесов, бывших некогда моим сладкозвучным убежищем, и вновь слиться душой с природой? Мне было более по душе отправиться в большой город, все еще глубоко взволнованный первой памятной атакой, вызванной мощным взрывом человечности против торговцев чернокожими. Хотя эти усилия и не увенчались победой, они напомнили нации старые забытые принципы и возбудили в ней новый пыл добродетели. *Что до меня, признаюсь, то эта борьба по такому частному вопросу не могла захватить меня всецело, и ее неудача не вызвала у меня глубокого огорчения. Ибо я верил, что если Франция победит, то добрым людям не придется понапрасну растрачивать свои силы в борьбе за человечность, и эта гнилая ветвь человеческого позора, предмет, как мне кажется, излишних забот, падет вместе с деревом, коего частью она является* [18].

Сколь велики были страдания моего сердца, когда — о горе, о позор! — Англия выступила во всеоружии и присоединила свою рожденную свободой силу к коалиции держав!»[19]

Вот как Французская революция оплодотворяла английский гений, расширяла, если мне позволено так сказать, его метод. Каким бы важным ни был вопрос освобождения негров, Вордсворт, кажется, считает, что из-за него почти не стоит волноваться или по крайней мере искать путей его отдельного решения. Он считал, что этот вопрос — только часть гораздо более обширной человеческой проблемы, решение которой находится в руках революционной Франции. Отныне великие умы добиваются уже не частичного прогресса, не ограниченной реформы: их волнует идея универсальности права, стоящего выше частных проблем и эгоизма наций.

РОБЕРТ БЁРНС

Язык Роберта Бёрнса более резок [20]. Когда вспыхнула Революция, он не был отроком, как Колридж, ни молодым человеком, как Вордсворт. Ему было 40 лет, и он много перестрадал. Сын бедного шотландского фермера, он познал на собственном опыте спесь и жестокость дворян и богачей, крупных землевладельцев,

и еще до начала революционного движения во Франции написал стихи, проникнутые страданием и духом возмущения.

Его Высокоблагородие владеет всем в этом краю:

А что едят жильцы лачуг,—
При всем моем воображенье
Я не имею представленья...

Все эти лорды на холопов —
На землеробов, землекопов —
Глядят с презреньем, свысока,
Как мы с тобой на барсука!

Не раз, не два я видел дома,
Как управитель в день приема
Встречает тех, кто в точный срок
За землю уплатить не мог,
Грозит отнять у них пожитки,
А их самих раздеть до нитки.
Ногами топает, кричит,
А бедный терпит и молчит.
Он с малых лет привык бояться
Мошенника и тунеядца...
Не знает счастья нищий люд.
Его удел — нужда и труд! *

А аристократы столь же легкомысленны, как жестоки их управляющие:

Служить стране!.. Ах ты, дворняжка!
Ты мало знаешь свет, бедняжка.
В палате досточтимый сэр
Повторит, что велит премьер.

---

17. Уилберфорс (1759—1833) — член палаты общин, неутомимый борец за отмену рабства; начатая им в 1787 г. кампания завершилась лишь в 1807 г. Уилберфорс был сторонником Французской революции в ее начальный период; после казни короля он постепенно отмежевался от нее.
18. О кампаниях Уилберфорса против работорговли см.: «Moniteur», VIII, 210, 25 avril 1791; XII, 206, 25 avril 1792; XIX, 598, 13 ventôse an II (3 mars 1794). Рабство негров было отменено во Франции 28 сентября 1791 г.; а в колониях, декретом Конвента,— 16 плювиоза II года (4 февраля 1794 г.)
19. Конвент объявил войну Англии 1 февраля 1793 г. Англия, со своей стороны, образовала первую коалицию, заключив последовательно со всеми воюющими с Францией странами ряд договоров (в течение марта — сентября 1793 г.).
20. Бёрнс (1759—1796). Когда вспыхнула Французская революция, Бёрнсу не могло быть сорока лет, как то пишет Жорес, поскольку он родился в 1759 г. Он восхищался Революцией... Бёрнс умер в возрасте 37 лет. См.: A. Angelier. Étude sur la vie et les œuvres de R. Burns. Paris, 1892, thèse. См. выше, с. 293, прим. 48.

* Роберт Бёрнс, в переводах С. Маршака. М., 1957, с. 320—321.

Ответит «да» иль скажет «нет»,
Как пожелает кабинет.

Зато он будет вечерами
Блистать и в опере и в драме,
На скачках, в клубе, в маскараде,
А то возьмет и скуки ради
На быстрокрылом корабле
Махнет в Гаагу и в Кале,
Чтобы развлечься за границей,
Повеселиться, покружиться
Да изучить, увидев свет,
Хороший тон и этикет.

Растратит в Вене и Версале
Фунты, что деды наживали...

Стране он служит?.. Что за вздор?
Несет он родине позор,
Разврат, раздор и униженье.
Вот каково его служенье! *

Порой он высмеивает «глупого дворянина, с головой как пробка, нелюбезного, приносящего своему краю опустошение и разорение; людей, на три четверти созданных своими портными и парикмахерами» [21], или «спесивого феодального графа, в сорочке с жабо, с блестящей тростью, который считает себя белой костью и ступает особым, барским шагом, причем все при его приближении снимают шляпы и шапки». Но он не ограничивается насмешкой, в его словах звучит горькая инвектива, хватающая за сердце меланхолия, смешанная с гневом, а временами почти угроза. Вот строки, написанные им во время одних выборов в парламент:

Вот этот шут — природный лорд,
Ему должны мы кланяться.
Но пусть он чопорен и горд,
Бревно бревном останется!
При всем при том,
При всем при том,
Хоть весь он в позументах,—
Бревно останется бревном
И в орденах и в лентах! **

Он обращается к графу Бредлбену, грозя ему кровавой расплатой[22]: «Многие лета и доброго здравия вам, милорд, вдали от крестьян Высоких Земель! Дай бог, чтобы какой-нибудь отчаявшийся, оборванный нищий кинжалом, саблей или ржавым ружьем не лишил старую Шотландию человека, которого она любит — как барашки любят кухонный нож!»

А какой стон вырывается у старого, удрученного горем крестьянина!

«Вот уже восемьдесят лет подряд вижу я, как низкое зимнее солнце поднимается и заходит над этими широкими пустошами,

где сотни людей упорно трудятся ради удовлетворения спеси высокомерного хозяина. И всякий раз я убеждался в том, что человек сотворен, чтобы страдать...

Взгляни на этого несчастного, изнуренного работой, столь униженного, жалкого и презренного, который выпрашивает у своего брата, сотворенного, подобно ему, из глины, позволения трудиться. И взгляни на его товарища, этого надменного земляного червя, с презрением отвергающего мольбы бедняка, равнодушного к слезам и стенаниям его жены и беззащитных детей.

Если я отмечен печатью раба этого сеньора, отмечен самой природой, то почему же в душе моей такая жажда независимости? А если нет, то почему я должен сносить его жестокость и презрение? И почему один человек волен и вправе заставлять страдать себе подобного?»

Но внезапно эти личные жалобы Бёрнса и окружавших его бедных шотландских крестьян преображаются под действием Французской революции, обретая невиданную прежде широту; теперь он жаждет свободы для всех людей. Сначала призрак свободы блуждает, при свете луны, по обширным, поросшим вереском пустошам.

«На холодном, голубоватом севере струился свет, с каким-то странным свистящим звуком, он вспыхивал на небосводе и тотчас исчезал, подобно изменчивым дарам фортуны. Случайно, беспечно подняв глаза, я задрожал, увидя при свете луны суровый и величественный призрак, одетый, как некогда одевались менестрели. Будь я даже каменной статуей, и тогда его вид заставил бы меня содрогнуться. На его колпаке был ясно начертан священный девиз «Свобода!».

А с его арфы слетали звуки, которые разбудили бы даже мертвых. Но, увы, то была повесть о горе, сильнее которой никогда не слышало английское ухо. Он с радостью пел о былых своих днях. И стонал, обливаясь слезами, над нынешними временами. Но то, что он пел, была не игра, я не отважусь выразить это в стихах».

Бёрнс, однако, отважился, и на этот раз уже не при таинственном свете луны, а при ярком солнечном свете воздвигает он «дерево свободы» [29].

Есть дерево в Париже, брат,
Под сень его густую

---

* Там же, с. 324—325.

21. В поэме «Les deux ponts d'Ayr», см.: A. Angelier. Op. cit., p. 212.

** Роберт Бёрнс. Цит. соч., с. 70.

22. «Address of Belzebul to the Right Honourable the Earl of Breadalbane» (поэма, написанная в 1786 г.) («Burns. Life and works», edited by Chambers, 1852, 4 vol., t. I, p. 225).

23. «Burns. Life and works», t. IV, p. 87, одиннадцать строф.

Друзья отечества спешат,
Победу торжествуя.

Где нынче у его ствола
Свободный люд толпится,—
Вчера Бастилия была,
Всей Франции темница.

Из года в год чудесный плод
На дереве растет, брат,
Кто съел его, тот сознает,
Что человек — не скот, брат.

Его вкусить холопу дай —
Он станет благородным.
И свой разделит каравай
С товарищем голодным.

Дороже клада для меня
Французский этот плод, брат.
Он красит щеки в цвет огня,
Здоровье нам дает, брат.

Он проясняет мутный взгляд,
Вливает в мышцы силу.
Зато предателям он — яд:
Он сводит их в могилу!

Благословение тому,
Кто, пожалев народы,
Впервые в галльскую тюрьму
Принес росток свободы.

Поила доблесть в жаркий день
Заветный тот росток, брат,
И он свою раскинул сень
На запад и восток, брат.

Это дерево свободы, это дерево, приносящее вкусные, превосходные плоды,— его должно отстоять против коалиции королей. Да падет голова Людовика XVI, если он захотел посягнуть на священное дерево!

Но юной жизни торжеству
Грозил порок тлетворный:
Губил весеннюю листву
Червяк в парче придворной.

У деревца хотел Бурбон
Подрезать корешок, брат,
За это сам лишился он
Короны и башки, брат.

Тогда поклялся злобный сброд,
Собранье всех пороков,
Что деревцо не доживет
До поздних, зрелых соков.

Немало гончих собралось
Со всех концов земли, брат,
Но злое дело сорвалось:
Жалели, что пошли, брат.

Скликает всех своих сынов
Свобода молодая,
Они идут на бранный зов,
Отвагою пылая.

Новорожденный весь народ
Встает под звон мечей, брат.
Бегут наемники вразброд,
Вся свора палачей, брат.

Британский край! Хорош твой дуб.
Твой стройный тополь — тоже.
И ты на шутки был не скуп,
Когда ты был моложе.

Богатым лесом ты одет,
И дубом и сосной, брат.
Но дерева свободы нет,
В твоей семье лесной, брат.

И Бёрнс заканчивает словами резкими, но смягченными прекрасной надеждой:

А без него нам свет не мил
И горек хлеб голодный,
Мы выбиваемся из сил
На борозде бесплодной.

Питаем мы своим горбом
Потомственных воров, брат.
И лишь за гробом отдохнем
От всех своих трудов, брат.

Но верю я: настанет день,—
И он не за горами,—
Когда листвы волшебной сень
Раскинется над нами.

Забудут рабство и нужду
Народы и края, брат.
И будут люди жить в ладу
Как дружная семья, брат!

Итак, на примере Вордсворта, Колриджа и Бёрнса мы видим, что Революция произвела глубокое впечатление на многие благородные души. Логическое развитие идеи демократии увлекло не только таких серьезных юристов, как Мэкинтош. Идеи свободы, человечности, всеобщего мира воодушевляли сердца поэтов. Не было ли это только возвышенным увлечением немногих избранных, интеллектуальной элиты? Или они выражали более широкое движение? Были ли это изолированные источники, или же эти живые ключи обнаруживали глубокие подпочвенные воды революции?

РАЗМАХ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ

Современники резко расходились в оценке силы и широты английского революционного движения. По мнению одних, оно было ограниченным по размаху и поверхностным. Другие, наоборот, считали, что оно было способно все обновить и всего добиться. Швейцарский делегат Деюк [1], о котором я говорил выше, писал из Лондона своим согражданам: «Не верьте тем, кто уверяет вас, что здесь готовится революция». Но это указывает на то, что тревожные слухи уже распространялись в Европе.

Виланд, чтобы убедить германских государей в необходимости проведения реформ, отмечает в январе 1793 г. волнения в Англии [2]. Падение Людовика XVI — грозный пример, и только самые неопытные государственные люди могут воображать, что «пример этот, увенчавшийся таким успехом, прошел для мира бесследно. *Разве мы не видим, какое брожение в умах вызвал он как раз у тех англичан, которые еще совсем недавно так гордились своей Конституцией, и, если сравнить с конституциями других стран, имели на то основания?* Если так воспламеняется зеленый лес, то что будет с сухим лесом?»

Еще Томас Пейн в конце своей книги о «Правах человека» предсказывал весьма обильные всходы идей свободы.

«Человек, сорвавший в конце зимы в лесу ветку и обнаруживший на этой ветке готовую распуститься почку, должен сообразить, что на всех ветках тоже есть почки, готовые распуститься. Точно так же и новые мысли, пробуждающиеся в одном из нас, служат признаком того, что подобные мысли начинают бродить во многих умах».

Но то были предположения весьма неопределенные, ибо возникновение и развитие идей не подчиняется законам одновремен-

ности и смены времен года, как то имеет место в растительном мире. И в великом лесу человечества, волнуемом новыми веяниями, некоторые почки могут порой раскрыться необычайно рано и намного опередить движение жизненных соков и работу умов. Годвин в первой главе четвертой книги своего «Исследования о политической справедливости», написанного в 1791—1793 гг., заявляет[3]:

«Для человека со сколько-нибудь живым темпераментом нет ничего проще, как составить себе преувеличенное представление о силе своей партии. Возможно, он поддерживает отношения только с людьми, которые думают, как он, и совсем небольшое число лиц принимает за весь мир. Спросите у людей с разным темпераментом и разными привычками, сколько в настоящее время в Шотландии и Англии республиканцев, и вы сразу же столкнетесь с самыми противоречивыми ответами».

Сколько республиканцев? Но достаточно одного того, что такой вопрос мог быть поставлен, это доказывает, какое возбуждение и волнение охватило умы англичан. В начале 1792 г. повсюду заявляют о себе силы оппозиции. Политические общества быстро возникают по всему королевству. Сапожник Томас Харди, уроженец Шотландии, поселившись в Лондоне, основал 25 января *Лондонское корреспондентское общество*, разделенное на секции по 45 человек в каждой и создавшее свои отделения по всей стране [4]. По словам Харди, к концу года оно насчитывало 20 тыс. членов — «число, намного превосходящее весь избирательный корпус, от которого зависит большинство в палате общин».

Однако этому движению сторонников реформ противостояли грозные силы сопротивления и консерватизма. Какой бы олигархической ни была палата общин, она бы уступила, во всяком случае частично, силам демократии и прогресса, если бы эти последние преобладали.

Между тем по мере развития событий к голосу таких либеральных и красноречивых деятелей, как Фокс, Шеридан, Грей [5],

1. См. выше, с. 259.
2. О Виланде см. выше, с. 159, прим. 70, и с. 120. Виланд издавал в Веймаре ежемесячный журнал «Немецкий Меркурий».
3. W. Godwin. Enquiry concerning political justice. Book 4, ch. I, p. 254. О Годвине см. гл. X.
4. Томас Харди (1752—1832). Лондонское корреспондентское общество было основано 25 января 1792 г. Установив размер членских взносов в один пенс в неделю, Харди сделал его народной организацией. См.: Ж. Жорес. Цит. соч., т. III, с. 253, прим. 1.
5. Шеридан (1751—1816) — английский драматург и политический деятель. В 1780 г., будучи членом палаты общин, сидел вместе с вигами, в 1782 г.— министр иностранных дел. Во времена кабинета Фокса был членом Тайного совета и казначеем военно-морского министерства (1806).
Грей (1764—1845). В 1786 г.—член палаты общин, в 1806 г.— лорд Адмиралтейства, затем министр иностранных дел. Вернулся к власти в 1832 г., возглавив правительство вигов, провел в парламенте «Закон о реформе» (Reform act).

выступавших в парламенте в защиту Французской революции и принципа разумной конституционной реформы, прислушиваются все меньше и меньше. Их голоса заглушаются криками с мест, и большая часть их друзей отступается от них. Да и сами они не осмеливались предложить установление демократического порядка и, казалось, как бы нехотя вступали в борьбу.

ФОКС

Совершенно очевидно, что Фокс не стремился завязать спор, во всяком случае не хотел доводить его до крайности [6]. Он восхищался Французской революцией. Он славил, даже в палате общин, героизм борцов 14 июля. Он дошел до того, что заявил на заседании 15 апреля 1791 г.[7]:

«Я считаю новое французское правительство хорошим, потому что оно стремится сделать счастливыми тех, кем управляет. Я знаю что существуют различные мнения по поводу происшедшей в этой стране смены формы правления; но что до меня, то *я должен сказать, что восхищаюсь новой Конституцией Франции в целом как самым замечательным и славным зданием свободы, когда-либо и где-либо воздвигнутым на фундаменте человеческой справедливости*».

Это было великолепное заявление, но оно было сделано, так сказать, мимоходом. Фокс тщательно остерегался применить к Англии принципы Французской революции. Даже во время первого обсуждения билля о Квебеке на заседании 8 апреля 1791 г. он лишь слегка коснулся Франции [8]. А между тем, поскольку Канада была прежде французским владением, было бы вполне естественно при обсуждении новой канадской конституции вспомнить и о новой французской конституции. Фокс ограничился заявлением, что было бы странно создавать дворянское сословие в Канаде в тот момент, когда во Франции дворянство упразднено. Но в остальном большую часть своих примеров и аргументов он заимствовал из практики американских республик.

Что же он все-таки хотел? По-видимому, в 1791 г. он еще не утратил надежды вернуться в правительство и не хотел ни оскорбить короля, ни напугать друзей конституции в Англии, предлагая в качестве образца французскую политику. Он лишь надеялся на то, что пример Франции каким-либо незаметным образом воздействует на умы и демократические черты английской конституции мало-помалу будут усилены, без кризисов и почти без борьбы. Но Бёрк разгадал эту тактику постепенного проникновения и окружения: ее-то он и боялся больше всего. И он поспешил довести дело до взрыва в самом парламенте.

Но, останавливаясь перед риском смертельной ссоры с Фоксом, своим учеником и другом, он решил припереть его к стене и заста-

вить либо отречься от Французской революции, либо скомпрометировать себя вместе с нею. Предупрежденный об этом намерении, Фокс пришел к Бёрку утром 21 апреля и сказал ему: «Мне известно, что Питт пытался повредить мне во мнении короля, изображая меня республиканцем. Берегитесь! Подняв в парламенте вопрос о Французской революции, вы сыграете на руку Питту».

Но Бёрк уже принял решение идти на разрыв. И на заседании 6 мая 1791 г. внезапно вне всякой связи обрушился на Французскую революцию. Фокс твердо ответил, что выступление Бёрка не имеет отношения к обсуждаемому вопросу и что он не будет играть в эти игры, но что если бы Бёрку было угодно открыть специальную дискуссию о Французской революции, то нетрудно было бы доказать, что можно восхищаться Революцией, не испытывая желания подражать ей [9].

«Пусть те, кто утверждает, что каждый стремится подражать тому, чем он восхищается, сначала докажут, что обе страны находятся в одинаковых условиях. Следовательно, моему досточтимому другу, прежде чем использовать подобный аргумент, необходимо еще доказать, что наша страна ныне находится точно в таком же положении, в каком находилась Франция во время Французской революции. Если это ему удастся, я готов признать, что Французская революция должна быть предметом подражания для нашей страны... Если комитет решит, что мой досточтимый друг может продолжать дискуссию по вопросу о Революции, я покину палату, и если кто-либо из друзей известит меня о возобновлении обсуждения билля о Квебеке, я вернусь, чтобы принять участие в прениях... И когда наступит более подходящий момент для дискуссии такого рода, то, как ни слабы мои средства в сравнении с возможностями моего досточтимого друга, я буду отстаивать против превосходящей силы его красноречия то положение, что Права Человека, которые мой досточтимый друг высмеивал как химеру фантазера, на деле являются основой и фундаментом всякой рациональной конституции, и даже самой английской Конституции, как это доказывает книга статутов» [10].

---

6. Фокс (1749—1806). В 1769 г. избран в палату общин. В 1770 г. назначен лордом Адмиралтейства, в 1772 г. — лордом Казначейства. В этом же году переходит из партии тори в партию вигов, лидером которой становится. Вызвав в 1782 г. падение кабинета лорда Норта, Фокс становится министром иностранных дел. В 1783 г. создает вместе с лордом Нортом коалиционный кабинет, но на выборах 1784 г. терпит поражение. Затем в течение 22 лет Фокс оставался в оппозиции. После смерти Питта в 1806 г. Фокс возвращается в правительство в качестве министра иностранных дел. Умер через восемь месяцев после смерти своего соперника.
7. «Speeches of the right honourable Charles-James Fox, in the House of Commons». London, 1815, 6 vol., t. IV, p. 199.
8. Ibid., p. 204.
9. Ibid., p. 210—220. Разрыв между Бёрком и Фоксом вызвал раскол в партии вигов.
10. Книга статутов: свод конституционных актов.

Итак, в душе Фокса боролись два чувства: инстинкт осторожности, который побуждал его избегать этого опасного спора, и благородный порыв, на который толкали его убеждения. Он жестоко уязвил Бёрка, заявив, «что самые высокие и уважаемые авторитеты сходятся на том, что спорить о важных событиях наспех и без надлежащей информации не делает чести ни перу, которое писало, ни языку, который говорил».

Как! Стало быть, Бёрк не знает подлинной истории Французской революции! И столь тяжкое оскорбление нанесено ему другом! Был ли он сильно уязвлен или искал предлога еще более втянуть парламент в этот спор, но только Бёрк вновь стал изливать хулу на Францию. И, повернувшись к Фоксу, он крикнул ему: «Держитесь подальше от французской Конституции... — Значит, конец нашей дружбе? — спросил вполголоса Фокс.— Да, конец!»

Трагическая минута, ибо этот раскол партии вигов оставит без всякого противовеса взрыв консервативных страстей в Англии. Пожалуй, в этот момент решались судьбы Европы. Кто знает, будь партия вигов единой и сильной, может быть, ей удалось бы умерить крайние течения английского общественного мнения и удержать революционную Францию от неосторожных слов, подорвавших дело мира. Взволнованный до слез этим внезапным разрывом старой дружбы, Фокс поднялся, чтобы ответить.

«Мы не раз расходились во мнениях, что, однако, не мешало нашей дружбе. Пусть мой досточтимый друг скажет, почему мы не можем расходиться во мнениях о Французской революции, как мы расходились по другим вопросам, не порывая нашей дружбы».

Истина состоит в том, что на сей раз расхождение было отнюдь не второстепенным, между ними открывалась пропасть.

«Я не могу допустить, что поведение моего досточтимого друга продиктовано желанием оскорбить меня. Но оно производит именно такое впечатление. Ибо мои оппоненты делают вид, что считают республиканскими те принципы, которые я пытался ввести в новую конституцию Канады, что очень далеко от истины. А мой досточтимый друг, подняв вопрос о Революции в своем выступлении по поводу этого билля, придал известный вес и значение этим обвинениям со стороны моих оппонентов. Попытки наставлять меня относительно моих политических принципов вызывают у меня неприятное чувство и естественное отвращение. Первый раз слышу от философа, что для того, чтобы отдать должное превосходству английской Конституции, надо непременно презрительно отзываться обо всех других. Что касается меня, то я всегда полагал, что английская Конституция в теоретическом плане несовершенна и полна недостатков, но в практическом плане приспособлена к потребностям нашей страны. Я неоднократно заявлял это публично. Но разве, восхищаясь английской Конституцией, я должен из этого заключить, что в конституциях других стран нет ничего заслуживающего уважения или что

в английской Конституции ничто не может быть изменено к лучшему? Я никогда не соглашусь ни оскорблять другие конституции, ни восхвалять нашу столь экстравагантным образом, как она того, по-видимому, заслуживает, по мнению досточтимого джентльмена. Чтобы доказать, что она несовершенна, достаточно напомнить о двух реформах, которые были предложены в последние годы: реформе представительства в парламенте, которую поддерживал канцлер казначейства [Питт] в 1783 г., и реформе цивильного листа, которую поддерживал мой досточтимый друг...

Я напомню моему досточтимому другу, столь восторженному поклоннику нашей Конституции, что в 1783 г., когда в тронной речи было выражено сожаление по поводу того, что, отделившись от метрополии, английские колонии лишились благодеяний монархии, он высмеял эту речь и сравнил ее со словами человека, который, покидая гостиную, сказал бы на пороге: «Позвольте мне перед моим уходом рекомендовать вам монархию». Французы положили в основу своего нового правления лучший из принципов правления — счастье народа. Французы — великая нация, кто же не порадуется тому, что они сбросили тиранию самого ужасного деспотизма и стали свободными? Без сомнения, мы не должны желать, чтобы свобода была у нас одних».

Питт бесстрастно следил за борьбой этих двух человек. Начинающееся разложение партии вигов открывало перед ним широкие перспективы. Невозможно было держаться того среднего пути, который избрал Фокс. Пылкие демократы не хотели ограничиваться восхищенным созерцанием Революции. Они хотели подражать ей немедленно, решительно, но без ее, конечно, эксцессов. Они хотели осуществить и в Англии принцип народного суверенитета и демократии. И против их притязаний, против смелой книги Пейна, где они были сформулированы, выступили все консервативные силы Англии. Средняя, примирительная политика Фокса была бы, возможно, осуществима, если бы Конституция 1791 г. оказалась жизнеспособной, если бы Французская революция вступила в период законного равновесия и мирного развития.

Но события 20 июня и 10 августа произвели впечатление ударов молнии. Казалось, Революция несла мощный электрический заряд нетерпения. Она привлекала к себе весь мир и вместе с тем бросала ему вызов: со мною или против меня! В этих условиях малейшее дуновение в пользу реформы, проносившееся над Англией, казалось, приносило туда искры соседнего пожара. Тщетно Фокс выбивался из сил в своей великодушной и благородной борьбе за сохранение в Англии традиционной свободы, защищая Пейна, хотя он и отмежевывался от его теорий, против насилия и произвола судей, протестуя против провокационных выступлений английских контрреволюционных обществ. Его как бы захлестывала все нарастающая волна реакции.

«Сейчас наступил кризис,— восклицал он 13 декабря 1792 г. [11],— который я считаю подлинно опасным. Наступил момент, когда встает вопрос, собираемся ли мы предоставить королю, т. е. исполнительной власти, всю полноту власти над нашими мыслями; собираемся ли мы отречься от пользования нашими природными способностями в пользу нынешних министров или же мы будем твердо стоять на том, что в Англии ни один человек не может считаться преступником, если он не совершил действий, запрещенных законом. Вот это я называю кризисом, более опасным, более грозным, нежели какой-либо другой во всей истории нашей страны. Я не так уж неосведомлен о нынешнем состоянии умов и об искусственно создаваемом брожении, чтобы не понимать, что я выступаю здесь в защиту мало популярного мнения. Это случается со мной не впервые. Но я пойду против течения общего мнения. Я буду действовать вопреки увлечениям данного момента, веря, что здравый смысл и благоразумие народа послужат мне поддержкой.

Я знаю, что есть общества, публикующие памфлеты, в которых высказываются мнения и развиваются теории, направленные, если вам угодно, к ниспровержению наших учреждений. Я заявляю, что они не совершили ничего незаконного, ибо эти памфлеты не были запрещены законом. Покажите мне закон, предписывающий, чтобы эти книги были подвергнуты сожжению, и тогда я признаю действия этих обществ незаконными. Но если такого закона нет, вы сами нарушаете закон, злоупотребляя властью. Вы решаете делать то, что отнюдь не вправе делать, а затем прикрываете это вашим голосованием. Какой порядок предписывает закон? Если публикуются доктрины, направленные на ниспровержение основных законов, на которых покоятся церковь и государство, вы должны сообщить об этом факте в суд. А вы что сделали? Вы взяли на себя смелость одной только вашей властью запретить эти книги, превратить каждого человека не только в инквизитора, но и в судью, в шпиона, в полицейского, восстановить отца против сына, брата против брата, соседа против соседа. И такими-то мерами вы думаете сохранить мир и спокойствие в стране?

Во всех ваших действиях вы основываетесь на принципах рабства. В ваших действиях вы пренебрегаете тем, что является основой всякого законного правления: правами народа. И, выставляя вперед это пугало, вы сеете панику, чтобы оправдать совершаемое вами нарушение законов, а это нарушение законов и порождает те беды, которых вы так боитесь. Одна крайность неизбежно влечет за собой другую. Те, кто боится республиканизма, ищут защиты у короны. Те, кто желает реформы и подвергается клевете, в отчаянии бросаются в объятия республиканцев. А это и есть то зло, которого вы страшитесь.

Эта агитация толкает народ к крайностям. В результате постепенно тает та средняя партия (gradual decrease of that middle

order of men), которая одинаково опасается как республики, так и деспотизма. Эта средняя партия, сохранившая в этой стране все, что есть ценного в жизни, с каждым днем, я говорю это с глубоким огорчением, уменьшается. Но позвольте мне прибавить, что до тех пор, пока мой слабый голос будет в силах заставить себя услышать, эта партия не исчезнет окончательно. Всегда останется один человек, который будет занимать промежуточную позицию между двумя крайностями. Я подвергаюсь оскорблениям с одной стороны и могу подвергнуться нападкам с другой. Меня могут заклеймить в одно и то же время как подстрекателя и как нерешительного политика. Но, как я ни дорожу популярностью и как высоко я ни ценю, помимо спокойствия моей совести, доброе мнение обо мне и доверие моих сограждан, никакое искушение не заставит меня примкнуть к ассоциации [контрреволюционной], поставившей своей целью изменить в самой основе нашу Конституцию» [12].

---

11. «Speeches...», p. 451. Фокс выступает здесь против проекта резолюции о «крамольных» сочинениях. («Moniteur», XIV, 859.)
12. О Фоксе см. мнение Форстера (Forster) в его «Voyage en Angleterre et en France en 1790», p. 356. «Те редкие таланты, которыми одарила его природа, рано поставили его во главе оппозиции. Его стиль напоминает стиль Демосфена, и часто Фокс даже превосходит греческого оратора. Как правило, его логика неотразима. Его выступления против Бёрка по вопросу Французской революции — истинные шедевры...» Фокс, по мнению Бёрнса, «лучший из наших ораторов».

Глава девятая

*

НА ПУТИ К РАЗРЫВУ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ АНГЛИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ

НАСТУПЛЕНИЕ СИЛ РЕАКЦИИ И ЕГО ПРИЧИНЫ

Но чем объяснить, что к концу 1792 г. все силы в Англии находились в состоянии столь сильного напряжения? Чем объяснить, что та самая английская нация, которая в 1790 и 1791 гг., казалось, испытывала к Французской революции некоторую симпатию или по меньшей мере доброжелательное любопытство, теперь оказалась настроенной против нее, и притом все классы общества? Как случилось, что Фокса и его либеральных друзей, несмотря на всю их осторожность, несмотря на всю их умеренность, возраставшую с каждым днем, захлестнула волна общественного мнения и они подверглись преследованиям, почти столь же яростным, как Томас Пейн, со стороны неистовых консервативных обществ? [1]

Я вижу две главные причины этого явления. Прежде всего, дальнейшее стремительное развитие революционного движения во Франции — и вызванное этим противодействие в Англии.

Форма правления во Франции уже не была больше демократией, смягчаемой, умеряемой монархией. Отныне это была чистая демократия, и демократия сокрушающая. Народ одержал победу над королевской властью и держал короля в своих руках. Более того, та самая толпа, которая 10 августа победила короля, 21 сентября одержала победу над чужеземными армиями. Это произвело сильное впечатление на весь мир, и правящие классы Англии, средние классы так же, как и аристократия, стали опасаться, как бы это землетрясение не подорвало и их привилегии и могущество. В малейшем народном движении, в малейшем бунте по поводу заработной платы им чудилось начало революции. К тому же невозможно было определить, какую мысль вынашивает

английский трудовой люд. Когда английское правительство досрочно, 14 декабря 1792 г., созвало парламент, чтобы обсудить, какие меры надлежит принять против опасности революции, то не только Бёрк, но и либералы, вроде Уиндхэма, долгое время остававшиеся верными Фоксу, стали выражать свои опасения. Тщетно Фокс старается их успокоить [2]:

«Правда, были небольшие бунты в разных концах страны, но я спрашиваю: разве поводы к этим волнениям были неосновательны и придуманы только для того, чтобы прикрыть попытку уничтожить нашу прекрасную Конституцию? Я слышал о беспорядках в Шилдсе и в Лите, о бунте в Ярмуте и о движениях того же рода в Перте и в Данди. Но я спрашиваю джентльменов: неужели они верят, что в этих различных местах не было подлинной причины для жалоб народа? Я их спрашиваю: неужели они считают, что матросы в Шилдсе, в Ярмуте не требовали в самом деле увеличения заработной платы, а что ими руководило стремление уничтожить Конституцию?»

Все это так, но консервативные классы опасались, как бы революционные настроения не распространились в народе, они опасались, как бы в этой накаленной атмосфере все движения, даже имеющие другие цели, не вылились в революционные движения. И они начинают тревожиться за свою собственность и за свою политическую власть.

Вот как Уиндхэм объяснял свое расхождение с Фоксом. Вопрос на деле заключался в следующем [3]:

---

1. О реакции в Англии см. сочинения о Французской революции и Англии, упомянутые в предыдущей главе, с. 367,прим. 1. По существу, реакция европейской аристократии проявилась сразу после ночи 4 августа и упразднения привилегий; она показала, чего стоила ее приверженность к философии Просвещения. Что касается буржуазии, то она была испугана народными беспорядками. «Девятнадцать из двадцати англичан, у которых была крыша над головой и хорошая одежда,— говорит Маколей,— были противниками Революции. Поэтому, если случались брожения народа, все руководители были единодушны в том, что, следуя традиции, надо его урезонить. Таким образом, сама победа Французской революции создала в соседних с нею странах условия, прямо противоположные тем, которые обеспечили ее успех». (G. L e f e b v r e. La Révolution française. 1963, p. 209.)
2. «The speech in the House of Commons, Des. 14 1792, on that part of the address to the King which implicated our being involved in a war with France». London, s.d., 15 p. in -8°; B.N., 8° Ng 470; «Recueil de discours prononcés au Parlement d'Angleterre par J. C. Fox et W. Pitt». Paris., 1819—1820, 12 vol., t. X, p. 334. См.: «Moniteur», XIV, 777. О Фоксе см. выше, с. 405, прим. 6.
3. «Parliamentary history», t. XXX, p. 35. Уиндхэм (1750—1810) — член парламента в 1784 г., военный министр в кабинете Питта с 1794 до 1801 г.

«Угрожает ли стране в данный момент опасность, да или нет? Говорят, что не было никакого реального основания для тревоги, охватившей народ, что правительство само породило этот страх. Правительство должно поистине обладать странной, чудодейственной силой, чтобы вызывать таким образом тревогу, проявляемую ежедневно по всей стране. В действительности эта тревога серьезная и вполне обоснованная, и вызывается она не правительством, а теми, кто является заклятым врагом любого правительства. Разве вся страна не чувствует этого? *Разве каждое местечко, каждое село, каждая деревушка не охвачены страхом?* Войдете ли в свой дом или отправитесь в деревню, вы не можете не заметить, что этот вопрос приковывает к себе внимание всех слоев народа...

Правда, [полицейские] меры, которые сейчас принимаются повсеместно, беспрецедентны. Но надо сказать, что и обстоятельства тоже беспрецедентны. Конечно, время от времени у нас появлялись в печати мнения отвлеченного характера, но теперь способ их распространения совершенно иной, да и сама суть этих высказываний совершенно другая. Механизм так хорошо сконструирован, а те, кто управляют им, столь ловки и хитры, что если бы парламент не проявил бдительности и если бы разумная и честная часть общества не оказала столь активного сопротивления действиям этого механизма, то вся форма нашего правления была бы вскоре разрушена [4].

Я знаю, что между лицами, находящимися в Париже, и лицами, находящимися в Лондоне, происходят постоянные сношения, имеющие целью низвержение нашего правительства. Этот своего рода контральянс англичан в Париже и французов в Лондоне был заключен по всем правилам, и его последствия дают о себе знать самым тревожным образом. В каждом местечке, в каждой деревне и почти в каждом доме эти достойные джентльмены имеют своих агентов, регулярно распространяющих определенные памфлеты. Эти агенты бдительны и ловки, памфлеты они раздают бесплатно, что доказывает существование общества, покрывающего их расходы...

Поразительно искусство, с каким они распространяют эти чувства [неповиновения] среди низших классов общества. Эти агенты мятежа утверждают, будто они предлагают всего лишь философские рассуждения. Однако вместо того, чтобы философически рассуждать, они в своих книгах, наоборот, предлагают категорические утверждения [they made round assertions], и, действуя таким образом, они поступают верно, если учитывать их замыслы, ибо люди, к которым они обращаются, не способны логически мыслить, идя от посылок к заключению, да такой способ рассуждения и не отвечал бы цели этих агентов. Поэтому они не рискуют выдвигать свои утверждения, не подготовив предварительно умы: они приобретают симпатии людей, потакая их страстям.

Может ли закон, даже в самой свободной стране мира, позволить всякому человеку проповедовать какую ему угодно доктрину и вербовать столько сторонников, сколько он сможет? Что касается меня, я отвечаю на этот вопрос отрицательно. Ибо эти истины, каковы бы они ни были, сведутся к нулю, если страсти предвосхищают следствия. *А бедные крестьяне* [*these poor peasants*] *не способны логически вывести следствия, а потому всецело оказываются во власти грубых утверждений. Я не вижу поэтому ничего дурного в том, чтобы запретить кому-либо излагать бедному неграмотному малому, едва способному прокормить свою семью, такие вопросы, по которым разошлись самые одаренные писатели*». Как будто чувство не является также источником света! Как будто давление потребностей и страстей не следует учитывать при расчете равновесия! В словах Уиндхэма столько же аристократической ограниченности, сколько и страха. И этот страх он хочет внушить и другим.

«*Цель новаторов — уничтожить всякое право наследования, а затем, быть может, попытаться уравнять собственность* [*to attempt an equalization of property*]; *ибо в одной из их книг утверждается, что страна не может быть подлинно свободной, пока между ее гражданами существует слишком большое неравенство. Некоторые джентльмены делают вид, что они относятся с презрением к таким вещам. Но к ним следует относиться иначе. Правда, высшие классы не заражены этими гнусными принципами, но, если бы они соизволили опустить свои взоры вниз, они увидели бы некий подземный огонь, который может разгореться с величайшей силой, если его не потушить немедленно*».

Уиндхэм тем самым признает, что пламя революции пока еще не вырвалось на поверхность земли. Но его приводит в ужас подземный жар, проникающий из Франции в глубокие слои английского народа.

---

4. Осенью 1792 г. демократическая пропаганда сделала большие успехи в Англии. Победы Революции воспламенили ее сторонников. Общество, которым руководил Харди, послало делегацию, чтобы поздравить Конвент. В Шотландии было основано Народное и конституционное общество. Но в то же время социальный страх породил общества «противников уравнения» и лояльные и франкофобские ассоциации.
Как обычно, демократическая пропаганда находила аргументы в экономическом положении. Хлебные законы (о ввозе зерна) (corn-law) были ужесточены с 1791 г. На протяжении всей зимы хлеб дорожал. Виды на урожай 1792 г. были плохие. Хлебные волнения вспыхнули в мае. Участились стачки. Солдаты, не размещенные по казармам и вынужденные кормиться за свой счет, страдали от дороговизны. Дисциплина слабела, клубы использовали это для своей пропаганды. [О демократическом движении в Англии см.: Е. Б. Черняк. Массовое движение в Англии и Ирландии в конце XVIII — начале XIX в. М., 1962.— *Прим. ред.*]

Государственный секретарь Дандэс тоже взывает к консервативным чувствам и страху [5]:

«Те, кто жалуются, не ждут исцеления от Конституции. Им привили доктрины совсем иного рода. Им внушили, что нынешние парламенты — наследники тех, что заседали только три года,— сами, своей властью удлинили срок своих полномочий до семи лет [6], что это орган совершенно разложившийся, неспособный устранить несправедливости, в которых он в значительной мере сам повинен. Утверждали, что настало время народу заявить о своих правах и последовать примеру Франции. Влияние таких поучений на низшие классы значительно, и многие из них усвоили этот язык. Я думаю, что почтенный и зажиточный класс в целом совершенно свободен от подобных настроений и что они вызывают отвращение у многочисленного среднего класса, столь важного элемента в жизни нашей страны.

Здесь, я полагаю, преобладает глубокая привязанность к Конституции. Однако под влиянием указанных мною доктрин низшие классы прониклись идеями свободы и равенства, которые не вытекают из привилегий, дарованных Конституцией. Эти классы хотят равного участия в органах законодательной власти страны в соответствии с принципом, что все люди равны и что у всех должны быть равные притязания, поскольку права всех покоятся на одной основе. Но они не останавливаются на этом. Они не только собираются упразднить различия в положении, *они хотят также посягнуть на право собственности и провести равный раздел имущества между всеми членами общества* [invade the rights of property, and establish an equal division of possessions among all the members of the community]. Обычно народу внушается необходимость «аграрного закона». Это факты, известные мне из личного наблюдения и из надежных источников. И еще смеют говорить, что нет оснований для тревоги?

Я обращаюсь к членам этой палаты, прибывшим сюда со всей страны: они могут подтвердить, что тревога там предшествовала обращению министров к народу. Фактом является, что самая серьезная тревога распространилась среди деревенских джентльменов, *среди фермеров*... В течение последних шести недель, проведенных мной в Шотландии, меня посетили джентльмены со всех концов этой страны, *владельцы крупных мануфактур*, должностные лица, все они говорили мне, что необходимо принять меры для восстановления доверия. Те, кто ставят нам в пример Францию, хотят подражать Революции не только в ее целях, но и в применяемых ею средствах».

Бёрк, чей авторитет возрастал по мере того, как разгорались контрреволюционные страсти, старается со своей стороны усилить страх собственников [7]. Этой общей тактики придерживаются все, кто хочет утвердить в Англии политику реакции и репрессий. Действительно ли опасались они за целостность собственности? Или

же, видя, что Революцию во Франции вызвали и поощряли богатая буржуазия и часть дворянства, они хотели запугать высшие и средние классы Англии, уверенные в том, что если движение ограничится только «низшими классами» («lower classes»), то с ними легко будет справиться?

Бёрк вызывает на пороге парламента ненавистный и заклейменный призрак бедняка, нищего. И этому бедняку, этому нищему, естественным врагам собственности, которой они лишены, этим во имя Прав Человека хотят дать права гражданина.

Грубые, оскорбительные, бесчеловечные слова Бёрка, еще несколько месяцев назад шокировавшие и возмущавшие, ныне вызывали аплодисменты [8].

«Права Человека основаны на метафизических абстракциях. Они правильны в одних отношениях и столь же ложны в других. Они подобны шее утки, с одной стороны синей, с другой — черной. Когда знание этих прав распространяется в простонародье, я содрогаюсь при мысли о возможных последствиях. И я не могу слушать без ужаса, как во время многочисленных дискуссий о Французской революции *их применяют и к собственности*. Такого рода применение и является причиной величайших ужасов Французской революции. (*Слушайте! Слушайте!*) Я вижу, что палата не только одобряет мое мнение по данному вопросу, но и аплодирует ему, *но я не имел бы того же успеха, если бы излагал эти доктрины нищему*.

Если бы я сказал какому-нибудь человеку: у меня хороший дом, отличный выезд, изящная мебель, картины, ковры, кружева, золотая посуда, изысканные блюда, а вам, вам нечем обедать,— боюсь, мне трудно было бы убедить его, что избыток, о котором я только что говорил, не должен быть употреблен на удовлетворение его нужд. Стало быть, когда французские идеи возобладают, наступят тревожные времена и собственность подвергнется такому же перемещению, как у этой злополучной нации».

Вот уж речи, с какими ни один французский аристократ не стал бы выступать в Генеральных штатах. Но сама их резкость и гнусность свидетельствуют о той тактической хитрости, которая примешивается, даже у необузданного ирландского оратора,

---

5. «Parliamentary history», t. XXX, p. 42. Дандэс (1742—1811) — адвокат, член палаты общин в 1772 г., горячий сторонник Питта, которого он энергично защищал от нападок оппозиции, сначала министр внутренних дел, затем военный министр в кабинете Питта до 1801 г.; в 1802 г. он был возведен в звание лорда Мелвиля.
6. Закон о продлении срока полномочий парламента до 7 лет был принят в 1716 г.
7. О Бёрке см. выше, с. 347.
8. «Parliamentary», history», t. XXX, p. 68. «Монитер» от 20 декабря 1792 г. (т. XIV, p. 778) комментировала: «Что касается резкой диатрибы г-на Бёрка, то можно представить себе, что это такое. Мы избавим от этого наших читателей».

к чувствам негодования и страха. Если бы люди наемного труда в Англии действительно готовы были к революции, если бы они представляли собою бурлящую, готовую к взрыву силу, то самые неистовые реакционеры воздержались бы от столь неосторожных провокаций. Это доказывает, что в действительности английские консерваторы не так уж боялись «низших классов», как они это утверждали.

Не может быть, чтобы они серьезно поверили в угрозу революции, направленной против частной собственности. Я уже показал, что социальные условия в тогдашней Англии не допускали применения теории Прав Человека к корпоративной собственности церкви, как это имело место во Франции. В самой Франции частная собственность охранялась законом. И «аграрный закон», который государственный секретарь Дандэс использовал как пугало, не только не мог быть импортирован в Англию из Франции, но все французские революционеры отвергали его и выступали против него. Чего действительно боялись правящие классы Англии, так это демократической реформы конституции, радикального расширения избирательного права и упразднения политических привилегий и наследственных отличий.

Конечно, как только рабочие, «бедные крестьяне», «бедные неграмотные подмастерья» получили бы право голоса, они воспользовались бы им для того, чтобы мало-помалу улучшить свое экономическое положение. И это-то, вероятно, и беспокоило фермеров и владельцев крупных мануфактур (great manufacturers), которые явились поделиться своими опасениями с Дандэсом. Но никакой угрозы «нападения» на право собственности не было. Во всех разглагольствованиях министра и английских ораторов по этому вопросу я вижу только маневр, имеющий целью отвратить не только от революции, но и от всякой политики реформ не только высшие классы, часть которых могла бы увлечься примером великодушия, данным кое-кем из дворян Франции в 1789 г., но и средние классы. В самом деле, адрес, направленный Конвенту городом Шеффилдом, промышленными предпринимателями, равно как и рабочими, доказывает, что средние классы не были единодушны в осуждении принципов Революции [9].

Промышленная буржуазия в некоторых вопросах была настроена сочувственно к движению, которое должно было усилить ее политическое влияние и отвечало, следовательно, тем широким замыслам, которые рождают порой крупные дела. Это настроение наиболее либеральной части средних классов выразил Фокс, когда он воскликнул в палате общин 1 февраля 1793 г. [10]: «*Не допускайте распространения рокового мнения, будто между теми, кто имеет собственность, и теми, кто ее не имеет, не может быть общности интересов и общности мнений*». Он постарался дать

такое определение равенства, которое не задевало бы интересов буржуазии. «Зло заключается не в принципах... а в злоупотреблении ими. Именно злоупотребление принципами, а не самые принципы стали причиной всех бед, удручающих Францию. То, как французы используют слово «равенство», вызывает самые решительные возражения. Но если брать его в том смысле, в каком берут его они сами, то нет ничего более невинного. В самом деле, что они говорят? «Все люди имеют равные права». Я вполне с этим согласен: все люди имеют равные права, *равные права на неравные вещи*. Один человек имеет один шиллинг, другой — тысячу фунтов стерлингов; один имеет домик, другой — дворец. Но оба имеют одно и то же право, одинаковое право пользования, одинаковое право наследовать и приобретать, владеть унаследованным и приобретенным».

Это весьма формальное и весьма буржуазное определение равенства. Оно фактически соответствовало тенденциям, господствовавшим среди революционной буржуазии Франции. Но социальное движение Революции пошло дальше этого, было более глубоким, оно стремилось в известной мере сблизить, уравнять положения и состояния.

Чтобы воспрепятствовать панике и страху, которые сеяли привилегированные классы, Фокс несколько смягчал, ослаблял смысл слова «равенство». В той атмосфере неустойчивости и тревоги, которая создалась в то время в Англии, Питт, пожалуй, мог, встав на сторону Фокса, образовать партию политических реформ, которая объединила бы значительную часть промышленной буржуазии и рабочего класса и добилась бы расширения демократии, совершенно не затрагивая собственности. Но страх уже начал овладевать умами имущих и правящих слоев общества, и правительство к концу 1792 г. сочло, что выгоднее не успокаивать эти страхи, а раздувать их.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ФРАНЦУЗСКИХ ПОБЕД

Дело в том, что победы Франции опровергли предвидения Питта и заставили его резко изменить свою точку зрения на события. Он не хотел ранее вмешиваться во внутренние дела Франции и удерживал Англию от присоединения к первой коалиции, полагая, что Франция, дезорганизованная, охваченная анархией, не выдержит штурма европейских армий.

Англия, таким образом, извлекла бы двойную выгоду — как для своей внешней политики, так и для своей торговли. Сохраняя

9. Обращение Шеффилда было зачитано в Конвенте 22 ноября 1792 г. («Procès-verbaux des séances de la Convention nationale», p. 281.)

10. «Recueil des discours prononcés au Parlement d'Angleterre par. J. C. Fox et W. Pitt», t. X, p. 365; «Moniteur», XV, p. 425.

мир, она имела возможность расширять свое производство, а ослабление Франции, ее конкурента на внешних рынках, тоже было выгодно английской торговле. Но вместо ослабления и унижения революционная Франция свергает королей, отбрасывает вражеские армии, расширяет свои границы вследствие добровольного присоединения Савойи, проникает в Германию, занимает Бельгию. В Бельгии она действует как суверенная власть, разрывает по своей односторонней воле договор, связывавший несколько государств и гарантированный Англией, и возвращает бельгийцам право свободного судоходства по Шельде [11]. Итак, Франция выходит за пределы страны и проникает в Европу, и следует опасаться, что она использует к выгоде своей торговли и своих мануфактур то большое влияние, которое ей обеспечивают сила оружия и пропаганда ее принципов. Если Англия не вмешается, если Пруссия и Австрия, несомненно уже утомленные борьбой, будут предоставлены самим себе, Франция вскоре вернет себе мир, и это будет мир триумфальный, сияющий, который сделает ее в плане экономическом удачливой соперницей Англии [12].

Хуже того, в тот самый момент, когда Франция сама как будто близка к тому, чтобы в результате победы освободиться от бремени революции, она несет это бремя другим народам. Она его несет даже Англии, внутреннее спокойствие которой нарушается, а конституции грозит опасность, так что, если Англия не защитит себя вовремя, если не уничтожит семена революции, занесенные на ее почву грозовыми ветрами из Франции, то она надолго окажется к великому ущербу для ее промышленности и торговли во власти политического и социального кризиса, который Франция, по-видимому, как раз преодолевает.

Опасность была тем более серьезной, что Франция не ограничивала свои действия одним примером или пропагандой своих идей. Своими декретами от 19 ноября и 15 декабря она обещала свою поддержку народам, которые восстали бы против своих правительств. Франция, таким образом, разжигала пламя всемирной революции [13].

Была ли еще в ту пору, в конце 1792 г., возможность сближения между Францией и Англией? Потребовалось бы найти какой-то компромисс. Английскому правительству следовало бы, чтобы обезвредить, так сказать, революционную пропаганду Франции, взять в свои руки инициативу проведения демократической реформы политического строя Англии. А Франции надлежало бы, отказавшись от всякого революционного подстрекательства, от всякого самохвальства и от всякого вмешательства в чужие дела, дать Англии уверенность в том, что ничто не будет угрожать ее законным интересам в Европе и гарантирующим эти интересы договорам.

Конечно, открытие Шельды для свободного судоходства никак не наносило ущерба непосредственно английским интересам. Но

оно свидетельствовало о легкости, с которой революционная Франция подменяла действующее позитивное право договоров созданным ею новым международным правом. Если бы Англии были даны гарантии против чрезмерных притязаний Франции, если бы Англия перестала опасаться для своего внутреннего порядка неизбежной революционной пропаганды, пойдя на уступки духу реформы и демократии, то мир еще можно было бы сохранить.

ФОКС ПРОТИВ ВОИНСТВЕННОГО ТЕЧЕНИЯ

Именно в этом духе и вел Фокс свою почти безнадежную борьбу, ибо разгоревшиеся у обоих народов неистовые страсти делали почти невозможными какие-либо серьезные и разумные переговоры. Тщетно Фокс с величайшим мужеством пытался проложить этот средний путь. Тщетно прославлял он победы свободы во Франции, осуждая крайности пропаганды. Так же тщетно пытался свести он к скромным размерам вопрос о Шельде.

Его речи не успокаивали, а раздражали национальную гордость, с каждым днем все более чувствительную. Выступая 13 декабря 1792 г. в палате общин, он заявил [14]: «Досточтимый джентльмен, поддержавший внесенное предложение, счел возможным сослаться в доказательство существования в стране опасного умонастроения на разочарование и уныние, охватившие некоторых лиц в Англии при известии о капитуляции Дюмурье. И в этом усматривают проявление недовольства и сочувствия республиканским доктринам! Люди опечалены и удручены, узнав, что армии

---

11. 16 ноября 1792 г. Исполнительный совет Французской республики, надеясь привлечь этим антверпенцев, открыл для прохода судов устье Шельды, как если бы Бельгия уже была присоединена к Франции, и нисколько не заботясь о Вестфальских договорах 1648 г., закрывших устье реки к выгоде голландских портов. После этого французская эскадра заняла проходы, вытеснив голландский флот. Штатгальтер обратился к Англии как к союзнику Голландии.
12. Несомненно, Питт решился на разрыв с Францией только ради защиты интересов Англии. Даже аннексии в Альпах и на Рейне не заставили бы его решиться на войну. Но он не мог стерпеть аннексии Бельгии или подчинения ее Франции. Окончательно встревожило его открытие устья Шельды. К тому же Англия была союзницей Голландии, в первую очередь заинтересованной в закрытии устья Шельды. Штатгальтер обратился к Англии за помощью. Питт обещал ее и, таким образом, оказался втянутым в военные перипетии. См. ниже (с. 447, прим. 18) корреспонденцию из Лондона по этому вопросу, опубликованную в «Patriote français» 6 декабря 1792 г.
13. См.: Ж. Жорес. Цит. соч., т. III, с. 262, «Пропагандистский декрет от 19 ноября 1792 г.».
14. «Recueil des discours prononcés au Parlement d'Angleterre par J. C. Fox et W. Pitt», t. X, p. 304.

деспотизма одержали верх над армией, борющейся за свободу, и эта грусть является доказательством того, что они недовольны английской Конституцией и поддерживают связи с чужеземцами в целях ее уничтожения! Если это так, то я доношу сам на себя и отдаю себя в руки правосудия моей страны, ибо заявляю по своей воле, что, когда я услышал о капитуляции или отступлении Дюмурье, когда я узнал о возможности победы армий Австрии и Пруссии над свободами Франции, моей душой овладели грусть и уныние. Может ли человек, любящий Конституцию Англии, хранящий в своем сердце ее принципы, может ли он желать успеха герцогу Брауншвейгскому, особенно ознакомившись с его манифестом, который нарушает все священные для англичан доктрины, который попирает ногами все принципы справедливости, человечности, свободы и законного правительства и во имя которого армии коалиции вторглись во французское королевство, где им нечего было делать [15]? И когда казалось, что эти армии имеют шансы одержать победу, мог ли не быть опечален этим всякий, кто чувствует как истинный англичанин? Признаюсь открыто, никогда в жизни не был я так искренне опечален и так подавлен, ибо в торжестве этого заговора я видел не только крушение свободы во Франции, но и крушение свободы в Англии, крушение свободы человечества».

А 14 декабря он прославлял величие Франции [16]: «Тот, кто приписывает мне мнение, будто расширение Франции не имеет никакого значения для моей страны, грубо ошибается относительно меня. Франция несомненно расширилась. Она опровергла предсказания того джентльмена, который, выступая на предыдущей сессии и говоря о противниках Великобритании на континенте, воскликнул: «Ничто не угрожает нам ни с какой стороны. Когда я смотрю на карту Европы, я вижу там пустое место, некогда именовавшееся Францией». Ныне это пустое место, джентльмен должен это признать, заполнено. Я вовсе не хочу напоминать о военных традициях французов. Они часто вели себя так, что, я полагаю, могущество Франции может быть опасным для нас. Она была грозной для нас при монархии, когда была в союзе с Испанией и в дружбе с Австрией. Но нынешняя Франция, со своими почти разрушенными финансами, Франция, находящаяся в состоянии войны с Австрией и уж никак не в дружбе с Испанией, еще опаснее для нас, опаснее своими свободами, последствия которых невозможно предвидеть. Все жители Европы, сколько-нибудь сочувствующие делу свободы, питают симпатию к французам и желают им успеха, потому что видят в них людей, ведущих борьбу с тиранами и деспотами за свободное правление».

Он, конечно, осуждал вооруженную пропаганду, «эту тиранию насильственно навязывать свободу» («the tyranny of giving liberty by compulsion»). Но если бы французы, вместо того чтобы выдавать себя за освободителей, попросту воспользовались пра-

вом завоевания, какой европейский двор был бы вправе бросить в них камень?

«Штаты Брабанта были свободным и законным правительством в соответствии с договорами. Но были ли они свободными под властью Австрии, при Иосифе, Леопольде, Франце? О да, когда Дюмурье торжественно вступил в Брюссель, а австрийские правители бежали через потайной ход [17], они оставили декларацию, в которой Штатам объявлялось о восстановлении их великой хартии, «Радостного вступления», бывшей предметом вечных споров с их государями. И правительство, которое столь «достойно» поступало со своими подданными, претендует теперь покрыть Францию позором!»

Что касается открытия Шельды для свободного судоходства, то ведь Голландия не жалуется на это. Какое может быть основание у Англии проявлять себя в этом вопросе более щепетильной, чем ее непосредственно заинтересованная союзница? Но вопли гнева и ненависти нарастали, и последняя попытка Фокса, предложившего 15 декабря[18] направить во Францию посла для урегулирования спорных вопросов и устранения недоразумений путем вежливых переговоров, была встречена чуть ли не с бранью. Бёрк, точно сорвавшись с цепи, выступил с проповедью вечной войны между Англией и Францией.

«Littora littoribus contraria, fluctibus undas
Imprecor, arma armis: pugnent ipsique nepotesque».

(«Я подниму берега против берегов, волны против волн, оружие против оружия: пусть сражаются они и их потомки».)

Всякие официальные переговоры с Францией были объявлены позорными, пятнающими честь Англии. Тщетно Грей, Кортней, Шеридан пытались сдержать бурю [19]. Лорд Гренвиль, выступая от имени правительства в палате лордов, с необычной резкостью ответил лорду Лендсдауну, мужественно предложившему отправить посольство во Французскую республику. «Это был бы унизи-

---

15. См.: Ж. Жорес. Цит. соч., т. II, с. 572, «Манифест герцога Брауншвейгского».
16. Об этой речи 14 декабря 1792 г. см. выше, с. 411, прим. 2.
17. 27 октября 1792 г. армия Дюмурье вступила в Бельгию, двигаясь от Валансьена в направлении Монса. 6 ноября она нанесла поражение австрийцам у Жемаппа. 14 ноября австрийцы покинули Брюссель, 30 ноября — Антверпен. См.: Ж. Жорес. Цит. соч., т. III, с. 239, 241 и сл.
18. «Recueil des discours prononcés au Parlement d'Angleterre par J. C. Fox et W. Pitt», t. X, p. 334. См.: «Moniteur», XIV, 837 (27 декабря 1792 г.).
19. Об этом важном заседании палаты общин 15 декабря 1792 г. см. также: «Parliamentary history», t. XXX, p. 115 и «Moniteur», XIV, p. 838 (выступление Грея), p. 839 (выступление Кортнея), p. 845 (выступление Шеридана); о последнем см. выше, с 403, прим. 5.

тельный шаг,— сказал он,— и достоинство нации было бы запятнано» [20].

Особенно серьезным обстоятельством было то, что неистовствовали таким образом не только правящие классы. Народ, пролетарии, за исключением нескольких избранных групп, были фанатически настроены против Франции. Правящим кругам удалось убедить их в том, что Франция хочет разжечь в Англии пламя революции, для того чтобы уничтожить ее торговлю и промышленность. И ожесточившиеся рабочие были уверены, что борются против угрозы голода и разрушения.

Бриссо, внимательно следивший за событиями в Англии, отлично видел это и отметил в своем докладе Конвенту 12 января 1793 г. [21].

«Тактика английского правительства была очень коварной. Победы Франции вызывали у него тревогу за судьбу аристократии, господствующей в Англии под сенью монархии. Оно боялось, как бы столь соблазнительный пример не нашел в конечном счете подражателей и в Англии; чтобы избежать этого, надо было поссорить между собой обе нации, *сделать популярной* эту войну, возбудить ненависть к новым республиканцам даже у тех англичан, которые с гордостью заявляли о своем уважении к ним.

Как достигнуть этой цели? Путь к ней был довольно прост. Народ, уже немолодой, в значительной части своей зажиточный, должен держаться за свою Конституцию, потому что в ней залог его спокойствия, пользования земными благами. На этом и должно было сыграть правительство. Нет такого англичанина, который не был бы убежден, что английская Конституция имеет множество недостатков, что коррупция правительства безгранична. Но каждый хотел, чтобы реформа обошлась без потрясений, а если затронуть Конституцию, то можно ли избежать потрясений? И кто может предвидеть, какие бедствия она [реформа] повлечет за собой? Страх перед этими бедствиями парализовал почти все умы. Это парализующее действие было тем сильнее, что им преувеличивали затруднения Французской революции, а эмигранты рисовали отвратительные картины жизни во Франции, в то время как английское правительство, не жалея сил со своей стороны, добавляло черной краски в эти картины.

При таких умонастроениях правительству достаточно было ударить в набат по поводу угрозы анархии и поднять крик о том, что Конституция в опасности. Так как при словах «Конституция в опасности» всякий служащий испытывал страх за свое жалованье, дворянин — за свои титулы, священник — за суеверия, собственник — за свою землю, *рабочий — за свой хлеб*. Тем самым заговор против какой бы то ни было революции неизбежно становился всеобщим».

Вот почему в большей части городов и крупных сел Нортамберленда и Дергема толпа сжигала портреты Пейна. А дом великого ученого Пристли был подожжен и разграблен. Выступая в палате общин 15 декабря, Френсис с горечью вопрошал [22]:

«Могу ли я считать себя свободным в этой дискуссии? Если я не уверен, если я колеблюсь между войной и миром, если я обсуждаю, прежде чем принять решение, не будет ли этого достаточно, чтобы оспаривать мою честность и ставить под подозрение мою лояльность?»

Слова Фокса уносил ветер разыгравшейся бури.

ФРАНЦУЗСКИЕ ИЛЛЮЗИИ

Впрочем, его политику умеренности и примирения во Франции высмеивали так же, как в Англии. Меня нисколько не удивляет суровое суждение, высказанное в «Революсьон де Пари» (в номере от 1—8 декабря 1792 г.); так как эта серьезная газета полагала, что в Англии вскоре вспыхнет революция, то, естественно, она испытывает только презрение к тем, кто, подобно Фоксу, готовы довольствоваться реформой [23]:

«Начало революции в Англии... Да, английский народ станет свободным. Можно ли в этом сомневаться, если он хочет быть нашим другом? Чтобы стать свободным, ему необходима революция. И он ее совершит! Ее знак на всех лицах, ее жаждут все сердца. Напрасно Георг и его министр Питт стремятся отвести грозу, она уже гремит над их головами, и не пройдет и двух месяцев, как она разразится. Те жестокие меры, к которым они прибегают, только ускорят взрыв и, уж конечно, не поднимут курс государственных ценных бумаг, упавший на 12%.

В Лондоне образовались революционные общества с центральным клубом переписки [«Лондонское корреспондентское общество».— *Ред.*], который осуществляет связь между ними и обеспечивает успех их действий. Резкие памфлеты, распространявшиеся

---

20. «Parliamentary history» (заседание палаты лордов 21 декабря 1792 г.), t. XXX, p. 147 (речь лорда Лендсдауна), p. 152 (ответ лорда Гренвиля).
21. «Rapport fait au nom du Comité de défense générale, sur les dispositions du gouvernement britannique envers la France, et sur les mesures à prendre ... 12 janvier 1793». Paris, s.d., imp. in-8°, 22 p.; B.N., 8° Le[38] 2065; «Moniteur», XV, 127; «Archives parlementaires», LVIII, 112.
22. Сэр Филипп Френсис — политический писатель, которого считали автором «Lettres de Junius» (1763), был избран в палату общин по возвращении из Индии в 1781 г. См. его выступление 15 декабря 1792 г. в: «Moniteur», XIV, 838 (27 декабря 1792 г.).
23. «Révolutions de Paris» (газета Прюдома, в которой в то время сотрудничали Фабр д'Эглантин, Шометт, Марешаль), № 178, 1—8 décembre 1792. В рубрике: «Начало революции в Англии».

среди публики, подготовляли умы к первому революционному кризису. Что же сделал двор? Он распорядился закрыть с помощью вооруженной силы все клубы, запретил все сборища под страхом обвинения в мятеже, уничтожил свободу письменно выражать все мнения, повелев присяжным и судьям преследовать авторов любых революционных сочинений [24]. Пэрри, автор «Аргуса», единственный в Лондоне журналист-патриот, уже вынужден был бежать во Францию, потому что советовал народу взяться за оружие. Уже произведено много арестов среди типографов, и подготовляется их процесс; *но народ вспомнит, что в Лондонской башне* [*Тауэре*] *имеется сто тысяч мушкетов.*

Путешественники и книги подвергаются самому отвратительному досмотру. Стремятся помешать распространению французских газет. Правительство дрожит от страха. Оно видит, как надвигается кризис, и старается отдалить его, но все эти усилия тщетны. Усиленное вооружение, начатое под предлогом помощи голландцам, но на деле направленное против якобинцев Франции и Англии, не успеют завершить. В Лондоне и в Шотландии все готово. Одной искры достаточно, чтобы вспыхнул пожар. И ход английской революции должен быть таким, чтобы ни открытое, прямое, ни косвенное сопротивление двора — ничто не могло помешать полному осуществлению этой революции. Английскому народу нужны: национальное представительство, отмена всех привилегий, уничтожение королевской власти. Есть только один способ быть свободным, а английская Конституция несовместима со свободой.

Все английские аристократы вполне согласны с тем, что эта *отличнейшая* Конституция страдает изъянами, что надлежит устранить большие правонарушения. Но пример Франции вызывает у них страх, они хотели усыпить народ сближением так называемых двух партий. Как министр Питт, так и *Фокс, глава оппозиции, который ничуть не лучше его*, не так уж далеки от заключения такой сделки [25]. Если бы, к несчастью, она состоялась и если бы все свелось к этому, то действительно кое-какие злоупотребления были бы устранены, некоторые пенсии были бы сокращены, тот или иной большой город, не представленный в парламенте, получил бы такое представительство, и соответственно было бы сокращено представительство какой-нибудь деревушки, насчитывающей шесть дворов, *сеньор* которой посылает двух депутатов, и т. д., и т. д., а король остался бы по-прежнему абсолютным хозяином гражданской и военной силы. Но ведь это все равно что ограничиться стрижкой волос и ногтей у больного, страдающего язвой кишечника.

Нет, нет, этого не будет. Если Англия должна стать другом, союзником Франции, она должна, подобно ей, стать республикой. Нет в Европе нации, которой по ее обычаям и положению больше подходило бы демократическое правление. Следовательно, Англия

будет республикой. После восемнадцати веков несправедливости и тирании наконец-то мы увидим, как два соседних народа, долгое время враждовавшие друг с другом из-за гнусной политики их дворов, объединятся, чтобы во всем мире восторжествовало дело человечности и свободы. Французы! Какой пример явили вы! Стало быть, правда, что акт, сделавший вас республиканцами,— это смертный приговор всем тиранам».

Какая бездна глупости и бахвальства! Какое полное незнание обычаев и развития других народов! Примите во внимание, что это написано в декабре 1792 г., что в это время Франция занята военными действиями в Бельгии, в Германии, в Италии, что, несмотря на свои победы, она повсюду наталкивается на трудности, на недоверие. Учтите, что для Франции и для самой Революции было чрезвычайно важно не истощить в бесконечной борьбе свои ресурсы, не утратить свой престиж и даже свою свободу. Примите во внимание, что благожелательный нейтралитет Англии или союз с нею позволили бы Революции быстро расколоть угрожавшие ей коалиции, восстановить мир, а вместе с миром разрядить ту атмосферу страстей и ненависти, которые возбуждали Жиронда и Гора. Надо было приложить громадные усилия, но добиться этого нейтралитета Англии. А между тем одна из больших газет, самая педантичная из всех, вечно дающая советы, предъявляет Англии требование стать республикой! Ей недостаточно, если Англия проведет реформу своей конституции в демократическом духе. Надо еще, чтобы у Англии было свое 10 августа, чтобы она в точности копировала Францию. Эти глупые хвастуны тревожатся при мысли о возможном соглашении между Питтом и Фоксом. А между тем такое соглашение могло бы означать только одно: что Питт, видя нарастание среди части общества и при королевском дворе военных настроений, хотел объединиться с Фоксом, чтобы успешнее противостоять этим настроениям. Если бы это осуществилось, Фокс и Питт, бесспорно, восстановили бы официальные отношения с Францией и искали бы путей достижения с нею согласия. Они, несомненно, потребовали бы от нее истолковать в миролюбивом духе вызывавший тревогу декрет от 19 ноября и отказаться от всякого вторжения в Голландию.

---

24. См.: Ж. Жорес. Цит. соч., т. III, с. 253, «Адреса из Англии». Королевское воззвание 21 мая 1792 г. осудило публикации поджигательских сочинений и предписало преследовать их авторов. В то же время правительство субсидировало консервативную пропаганду.
25. Действительно, Питт хотел договориться с правым крылом виргов, руководимым герцогом Портлендом, и образовать правительство единства. Он согласился бы и на участие в нем Фокса. Эта попытка провалилась из-за сопротивления короля. См. ниже, с.437, прим. 47, корреспонденцию из Лондона по этому вопросу в «Patriote français», 9 décembre 1792.

Мир и расширение избирательного права — этого недостаточно редакторам-доктринерам газеты Прюдома. Они идут навстречу войне с Англией с какой-то пугающей бездумностью и самонадеянностью. Газета повторяет свою мысль в номере от 15—22 декабря 1792 г. [26], в статье, озаглавленной «Продолжение Английской революции». В ней сообщается, что английский двор проводит приготовления к войне, и газета без колебаний заявляет, что война послужит сигналом ко всеобщему восстанию в Ирландии, Шотландии и Лондоне [27]. И отвечая на ту часть послания Георга III, где он говорит: «Я тщательно сохранял строгий нейтралитет в нынешней войне, происходящей на континенте, и воздерживался от малейшего вмешательства во внутренние дела Франции»[28], газета пишет:

«Нет ничего более фальшивого, чем эти правительственные и королевские утверждения. Да и как понимает их Сент-Джеймский кабинет? *Он как будто хочет поставить себе в заслугу то, что он не вмешивался в наши дела. Да разве он имел на это право? Да разве мог он это сделать? А этот нейтралитет, которым он хвалится, не является ли он, скорее, результатом не оправдавших себя ложной осторожности и трусливого поведения?*»

Не может быть и речи о каких-нибудь переговорах, когда факты так грубо искажаются. Истина, несомненная и очевидная, заключается в том, что до того момента Англия хотела мира и избегала всего, что могло нарушить его.

Газета Прюдома высокомерно отзывается о министре Лебрене, пославшем английскому правительству сообщение, составленное в умеренных выражениях:

«Мы с огорчением видим, что в отношениях с Сент-Джеймским кабинетом, который сегодня еще осмеливается говорить и действовать подобным образом, министр Лебрен оказался не на высоте принципов Республики, одним из органов которой он является. Мы уже говорили: с тех пор, как французский народ вернул себе права верховной власти, *он не должен более вступать в сношения ни с одним европейским правительством. Отныне народ должен иметь дело только с народом.* Французская республика должна дезавуировать своего министра иностранных дел всякий раз, когда он компрометирует ее подобным образом, и запретить ему держать при дворах соседних держав аккредитованных или неаккредитованных агентов, уполномоченных им просить и получать частные аудиенции вроде тех, которые, как заявил Лебрен в своей последней речи в Конвенте [29], он себе обеспечил в сношениях с английским правительством. Не с Питтом и не с Георгом Республика будет вести дела или входить в сношения. Она их не знает, ибо они не облечены полномочиями народа, она будет вести переговоры только с английским народом, законно представленным, и тогда, когда он объявит себя суверенным».

Это или ничего не значащие слова, или равносильно тому,

что Франции безразличны всякие недоразумения, могущие возникнуть между нею и странами Европы, и что она готова нести бремя бесконечной войны до тех пор, пока Германия, Италия, Австрия, Англия и даже Россия не осуществят у себя демократическую и республиканскую революцию. Я понимаю, что примирительные попытки Фокса должны были казаться мелочными и жалкими людям, услаждавшим себя столь широкими замыслами.

В любопытной речи, гораздо более умеренной, хотя как-то странно двусмысленной, которую произнес в Конвенте 1 января Керсен, он тоже поносит Фокса [30]:

«Английское правительство руководствуется в своих действиях тремя различными мотивами, в равной мере чуждыми английскому народу: во-первых, это ненависть короля к французам и его опасения за свою корону — единственная причина интереса, проявленного им к судьбе Людовика XVI [31]; в этом его поддерживают дворяне и духовные сановники — ваши естественные враги;

---

26. «Révolution de Paris», № 180, 15—22 décembre 1792.
27. Действительно, положение было тревожное, по крайней мере в Ирландии. Там возобновились аграрные волнения. «Объединенные ирландцы», организованные Уолфом Тоном в конце 1791 г., и «католический комитет» договорились в феврале 1792 г. выступить с требованиями отмены закона об отречении (*test act*) и предоставления избирательных прав католикам. Что касается приготовлений к войне, то они действительно имели место. 1 декабря 1792 г. Питт созвал ополчение. 20 декабря он потребовал призыва 20 тыс. матросов. См. следующее прим.
28. «Moniteur», XIV, 769, Послание Георга III парламенту от 13 декабря 1792 г. Жорес здесь несколько урезал цитату. В самом деле, Георг III продолжал следующим образом: «Но я не могу без серьезной тревоги видеть, как множатся признаки, свидетельствующие о ее [Франции] намерении вызвать беспорядки в других странах, не считаясь с правами нейтральных стран и преследуя цели завоевания и территориального расширения»... Ввиду таких обстоятельств, заключал Георг III, «я счел справедливым принять меры для увеличения моих морских и сухопутных сил». Английские военные приготовления, несомненно, имели место.
29. Речь идет о докладе Лебрена Конвенту от 19 декабря 1792 г. («Moniteur», XIV, 791.) Этот доклад был напечатан и датирован 19 декабря 1792 г., за ним следовало «Всемилостивое обращение Его Величества [Георга III] к обеим палатам парламента» от 13 декабря 1792 г.
30. «Moniteur», XV, 22; «Archives parlementaires», LVI, 111. Керсен, морской офицер, развивал доводы, которые могли побудить французов считать Англию уязвимой: могущество этого нового Карфагена зиждется только на кредите, и оно будет сокрушено.
31. 21 сентября 1792 г. Георг III приказал лорду Гренвилю, министру иностранных дел, повторно «выразить искренний интерес, с которым он относится ко всему, что касается лично Их Христианнейших Величеств, и который мог лишь возрасти в связи с положением, в котором Их Величества ныне находятся». («Moniteur», XIV, 93.)

во-вторых, тревоги премьер-министра Питта, неограниченного повелителя Англии в течение восьми лет, которому бури революции, как и бури войны, в равной мере угрожают падением, а эта партия связана с первой через финансовую аристократию и многочисленных агентов правительства; война сблизит интересы этих двух групп, а сила их такова, что они увлекут за собой Англию.

В-третьих, честолюбие и талант Фокса и интриги его партии, пытающейся использовать обстоятельства, чтобы прийти к власти, ловко играющей на надеждах на реформы, способных, по ее мнению, воодушевить английский народ, надеждах, которые при одной мысли о революции превратились в опасения. И поскольку этот мотив ускользнул от внимания главарей оппозиции, они оказались в полной зависимости от правительства — заслуженное наказание, достопамятный пример, который должен показать свободным людям, как опасно заниматься интригами. Причина этого события, которое может оказаться роковым для всего мира, заключается в характере этого знаменитого оратора, поддерживающего своим талантом репутацию партии, которая является последней и хрупкой опорой защитников свободы Англии. Поборник Прав Человека и льстец короля, фрондер в отношении правительства и суеверный почитатель британской Конституции, аристократ-народник и роялист-демократ, Фокс преследует лишь одну цель — возвыситься, сокрушив своего противника, и разом отомстить за многочисленные парламентские поражения, столь же роковые для его интересов, как и для его славы».

Признаюсь, не могу понять. Керсен ставит в упрек Фоксу его промежуточную и двусмысленную роль. Но чего же он хочет от него и чего можно было от него ждать? Неужели он хотел, чтобы Фокс высказался в палате общин в пользу принципов крайней демократии и за республику? Это значило бы разом отказаться от всякого влияния в парламенте, от всякой надежды смягчить английскую политику, направить ее на путь реформ и мира. Керсен констатирует, что страх перед революцией превратил надежды на реформы в опасения. Но в Англии, как и во Франции, демократия в чистом виде могла быть осуществлена сразу только революционным путем, и Фокс, по признанию самого Керсена, только усилил бы воинствующую реакцию.

Или, быть может, Керсен хотел, чтобы Фокс хранил молчание, даже насчет реформ, чтобы он воздержался от нападок на Питта и правительство? Таким образом он успокоил бы консерваторов, опасавшихся за свои интересы, и ослабил бы контрреволюционное возбуждение. Он укрепил бы также положение Питта, который был против войны, и, во всяком случае, увеличил бы шансы на сохранение мира. Этого ли хотел Керсен? Но это означало бы требовать от английской либеральной партии самоубийства. Для Англии это означало не только отказ от демократической революции, но и от

всякой реформы, от всякого ущемления привилегий, которые пример Французской революции сделал почти невыносимыми.

В речи Керсена нет ни напыщенности, ни бахвальства. В ней много тонких и верных мыслей. Чего там не хватает, это твердого направления и мужественных и логических выводов. Он не услаждает Конвент и Францию надеждой на то, что английская нация станет на сторону Революции. Он не разоблачает мнимого коварства политики Питта. Он считает, что Питт хочет мира, и говорит это, добавляя, однако, что, если контрреволюционные страсти в Англии заставят его объявить войну, он легко увлечет за собой весь народ.

«Осторожному противнику Фокса [Питту] сейчас необходимо располагать всеми своими силами, ибо он должен одновременно защищать и свою популярность, и свою явно аристократическую партию, королевскую власть и свою собственную, явно неограниченную власть. А если вспыхнет война, может ли он быть уверен в том, что ему удастся сохранить, несмотря на все сопутствующие ей перипетии, то преобладающее положение, которое у него оспаривают даже в условиях мира? В Англии хорошо известно — и множество примеров превратили этот факт в политическую аксиому,— что правительство, объявившее войну, никогда не доживает до ее конца. Питт знает, что война — это конец его влияния. Поэтому Питт не хочет войны...»

И далее:

«Питт — человек разумный и ловкий: он хочет избавить свое правление от затруднений, неизбежно связанных с революцией, и он, несомненно, надеется достигнуть этого, ускорив восстановление мира в Европе».

Итак, по мнению Керсена, Питт не только не хочет втянуть Англию в войну, но желает восстановления общего мира. Однако ему приходится считаться с крупными социальными силами, которые толкают к войне; это, с одной стороны, земельная и духовная аристократия и денежная аристократия — с другой.

«Буржуазная и финансовая аристократия в Англии относительно гораздо многочисленнее той, которая существовала во Франции ко времени Революции 1789 г. Эти люди ныне сторонники двора и парламента и поднимают большой шум по поводу наших беспорядков, нашей анархии, нашей слабости и тех несчастных событий, которые мы были бы рады вычеркнуть из нашей истории [32]. Они запугивают этим сельских жителей и британское духо-

32. Намек на сентябрьские избиения 1792 г. Эти избиения и наплыв беженцев (3772 человека, в том числе около 2 тыс. священников) глубоко взволновали английское общественное мнение. Дело дошло до того, что ходили слухи, будто парижские якобинцы ели пироги с человечьим мясом. Друзья Французской революции, в том числе епископ Уотсон, заколебались. Начались покаянные выступления.

венство, а епископы со свойственным им лицемерием используют свое влияние в народе, чтобы изгладить в умах впечатление, произведенное нашими успехами и теми очевидными истинами, которые мы провозгласили».

Таким образом, в тот день, когда правительство этого захочет, вся английская нация, фанатически настроенная, поднимется на войну. «Но английский народ в точном смысле этого слова — настроен ли он враждебно по отношению к нам и сможет ли его правительство располагать им по своему усмотрению в случае несправедливой войны с нами? Должен сказать, что в настоящее время жителей Лондона и главных городов Англии обрабатывают с изощренным коварством, чтобы склонить их к войне».

Итак, в то время как простаки из газеты Прюдома отвергали всякую мысль о переговорах с Питтом и хотели только непосредственного соглашения с «народом» — как если бы народ был организован, как если бы он был чужд шовинистическим и ретроградным страстям,— Керсен констатирует, что английский народ ринется в войну при малейшем побуждении правительства, и Питта он считал единственным поборником мира. До такой степени, что Керсен сожалеет, что Фокс только увеличивает затруднения, с которыми Питту приходится бороться. Раз уж Фокс не решался прямо и четко провозгласить принципы демократии, лучше было бы ему молчать, нечего тревожить правительство. Оказывая на него давление, донимая его запросами, он вынуждает правительство либо осудить недостатки английской конституции и возбудить этим до крайности реакционные страсти правящих классов, либо отстаивать эти недостатки, которые в условиях более спокойных оно могло бы исправить.

«Георг III страстно хочет войны. Фокс хочет увлечь правительство на ложный путь и вынудить его защищать злоупотребления правления». Как же Питт выйдет из этих затруднений? Каким образом он сможет избежать и революции и войны? Как сможет он утолить, хоть в какой-то мере, и ненависть короля, и консервативные инстинкты правящих классов, не идя на авантюру? Здесь Керсен выдвигает совершенно произвольную гипотезу: «Питт рассчитывает найти выход из этого трудного положения, предложив свое посредничество воюющим державам». И если Питт делает вид, что хочет войны, то только для того, чтобы заставить эти державы, главным образом Францию, согласиться на это посредничество. Он полагает, что утомленная Франция уступит.

«Питт опирается на силу своего правительства, все рычаги которого в руках его креатур. К его услугам наука подкупов, его красноречие и ключ от казначейства. Наши перебежчики и окружающая его аристократия толкают его к двум решениям, на которые он как будто согласился, а именно: остановить наше стремительное победоносное продвижение на суше угрозой морской войны и склонить нас с помощью его посредничества к согла-

шению с нашими врагами... В намерения Питта входили также переговоры в интересах *всякого рода* (mixtes) эмигрантов, я имею в виду тех, кто не взялся за оружие».

В действительности, это совершенно произвольная гипотеза, ибо ни один факт, ни одно действие не позволяет предполагать, что Питт хотел выступить в этом духе. Либо он желал мира, и тогда он хорошо знал, что Франция не допустит ни малейшего вмешательства иностранной державы в свои внутренние дела. Либо он решился на войну, и тогда был весьма заинтересован в том, чтобы придать ей иной характер, чем тот, который придали ей Пруссия и Австрия. Он хотел до конца сохранить за собой преимущество того благоразумия, с которым Англия воздерживалась от всякого вмешательства во французские дела, и предоставить революционной Франции роль поджигателя войны. Это видно еще из ответа Гренвиля от 31 декабря на послание Шовелена [33]. Гренвиль жалуется на знаменитый декрет от 19 ноября, в котором «мятежникам всех наций объявляется, в каких случаях они заранее могут рассчитывать на поддержку и помощь Франции, и который оставляет за Францией право вмешательства в наши внутренние дела в любой момент, который она сочтет подходящим, на основании принципов, несовместимых с политическими учреждениями любой из европейских стран. Каждому очевидно, сколь подобная декларация способна провоцировать повсюду беспорядки и мятежи. Каждому очевидно, сколь она противоречит уважению, которое независимые нации обязаны оказывать друг другу, и *тем принципам, которым со своей стороны следовал король, всегда воздерживаясь от вмешательства в какой бы то ни было форме во внутренние дела Франции*».

Итак, Керсен ошибался относительно политики Питта. Но его ошибка была особенно серьезной, когда он говорил, что Питт не хочет войны всерьез, что военные приготовления — лишь демонстрация с целью напугать Францию. Конечно, Питт не стремился к войне, он предпочитал мир. Но затруднения, которые он мог испытывать в Шотландии, Ирландии и в самой Англии, не были столь велики, чтобы помешать ему всерьез обдумывать гипотезу войны. А Керсен, успокаивая себя тем, что это пустая демонстрация, освобождал себя и Конвент от труда приложить все усилия и изыскать средство предотвратить эту величайшую опасность.

---

33. Речь идет о ноте, посланной гражданином Шовеленом, посланником Франции, лорду Гренвилю 27 декабря 1792 г. («Moniteur», XV, 17.) Ответ лорда Гренвиля, министра иностранных дел Англии, гражданину Шовелену, посланнику Франции, от 31 декабря 1792 г. см. в: «Moniteur», XV, 121. Официальную ноту исполнительной власти Франции от 7 января 1793 г., подписанную Лебреном, в ответ на ноту британского правительства см. в: «Moniteur», XV, 123. См. протоколы заседания Конвента от 12 января 1793 г.

Но он хоть честно предупредил Францию, что вся революционная пропаганда в Англии осталась почти безрезультатной: «*Я не могу скрывать от вас, что, если Питт решится на войну, он может рассчитывать на поддержку своей нации*».

ДОКЛАД БРИССО

Бриссо, хотя и разбирался в английских делах лучше большинства членов Конвента, тоже не смотрел фактам в лицо. Он жил сегодняшним днем, проявляя легкомысленный оптимизм [34]. Между тем решение английского правительства, прервавшего после 10 августа всякие официальные дипломатические сношения с Францией [35], должно было бы ему показать, что положение очень трудное и требует крайней осторожности и деликатности. В представленном им 12 января 1793 г. от имени Комитета национальной обороны докладе «о намерениях британского правительства в отношении Франции и о мерах, которые надлежит принять», он излагает мнение, которое могло бы явиться своеобразным признанием его неосведомленности, если бы не было прежде всего попыткой оправдать слишком долгую беспечность и многократные неосторожные действия [36]:

«Намерения британского кабинета к концу ноября были таковы, что все трудности незаметно сглаживались. Лорд Гренвиль начинал признавать правительство Франции, которое он вначале именовал *Парижским правительством* [37]. Правда, иногда делали вид, что сомневаются в полномочиях нашего представителя, делали вид, что не считают себя уполномоченными, а между тем просили объяснений и давали таковые. Одно лишь затруднение, казалось, тормозило переговоры. Исполнительный совет Франции хотел вести переговоры через аккредитованного посла, английское правительство желало вести их через секретного агента, но не особенно твердо настаивало на своем в этом споре по вопросу этикета, судя по словам лорда Гренвиля, который сказал нашему послу, что вопросы формы никогда не остановят короля Англии, когда речь идет о получении успокоительных и выгодных для обеих сторон заверений.

Питт со своей стороны выражал в начале декабря *лишь желание избежать войны и получить такое же заверение от французского правительства*. Он сожалел о том, что перерыв в сношениях между обоими кабинетами породил недоразумения.

Эти заявления давали Исполнительному совету основание надеяться на то, что никакие мелкие придирки не приведут к войне между Францией и Англией. Он не знал, что эта видимость мирных намерений была продиктована только страхом, тревогой за успех той комедии, которая подготовлялась.

Внезапно происходит смена декораций. В двух прокламациях от 1 декабря [38] король Англии приказывает привести армию в готовность, созвать парламент на 14 декабря, тогда как он должен был собраться только в январе, направляет войска в Лондон, укрепляет Башню [Тауэр], вооружает ее пушками и развивает усиленные военные приготовления. Против кого же направлены все эти приготовления? Против книги Томаса Пейна «Права Человека» [39]. Министр заявил, что эта книга развратила все умы, что образовалась революционная секта, стремящаяся свергнуть английское правительство и заменить его неким Национальным Конвентом; что секта эта имеет свои тайные комитеты, свои клубы, свои связи; что она поддерживает тесные связи с парижскими якобинцами; что она посылает своих апостолов, чтобы поднять мятеж по всей Англии... Результаты этих мер английского правительства превзошли все его ожидания. Немедленно образовалась многочисленная коалиция, объединившая всех ставленников двора, влиятельных лиц, дворян, священников, богатых землевладельцев, всех капиталистов, людей, живущих злоупотреблениями. Они наводнили газеты заявлениями о своей преданности английской Конституции, об отвращении к нашей Революции и о своей ненависти к анархистам. *И они так всколыхнули общественное мнение, что через несколько дней вся Англия была у ног министров, и чувство благоговения, которое внушала последняя революция во Франции, сменилось в сердцах почти всех англичан бешеной ненавистью*» [40].

Как в течение нескольких дней мог произойти столь поразительный переворот в умонастроении? Это было бы невозможно, если бы все мышление и вся жизнь Англии не имели некоего консервативного начала. Да, многие англичане относились сочувственно к Революции, провозгласившей свободу, и даже благоговели

---

34. Здесь следует отметить колебания Жиронды в ее политике в отношении Англии в конце 1792 г. Одно время жирондисты строили свои расчеты на Англии, как и на Пруссии. Буржуазию крупных портов, интересы которой уже пострадали от беспорядков в колониях, отнюдь не привлекала перспектива колониальной войны.
35. Лорд Гоуэр, английский посол в Париже, был отозван, и всякие официальные отношения с Шовеленом были прерваны.
36. См.: «Moniteur», XV, 127.
37. Французы выдвигали в качестве предварительного условия возобновления переговоров, даже неофициальных, признание их правительства.
38. См. выше, с. 427, прим. 27 и 28.
39. Томас Пейн заседал в Конвенте как депутат от департамента Па-де-Кале. Его судили заочно.
40. Явное преувеличение. На деле война была популярна главным образом среди господствующих классов: она служила их интересам, она открывала перспективу взять реванш у Франции и перспективу колониальных завоеваний, а также давала возможность сокрушить демократическое движение.

перед ней. Иногда они даже оправдывали ее насилия и были готовы, вдохновляясь ее принципами, реформировать постепенно свою конституцию в демократическом духе. Но при трех условиях: чтобы эта реформа не приняла революционного характера, чтобы Франция не позволила себе никакого вмешательства во внутренние дела Англии и чтобы она не использовала свою пропаганду на континенте для расширения своих границ за счет соседних народов и изменения в свою пользу равновесия в Европе.

Таковы те опасения и сомнения, с которыми надлежало считаться, и Бриссо, несомненно, в глубине души упрекал себя в том, что позволил увлечь себя ходу событий и не проявил в английской политике ни твердости, ни прозорливости. Безусловно, в тех весьма многочисленных корреспонденциях из Лондона, которые Бриссо помещает в своей газете «Патриот франсэ» после 10 августа, не чувствуется бахвальства, присущего газете Прюдома. Правда, они отмечают рост революционных настроений в Англии. Они сильно преувеличивают сопротивление, которое в случае войны могут оказать эти настроения английскому правительству и двору. Так, в корреспонденции от 9 октября мы читаем [41]:

«Сент-Джеймский двор испытывает большие затруднения в связи с французскими делами... В Ирландии, Шотландии и на севере Англии единодушно требуют равного представительства [в парламенте]. Сегодня как будто должен появиться адрес одного из первых клубов Лондона, и тогда министру будет не до нас».

А вот другая корреспонденция, от 10 октября [42]:

«Наше дополнение к Революции [Десятое августа] произвело здесь сильное впечатление. Народ, как *мне кажется*, его одобряет, а двор осуждает. *Полагают*, что в случае объявления правительством войны Франции народ, охваченный негодованием, придет в волнение и, *может быть*, рассердится всерьез». Однако, как мы видим, даже в этом революционном оптимизме есть оговорки и сомнения.

Иногда корреспонденты уведомляют Бриссо о том, что с помощью хитрых махинаций сеют рознь в самом народе. В номере от 2 октября 1792 г. в статье, озаглавленной «Лондон», я читаю [43]:

«Последние события, происшедшие во Франции, внесли примирение в королевскую семью: между отцом и сыном царит теперь полное согласие [44]. Страх, охвативший венценосцев, овладел и ими. *Король не любит министра Питта* потому, что он против войны. По-видимому, правительство собирается открыто вести с вами переговоры... Те, кто любит размышлять о будущем, полагают, что Англии вряд ли удастся избежать революционного

движения, они только расходятся относительно степени близости этого движения. Здесь хотят навязать войну народу как бы по желанию самого народа. Например, вы можете скоро увидеть здесь ловко устроенное восстание с целью воспрепятствовать вывозу хлеба [45]. Не потому, что боятся нехватки хлеба, а потому, что хотят причинить вред вашей Революции. Здесь ищут предлог, чтобы придраться к вам, и, будьте уверены, что, если ваш король погибнет от руки какого-либо убийцы, это будет использовано, чтобы поднять против вас английскую нацию. Так что оберегайте его».

Как видите, в Англии нет признаков неодолимого увлечения Революцией. И Бриссо мог бы уже тогда предвидеть, что любое неосторожное действие Франции может вызвать против нее сильное движение. Однако он помещает и в декабре, в тот критический период, когда ошибки были просто недопустимы, сообщения до странности оптимистические и вызывающие. В пространной корреспонденции, опубликованной 9 декабря 1792 г., отмечалось, что «правительство наконец вышло из состояния нерешительности, в котором оно пребывало во время последней революции во Франции, и принимает жесткие меры как внутри страны, так и вовне» [46].

И дальше: «Сент-Джеймский кабинет был огорчен открытием свободного судоходства по Шельде, *но равнодушие, проявленное к этому делу английским народом, показало ему, что этот народ не видит более во французах соперников, которых надо опасаться, и даже одобряет это как акт справедливости*».

Какой самообман!

«Кабинет разделился на две партии: лорд Хоуксбери, возглавляющий одну из них,— крайний роялист, он хочет войны. Питт против нее, он считает, что для Англии самая правильная политика — нейтралитет. Есть основания опасаться, что верх одержит первая партия. Именно сила этой партии и побудила Питта бро-

---

41. «Le Patriote français», № 1162, 15 octobre 1792.
42. «Le Patriote français», № 1169, 22 octobre 1792; письмо от 10 октября 1792 г., адресованное из Лондона гражданину Грегуару (речь идет об аббате Грегуаре), депутату Конвента от департамента Луар и Шер.
43. «Le Patriote français», № 1149, 2 octobre 1792, письмо из Лондона, датированное 14 сентября 1792 г.
44. Намек на события 10 августа и на свержение короля. О позиции Георга III см. выше, с. 427, прим. 31, заявление лорда Гренвиля от 21 сентября 1792 г.
45. 1791 г. был последним годом, когда Англия экспортировала зерно.
46. «Le Patriote français», № 1216, 9 décembre 1792.
Очень длинное письмо, заканчивающееся следующим образом: «Я должен вас предупредить, что отныне письма из Франции открыто распечатываются на почте».

ситься в объятия Портленда и Фокса [47], но переговоры окончательно прерваны, и оппозиция готовится к горячим схваткам. Она будет обвинять правительство в том, что оно не признало Французскую республику, она выступит против войны с Францией и потребует проведения внутри страны целой системы реформ. *Оппозиция и вся нация против войны*, и военные приготовления правительства пойдут прахом, если даже ему не придется расплачиваться за них».

Но если так, разве не было преступлением не поддержать партию мира в ее борьбе с партией войны, придерживаясь самой умеренной, самой осторожной линии поведения! А между тем как заканчивается корреспонденция, которую Бриссо поместил в номере от 6 декабря? Доказав, что Питт хочет мира и всякого рода связанных с этим экономических и политических выгод, корреспондент заключает [48]:

«Вы увидите, как он сам предложит реформу парламентского представительства. Всеми этими средствами он надеется застраховать себя от распространения французской заразы. Но тут беда не только в злоупотреблениях, но и в реформе злоупотреблений. Стоит только начать, и уже не знаешь, где остановится реформа. Расчет Питта не более верен и тогда, когда он думает пресечь тягу к нововведениям путем наказаний проповедников мятежных идей. Эти проповедники неизбежно ускорят наступление революции. Не похоже на то, чтобы Сент-Джеймский кабинет собирался порвать с вами отношения из-за открытия устья Шельды. *Может быть, он был бы к этому вынужден, если бы Франция напала на Голландию* [49]. *Однако, поскольку и в этом случае опасности для этого кабинета остаются теми же, вы можете продолжать идти вперед. Ваша политика заключается в том, чтобы довести ваш успех до конца и, если возможно, донести трехцветное знамя до Санкт-Петербурга*».

Итак, под тем предлогом, что, как бы ни сложились обстоятельства, внутренние затруднения английского правительства остаются неизменными и опасность революционного взрыва затрудняет во всяком случае объявление и ведение им войны, Франции предлагают отбросить всякие предосторожности, захватить Голландию, даже если это casus belli с Англией. «*Довести успех до конца*» — вот что советуют Франции в этот поистине трагический час, когда она должна была, напротив, остерегаться всякого опьянения успехом, когда она должна была следить за своими порывами и сдерживать их, чтобы не пасть жертвой военного деспотизма. И Бриссо печатает столь легкомысленные рассуждения! И похоже, он принимает эту гибельную тактику! И никто в Конвенте не поднимается, чтобы призвать революционную Францию к благоразумию, к трезвости!

Бриссо предвидел, каким опасным оружием в руках внешних врагов Франции может стать декрет от 19 ноября [50]. Он однажды

указал на это в своей газете, но у него не хватило мужества ему воспротивиться. Он знал, что Англия, уже встревоженная открытием Шельды для свободного судоходства, опасается вооруженного нападения Франции на Голландию. И в то же время печатает в своей газете воззвание к батавам Кондорсе от 1 декабря, в котором последний призывал их к революции [51]. Он не мог не знать, что идущие из Франции призывы к революции приводят в раздражение почти все классы английского общества, и все-таки не предостерегает Конвент! И он не протестовал против выходки его председателя Грегуара, который, как мы видели, ответил депутации одного английского клуба, что в Англии скоро будет заседать свой Национальный Конвент![52]

ЗАБЛУЖДЕНИЕ ФРАНЦУЗСКИХ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ

Робеспьер тоже молчит. Тот самый Робеспьер, который в начале 1792 г. так мужественно выступал против политики войны и разоблачал иллюзии, он, который напоминал, что Французская революция только потому смогла совершиться, что вначале имущие и просвещенные классы приняли в ней участие, он, который говорил, что один народ бессилен. С какой силой мог бы он доказать, что нет никаких шансов увлечь на путь революции эту Англию, в которой привилегированные классы не только не поддерживали «низшие классы» в деле борьбы за свободу и прогресс, но опирались на поддержку «низших классов» в деле консерватизма и защиты привилегий! Он, который столь справедливо опасался, что длительные, бесконечные войны в конечном счете приведут к военному деспотизму, каким пророческим голосом мог бы он возвестить грядущее истощение революционной Франции, изнемогшей в неравной борьбе со всем миром! Была одна только возможность ограничить эту борьбу — сохранить мир с Англией. И общие и почти отчаянные усилия всех революционных партий должны были быть направлены на сохранение этой единственной возможности спасения мира и свободы. Почему же они этого не сделали?

---

47. Об этой попытке образования правительства единства см. выше, с. 425, прим. 25.
48. «Le Patriote français», № 1213, 6 décembre 1792.
49. См. выше, с. 419, прим. 11 и 12.
50. Декрет от 19 ноября 1792 г., объявлявший, что Конвент от имени французской нации «предлагает братство и помощь всем народам, которые захотят вернуть себе свободу». См.: Ж. Жорес. Цит. соч., т. III, с. 269.
51. Condorcet. Adresse aux Bataves. S. l.n.d., imp. in-8°, 16 p.; B.N., 8° Lb[41] 131. Это воззвание содержало призыв к голландцам свергнуть власть штатгальтера.
52. Заседание 10 ноября 1792 г. («Moniteur», XIV, 446.) См.: Ж. Жорес. Цит. соч., т. III, с. 258—259, прим. 5.

Почему проводили они столь непоследовательную и противоречивую политику, то бросая вызов, то идя на уступки? Быть может, потому, что Франция тогда оказалась во власти двойного опьянения: экспансивной свободой и военной славой. Особенно же потому, что все партии, все личности были поглощены братоубийственной борьбой, потому что все боялись, как бы любое действие, продиктованное благоразумием, умеренностью и здравым смыслом, не было истолковано соперничающей группой как своего рода измена [53].

Они ненавидели друг друга, клеветали друг на друга, боялись друг друга и в этой атмосфере изоляции и недоверия были не в состоянии проводить ту политику, которая могла увенчаться успехом только при общем согласии. Европа не сочла бы проявлением слабости политику мира и благоразумия, если бы Революция вела эту политику единодушно, так сказать, единым фронтом.

Но где там! Робеспьер клеветал на Жиронду и утверждал, что она хотела предать Францию герцогу Брауншвейгскому. Жиронда клеветала на Робеспьера, обвиняла его в стремлении к диктатуре и собирала против него гнусные полицейские бумаги [54]. Мадам Ролан и Бюзо ненавидели Дантона, который, с его замечательной смелостью, мог бы послужить прикрытием для политики благоразумия и компромисса. Дантон, поглощенный до 15 января своей миссией в Бельгии [55] и вдобавок подозреваемый Жирондой, лишен был возможности создать широкое движение за мир. А Ролан только подливал яда во все раздоры своей болтовней, желчной и боязливой. Эти тяжелые тучи ненависти клубились, заслоняя всем горизонт. Занятые своими раздорами, они ничего не делали, чтобы предотвратить войну между Англией и Францией, т. е. одну из величайших катастроф мировой истории. Несомненно, некоторые члены Конвента начинали сознавать опасность, но лишь немногие ясно видели ее, и еще меньше было тех, кто осмеливался сказать об этом.

Я обнаружил для того времени мужественное выступление, правда, уж слишком исполненное горечи и разочарования, только одного малоизвестного члена Конвента, представителя департамента Крёз, Жана Франсуа Барелона. В этом выступлении, напечатанном в понедельник 7 января, он возвестил о грядущем уже роковом расширении войны [56]:

«Война, бесспорно,— худшее из всех бедствий! Каковы же будут ее последствия? Эти столь плодородные поля вскоре будут заброшены за недостатком рабочих рук. Нехватке продовольствия. от которой мы страдаем уже сейчас, а возможно, и голоду не будет видно конца.

Надо ли вам затем описывать упадок наук и искусств, вымирание той блестящей молодежи, в которой вся ваша надежда, кото-

рая должна вызвать из небытия будущие поколения, наследников ваших успехов?

Наконец, надо ли вам напоминать, что мы рискуем потерять общественную свободу, что может даже наступить момент, когда никто не будет в безопасности? И как бы нам не заслужить упреков потомства, по отношению к которому мы взяли на себя столь большие обязательства.

Те, кто хочет погубить Республику, заставив ее воевать со всей Европой, конечно, готовы уже ликовать.

Я знаю, что наши близорукие политические деятели убеждают себя, что народы повсюду на нашей стороне, потому что наше дело, как утверждают, — их дело... Так вот: это лишь мечта, химера.

Любовь к свободе найдет не так уж много последователей, как это воображают. Те сугубо философские идеи, которые с ней связывают, слишком отвлеченны и потому доступны лишь очень немногим.

К тому же не все одинаково понимают это слово «свобода». Каждый хочет пользоваться ею по-своему. Народ, который по этой причине мы считаем варваром, в свою очередь видит в нас подлинных дикарей. Уверяю вас, мало есть людей, которые захотят нашей свободы: будущее вам это докажет.

Мы хотим просветить нации, говорим мы. Затея прекрасная, но весьма трудная. Увы! Предрассудки распространяются со скоростью горного потока, а правда всегда плетется черепашьим шагом.

---

53. Монтаньяры не воспротивились принятию ни одной из мер, предложенных жирондистским большинством, которые постепенно сделали неизбежной войну с Англией, ибо жирондисты не преминули бы обвинить своих противников, если бы те оказали сопротивление. На внешнюю политику Конвента оказывала влияние борьба партий в связи с процессом короля. О Робеспьере и его выступлениях против войны см.: Ж. Жорес. Цит. соч., т. II, с. 161.
54. О раздорах между партиями см.: Ж. Жорес. Цит. соч., т. III, с. 439.
55. 30 ноября 1792 г. Дантон был послан вместе с Камю, Делакруа и Госсюэном в армию Дюмурье, чтобы проверить состояние этой армии, ее склады и запасы. Эти комиссары, собравшись в Льеже, составили там свои доклады, которые Дантон и Делакруа отвезли Конвенту. Таким образом, Дантон не присутствовал на процессе Людовика XVI, ни при обсуждении, ни при первых двух поименных голосованиях. Он появился вновь в Конвенте только 15 января 1793 г.
56. Барелон (1743—1816) — врач, мировой судья в 1790 г., представитель департамента Крёз в Конвенте, где он занял место на скамьях «Болота». Его напечатанное выступление касается суда над Людовиком XVI: «Considérations sur la nécessité d'ajourner le jugement de Louis Capet et de sa femme...» Paris, s.d., imp. in-8°, 16 p.; B.N., 8° Le^{37}, 2 G 260.

Поэтому мы должны рассчитывать только на наши армии и на наши финансы и должны заранее знать, что франкфуртцы встретят нас с ножами, а горцы Ниццы — с косами.

Уповают на английский народ. Но он еще во власти своего правительства, которое нас ненавидит. Правда, наиболее просвещенная часть англичан за нас, но это самое большее одна стопятидесятая часть всего населения. Можно ли всерьез поверить в то, что священники и дворяне, подкармливающие наших эмигрантов, что простонародье, с детства воспитанное в ненависти к нам, вдруг станут нашими друзьями? Это было бы великим чудом.

Наши многочисленные победы, наши быстрые успехи ошеломляют нас и мешают думать о будущем. Не задумываясь над тем, что счастье переменчиво, что мы можем быть подавлены численно превосходящим нас противником, мы не сомневаемся, что, следуя нашему зову, все нации примут наше убийственное для тиранов учение и изменят форму правления.

Но пора перестать заблуждаться. Власть имущие приняли меры. Всюду французов изображают людоедами, пожирающими друг друга. Ведь так легко обманывать простаков, а из простаков, увы, состоит почти все человечество. Тщетно мы славим нашу свободу; порядочным людям в других странах она внушает ужас. Нет среди них ни одного, который пребывание в Константинополе не предпочел бы пребыванию в Париже. Таковы, однако, следствия некоторых наших ошибок, а также жестокости дурных людей.

О, если бы мы могли рассеять заблуждения слишком доверчивых людей, сделать так, чтобы они услышали правду!

Вы хотите доказательств тому, что я утверждаю? Вот они. Обратите внимание на незначительное число прусских и австрийских дезертиров, прибывающих к вам, несмотря на весьма привлекательную приманку, которую вы им, конечно, предложили.

Посмотрите на жителей Порррантрюи, которые образуют отдельное, четко определенное государство рядом с вашим [57].

Обратите внимание на различные партии, выступающие в Бельгии, и на их стремление образовать отдельную республику [58].

Прислушайтесь к требованиям жителей Брабанта в пользу их дворян и священников.

Прислушайтесь, наконец, к тому, с какой гордостью заявляет Франкфурт в лицо Конвенту, что он вольный имперский город [59].

Несомненно, каждый недовольный своим правительством народ — а недовольны все — хочет освободиться, желает нашей помощи, нашей поддержки. И, несмотря на это, нет ни одного, который бы думал, как мы.

Все рады были бы воспользоваться нашими усилиями, нашим золотом, нашей кровью, но никто не хотел бы делить с нами наши расходы и опасности. Предупреждаю, даже бельгийцы, даже

брабантцы доставят нам впоследствии больше хлопот, даже вреда, нежели окажут услуг.

Стало быть — и я имею мужество сказать вам это в то время, как все одобряют или молчат,— мы ведем дурацкую войну. Мы изображаем из себя без всякой пользы дон-кихотов рода человеческого и не только не заслужим благодарности, но лишь умножим число недовольных, неблагодарных и врагов.

Мы должны признать, что, несмотря на нашу «революционную мощь», **наше непомерное бахвальство,** *нам все же мог бы пригодиться какой-нибудь деспот. Например, Селим III мог бы быть нам полезен, если бы ему угодно было произвести ту полезную диверсию, на которые он мастер! Одним ударом он лишил бы оба императорских двора свободы действий...»* [60]

Чтобы наша система победила, нужно было бы, чтобы почти все человечество не находилось под надзором священников и дворян, чтобы оно понимало наш язык, чтобы правительства не отравляли источников просвещения... и т. д., и т. д.»

Да, в этих речах — горечь и разочарование, есть в них и преувеличения, и несправедливые утверждения. Ибо к бахвальству и фанфаронству примешивалась, несомненно, большая доля великодушия. Ибо не зря Революция воспламенила лучшие умы человечества и всколыхнула там и сям погруженные в дремоту человеческие массы. Хотя это великое потрясение и не привело везде к победе демократии, но оно открыло и подготовило пути к этой победе в будущем. К тому же Барелон стремился внушить Конвенту страх с целью добиться отсрочки на неопределенный срок суда над королем, а такая отсрочка не положила бы конец братоубийственной борьбе между группами, а явилась бы только источником слабости. Но какое несчастье, что вожди партий Бриссо, Робеспьер, Дантон не смогли достигнуть согласия и оценить те ужасные опасности, навстречу которым шла Революция!

Да, это верно, что всемирная пропаганда свободы служила иногда прикрытием для преступного стремления к господству.

---

57. Швейцарский город, зависевший одновременно от епископа Базельского и от «Священной Римской империи», который был занят австрийскими войсками и освобожден войсками Кюстина. Его жители провозгласили республику («Moniteur», XIV, 657, заседание Конвента 5 декабря 1792 г.). Будучи аннексирован, этот город стал административным центром департамента Мон-Террибль. В 1815 г. Венский конгресс передал его Бернскому кантону.

58. 4 декабря 1792 г. бельгийская делегация потребовала от Конвента признания независимости ее страны; эти делегаты сами не хотели принять все реформы Революции, опасаясь церкви. («Moniteur», XIV, 652.)

59. О трудных взаимоотношениях между Республикой и Франкфуртом, занятым войсками Кюстина 23 октября 1792 г., см.: Ж. Жорес. Цит. соч., т. III, с. 248.

60. Селим III (1761—1808) — турецкий султан в это время (апрель 1789 г.). Два императорских двора: Вена и Санкт-Петербург.

Да, это верно, что надменность Людовика XIV перешла теперь в кровь суверенного народа, который передаст ее затем Наполеону. Да, это верно, что эта огромная надменность порождала огромные иллюзии и что революционная Франция слишком уж понадеялась на легко достижимый энтузиазм и сочувственный отклик народов. Да, это верно, что необычайный героизм был испорчен «непомерным бахвальством» и что свободе грозила гибель, если Франция не сплотит своих сил и не направит их к достижению мира. Но у партий, которые оскорбляли друг друга и истощали свои силы в раздорах, были другие заботы.

Итак, Революции предстоит столкновение с враждебной Англией, с враждебной Германией, с враждебной Швейцарией. Это не значит, что Революция не оказала никакого влияния на Англию. Был момент, когда она подняла там такие высокие волны, что установленные власти охватил страх.

Английский социалист Гайндман считает, что в то время в Англии произошел решающий кризис [61]. Он полагает, что та политика реакции и гнета, которую избрал с конца 1792 г. и проводил до самой смерти Питт, задушила на длинный ряд поколений самые сильные ростки демократии. Он считает, что это поражение революции продолжает тяготеть над всей историей Англии, что если демократия не получила в ней логического завершения, если пролетариат не смог стать самостоятельной политической силой, то только потому, что замечательная энергия, пробудившаяся в конце XVIII в. под влиянием примера Французской революции, была задушена. Мне кажется, что Гайндман преувеличивает последствия этого кризиса. Демократия не была изгнана из Англии. Но она поняла, что может проникнуть туда и акклиматизироваться там, только сообразуясь с английским складом ума, английскими методами эволюции и приспособления. Замечательное чартистское движение [62] доказывает, что силы демократии не надолго были отброшены Питтом и его сотрудниками. И медленное, но, так сказать, непрерывное расширение избирательного права обеспечило победу демократам 1792—1793 гг. средствами, соответствовавшими английской конституции.

АНГЛИЙСКИЕ ДЕМОКРАТЫ И ВСЕОБЩЕЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Напротив, что меня поражает, что доказывает, что идея демократии, порожденная Французской революцией и привнесенная ею в английскую жизнь, уже не могла быть вырвана из нее, так это то, что даже после первой серии жестоких реакционных мер, принятых английским правительством в конце 1792 и начале 1793 г., и даже после объявления войны вопрос о парламентской

реформе и об избирательном праве ставится так широко, как никогда прежде.

Действительно, требование всеобщего избирательного права начинают выдвигать со всей ясностью. 21 февраля 1793 г. Смит зачитывает петицию, подписанную 2500 жителями Ноттингема, в которой говорилось, «что нынешней Конституцией, в том, что касается представительства в парламенте, страну лишь дурачат словами о народном представительстве, которого на самом деле нет; что избирательное право уже не принадлежит народу, и поэтому доверие народа к парламенту ослабло, если не исчезло вовсе». В дальнейшем петиционеры просят палату общин «рассмотреть вопрос о подходящем способе осуществления реформы парламента и предлагают в качестве основы общего плана реформ распространение избирательного права на всех взрослых людей мужского пола, проживающих в королевстве».

Фокс решительно высказался против существа петиции, т. е. против всеобщего избирательного права: «Требование предоставления права голоса всем взрослым я, как и досточтимый джентльмен, нахожу совершенно нелепым». Но он утверждал, что петиционеры имеют право выдвигать такое требование. Питт добился отклонения петиции без прений как оскорбительной для палаты. Только 21 голос против 109 был подан за обсуждение петиции.

2 мая 1793 г. г-н Дэнкомб зачитал в палате общин петицию жителей Шеффилда [63], со всяческими оговорками личного характера. Она исходила от купцов (tradesmen) и ремесленников. «Принимая во внимание, что палата общин не является в точном смысле слова, которое ваши петиционеры вынуждены употреблять по формальным причинам, «собравшимися в парламенте общинами Великобритании», поскольку она не была свободно избрана большинством всего народа [by a majority of the whole people], но лишь ничтожной частью этого народа, поскольку в силу пристрастного способа избрания ее членов в парламент и большой длительности ее полномочий они не являются подлинными, искренними и независимыми представителями всего народа [they are not the real, fair and independent representatives of the whole people of Great Britain]... Ваши петиционеры — друзья мира, свободы и справед-

---

61. Гайндман, Генри Мейерс (1842—1921) — основатель (в 1881 г.) Демократической федерации (с 1908 г. — Социал-демократическая партия).[Возглавлял в образованной в 1911 г. Британской социалистической партии оппортунистическое крыло, поддерживал милитаристскую политику Англии.]
62. Социально-политическое движение рабочего класса, развернувшееся в Англии в 1830—1850 гг., требования которого были сформулированы в 1838 г. в «Народной хартии». Движение возобновилось в 1842 г. и плачевно закончилось в 1848 г.
63. «Recueil des discours prononcés au Parlement d'Angleterre par J. C. Fox et W. Pitt», t. XI, p. 69.

ливости. Они, как правило, торговцы и ремесленники [tradesmen and artificers], не владеющие свободными держаниями и поэтому не имеющие права голоса при выборах членов парламента. Однако, хотя они и не свободные держатели, они люди, и они не думают, что с ними поступили правильно, лишив их прав гражданина. Их вклад [в национальное богатство] стоит не меньше, чем вклад «фригольдеров», и не важно, велик он или мал; поскольку они платят сполна требуемые с них налоги и являются мирными и лояльными членами общества, они не видят оснований, почему бы не спрашивать их мнения по вопросам, затрагивающим общие интересы всей страны. Они полагают, что должны быть представлены люди, а не земля свободного держателя или дом торговца из местечка.

Отнюдь не тяжелые и стеснительные налоги, обременяющие ваших петиционеров, являются главной причиной, побуждающей их требовать устранения злоупотреблений, настолько общеизвестных, что даже самые предубежденные люди не могут их отрицать: они озабочены не только самыми этими деньгами, но и тем, на что эти деньги расходуются. Они любят свою страну и готовы отдать даже часть своего последнего шиллинга, чтобы ей помочь, лишь бы быть уверенным, что каждый шиллинг будет израсходован разумно. Поэтому они требуют устранения злоупотреблений, ибо убеждены, что от этого зависит мир, счастье и процветание их страны».

Подобно тому как это было с петицией Ноттингема, большинство палаты решило, что и эта петиция «неприлична и непочтительна», и, несмотря на усилия Фокса, твердившего, «что нет в королевстве более стойкого и более решительного врага всеобщего избирательного права, чем он», но что право петиции должно осуществляться весьма широко, 108 голосами против 29 отказалось открыть дискуссию по петиции Шеффилда.

Итак, чистая демократия, всеобщее избирательное право не нашли ни одного защитника в палате общин. И все же идея всеобщего избирательного права стала гораздо более насущной, гораздо более активной, нежели до Французской революции.

7 мая после отклонения петиции Шеффилда Грей зачитал другую, составленную в умеренных выражениях, и палате пришлось открыть по ней прения, предметом которых, в сущности, был вопрос о всеобщем избирательном праве [64]. Самый текст петиции не содержал такого требования. Она ограничивалась протестом против неравного распределения мест в парламенте между различными корпорациями и коллективами, посылавшими представителей в парламент, против чрезмерной продолжительности легислатур и против коррупции. Петиция не предлагала какого-нибудь определенного решения, и известно, что поддерживавшие ее либеральные ораторы были противниками всеобщего избирательного права. Несмотря на это, Питт и ораторы правитель-

ственного большинства, обрушившись на принципы Французской революции и обличая последствия введения во Франции всеобщего избирательного права, добились отклонения и этой петиции.

Тщетно усердствовали Шеридан, Френсис, Фокс и Эрскин [65], стараясь изгнать призрак Революции. Тщетно повторяли они: «Речь идет не о Франции, а об Англии. Речь идет не о всеобщем избирательном праве, а об осторожном расширении избирательного права». Тщетно пытались они смутить Питта, напоминая ему его проект парламентской реформы 1785 г. Он отвечал: «Разверзлась бездна, бездна Революции, бездна демократии, бездонная пропасть всеобщего избирательного права, которая поглотит всякую власть». Таким образом, если всеобщее избирательное право и служило желанным предлогом для отклонения даже скромной реформы, то оно стало все же своего рода неотступной, навязчивой идеей. С этого дня оно перестало быть чисто теоретическим требованием или школьным тезисом: оно проникло в политическую жизнь Англии и постепенно будет осуществлено.

64. Ibid., t. XI, p. 78.

65. Эрскин (1750—1823)— член парламента в 1780 г., адвокат Томаса Пейна в 1792 г. Один из видных английских адвокатов, красноречивый защитник конституционных свобод. О Шеридане см. выше, с. 403, прим. 5; о Френсисе, см. выше, с. 423 прим. 22.

Глава десятая

*

СОЦИАЛЬНАЯ МЫСЛЬ В АНГЛИИ

Великое брожение, вызванное в Европе Французской революцией, не только породило в Англии более широкие политические концепции, но и дало новое направление экономическим проблемам. В главе XXIV «Капитала» Маркс отметил важное значение того предложения Уитбреда о минимуме заработной платы, о котором я говорил выше [1]. Он пишет: «Насколько сильно изменились к этому времени условия, показывает один случай, неслыханный в практике английской палаты общин. Здесь, где в течение более 400 лет фабриковались законы, устанавливающие исключительно тот максимум, которого ни в коем случае не должна превышать заработная плата, Уитбред предложил в 1796 г. определить законом минимум заработной платы для сельскохозяйственных рабочих. Питт воспротивился этому, соглашаясь, однако, что «положение бедных ужасно (cruel)»» [2].

Бесспорно, что «изменившиеся условия», а именно рост крупной промышленности и мануфактурной системы, ломали жесткие рамки заработной платы. Но Маркс совершенно не принимает в расчет (и это основной недостаток его произведения) воздействия политических причин. Очевидно, что вызванный Французской революцией демократический сдвиг способствовал изменению взгляда на вопрос о заработной плате. Еще в 1799 г. парламент Шотландии постановил, что статуты Елизаветы остаются в силе для заработной платы [3].

Как мог говорить Маркс, что «к этому времени», т. е. с 1789 г. до 1796 г., экономические условия настолько изменились, что

от законодательства о максимуме заработной платы перешли к проектам о минимуме ее? «К этому времени» — выражение слишком неопределенное и недостаточно научное, чтобы понимать под ним Французскую революцию и влияние идей демократии в социальной области. И в любом другом случае Маркс поразил бы своей жестокой иронией всякого, кто представил бы Французскую революцию под этим псевдонимом — «к этому времени» [4]. Не следует, однако, забывать, что тот сам Уитбред, который предложил установить минимум заработной платы, был в Англии одним из самых мужественных защитников Франции и Французской революции, одним из тех либералов, которые пошли очень далеко по пути парламентской и избирательной реформы.

ГОДВИН И ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Но политическое и социальное влияние Французской революции на английские умы сказалось не только в более широкой постановке вопроса об избирательном праве или в новом направлении, которое было дано законодательству о заработной плате. Оно нашло яркое выражение в замечательном и смелом произведении, где крайняя политическая демократия приводит в конечном счете к самой оригинальной и смелой форме коммунистического социализма. Я имею в виду произведение Годвина «Иссле-

---

1. О проблеме заработной платы в Англии в конце XVIII в. см. выше, гл. VII, с. 320; о предложении Уитбреда — с. 311, прим. 23.
2. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, гл. XXIV, с. 750. «Кровавое законодательство с конца XV века против экспроприированных. Законы с целью понижения заработной платы».
3. Жорес и здесь следует изложению Маркса: «Еще в 1799 г. парламентским актом было подтверждено, что заработная плата горнорабочих Шотландии регулируется статутом Елизаветы и двумя шотландскими актами 1661 и 1671 годов». (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, с. 750.) Заметим, что со времени акта об унии Шотландии с Англией 1707 г. существовал лишь один парламент — в Лондоне.
4. Это результат поспешного прочтения Маркса Жоресом... Выражение «к этому времени» относится не к периоду 1789—1796 гг., а в целом к XVIII в., точнее, ко времени начиная с восшествия на престол Георга II в 1727 г. «В собственно мануфактурный период капиталистический способ производства достаточно окреп для того, чтобы сделать законодательное регулирование заработной платы и невыполнимым и ненужным, но тем не менее все же хотели удержать на всякий случай это оружие из старого арсенала. Еще акт, изданный на 8-м году царствования Георга II... Насколько сильно изменились к этому времени условия...» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, с. 750.)

дование о политической справедливости»[5]. Оно столь обширно, столь тесно связано со всеми традициями английской и французской мысли, в такой степени возвещает и подготовляет в зародыше все последующее развитие английской социальной мысли, в частности Роберта Оуэна, что потребовалось бы пространное исследование, чтобы хорошо изложить его суть и надлежащим образом оценить его. Я могу здесь только отметить наиболее яркие точки соприкосновения мысли Годвина и революционного движения.

Вне всякого сомнения, Французская революция оказала большое влияние на его сознание и на его доктрину. Да и как могла Революция не отразиться на сочинении, написанном в 1792 г. и опубликованном в Лондоне 7 января 1793 г., т. е. в тот момент, когда вся Англия как бы содрогалась от различных противоположных страстей, возбужденных Революцией? Когда Годвин посылал Конвенту тот экземпляр своей книги, который мы видели затем в руках Форстера, то он хотел этим выразить, как многим его мысль обязана революционной Франции[6]. Точно так же в своем первом предисловии, датированном как раз 7 января, он сам открыто признает эту связь, хотя и подчеркивает при этом гордо независимость своего мышления. «Полезно будет, пожалуй, описать тот путь, которым автор пришел к своим настоящим убеждениям. Они не являются результатом некоего внезапного озарения. В течение долгого времени автор уделял много внимания политическим изысканиям: еще двенадцать лет назад он пришел к убеждению, что монархия — глубоко прогнившая форма правления. Этим убеждением он обязан политическим сочинениям Свифта[7] и чтению латинских историков.

Примерно в это же время дополнительным стимулом для него послужили некоторые французские сочинения о природе человека, попавшие в его руки в следующем порядке: «Система природы» [Гольбаха][8], сочинения Руссо и Гельвеция. Задолго до того, как он задумал настоящее сочинение, он усвоил некоторые встречающиеся в них идеи касательно справедливости, благодарности, прав человека, обещаний, присяг и всемогущества общественного мнения. *Только под влиянием идей, внушенных ему Французской революцией, он осознал полезность самой простой формы правления* [т. е. демократии в ее чистом виде]. *Этому же событию он обязан решением написать настоящую работу*».

Итак, здесь мы имеем дело, если так можно выразиться, не с какой-то мгновенной вспышкой настроения; и не мимолетный, хотя и благородный отблеск яркого пламени Революции найдем мы в этой книге. Мысль Годвина покоится на солидном фундаменте изучения, труда и размышлений. Он не во власти мимолетных впечатлений. И так же, как он не выводит все свои мысли из революционных источников, так же, как он не отдался весь, целиком, под влиянием моды и увлечения, Революции, точно так

же он не склонен и обвинять ее, когда мода изменится и когда Англия будет охвачена негодованием против Революции.

«Время, когда эта книга выходит в свет, единственное в своем роде. Английский народ настойчиво побуждали проявлять свою лояльность и считать подозрительным всякого человека, не выражающего готовности расписаться в преданности Конституции. По добровольной подписке были собраны деньги для покрытия расходов тех, кто преследует людей достаточно смелых, чтобы высказывать еретические мнения, и кто заставляет таких людей чувствовать всю тяжесть как власти правительства, так и злобы частных лиц. Такого поворота нельзя было предвидеть, когда это сочинение было начато, но пусть никто не думает, что этот поворот может хоть в малейшей степени изменить взгляды писателя [9].

Если верить слухам, будут преследовать каждого человека, если он обращается к народу с призывами в газетах или памфлетах антиконституционного содержания. К этому добавляют, что людей будут подвергать наказанию даже за несколько необдуманных

---

5. Годвин, Уильям (1756—1836) — пастор в 1776—1783 гг., автор «An Enquiry concerning political justice and its influence on general virtue and happiness» (Toronto, 1946, 3 voll.), впервые опубликованного в 1793 г. За этим последовал роман «Вещи, как они есть, или Злоключения Калеба Уильямса» («Things as they are; or, the Adventures of Caleb Williams») (1794), в котором теории Годвина показаны в действии. [См.: У. Годвин. Калеб Уильямс. М.— Л., 1961.— *Прим. ред.*] В 1820 г. Годвин опубликовал «Of population», в котором опровергал теории Мальтуса. Если «Злоключения Калеба Уильямса» были переведены на французский язык в 1796 г. («Moniteur», XXVII, 274; XXVIII, 54), то французского перевода «Исследования о политической справедливости» («Enquiry») не существует. Бенжамен Констан писал, что он взялся за этот перевод, даже закончил его, но так и не опубликовал. «Я опасался, как бы то, что есть химерического в предсказаниях и антисоциального в некоторых принципах этого английского философа, не бросило тень на те истины, апостолом которых он себя провозгласил и которые он красноречиво отстаивал». (Benjamin Constant. Mélanges politiques et littéraires, p. 220.) [О социальных идеях У. Годвина см.: В. П. Волгин. Социальные идеи Годвина.— В. П. Волгин. Очерки истории социалистических идей. М., 1975.— *Прим. ред.*]
6. Заседание Конвента 28 апреля 1793 г. См.: «Procès-verbal des séances de la Convention nationale» за это число. В «Moniteur» нет никаких упоминаний.
7. Свифт, Джонатан (1667—1745) опубликовал в 1726 г. «Путешествия Гулливера» («Gulliver's travels»). Упомянем также его «Скромные предложения о детях бедняков» («A modest proposal for preventing the children of poor people from being a burden to their parents, or the country, and for making them beneficial to the public». 1729).
8. Holbach. Système de la nature, ou des lois du monde physique et du monde moral. 1770. [См.: Гольбах. Система природы, или О законах мира физического и мира духовного. М., 1940.— *Прим. ред.*]
9. Об усилении реакции в Англии см. выше, гл. IX, с. 410.

слов, которые могут у них сорваться в пылу беседы или прений. Хотелось бы теперь знать, может ли, вдобавок к этим опасным посягательствам на нашу свободу, попасть под удар гражданских властей книга, явно имеющая своей целью отвлечь от волнений и насилия и по самой своей сути обращенная к рассудительным людям, людям науки. Увидим, возможна ли попытка подавить умственную деятельность и положить конец научным исследованиям. Что касается лично автора, то он твердо решил: каким бы ни было поведение его соотечественников, они не смогут нарушить его спокойствие. Своим самым настоятельным долгом он считает служение истине. И если ему придется за это пострадать, то такое страдание несет в себе и утешение... Таково уж свойство истины, что она ничего не боится и докажет любому противнику свою победоносную силу».

Это прекрасный и спокойный вызов неистовству английских реакционеров. Но и в пылу борьбы за истину Годвин не переходит намеченных им для себя границ. Он главным образом ссылается на мыслителей XVIII в., на Гольбаха, Гельвеция, Руссо, а также на Локка [10]. А эти люди, как бы ни были различны их концепции, все сходились в одном: в признании могущественной роли воспитания. Годвин — противник всякой теории врожденных идей. Человека формирует среда. Мнимая свобода воли — обман, а если бы она существовала, она представляла бы опасность, потому что делала бы людей зависимыми от случайностей произвольных решений. Источником действий людей являются их мнения, а эти мнения — результат обстоятельств, в которых эти люди живут. Этим объясняется чрезвычайная пластичность человеческой натуры, и в этом залог бесконечного прогресса человечества, поскольку достаточно создавать все более здоровую, все более гармоничную политическую и социальную среду, чтобы все человеческие способности получили самое полное и широкое развитие.

Отсюда вытекает и эгалитарная концепция Годвина. Поскольку действие среды может сказываться одинаково на каждом человеке, всякий режим каст и привилегий становится бессмысленным, ибо мы вправе ожидать практически равного развития всех личностей. Во всяком случае, невозможно заранее знать, какая группа людей обладает наилучшими задатками: высокие интеллектуальные и моральные способности встречаются у людей самых разнородных характеров и положения, и надо предоставить всем людям возможность свободно развиваться, чтобы быть уверенным в том, что никакие задатки ума и добродетели не будут задавлены [11].

Таков общий импульс, полученный Годвином от английского сенсуализма и французского материализма, и этот импульс он передаст Роберту Оуэну [12]. Стало быть, не Французская революция заложила первую основу идей Годвина, и, по правде говоря, влияние Гольбаха, Гельвеция и вообще французского материа-

лизма сказалось на французских революционерах менее сильно, чем на Годвине.

Но в двух отношениях Французская революция оказала на Годвина весьма определенное воздействие, и он сам это ясно отметил.

Прежде всего она открыла ему преимущества демократии. Он понял, что простота чисто демократического правления (в отличие от запутанности и сложности смешанных правлений) могла служить самой здоровой средой для самого широкого развития индивидуальной инициативы и деятельности. Он и до того считал монархию прогнившей формой правления, но можно догадываться, что он не был уверен в возможности осуществления управления всех всеми. Великолепный революционный оптимизм Франции, утверждающей и осуществляющей народный суверенитет, которому она вскоре придала его логически законченную высшую форму республики, и создающей на широкой и простой основе народной воли правительство, способное к самому стойкому сопротивлению, придал смелости мысли Годвина. Величайшая заслуга Французской революции состоит в том, что своими дерзаниями она превзошла смелость мыслителей и на могучих крыльях своих деяний вознесла умы даже выше их мечты.

Во вторых, когда Годвин добавляет, что она побудила его написать и опубликовать эту книгу, он признает, что именно она дала ему понимание социального долга. Философ уже не может удовлетворяться молчаливым накоплением идей, он должен принять участие в развитии человеческой мысли и способствовать формированию сознания всех людей. Но под этим участием он понимал преимущественно, почти исключительно воспитательную деятельность. Во Франции Революция — это боец, мечом разру-

---

10. Локк, Джон (Locke) (1632—1704) — автор «Письма о веротерпимости» (Epistola de tolerantia», 1689), а также «Опыта о человеческом разуме» («An essay concerning human understanding», 1690) и «Двух трактатов об управлении государством» («Two treatises of government». 1690). Как теоретик революции 1688—1689 гг. Локк был выразителем идеалов буржуазии.
11. В своем «Исследовании» Годвин доходит до утопического коммунизма. В его понимании социальное неравенство представляет собой высшую несправедливость и является прямым следствием частной собственности. Но Годвин не рассчитывает на политическую борьбу для достижения социальной справедливости: она должна явиться результатом индивидуального совершенствования и законной и мирной эволюции. По своему оптимизму Годвин близок к Кондорсе: абсолютная вера в прогресс разума, науки и техники; безоговорочная вера в возможность эгалитарной организации общества, которая уничтожит голод и войну. См.: G. Woodcock. William Godwin. London, 1946.
12. Оуэн, Роберт (1771—1858) — автор «New View of Society» (1813—1816).

бающий препятствия. Для Годвина прогресс — это воспитатель, мало-помалу освобождающий умы людей от пут и таким образом подготовляющий постепенно эволюцию и самих учреждений.

ГОДВИН И НАСИЛИЕ

Если Годвин был противником внезапных, насильственных действий, то не потому, что остерегался угрожающей английской реакции, не из осторожности, а из уважения к всемогущей силе воспитания. Ему претили методы революции. Главное — освободить умы людей от слепого повиновения власти, от раболепной почтительности. «Уважение к вышестоящим, когда они выше лишь по положению и по власти, более всего противоречит разуму» [13]. Даже уважение к тем, кто выше по мудрости и знаниям, разумно лишь в известных пределах.

Конечно, когда речь идет о каких-либо специальных функциях, требующих специальных знаний, как, например, постройка дома или воспитание детей, мне представляется разумным обратиться к компетентным в этом деле людям. Но если речь идет о вопросах политической справедливости, которые доступны здравому смыслу всех людей, было бы преступлением с моей стороны не воспользоваться собственными способностями. А когда все умы пробудятся и станут активными, правительства не смогут долго удержаться вопреки скрытой, но действенной воле умов. Будут подорваны, так сказать, их интеллектуальные основы, и они рухнут; и для этого не понадобится применять насилие, как нет необходимости в кирке, чтобы свалить дом, фундамент которого развалился.

«Теперь достаточно хорошо известно, что власть правительства зиждется на общественном мнении. И для него недостаточно того, что мы отказываемся свергнуть его силой, ему необходимо еще, чтобы общественное мнение побудило нас оказывать ему постоянную поддержку.

Ни одно правительство не может существовать у народа, если граждане лишь попросту воздерживаются от бурного сопротивления, но в глубине души порицают и презирают правительственные учреждения».

Поэтому самый настоятельный долг — организовать эту своего рода стачку умов, этот отход сознаний, отказываясь поддерживать привилегии и тиранию своим внутренним согласием. Более разумно дождаться такого крушения власти, чем вызвать его рискованными насильственными действиями. Человек, который намеревается оказать физическое сопротивление, не знает, последуют ли за ним другие. Он не знает, много ли умов настроено в унисон с его умом. Он не знает, приняли ли другие такой же план перестройки [общества].

«Отвлеченный мыслитель, живущий в государстве, где злоупотребления известны всем и часто слышны жалобы, не знает, в какой мере то, что он пытается наметить, очевидно для его сограждан». Даже если большинство как будто возмущается этим режимом, и то нелегко узнать, к чему оно стремится. Может быть, его раздражение вызвано всего лишь какими-то поверхностными причинами, формой какого-нибудь налога, и оно вскоре воспротивится всякой более глубокой перемене, идущей дальше причины, вызвавшей недовольство. Следовательно, если верить в силу правды, если верить в правильность системы равенства, то подобает ждать, пока мало-помалу она объединит вокруг себя все умы. Из этих общих положений явствует, что Годвин имеет в виду кризис, переживаемый Англией. Он слышит, как часть народа кричит: «Долой косвенные налоги!» («Plus d'excise!») [14]. Он констатирует, что часть нации охвачена волнением, но не знает, насколько глубоко это движение, и считает необходимым посвятить себя прежде всего воспитательной работе.

«Великое дело всего человечества, которое разбирается сейчас перед лицом всего мира, имеет двоякого рода врагов. Одни — поклонники прошлого, другие — поклонники новшеств, не терпящие никаких отсрочек, склонные насильственно прервать спокойный, непрестанный, быстрый и благотворный прогресс мысли, совершающийся, несомненно, в мире. Человечество могло бы быть счастливо, если бы лица, проявляющие столь страстный интерес к этим великим проблемам, согласились ограничить свою деятельность распространением во всевозможных формах духа пытливости и использовать всякий удобный случай для развития и возможно более широкого распространения политических знаний».

Да, но подобный дух ожидания, длительного и терпеливого исследования, свидетельствует об отсутствии достаточно сильного напора со стороны социальных сил в пользу крупных перемен. Годвин, очевидно, не чувствует поднимающихся из народных глубин настойчивых и ясных требований. Он с силой подчеркивает неудобства и опасности революций, но ясно указывает, что было бы трусостью и эгоизмом отворачиваться от дела человеческого прогресса, отвергать великие и необходимые социальные перемены на том основании, что очень часто они сопровождаются актами революционного насилия. Революции часто вызываются мелкими причинами и руководствуются несколько убогим идеалом [15]. Когда человечество ставит перед собой близкую ограниченную цель, оно раздражается и теряет терпение при всяком

---

13. W. Godwin. An Enquiry.., t. I, p. 235.
14. «Excise» (искаженное «accise») — налог на некоторые предметы потребления.
15. W. Godwin. Op. cit., t. I, p. 263.

препятствии, но когда оно ставит себе цель возвышенную, обширную и далекую, когда оно сознает, что прогресс беспределен и что и после преобразования и даже после революции будет еще много страданий и несправедливости, оно ожидает более терпеливо тех перемен, ограниченность результатов которых оно заранее учло. Стало быть, в революционной деятельности есть некоторая узость и некоторое убожество цели. К тому же, вызванная ужасами тирании, революция часто сама становится тиранией. Для свободы нет более опасного периода. «Когда все охвачено кризисом, то боятся последствий каждого сказанного слова и всякий обмен мыслей, всякое свободное научное исследование прекращаются». Последствия революционных конвульсий ощущаются на протяжении многих поколений, и обе стороны, применявшие в борьбе друг с другом силу, долго не могут отказаться от взаимной враждебности. Революции почти всегда сопровождаются кровопролитием. А насилия одних людей над другими — одно из самых печальных явлений истории.

«Увы! — говорит Годвин с глубоким чувством и удивительным пониманием человеческого достоинства и людских страданий,— большинство людей, которые сейчас живут, бедны, они обладают очень урезанными средствами, чтобы пользоваться благами жизни, и для них человеческое достоинство остается только словом. Поэтому смерть сама по себе — наименьшая из бед человеческих. Землетрясение, подчас уничтожающее сотни тысяч человек, может вызывать сожаления только из-за горя оставшихся в живых. Но для погибших это событие, если судить о нем хладнокровно, вполне банально. Законы природы, вызывающие эти катастрофы, могут быть предметом обширных исследований, но их результаты вполне заурядны. Совсем другое дело, когда человек погибает от удара, нанесенного другим человеком. Это порождает множество дурных страстей. Виновники и свидетели этих убийств становятся жестокими, безжалостными и бесчеловечными. Те, кто теряет друга в катастрофе такого рода, полны негодования и озлобления. Распространяется недоверие человека к человеку, и рвутся самые ценные узы человеческого общества. Трудно представить себе состояние, менее благоприятное для прогресса чувства справедливости и доброжелательности» [16].

Право же, за этим широким и зыбким покровом общих фраз мне будто чудятся обагренные кровью лица сентябрьских убийц, длинное и мрачное шествие ненависти и ярости, сопутствовавших Французской революции в дни с 14 июля до 5 октября и с 10 августа до 2 сентября. Подобно великому французскому коммунисту Бабёфу, великий английский коммунист Годвин взволнован зрелищем революционных насилий. Но Бабёф, вовлеченный в водоворот событий, сам прибегнет к насилию, чтобы спасти свободу, которой угрожала опасность, чтобы установить социальную справедливость. Годвин, наоборот, подобно тем, кого назовут впослед-

ствии социалистами-утопистами, рассчитывает в деле переустройства общества исключительно на силу просвещения [17]. Он, по-видимому, считает не заслуживающими внимания такие факторы, как сопротивление эгоистических интересов, добровольное ослепление привилегированных, или, во всяком случае, думает, что прогресс общих познаний приведет к постепенным изменениям, которые будут осуществлены хотя и не без труда, но по крайней мере без насилия.

«Политика — это наука [Politic is a science]. Основные свойства человеческой природы могут быть понятны, и может быть определена структура, которая, взятая сама по себе, наиболее подходила бы для положения человека в обществе. Если этот план [организации] не может быть применен сразу и повсюду, то те изменения, которые могут быть в него внесены в соответствии с меняющимися условиями, а также степень его возможной реализации тоже являются предметом научного исследования [18].

Совершенно очевидно, что наука по самой природе своей прогрессивна. Астрономия прошла через множество этапов, прежде чем достигнуть той степени совершенства, которую ей придал Ньютон. Каким беспомощным был лепет науки о сознании, прежде чем она достигла точности, присущей настоящему времени! Политическое знание, вне всякого сомнения, находится еще в младенческом состоянии, и, поскольку оно имеет дело с жизнью и деятельностью человека, со временем, набирая силу, оно будет оказывать все более постоянное и более устойчивое влияние на развитие человеческого общества. Таков уж исторический закон для всех наук; сначала ими овладевает небольшое число людей, и лишь затем они доходят до различных классов и групп человеческого сообщества».

Итак, наука, политика и социальный прогресс будут развиваться параллельно. Конечно, те туманные познания, которые в области политики присвоили себе наименование науки, не могут оказывать никакого воздействия. Но не так обстоит дело с той точной наукой о политике, которая понемногу вырабатывается.

С другой стороны, «ошибкой было бы думать, будто наше поколение, раз у нас нет народных волнений и насилий, не сможет воспользоваться улучшением наших политических принципов».

---

16. Ibid., t. I, book IV, chap. 2, p. 271.
17. Годвин, по мнению Лефевра, «демократ анархистского толка» (G. L e f e b v r e. La Révolution française. Éd. 1963, p. 623); по мнению Жореса, первый крупный теоретик «анархизма». См. далее, с. 457.
18. W. G o d w i n. Op. cit., p. 272.

Всякий прогресс мысли неизбежно получит свое отражение в государственных учреждениях, и «ошибкой также было бы предполагать, что, доверяя исключительно разуму, рассчитывают отсрочить коренную реформу на не поддающееся учету время. На первых порах развитие всякой науки и прогресса по самой их природе идет медленно и как будто незаметно. Их первые шаги как будто случайны, мало кто их замечает, и рост их незаметен, но в результате длительной подготовки прогресс внезапно ускоряется и резко усиливается».

Этому ускорению и распространению всякого прогресса ныне содействует книгопечатание, которое бесконечно усиливает его воздействие. Таким образом, Годвин полагает, что метод эволюции, который в равной мере приложим как к развитию общества, так и науки, не есть метод отсрочки и что путем мудрой и солидной подготовки этот метод может вскоре сравняться по быстроте достижения результатов с революционным методом. Великий мыслитель явно стремится примирить «оппортунистический», осторожный метод длительной подготовки, который, по его мнению, пригоден для всего человечества, но особенно, несомненно, для английской нации, с нетерпеливым стремлением к реформе, к глубокому и фундаментальному прогрессу, пробудившимся во всем мире под влиянием Французской революции. Историк с радостью отмечает, как перекрещиваются различные течения, как бесконечно разнообразны комбинации идей и сил. Но Годвин не хочет, чтобы этот метод благоразумия был истолкован как трусливое отречение от человеческого прогресса, как страх перед жестокими условиями, которым история слишком часто его подчиняет. Опыт показывает, что революции почти всегда сопутствуют мучительные обстоятельства. Но опыт также показывает, что революции необходимы для прогресса человечества.

«В конечном счете, не следует забывать, что если революция и насилие не обязательно связаны друг с другом, то революция и насилие слишком часто совпадают во времени с великими переменами в социальном порядке [revolution and violence have too often been coeval with important changes of the social system]. То, что столь часто происходило в прошлом, может, конечно, при случае произойти и в будущем. Стало быть, долгом подлинных политических деятелей является отсрочить революции, если они не могут их предотвратить. Резонно надеяться, что, чем позже они произойдут и чем лучше будут усвоены правильные политические понятия, тем меньше будет отрицательных явлений, связанных с революцией. *Ревнитель счастья человечества должен пытаться предотвратить насилие, но с отвращением отводить глаза от дел человеческих и не способствовать нашими усилиями и нашими заботами достижению всеобщего счастья на том основании, что, может быть, в конце дело обернется насилием, это свидетельство*

болезненной слабохарактерности. Долг наш — возможно лучше использовать могущие сложиться обстоятельства и не отступать на том лишь основании, что ход вещей не вполне согласуется с нашим представлением о должном. Люди, которые возмущаются при виде коррупции, которые не терпят несправедливости и таким своим умонастроением благоприятствуют зачинщикам революции, имеют благородное оправдание для своих ошибок: эти ошибки порождены доведенными до крайности добродетельными чувствами» [19].

Какое благородное сочетание политической осторожности, мудрости ученого и человеческого великодушия! Годвин не хочет осуждать революционный пыл Франции, хотя он рекомендует для Англии другой метод действий.

Помимо изложенных им общих соображений, у Годвина есть еще два особых основания не любить революции. Он не любит правительств. Всякое правительство для него зло, и о нем можно сказать, что он является первым крупным теоретиком «анархизма». Он считает, что если общество будет лучше организовано и лучше воспитано, то сила принуждения и наказание станут ненужными. Добровольное всеобщее согласие обеспечит развитие общества, и правительства, став ненужными, исчезнут сами собой, потому что общественное мнение, в котором вся их сила, постепенно лишит их своей поддержки.

«Всякое правительство не может существовать без доверия, а доверие к правительству может существовать только благодаря невежеству. Истинной опорой правительства являются слабые и невежественные, а не мудрые. По мере того как будут исчезать слабость и невежество, будет сужаться и база правительства. Это явление не должно внушать тревоги. Катастрофа такого рода была бы поистине «прекрасной смертью» для правительства. Если однажды исчезнут слепое доверие и скрытое общественное мнение, то на смену этим обветшалым заблуждениям непременно пришло бы свободное соревнование всех в деле роста общего благосостояния [an unforced concurrence of all in promoting the general welfare]. Но, какими бы ни были в этом отношении дальнейший ход событий и будущее политическое устройство общества, во всяком случае полезно помнить, что в этом заключается сущность правительства и пробный камень для учреждений. Можно в какой-то мере сомневаться в способности человеческого рода когда-нибудь выйти из состояния подчинения и опеки, в котором он ныне находится. Но такова его судьба, и об этом полезно помнить и отдельным личностям, и обществу в целом» [20].

---

19. W. Godwin. Op. cit., t. I, p. 283.
20. Ibid., t. I, p. 238.

Итак, этот осторожный и рассудительный человек, верящий только в медленный прогресс, в длительную эволюцию, не представляет себе безрассудно резкого перехода от состояния порабощения к состоянию «анархии», но верит в то, что с ростом индивидуальной ценности людей и их склонности добровольно брать на себя взаимные обязательства всякая сила принуждения, т. е. правительство, будет обречена ослабеть и исчезнуть. И какой бы неопределенной, во всяком случае отдаленной, ни была бы эта перспектива гибели правительств, все же устроить свою жизнь так, чтобы правительство стало ненужным,— таков благородный идеал, к которому должен стремиться каждый человек. Но во время революционных кризисов все двигательные пружины напрягаются, все силы правительства концентрируются, будь то старое правительство, оказавшееся под угрозой, или новое, революционное правительство. И для этого гордого и надменного индивидуалиста, который демократию и сам коммунизм понимал как высший, наилучший способ развития личности, это еще одна причина по возможности устранить всякую гипотезу революции.

С таким же чувством ужаса и отвращения относится он и к «политическим ассоциациям» [21]. Известно, с каким презрением и гневом говорил Фурье несколько лет спустя о клубах Революции. Вспомним, что и Л'Анж противопоставлял бурным собраниям секций мудрые и спокойные ассоциации глав семей, которые, по его плану, должны были распоряжаться общественными продовольственными складами [22]. Все эти великие строители будущих обществ, влюбленные в мечту о широкой свободе и полной гармонии, не любили боевых ассоциаций, которые разделяли нацию, связывали людей крепкими партийными узами и создавали препятствия для образования всеобщей ассоциации. Годвин также ставит им в упрек, что они часть принимают за целое, разжигают дух споров и ссор, заменяют спокойные и здравые суждения науки одобрением или неодобрением группировок и уничтожают свободное общение умов, объединяя в группы людей, заранее принимающих один лозунг и повторяющих одни и те же формулы. А досадным следствием революций является то, что они множат политические ассоциации, боевые группировки.

Годвин так увлечен идеей свободного развития личности, что отвергает как притесняющую теорию общественного договора. Этот мнимый договор — химера, а если бы он существовал, он служил бы неясной мистической уздой для человеческой воли. Верно лишь одно: решение человеческого сообщества имеет цену лишь постольку, поскольку оно является выражением общей воли. Следовательно, все индивиды должны участвовать в обсуждении. Но общее решение обязательно для каждого лишь при условии его личного согласия с ним. Если единогласие не достигнуто,

меньшинство, из осторожности, или благоразумия, или чтобы не расстраивать механизм общих обсуждений, может подчиниться, но оно остается судьей мотивов, которые заставляют его подчиниться; оно не связано договором. Годвин поддерживает в индивидууме, даже когда он уступает, сознание своего права.

ГОДВИН И СОЦИАЛЬНОЕ РАВЕНСТВО

Монархия и аристократия, порабощающие и эксплуатирующие людей, невыносимы. Они могут держаться только ложью. Наоборот, демократия, каковы бы ни были ее недостатки и опасности, имеет то огромное преимущество, что она зиждется на правде и обращается к правде. Она не облекает власть покровом мрака и таинственности, она громко провозглашает право каждой живой личности, она обязывает каждого человека отстаивать свою мысль в дискуссии; таким образом, как форма правления она более всего отвечает требованиям науки.

Но это лишь при одном условии: если не ограничиться политической организацией общества, всегда поверхностной и хаотичной; при условии осуществления подлинного равенства — социального равенства, которое одно только даст каждому человеку возможность точного изучения вещей, существенный и ясный интерес к управлению и которое, таким образом, избавит его от правительственного шарлатанства — как от фикций парламентаризма, так и от грубой лжи монархии и аристократии.

Это стремление к социальному равенству мы постоянно встречаем у Годвина. Он постоянно отмечает задавленность бедных людей, так называемых «низших классов», и необходимость возродить, возвысить их путем лучшего распределения плодов труда и полного изменения системы собственности: социализм является основой и конечной целью его книги. Главное зло политических форм, основанных на неравенстве и привилегиях, он усматривает в том, что они прикрывают и поддерживают социальную несправедливость.

«Аристократия неразрывно связана с крайним неравенством собственности. Ни один человек не может быть полезным членом общества, если его способности не используются с выгодой для общего блага. В каждом обществе продукт, т. е. средства удовлетворения потребностей и нужд его членов, имеется в определенном количестве. Что может быть желательнее и справедливее, чем в какой-то мере равное распределение этого продукта между всеми?

---

21. Ibid., t. I, book IV, chap. 3, p. 285.
22. О Л'Анже см.: Ж. Жорес. Цит. соч., т. III, с. 396.

Что может быть оскорбительнее, чем накопление в немногих руках излишков и предметов роскоши при полном лишении благосостояния, простого, но сносного питания большинства людей? Можно подсчитать, что король, даже в ограниченной монархии, получает в качестве жалованья за свою службу доход, равноценный плодам труда 50 тыс. человек! Представим еще долю, которую получают его советники, его дворяне, те богатые буржуа, которые хотят подражать дворянству, их дети и свойственники. Можно ли удивляться тому, что в таких странах низшие слои общества изнемогают под бременем нищеты и безмерной усталости [penury and immoderate fatigue]? Когда на столе одного из великих мира сего мы видим богатство целой провинции, можем ли мы удивляться тому, что рядом живут люди, у которых нет даже хлеба, чтобы утолить муки голода? [23]

И можно ли считать условия подобного существования, в которые поставлены человеческие существа, последним словом политической мудрости? При подобном положении вещей высокие добродетели встречаются крайне редко. Высшие и низшие классы равным образом развращены при таком, противном природе, положении вещей. Но оставим пока в стороне высшие классы; что может быть очевиднее того, что нужда затрудняет развитие интеллектуальных способностей? Положение, которое мудрый человек должен желать для себя и для тех, кем он интересуется,— это такое положение, при котором труд и отдых чередуются, труд, не истощающий организм, и отдых, не переходящий в апатию. Таким образом, мастерство и активность не теряют силы, тело сохраняет здоровье, и ум способен к размышлению и развитию. Таково было бы положение всего рода человеческого, если бы предметы необходимости были справедливо распределены. Возможна ли система, более достойная осуждения, нежели та, которая по меньшей мере девяносто процентов людей превращает в рабочий скот, губит столько идей, не дает возможности проявиться стольким добродетелям и разрушает счастье стольких людей?»

И если Годвину возражают, что его аргумент не имеет отношения к аристократии, что он ударяет по самой собственности, он соглашается, но тут же добавляет, с тем практическим чутьем, которое у него сочетается с самым широким и смелым полетом мысли, что аристократический строй усугубляет неравенство.

«Неравенство состояний — неизбежное следствие института собственности. Верно, конечно, что множество неудобств вытекает из самой собственности, даже в самой простой ее форме, какую только можно себе представить; но эти неудобства, как бы их ни оценивать, сильно усугубляются действиями аристократии. Аристократия отводит из его естественного русла источник богатства, который мог бы принести во все слои народа не опусто-

шение, а изобилие и радость. Аристократия с постоянной заботой прилагает все усилия к тому, чтобы сосредоточить богатство в руках немногих лиц [24].

Стараясь затруднить приобретение личной собственности, аристократия в то же время чрезвычайно способствовала усилению страсти к приобретению. Все люди естественно жаждут отличиться и возвыситься, и богатство не единственный предмет их желаний; они страстно желают также превосходства в любой области, в изяществе, учености, таланте, мудрости, добродетели. И нельзя сказать, чтобы жаждущие этих преимуществ стремились к ним менее страстно, чем те, кто жаждет богатства. Богатство не было бы в такой степени объектом всеобщего страстного желания, если бы политические учреждения — в гораздо большей мере, чем его естественное влияние,— не превратили его в средство к достижению почета и уважения.

Нет большего заблуждения, чем то, которое совершают лица, живущие в полном довольстве, окруженные всяческим комфортом, когда они восклицают: «Мы находим, что все хорошо так, как есть». Эти лица сурово осуждают все проекты реформ, в их глазах это пустые бредни мечтателей и «разглагольствования тех, кто вечно недоволен». Но разве хорошо, что столь большая часть общества пребывает в отвратительной нищете, тупеет в невежестве, становится отталкивающей из-за своих пороков, вечно живет голая и голодная; постоянно толкаемая на преступления, она становится жертвой безжалостных законов, специально созданных богатыми для ее угнетения? Неужели же поиски средств, как заменить это положение вещей лучшим, можно рассматривать как мятежный акт? И что может быть более неприличного для нас самих, чем восклицать: «Все хорошо!»— только потому, что нам самим живется хорошо, и не замечать нищеты, упадка и пороков, которые у других могут быть следствием как раз этого дурного положения вещей?

Конечно, было бы вредным заблуждением вечно впадать в язвительное раздражение и гнев, как это склонны делать некоторые реформаторы и что часто располагает их в пользу проектов всяческих насильственных изменений. Но если мы и верим в то, что кротость и безграничная любовь к людям суть самые действенные средства для достижения общественного блага, то из этого не следует все же, что мы должны закрывать глаза на существующие бедствия или отказаться от страстного стремления к их устранению».

Это звучит глубоко и искренне. Конечно, нам может показаться, что Годвин излишне недооценивает значение того, что

---

23. W. Godwin. Op. cit., t. II, book IV, chap. 11, p. 109.
24. Ibid., p. 111—112.

он называет «естественным влиянием» богатства. Он, по-видимому, слишком легко поверил в то, что если разбить аристократический строй общества, то тем самым будет разбита и зловредная власть богатства. Для нас, которые убедились, что богатство сохраняет свою силу, свой привилегированный характер даже при демократии и республике, во всем этом видится несколько наивная иллюзия.

Не следует, однако, забывать, что Годвин, сокрушая все законодательство аристократии, открывал тем самым пути будущему и самому социализму. Он не утопист, воздвигающий где-то на облаках некий фантастический град. Он знает, с какими грозными препятствиями немедленно сталкивается не только совершенное равенство, но даже стремление к равенству. И этому стремлению он хочет, так сказать, дать свободу. Таким образом, когда он говорит, что власть богатства освящается политическими установлениями, то эти слова имеют для него очень широкий смысл. Речь идет не только о форме правления или об избирательной системе, но о совокупности всех законов, включая и так называемые гражданские законы, которые обеспечивают одному классу монополию собственности и власти.

Касаясь злоупотреблений нынешней системы, например огромных пенсий и жалований, раздаваемых правительством чиновникам всех рангов, Годвин доходит до самого основания социальной несправедливости: он вскрывает источник всякого богатства — чрезмерный, эксплуатируемый труд.

«Эти пенсии и жалованья выплачиваются из государственных доходов, из тех налогов, которыми облагается общество. Пожалуй, еще очень редко задумывались о природе налогов. Кое-кто предполагал, что излишки, имеющиеся у общества, могут быть собраны и отданы в распоряжение представительной или исполнительной власти. Но это грубое заблуждение. Излишки богатого человека большей частью недоступны для обложения. *Любое богатство в цивилизованном обществе есть продукт человеческого мастерства. Быть богатым — это, по существу, значит владеть патентом, дающим право одному человеку распоряжаться продуктом другого человека. Поэтому налоговое обложение может коснуться богатого лишь в той мере, в какой оно уменьшит его роскошь. Но это происходит только в очень редких случаях и лишь в очень слабой степени. На деле же обложение ведет только к увеличению труда тех, кто вследствие непосильного труда и так уже погряз в невежестве, унижении и нищете. Господствующая и правящая часть общества подобна льву, который охотится с более слабыми животными. Сперва владелец земли берет себе несоразмерно большую часть продукта, за ним следует капиталист, который оказывается не менее прожорливым. А между тем можно было бы обойтись без обоих этих классов в их теперешнем виде при другом устройстве общества. Наконец, налоговое обложение ло-*

жится новым бременем на тех, кто уже согнулся до самой земли. Какой человек, поставленный перед выбором и действительно обладающий человеческим сознанием, согласится принять от государства в качестве заработной платы с трудом добытый кусок, вырванный с помощью налога из рук крестьянина?» [25]

Капиталист, о котором говорит здесь Годвин,— это, очевидно, крупный фермер. Аристократию богатства он представлял себе главным образом в форме земельной собственности и земельного капитализма. В этом сказывается его связь с эпохой, когда, несмотря на быстрый рост промышленности и мануфактур, земельная собственность все еще занимает господствующее положение как в политическом, так и в экономическом плане. Но мимо внимания Годвина не прошло новое промышленное развитие, и в своем плане будущего общества он принимает в расчет замечательный прогресс машинного производства.

Особенно примечательно в Годвине то, что в нем находишь сочетание чисто философских и моральных умозрений в духе Мабли с практическими заботами воодушевленного примером Французской революции реформатора, с широким взглядом на будущее и великими надеждами на безграничную эволюцию, которые пробуждает в умах происходящее в мире широкое обновление.

Только путем обстоятельного и тонкого анализа можно было бы выделить все эти элементы и определить их соотношение.

Он решительно осуждает социальное неравенство: он прежде всего провозглашает равное право всех на пользование всеми благами жизни. «Человеческие существа составляют часть единой природы; что полезно и приятно одному человеку, полезно и приятно и другому. Из этого следует, согласно принципам равной и беспристрастной справедливости, что все блага мира образуют общий фонд, и каждый человек имеет законное и равное с другими людьми право брать из него то, в чем у него есть потребность. Очевидно, что с этой точки зрения пределы права одного человека ограничиваются такими же пределами права других людей. Я имею право на средства существования, и каждый человек имеет право на них. Я имею право пользоваться любыми благами жизни, не причиняя вреда ни себе, ни другим. Любой другой человек имеет на том же основании такое же право».

Однако в сложных современных обществах виды благ, на которые человек может претендовать, различны. «Их существует четыре. Во-первых, средства существования. Во-вторых, средства интеллектуального и морального развития. В-третьих, недорогие удовольствия (например, созерцание природы, путешествия пешком). И, наконец, блага, которые не являются необходимыми для

25. «Дальнейшим своим развитием теория эксплуатации обязана в Англии Годвину...» — писали Маркс и Энгельс в «Немецкой идеологии». См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, с. 412.

здоровой и простой жизни и которые можно получить лишь ценой большого труда и мастерства.

Этот последний вид благ как раз и является главным препятствием на пути к равному распределению».

Итак, неравенство начинается с появления продуктов сколько-нибудь утонченного промысла и предметов роскоши, со всего, что превышает элементарные потребности здоровой и простой жизни; и, по-видимому, Годвина привлекает мысль уничтожить неравенство, призвав людей вернуться к первоначальной простоте.

«Дальше мы увидим, в какой мере предметы этой последней категории можно допустить при чисто социальном образе существования. Но с самого начала надо отметить, насколько менее важно значение этого вида потребностей и предметов сравнительно с предыдущими видами. И без них мы можем в широкой мере наслаждаться деятельностью, довольством и хорошим настроением. А как обычно обеспечиваются эти излишества? Только лишая множество людей самого существенного и, что ужасно, даже самого необходимого, один человек обеспечивает себе самую пышную, но малозначащую саму по себе роскошь. Предположим, что эта проблема ясно встанет перед каким-нибудь человеком и что от его немедленного решения будет зависеть, отказавшись от этой роскоши, дать пятистам человеческим существам: досуг, довольство, сознание собственного достоинства и все, что может облагородить и расширить человеческий интеллект. Трудно представить себе, что он будет колебаться. Однако, хотя эта альтернатива не может встать перед одним каким-либо человеком, очень возможно, что в ней-то и кроется правильное решение, когда речь идет о всем человеческом роде».

Это тем более обоснованно, что роскошь сама по себе, без приправы в виде удовлетворенного тщеславия, вовсе не была бы источником удовольствия, и представляется вполне возможным дать для утоления человеческой гордости объект более возвышенный. Но как достигнуть фактического равенства, реального равенства при современной системе собственности? Годвин приступает к глубокому анализу собственности. Он разлагает ее на отдельные формы, чтобы сохранить те, которые являются гарантией свободы, и осудить те, которые являются средствами угнетения. И уже самый этот анализ показывает нам, что мы имеем дело не с умозрительными построениями философа-моралиста, а с работой мысли человека, обладающего чувством реальности и ищущего, каким путем воплотить в жизнь свой идеал.

«Люди живут только продуктами человеческого труда. Но между моментом, когда они начинают производить, и моментом, когда они могут потреблять произведенный продукт, есть промежуток времени. И в течение этого времени они тоже должны потреблять. Спрашивается, кто будет хранить, кто будет распределять необходимые припасы? Вот это и есть проблема собственности».

Мы видим, что Годвин не очень ясно различает потребляемые припасы, которыми питаются производители до реализации продукта, и средства производства. Правда, он начинает разбираться в том, что именно владение средствами производства и есть важнейший вид собственности, поскольку продукты потребления он рассматривает главным образом как провизию, дающую возможность работать.

ГОДВИН И СОБСТВЕННОСТЬ

«Есть три вида собственности [26].

Первый и самый простой заключается в моем постоянном праве на вещи, которые, будучи предоставлены мне, приносят больше пользы и удовольствия, чем если бы они были предоставлены кому-либо другому». Годвин, очевидно, имеет здесь в виду то, что осталось в современных цивилизованных обществах от неопределенной общинной собственности, примитивной и элементарной, как, например, право собирать колосья после жатвы и право выгона, различные права пользования, обеспеченные каждому человеку, осуществление которых регулируется только законом наибольшей пользы для всех вообще и для каждого в отдельности.

Есть другой вид собственности, когда индивидуальное присвоение сильнее и яснее выражено:

«Это то право, которое каждый человек имеет на продукты своего собственного мастерства, своего собственного труда, даже на ту часть, которую он не может сам использовать».

Посягать на эту собственность — это значит фактически запретить человеку производить такие-то и такие-то предметы. Это, стало быть, значит лишить его свободы выбора, свободной деятельности разума. Это значит поставить человеческое существо в самое унизительное положение. Правда, здесь право собственности уже не представляется столь бесспорным. В самом деле, не доказано, что человек, который произвел такой-то предмет, есть тот, кто наилучшим образом его использует, кто в общем получит от него максимум радости. И, главное, не доказано, что при последующих обменах той части продуктов, которую он сам не потребляет, он будет вести себя разумно и к наибольшей пользе общества. Однако, если бы каждый индивид вмешивался в регулирование использования продуктов, созданных другим лицом, то это породило бы «всеобщую анархию». А если бы люди вмешивались в это коллективно, это породило бы бесконечное принуждение и «всеобщее рабство». Итак, эта вторая форма собственности, хотя существование ее не всегда вполне оправданно, должна сохранить свободу проявления.

---

26. W. Godwin. Op. cit., t. II, book VIII, «Of property», p. 420.

Но есть третий вид собственности, «тот, который возбуждает наиболее пристальное внимание людей в цивилизованных государствах Европы» и является предметом самых страстных вожделений и самых дерзких усилий.

«*Это та система, каковы бы ни были, впрочем, ее частные формы, которая дает одному человеку возможность распоряжаться продуктами мастерства и труда другого человека. В цивилизованном обществе нет почти никакого вида богатства ... или роскоши, который не был бы определенно продуктом ручного труда, физической ловкости* [*corporal industry*] *жителей данной страны. Непосредственные продукты земли не бог весть что и лишь в слабой степени способствуют созданию богатства, роскоши и блеска. Каждый человек, выпивая стакан вина или надевая украшение, может подсчитать, сколько людей были обречены на рабство, на неустанный труд в поте лица, на недостаток пищи, на тяжкую работу без передышки, на жалкое невежество и огрубление чувств, и все для того, чтобы он мог обладать этими предметами роскоши. Люди странным образом обманывают самих себя, когда они говорят о собственности, завещанной им их предками. Собственность создается ежедневным трудом ныне существующих людей. Все, что предки оставили в наследство нынешним владельцам,— это заплесневелый патент, который они показывают как доказательство их права вымогать у их ближнего то, что он создал своими руками*».

Проблема поставлена со страшной четкостью. Сам Маркс не нашел бы более сильных слов, чтобы сказать, что только труд, труд живых людей является единственным творцом всякого богатства. И надо вспомнить, если мы хотим понять Французскую революцию, все ее направления, всю ее глубину, что, по признанию самого Годвина, именно вызванное Революцией потрясение побудило его принять решение обнародовать эти смелые утверждения, облечь в слова эти идеи. Но предлагаемое Годвином решение кажется шатким. Нынешние коммунисты и не думают остановить производство предметов роскоши, ни вообще всю тонкую и мощную работу современной промышленности. Они, наоборот, хотят путем постепенной передачи коллективу трудящихся производственного капитала мало-помалу распространить на всех богатство и блеск.

Читая Годвина, порой задаешься вопросом, не соблазняет ли его мысль остановить весь этот механизм производства, до такой степени губительным представляется ему его влияние ныне на положение большинства людей. Временами его как будто влечет к некой примитивной простоте и псевдоспартанскому коммунизму. В современных обществах труд принял столь отталкивающие формы, он так несправедливо эксплуатируется, что Годвин в своей резкой социалистической критике как будто хочет (как это, впрочем, делали иногда некоторые подлинные или мнимые последователи марксизма) устранить и самый труд.

«Самое желательное для человеческого общества,— говорит Годвин,— сократить до минимальных размеров количество ручного труда, физической работы, и особенно ту часть труда, которая не является результатом свободного выбора, но на которую обрекает человека необходимость. Если один человек может пользоваться некоторым, хотя и самым обыкновенным благосостоянием, тогда как это благосостояние недоступно другому члену общества,— то это, безусловно, зло. Вся утонченность роскоши, все изобретения, которые могут потребовать большого количества рабочих рук [большого количества рабочей силы], являются прямым препятствием для распространения счастья. Каждый навязанный стране дополнительный налог, каждый новый канал для расходования государственных средств, если только это не компенсируется (что редко бывает) соответствующим урезыванием роскоши богатых, в такой же мере увеличивает невежество и изнуряющий тяжкий труд. Какой-нибудь деревенский джентльмен, который, срывая в своем парке бугор или устраивая в нем пруд, дает работу сотням бедных работяг, является врагом, а не другом человеческого рода, как это обычно воображают. Предположим, что в некой стране в настоящее время в десять раз больше промышленного и ручного труда, нежели три века назад. За исключением того, что необходимо для содержания возросшего населения, эта рабочая сила расходуется на самые дорогостоящие фантазии богатых. Очень мало средств используется на увеличение благосостояния и счастья бедняков. Ныне они едва влачат свое существование, а ведь они могли существовать в те отдаленные времена, о которых я говорю.

Те, кто обманом или силой узурпировали власть покупать и продавать труд большой массы членов общества, вполне готовы позаботиться о том, чтобы эта масса могла лишь прокормиться [27]. Добавление или изъятие из общего запаса одного продукта промышленности вызывает кратковременное изменение, и прежнее положение вещей быстро восстанавливается.

Если бы каждый работник в Великобритании мог и хотел ныне удвоить количество своего труда, он мог бы в течение короткого времени извлекать некоторую выгоду из возросшей массы произведенных товаров. Но богатые быстро найдут способ монополизировать новые продукты, как они сделали с прежними. Лишь малая часть будет состоять из продуктов, крайне необходимых для существования человека, или будет справедливо распределена в обществе. Все, что является предметами роскоши и излишеством, лишь увеличит наслаждение богатых и, возможно в результате снижения цен на предметы роскоши, число тех, кому эти наслаждения

---

27. Это похоже на неловкую формулировку «железного закона» заработной платы.

доступны. Но это не принесет никакого облегчения большей части общества. Наиболее богатые члены общества не станут, я думаю, платить своим подчиненным за двадцать часов работы бо́льшую заработную плату, чем за десять часов».

Не похоже ли это на одну из самых резких страниц «Капитала», где Маркс показывает ужасающую эксплуатацию труда и алчность английского капитализма, поглощающего все полезные результаты труда рабочих [28]? Судя по последней тираде, Годвин хотел здесь отметить в форме гипотезы непрестанные усилия капитала увеличить как можно больше продолжительность рабочего дня. Стало быть, не надо торопиться утверждать, что Годвин этим хотя бы кажущимся желанием уничтожить роскошь лишь повторяет избитые места моралистов и проповедников или же впадает в примитивный ретроспективный и химерический коммунизм некоторых французских писателей XVIII в., ибо прежде всего у него другой акцент.

В самом деле, эти мрачные краски свидетельствуют о хорошем знании английской социальной жизни. Это она, со своими жестокими и безжалостными изменениями, составляет как бы черный фон этой мрачной картины. Правда, кажется, что Годвин в своей ненависти к новым формам угнетения, порожденным ростом роскоши и промышленности, хотел бы вычеркнуть из английской истории последние три столетия и вернуться к XV в., к тому докапиталистическому периоду, который предшествовал насильственной концентрации земельной собственности. Разве не кажется также иногда, что, подобно Марксу, описывающему нам мучительное и жестокое развитие капитализма [29], он скорбит о том, что человечество не остановилось на предыдущей стадии? А между тем он хорошо знает, что невозможно остановить движение истории и что это было бы пагубно, поскольку капитализм есть предварительное условие осуществления социализма. И Годвин, хотя он менее ясно сознает необходимость вечной эволюции, не обращает своих взоров назад, к прошлому. Впрочем, следует вспомнить, что в то самое время, когда он как будто осуждает производство предметов роскоши, он задается вопросом, *в какой степени* они могут найти себе применение в более простом обществе, и это открывает виды на будущее. С другой стороны, от Мабли, Руссо и Гельвеция его отличает то, что, с их точки зрения, первоначальное равенство исчезло навсегда, что человечество может с сожалением вспоминать об этом райском состоянии общества, но, будучи обременено нуждой, пороками и всеми сложностями жизни, оно уже не обретет его снова. Годвин, наоборот, твердо надеется на то, что равенство действительно возможно. То, что для наших социальных моралистов лишь отблеск догорающего заката первоначальной невинности, для Годвина — залог будущего, свет занимающейся на востоке зари. Провозгласив равноправие всех людей, проанализировав различные виды собственности, как согласующиеся с этим равно-

правием, так и противоречащие ему, изобличив тот вид собственности, который позволяет одному человеку присваивать себе продукты труда другого, как самую отвратительную эксплуатацию большинства дерзким или хитрым меньшинством, Годвин задается вопросом, каким образом может исчезнуть этот несправедливый порядок, каким образом могут быть осуществлены социальное равенство и справедливость. Он не предается несбыточным мечтам о прошлом, он уже теперь ищет средств осуществления программы будущего. Да и как бы мог он тешить себя пустыми мечтами, как бы мог он отделять мысль от действия и возводить в идеал какие-то бледные призраки первых веков человечества в то время, когда в горниле Французской революции и благодаря ей люди надеялись, действовали, созидали?

Революция переплавляла в своем пылающем горниле человеческое общество, она почти переплавляла человеческое сознание. Как же было Годвину не предложить для отливки, если можно так выразиться, всей этой массы расплавленного металла ту форму равенства и справедливости, которую долгое время в уединении вынашивал его ум? Вот почему он спешит написать свою книгу. Вот почему он посылает ее Конвенту.

Правда, мы уже знаем, что осуществления своих идей он ждет не от насилия, не от грубых революционных действий, а только от перемен в умах и нравах. До тех пор, пока не будет завершено это духовное и моральное обновление, собственность должна сохраняться.

«Система, которая позволила бы каждому захватывать все, что он хочет, не принесла бы ничего, кроме нищеты и беспорядка. Если бы с помощью какого-нибудь позитивного установления собственность была бы разделена поровну, без одновременной перемены в склонностях и чувствах людей, она на следующий день стала бы вновь неравной. То же зло быстро выросло бы опять, и мы ничего не выиграли бы от этой попытки, которая, нарушая сложившиеся привычки и склонности многих людей, сделала бы несчастными тысячи. Если бы правительство взяло в свои руки управление всем и распределение между всеми хлеба насущного, то это был бы режим принуждения и вечного наказания. Позволительно предположить, что аграрные законы или другие законы подобного

---

28. См. главы, посвященные Марксом первоначальному накоплению капитала. (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23.) См. выше, с. 447, прим. 2.
29. «Мы рассмотрели те насилия, при помощи которых были созданы поставленные вне закона пролетарии, тот кровавый режим, который превратил их в наемных рабочих, те грязные высокогосударственные меры, которые, усиливая степень эксплуатации труда, повышали полицейскими способами накопление капитала». Так начинается параграф 4 главы XXIV первого тома «Капитала». (См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, с. 752.)

рода, придуманные с целью уничтожить дух накопления, должны рассматриваться как лекарства более вредные, чем та болезнь, от которой они должны исцелить» [30].

В распределении богатства не должно быть никакого принуждения, ни индивидуального, ни коллективного. Люди сами придут к «верной оценке богатства и будут смотреть на накопление и на монополию как на печать горя, несправедливости и бесчестия». Но разве можно отвратить их от этого силой?

«Если какой-либо человек, вследствие ли большей изобретательности или неустанного труда, получит больше предметов необходимости или жизненных благ, чем его ближний, и, получив их, решит превратить их в средства сохранения постоянного неравенства, то это не значит, что было бы справедливо и разумно положить конец такому поведению путем принуждения. Если после того, как возникло таким образом неравенство, более бедные члены общества или окажутся настолько испорченными, что сами захотят, или попадут в столь тяжкое положение, что будут вынуждены сделаться наемными слугами, работниками у более богатого человека, то, вероятно, это тоже не то зло, которое можно было бы исправить путем вмешательства правительства. Но раз мы пришли к такому мнению, трудно поставить пределы росту накопления богатства у одного человека и бедности и горя — у другого».

Годвин не только констатирует невозможность остановить посредством закона эту капиталистическую эволюцию, по поводу которой он сетует; он не только считает ее глубоко укоренившимся явлением, проистекающим из ложно понятой человеческой свободы, явлением, которое может быть уничтожено только той же свободой, но просвещенной и ставшей на верный путь, но и отказывается нарушать это развитие. На какой-то момент он задумывается над вопросом: нельзя ли умерить это развитие путем отмены законов, гарантирующих право наследования и свободу завещания [31]:

«Что́ нам следует думать о покровительстве, оказываемом праву наследования и щедрости завещаний? Нет никакой заслуги в том, чтобы родиться сыном богача, а не сыном бедняка, заслуги, которая дала бы нам основание обеспечить одному человеку изобилие, а другого обречь на неодолимую нужду. Конечно, мы вправе кричать, что достаточно и того, если людям позволяют пользоваться их узурпацией (ибо мы никогда не забываем, что накопленная собственность — узурпация) пожизненно. И уж полная нелепость, когда власть собственника простирается даже за пределы его естественного существования, когда ему дается право распоряжаться событиями даже тогда, когда его уже нет на этом свете».

Однако Годвин озабочен тем, как бы не ослабить пружину, стимулирующую индивидуальную деятельность, и не связать воли

людей даже в том случае, когда она заблуждается, поэтому он высказывается против идеи уничтожения права наследования.

«Аргументы, которые могут быть приведены в пользу сохранения права наследования и завещательных дарственных, сильнее, чем можно предположить на первый взгляд. Мы пытались показать, что людям должно быть обеспечено право распоряжаться собственностью, лично ими приобретенной, расходуют ли они ее на необходимые им предметы или на предметы роскоши, которые тешат их фантазию; передают ли они ее другим людям в размерах, продиктованных справедливостью или подсказанных им их ошибочным суждением. Попытка лишить их этого права свободно распоряжаться перед смертью своим имуществом была бы пагубной и обречена на неудачу. Если мы помешаем им открыто завещать свое имущество, то мы не сможем помешать им передавать его при жизни и тем самым откроем двери для всякого рода обид и бесконечных тяжб. Большинство людей, естественно, склонно передавать свое имущество после смерти своим детям. Поэтому, если они не высказали своей воли на этот счет, разумно предположить, что бы они сделали, и когда общество распоряжается таким образом (в пользу детей), то такое вмешательство — самое мягкое и наиболее оправданное. Если же воля завещателя оказалась причудливо пристрастной, то чаще всего к такой несправедливости следует отнестись с уважением, ибо ей нельзя воспрепятствовать, не рискуя впасть в еще большую несправедливость».

Поэтому Годвин ограничивается требованием упразднения привилегий феодального и аристократического порядка, которые отягчают привилегию собственности.

«Хотя, быть может, и верно, что право наследования и привилегия завещания суть необходимые следствия системы собственности в обществе, члены которого погрязли в предрассудках и невежестве, однако во всех цивилизованных странах Европы нетрудно указать на такие случаи, когда гражданские установления, вместо того чтобы ограничиться гарантией уже существующего неравенства в накоплении, устранить которое не позволяет осторожность, сами умышленно стараются делать это неравенство еще более заметным и более тягостным. Таковы, например, феодальная система, система сословий, сеньориальных прав, штрафов, гужевой повинности, субституций [entails], таковы различия в форме

---

30. Это осуждение «аграрного закона», уравнительного раздела земель. Мысль Годвина идет по тому же пути, по которому шла мысль Бабёфа. «Значит, вы добиваетесь аграрного закона?.. Нам скажут, и вполне справедливо, что аграрный закон продержался бы не более одного дня, что на следующий день после его установления возродится неравенство» (Манифест плебеев. «Трибун народа», № 35, 9 фримера IV г.). (См.: Г р а к х Б а б ё ф, Сочинения. М., 1977, т. III, с. 510.)

31. W. G o d w i n. Op. cit., t. II, p. 444—446.

земельной собственности: свободное держание [freehold], держание по копии [copyhold] и сеньория [manor]. Здесь мы сталкиваемся с политикой людей, которые, создав себе вышеуказанными средствами привилегированное положение, злоупотребляют им, чтобы монополизировать вопреки общим интересам все, что их алчность может захватить» [32].

РЕАЛИЗМ ГОДВИНА

К упразднению феодальной системы Годвин хочет приступить с большой осторожностью; и в этом случае великий «утопист» обнаруживает очень верное понимание истории и эволюции.

«В обществе часто бывают злоупотребления, которые, будучи вначале своего рода наростами, с течением времени настолько переплетаются с самыми основами общественной жизни, что их нельзя уже сразу вырвать, не рискуя вызвать величайшие бедствия. Феодальные права и сословные привилегии сами по себе совершенно незаконны. *Имущественное неравенство является, быть может, тем состоянием, через которое мы неизбежно должны были пройти и которое вначале способствовало развитию умственных способностей человека.* Но было бы трудно доказать, что феодальный порядок и аристократия породили много добра. Все это так, и все же, если бы их внезапно, одним ударом уничтожили, это вызвало бы неизбежно две беды. Прежде всего, тысячи людей были бы внезапно поставлены в положение, противоположное тому, к которому они до сих пор привыкли, в положение, быть может, наиболее благоприятное для счастья человека и его достоинства, но приспособиться к которому в силу старых привычек они совершенно не в состоянии, и такая резкая перемена стала бы источником постоянной грусти и страданий. Сомнительно, чтобы во имя самого справедливого дела реформы мы должны были обрекать на несчастье целые классы людей. Во-вторых, всякая резкая попытка отмены действующей практики, даже если ее введение не может быть никоим образом оправдано, была бы истолкована как посягательство на само общество и сопровождалась бы опасными судорогами и мрачными предзнаменованиями».

Таким образом, Годвин как будто согласен с умеренными революционерами Франции, с теми, кто всеми силами отстаивал принцип возмещения за упраздненные феодальные права. Какой, казалось бы, контраст между смелостью принципов, отрицающих всякую покоящуюся на эксплуатации собственность, и умеренностью, можно сказать, незначительностью непосредственных выводов! У этого великого революционного мыслителя, задумавшего иное социальное устройство мира и идущего значительно дальше самых смелых монтаньяров и самых пылких якобинцев, проявляется порой как будто оттенок модерантизма и почти фейянского духа. Но именно этот контраст и придает смелым умозри-

тельным построениям Годвина всю их ценность и весь их смысл. Именно своей заботой о смягчении условий переходного периода он и доказывает, что он не прожектер и не фантазер. Если бы он был автором социальных романов, если бы он удовольствовался тем, что облек в форму расплывчатого идеала смутные сожаления о некоем мнимом первоначальном счастье, или если бы он написал, вслед за Мерсье, свой «Париж в 2000 году» [33], ему бы не было никакого дела до препятствий. Он не стал бы тогда заботиться о том, чтобы возможно меньше задевать существующие интересы и привычки в ходе величайших и самых глубоких преобразований. Но к своей собственной идее он относится всерьез; он действительно хочет вести пришедшее в движение общество к новой форме, при которой исчезла бы собственность, покоящаяся на захвате и эксплуатации. Он знает, что к этой цели можно прийти только поэтапно, и поэтому интересуется ближайшими успехами, сколь бы скромными они ни казались при сопоставлении с его высшим идеалом, потому что они ведут к нему или по меньшей мере расчищают к нему пути.

Вот это серьезное звучание, этот реалистический колорит и придают, на мой взгляд, исключительную ценность произведению Годвина. Его план социального равенства не отвлеченная химера: он гибок и приспособлен к грандиозному движению, порожденному Французской революцией. И, при всей своей осторожности, при всем «оппортунизме» своей программы ближайших действий, Годвин ни на минуту не теряет из виду того высокого света справедливости, великой идеи равенства, к которой он стремится.

О, как спешит он создать наконец новое общество и избавить человечество от всех пороков, привитых ему системой привилегированной собственности! Первое ее следствие, первый порок — это рабский дух. Раболепные происки придворных перед монархом, раболепные происки бедняка перед богатым, от которого он ожидает милостей; унижение лакеев перед богатым хозяином, их старания упредить его капризы, потакать его причудам; приторная угодливость торговца перед его покупателями; раболепство кандидата на народных выборах: всюду гнущие спину люди.

И всюду видишь несправедливость, выставляемую напоказ, богатство, ставшее единственным мерилом всякой ценности, и истинное достоинство, униженное им. Отсюда черствое, эгоистическое равнодушие людей к ставшей привычной несправедливости; отсюда всеобщая грубая алчность, потому что все хотят обзавестись этой мнимой, но дающей высшую власть ценностью, которая перевешивает все другие ценности или сводит их на нет.

---

32. Ibid., t. II, p. 448—449.
33. Себастиан Мерсье (Sébastien Mercier) (1740—1814), знаменитый автор «Картин Парижа» («Tableau de Paris»), был также автором некоей утопии — «L'an deux mille quatre cents, rêve, s'il en fût jamais» (1770 или 1771 г.).

Третье пагубное следствие нынешней системы собственности заключается в ее нивелирующем действии. Да, она нивелирует природу людей, делает ее однообразной и унижает ее. Она затрудняет и делает почти невозможным утверждение в обществе других ценностей, кроме богатства, она отвращает людей от развития их способностей в самых различных направлениях. Она ставит перед ними лишь одну цель, она открывает перед ними лишь один путь. И, между тем, как из многообразных человеческих усилий могли бы вырасти многие вершины, налицо лишь одна бесформенная, безобразная и колоссальная громада, громада накопленного богатства, тяжелое нагромождение, застилающее горизонт.

«Дух угнетения, дух раболепства, дух мошенничества — таковы непосредственные плоды нынешней системы собственности».

И она настолько извратила и ослепила умы, что люди принимают ее за какую-то форму права, они могут жаловаться на поверхностные проявления неравенства и несправедливости, но и не подумают посягнуть на главное неравенство, основную несправедливость.

«*Ничто*,— говорит Годин [34],— *не возбуждало более резкого осуждения, чем пенсии и подкупы деньгами, которые ведут к тому, что сотни индивидов вознаграждаются не за служение обществу, а за то, что предают его, чем использование плодов столь тяжкого труда на откармливание раболепных приверженцев деспотизма. Но податной список земельных рент Англии представляет собой перечень пенсий, гораздо более чудовищный, нежели все те суммы, которые используются, как полагают, для обеспечения правительственного большинства. Все богатые, и особенно получившие богатство по наследству, должны рассматриваться как живущие на синекуру, доходы которой, обеспечиваемые трудом рабочих и мануфактурщиками, тратятся сильными мира сего на роскошь и негу*».

Обратите попутно внимание, что, хотя Годвин разоблачает зло, причиняемое накоплением собственности во всей сфере социальной деятельности, как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, все же наиболее отвратительной в его глазах является привилегия собственности в форме землевладения [35]. Он противопоставляет «мануфактурщиков» наравне с рабочими землевладельцам. Дело в том, что значительная часть английской промышленности была еще представлена ремесленниками, скромными буржуа, выполнявшими, подобно тем бедным промышленникам Ноттингема и Шеффилда, чьи петиции я цитировал [36], значительную долю работы. Но, подчеркивая это замечательное место, я хотел главным образом показать прием Годвина: к требованиям, уже ставшим популярными и признанными, он присоединяет более смелые требования из своей собственной системы. Он старается показать, что его великое утверждение социального равенства является логическим следствием, необходимым дополнением слишком робких проектов реформ, уже принятых общественным мнением. И, таким

образом, он включает свою идею в общее движение. Да, вы правы, люди, когда жалуетесь на этот перечень пенсий, пожирающих в пользу кучки праздных бóльшую часть того, что произведено вашим трудом. Но земельная рента, рента с крупной английской собственности, которая поддерживает роскошь ленивой и расточительной аристократии, разве это не чудовищный перечень пенсий? Разве собственность не является преимущественно синекурой, парадной и паразитической должностью? Так, путем смелых аналогий, Годвин расширял до пределов социальной революции в области собственности то движение протеста и реформы, которое зарождалось в мире повсюду. Так к посаженному Революцией дереву свободы и демократии он прививает черенок эгалитарного социализма. И мог ли такой великолепный черенок не привиться к полному жизненных соков дереву Революции?

ГОДВИН И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Годвин ясно сознавал, чтó его отделяло от его предшественников, от тех, кто до него предлагал людям эгалитарные системы. В любопытном примечании [37], где он дает свои ссылки, приводит примеры и ссылается на авторитеты, я вижу, что он говорит о Спарте, Крите, о Перу и Парагвае [38]; и может показаться несколько наивным с его стороны сопоставление этих различных форм коммунизма, подлинного или мнимого, с тем, чем мог бы быть коммунизм в современном европейском мире. Но в его глазах это лишь указания, «практические авторитеты», подтверждающие, что в действительности не исключена возможность вырваться из тисков системы собственности. Это не образцы, и совершенно очевидно, что авторитарная регламентация в Перу и Парагвае [39] находится

---

34. W. Godwin. Op. cit., t. II, p. 458.
35. Это характерно не только для Годвина, но для всех уравнителей, выступавших во время Французской революции, в том числе и для «бешеных». До такой степени земледелие было в то время важнее промышленного производства.
36. См. выше, с. 443—444.
37. Это очень длинное примечание. (W. Godvin. Op. cit., t. II, p. 459.)
38. Спарта времен Ликурга, Крит времен Миноса, Перу времен инков, Парагвай времен организованных иезуитами индейских общин — все это примеры, более или менее идеализированные, которые питали мысль утопистов и эгалитаристов XVIII в. См.: A. Lichtenberger. Le so: cialisme au XVIII^e siècle. Paris, 1895; Ch. Rihs. Les philosophes utopistes. Le mythe communautaire en France au XVIII^e siècle. Paris, 1970.
39. См., в частности: «Lettres édifiantes» иезуитов-миссионеров относительно Парагвая (A. Lichtenberger. Op. cit., p. 58). См. похвалу общинной организации в Перу и Парагвае в работе: Abbé Raynal. Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans deux Indes. 1770.

в полном противоречии с индивидуалистским и анархистским коммунизмом Годвина.

Я вижу, что он ссылается также на «Республику» Платона [40], но спешит добавить:

«Легкомыслием было бы отрицать, что системы Платона и других полны недостатков. Но это только усиливает их влияние, ибо истина, которую они утверждали, была столь очевидна, что она сохраняла свою власть над их умами, хотя они еще не знали, какими средствами можно устранить связанные с нею трудности».

Годвин, вне всякого сомнения, ясно представлял себе способ, каким следует устранить эти трудности. Это превосходное средство — сила воспитания, правды и искренности, которые связаны с абсолютной демократией. Но сколь многозначительна его фраза о Мабли: «Мабли в книге «О законодательстве» [41] обстоятельно разъяснил преимущества равенства; *но затем, отчаявшись, он забросил эту тему, полагая, что человеческая испорченность неисправима*».

Годвин возвращается к этой теме, и он не отчаивается. Старый мир, в котором жил Мабли, так внезапно рухнул, столько старых пороков было вырвано с корнем, столько явилось новых добродетелей, целый народ оказался способным на такую твердость, проявил такой мужественный дух независимости, что уже нет разумных оснований сомневаться в прогрессе рода человеческого и устанавливать ему какие-то пределы. Так могучее дыхание Революции окрыляло великую надежду социалиста. Так система равенства, когда весь мир пришел в движение, претендовала на все возраставшую реальность. И Годвин заключает следующей основополагающей формулой:

«Равенство состояний, или, иначе говоря, равный доступ для всех к средствам совершенствования и радости,— таков закон, который голос справедливости властно предписывает человечеству. *Все другие изменения в обществе хороши лишь тогда, когда они являются звеньями этого идеального состояния и ступенями к достижению его*».

Французская революция, которая стала в некотором роде европейской революцией, и представлялась Годвину таким звеном и ступенью.

Да и что можно возразить против этой системы равенства? Можно ли сослаться на непостоянство натуры человека?

Но если человек по природе своей жаждет преимуществ, отличий, то ведь эти стремления можно направить к иным преимуществам, чем богатство.

Может быть, скажут, что состояние равенства полностью противоречит всем нынешним склонностям людей и что, если даже его удастся на короткое время осуществить, продержится оно недолго?

«Конечно, оно далеко от всех образов мышления и действия, которые ныне преобладают. Вероятно, потребуется длительный период времени, прежде чем оно сможет быть полностью осуществлено. Но если оно соответствует законам разума, его шансы на осуществление будут возрастать по мере прогресса разума, а последнему нет границ... Конечно, если бы привилегия собственности была уничтожена силой или если бы даже привилегированное меньшинство от нее отреклось, прежде чем человечество созрело для нового порядка, неравенство не замедлило бы возродиться после известного периода варварства. Но речь идет не о принудительном упразднении собственности и не о минутном отречении от нее под влиянием временного увлечения; она исчезнет по мере прогресса общего воспитания, само чувство общности предотвратит, без принуждения, без наказаний, все мысли об эгоистическом накоплении, о скупке и монополии» [42].

Может быть, скажут, что эта система равенства будет поощрять развитие лени, что она усыпит в людях дух предприимчивости и мастерства?

«В торговых странах мы видим, какие чудеса творит страсть к наживе. Флоты их жителей бороздят моря, их обитатели вызывают удивление человечества утонченностью своей изобретательности, удерживают под своей властью силой оружия обширные материки в отдаленных уголках земного шара, способны противостоять самым мощным конфедерациям и, обремененные налогами и долгами, как будто достигли нового процветания под этим все возрастающим бременем».

Можно ли этой могущественной капиталистической Англии, энергию и смелость которой Годвин изображает в красках, напоминающих ту картину, которую дал Питт, предложить какую-то систему бескорыстия и инерции?

«Можем ли мы не задумываясь отказаться от побудительных мотивов к деятельности, которые оказались столь поразительно эффективными? Как только в обществе будет принят принцип, что каждый человек может пользоваться лично только тем, что ему необходимо, все люди утратят интерес к предприятиям, которые ныне требуют от них напряжения всех их способностей. Как только будет принят принцип, что каждый человек, не будучи обязан применять свои собственные способности, имеет право на часть

---

40. «Республика» была написана около 392 г. до н.э. Среди других теорий Платон высказывает идею, что необходимым условием социальной гармонии является общность имуществ, жен и детей. Аристофан высмеял это в комедии «Женщины в народном собрании».
41. M a b l y. De la législation ou principes des lois. 1776. [См.: Г. М а б л и. Избранные произведения. М.— Л., 1951. — *Прим. ред.*]
42. W. G o d w i n. Op. cit., p. 475.

излишков других людей, апатия станет вскоре всеобщей. Такое общество либо зачахнет, либо будет вынуждено в целях самосохранения возвратиться к системе монополий и корыстных интересов, которую теоретики-резонеры тщетно будут осуждать»[43].

И в ответ на это возражение, как и на все другие, Годвин говорит:

«То равенство, за которое мы ратуем,— это равенство, которое осуществится, когда будет достигнуто высокое интеллектуальное совершенство. Столь благотворная революция может произойти в делах человеческих только тогда, когда общественное сознание достигнет высокой степени просвещения. И как могут люди, достигшие столь высокой степени просвещения, не признать сами, что жизнь, в которой здоровая деятельность чередуется с приятным отдыхом, бесконечно выше жизни, протекающей в отвратительной лени? Выше не только в смысле достоинства, но и в смысле доставляемой радости».

В обществе, основанном на равенстве, «ни один человек не будет считать себя полностью освобожденным от обязанности физического труда, никто не будет предаваться лени, каковы бы ни были его положение и призвание. Никто не будет настолько богат, чтобы валяться в состоянии постоянной апатии и жиреть за счет труда своих товарищей. Математики, поэты и философы найдут в этом физическом труде дополнительный источник радости и энергии, повторяясь с перерывами, он заставит их почувствовать себя людьми». Тогда исчезнут все легкомысленные и пустые ремесла, все сложное судопроизводство, которое плодит всякого рода конфликты, будут уничтожены армии, сухопутные и морские; тем самым те неисчислимые силы, которые ныне отвлекаются или расточаются, можно будет использовать для широкого производства предметов, полезных для всех. И это само по себе широкое производство, распределенное между всеми гражданами, потребует от каждого из них лишь небольшую часть его времени. Уже не будет больше аристократии, эгоистической и тщеславной, чтобы поглощать большую часть рабочей силы, подобно тому, как некогда она вместе со своей феодальной челядью сковывала значительную часть живых сил стран.

«Во времена феодализма крупный сеньор созывал бедняков и кормил их продуктами своего имения, за что они должны были носить его ливрею и выстраиваться длинными рядами для воздания почестей его гостям благородного происхождения. Теперь, когда обмен товаров стал делом более легким, сеньор отказался от этого довольно примитивного образа действий и заставляет людей, которых он содержит на свои доходы, служить ему своей ловкостью и мастерством».

Подобно тому как сеньоры распустили свои феодальные дружины, они должны будут распустить толпы своих работников, и вся рабочая сила будет использована тогда для производства прочного

и общеполезного богатства. Ныне лишь одна двадцатая часть населения занимается действительно полезным трудом. «Стало быть, если бы ту работу, которую выполняют ныне немногие члены общества, дружески распределить между всеми, то она заняла бы у каждого из них лишь двадцатую часть его времени. Если мы предположим, что продолжительность рабочего дня одного рабочего, за вычетом часов на сон, отдых и еду, составляет 10 часов, то этого более чем достаточно. Из этого следует, что, если каждый член общества будет заниматься полчаса в день физическим трудом, этого будет достаточно для обеспечения общества всем необходимым. Кто же станет уклоняться от столь непродолжительной работы?»

ГОДВИН И СОЦИАЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА

Отдаленная перспектива, скажут, быть может, некоторые, хотя умственный прогресс идет все быстрее, хотя «одна идея беспрерывно порождает другую». Во всяком случае, перспектива несомненная. И тут опять-таки Годвин помещает свое идеальное общество в конце констатируемого им длительного политического и социального развития: оно явится завершением эволюции, смысл которой уже очевиден. Это можно видеть из того, что он говорит о феодальных дружинах. Но прежде всего увлечение республиканскими надеждами позволяет ему предвидеть еще большее увлечение надеждами социальными. Уж если поверхностное политическое равенство возбуждает в мире столь великие ожидания и столь поразительный энтузиазм, то какого воздействия следует ожидать от идеи великого и глубокого равенства людей?

«*Известно*,— говорит Годвин,— *что установление республиканского правления вызывает в обществе энтузиазм и неудержимый порыв. Можно ли думать, что равенство, которое и есть подлинный республиканизм, окажет менее сильное воздействие? Правда, в республике этот дух рано или поздно слабеет. Республиканизм не то лекарство, которое искореняет зло. Несправедливость, угнетение и нищета могут еще обитать в жилищах, где как будто поселилось счастье. Но что может ограничить развитие духа, его рвение и совершенствование там, где неизвестна монополия собственности*?»

Итак, мысль Годвина охватывает все события и использует их в своих целях. В этом пыле республиканской надежды и республиканского энтузиазма ощущается горячее дыхание Французской революции. Последние главы своей книги, те самые, выдержки из которых я только что приводил, Годвин писал как раз

---

43. Ibid., p. 482.

тогда, когда Конвент провозглашал Республику [44]. И он усматривает в великом волнении, охватившем массы, признак необычайной способности к обновлению и благородной надежды, которые таит сердце человеческое. Но, проникаясь пылким духом Революции, он в то же время говорит Революции: «Ты — лишь первый образ свободы и радости, еще очень бледный и куцый». Он говорит Республике: «Ты — лишь видимость Республики, раз ты полна уважения к той главной аристократии, которая заключается в привилегии собственности. Только в социальном равенстве ты обретешь осуществление твоих стремлений, твоих идей, полноту твоего бытия».

Он, так сказать, отдается на волю течения истории, не пытаясь изменить ее направление, но предупреждая ее о необходимости не терять из виду более отдаленные цели. Так же как новое, рожденное Революцией общество не сможет полностью осуществить свободу, справедливость и мир до тех пор, пока оно не упразднит привилегию собственности, точно так же оно не сможет обеспечить мир между народами.

... Французская революция в лице Учредительного собрания отвергла все завоевательные войны и возвестила наступление царства мира [45], и на мгновение народы охватила радость. Но теперь вследствие эгоизма привилегированных и аристократов в Европе разразилась война. И такие войны, вызванные феодальной аристократией, будет всегда провоцировать любая аристократия собственности.

«Из всех человеческих страстей самые огромные опустошения производит честолюбие. Оно присоединяет один округ к другому округу и одно королевство к другому королевству. Во имя его всю землю заливают потоками крови и обрекают на страдания. Но и сама эта страсть, как и средства, служащие для ее удовлетворения, являются продуктом господствующей системы собственности. Только путем накопления собственности один человек приобретает непреодолимую власть над множеством других. Нет ничего легче, как вовлечь в войну организованную таким образом нацию. И наоборот, если бы Европа была населена людьми, имеющими все необходимое и никаких излишков, то что могло бы породить враждебность между различными странами? Если вы хотите заставить людей вести войну, вы должны привлечь их какой-нибудь приманкой, или, за неимением таковых, пришлось бы убеждать каждого в отдельности. Но разве возможно путем одних лишь убеждений заставить один народ истреблять другой? *Совершенно очевидно, что война со всеми ее бедствиями — плод имущественного неравенства.* Пока будет существовать этот источник зависти и коррупции, *всякие речи о всеобщем мире будут химерой* [*visionary*]. Как только этот источник иссякнет, результаты скажутся обяза-

тельно. Именно накопление собственности в руках нескольких заправил превращает человечество в некую грубую массу, которую можно мять и которой можно управлять, как простой машиной. Устраните этот камень преткновения, и каждый человек будет связан со своим ближним узами любви и взаимной нежности, в тысячу раз более сильными, нежели теперь, ибо тогда каждый человек будет думать и судить самостоятельно»[46].

Следовательно, великая миролюбивая мечта рождающейся Революции будет осуществлена только при эгалитарной социальной организации, и здесь опять-таки Годвин обязан своим порывом революционному движению, которое он, однако, опережает. Какую радость вселяли в его душу эти прекрасные видения будущего, об этом Годвин рассказал позднее.

В своей книге он затронул и вопрос о народонаселении. Он выражал уверенность в том, что при лучшей обработке земля может прокормить гораздо большее количество людей.

«Подсчитано, что обработка земли в Европе может быть усовершенствована настолько, чтобы прокормить в пять раз больше жителей, чем ныне. В человеческом обществе действует закон, в силу которого население всегда низводится до уровня средств существования. Так, у кочевых племен Америки и Азии мы никогда не наблюдали, чтобы население выросло настолько, чтобы стала необходимой обработка земли. У цивилизованных наций Европы вследствие монополии на землю средства существования имеют определенные пределы, и если население возрастает, то низшие классы уже не могут обеспечить себя необходимым для жизни. Бывают, конечно, чрезвычайные стечения обстоятельств, которые вносят в эту область безотлагательные изменения; однако обычно уровень населения остается постоянным в течение столетий. Можно сказать, что господствующая система собственности душит в колыбели бесчисленное множество детей»[47].

Это место из книги Годвина стало поводом для появления книги Мальтуса о народонаселении[48], где этот экономист высмеивает

---

44. Конвент единодушно высказался за упразднение королевской власти 21 сентября 1792 г. На следующий день по предложению Бийо-Варенна было принято решение впредь датировать государственные акты I годом Республики. Не было, строго говоря, формального провозглашения Республики.
45. «Французская нация отказывается от каких бы то ни было войн с целью завоеваний и никогда не применит своих сил против свободы какого-либо народа». (Раздел VI так называемой Конституции 1791 г.)
46. W. G o d w i n. Op. cit., p. 465.
47. Ibid., p. 516.
48. Мальтус (Malthus) (1766—1834) опубликовал анонимно в 1798 г. свой «Опыт о законе народонаселения...» («Essay on the Principle of Population as it affects the future improvement of Society, with Remarks on the Speculations of Mr. Godwin, M. Condorcet, and other Writers»).

оптимизм великого мыслителя, верившего в то, что бóльшая справедливость породит больше подлинного богатства. И когда Годвин с большим запозданием, в 1820 г., решает выступить с ответом Мальтусу, его мысль с волнением обращается к его книге «Исследование о политической справедливости», к тому счастливому времени, когда горячее дыхание Республики рождало в умах и душах людей самые прекрасные плоды. С горечью говорит он о длительном триумфе мрачных идей Мальтуса, вот уже двадцать лет господствующих над умами, и почти упрекает себя в том, что дал повод к появлению этой книги [49].

«Когда я писал свое «Исследование о политической справедливости», я льстил себя надеждой оказать важную услугу человечеству. Мой ум был воодушевлен всем, что было великого и блестящего в республиках Греции и Рима, которые почти с детства были для меня любимым предметом размышлений. Затем меня вдохновила [animated] революция в Америке, которая началась, когда мне только что исполнилось двадцать лет, и Французская революция (хотя я никогда не одобрял то, каким образом она была совершена, ни тех эксцессов, которыми в известной мере были отмечены ее первые шаги). Меня воодушевляли также умозрительные построения философов и ученых, моих предшественников в Англии и в других странах Европы, которые, так сказать, сопутствовали этим событиям [50].

Я полагал возможным объединить все, что было лучшего и наиболее либерального в политической науке, конденсировать все это, выстроить в стройную систему и развить дальше, нежели это сделали мои предшественники-писатели».

Стало быть, революционный социализм Годвина порожден мыслью XVIII в., воодушевленной великой революционной деятельностью Франции. Этот социализм является, так сказать, синтезом философии XVIII в. и Французской революции. Правда, он находит, что эта Революция применяла слишком крутые средства для достижения слишком скромной цели. Но именно потому, что он не вверяется ей безоговорочно, он может пойти дальше нее: его воодушевляет (он говорит это совершенно определенно) проявляемая ею замечательная кипучая энергия, но он применяет эту энергию к более широкой социальной формуле. А вокруг него умы и души людей были преисполнены такого пыла, что эта странная книга, смущавшая даже самих революционеров, привлекла к себе самое живое внимание.

«Одно время казалось, что эта книга вполне оправдала самые радужные мои надежды. Я не могу жаловаться, что она появилась как мертворожденное детище и не возбудила большого любопытства у моих сограждан. Я не был столь наивен, чтобы предполагать, что она сразу сметет со своего пути все заблуждения, как могучий морской вал. Я приветствовал критику, которую она встретила, прямую или косвенную, в виде ли аргументов или нас-

мешек, как недвусмысленный симптом того результата, которого так страстно желал».

Теперь же, когда наступила реакция, когда капиталистическая экономика торжествует, теперь, когда замалчивается и забывается то, что называют, с горечью отмечает Годвин, «бредовыми умозаключениями» великой творческой эпохи, Годвин как бы посылает им перед смертью прощальный привет. Он не будет касаться их в своей книге о народонаселении, которая имеет другую тему, но в глубине своей души и мысли он отводит им почетное место.

«Я только едва позволил себе напомнить о тех прекрасных мечтах (если только их следует называть мечтами), которыми упивалась моя душа и которые воодушевляли мое перо, когда я писал эту работу [the beautiful visions wich enchanted my soul and animated my pen]».

Подобно тому как над согретым солнцем океаном поднимаются золотые облака, широкое пламенное движение Революции рождало мечты о социализме. Мечты плодотворные, как и облако, которое где-то вдали прольется жизнью!

ГОДВИН О РОСКОШИ

Но, быть может, Годвин, резко осудив роскошь и относясь со спартанской суровостью к радостям жизни и к безграничной изобретательности утонченных промыслов, тем самым отвернулся от самой жизни? Не порывает ли он с современным ему миром? Временами кажется, что он объявляет войну самой цивилизации и мечтает о таком упрощении человеческого существования, которое было бы равносильно его обеднению.

«*Цель современного общества — множить труд, целью будущего общества будет упрощение труда*».

Однако не следует заблуждаться: роскошь, против которой выступает Годвин,— это роскошь аристократов, порождаемая тщеславием и привилегиями. Это не та тонкая, умеренная и строгая роскошь, которая станет доступна всему человечеству благодаря

---

49. См.: W. Godwin. Of population (an answer to Malthus). 1820. «Г-н Мальтус в своей республике не может обойтись без нищеты, как если бы это был элемент, действие которого совершенно необходимо» (t. II, p. 367, ссылки даны на французский перевод этого труда). «С тех пор как г н Мальтус открыл, что порок и нищета суть mala bene posita, болезни полезные, необходимые, без которых мир бы рухнул, их можно касаться лишь с большой осмотрительностью или, скажем лучше, совсем не следует их касаться» (t. II, p. 458). Об Адаме Смите Годвин, напротив, отзывается с восхищением (t. II, p. 447).
50. W. Godwin. Op. cit., t. I, p. 1.

коллективным усилиям после того, как всем будет обеспечено все необходимое для тела и души.

«Мне возражают — и истинность этого положения неоспорима,— что утонченность лучше невежества. Лучше быть человеком, чем быть животным, стало быть, качества, отличающие человека от животного, более всего надлежит любить и культивировать. Изящный вкус, тонкость чувств, глубина понимания, широкий научный взгляд — вот что является достойным украшением человека. Но все это, говорят нам, связано с неравенством, все это — следствие роскоши. Роскошь воздвигла дворцы и заселила города. Чтобы приобщиться к этой роскоши, которую художник видит у своих богатых соседей, он изощряется во всех тонкостях своего искусства. Именно этому мы обязаны развитием архитектуры, живописи, музыки и поэзии... Искусства не могли бы развиваться, если бы состояние неравенства не позволило некоторым людям покупать произведения искусства и не побудило бы других людей обучаться мастерству производить их, чтобы продавать. В состоянии равенства мы были бы все богаты, и, если равенство будет восстановлено, мы все опять станем варварами. Итак, мы видим (как и в системе оптимизма), что беспорядок, эгоизм, монополия и нищета, все, что кажется противоречивым, способствуют в целом дивной гармонии и великолепию. Интеллектуальный прогресс, развитие науки и искусства, которые мы наблюдаем и на дальнейшие успехи которых надеемся, поистине стоило приобрести, хотя бы ценой частичной несправедливости и лишений» [51].

Если это верно, говорит Годвин, если достижения человеческой цивилизации должны приобретаться ценой нищеты и унижения большинства людей, то Руссо был прав, отдавая предпочтение состоянию дикости. Однако, к счастью, дело обстоит не так. Человечество не поставлено перед столь плачевной альтернативой — быть некультурным или несправедливым.

Возможно (и здесь мы опять находим присущее Годвину понимание эволюции), «что состояние неравенства и роскоши было испытательным сроком, который надо было пройти, чтобы достигнуть цели цивилизации. Единственное, что в конечном счете может нам гарантировать равенство состояний,— это всеобщее убеждение в несправедливости накопления богатства и в бесполезности богатства для достижения счастья. Но такое убеждение не может возникнуть в состоянии дикости. И оно не может сохраниться, если мы опять впадем в состояние варварства. Первоначально именно зрелище неравенства побудило грубых варваров к упорным усилиям с целью достижения богатства. И эти-то усилия и обеспечили тот досуг, который содействовал развитию литературы и искусства.

Но хотя это неравенство было необходимо как прелюдия к цивилизации, в нем нет необходимости для ее сохранения. Мы можем снять леса, когда здание построено».

Итак, Годвин не считает, что история человечества — это история долгого, постепенного упадка. Она не представляет собой падения человечества из состояния первоначального равенства в состояние вечного неравенства. История — это постоянное движение к цивилизации и подлинному равенству. И даже то грубое неравенство, которое господствовало на протяжении долгого периода истории, есть лишь средство для осуществления высшего равенства.

В самом деле, ведь людям предлагают не грубое равенство в нищете и невежестве. Упразднение роскоши — это, по существу, только упразднение привилегии. Но все человечество может и должно развиваться в радости.

«Если под роскошью мы понимаем наслаждения, которые один индивид обеспечивает себе за счет других, страдающих от незаслуженных лишений и изнуряющих тягот, то такая роскошь есть порок. Но если мы понимаем под роскошью (как это часто бывает) такие условия существования, которые не ограничиваются абсолютно необходимым для поддержания нашего здоровья, то такая роскошь, если к ней можно приобщить всех людей, добродетельна. Цель добродетели — содействовать увеличению суммы приятных ощущений. Но истинный образец добродетели — это беспристрастие, не позволяющее нам ради удовольствия одного человека затрачивать те усилия, которые должны быть приложены, чтобы доставить удовольствие всем. Но в этих пределах каждый человек имеет право и обязан содействовать увеличению суммы удовольствий».

И человеческое общество сможет легко себе обеспечить эту великую эгалитарную роскошь.

«Мы видели выше, что если каждый член общества будет трудиться полчаса в день, то этого, вероятно, будет достаточно для обеспечения всех всем необходимым для жизни. Поэтому, хотя такой небольшой труд не будет предписан каким-либо законом и не будет навязан под страхом какого-либо наказания, он сам по себе станет обязательным для сильных по убеждению, а для слабых — из чувства стыда. Как же будут люди проводить остальное время? Вероятно, не в лени, но, с другой стороны, не все люди употребят его на умственный труд. Есть много вещей, творений человеческого мастерства, которые, не будучи необходимыми для жизни, доставляют радость. Поэтому в просвещенном обществе большая часть свободного времени и будет посвящена производству таких вещей. Труд такого рода отвечает самым высоким требованиям счастья. В наше время труд — бедствие, ибо человек работает по необходимости, чтобы поддержать свое существование, и потому что слишком часто он лишает человека всякой возмож-

---

51. W. Godwin. An Enquiry, t. II, p. 489—491.

ности обогащать себя знаниями и развиваться. Когда труд будет добровольным, когда он не будет больше помехой к совершенствованию людей, а, наоборот, будет ему способствовать или по меньшей мере превратится в источник развлечения и разнообразия, он перестанет быть бедствием и станет благодеянием».

Стало быть, в воззрениях Годвина нет никакого аскетизма. Если кажется, что он на какой-то момент останавливает движение человеческого гения, то только для того, чтобы накопившейся таким образом его массы хватило затем на все человечество. Так проступают очертания той социальной организации, которую желает, о которой мечтает Годвин. Никакого принуждения, никакого акта власти. Привилегии падут единственно благодаря прогрессу разума и совести, для людей станет невыносимым думать о своих личных, эгоистических наслаждениях, не обеспечив предварительно всем необходимым для жизни других членов общества. Итак, прежде всего все люди будут в равной мере участвовать в труде для производства продуктов, необходимых для всех. Они будут использовать для этого все более совершенные механизмы. Но они и не подумают присвоить их себе, чтобы превратить их к своей выгоде в средство накопления богатства и господства.

ГОДВИН И ПРОИЗВОДСТВО

Но как представляет себе Годвин производство? Он отвергает форму кооперации, коллективного труда. Этот эгалитарист, этот коммунист является в то же время ярым индивидуалистом. Он хочет уберечь по возможности человека от длительного соприкосновения с массой, от ее постоянного тягостного давления. Работать только вместе с другими — какое порабощенье! Индивиду надлежит участвовать в общей жизни, ибо только таким путем учится он познавать и в самом себе и в других человечество. Но это должно быть свободное общение, и индивид должен всегда иметь возможность, если он пожелает, остаться наедине с собой. Годвин не хочет ни общих трапез, ни, если это возможно, работы сообща. Неужели он хочет вернуться назад, к разъединенному и убогому труду ремесленника, который уже начинает вытесняться коллективным трудом на мануфактурах и мощью сложных машин? Нет. Но ему кажется, наоборот, что высшим достижением применения машин будет восстановление индивидуального характера труда.

«Надлежит тщательно избегать всякой кооперации сверх необходимой, а также труда сообща и общих трапез [52].

Но, может быть, есть такая кооперация, которая диктуется самой природой выполняемой работы? Такая кооперация должна постепенно уменьшаться. Вынужденная общая работа порождает больше трений, нежели симпатий. Ныне, конечно, необходимость

кооперации заставляет мириться с ее дурными сторонами. Но всегда ли такая кооперация будет диктоваться природой вещей? Мы не компетентны дать ответ на этот вопрос. В наше время, чтобы срубить дерево, вырыть канал, управлять судном, необходим труд многих людей, но всегда ли так будет? Когда подумаешь о сложных машинах, созданных человеческой изобретательностью, о различного рода мельницах, о ткацких станках, о судовых машинах, разве мы не удивляемся той экономии труда, которую они дают? А кто может сказать, где остановится этот прогресс? Ныне эти изобретения вызывают тревогу у трудящейся части общества, и они могут вызвать временное бедствие, хотя в дальнейшем принесут человечеству огромные преимущества. Но в обществе, основанном на равном труде, их полезность бесспорна.

А если так, то совсем не доказано, что самые сложные операции не будут по силам одному человеку и что одного плуга не будет достаточно для обработки целого поля, притом без наблюдения другого человека. Именно так думал знаменитый Франклин, когда он сказал, что «придет время, и дух будет повелевать материей».

Результатом прогресса, картину которого мы набросали, в конце концов будет то, что ручной труд перестанет быть необходимым. В этом отношении поучительно напомнить, насколько величественный инстинкт минувших времен предвосхитил то, что ныне представляется нам как будущее совершенное состояние человечества. По закону Ликурга ни один спартанец не должен был заниматься ручным трудом. При такой системе и для достижения этой цели спартанцам необходимо было иметь рабов, выполнявших тяжелые работы. Материя, или, выражаясь точнее, определенные, постоянные законы вселенной будут выполнять роль илотов [53] того периода, о котором идет речь. И таким образом, о бессмертный законодатель, мы закончим на том, с чего вы начали».

Какие величественные цели! Но эти безграничные надежды подсказаны Годвину великолепной силой обновления, проявленной Французской революцией. Кризис, который переживает мир, ужасен; но этот кризис может породить великие дела.

«Положение рода человеческого в настоящее время критическое и внушающее тревогу. Но мы имеем серьезные основания надеяться, что исход этого кризиса будет исключительно благотворным».

Но почему эволюция человечества должна остановиться на том новом порядке, которому предстоит родиться? Она пойдет и

---

52. Ibid., t. II, p. 501—504.

53. Илоты — низшая социальная категория в Спарте, вроде крепостных, порабощенная завоевателями-дорийцами.

дальше. Годвин надеется, что это движение вперед обойдется без насилия.

«Ошибочно думать,— говорит он,— что только низшие классы страдают от неравенства и что поэтому они будут вынуждены прибегнуть к силе».

Все классы страдают от неравенства. И когда они это осознают, они все выскажутся за благотворные перемены. Именно в этом направлении и идет развитие человечества.

«В развитии современной Европы от варварства к цивилизации нетрудно отметить тенденцию к уравнению состояний. Во времена феодализма, как и теперь еще в Индии и в других частях света, люди от рождения принадлежали к определенному сословию, и крестьянину было почти невозможно подняться до положения дворянина. Никто не был богат, за исключением дворян, ибо торговля, как внешняя, так и внутренняя, существовала еще в зачаточном состоянии. Торговля, точно снаряд, опрокинула эти барьеры, казавшиеся непреодолимыми, она опрокинула предрассудки дворян, которые склонны были думать, что их слуги принадлежат к другой, чем они, породе людей. Другим, еще более мощным снарядом оказалось образование».

Мало-помалу положение бедного, но образованного человека улучшалось: он перестает смотреть на себя как на смиренного клиента дворян, и это новое чувство гордости рождает новую иерархию жизненных ценностей. В завершающей стадии этого движения и богатство потеряет то преимущество, которое ранее утратило дворянство.

ЕВРОПЕЙСКИЙ КРИЗИС

Так в зареве Французской революции социалистическая мысль Годвина преисполняется великих надежд. Широкое революционное движение, которое во Франции в лице Л'Анжа, Доливье [54] и Бабёфа порождает первые ростки и первые формы коммунизма и фурьеризма, которое в Германии страстно увлекает Фихте и неизвестного автора книги, приведшей в восхищение Форстера, в Англии вызывает к жизни замечательную, всю пронизанную духом свободы коммунистическую систему. Не показать этого разнообразного влияния идей Французской революции и их дальнейшего развития значило бы проявить к ней несправедливость и жалким образом сузить ее значение. Но сколь многочисленны еще были консервативные и реакционные силы, которые противостояли в Англии и в Германии революционному движению! И какую законную национальную гордость и глубокое недоверие народов возбудила против себя Революция своими неосторожными действиями и заносчивостью!

Италия еще менее, чем Германия и Англия, была подготовлена к восприятию идей Французской революции. Несмотря на гений

некоторых своих мыслителей, таких, как Беккариа, Филанджиери, Верри, она как бы была погружена в дремоту апатии и суеверий [55].

Читая Горани [56], оставившего столь живые картины неаполитанской и римской жизни, убеждаешься в том, что народ был там сообщником деспотизма, привычного и в то же время позорного. Быть может, сознание этого итальянского бессилия и восстановило против революционной Франции болезненно гордого Альфьери [57]? В своих «Мемуарах» он хвалится тем, что когда в 1791 г. был во Франции, то закрывал уши и глаза, чтобы ничего не видеть, ничего не слышать о людях и делах Революции [58]. В своих мечтах он видел благородную Италию в великой роли освободительницы, в ореоле славы второго Возрождения, более глубокого и более человечного. И, конечно, он страдал, доходя до отчаяния, до ненависти, видя, что она к этому совсем не подготовлена и что варвары ее опередили.

В конце этого 1792 г. всюду в мире втихомолку организовывались против Революции силы сопротивления [59]. Революция поколебала основы мира, но он боролся, стараясь задушить силой те замечательные идеи и стремления, которые она в нем пробудила. В отношении народов к Революции произошла перемена: одно время обольщенные и увлеченные ею, они теперь замкнулись в себе, прониклись недоверием к ней, завистью, гордостью и страхом. Народы переживали глубокий кризис в тот час, когда во Франции открывался трагический процесс короля.

---

54. О Л'Анже и Доливье см.: Ж. Жорес. Цит. соч., т. II, с. 389; т. III, с. 396.
55. Поражает, сколь малое значение придавал Жорес откликам на Французскую революцию в Италии. См. ниже, с. 494. Беккариа, Чезаре (1738—1794) — итальянский просветитель, автор работы «О преступлениях и наказаниях» (1764). Филанджиери, Гаэтано (1752—1788) — автор «Науки законодательства» (1780—1785). Верри, Пьетро (1728—1797) — итальянский просветитель, философ, экономист, юрист, основал вместе со своим братом газету «Il Caffé», в которой отстаивал прогрессивные идеи, автор «Размышлений о политической истории» (1771).
56. Горани (1744—1819) — автор «Трактата о деспотизме» (1770) и «Тайных критических записок о дворах, правлениях и нравах главных итальянских государств» (1793).
57. Альфьери, Витторио (1749—1803) — итальянский поэт, поначалу восхищался Революцией. Но после своего пребывания в Париже в апреле 1793 г., когда у него появились основания жаловаться на революционеров, он порвал с французами, «рожденными для рабства». Впоследствии опубликовал резкий, направленный против Франции памфлет «Мизогалл» («Misogallo»).
58. «Мемуары» Альфьери были переведены на французский язык и опубликованы в Париже в 1852 г.
59. О европейской реакции см. ниже, в общей библиографии, с. 490.

БИБЛИОГРАФИЯ

Французская революция и Европа — обширная тема, которая никогда не рассматривалась в своей совокупности так, как ее здесь рассматривает Жорес, с точки зрения идеологической экспансии. Однако см.: J. G o d e c h o t. La Grande Nation. L'expansion révolutionnaire de la France dans le monde, 1789—1799. Paris, 1956, 2 vol. (в частности, главу IV и особенно VI).

Для справок можно пользоваться общими работами: A. S o r e l. L'Europe et la Révolution française. Paris, 1885—1904, 8 vol.; H. v o n S y b e l. Geschichte der Revolutionzeit. Düsseldorf, 1853—1879, 5 vol.; H. F u g i e r. La Révolution française et l'Empire napoléonien. Paris, 1954.— «l'Histoire des relations internationales», sous la direction de P. Renouvin, t. IV; R. R. P a l m e r. The age of the democratic revolution. A political history of Europe and America. 1760—1800. T. I: «The challenge», Princeton, 1959; A. G o o d w i n. The American and French Revolution 1763—1793. Cambridge, 1965.— «The new Cambridge modern History», t. VIII. В более узком плане см.: «Occupant, Occupés, 1792—1815. Colloque de Bruxelles, 29 et 30 janvier 1968». Bruxelles, 1969. [См.: «Французская буржуазная революция. 1789—1794». Под ред. В. П. Волгина и Е. В. Тарле. М.—Л., 1941, гл. IV, VI, X.]

Германские страны

Жорес с полным основанием уделил особое внимание влиянию Французской революции на немецкую мысль, хотя и допускал при этом иногда кое-какие ошибки. См. статью Ф. Меринга (F. M e h r i n g. Pour le roi de Prusse. — «Die Neue Zeit», Januar 1903), воспроизведенную в: F. M e h r i n g, Gesämmelte Schriften. B. IX, Berlin, 1963, S. 386. См. также: W. K r a u s s. Uber die Kostellation der deutschen Aufklärung. — «Studien zur deutschen und französischen Aufklärung». Berlin, 1963, S. 388.

Работы общего характера: G. P. Gooch. Germany and the French Revolution. London, 1920; A. Stern. Der Einfluss der französischen Revolution auf das deutsch Geistleben. Berlin, 1927; J. Droz. L'Allemagne et la Révolution française. Paris, 1949; M. Braubach. Von der französischen Revolution bis zum Wiener Kongress. Stuttgart, 1960. В более узком плане см.: R. Aris. History of political thought in Germany from 1789 to 1815. London, 1936; J. Droz. Le romantisme politique en Allemagne. Paris, 1963.

О писателях см.: A. Chuquet. Etudes d'histoire. Ire série: «G. Forster», Paris, 1903; 2e série: «Adam Lux. Klopstock», Paris, 1903; 6e série: «Les écrivains allemands et la Révolution», Paris, 1913; X. Léon. Fichte et son temps. T. I, Paris, 1922, chap. V: «Fichte et la Révolution française»; «La Révolution de 1789 et la pensée moderne», Paris, 1940, сборник, опубликованный журналом «Revue philosophique» в связи со стопятидесятилетием Французской революции, содержащий статьи П. Шрекера (P. Schrecker) о Канте, М. Геру (M. Guéroult) о Фихте, Ж. Ипполита (J. Hyppolite) о Гегеле; M. Boucher. Le sentiment national en Allemagne. Paris, 1947; Idem. La Révolution de 1789 vue par les écrivains allemands ses contemporains. Paris, 1954; K. Julku. La conception de la Révolution chez Georg Forster. — «Annales historiques de la Révolution française», 1968, p. 227. В более широком плане см.: J. Venedey. Die deutschen Republikaner unter der französischen Republik. Leipzig, 1870.

См. региональные исследования: F. X. Remmling. Die Rheinpfalz in der Revolutionszeit. T. I, Spire, 1865; H. Schmidt. Die sächsischen Bauerunruhen des Jahres 1790. Meissen 1907; A. Wohwill. Neuere Geschichte der Freien- und Hansestadt Hamburg, insbesondere von 1789 bis 1815. Gotha, 1914; H. Scheel. Süddeutsche Jakobiner. Klassenkämpfe und republikanische Bestrebungen im deutschen Süden. Ende des 18 Jahrhunderts. Berlin, 1962; K. Julku. Die revolutionäre Bewegung im Rheinland am Ende des achtzehnten Jahrhunderts. Helsinki, 1965; W. Grab. Clubs démocrates en Allemagne du Nord, 1792—1793. — «Annales historiques de la Révolution française», 1966, p. 523, и особенно того же автора: «Democratische Strömungen in Hamburg und Schleswig-Holstein zur Zeit der Ersten französischen Republik». Hamburg, 1966. [См.: «Немецкие демократы XVIII в. Шубарт, Форстер, Зейме». М., 1956; Г. Форстер. Избранные произведения. М., 1960; «Германская история в новое и новейшее время», т. I. М., 1970; «История немецкой литературы», т. 2. М., 1963; А. М. Деборин. Социально-политические учения нового и новейшего времени. Т. II: «Очерки социально-политической мысли в Германии (конец XVIII — начало XIX в.). М., 1967; С. Б. Кан. Два восстания силезских ткачей. 1793—1844. М.—Л., 1948; Ю. Я. Мошковская. Георг Форстер — немецкий просветитель и революционер XVIII в. М., 1961.— *Ред.*]

Страны, находившиеся под господством Габсбургов

См. общий труд, охватывающий проблему в целом: E. Wangermann. From Joseph II to the Jacobin

trials. Government policy and public opinion in the Habsburg Dominions in the period of the French Revolution. Oxford, 1959; второе издание — 1969. См. также: D. Silagi. Jakobiner in der Habsburger-Monarchie. Ein Beitrag zur Geschichte des aufgeklärten Absolutismus in Österreich. Wien — München, 1962. [См.: «Освободительные движения народов Австрийской империи. Возникновение и развитие. Конец XVIII в. — 1849 г.» М., 1980, ч. I.— *Ред.*]

Богемия: F. Kutnar. La critique de la Révolution française dans les brochures tchèques d'alors.— «Le Monde slave», 1935; K. Mejdricka. Les paysans tchèques et la Révolution française. — «Annales historiques de la Révolution française», 1958, p. 64. Б

Венгрия: I. Kont. Etude sur l'influence de la littérature française en Hongrie, 1770—1896. Paris, 1902; S. Eckhardt. A Francia Forradalom Eszmei Magyarorszagon. Budapest, 1924 («Идеи Французской революции в Венгрии») и различные исследования того же автора в: «De Sicambria à Sans-Souci» (Paris, 1943); E. Bencze. Un poète hongrois de la Révolution française: Bacsànyi. — « Annales historiques de la Révolution française », 1939, p. 529. Особенно интересны публикации: K. Benda. A magyar jakobinusokiratai (Сочинения венгерских якобинцев). Budapest, 1952 et 1957, 3 vol.; см. рецензии В. Маркова (W. Markov) в « Annales historiques de la Révolution française », 1957, p. 178; 1958, p. 77); W. Markov. Les Jacobins hongrois. — «Annales historiques de la Révolution française », 1959, p. 38. [См. также: «История Венгрии». Под ред. Т. М. Исламова и др. М., 1972, с. 29—37.— *Ред.*]

Швейцария

G. Gautherot. La Révolution dans l'ancien évêché de Bâle. T. I : « La République rauracienne », Paris, 1908 ; Ed. Chapuisat. Genève et la Révolution française. Genève, 1912 ; M. Peter. Genève et la Révolution. Genève, 1921 ; A. Boethlingk. Der Waadländer F. C. Laharpe. Berne, 1925, 2 vol.; Ed. Chapuisat. La Suisse et Révolution française. Genève, 1945 ; W. von Wartburg. Zürich und die französische Revolution. Basel und Stuttgart, 1956 ; R. Feller. Geschichte Berns. T. IV : « Der Untergang des Altens Berns, 1789—1798. Berne, 1960 ; A. Méautis. Le Club helvétique de Paris (1790—1791) et la diffusion des idées révolutionnaires en Suisse. Neuchâtel, 1969.

Бельгия

S. Tassier. Les démocrates belges de 1789. Bruxelles, 1930 ; idem. Histoire de la Belgique sous l'occupation française en 1792 et 1793. Bruxelles, 1934 ; Orient Lee. Les comités et clubs des patriotes brabançons et liégeois. Paris, 1931 ; P. Recht. 1789 en Wallonie. Liège, 1933 ; S. Tassier. Figures révolutionnaires, XVIII^e siècle. Bruxelles, 1954 ; P. Harsin. La Révolution liégeoise de 1789. Bruxelles, 1954. Новые аспекты см. в исследовании : R. Devleeshouwer. Le cas de la Belgique, в сборнике, упомянутом выше: « Occupants, Occupés, 1792—1815 », p. 43.

Нидерланды

L. Legrand. La Révolution française en Hollande. Paris, 1894 ; H. de Peyster. Les troubles de la Hollande à la veille de la Révolu-

tion française. Paris, 1905 ; M. T. Colenbrander. De bataafsche Republick. Amsterdam, 1908 ; J. W. Berkelbach van der Sprenkel. De Franse revolutie in de contemporaine Hollandse Kranten. —« De Gids », t. III, 1939.

Великобритания

Общий обзор см.: J. H. Rose Pitt and the great war. London, 1911; R. W. Seton-Watson. Britain in Europe, 1789—1914. Cambridge, 1937. Более конкретное освещение темы см.: W. T. Laprade. England and the French Revolution. Baltimore, 1909; P. A. Brown. The French Revolution in English History. London, 1918; A. Chardon. Fox et la Révolution Française. Paris, 1918; R. Birley. The English Jacobins. Oxford, 1924; J. Deschamps. Les Iles britaniques et la Révolution Française. Paris, 1949; «The debate on the French Revolution», London, 1950. [Сборник, составленный и опубликованный А. Коббаном (A. Cobban).] [См.: Е. В. Тарле. Французская революция и Англия. — Е. В. Тарле. Сочинения. Т. VII, М., 1959; Е. Б. Черняк. Массовое движение в Англии и Ирландии в конце XVIII — начале XIX в. М., 1962.— *Ред.*]

Об идейном движении см.: L. Stephen. History of England thought in the eighteenth century. London, 1876—1880, 2 vol., перепечатано в 1949 г. Ed. Halévy. La formation du radicalisme philosophique en Angleterre. Paris, 1901—1904, 3 vol., t. II; W. Ph. Hall. British radicalism, 1791—1797. New York, 1912; H. J. Laski. Political thought in England from Locke to Bentham. London, 1919.

О литературном движении см.: Ch. Cestre. La Révolution et les poètes anglais. Paris, 1906; «The Cambridge history of literature», t. XI, 1914; A. Angellier. R. Burns. Paris, 1893, 2 vol.; E. Legouis. La jeunesse de Wordsworth. Paris, 1896; H. Roussin. Godwin. Paris, 1913; L. D. Woodward. Hélène Maria Williams et ses amis. Paris, 1929; R. J. White. The political thought of S. T. Coleridge. London, 1938. [См.: «История английской литературы». Т. II, М., 1953.— *Ред.*]

О Томасе Пейне см.: M. C. Conway. The life of Th. Paine. New York, 1932, 2 vol.; Th. Paine. Representative selections. Published by H. Hayden Clark. New York, 1944; Th. Paine. The complete writings. Published by Ph. Foner. New York, 1945, 2 vol.; W. E. Woodward. Tom Paine, America's godfather. New York, 1945. [См.: **Т. Пейн.** Избранные сочинения. М., 1959; Н. М. Гольдберг. Томас Пейн. М., 1969.— *Ред.*]

О Бёрке см.: A. Cobban. Edmund Burke and the revolt against the XVIIIth century: a study of political and social thinking of Burke, Wordsworth, Coleridge and Southey. London, 1929; Ph. Magnus. Edmund Burke. London, 1939 (об источниках его доходов); S. Skalweit. Edmund Burke und Frankreich. Köln und Opladen, 1956; F. Braune. Edmund Burke in Deutschland. Heidelberg, 1917. Новое английское издание «Reflections on the French Revolution» опубликовали W. and K. Philipps (Cambridge, 1913). Опубликована переписка Бёрка; т. VI, опубликованный А. Коббаном (A. Cobban) и Р. А. Смитом (R. A. Smith) (Cambridge and Chicago, 1967), охватывает период июль 1789 г.— декабрь 1791 г. [См.: Г. С. Вол-

кова. Эдмунд Бёрк и идейно-политическая борьба в Англии по вопросу о Французской революции 1789—1793 гг. — «Проблемы новой и новейшей истории стран Европы и Америки». М., 1972.— *Ред.*]

Уэлс: A. D a v i e s. La Révolution française et le Pays de Galles.— «Annales historiques de la Révolution française», 1955, p. 202.

Шотландия: H. W. M e i k l e. Scotland and the French Revolution. Glasgow, 1912.

Ирландия: R. H a y e s. Ireland and Irishmen in the French Revolution. London, 1932; R. J a c o b. Rise of the United Irishmen, 1791—1794. London, 1937; J. H. S t e w a r t. The fall of the Bastille on the Dublin stage. — «Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland», t. 84, 1954; H. L. C a l k i n. La propagation en Irlande des idées de la Révolution française. — «Annales historiques de la Révolution française», 1955, p. 143. [См.: «История Ирландии». М., 1980, гл. VI.— *Ред.*]

Италия

Любопытно отметить, что Жорес касается проблемы идеологического влияния Французской революции на Италию лишь в нескольких строках в конце своего третьего тома. Конечно, следует признать, что это влияние было незначительным. Революция вызвала некоторое сочувствие в литературных кругах. Так, например, французские события приветствовали, по крайней мере вначале, на Севере Италии — Альфьери, в Неаполе — Чайя и граф Горани. В Пистое епископ Шипионе Риччи переписывался с Грегуаром и с Клеманом, будущим конституционным епископом Версаля. Больше энтузиазма проявил Буонаротти, который в дальнейшем встал на службу Революции и участвовал в Заговоре во имя равенства. Фактически Революция не оказала глубокого влияния, поскольку правительства очень быстро занимали оборонительные позиции, а церковь так же быстро принимала меры для подавления тех робких проявлений одобрения Революции, которые могли возникнуть. С 1790 г. в Королевстве Сардинии были запрещены заседания масонских лож. Папа римский предписал молитвы и посты во спасение французской церкви. Либералы, франкмасоны и янсенисты были осуждены все скопом. Многие французы были арестованы или высланы. Однако в некоторых итальянских государствах, где были просвещенные государи, политика репрессий не зашла так далеко, например, в герцогстве Тосканском. Реакция некоторых писателей доходила до крайности. В Риме 13 января 1793 г. французский посланник Бассвиль, имевший неосторожность выйти на улицу с трехцветной кокардой, был избит чернью. Монти (1754—1828) посвятил этому событию поэму «Bassvilliana», в которой обличал безбожие и дикость цареубийц. Альфьери (1749—1803) сначала восторженно приветствовал Революцию. Но когда его имущество подверглось конфискации, он спешно покинул Париж. Свое озлобление и свою ненависть он излил в неистовом памфлете, написанном частью стихами, частью прозой, «Il Misogallo» («Враг французов»), опубликованном в 1799 г.

См. в основном: C. T i v a r o n i. L'Italia prima della Rivoluzione francese, 1735—1789. Torino, 1888; P. H a s a r d. La Révolution française et les lettres italiennes. Paris, 1912; H. B é d a r i d a et P. H a s a r d. L'influence française en Italie

au XVIII^e siècle. Paris, 1936; R. Boudard. Gênes et la France dans la seconde moitié du XVIII^e siècle, 1748—1797. Paris, 1962; P. Villani. Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione. Bari, 1962; C. Zaghi. La Rivoluzione francese e l'Italia. Studi e ricerche. Napoli, 1966. В более узком плане см.: D. Cantimori. Giacobini italiani. Bari, 1956 e 1964, 2 vol.; F. Diaz. La questione del giacobinismo italiano. — «Critica storica», 1964, p. 577; A. Saitta. La questione del giacobinismo italiano.— Ibidem, 1965, p. 204. Вообще необходимо ознакомиться с работами по истории Рисорджименто; упомянем среди них: E. Rota. Le origini del Risorgimento. Milano, 1938; 2 éd., 1950; G. Candeloro. Storia dell' Italia moderna. T. I.: «Le origini del Risorgimento, 1700—1815», Milano, 1956. [См.: В. С. Бондарчук. История Италии в период Французской революции и наполеоновского господства.— «История Италии». М., 1970, с. 5—79; В. И. Рутенбург. Истоки Рисорджименто. Италия в XVII—XVIII веках. Л., 1980; В. С. Бондарчук. Итальянское крестьянство в XVIII в. М., 1980, гл. III]

Испания

Жорес не затрагивает проблемы идеологического влияния Французской революции на Испанию. Оно действительно было очень ограниченным. Никто не осмелился выступить в пользу Революции даже среди тех людей, которых коснулось Просвещение, таких, как Аранда, Кампоманес или Ховельянос. С конца 1789 г. правительство Флоридабланка и Инквизиция договорились относительно перлюстрации переписки и наложения ареста на французские газеты и книги. Кампоманес был исключен из Совета Кастилии, Ховельянос был изгнан из страны. За французами был установлен строгий надзор, некоторые были высланы, другие, как Кабаррюс, заключены в тюрьму. То же происходило и в Португалии. В марте 1791 г. вдоль пиренейской границы был установлен военный кордон, чтобы преградить путь «французской чуме».

См.: O. Miguel de Los Santos. Los Españoles en la Révolución francesa. Madrid, 1914, старая работа, не утратившая, однако, своего значения; M. Menendes Pelayo. Historia de los heterodoxos españoles. T. VI, VII. Madrid, 1948; P. Mérimée. L'influence française en Espagne. Paris, 1956. Особенного внимания заслуживают две фундаментальные работы: J. Sarrailh. L' Espagne éclairée de la seconde moitié du XVIII siècle. Paris, 1954; R. Herr. The eighteenth century revolution in Spain. Princeton, 1958.

О Португалии см.: O. Karmin. La Révolution française vue de l'intendance de Lisbonne. — «Revue historique de la Révolution française», 1922, p. 81.

Швеция

A. Soderhjelm. Sverige och den franska revolutionen. Stockholm, 1920. [См.: «История Швеции». М., 1974, гл. 8; А. С. Кан. История Скандинавских стран. Дания, Норвегия, Швеция. М., 1980, гл. VII—VIII.— *Ред.*]

Польша

Ch. Dany. Les idées politiques et l'esprit public en Pologne à la fin du XVIII^e siècle. Paris, 1901;

J. Fabre. Stanislas-Auguste Poniatowski et l'Europe des Lumières. Paris, 1952; «La Pologne de l'époque des Lumières au duché de Varsovie» Специальный номер «Annales historiques de la Révolution française», 1964; B. Lesnodorski. Les jacobins polonais. Paris, 1965; польское издание — Варшава, 1960 г. [См.: «Избранные произведения прогрессивных польских мыслителей». Т. I, М., 1956; «История Польши» в 3-х томах. М., 1956, т. I, ч. I, гл. 9; «История польской литературы». М., 1968, т. I.— *Ред.*]

Россия

Ch. de Larivière. Catherine II et la Révolution française. Paris, 1895; A. Lortholary. Le mirage russe en France au XVIII^e siècle. Paris, 1941; М. Ш раиге. Французская революция и русское общество. М., 1960. [См.: К. Е. Дежеджула. Россия и Великая Французская буржуазная революция конца XVIII века. Киев, 1972; «История русской литературы». Т. 4: «Литература XVIII века», ч. II, М., 1947; «История русской литературы» в трех томах. Т. I, М.—Л., 1958, гл. 5.— *Ред.*]

Румыния

G. Lebel. La France et les principautés danubiennes, du XVI^e siècle à la chute de Napoléon I^er. Paris, 1955. [См.: В. Н. Виноградов. Очерки общественно-политической мысли в Румынии. Вторая половина XIX — начало XX в. М., 1975, с. 9—22.— *Ред.*]

Греция

A. Dascalakis. Rhigas Velestinlis: la Révolution française et les préludes de l'indépedance hellénique. Paris, 1937. [См.: Г. Л. Арш. Этеристское движение в России. М., 1970, гл. I—II; Г. Л. Арш. Великая Французская революция и Греция (Политическая программа Ригаса Велестинлиса).— «Европа в новое и новейшее время». М., 1966.— *Ред.*]

Турция

B. Lewis. The impact of the French Revolution on Turkey.— «Cahiers d'Histoire mondiale», 1953.

Соединенные Штаты

C. D. Hazen. Contemporary American Opinion of the French Revolution. Baltimore, 1897; B. Fay. L'esprit révolutionnaire en France et aux Etats-Unis à la fin du XVIII^e siècle. Paris, 1925. [См.: «Война за независимость и образование США». Под ред. Г. Н. Севостьянова. М., 1976, гл. XVII, XXVII; Г. Н. Севостьянов, А. И. Уткин. Томас Джефферсон. М., 1976; Р. Ф. Иванов. Франклин. М., 1972.—*Ред.*]

Латинская Америка

L. de Herrera. La Revolución francesa y Sud America. Paris, 1910; см. ее перевод на французский язык: «La Révolution française et l'Amérique du Sud». Paris, 1912; R. Caillet-Bois. Ensayo sobre el Rio de la Plata y la Revolución francesa. Buenos Aires, 1930; H. Barbagelata. La Révolution française et l'Amérique latine. Paris, 1936,— «Cahiers de la Révolution française», № 5. [См.: М. Альперович. Освободительное движение конца XVIII — начала XIX века в Латинской Америке. М., 1960; М. С. Альперович, Л. Ю. Слезкин. Новая история стран Латинской Америки. М., 1970, гл. II; И. Р. Григулевич. Франсиско Миранда. М., 1980.— *Ред.*]

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Альфьери Витторио (1749—1803), итальянский поэт, автор памфлета «Мизогалл» 489, 494

Анжелье А. 387, 389

Ансельм Жак Бернар Модест д', генерал 151, 167

Аранда Педро, граф д' (1719—1798), испанский государственный деятель и дипломат, разделял взгляды французских просветителей 495

Аристофан, древнегреческий комедиограф 477

Бабеф Гракх (Франсуа Ноэль) 226 381, 454, 471, 488

Бадзер, английский автор, выступивший с опровержением памфлета Бёрка 364

Базедов Иоганн Бернгард (1723—1790), немецкий педагог, основал в Дессау институт «Филантропиниум» 75—78

Базир Клод, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Кот-д'Ор 160, 161

Барбару Шарль Жан Мари, депутат Конвента от департамента Буш-дю-Рон 161

Барелон Жан Франсуа, врач, мировой судья, депутат Конвента от департамента Крёз 438, 439, 441

Барнав Жозеф 178, 179, 357

Бассвиль, французский посланник в Риме 494

Баутфилд, английский писатель, выступивший с опровержением памфлета Бёрка 364

Бебель Август 65

Беккариа Чезаре (1738—1794), итальянский просветитель, автор работы «О преступлениях и наказаниях» 489

Бемер Г. В. (1761—1839), профессор, директор протестантской гимназии в Вормсе, секретарь Кюстина, руководил официальным органом майнцских клубистов 191

Бентам Иеремия (1748—1832), английский социолог, философ и юрист 263

Берден, член палаты общин 326

Бёрк Эдмунд (1729—1797), английский политический деятель и публицист, автор контрреволюционного памфлета «Размышления о Французской революции» 184, 185, 217, 265, 329, 343, 345, 347—357, 361—372, 374, 375, 377—380, 386, 404—406, 409, 414, 415, 421, 493, 494
Бёрнс Роберт (1759—1796), шотландский поэт 292, 293, 387, 396, 397, 399, 401, 409
Бернштейн Эдуард 244
Бетман, банкир во Франкфурте-на-Майне 21
Бидерман Карл (1812—1901), немецкий историк и политический деятель, автор книги «Германия в XVIII в.» 20, 21, 38, 64, 65
Бийо-Варенн Жак Никола (1756—1819), заместитель прокурора Коммуны, депутат Конвента от Парижа, член Комитета общественного спасения 481
Блан Луи 366
Блэкстон (1723—1780), английский юрист 286
Бонсерф Пьер Франсуа, автор брошюры «О неудобствах феодальных прав» 70, 71
Бопюи Мишель 392, 393
Боссюэ Жак Бенинь (1627—1704), епископ Мо, идеолог феодально-католической реакции и абсолютизма 112
Брауншвейгский Карл Вильгельм Фердинанд, герцог де 94, 95, 131—133, 201, 203, 420, 421, 438
Брауншвейгский Фердинанд, герцог де, дядя предыдущего 95
Бриссо Жак Пьер (1754—1793), депутат Конвента от департамента Эр и Луар, лидер жирондистов 146, 155, 160, 161, 186, 255, 262, 422, 432—436, 441
Брук Бхусби Дюпон, сэр, английский писатель, выступивший с опровержением памфлета Бёрка 364
Буонаротти Филиппо Микеле (1761—1837) 494
Бюзо Франсуа Никола Леонар (1760—1794), адвокат, депутат Конвента от департамента Эр 160, 161, 163, 438
Бюргер (1747—1794), немецкий поэт 63

Вашингтон Джордж 132, 133, 379
Вебб Сидней и Беатриса, супруги, английские экономисты и общественные деятели, авторы труда по истории тред-юнионизма 311, 312, 318, 382
Ведекинд Георг (1761—1839), профессор медицины в Майнце 184, 185, 188, 199
Венедэ Мишель 196, 197
Венедэ, сын предыдущего, автор труда «Немецкие республиканцы под властью Французской республики» 197
Вергилий Публий Марон (70—19 до н. э.), римский поэт 171, 172
Верженн Шарль Гравье, граф де (1717—1787), французский государственный деятель, министр иностранных дел Людовика XVI 255
Верри Пьетро (1728—1797), итальянский просветитель, философ, экономист, юрист, автор «Размышлений о политической истории» 489
Вико Джамбаттиста (1668—1744), итальянский мыслитель 37
Виктор Амедей III, король Сардинии (1773—1796) 260, 261
Виланд Кристофер Мартин (1733—1813), немецкий поэт и литератор 12, 13, 52—55, 68—70, 120—125, 127—129, 165—167, 244, 245, 402, 403
Вильгельм III, король Англии (1689—1702) 315, 348, 349, 351
Вильгельм Оранский см. Вильгельм III

Вимпфен Луи Феликс, барон де, член Учредительного собрания, командовал армией «федералистов» в Нормандии в 1793 г. 201
Винкельман И. И. (1717—1768), немецкий археолог, историк античного искусства 141
Вольтер Франсуа Мари Аруэ (1694—1778) 9, 47, 49, 51, 53, 66, 112, 113
Вольф Иоганн Кристиан (1679—1754), немецкий философ и математик 63
Вордсворт Уильям (1770—1850), английский поэт 388—393, 395, 396, 401
Вюртембергский герцог см. Карл-Евгений

Гайндман Генри Мейерс (1842—1921) английский социалист, основатель Демократической федерации (с 1908 г.— Социал-демократическая партия Англии) 442, 443
Галилей Галилео (1564—1642), великий итальянский физик, механик и астроном 42
Гамильтон, английский писатель, выступивший с опровержением памфлета Бёрка 364
Гаррингтон Джеймс (1611—1677), английский публицист, идеолог нового дворянства и буржуазии, автор «Республики Океании» 273
Гаск (1748—1813), член Национального собрания Женевы в 1793 г., член временного Комитета безопасности 262, 263
Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831), немецкий философ, виднейший представитель немецкой классической философии 37, 143, 144, 491
Гейне Кристиан Готлиб (1729—1812), немецкий филолог и археолог 172, 174, 175, 186
Гейне Тереза, дочь предыдущего и жена Георга Форстера 172, 173, 209, 251
Гейнзе Иоганн Якоб Вильгельм (1749—1803), немецкий романист 184, 185
Гейтер, директор школы, где учился Георг Форстер 196
Геллерт Кристиан Фюрхтеготт (1715—1769), немецкий писатель и поэт 51
Гельвеций Клод Адриан (1715—1771) французский философ-материалист и литератор 448, 450, 468
Генрих VII, король Англии (1485—1509) 287, 289
Георг II, король Англии (1727—1760) 447
Георг III, король Англии (1760—1820) 259, 279, 288, 293, 329, 346, 347, 405, 408, 423, 427, 430, 432, 433
Гервег Георг (1817—1875), немецкий поэт, революционный демократ 147
Гердер Иоганн Готфрид (1744—1803), немецкий философ и писатель, один из идеологов Просвещения 48—51, 54, 60, 66, 67, 91, 101, 111—113, 115, 116
Геростратт 77
Геру М. 215, 491
Гершой Л., историк 61
Гессен-Кассельский, ландграф 197, 207, 209, 211
Гёте Иоганн Вольфганг (1749—1832) 9, 12, 13, 47, 53, 64, 77, 81, 116, 117, 119—121, 189, 213
Гизо Франсуа Пьер (1787—1874), французский государственный деятель и историк 350
Гладстон Уильям (1809—1898), лорд, английский политический и государственный деятель, глава либералов 282
Гогенцоллерны, королевская династия 46
Годвин Уильям (1756—1836), английский политический писатель,

пастор, автор «Исследования о политической справедливости» 252, 403, 447—479, 481—488
Гольбах Поль Анри (1723—1789), представитель французского Просвещения, философ-материалист, автор труда «Система природы, или о законах мира физического и мира духовного» 448—450
Гомер 173
Горани (1744—1819), граф, автор труда «Трактат о деспотизме» 489, 494
Госсюэн, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Нор 439
Гоуэр, лорд, английский посол в Париже 433
Гофман (1752—1849), профессор естественного права в Майнце 184, 185, 188
Грегуар Анри (1750—1831), аббат, комиссар Конвента от департамента Луар и Шер 209, 259, 434, 437, 494
Грей Чарлз (1764—1845), член палаты общин, лорд Адмиралтейства, затем министр иностранных дел, глава правительства вигов 403, 421, 444
Гренвиль, член палаты лордов, министр иностранных дел Англии 261, 421, 423, 427, 432, 435
Гримм Фредерик Мельхиор (1723—1807), писатель, историк, просветитель 11
Губер Людвиг 173
Гумбольдт, братья, Александр и Вильгельм 12, 13, 64, 177
Гюлих Густав (1791—1847), немецкий экономист 14, 64

Дандэс, лорд Мелвиль (1742—1811), адвокат, член палаты общин, министр внутренних дел, затем военный министр в кабинете Питта Младшего 414—416
Дантон Жорж Жак (1759—1794) 438, 439, 441
Делакруа Жан Франсуа, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Эр и Луар 151, 439
Демосфен (384—322 до н. э.), древнегреческий оратор и политический деятель 142, 409
Демулен Камиль (1760—1794) 151
Дерби Абрагам 301
Дефо Даниель (1660—1731), знаменитый английский писатель 345
Деюк, член муниципалитета Женевы 259, 402
Джонс Уильям (1746—1794), английский востоковед 173
Дидро Дени (1713—1784), французский просветитель, философ-материалист 9, 251
Дитрих, мэр Страсбурга 145
Доливье Пьер, аббат, кюре Мошана, французский публицист, идеолог бедноты 226—228, 243, 245, 488, 489
Дорш (1758—1819), профессор философии в Майнце 184, 185, 195
Дэнкомб, член палаты общин 443
Дюмон, пастор 262, 263
Дюмурье Шарль Франсуа (1739—1823) 151, 154, 167, 193, 201, 203, 419—421, 439
Дюрер Альбрехт, художник 113

Екатерина II, русская императрица 186, 187, 202, 203
Елизавета, королева Англии (1558—1603) 297—299, 302, 310, 311, 314, 446, 447

Жан-Поль, псевдоним Иоганна Пауля Рихтера 12, 13, 64

Иосиф II, австрийский государь, император «Священной Римской империи» 21, 23, 46, 52—63, 67, 69, 81, 101, 120, 141, 154, 421
Ипполит Ж., историк 491

Калидаса, индийский поэт V в.н.э., автор драмы «Шакунтала» 173
Калонн Шарль Александр (1734—1802), генеральный контролер финансов Франции 347
Камбон Пьер Жозеф (1756—1820), депутат Конвента от департамента Эро 149, 151, 153, 154, 159—161
Кампе Генрих Иоахим (1746—1818), немецкий педагог 75—78
Кампоманес Родригес Педро (1723—1803), испанский государственный деятель, экономист, историк, один из видных проводников политики «просвещенного абсолютизма» в Испании 495
Камю Арман Гастон (1740—1804), депутат Учредительного собрания, а затем Конвента 439
Канделоро Джорджо, итальянский историк 495
Кант Иммануил (1724—1804), родоначальник немецкой классической философии 10, 11, 97—111, 115, 120, 121, 144, 164, 165, 172
Карл II, король Англии 283
Карл V, король Испании, император «Священной Римской империи» (1519—1556) 20
Карл-Август (1775—1803), герцог Веймарский 13, 213
Карл-Евгений (1744—1793), герцог Вюртембергский 141—143
Катилина (Сергий Катилина) 174
Катон 49
Каупер (Купер) Уильям (1731—1800), английский поэт 387, 389, 392
Каутский Карл 65
Кеплер Иоганн (1571—1630), знаменитый немецкий астроном 98
Кернер Георг, друг Шиллера 134, 135, 142, 143, 145
Керсен Арман, депутат Законодательного собрания от Парижа, а затем депутат Конвента от департамента Сена и Уаза 427—431
Кине Эдгар (1803—1875), французский политический деятель, историк, писатель 49, 215
Клавьер Этьенн (1735—1793), банкир, негоциант, один из руководителей демократического движения в Женеве, затем министр государственных налогов (министр финансов) в жирондистском правительстве 255—257, 262, 263
Клайв Роберт (1725—1774), лорд, деятель английской колониальной администрации в Индии 19
Клеман, конституционный епископ Версаля 494
Клопшток Фридрих Готлиб (1724—1803), немецкий поэт 9, 49—53, 60, 63, 66, 67, 77, 113, 129—133, 135
Коббет Уильям (1762—1835), английский историк и публицист, радикал 382, 383
Кобден Ричард (1804—1865), английский политический деятель, экономист, идеолог промышленной буржуазии, лидер фритредерства 335
Колридж Самюэл Тейлор (1772—1834), английский поэт 388, 389, 396, 401
Кольбер Жан Батист (1619—1683), видный деятель французского абсолютизма, министр Людовика XIV 38
Конде Луи Жозеф, принц 190
Кондорсе Жан Антуан, маркиз де (1743—1794), французский философ-просветитель, экономист, социолог, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Эна 43, 49, 160, 351, 437, 451
Констан Бенжамен (1767—1830), французский политический деятель, публицист и писатель 449
Конуэй Даниель 382, 383

Корде Шарлотта (1768—1793) 145
Корреджо (Антонио Аллегри)(1489—1534), итальянский художник 43
Кортней 421
Кромвель Оливер (1599—1658), 273, 346, 348
Кроче Бенедетто (1866—1952), итальянский буржуазный философ и политический деятель, историк 37
Крузе Ф., французский историк 341
Кук Джемс (1728—1779), знаменитый английский мореплаватель 168, 169, 195
Карл Фридрих фон Эрталь см. Эрталь Карл Фридрих
Кюстин Адам Филипп, граф де (1740—1793), бригадный генерал, депутат Генеральных штатов от дворянства бальяжа Мец 116, 125, 150, 151, 165, 167, 188, 189, 191, 192, 194, 201, 203, 205—207, 441

Лаборд Жан Жозеф, банкир, депутат Учредительного собрания, член Якобинского клуба 360, 361
Ла Бурдоннэ, генерал 193
Лалли Тома Артюр, барон де Толландаль, французский генерал-губернатор в Индии 19
Л'Анж (Ланж) Франсуа Жозеф, деятель Французской буржуазной революции, идеолог бедноты, автор труда «Проекты и системы» 226—228, 243, 245, 458, 459, 488, 489
Ларошфуко д'Анвиль, герцог де, член Учредительного собрания, затем глава Парижского департамента 54, 55, 130, 133, 259
Ларошфуко-Лианкур Франсуа, герцог де, член Учредительного собрания 361
Ларошфуко, кардинал де, член Учредительного собрания 361
Лас-Касас Бартоломе (1474—1566), испанский гуманист, историк и публицист 171
Лассаль Фердинанд (1825—1864) 147, 320, 322
Лафайет Мари Жозеф, маркиз де (Мотье) (1757—1834) 131, 379
Лебрен Пьер Мари (он же Лебрен-Тондю), министр иностранных дел Франции 426, 427, 431
Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646—1716), немецкий философ-идеалист, математик, физик, юрист, историк, языковед 43, 113
Лендсдаун, лорд 421, 423
Леопольд II, австрийский государь, император «Священной Римской империи» (1790—1792) 139, 421
Лессинг Готхольд Эфраим (1729—1781), немецкий драматург, теоретик искусства и литературы, критик-просветитель 9, 11, 48, 49, 64—66, 90—96, 112, 113, 132, 164, 165
Лефевр Жорж (1874—1959), историк 455
Ле Шапелье И. Р. Г., член Учредительного собрания 295, 306, 307
Либкнехт Карл 47
Лидс, лорд 259
Ликлемир, член палаты общин 326
Ликург, легендарный древнеспартанский законодатель (9—8 вв. до н. э.) 475, 487
Лилберн Джон (1614—1657), руководитель и идеолог левеллеров 346
Линней Карл (1707—1778), знаменитый шведский естествоиспытатель 168, 169
Лист Фридрих (1789—1846), немецкий экономист, один из организаторов Германского таможенного союза 15—17, 64, 273
Локк Джон (1632—1704), английский философ-просветитель 43, 450, 451
Луве де Кувре Жан Батист (1760—1797), французский писатель и политический деятель, депутат

Конвента от департамента Луаре 394, 395
Лувуа Мишель Ле Телье, маркиз де (1641—1691), французский государственный деятель, военный министр Людовика XIV 200
Луи-Филипп, король Франции (1830—1848) 147, 350
Людовик XIV, король Франции (1643—1715) 38, 200, 442
Людовик XV, король Франции (1715—1774) 46
Людовик XVI, король Франции (1774—1792) 106, 125, 129, 257, 329, 380, 387, 391, 393, 394, 400, 402, 410, 427, 439
Людовик XVIII, король Франции (1814—1815 и 1815—1824) 147
Люксембург Роза 47
Лютер Мартин (1483—1546), глава бюргерской Реформации в Германии 22, 62

Мабли Габриель Бонно, де (1709—1785), аббат, французский утопический коммунист, политический писатель, историк 463, 468, 476, 477
Майнцский курфюрст-епископ см. Эрталь Карл Фридрих
Макиавелли Николо (1469—1527), итальянский политический мыслитель, писатель, историк, военный теоретик 51
Маккензи Александр (1764—1820), шотландский путешественник 266, 267
Мальтус Томас Роберт (1766—1834), английский экономист, священник, автор труда «Опыт о законе народонаселения» 449, 481—483
Марат Жан Поль 138, 145, 295
Марешаль Пьер Сильвен (1750—1803), французский политический деятель, философ, литератор 423
Мария, королева Англии 349, 351
Мария Антуанетта, королева Франции (1774—1792) 348
Мария-Терезия, австрийская государыня 21
Маркс Карл 14, 15, 17, 25, 27, 29—32, 37, 39, 65, 98, 234, 269, 320, 321, 446, 447, 463, 466, 468, 469
Матьез Альбер (1874—1932), французский историк 151
Мёзер Юстус (1720—1794), немецкий публицист, историк 17—19, 23, 25, 27—32, 36, 38, 61, 64, 70—75, 221
Меринг Франц (1846—1919), деятель немецкого рабочего движения, философ, историк-марксист 13, 15, 21, 37, 46—48, 50, 51, 64—67, 92, 93, 95, 490
Мерлен из Тионвиля Антуан Кристоф, адвокат, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Мозель, комиссар Конвента 208
Мерлин, сказочный волшебник 166
Мерсье Луи Себастьен (1740—1814), французский писатель, автор «Картин Парижа» и утопии «2440-й год» 473
Мильтон Джон (1608—1674), английский поэт, политический деятель, мыслитель, автор «Потерянного рая» 9
Мирабо Оноре Габриель Рикети, граф де (1749—1791) 38, 39, 77, 123, 174, 240, 255—257, 261, 263, 375
Миранда Франсиско (1750—1816), венесуэльский патриот, один из руководителей борьбы за независимость испанских колоний в Америке 153, 497
Мозер Карл Фридрих фон (1721—1798), немецкий публицист, издатель «Патриотических архивов» 140, 141
Монтескьё Шарль Луи (1698—1755), французский просветитель, правовед, философ, писатель 18, 68, 196, 197

Монтескью, генерал, главнокомандующий Альпийской армии, депутат Генеральных штатов от дворянства Парижа 150, 151, 261—263
Монти Винченцо (1754—1828), итальянский поэт, представитель классицизма 494
Мор Томас (1478—1535), английский гуманист, государственный деятель и писатель, основоположник утопического социализма 273, 284, 285
Морелли, аббат, утопический коммунист, автор труда «Кодекс природы, или Истинный дух ее законов» 250, 251
Мори Жан Сиффрен (1746—1817), аббат, депутат Учредительного собрания 357, 361
Мунье Жан Жозеф (1758—1806), член Учредительного собрания, после октябрьских событий эмигрировал в Женеву 257
Мэкинтош Джемс (1765—1832), английский философ, историк, юрист 364, 365, 368—378, 401
Мюллер Иоганн фон (1752—1809), швейцарский историк, министр в Майнце 183

Наполеон I Бонапарт 39, 147, 442
Неккер Жак (1732—1804), французский финансист и государственный деятель 235
Нерон Клавдий Цезарь (37—68), римский император 121
Ноай Луи, виконт де (1756—1804), депутат Генеральных штатов от дворянства бальяжа Немур, член Учредительного собрания 361
Норт (1732—1792), лорд, премьер-министр Англии 346, 347, 405
Ньютон Исаак (1643—1727), английский физик и математик 98, 173, 455

Оранский принц см. Вильгельм Оранский и Вильгельм III
Орри, генеральный контролер финансов Франции 289
Осман, депутат Законодательного собрания от департамента Сена и Уаза, затем член Конвента 208
Оттон I (Оттон Великий) (912—973), основатель «Священной Римской империи» 19, 49
Оуэн Роберт (1771—1858), английский социалист-утопист 448, 450, 451

Пайготт, английский писатель 364
Паскаль Блез (1623—1662), французский религиозный философ, писатель, математик и физик 98
Пейн Томас (1737—1809), общественный и политический деятель США и Великобритании, депутат Конвента от департамента Па-де-Кале 365, 378—385, 402, 407, 410, 423, 433, 445, 493
Перье, семья французских фабрикантов 256, 257
Песталоцци Иоганн Генрих (1746—1827), швейцарский педагог-демократ, один из основоположников дидактики начального обучения 75, 78—87, 89, 90, 164, 165, 212, 213
Петион де Вильнёв Жером (1756—1794), адвокат, депутат Учредительного собрания, мэр Парижа, депутат Конвента от департамента Эр и Луар 375
Петрарка Франческо (1304—1374), итальянский поэт, родоначальник гуманистической культуры Возрождения, историк, археолог 172
Пий II (Энеа Сильвио Пикколомини, 1405—1464), папа Римский 21
Питт Уильям, Питт Старший (1708—1778), граф Чатам, министр иностранных дел, член палаты лордов, премьер-министр Англии в 1766—1768 гг. 329, 331

Питт Уильям, Питт Младший (1759—1806), премьер-министр Англии в 1783—1801 гг. 173, 261, 267, 271, 274, 281, 310, 316, 317, 325, 328—330, 332, 333, 336—339, 343—348, 362, 374, 384, 405, 407, 411, 414, 417, 419, 423—432, 435, 436, 442—446, 477

Платон (428—348 до н. э.), древнегреческий философ 476, 477

Портленд, герцог, лидер правого крыла вигов 425, 436

Потоцкий, член Рейнского Конвента 211

Прайс Ричард (1723—1791), английский радикальный публицист, экономист и философ-моралист 324—326, 347, 349, 353

Пристли Джозеф (1733—1804), английский философ-материалист, химик, член Конвента, в 1794 г. эмигрировал в США 347, 351, 423

Прюдом Луи Мари, основатель и главный редактор газеты «Революсьон де Пари» 423, 426, 430

Пфафф Кристоф (1773—1852), друг Кернера, профессор химии в Кильском университете 142, 143

Пэрри, английский журналист, автор «Аргуса» 424

Рафаэль (Раффаэлло Санти) (1483—1520), итальянский живописец и архитектор 43

Реаль Гийом Андре, депутат Конвента от департамента Изер 160

Ребаз (1737—1804), участник демократического движения в Женеве в 1782 г., в 1792 г. поверенный в делах Женевской республики в Париже 261, 263

Рёбель Жан Франсуа (1747—1807), член Учредительного собрания, депутат Конвента от департамента Верхний Рейн, глава Директории в 1796 г. 208

Реберг Г., государствовед в Ганновере 217

Рёдерер Пьер Луи, член Учредительного собрания, затем генеральный прокурор-синдик Парижского департамента 165

Рейнгард, учитель в Бордо, затем видный дипломат, в 1792 г. поступил на французскую службу 145, 147

Рени Гвидо (1575—1642), итальянский живописец 392

Рикардо Давид (1774—1823), теоретик английской классической буржуазной политэкономии 269

Рихтер Иоганн Пауль Фридрих (Жан Поль) (1763—1825), немецкий писатель 12, 13

Риччи Шипионе, епископ 494

Робеспьер Максимилиан Мари Изидор де (1758—1794) 19, 133, 146, 159, 160, 227, 389, 394, 395, 437—439, 441

Ролан де ла Платьер Жан Мари (1734—1793), министр внутренних дел с 23 марта до 13 июня 1792 г. и с 10 августа 1792 г. до 23 января 1793 г. 23, 132, 133, 138, 438

Ролан де ла Платьер Манон Жанна (1754—1793), жена предыдущего 438

Руже де Лиль Клод Жозеф (1760—1836), французский поэт и композитор, автор «Боевой песни Рейнской армии» («Марсельезы») 196, 197

Руссо Жан Жак (1712—1778) 9, 10, 68, 77, 79, 81, 108, 109, 140, 170, 213, 241—243, 450, 468, 484

Саути Роберт (1774—1843), английский поэт 388, 389

Свифт Джонатан (1667—1745), знаменитый английский писатель 345, 448, 449

Селим III (1761—1808), турецкий султан 441

Сен-Жюст Луи Антуан (1767—1794),

депутат Конвента, член Комитета общественного спасения 225
Сен-Пьер Шарль Ирене, аббат де (1658—1743), французский писатель, автор «Проекта вечного мира» 109, 111
Сиейес Эммануэль Жозеф (1748—1836), аббат, член Учредительного собрания, депутат Конвента от департамента Сарта 125, 151
Симон Антуан, член Парижской коммуны, член Клуба кордельеров, воспитатель дофина до января 1793 г., комиссар Конвента 209
Смит Адам (1723—1790), английский экономист и философ, видный представитель классической буржуазной политической экономии 266—277, 279, 281—283, 285, 286, 288—291, 295—297, 299—307, 309, 313, 315, 316, 320—327, 332, 339, 341, 344, 383, 443, 483
Собуль Альбер, французский историк 65
Солон (640—558 до н. э.), афинский политический деятель и социальный реформатор 136
Сомерс Джон (1651—1716), лорд, английский государственный деятель, писатель, один из руководителей партии вигов 350, 351, 378, 379
Спиноза Бенедикт (Барух) (1632—1677), нидерландский философ-материалист 91, 100
Стюарты, королевская династия в Шотландии и Англии 350
Стэнхоп Чарлз (1753—1816), граф, шурин Питта Младшего, член палаты общин, английский писатель и ученый 375

Талейран-Перигор Шарль Морис де (1754—1838), епископ Отёнский, член Учредительного собрания 240, 241
Тарже Гюи Жан Батист, депутат Конвента 375
Тарле Е. В. 490, 493
Татэм, английский писатель 364
Тилларсон 261
Тилль, немецкий поэт 141
Тон Тиоболд Уолф (1763—1798), ирландский революционер и демократ, один из основателей революционно-патриотического общества «Объединенные ирландцы» 427
Троншен, женевский посланник в Париже 255, 259—261
Троншен Франсуа, брат предыдущего 255
Тугут Франц де Паула (1736—1818), барон, австрийский канцлер 193
Туре (1746—1794), адвокат, депутат Генеральных штатов от третьего сословия Руанского бальяжа, судья кассационного суда 240, 241
Тэн Ипполит (1828—1893), французский историк, философ, эстетик 354
Тэр (Thaer) Альбрехт, писатель, автор «Принципов рационального земледелия» 165
Тюрго Анн Робер Жак (1727—1781), французский государственный деятель, философ-просветитель и экономист 43, 255, 296, 297, 356

Уилберфорс Уильям (1759—1833), член палаты общин 387, 396, 397
Уиндхэм (1750—1810), военный министр в кабинете Питта 411, 413
Уитбред Самюэл, депутат английского парламента 310, 311, 319, 324, 326, 446, 447
Уолпол Роберт (1676—1745), английский государственный деятель, с 1721 г. возглавлял правительство 331
Уолпол Хорас (1717—1797), английский литератор 291
Уолстонкрефт, английская писательница 365

Уотсон, английский епископ 429
Уркарт Давид, английский дипломат, реакционный публицист 27

Фабр д'Эглантин Филипп (1750—1794), депутат Конвента от Парижа, казнен вместе с дантонистами 423
Фази Анри 254, 255
Фази Жан Жакоб (Джеймс) (1794—1878), швейцарский политический деятель, публицист 257
Филанджиери Гаэтано (1752—1788), итальянский просветитель, юрист, автор «Науки законодательства» 489
Филипп II, испанский король (1556—1598) 279
Фихте Иоганн Готлиб (1762—1814), немецкий философ и общественный деятель 211—244, 246, 247, 250, 252, 488
Флао, граф де 259
Флоридабланка Хосе (Франсиско Антонио Моньино) (1728—1808), граф, испанский государственный деятель, сторонник просвещенного абсолютизма, первый министр Карла III и Карла IV 495
Фокс Чарлз Джеймс (1749—1806), английский политический деятель, лидер радикального крыла партии вигов 310, 311, 328, 338, 348, 365, 403—407, 409—411, 416, 417, 419, 421, 423—425, 427—430, 436, 443—445
Форстер Георг (1754—1794), немецкий просветитель и революционный демократ 21, 32—36, 39, 41, 56—59, 61, 64, 77, 141, 168—199, 201, 203, 205—209, 225, 243, 251, 252, 320, 364—366, 409, 448, 488, 491
Форстер Рейнгольд (1729—1798), немецкий натуралист и путешественник, отец Георга Форстера 169
Фосс, книготорговец, берлинский издатель Форстера 12, 13, 64, 192—195, 208
Франклин Бенджамин, американский просветитель, государственный деятель, ученый 75, 279, 487, 496
Франц-Иосиф см. Франц II
Франц II (1768—1835), австрийский государь, император «Священной Римской империи» 19, 188, 189, 421
Френсис Филипп, сэр, английский политический писатель 423, 445
Фридрих, маркграф Баденский 212, 213
Фридрих II (Фридрих Великий) (1712—1786), король Пруссии (1740—1786) 12, 22, 23, 38, 46—52, 60—67, 81, 95, 102, 104—106, 113, 120, 141, 154, 213
Фридрих Вильгельм I, король Пруссии (1713—1740) 22
Фридрих Вильгельм II, король Пруссии (1786—1797) 202, 203
Фуггеры, семейство немецких купцов и банкиров 20
Фурье Франсуа Мари Шарль (1772—1837), французский утопический социалист 458

Харди Томас (1752—1832), основатель Лондонского корреспондентского общества 403, 413
Херн, английский путешественник 267
Ховельянос-и-Рамирес Гаспар-Мельчор де (1744—1811), испанский просветитель, государственный и политический деятель 495
Хоуксбери, лорд, крайний роялист 435

Цезарь Гай Юлий (102—44 до н. э.), древнеримский государственный и политический деятель, полководец, писатель 49

Шабо Франсуа (1759—1794), депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Луар и Шер 161
Шарлье Луи Жозеф, адвокат, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Марна 161
Шеллинг Фридрих Вильгельм (1775—1854), немецкий философ, представитель немецкого классического идеализма 143, 144
Шенье Андре Мари (1762—1794), французский поэт и публицист 386, 387
Шеридан Ричард (1751—1816), английский драматург, член палаты общин, в 1782 г. министр иностранных дел 403, 421, 445
Шиллер Иоганн Фридрих (1759—1805), немецкий поэт, драматург, теоретик искусства, историк, выдающийся представитель Просвещения в Германии 9, 40—45, 116, 117, 119, 134, 135, 137—139, 196, 197
Шлегель, братья (Фридрих и Август) 12, 13, 64
Шлёцер Август Людвиг (1735—1809), немецкий историк, филолог, статистик, сторонник просвещенного абсолютизма 22, 23
Шлоссер (1739—1799), член ордена иллюминатов, советник маркграфа Баденского 212, 213
Шовелен, посланник Франции 431, 433
Шометт Пьер Гаспар (Анаксагор) (1763—1794), прокурор-синдик Парижской коммуны в 1792 г. 423
Штойдлин (1758—1796), редактор «Дер Дойче кроник» 167
Шуазель Этьенн Франсуа (1719—1785), герцог де, французский государственный деятель, министр иностранных дел 360
Шубарт Кристиан Фридрих (1739—1791), немецкий публицист и поэт, основатель «Дер Дойче кроник» 140—145, 167, 187, 491

Эгийон, герцог де, депутат Генеральных штатов от дворянства сенешальства Ажен 360
Эккерман Иоганн Петер (1792—1854), немецкий литератор, секретарь и друг Гёте 77, 121
Энгельс Фридрих 14, 15, 17, 25, 27, 29—31, 37, 39, 64, 65, 321, 447, 463, 469
Эразм Роттердамский (1469—1536), нидерландский ученый, литератор и философ, гуманист эпохи Возрождения 42
Эрскин Томас (1750—1823), член парламента, лорд, видный английский адвокат и оратор 445
Эрталь Карл Фридрих, князь, курфюрст Майнцский 174, 175, 184, 185, 188, 190, 195, 206

Яков II, король Англии (1685—1688) 349, 351
Яков II, король Шотландии (1437—1460) 288
Яков Эдуард Стюарт (1688—1766), сын Якова II, претендент на английский престол 349, 351

Оглавление

Введение 7

Глава I. ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГЕРМАНИИ 9

Препятствия для революционного движения 12
Мнения Маркса, Листа и Мёзера 14
Экономический упадок 20
Мануфактуры 21
Юстус Мёзер и развитие промышленного капитализма . . . 23
Картина, нарисованная Форстером 32
Буржуазия и государи 37
Речь Шиллера о мировой истории 40
Влияние Фридриха II 46
Влияние Иосифа II 52
Невозможность национального единства 60
Дополнительные замечания 63

Глава II. НЕМЕЦКАЯ МЫСЛЬ 68

Политическая мысль Виланда 68
Юстус Мёзер и крепостное право 70
Социальная мысль Базедова и Кампе 75
Учение Песталоцци 78
Мысль Лессинга 90
Мысль Канта 97
Мысль Гердера 111
Шиллер и Гёте 116
Виланд 120
Клопшток 129

Недоверие Шиллера 134
Революционное движение в Швабии 139
Симпатии к жирондистам в Германии 145

Глава III. ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ ЭКСПАНСИЯ 148

Доктрина Камбона 149
Революционная диктатура Франции 154
Одобрение Жиронды и колебания Горы 159
Призыв Революции к Европе 162

Глава IV. НЕМЦЫ ЛЕВОГО БЕРЕГА РЕЙНА 164

Георг Форстер 168
Майнцский клуб и присоединение к Франции 189
Форстер и присоединение к Франции 198
Рейнский Конвент 208

Глава V. ФИХТЕ И ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 211

Фихте и свобода мысли 214
Фихте — защитник Французской революции 217
Фихте и крепостное право 219
Фихте и собственность 222
Фихте и теория труда 226
Фихте и сеньориальный порядок 230
Фихте и церковные имущества 235
Анонимный немецкий коммунист 242

Глава VI. РЕВОЛЮЦИОННАЯ МЫСЛЬ В ШВЕЙЦАРИИ . . . 254

Революция и контрреволюция в Женеве 254

Глава VII. ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В АНГЛИИ 264

Силы Англии 265
Адам Смит 266
Адам Смит и его трудовая теория 268
Адам Смит и свобода торговли 272
Адам Смит и колониальная система 275
Сравнительный очерк социальной эволюции Франции и Англии 282
Перемены в сельском хозяйстве 284
Английские и французские крестьяне 290
Промышленная буржуазия и рабочий класс 294
Адам Смит и цеховая система 295
Угольная промышленность 299
Акционерные общества 302
Адам Смит и профессиональные объединения 306
Рабочие и право коалиций 308
Закон о бедных 313
Буржуазные репрессии 317
Заработная плата 320

Питт Младший 328
Питт и реформа избирательной системы 330
Торговый договор с Францией 333
Экономическое и финансовое процветание 338
Различия между Францией и Англией 344
Памфлет Бёрка против Революции 344
Опровержение Бёрка 366

Глава VIII. РЕВОЛЮЦИОННАЯ МЫСЛЬ В АНГЛИИ 364

Социальный памфлет 366
Мэкинтош 368
Мэкинтош и политическая реформа 374
Томас Пейн 378
Английские поэты и Революция 386
Каупер 387
Колридж 388
Вордсворт 390
Роберт Бёрнс 396
Размах революционного движения 402
Фокс 404

Глава IX. НА ПУТИ К РАЗРЫВУ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ АНГЛИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ 410

Наступление сил реакции и его причины 410
Воздействие французских побед 417
Фокс против воинственного течения 419
Французские иллюзии 423
Доклад Бриссо 432
Заблуждение французских революционеров 437
Английские демократы и всеобщее избирательное право 442

Глава X. СОЦИАЛЬНАЯ МЫСЛЬ В АНГЛИИ 446

Годвин и Французская революция 447
Годвин и насилие 452
Годвин и социальное равенство 459
Годвин и собственность 465
Реализм Годвина 472
Годвин и его предшественники 475
Годвин и социальная республика 479
Годвин о роскоши 483
Годвин и производство 486
Европейский кризис 488
Библиография 490
Указатель имен 497

ЖАН ЖОРЕС

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ИБ № 6007

Редактор *Н. В. Рудницкая*
Художник *А. Ф. Серебряков*
Художественный редактор *В. А. Пузанков*
Технический редактор *Г. В. Трушина*
Корректор *Г. Н. Иванова*

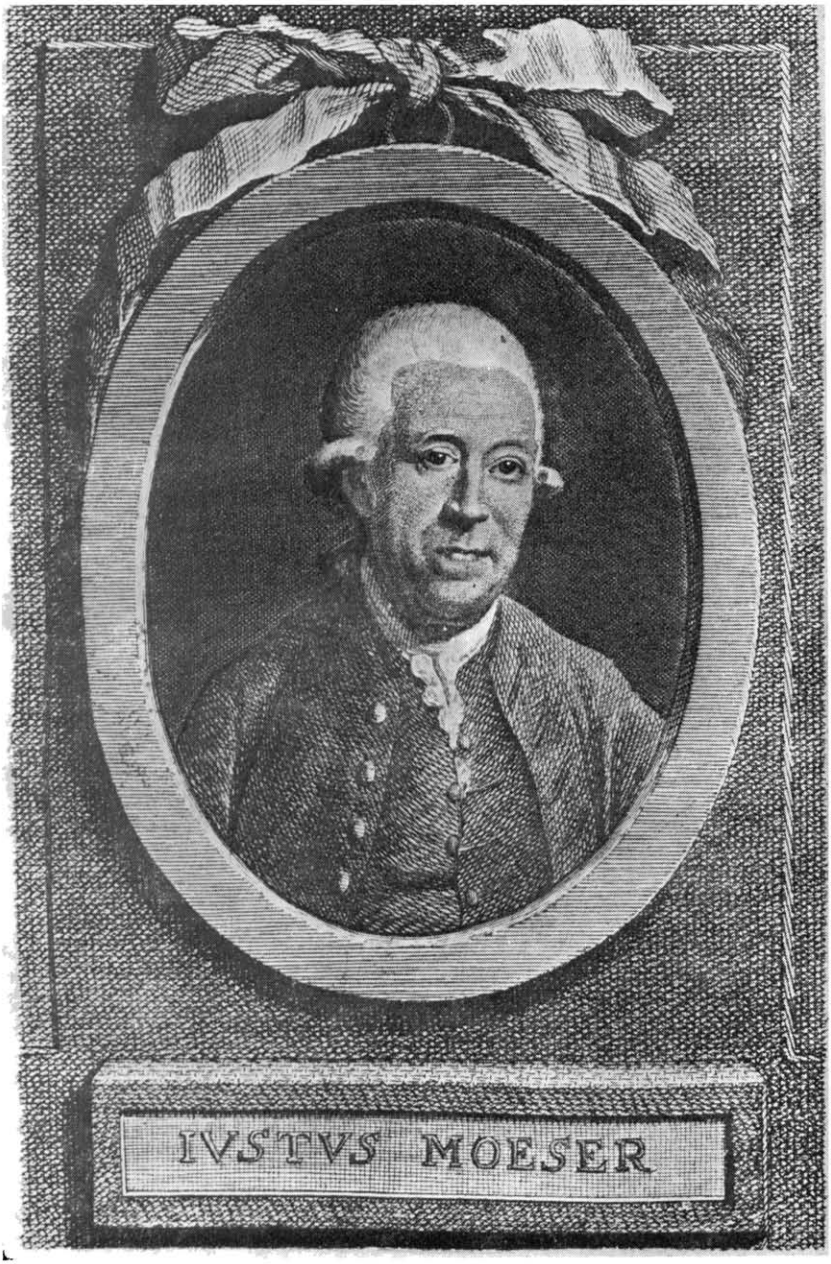
Формат 60×90¹/₈. Бумага типографская № 1.
Гарнитура Обыкновенная новая. Печать высокая.
Печ. л. 32,0 + 3,5 печ. л. вклеек. Уч.-изд. л. 36,61.
Тираж 8500 экз. Заказ № 01344. Цена 3 руб. 20 коп.
Изд. № 27319

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Прогресс»
Государственного Комитета СССР
по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли
Москва 119021, Зубовский бульвар, 17

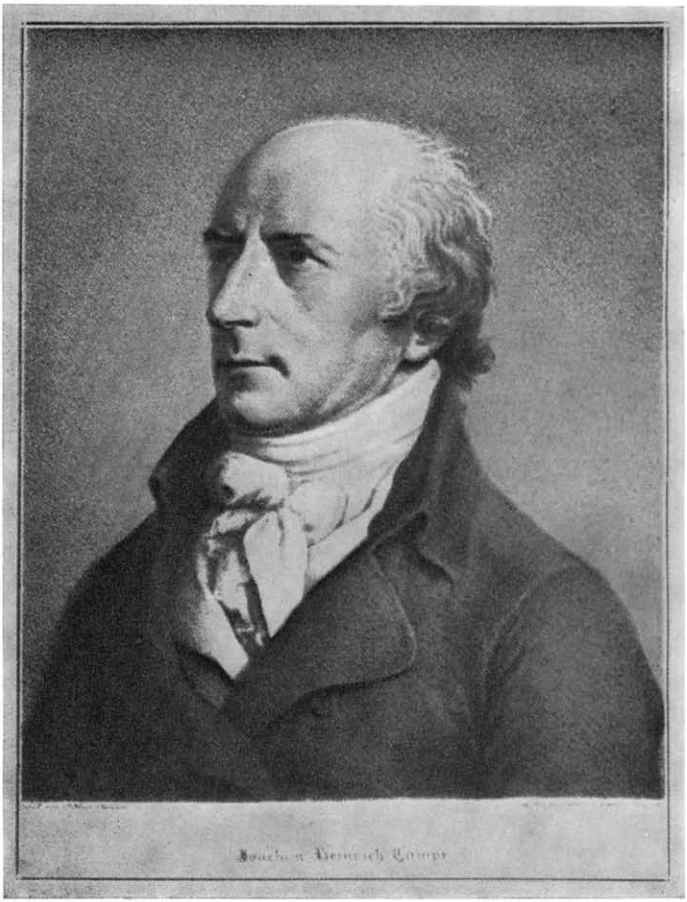
Ордена Трудового Красного Знамени
Московская типография № 7 «Искра революции»
Союзполиграфпрома
Государственного Комитета СССР
по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли

Фридрих II, король Пруссии (1712—1786). (Bibl. Nat., Est.)

Иосиф II (1741—1790). (По эстампу из Музея Карнавале.)



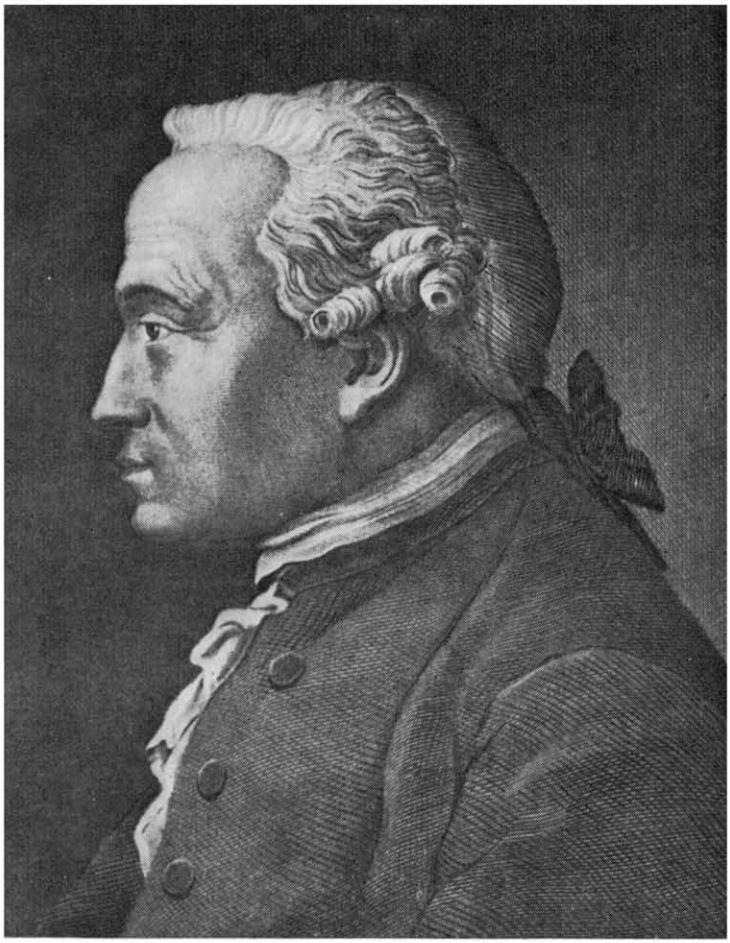
Юстус Мёзер (1720—1794). (Bibl. Nat., Est.)



Генрих Кампе (1746—1818).

И. Г. Песталоцци (1746—1827).

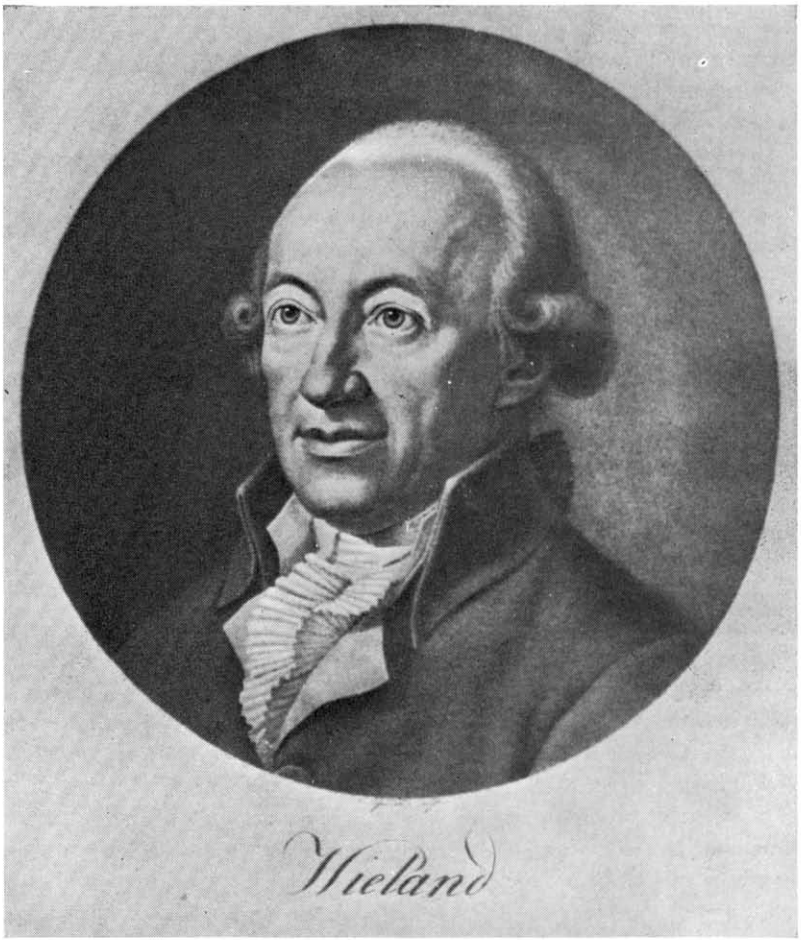
Лессинг (1729—1781). (Bibl. Nat., Est.)



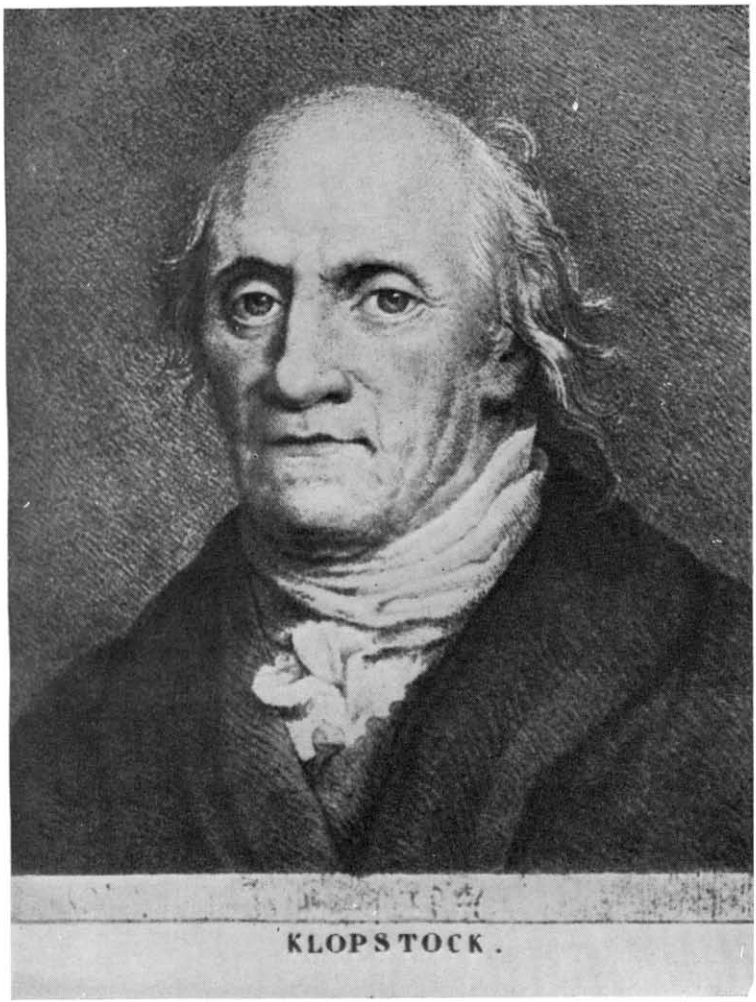
Kant (1724—1804). (Bibl. Nat., Est.)

l'epðep (1744—1803). (Bibl. Nat., Est.)

Гёте (1749—1832). (По эстампу из Музея Карнавале.)



Виланд (1733—1813). (Bibl. Nat., Est.)



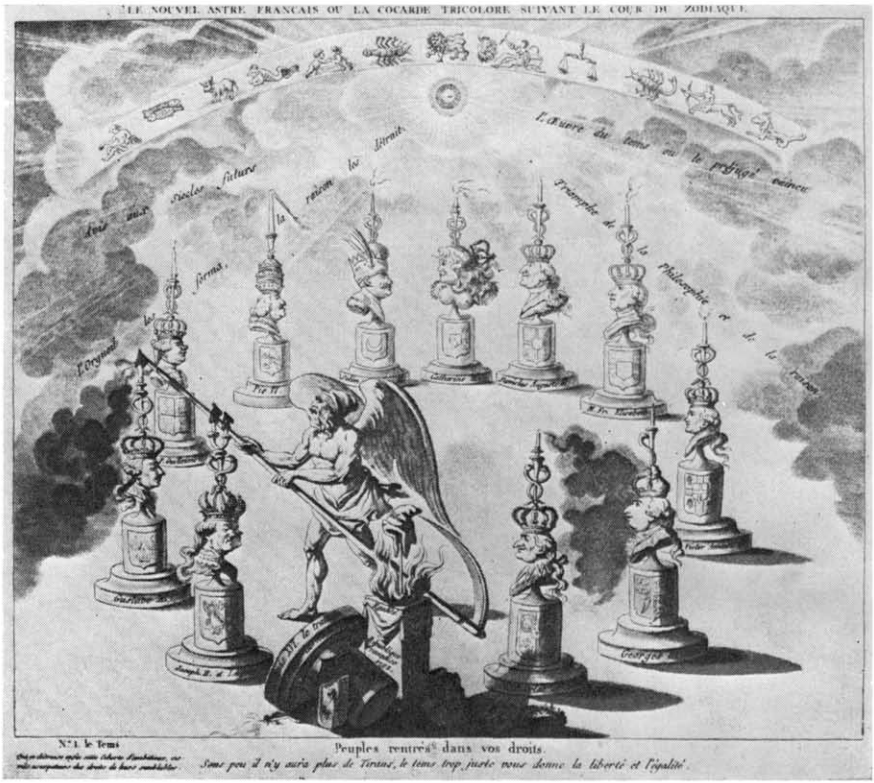
Клопшток (1724—1803). (Bibl. Nat., Est.)

Шиллер (1759—1805). (По эстампу из Музея Карнавале).

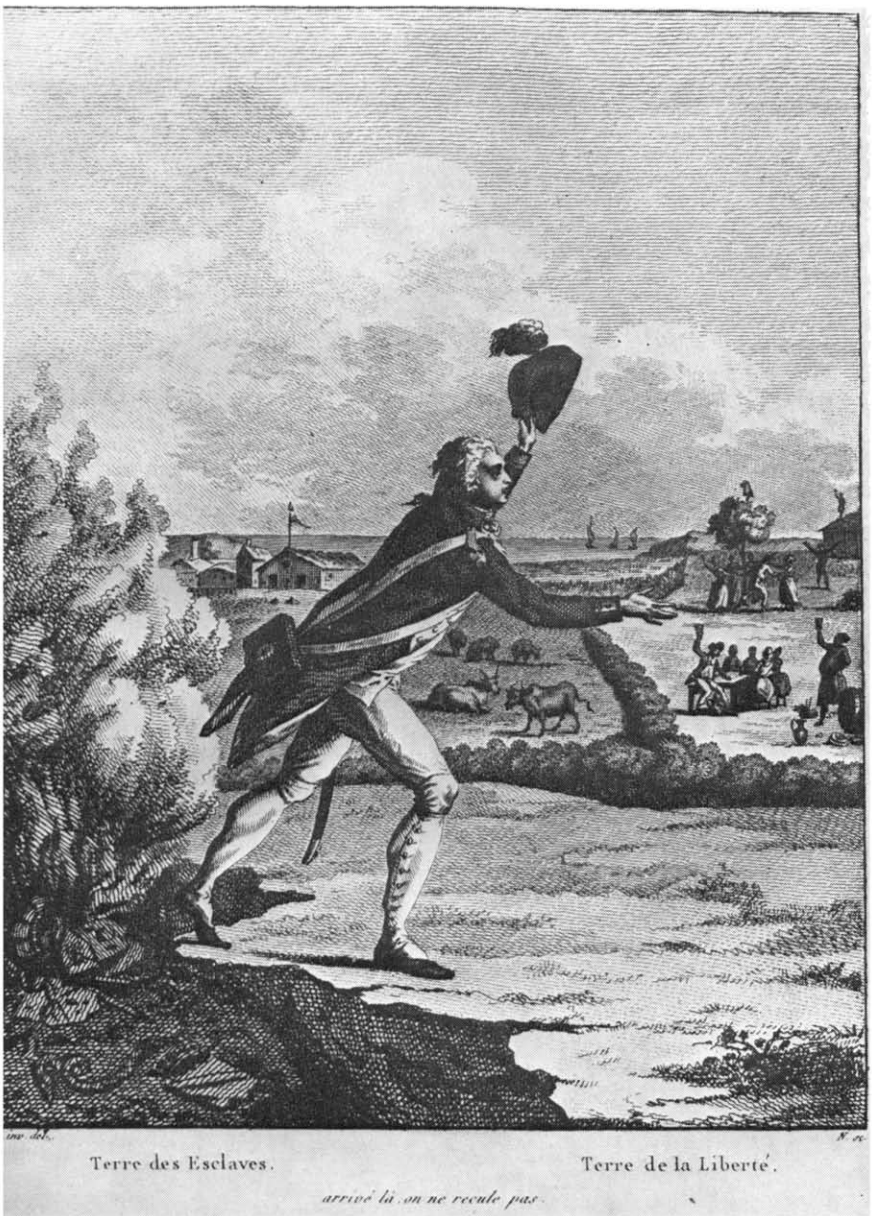
Шеллинг (1775—1854). (Bibl. Nat., Est.)

Гегель (1770—1831). (Bibl. Nat., Est.)

Жозеф Камбон (1756—1820). (Коллекция Виоле.)



«*Новое небесное светило французов*». (Bibl. Nat., Est.)



«Земля рабов. Земля свободы. Достигнув этой, последней земли, ее уже не покидают». (Bibl. Nat., Est.)

«Ночь 10 августа в Париже». Немецкая контрреволюционная гравюра. (Bibl. Nat., Est.)

«События 2 сентября 1792 г.». Немецкая контрреволюционная гравюра. (Bibl. Nat., Est.)

«Машина для отсекания голов». Немецкая контрреволюционная гравюра. (Bibl. Nat., Est.)

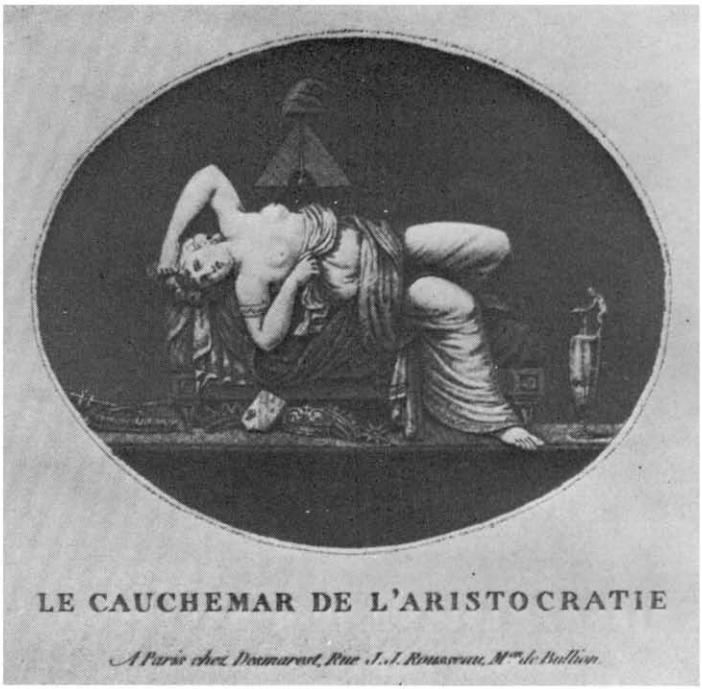
«Национальное собрание — ненасытное чудовище». Немецкая контрреволюционная гравюра. (Bibl. Nat., Est.)

«Вид города и крепости Кёнигштайн, где в ноябре 1792 г. 400 французов были осаждены войсками прусского генерала фон Пфау». *Немецкая гравюра.* (Bibl. Nat., Est.)

«Прусские и гессенские войска изгоняют французов из Франкфурта, 2 декабря 1792 г.». Немецкая гравюра.
(Bibl. Nat., Est.)

Фихте. (Bibl. Nat., Est.)

Vol 1792-in. (Bibl. Nat., Est.)



«*Кошмар аристократии*». (Bibl. Nat., Est.)

A LA REPUBLIQUE

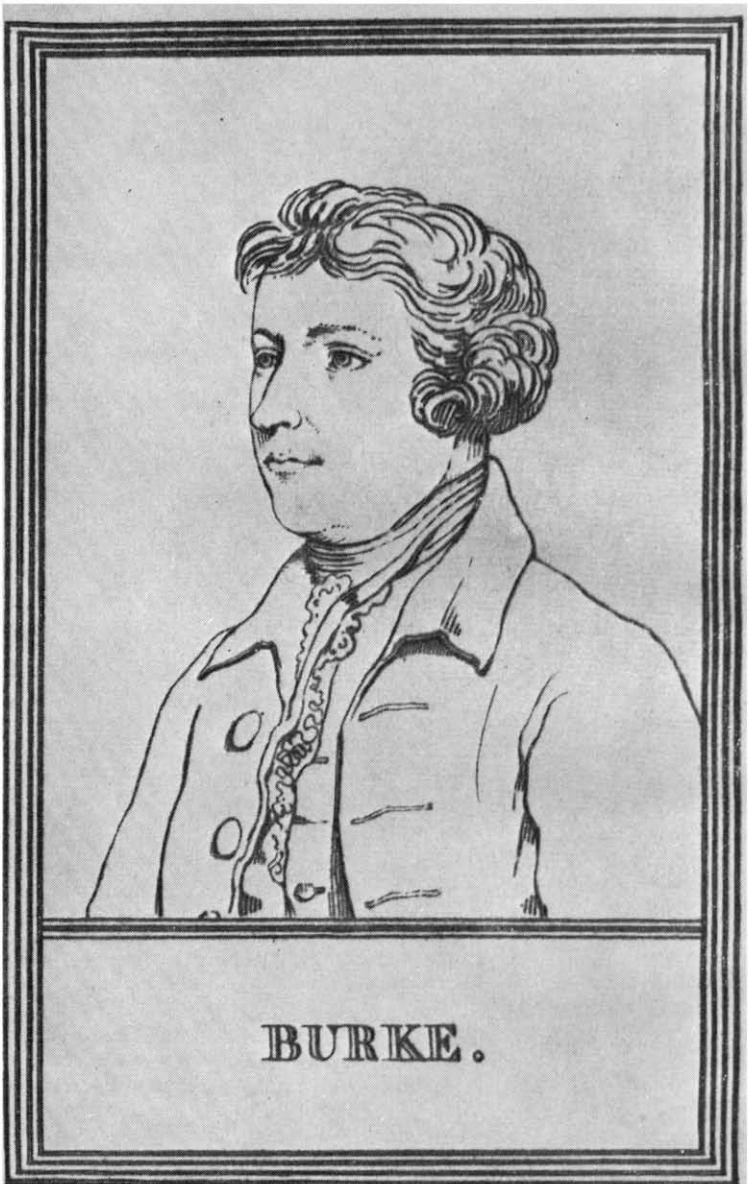
l'Assemblée representée sous la figure d'une femme envoye ses decrets par tout l'univers; son enfant nous annonce la régénération de la France. Le Chien Simbole de l'amitié et de la fidélité nous temoigne la Constance et l'amour que la Convention nationale à témoigné à la patrie. La Mer nous fait esperer des trésors immenses qui doit résulter de ses pénibles travaux.

A Paris chez Mlle Constance Enclos du Temple a la Rotonde dans l'interieur N° 11

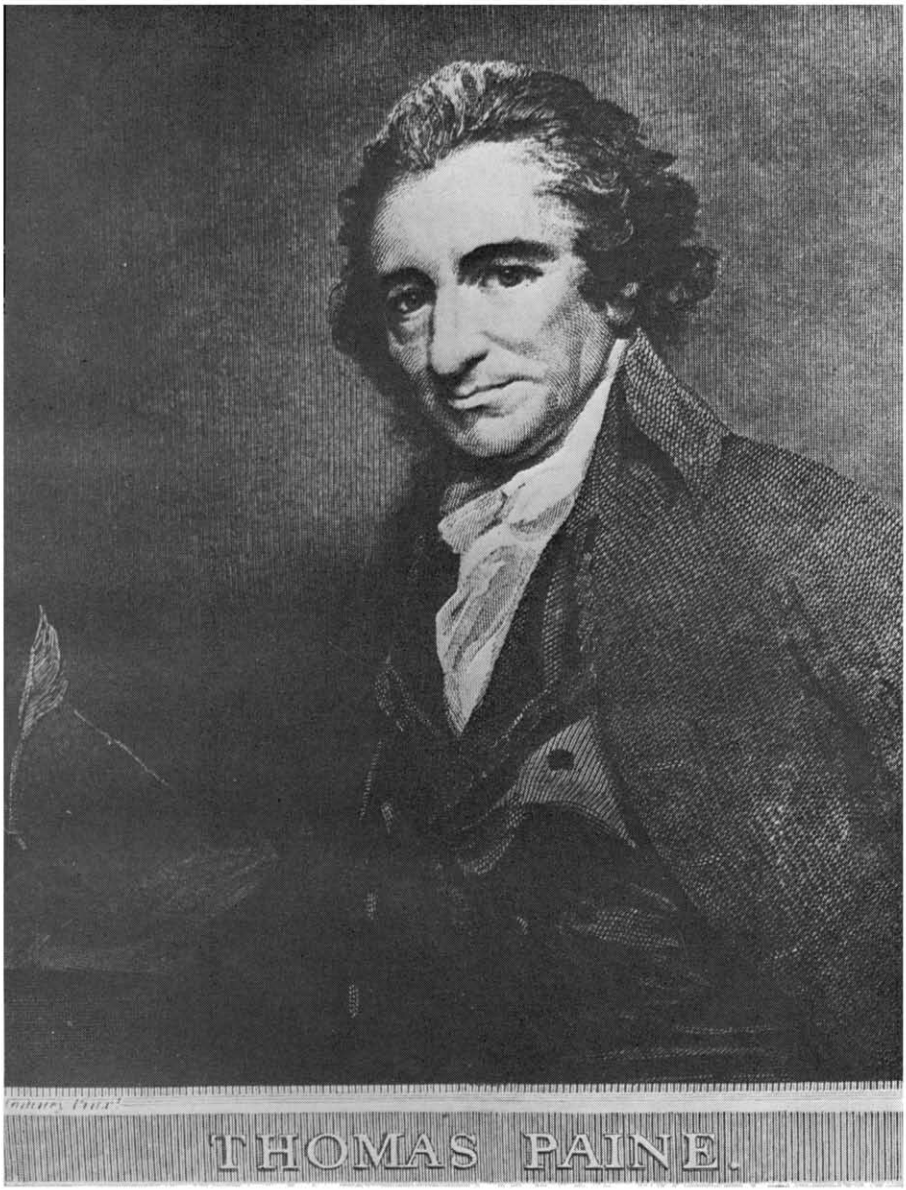
«*Да будет Республика*». (Bibl. Nat., Est.)

Адам Смит. (Коллекция Ларусса.)

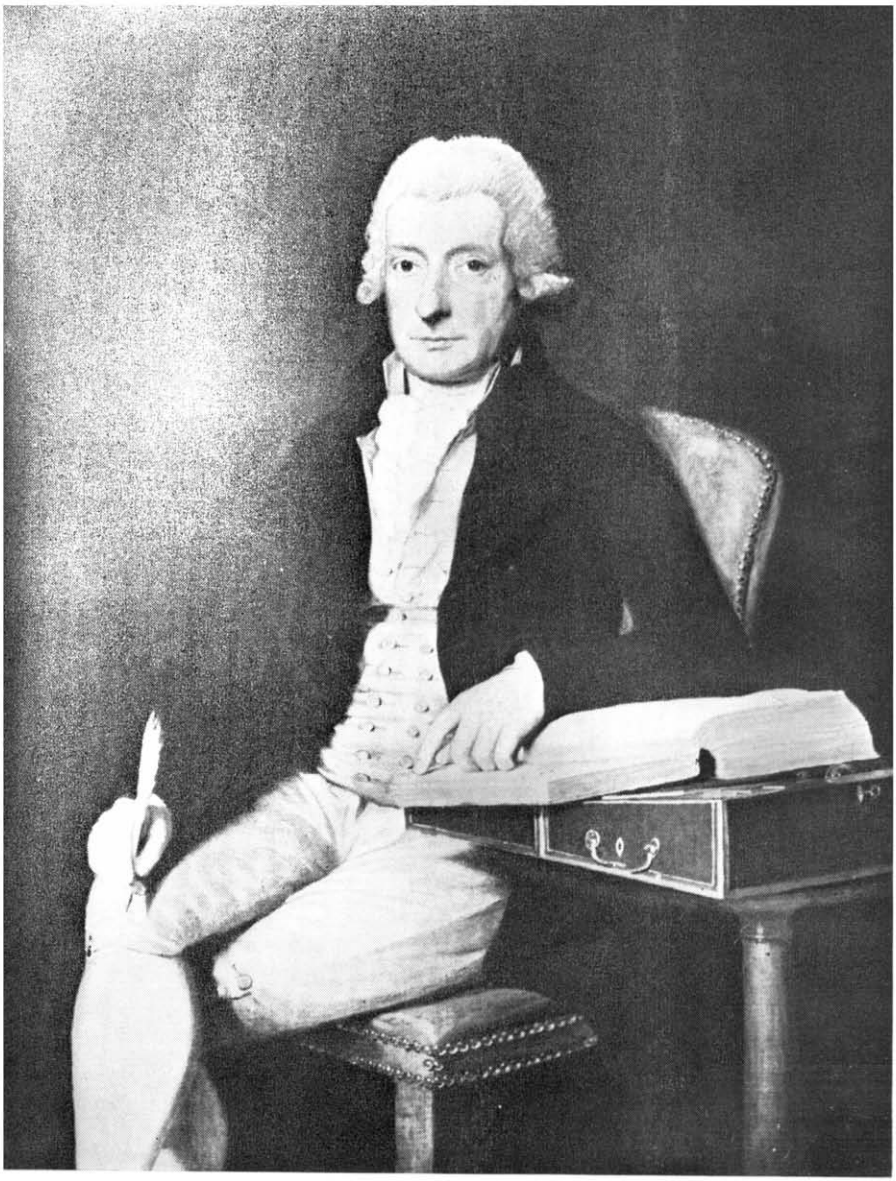
Питт Младший (1759–1806). (Коллекция Виоле.)



Бёрк. (Коллекция Виоле.)



Томас Пейн. (Коллекция Виоле.)

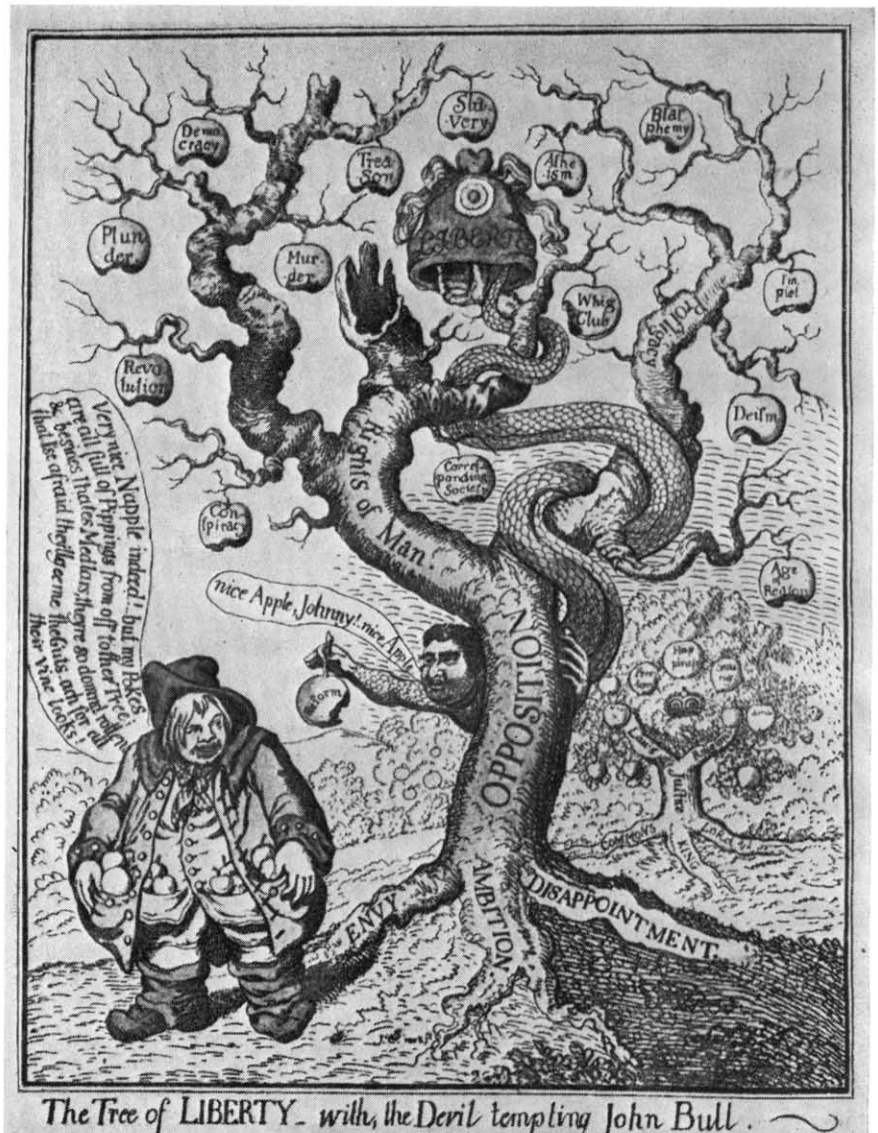


У. Кауер. (Snark international.)

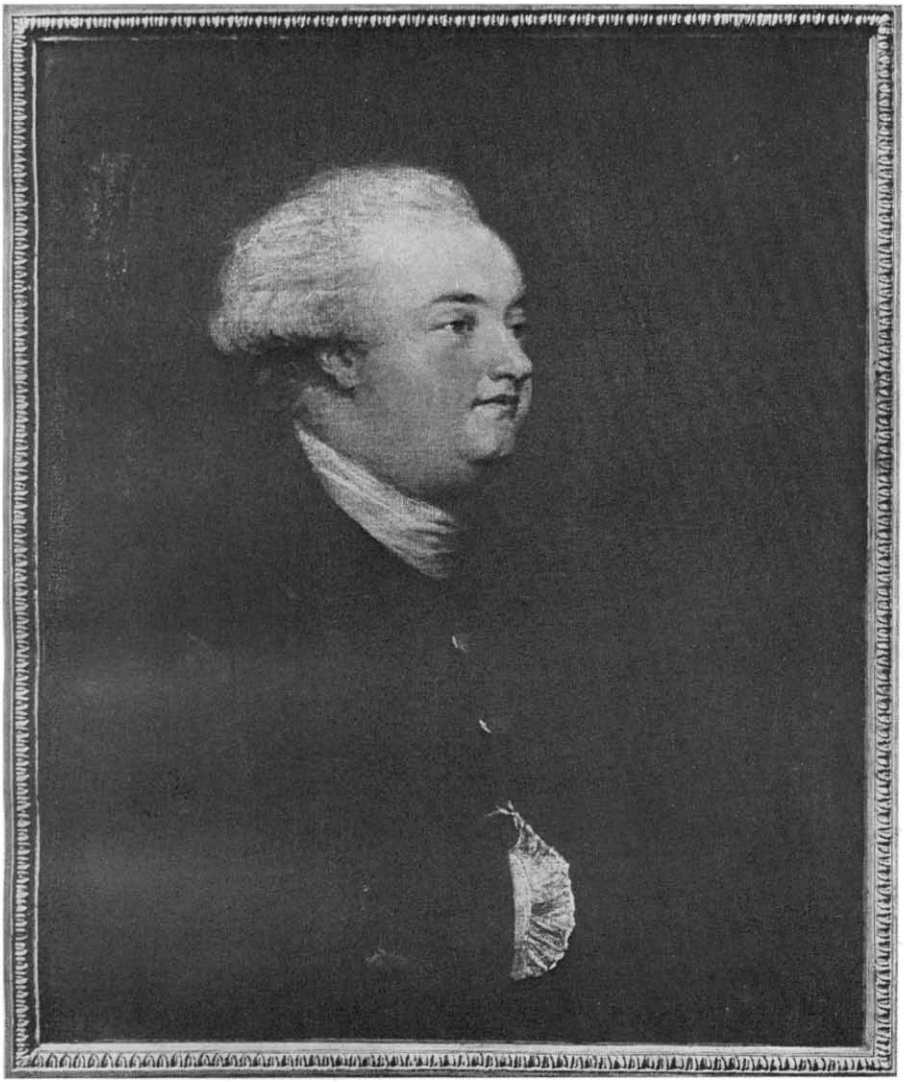
Колридж. (Bibl. Nat., Est.)

Вордсворт. (Коллекция Жиродона.)

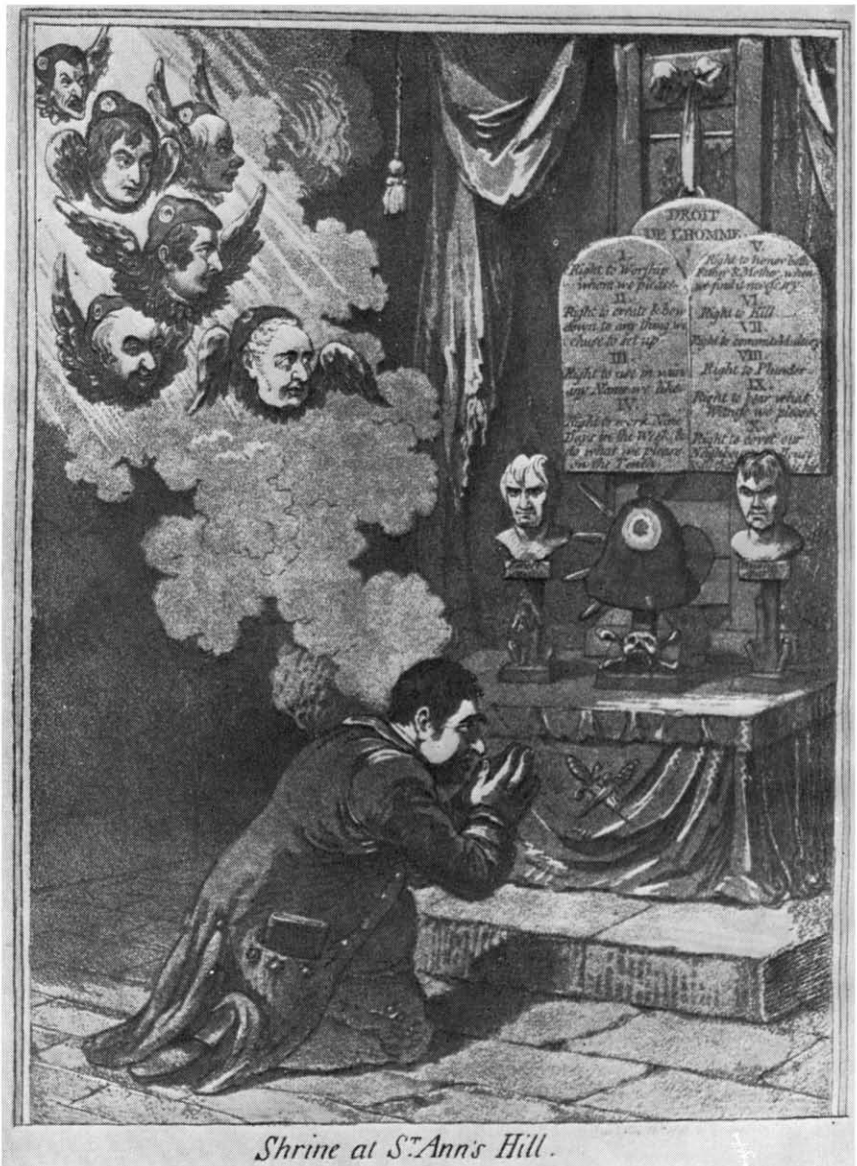
Роберт Бёрнс. (Bibl. Nat., Est.)



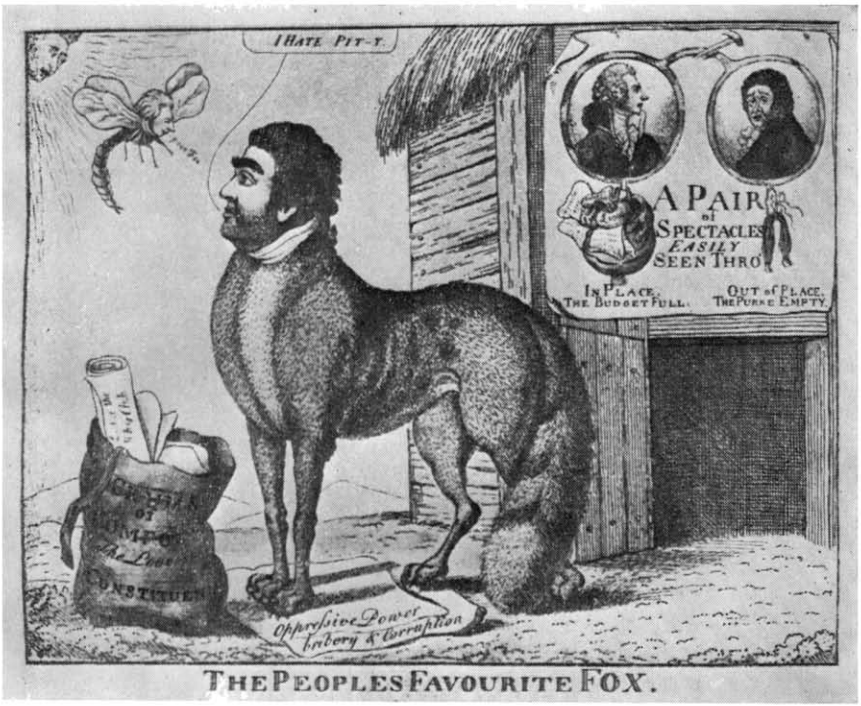
«Дерево свободы и дьявол, соблазняющий Джона Булля». Английская сатирическая гравюра. (По эстампу из Музея Карнавале.)



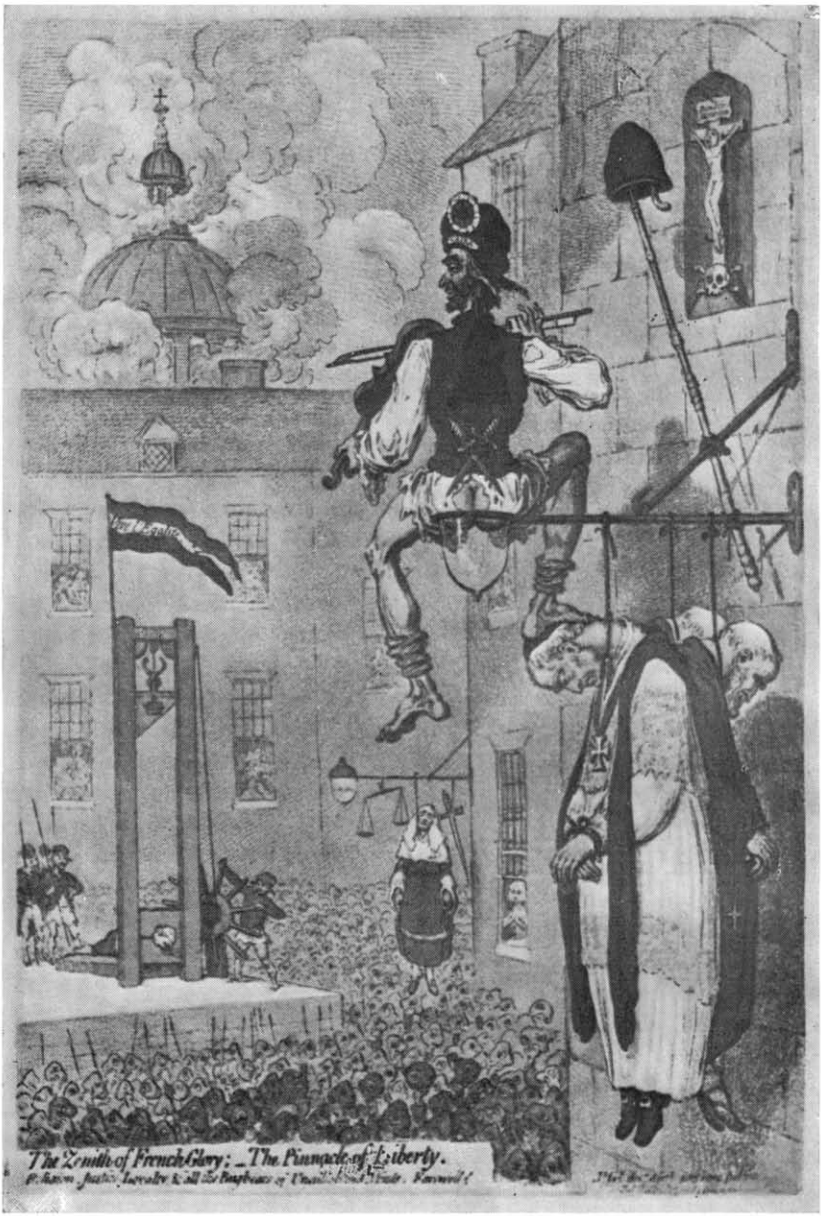
Фокс . (Коллекция Жиродона.)



«Алтарь на холме св. Анны». Английская сатирическая гравюра, изображающая Фокса, поклоняющегося Декларации прав человека. (Bibl. Nat., Est.)

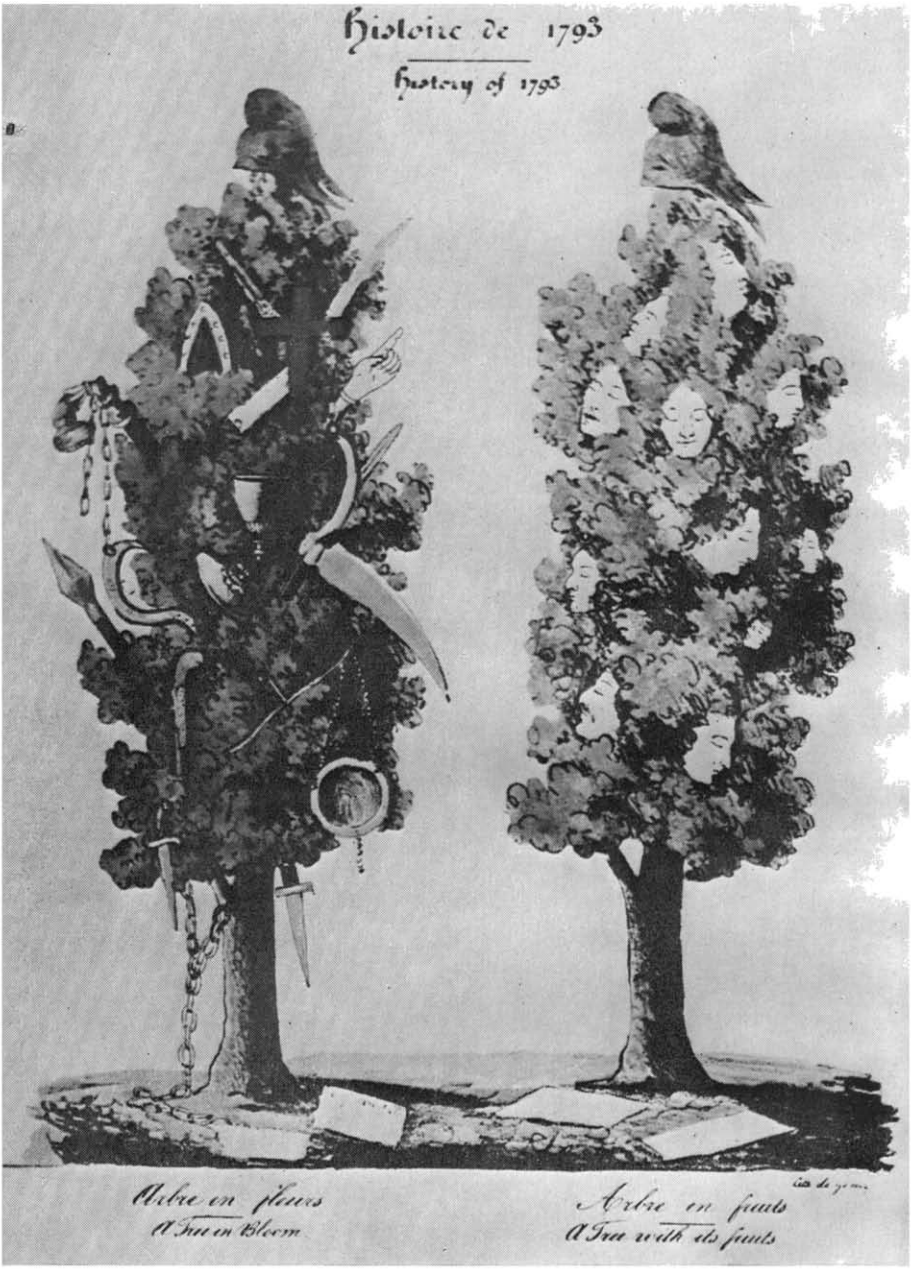


«Лис — любимец народов». Английская сатирическая гравюра, направленная против Фокса. (По эстампу из Музея Карнавале.)

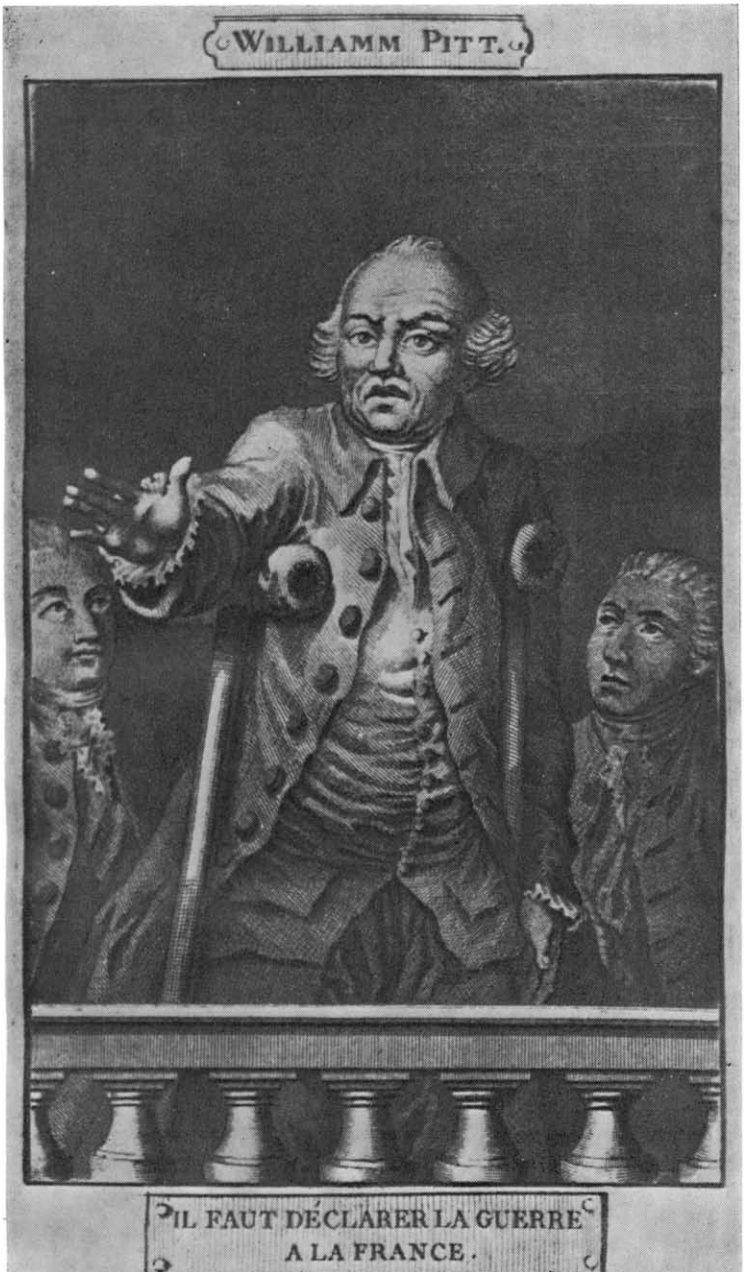


Французская слава в зените. Архитектурное украшение свободы». Английская карикатура. (Bibl. Nat., Est.)

«Ограниченная монархия, или негативная власть во Франции... Неограниченная демократия, или действенная власть во Франции...», Английская карикатура. (По эстампу из Музея Карнавале.)



«История 1793 г. Цветущее дерево. Дерево, отягощенное плодами». Английская карикатура. (Bibl. Nat., Est.)



«*Уильям Питт. Надо объявить войну Франции*». (Bibl. Nat., Est.)

Уильям Годвин. (Фото Radio Times Hulton Picture Library.)

Монументальный, шеститомный труд
«Социалистическая история
Французской революции»
принадлежит перу Жана Жореса,
знаменитого французского трибуна,
демократа, социалиста,
бесстрашного противника войны,
империализма и реакции.

*

Труд Жана Жореса, посвященный
Великой Французской революции,
выдержал испытание временем
и принадлежит и ныне
к числу лучших работ,
классических трудов по истории
первой Французской революции.

*

«Социалистическая история
Французской революции», —
пишет А. Собуль, — является
памятником науки,
творением, проникнутым убеждениями,
составляющими неотъемлемое
достояние французского народа,
рабочих и крестьян, для которых
оно было задумано и написано».

*

Четвертый том
настоящего русского издания посвящен
влиянию идей Французской революции
на различных представителей политической,
социальной и философской мысли
Германии, Швейцарии и Англии,
а также откликам и реакции в Европе
на революционные события во Франции.